



Философия сознания

СТИВЕН ПИНКЕР

СУБСТАНЦИЯ
МЫШЛЕНИЯ

ЯЗЫК как окно
в человеческую
природу



Steven Pinker
THE STUFF OF THOUGHT
Language as a Window
into Human Nature



Дерзко и притягательно .. наполнено юмором и иронией. Как прекрасно иметь такой ясный и живой ум, который может донести до широкой публики идеи когнитивной науки.

Дуглас Хофштадтер



Фейерверк поразительно изощренного интеллекта; любой, кто неравнодушен к лингвистике, обязан прочитать эту книгу.

«Таймс» (*The Times*)



Пинкер — звезда! Как же повезло научному миру, что у нас есть Пинкер!

Ричард Докинз



Пинкер задает увлекательный и остроумный тон изложению науки о языке — темы столь же сложной, как и важной, — которую иначе было бы нелегко представить публике. Значимая и интересная книга. Всем, кто интересуется языком, кому небезразлично, почему язык стал таким, каким является сегодня, — то есть всем, кому интересно, как мы стали людьми со своими человеческими заботами, — следует прочитать эту книгу.

Робин Лакофф



Насыщенная информацией, ясная, остроумная, захватывающая и очень убедительная [книга]. Умело подобранными иллюстрациями, занятными примерами и удачно дозированной научной строгостью [Пинкер] привлекает читателя к чтению.

«Нью-Йорк ревью оф букс»
(*The New York Review of Books*)



Впечатляет уже сам диапазон охвата тем. Если Вас интересует, почему метафоры сколь неизбежны, столь и неадекватны, почему и как люди сквернословят, как английский язык отражает понятия пространства и времени или почему мы зачастую избегаем говорить то, что думаем, — мне сложно представить лучшее руководство. Пинкер, как всегда, блещет природённым даром объяснять сложные идеи с помощью точных и остроумных примеров. Он получает удовольствие от идей и извлекает идеи из удовольствия.

Марк Эбли



Эта книга стимулирует ум... От политики до поэзии, от детских неуклюжих выражений до сленга Пинкер с легкостью демонстрирует высокий уровень как в проработке деталей, так и в искусстве изложения в целом, что доказывает его веру в то, что язык является «окном в человеческую природу».

Донна Симон



Восхитительное объяснение того, как мы мыслим и почему мы делаем то, что мы делаем... Хотя, возможно, вам придётся попытеть над временными формами, экстремальным нативизмом и полисемией, прежде чем вы сможете уяснить для себя, почему вы сквернословите, как пьяный матрос, — но это чертовски того стоит!

Кортни Фергусон



«**С**убстанция мышления» принесла Пинкеру такие же хвалебные отзывы, что и предыдущие его книги, написанные для широкой аудитории. У него отличное чутье на удачные примеры, запоминающиеся цитаты и шутки, фокусирующие внимание на самой сути; он ясен в объяснениях и решителен в дискуссиях. «Субстанция мышления» обладает двумя важными качествами, необходимыми для хорошей научно-популярной книги: она проясняет предмет и заставляет читателя думать.

Дебора Камерсон

Steven Pinker
THE STUFF OF THOUGHT
Language as a Window into Human Nature

С. Пинкер

СУБСТАНЦИЯ МЫШЛЕНИЯ

ЯЗЫК
как окно
в человеческую
природу

Перевод с английского
В. П. Мурат, И. Д. Ульяновой

Издание второе,
исправленное



URSS
МОСКВА

ББК 81 1 87 21

Возрастная категория 18+

Пинкер Стивен

Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу.

Пер с англ Изд 2-е, испр — М УРСС Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016
560 с (Философия сознания)

В новой блестящей работе «Субстанция мышления» известный канадско-американский лингвист и психолог Стивен Пинкер исследует работу человеческого сознания в совершенно новом стиле — через пристальное изучение нашей речи от бытовых разговоров, шуток и сквернословия до юридических споров, от детских неуклюжих выражений до сленга, от политического дискурса до поэзии. Объясняя сложные идеи с помощью точных и остроумных примеров, Пинкер задает увлекательный тон изложению науки о языке.

Исходный посыл книги — помочь нам понять, кто мы такие и что нами движет. Что говорят ругательства о нашей эмоциональности? Что могут рассказать двусмысленные фразы во время ухаживаний о наших социальных отношениях? Как смысловые тонкости и оговорки — наподобие тех, что доставили немало проблем многим политическим лидерам, — раскрывают наши представления об ответственности и справедливости? Как в языке преломляются научные понятия? Автор предлагает ответы на эти и многие другие интереснейшие вопросы, виртуозно демонстрируя умение прояснять предмет и вовлекать читателя в процесс осмысления.

Язык — как показывает Пинкер — тесно переплетен с самой человеческой жизнью, он поистине является окном в природу человека. Эта великолепная работа захватывает с первых же строк, подводя читателя к изумительному открытию: как много, оказывается, мы можем узнать о нашем естестве, если осмыслим, как мы облачаем свои мысли и чувства в слова!

Издательство «Книжный дом ЛИБРОКОМ» 117335 Москва Нахимовский пр т 56
Формат 60×90/16 Печ л 35 18+ Зак № 29

Отпечатано в ООО «Издательство Заураль» 640022 Курган ул Карла Маркса 106

ISBN 978–5–397–05261–0
(Книжный дом “ЛИБРОКОМ”)
ISBN 978–5–453–00113–2

© 2007 by Steven Pinker All rights reserved
© УРСС, 2016

Содержание

Предисловие и благодарности	7	
		<i>Прим</i>
Глава 1. Слова и миры	10	518
Слова и мысли	12	
Слова и реальность	16	
Слова и общество	23	
Слова и эмоции	28	
Слова и социальные отношения	32	
		<i>Прим</i>
Глава 2. Вниз по кроличьей норе	37	518
Степени числа десять	40	
Парадокс детской речи	48	
Изменение концептуальной структуры (фрейма)	58	
Мысли о движении и изменении	70	
Мысли об обладании, знании и содействии	76	
Мысли о действии, намерении и каузировании	87	
Сообразительные говорящие или сообразительный язык?	98	
Язык мышления?	102	
Наши когнитивные причуды	110	
		<i>Прим</i>
Глава 3. Пятьдесят тысяч врожденных понятий (и другие радикальные теории языка и мышления)	116	520
Экстремальный нативизм	120	
Радикальная прагматика	138	
Лингвистический детерминизм	159	
		<i>Прим</i>
Глава 4. Рассекая воздух	191	522
Измельчение, расфасовка, приклеивание ярлыков мысли о материи	202	
Игра на дюймы мысли о пространстве	217	
Цифровые часы мысли о времени	235	
Магическая сила мысли о причинности	260	
Чистая и прикладная	280	

Глава 5. Метафора метафоры	290	<i>Прим.</i> 525
Зануды и мессии	294	
Метафора важна	298	
Мессия метафоры	302	
Глубже, чем метафора	309	
Хороший, плохой, злой	320	
Метафоры и разум	324	
Глава 6. Что значит имя?	337	<i>Прим.</i> 526
В мире или в голове?	340	
Цапки, блоги и блурбы: откуда берутся новые слова?	356	
Матери неудавшихся изобретений: тайны неназванного и того, что нельзя назвать	366	
Возвращение к проекту «Стив»	375	
Глава 7. Семь слов, которые нельзя произносить на телевидении	389	<i>Прим.</i> 527
Сквернословы	394	
Мозг-богохульник	398	
Семантика сквернословия: мысли о божествах, болезнях, грязи и сексе	407	
Пять способов сквернословия	419	
Сквернословие — за и против	440	
Глава 8. Игры, в которые играют люди	446	<i>Прим.</i> 528
Тет-а-тет	449	
Осторожно, чувства: логика вежливости	453	
Как можно больше запутать: неопределенность, отрицание и другие стратегии конфликта	467	
Дележка, ранжирование, обмен: мысли о взаимоотношениях	475	
Пройти тест на смех: логика не слишком убедительного отрицания	491	
Выбирая незнание: парадокс рационального неведения	500	
Глава 9. Выбираясь из пещеры	504	<i>Прим.</i> 529
Примечания	518	
Библиография	530	
Именной указатель	553	

Предисловие и благодарности

Есть теория пространства и времени, встроенная в наш способ использования слов. Также есть теория материи и теория причинности. В нашем языке имеется модель пола людей (точнее, две модели), а также понятия интимной близости, власти и справедливости. Понятия божественности, деградации, опасности также вложены в наш родной язык наряду с понятием благополучия и философией свободной воли. Детали этих понятий варьируются от языка к языку, но их логика в целом одна и та же. Эти понятия помогают воссоздать модель действительности именно такой, какой она видится людям, хотя данная модель существенно отличается от объективного понимания действительности, представленного в трудах наших самых лучших ученых и логиков. Эти понятия вплетены в язык, но их корни лежат глубже, чем язык как таковой. Они определяют основные правила того, как мы понимаем все, что нас окружает, как оцениваем — положительно или отрицательно — наших друзей и знакомых, как строим с ними свои отношения. Более внимательное изучение нашей речи — наших разговоров, шуток, проклятий, юридических споров, имен, которые мы даем нашим детям, — может, следовательно, помочь нам понять, кто мы такие.

В этом и заключается исходная посылка настоящей книги — третьей по счету в трилогии, написанной для широкого круга читателей, интересующихся проблемами языка и мышления. Первая книга трилогии, — «Язык как инстинкт» (*The Language Instinct*¹⁾), представляла собой общий обзор феномена языковой способности: всего того, что вы всегда хотели узнать о языке, но боялись спросить. Язык есть способ соединения звучания и значения, и две другие книги трилогии обращены соответственно к этим двум сферам. В книге «Слова и правила»

¹⁾ Рус. пер.: Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2015. 456 с. — Прим. перев.

(*Words and Rules*) рассматриваются единицы языка, как они хранятся в памяти и как соединяются в огромное множество комбинаций, придающих языку его экспрессивную силу. Настоящая книга, «Субстанция мышления», посвящена другой стороне единства языка — значению. В ней рассматриваются значения слов и конструкций, а также то, как язык используется в различных социальных условиях, иначе говоря, обсуждаются темы, которые лингвисты называют семантикой и прагматикой.

Одновременно «Субстанция мышления» завершает и другую трилогию: три книги о природе человека. В книге «Как работает мозг» (*How the Mind Works*) я попытался по-иному представить сферу психики, исходя из когнитивной науки и эволюционной психологии. В книге «Чистый лист» (*The Blank Slate*) в центре внимания было понятие природы человека и ее моральной, эмоциональной и социальной окрашенности. В настоящей книге рассматривается еще один аспект проблемы, а именно, что можно узнать о нашем естестве, исходя из того, как люди облачают свои мысли и чувства в слова.

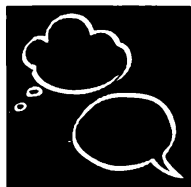
Как и в других моих книгах о языке, и здесь в начальных главах выясняются некоторые специальные вопросы, но я очень старался сделать эти пояснения понятными. Что же касается самого содержания книги, то я совершенно уверен, что оно привлечет всех, кому интересно знать, что же нами движет. Язык переплетен с самой человеческой жизнью. Мы используем его для передачи информации и для убеждения, а также для того, чтобы угрожать, соблазнять и, конечно же, браниться. Язык отражает наше осмысление действительности, а также то наше представление о себе, которое мы хотим внушить другим, и те узы, которые связывают нас с ними. Язык является — и я надеюсь убедить вас в этом — окном в природу человека.

Работая над этой книгой, я имел счастье пользоваться советами и поддержкой многих людей, прежде всего моих издателей Уэнди Вулфа, Стивена МакГрата, Уилла Гудлада и моего агента Джона Брокмана. Неоценимую помощь я получил от мудрых и великодушных читателей, прочитавших и критически отрецензировавших всю рукопись в целом, — это Ребекка Ньюбергер Голдстейн, Дэвид Хэйг, Дэвид Кеммерер, Рослин Пинкер и Барбара Спеллмен, — а также от экспертов, приславших замечания по отдельным главам и тем областям знания, в которых они являются специалистами, — это Линда Абарбанелл, Нед Блок, Пол Блум, Кейт Берридж, Герберт Кларк, Ален Дершовиц, Брюс Фрейзер, Марк Хаузер, Рэй Джекендофф, Джеймс Ли, Бет Левин, Пегги Ли, Чарлз Парсонс, Джеймс Пустейовски, Лайза Рэндолл, Харви Силверглейт, Элисон Симмонс, Доналд Саймонс, Д. Д. Траут, Майкл Уллмен, Эдда Вейганд и Филлип Уолфф. Выражаю свою благодарность также тем, кто ответил на мои вопросы или предложил свой

путь решения, — это Макс Бэйзермен, Айрис Берент, Джоан Бреснан, Дэниел Касасанто, Сьюзен Кэри, Дженнаро Чиечиа, Хелена Кронин, Мэтт Денио, Дэниел Донохью, Николас Эпли, Майкл Файбер, Дэвид Фейнберг, Дэниел Фесслер, Ален Фиске, Дэниел Джилберт, Лайла Глайтман, Дуглас Джоунз, Марси Кахан, Роберт Курцбан, Гэри Маркус, Джордж Миллер, Мартин Новак, Анна Папафрагоу, Джеффри Пуллем, С. Аббас, Лори Сантос, Энн Сенхас, Д. Ричард Такер, Дэниел Вегнер, Кэролайн Уайтинг и Энджела Ю. Это уже моя шестая книга, которую готовила к изданию Катя Райс, и благодаря ее чувству стиля, ее точности и любознательности книга, как и в предыдущих случаях, значительно выиграла.

Я признателен Илавенил Суббиа за предоставленные в мое распоряжение многочисленные примеры тончайших семантических явлений, записанных ею в повседневной речи, за дизайн изображения, украшающего начало глав, и за многое другое. Моя благодарность также моим родителям, Гарри и Рослин, и моей семье: Сьюзен, Мартину, Иве, Карлу, Эрику, Робу, Крису, Джеку, Дэвиду, Яэль, Гейбу и Дэниелле. Но моя самая глубокая признательность — Ребекке Ньюбергер Голдстайн, моей путеводной звезде, которой я посвятил эту книгу.

Исследование, лежащее в основе данной книги, финансировалось агентством *National Institutes of Health (NIH)* (грант HD-18381) и кафедрой семьи Джонстон в Гарвардском университете.



11 сентября 2001 г. в 8 часов 46 минут утра захваченный террористами лайнер врезался в северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В 9 часов 3 минуты второй самолет врезался в южную башню. В результате последовавшего кошмара оба здания обрушились — после пожара, продолжавшегося в южной башне час и две минуты, а в северной на двадцать

три минуты дольше. Атаки были спланированы Усамой бен Ладеном, руководителем террористической организации «Аль-Каида», который надеялся, запугав Соединенные Штаты, заставить их уйти из Саудовской Аравии и перестать поддерживать Израиль и, с другой стороны, объединить мусульман с целью подготовки восстановления халифата.

11 сентября, или 9/11, как теперь называют то, что случилось в тот день, выступает как наиболее значительное событие в политической и интеллектуальной жизни XXI века до настоящего времени. Оно вызвало споры по самому широкому кругу вопросов: как наилучшим образом увековечить память погибших и восстановить пострадавшие районы Манхэттена; связано ли нападение террористов со старым исламским фундаментализмом или с современной революционной агитацией; какова была роль США на мировой арене до нападения и какой должна быть реакция на него; как правильно сочетать защиту от терроризма с уважением гражданских свобод.

Однако мне хотелось бы рассмотреть менее известный спор, порожденный тем, что произошло 11 сентября: а именно, сколько событий произошло тем утром в сентябре?

Можно было бы утверждать, что событие было одно. Атаки на обе башни были частью единого плана, рожденного в уме одного человека при реализации единого замысла. Они произошли в пределах нескольких

минут и ярдов друг от друга, их целью были части единого комплекса, носящего единое название и имеющего один дизайн и одного собственника. И они привели к единой цепи военных и политических событий впоследствии.

С другой стороны, можно было бы утверждать, что имели место два события. Северная башня и южная башня были отдельными структурами из стекла и стали, разделенными некоторым отрезком пространства, и они подверглись атаке в разное время. На кадрах любительской видеосъемки видно, как второй самолет приближается к южной башне, а в этот момент северная башня уже полыхает огнем. И это с несомненностью подтверждает, что событий было два: в те страшные мгновения одно событие как бы застыло в прошлом, второе же угрожающе надвигалось из будущего. И еще одно происшествие того дня — бунт пассажиров, заставивших сесть захваченный террористами третий самолет, прежде чем он достиг своей цели в Вашингтоне, — позволяет предположить еще и возможность того, что одна из башен могла быть уничтожена, а другая бы уцелела. В каждом из тех возможных миров имело место отдельное событие, и поэтому в нашем **реальном** мире можно с такой же уверенностью говорить о двух событиях, как то, что один плюс один равно двум.

Серьезность того, что произошло 11 сентября, делает, как может показаться, всю эту дискуссию бестактной, граничащей с бесстыдством. Это всего лишь, как мы говорим, вопрос «семантики», как если бы речь шла о споре по пустякам, о попытке расщепить волосок или определить, сколько ангелов может танцевать на булавочной головке. Но данная книга посвящена именно «семантике», и я не претендовал бы на ваше внимание, если бы не был убежден, что отношение языка к нашему внутреннему и внешнему мирам имеет важное значение для реального мира и представляет огромный интеллектуальный интерес.

Хотя «важность» часто трудно измерить количественно, в данном случае я могу назвать ее точную цену: три с половиной миллиарда долларов. Такова была сумма, о которой шел спор на целой серии судебных разбирательств, определявших размер страховой выплаты Лэрри Сильверстайну, арендатору земельного участка, на котором был расположен Всемирный торговый центр. У Сильверстайна был страховой полис, в котором оговаривалась максимальная компенсация за каждое страховое событие. Если 11 сентября произошло одно событие, он должен был бы получить три с половиной миллиарда долларов, если же событий было два, он должен был бы получить семь миллиардов. Во время судебных заседаний юристы спорили о том, как применять термин **событие**. Адвокаты арендодателя определяли «событие» в физических терминах (как два обрушения), те же, кто представлял страховые компании, определяли «событие» в ментальных терминах (как один заговор). Таким образом, семантика оказалась совсем не пустяком!

Не является эта тема пустяковой и с точки зрения интеллектуальной. Спор о количестве событий 11 сентября — это спор не о фактах, то есть не о физических происшествиях и действиях людей, имевших место в тот день. Следует сказать, что споры шли также и вокруг таких вопросов: были ли здания разрушены американскими ракетами или были уничтожены управляемым взрывом в результате заговора американских неоконсерваторов, израильских шпионов или клики психопатов. Но если не считать людей с неустойчивой психикой, большинство не спорит с фактами. Расходятся же люди в том, как они **структурируют** эти факты: как сложный водоворот материи в пространстве концептуализируется человеческим мозгом. Мы увидим дальше, что категории, вызывающие спор, затрагивают значения слов в нашем языке, потому что они затрагивают сам способ представления реальности в наших головах.

Семантика занимается отношением слов к мыслям, но также отношением слов к другим человеческим делам. Семантика занимается отношением слов к действительности — тем, как люди договариваются об одинаковом понимании истины, как их мысли прикрепляются к предметам и ситуациям окружающего их мира. Она занимается отношением слов к обществу — тем, как новое слово, возникшее в результате творческого акта одного говорящего, начинает вызывать то же понятие в головах остальной части населения, так что люди, используя это слово, способны понимать друг друга. Она занимается отношением слов к эмоциям: тем, что слова не просто указывают на вещи, но пропитаны чувствами, которые наделяют слова ощущением магии, табу и греха. Наконец, семантика занимается словами и социальными отношениями — тем, как люди используют язык не только, чтобы передать мысли из одной головы в другую, но и для установления того вида отношений, который они хотят иметь с партнером по общению.

Свойство нашего мышления, о котором будет постоянно идти речь на этих страницах, состоит в том, что даже самые абстрактные человеческие понятия понимаются исходя из конкретных сценариев. Это в полной мере применимо и к предмету самой данной книги. В вводной главе я предварительно рассмотрю некоторые из будущих тем, обратившись к иллюстрациям из газет и Интернета, которые можно понять только с помощью оптического стекла семантики. Примеры взяты из всех тех миров, которые связаны с нашими словами, — мышления, реальности, общества, эмоций и социальных отношений.

Слова и мысли

Давайте посмотрим на суть разногласий в самом дорогостоящем споре по вопросам семантики во всем мире, в дискуссии о значении слова «событие» ценою в три с половиной миллиарда долларов. Что

такое, собственно говоря, событие? Событие — это отрезок времени, а время, согласно физикам, есть непрерывная переменная величина — постоянный космический поток в представлении мира Ньютона или четвертое измерение в сплошном гиперпространстве у Эйнштейна. Однако человеческий разум членит эту непрерывную материю на дискретные части, которые мы называем событиями. Где наш разум размещает линии разреза? Иногда, как показали доводы адвокатов арендатора Всемирного торгового центра, линия разреза обусловлена изменением состояния объекта, таким как, например, разрушение здания. Иногда же, как показали аргументы юристов со стороны страховщиков, разрез обусловлен целью человека-деятели, как, например, осуществление заговора. Чаще всего линии членения совпадают: действующее лицо ставит целью изменение объекта, намерение действующего лица и судьба объекта идут по одной временной линии, и момент изменения означает одновременно и осуществление цели.

Понятийное содержание, стоящее за спорами о языке, само подобно языку (эта мысль будет более подробно развита в главах 2 и 3). Оно представляет аналоговую реальность посредством дискретных цифровых единиц, равных словам (таким как «событие»), и соединяет их в совокупности, имеющие определенную синтаксическую структуру, а не сваливает в кучу, словно тряпки в мешок. Для нашего понимания того, что произошло 11 сентября, важно, например, не только то, что Бен Ладен действовал с целью причинить вред США и что Всемирный торговый центр был разрушен примерно в указанное время, важно, что именно действия Бена Ладена послужили **причиной** разрушения Всемирного торгового центра. Именно признание этой причинной связи между замыслом конкретного человека и изменением конкретного объекта отличает общепринятое понимание катастрофы 11 сентября от теорий заговора. Лингвисты называют набор понятий и моделей их соединения «концептуальной семантикой»^[1]. Концептуальную семантику — язык мышления — следует отличать от языка как такового, в противном случае мы не смогли бы обсуждать значения слов, так как у нас не было бы для этого никаких средств.

То, что различное структурирование одного и того же события может привести к экстравагантному судебному процессу, свидетельствует, что сама природа реальности не предписывает нам, как она должна быть репрезентирована в мозгу людей. Язык мышления позволяет нам представить одну и ту же ситуацию разными, даже несовместимыми способами. То, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке, может быть осмыслено как одно событие или как два события в зависимости от того, как мы в голове описываем это себе, что, в свою очередь, зависит от того, на чем мы предпочитаем сосредоточить внимание, а что решили проигнорировать. Способность по-разному представлять событие не обязательно должна служить причиной обращения в суд, она яв-

ляется источником богатства интеллектуальной жизни людей. Как мы увидим, она дает материал для научного и литературного творчества, для юмора и драм социальной жизни, и она же является поводом для бесчисленных случаев разногласия людей. Разрушает ли исследование стволовых клеток просто клубок клеток или зародыш человека? Представляет ли собой американское военное вторжение в Ирак оккупацию этой страны или ее освобождение? Является ли аборт прекращением беременности или убийством ребенка? Служат ли высокие ставки налогов перераспределению богатства или являются способом конфискации государством того, что заработали его граждане? Является ли система социальной медицины программой защиты здоровья граждан или усилением роли государства? Во всех этих спорах сталкиваются друг с другом два способа осмысления события, и каждый из спорящих пытается доказать, что его осмысление более адекватно (критерий, который мы проанализируем в главе 5). В последние годы известные лингвисты неоднократно разъясняли американским демократам, как Республиканской партии удалось победить их на недавних выборах, более привлекательно представив смысл своих лозунгов, и предлагали советы относительно того, как демократы могли бы вновь обрести контроль над семантикой политических дебатов, переосмыслив, скажем, **налоги (государственные)** как **членские взносы** и **судьи левых политических убеждений** как **судьи, приверженные свободолобивым взглядам** [2].

Г
Л
А
В
А

1

Спор о количестве событий 11 сентября проливает свет еще на один любопытный факт, касающийся языка мысли. Раздумывая над тем, сколько же событий произошло в тот день, мы вынуждены относиться к ним, как если бы они были предметами, которые возможно сосчитать подобно кучке покерных фишек. Спор о том, было ли в Нью-Йорке в тот день одно событие или два, подобен разногласиям относительно того, один или два предмета находятся на ленте конвейера при оплате на выходе из продовольственного магазина (например, пара пачек масла, взятых из упаковки из четырех пачек, или пара грейпфрутов, идущих по цене два за доллар). Сходная неоднозначность при счете предметов и счете событий — один из многих случаев, когда пространство и время трактовались равнозначно в человеческом сознании, задолго до того как Эйнштейн описал их как эквивалентные в реальности.

Как мы увидим в главе 4, мышление категоризирует материю в виде дискретных предметов (как *'сосиска'*) и в виде непрерывного вещества (как *'мясо'*), и аналогичным образом оно категоризирует время в виде дискретных событий (*'перейти улицу'*) и в виде непрерывной деятельности (*'бродить'*). Как в отношении пространства, так и в отношении времени та же система оптических стекол в мозгу, которая позволяет нам считать предметы или события, дает нам также возможность еще пристальнее взглядеться, из чего они сделаны.

Так, рассматривая пространство, мы можем сосредоточить внимание на веществе, из которого состоит предмет (например, когда мы говорим *‘У меня вся рубашка испачкалась в сосиске’*); что касается времени, то мы можем сфокусироваться на деятельности, образующей событие (например, когда мы говорим *‘Она переходила улицу’*). Когнитивная система линз позволяет нам также изменить подход и рассматривать некоторый набор предметов в пространстве как целостное множество (сравните, например, различие между *‘камешек’* и *‘гравий’*), а в сфере времени она дает нам возможность рассматривать совокупность событий как сложное событие (сравните различие между *‘ударить по гвоздю’* и *‘забивать гвоздь’*). В сфере времени, так же как в сфере пространства, мы мысленно размещаем некоторую сущность в каком-то месте, а затем меняем ее положение: мы можем *‘перенести (move) встречу с трех часов на четыре часа’* совершенно так же, как мы перемещаем автомобиль с одной улицы на другую. Даже самые тонкие детали нашего ментального представления о геометрическом устройстве переносятся из области пространства в область времени, как в случае, когда мы говорим о *‘конце’*. *‘Конец веревки’*, строго говоря, является точкой, но можно сказать *‘Херб отрезал конец веревки’*, показывая, что «конец» может быть осмыслен как отрезок, включающий часть прилегающей материи. То же самое верно и в отношении времени: *‘конец лекции’* — это, по сути, мгновение, но возможно сказать *‘Я слышал только конец его лекции’*, структурируя окончание события как включающее небольшой отрезок прилегающего к нему времени^[3].

Как мы увидим дальше, язык насыщен скрытыми метафорами, подобными EVENTS ARE OBJECTS *‘События — это объекты’* и TIME IS SPACE *‘Время — это пространство’*. По правде говоря, пространство оказывается концептуальным средством выражения не только для времени, но и для многих других состояний и обстоятельств. Подобно тому как встречу можно перенести с трех часов на четыре, свет светофора может *‘измениться’* (go, букв. *‘перейти’*) с зеленого на красный, человек может перейти от работы подсобным рабочим на кухне к управлению корпорацией, а экономическое состояние может перейти от плохого к еще худшему. Явление метафоры в языке настолько всепроникающе, что трудно найти примеры выражения абстрактных понятий, которые **не были бы метафорами**. И что же говорит нам подобная конкретность языка о человеческом мышлении? Следует ли из этого, что наши утонченнейшие понятия репрезентированы в мозгу как куски материи, которые мы можем мысленно передвигать туда или сюда? Значит ли это, что противоположные представления о мире мы так никогда и не сможем оценить как истинные или ложные, но будем всегда рассматривать как альтернативные метафорические способы разного осмысления ситуации? Над этими вопросами мы будем размышлять в главе 5.

Слова и реальность

События, произошедшие 11 сентября, породили еще один семантический спор, последствия которого могут оказаться еще более весомыми, чем миллиарды долларов на кону в споре о том, как определять количество событий того дня. Речь идет о полемике, связанной с войной, которая обошлась гораздо дороже в деньгах и человеческих жизнях, чем катастрофа 11 сентября сама по себе, и которая может повлиять на весь ход истории до конца этого столетия. На этот раз спор ведется вокруг значения другой цепочки слов — если быть точным, вокруг последовательности из 16 слов:

The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa.

Британское правительство узнало, что Саддам Хусейн недавно пытался приобрести значительное количество урана в Африке.

Это предложение появилось в Обращении к нации Джорджа У. Буша в январе 2003 г. В нем содержалась ссылка на донесения разведки о том, что Саддам якобы пытался купить пятьсот тонн урановой руды сорта «желтый кекс» у некоторых источников в Нигере (Западная Африка). Для многих американцев и англичан угроза того, что Саддам накапливает ядерное оружие, была единственным оправданием вторжения в Ирак и свержения Саддама. Соединенные Штаты осуществили вторжение в Ирак весной 2003 г., и это была самая презираемая акция американской внешней политики со времен войны во Вьетнаме. В процессе оккупации выяснилось, что у Саддама не было ни условий, ни оборудования для производства ядерного оружия и что он, по всей видимости, никогда не искал возможности купить урановую руду в Нигере. Если использовать слова на плакатах и в заголовках газет по всему миру, «Буш солгал».

Действительно ли он солгал? Ответ на этот вопрос отнюдь не столь однозначен, как думают сторонники и противники Буша. Расследования, проведенные британским Парламентом и Сенатом США, установили, что спецслужбы Великобритании действительно считали, будто Саддам пытался купить урановую руду. Вместе с тем расследования показали, что данные для такого мнения офицеров британской разведки были в то время если уж не совсем безосновательными, то далеко не полностью бесспорными. Обнаружилось, что эксперты американских секретных служб, сознавая это, испытывали глубокие сомнения в истинности донесения британской разведки. Учитывая приведенные факты, как нам определить, солгал Буш или нет? Дело ведь не в том, что он поступил неразумно, поверив британской разведке, или что он сознательно рискнул, использовав недостоверную информацию. Весь вопрос в том, был ли он нечестен в том, как он сообщил миру эту часть своего обоснования для вторжения в Ирак. А это связано с семантикой

одного из указанных выше шестнадцати слов, а именно с семантикой глагола learn 'узнать'^[4].

Learn относится к глаголам, которые лингвисты называют фактивными; такие глаголы предполагают, что убеждение, приписываемое субъекту, является истинным. В этом отношении глагол learn похож на глагол know 'знать' и отличается от глагола think 'думать'. Скажем, у меня есть друг Митч, который ошибочно считает, что на президентских выборах 1948 г. Томас Дьюи победил Гарри Трумена. Я могу вполне правдиво сказать: *Mitch thinks that Dewey defeated Truman* 'Митч думает, что Дьюи одержал победу над Труменом', но я не мог бы сказать: *Mitch knows that Dewey defeated Truman* 'Митч знает, что Дьюи одержал победу над Труменом', потому что на самом деле Дьюи не победил Трумена. Митч, возможно, и думает, что победил Дьюи, но мы-то все знаем, что победу одержал Трумен. По этой же причине я, оставаясь честным, не мог бы сказать, что Митч 'признал' (admitted), 'обнаружил' (discovered), 'заметил' (observed), 'вспомнил' (remembered), 'доказал' (showed) или, что для нас важно, 'узнал' (learned), что Дьюи одержал победу над Труменом. Существует, разумеется, и другое значение глагола learn — примерно 'получать информацию от обучающего', которое не является фактивным; я могу, например, сказать *When I was in graduate school, we learned that there were four kinds of taste buds* 'Когда я был в аспирантуре, нас учили, что существуют четыре типа вкусовых рецепторов', хотя теперь, благодаря новейшему открытию, я знаю, что таких рецепторов пять. Однако в обычном смысле, особенно в перфектной форме с глаголом have, learn является фактивным глаголом и означает 'получать достоверную информацию'.

Люди, следовательно, являются «реалистами» в том смысле, в каком этот термин употребляют философы. В повседневном использовании языка они молчаливо придерживаются мнения, что некоторые утверждения истинны или ложны, независимо от того, считает ли то или иное лицо их истинными или ложными. Фактивные глаголы подразумевают, что говорящий признает нечто бесспорно истинным, а не просто, что у него или у нее имеется на этот счет высокая степень уверенности; не содержит поэтому противоречия предложение *I'm very, very confident that Oswald shot Kennedy, but I don't know that he did* 'Я совершенно уверен, что Джона Кеннеди застрелил Освальд, но я не знаю, что это сделал именно он'. По этой причине фактивные глаголы производят впечатление парадоксальных. Никто из нас не может быть уверен, что владеет истиной, и большинство людей понимает, что никогда и ни в чем нельзя быть абсолютно уверенными, и тем не менее, ничтоже сумняшеся, мы постоянно используем фактивные глаголы типа know 'знать', learn 'узнать' и remember 'помнить'. Наверное мы интуитивно чувствуем достаточно высокую степень уверенности, убедительно подкрепленную к тому же стандартами, общими

у нас с нашей аудиторией, чтобы поручиться за достоверность данного конкретного мнения, осознавая при этом, что вообще-то (хотя, как мы предполагаем, не в этот раз) мы можем заблуждаться в том, что говорим. Марк Твен использовал семантику фактивных глаголов, когда писал: «Наша беда не в том, что люди знают слишком мало, но в том, что они знают слишком много того, что не соответствует действительности» [5]. (Ему также приписывают следующие слова: «Когда я был моложе, я мог вспомнить что угодно, случилось ли оно или нет; однако теперь мои способности угасают, и скоро... я буду помнить [только] то, чего никогда не происходило».)

Итак, лгал ли Буш или нет? Есть много доводов за то, что лгал. Когда Буш сказал, что британское правительство «узнало», что Саддам пытался купить уран, он поручился за утверждение, что поиски урана **действительно** имели место, а не за то, что британское правительство так **считало**. Если у Буша были основания сомневаться в этом в то время, — а американские спецслужбы довели свое скептическое отношение к этой информации до сведения администрации, — тогда предложение из шестнадцати слов содержало явную неправду. Министр обороны США Доналд Рамсфелд, выступая в защиту Буша, сказал, что утверждение было «технически аккуратным», а государственный секретарь Кондолиза Райс добавила, что «Это сказали британцы». Обратите, однако, внимание на подмену глаголов: Буш не утверждал, что британцы **сказали**, что Саддам искал уран, что было бы истинным утверждением независимо от того, искал Саддам уран или нет. Он утверждал, что британские спецслужбы **узнали это**, а такое утверждение может быть истинным только в том случае, если Саддам Хусейн действительно пытался купить уран. Таким образом, обвиняя Буша во лжи, его критики молчаливо апеллируют к логике явления фактивности.

Г
Л
А
В
А

1

Ложь является для президента государственным преступлением, влекущим за собой импичмент, особенно если ложь выступает как **casus belli** для страшной войны. Может ли семантика играть такую важную роль в политической истории? Можно ли поверить, что судьба американского президента могла когда-либо зависеть от тонких нюансов значения глагола? Мы вернемся к этому вопросу в главе 4 и увидим, что это зависит от того, какое значение мы приписываем слову *is 'есть'*.

Слова связаны с действительностью, когда их значения зависят, как это было у фактивных глаголов, от того, как говорящий трактует истинность своего заявления. Но слова могут быть связаны с реальностью еще более непосредственно. В этом случае слова не просто относятся к явлениям жизни и хранятся в мозгу людей, но они вплетены в причинно-следственную ткань самого мира.

Значение слова несомненно обусловлено **чем-то** внутри мозга. Недавно мне встретилось слово *sidereal* и пришлось спросить своего вы-

сокообразованного коллегу, что оно означает. Теперь я могу понять и использовать это слово и тогда, когда моего коллеги нет рядом (слово *sidereal* означает *'относящийся к звездам'*, как в словосочетании *a sidereal day 'день, равный 23 часам 56 минутам 4,09 секундам среднего солнечного времени'* — то есть равный отрезку времени, за который земля совершает полный виток по отношению к светилу). Наверняка в моем мозгу что-то изменилось в тот момент, когда я узнал это слово, и когда-нибудь специалисты по когнитивной нейробиологии смогут рассказать нам, что представляет собой это изменение. Разумеется, большинство слов мы узнаем, не обращаясь к словарям или получая от кого-либо их определения, — мы воспринимаем их на слух в определенном контексте. Но каким бы путем мы ни узнали слово, оно оставляет след в мозгу. Значение слова, таким образом, состоит, по-видимому, из информации, хранящейся в голове людей, знающих данное слово: элементарные понятия, определяющие данное слово, а в случае конкретного слова — образ референта данного слова.

Однако, как мы увидим в главе 6, слово должно быть чем-то большим, чем принятое в обществе определение и образ. Простейший способ убедиться в этом — рассмотреть семантику собственных имен [6]. Что значит такое имя, как, например, Уильям Шекспир? Если мы посмотрим это имя в словаре, то найдем примерно следующее:

Шекспир, Уильям (1564–1616), сущ., собств. имя; английский поэт и драматург, признанный одним из величайших писателей Великобритании. Его пьесы, многие из которых были поставлены в театре «Глобус» в Лондоне, включают исторические хроники, такие как «Ричард II», комедии, в том числе «Много шума из ничего» и «Как вам это понравится», и трагедии, среди которых «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир». Ему принадлежат также 154 сонета.

Подобное определение обычно сопровождается знаменитой гравюрой, изображающей лысеющего мужчину с глазами лани, с маленькими усиками и в высоком крахмальном воротнике. Вполне вероятно, все это не слишком расходится и с вашим пониманием данного имени.

Но действительно ли имя «Уильям Шекспир» значит именно это? Историки согласны с тем, что некий человек по имени Уильям Шекспир жил в Стратфорде-на-Эйвоне и в Лондоне в конце XVI и начале XVII века. Вместе с тем на протяжении столетий высказывались сомнения, что именно этот человек написал те произведения, которые мы ему приписываем. Возможно, это чем-то напоминает теорию, согласно которой Всемирный торговый центр взорвало ЦРУ, но подобные сомнения всерьез воспринимали Уолт Уитмен, Марк Твен, Генри Джеймс и многие современные ученые, и причиной сомнений является целый ряд неопровержимых фактов. Так, пьесы Шекспира не были опубликованы при его жизни, а авторство в те времена не фиксировалось столь тщательно, как в наши дни. Сам Шекспир был человеком малообразованным, он никогда не путешествовал, его дети были неграмотными,

и сам он в своем родном городе был известен как торговец. Далее, его смерть не вызвала появления откликов, возносивших ему хвалу, и, наконец, в его завещании не упоминаются какие-либо книги или рукописи. Даже его знаменитые портреты были написаны не при его жизни, и у нас нет оснований верить, что они походят на данного человека. Поскольку в те времена сочинение пьес было делом непрестижным, подлинный автор, а им, согласно различным теориям, считают Фрэнсиса Бэкона, Эдварда де Вера, Кристофера Марло и даже королеву Елизавету, возможно, старался сохранить свою идентичность в тайне.

Я отнюдь не стремлюсь убедить вас, что Уильям Шекспир не был великим английским поэтом и драматургом, написавшим «Гамлета», «Как вам это понравится» и 154 сонета. (Многие известные ученые в этом убеждены, и я им верю.) Я хочу, чтобы вы задумались над такой возможностью и поняли, какие последствия это будет иметь для идеи о том, что значения слов хранятся в мозгу. В порядке дискуссии допустим, что свидетельства судебной медицины неоспоримо докажут, что произведения Шекспира были написаны кем-то другим. Тогда, если бы значение имени «Уильям Шекспир» хранилось в голове наподобие словарной статьи, мы вынуждены были бы заключить, что либо значение имени «Уильям Шекспир» должно претерпеть изменение, либо настоящий автор «Гамлета» должен посмертно получить имя «Уильям Шекспир», даже несмотря на то что при его жизни никто не знал его под этим именем. (Нам также пришлось бы поставить высокую оценку тому незадачливому студенту, который написал бы в экзаменационном сочинении: «Пьесы Шекспира были написаны Уильямом Шекспиром или каким-то другим человеком, носящим это имя».) По правде говоря, дело обстоит еще хуже. Начнем с того, что мы уже больше не могли бы задать вопрос, написал ли «Гамлета» Шекспир, потому что Шекспир написал эту трагедию по определению. Такой вопрос был бы равносильным тому, если бы мы спросили «Является ли холостяк неженатым мужчиной?», или «Кто похоронен в могиле Гранта?», или «Кто спел „Эй, эи, мы — Обезьяны“¹⁾». И вывод «Уильям Шекспир в действительности не написал „Гамлета“» был бы внутренне противоречивым.

Однако все эти умозаключения слишком экстравагантны. На деле, спрашивая, написал ли «Гамлета» Шекспир, мы задаем вполне здравомыслящий вопрос; мы не противоречили бы сами себе, даже если бы нам пришлось прийти к выводу, что Шекспир этого не делал; и мы все равно чувствовали бы, что «Уильям Шекспир» значит то, что оно значило всегда, — а именно некое лицо, жившее в Англии какое-то время назад, — хотя и допускали бы при этом, что ошибались относительно свершений этого человека. По правде говоря, даже если бы все известные биографические факты из жизни Шекспира были бы

опровергнуты, — если бы обнаружилось, например, что он родился в 1565 г., а не в 1564, или что он происходил не из Стратфорда-на-Эйвоне, а из Уорика, — мы все равно чувствовали бы, что данное имя указывает на того же самого человека.

Так что же означает «Уильям Шекспир», если не «великий писатель, автор „Гамлета“» и т. п.? В действительности собственное имя не может быть определено с помощью других слов, понятий или картинок. Имя **указывает** на некоторую сущность в мире, потому что в какой-то момент эта сущность была наделена этим именем, и это имя за ней закрепилось. «Уильям Шекспир», следовательно, указывает на индивида, который примерно тогда, когда он родился, был окрещен как Уильям мистером и миссис Шекспир. Это имя связано с данным лицом, что бы впоследствии он ни делал и независимо от того, много или мало мы о нем знаем. Имя указывает на то или иное лицо подобно тому, как я могу указать на скалу, находящуюся прямо передо мной. Имя значимо для нас благодаря непрерывной цепи устных (или письменных) употреблений, которые связывают слово, употребляемое нами сейчас, с первоначальным актом именованья. Как мы увидим, не только собственные имена, но и названия разного рода вещей жестко соединены с миром посредством актов указания, именованья и приклеиванья, а не путем определения в дефиниции.

Связь слов с реальностью помогает устранить опасения относительно того, что язык заманивает нас в замкнутую паутину символов. Беспокойство вызывает то обстоятельство, что значения слов включаются в конечном итоге как бы в порочный круг, где каждое слово определяется посредством других. Как заметил один семантик, типичный словарь играет в подобную игру, когда говорит пользователю, что «**приказывать** означает **командовать**, что **управлять** и **наставлять** „не столь категоричны, как **командовать** или **приказывать**“, что **командовать** означает „управлять подчиненными“, что **управлять** значит „приказывать“, что **наставлять** означает „отдавать приказы“ или что **просить** означает „требовать вежливо“, **требовать** [значит] „претендовать как бы по праву“, **претендовать** означает „просить или требовать“, **просить** значит „высказывать просьбу“ и т. д. и т. п.»^[7]. Этой игры в веревочку страшатся те, кто жаждет в словах определенности; напротив, ее принимают и приветствуют последователи деконструкционизма и постмодернизма, и ее широко эксплуатирует, например, некий составитель словаря компьютерного жаргона:

Бесконечный цикл. сущ. См. цикл, бесконечный.

Цикл, бесконечный, сущ. См. бесконечный цикл.

Логика собственных имен и других слов, связанных с событиями посредством актов именованья, показывает необоснованность подобных опасений, прикрепляя сеть значений к реальным событиям и объектам окружающего мира.

Связь слов с реальными людьми и предметами, а не только с **информацией** об этих людях и предметах, имеет практическое применение, которое привлекает к себе в последнее время много внимания. Дело в том, что наиболее быстро распространяющиеся преступления в начале этого века — это преступления, связанные с кражей идентичности. При краже конфиденциальных данных о личности человека вор использует информацию, связанную с вашим именем, например, номер вашего удостоверения социального страхования или номер и пароль вашей кредитной карты или банковского счета, чтобы совершить мошенничество и похитить принадлежащее вам имущество. Жертвы кражи конфиденциальных данных могут потерять работу, лишиться возможности получить ссуду и поступить в колледж, могут быть задержаны у стойки паспортного контроля в аэропорту, могут даже подвергнуться аресту за преступление, совершенное воров. Им может понадобиться много лет и куча денег, чтобы добиться возвращения своей идентичности.

Поставьте себя на место человека, потерявшего кошелек или неосмотрительно разместившего конфиденциальную информацию в своем компьютере, и теперь некий двойник использует ваше имя (скажем, Мюррей Клепфиш), занимая деньги или делая покупки. И теперь вам приходится убеждать чиновника, что вы, а не мошенник, являетесь настоящим Мюрреем Клепфишем. И как же вы будете это делать? Так же, как в случае с Уильямом Шекспиром, все сводится к тому, что значат слова «Мюррей Клепфиш». Вы могли бы сказать, что «Мюррей Клепфиш» означает владельца цепи магазинов по продаже покрышек по сниженным ценам, родившегося в Бруклине, живущего в городке Пискатеуэй, имеющего счет в Акме банке, женатого и имеющего в браке двух сыновей и проводящего свой отпуск на джерсийском побережье. А вам ответят, что для других людей, совсем наоборот, «Мюррей Клепфиш» означает персонального тренера, родившегося в Делрей Бич, получающего свою почту в почтовом отделении в Альбукерке, недавно оформившего развод в Рено (штат Невада) и проводящего свой отпуск на острове Мауи. Единственное, в чем с вами, возможно, согласятся, это в отношении банковского счета Мюррея Клепфиша, на котором, между прочим, кредит намного превышен.

Так как же все-таки вы будете доказывать, что именно вы являетесь подлинным референтом имени «Мюррей Клепфиш»? Вы можете представить любую информацию, какую только хотите, — номер удостоверения социального страхования, номер водительского удостоверения, девичью фамилию вашей матери, — однако самозванец может либо сделать дубликат (если он украл и этот документ), либо оспорить документ (если он обогатил украденные им ваши личные данные, добавив к ним подробности из своей собственной жизни, включая фотографии). Так же как с определением подлинного Шекспира, после

того как были подвергнуты сомнению известные нам биографические подробности его жизни, в конце концов вам придется указать на непрерывную причинную цепь, которая связывает ваше имя, как оно используется сейчас, с моментом, когда вашему появлению на свет радовались ваши родители: **ваша** кредитная карточка была вами получена на основе банковского счета, который был открыт с помощью водительского удостоверения, которое было получено благодаря свидетельству о рождении, которое было удостоверено служащим родильного дома, который находился в контакте с вашими родителями примерно в то время, когда вы родились, и который слышал из их уст, что вы являетесь Клепфишем, их сыном, которому они дали имя Мюррей. Что касается вашего обидчика, то его цепь доказательств оборвется в недавнем прошлом, задолго до момента наречения именем. Меры, принимаемые для того, чтобы предотвратить кражу конфиденциальных сведений о личности, опираются на логику собственных имен и их связи с реальностью: это способы идентификации непрерывной цепи переходов от человека к человеку сквозь время, приводящие к конкретному событию — акту именованию в прошлом.

Слова и общество

Именованье ребенка — это единственная для большинства людей возможность дать некоей сущности в реальном мире имя по своему выбору. За исключением творческих личностей, подобных музыканту Фрэнку Заппа, назвавшему своих детей Moon Unit ‘Лунная частица’ и Dweezil ‘Двизил’, большая часть людей предпочитает обычно уже существующие стандартные имена, вроде Джон или Мэри, а не звучащие, придуманные случайно и ранее не существовавшие. Теоретически, личное имя — это произвольный ярлык, лишенный какого-либо первоначального значения, и люди относятся к нему как к простому указанию на человека, который получил данное имя при рождении. Однако на деле имена приобретают значение посредством ассоциации с тем или иным поколением или классом людей, наделенных ими. Большинство читателей-американцев, ничего не зная о человеке, кроме того, что его зовут Мюррей, догадаются, что ему больше шестидесяти лет, что он принадлежит к среднему классу и что он, по всей вероятности, еврей. (Когда пьяный актер Мел Гибсон в 2006 г. разразился антисемитской тирадой, журналист Леон Визелтьер прокомментировал его выходку так: *Mad Max is making Max mad, and Murray, and Irving, and Mort, and Marty, and Abe ‘Бешеный Макс’¹⁾ приводит в бешенство Макса, и Мюррея, и Ирвинга, и Морта, и Марти, и Эйба*^[8]. Это объясняется благодаря еще одной любопытной особенности собственных имен,

¹⁾ Этого персонажа играл Гибсон в серии фильмов под названием *Mad Max*. — Прим. перев.

которую мы исследуем в главе 6. Существуют циклы моды на имена, так же как на ширину галстуков или длину юбок, поэтому личные имена людей часто выдаются, к какой прослойке или поколению эти люди принадлежат. В зените своей популярности в 30-х гг. имя Мюррей имело ауру англосаксонской респектабельности, наряду с такими именами, как Ирвинг, Сидней, Максвелл, Шелдон и Герберт. Они стояли как бы особняком от еврейских имен предыдущего поколения, таких как Мойша, Мендель или Рувим, свидетельствовавших, что их носители, возможно, прибыли из стран старой Европы. Но когда Мюррей и Сиды и их жены положили начало беби-бума, они дали своим сыновьям более традиционные имена типа Дэвид, Брайан или Майкл, а те, в свою очередь, произвели на свет сыновей, получивших вдохновенные Библией имена Адам, Джошуа и Иаков. Многие из этих тезок персонажей Ветхого Завета завершают теперь цикл, называя своих сыновей Максами, Рувимами и Солами.

В эволюции собственных имен наблюдаются определенные тенденции, потому что люди в обществе поразительно сходным образом реагируют на имена, образующие общий фонд (так, приводя ребенка в школу, родители достаточно часто обнаруживают, что их выбор имени ребенка, который они считали уникальным, оказался также уникальным выбором и многих их соседей). Окраска имени частично связана с его звучанием, а частично обусловлена стереотипом взрослых людей, наиболее часто носящих то или иное имя. По этой причине псевдобританские имена американцев в первом поколении стали жертвой их собственной буржуазной респектабельности в следующем поколении. В сцене из пьесы *When Harry met Sally* («Когда Гарри встретил Салли»), поставленной в 70-х гг., пара юнцов эпохи беби-бума обсуждает сексуальный опыт Салли:

Гарри: И с кем же у тебя был этот грандиозный секс?

Салли: Не собираюсь рассказывать тебе об этом!

Гарри: Ну и прекрасно. Можешь не рассказывать.

Салли: Шел Гордон.

Гарри: Шел. Шелдон? О, нет. С Шелдоном у тебя не могло быть грандиозного секса.

Салли: И тем не менее был.

Гарри: Нет, не было. Человек по имени Шелдон может помочь тебе заполнить налоговую декларацию. Поставить пломбу — на это он тоже годится. Но кувырнуться в постели — не его сильная сторона. Это все его имя. «Возьми меня, Шелдон». «Ты животное, Шелдон». «Давай еще, могучий Шелдон». Нет, это не звучит.

Хотя в послевоенное время американские родители, по всей вероятности, не имели в виду «грандиозный секс», наверное, уже тогда у них вызывала известное неприятие связанная с этим именем конно-

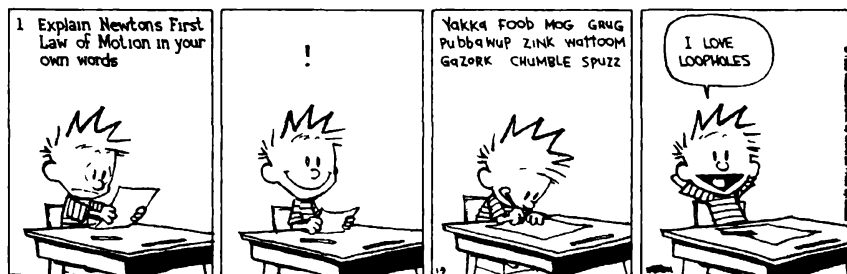
тация человека-слабака: начиная с 40-х гг. имя Шелдон, как и Мюррей, уходит в небытие и уже больше не возвращается^[9] Реакция на имя Шелдон в англоговорящем мире столь единообразна, что ее используют юмористы. Так, драматург Марси Кахан, недавно адаптировавшая сценарий Норы Эфрон для британской сцены, замечает: «Я включила шутку с именем Шелдон в театральную постановку пьесы, и все три актера, игравшие Гарри, на каждом спектакле неизменно вознаграждались оглушительными взрывами смеха и одобрения»^[10].

Динамика процессов именования детей стала в недавнее время предметом обсуждения в газетах и разговорах людей в связи с ускорением смены циклов моды. Одно из наиболее популярных имен девочек в Америке, рожденных в 2006 г., вряд ли можно было бы вообразить себе всего лишь пять лет назад: Nevaeh — Heaven ‘небеса’, прочитанное от конца к началу. С другой стороны, людям кажется, что их собственные имена и имена их друзей и знакомых все быстрее становятся трафаретными^[11]. Мне кажется, например, что я никогда еще не чувствовал себя таким старым, как в ту минуту, когда одна из моих студенток сказала мне, что некоторые из самых популярных женских имен моего поколения — Барбара, Сюзен, Дебора и Линда — вызывают у нее представление о пожилой женщине.

Выбирая имя ребенку, каждая мать и отец обладают полной свободой. Очевидно, некоторое влияние на них оказывает имеющийся в наличии общий фонд имен, находящихся в обращении, но когда имя выбрано, и ребенок, и общество обычно придерживаются его. Однако в тех случаях, когда имена даются предметам и явлениям, решающую роль в том, закрепится ли новое имя, играет общество. Социальную природу слов иллюстрирует обреченная, по-видимому, на провал попытка Кальвина сдать экзамен по физике:

Г
Л
А
В
А

1



Calvin and Hobbes © 1995 Watterson. Dist by Universal Press Syndicate. Reprinted with permission. All rights reserved.

«Объясните первый закон Ньютона своими словами».

(Мальчик пишет): Якка фуб моб граг пуббавуб зинк уаттум газорк чамбл спузз.

Мальчик: Обожаю хитроумные уловки.

То, как мы понимаем выражение «своими словами», относя его к способу комбинирования слов, а не к самим словам как таковым, показывает, что слова принадлежат обществу, а не отдельному индивиду. Если слово незнакомо всем окружающим, мы можем с таким же успехом его вообще не употреблять, потому что никто не будет знать, о чем мы говорим. Тем не менее каждое слово в языке наверняка было создано в какой-то момент каким-то одним говорящим. В отношении некоторых вновь созданных слов остальная часть общества постепенно согласилась использовать их как указание на один и тот же предмет, двинув первую костяшку домино в цепи, делающей данное слово доступным для последующих поколений. Но как именно это молчаливое соглашение получает распространение в обществе, до сих пор, как мы увидим, остается загадкой.

В некоторых случаях можно сказать, что мать изобретательности — нужда. Пользователям компьютеров, например, в 1990-х гг. был нужен термин для обозначения массовых рассылок по электронной почте, и эту брешь заполнило слово *spam* ‘спам’. Однако многие лакуны упорно остаются незаполненными. Со времен сексуальной революции 1960-х гг. ощущалась необходимость в термине для обозначения членов не связанной браком разнополой пары, но ни один из предложенных вариантов не удержался — слово *ragamour* ‘возлюбленный, любовник’ показалось слишком романтичным, *roommate* ‘товарищ по комнате, сожитель’ — недостаточно романтичным, *partner* ‘партнер’ наводило на мысль о геях, а предложения журналистов и вовсе были смехотворными (как, например, *POSSLQ*, созданное на основе обозначения *persons of opposite sex sharing living quarters* ‘лица разного пола, проживающие совместно в одном жилом помещении’, или *umfriend* ‘эдруг’ от *This is my, um, friend* ‘Это мой... э... друг’). Или возьмем обозначения десятилетий — мы ведь уже почти прожили первое десятилетие XXI века, а до сих пор никто не знает, как его назвать. *The zeroes? The aughts? The nought-noughts? The noughties? ‘Нулевые? Никакие? Никаковые? Никаковские?’*

Традиционная этимология мало содействует нам в понимании того, что способствует появлению слова, вводит его в обращение и помогает закрепиться. Этимологи способны проследить большинство слов в прошлое на много веков назад, а иногда и более, но след все же теряется задолго до того, как мы доходим до того реального момента, когда первобытный человек, «выковавший» слово, в первый раз соединил по своему выбору некое понятие с неким звучанием. Что касается неологизмов недавнего происхождения, их извилистый путь к статусу слова языка мы можем проследить в реальном времени.

Слово *spam*, в отличие от того, что думают некоторые, не является акронимом словосочетания *Short, Pointless, and Annoying Messages* ‘короткие, бессодержательные и надоедливые послания’. Данное слово

связано с обозначением разновидности мясных консервов — ветчины, подаваемой на ленч, которую продавал некий Хормел начиная с 1937 г. Spam — слово-гибрид, образованное путем контаминации от SPiced hAM 'окорок со специями'. Но как же случилось, что оно стало указывать на e-mail, содержащие приглашение увеличить мужской член или участвовать в разделе добытых нечестным путем богатств свергнутых африканских царьков? Многие полагают, что это произошло путем метафорического переосмысления. Подобно мясу на ленч, e-mail дешевы, многочисленны и нежеланны, а в одном из вариантов народной этимологии spam объясняется как звукоподражание: spamming — это звучание, которое якобы возникает при работе бумагорезки, уничтожающей спам. Хотя подобные интуитивные догадки, возможно, и способствовали распространению слова «спам», происхождение его совершенно иное. Слово было вызвано к жизни скетчем из комедийного сериала Биби-си *Monty Python's Flying Circus* («Летающий цирк Монти Пайтона»), в котором некая пара заходит в кафе и спрашивает официантку (в ее роли один из Пайтонов), что у них есть в меню. Официантка отвечает:

Так, у нас есть яичница с беконом; яичница с колбасой и беконом; яичница со спамом; яичница с беконом и спамом; яичница с беконом, колбасой и спамом; спам с беконом, колбасой и спамом; спам с яичницей, спамом, спамом, беконом и спамом; спам с колбасой, спамом, спамом, беконом, томатами и спамом; спам, спам, спам, яичница и спам; спам, спам, спам, спам, спам, спам, тушеные бобы, спам, спам, спам, или лобстеры «Термидор»: креветки под соусом морний по-провансальски с луком шалот и баклажанами, гарнированными паштетом из трюфелей, бренди, а также с яичницей и спамом сверху.

Вы, наверное, подумали, что эта пьеса слишком глупа и что ее нужно снять с репертуара. Тем не менее она оказала воздействие на английский язык. Бессмысленное повторение слова spam вдохновило хакеров 1980-х гг. использовать его для обозначения идущих навалом сообщений с одинаковым содержанием, а десятилетие спустя слово «спам» перешло из их субкультуры в речь всего народа^[12].

Хотя может показаться невероятным, что такой причудливый и сложный неологизм стал модным и закрепился в языке, однако, как мы увидим, это далеко не первый случай, когда человеческая глупость оставляет свой след в словарном составе языка. Глагол *gerrymander* (букв. 'джерримандрить') 'фальсифицировать, подтасовывать (факты, выборы)' восходит к некой американской карикатуре XIX века, изображавшей избирательный округ, которому губернатор Элбридж Джерри хитроумно придал извилистую форму саламандры, пытаясь сконцентрировать избирателей-сторонников своего соперника в одном месте¹⁾. Однако большая часть глупых новообразований не получает

¹⁾ *Gerrymander* = *gerry* + [*sala*]*mander*. — *Прим. перев.*

хождения, как, например, слово *bushlips* (букв. 'зубы Буша') 'лживая избирательная риторика', которое восходит к лозунгу избирательной кампании Джорджа Х. У. Буша 1988 г.: *Read my lips: No new taxes* 'Читайте по моим губам: новых налогов не будет', или слово *teledildonics* (букв. 'теледилдоника') для обозначения управляемых компьютером секс-игрушек. Каждый год Американское диалектологическое общество выбирает слово, которое «имеет больше всего шансов оказаться успешным». Но сами члены этого общества первыми признают, что, по их данным, судьба подобных единиц совершенно непостижима. Так, разве кто-нибудь сейчас помнит, что такое *information superhighway* 'информационный суперхайвей' или *Infobahn* 'инфобан'^[13]? И мог ли кто-нибудь предсказать, что *to blog* 'вести дневник в Интернете', *to google* 'гуглить', 'искать в Интернете с помощью поисковой системы Google' и *to blackberry* 'пересылать почту при помощи системы Blackberry' так быстро станут частью нашего повседневного языка?

Динамика процессов заимствования слов из общего фонда для именования детей и возвращения их при назывании понятий неизменно хаотична. И, как мы увидим далее, подобная непредсказуемость явлений языка служит нам уроком при понимании культуры вообще. Как и слова языка, явления культуры — любая мода, любой ритуал, любое общепринятое верование — были несомненно созданы каким-то одним творцом, потом они понравились знакомым этого новатора, затем знакомым его знакомых и т. д. И так продолжалось до тех пор, пока они не захватили все общество. Капризы взлетов и падений популярности собственных имен, являющихся наиболее легко прослеживаемыми элементами культуры, учат нас скептически относиться к большей части попыток объяснить жизненные циклы других нравов и обычаев, начиная с того, почему мужчины перестали носить шляпы, и кончая тем, почему те или иные районы подвергаются сегрегации. Вместе с тем они также обнаруживают некоторые модели, которым подчиняются и выбор отдельного человека, и распространение явления в социуме, и, возможно, благодаря им мы когда-нибудь сможем эти процессы понять.

Слова и эмоции

Изменение ассоциаций, связанных с именами людей, демонстрирует способность слов приобретать эмоциональную окрашенность — обладать **коннотацией наряду с денотацией**. Чтобы объяснить понятие коннотации, часто используют формулу, придуманную Бертраном Расселом в 1950-х гг. в одном из радиointервью и похожую на парадигму глагола: *I am firm; you are obstinate; he is pigheaded* 'Я упорен; ты упрям; он упрямый осел'. Эта формула превратилась в игру слов на популярном радишоу и в ряде газет, что привело к появлению сотен

подобных триад: I am slim; you are thin; he is scrawny ‘Я стройный’; ‘ты худой’; ‘он костлявый’, I am a perfectionist; you are anal; he is a control freak ‘Я перфекционист (и у меня в доме все блестит)’; ‘ты строго следишь за чистотой в доме’; ‘он помешан на чистоте’, I am exploring my sexuality; you are promiscuous; she is a slut ‘Я проверяю, на что я способна в сексе’; ‘ты неразборчива в своих сексуальных связях’; ‘она шлюха’. В каждой триаде буквальное значение слов и выражений сохраняется постоянным, но эмоциональное значение варьирует от одобрительного через нейтральное до оскорбительного.

Аффективная насыщенность слов особенно заметна тогда, когда мы сталкиваемся с рядом странных явлений, связанных с таким феноменом, как ругательства (это станет предметом рассмотрения в главе 7). Настоящей загадкой для науки о мышлении является, например, почему, когда с нами случается что-то неприятное — скажем, когда разрезая бублик, мы раним палец или когда опрокидываем на себя кружку пива, — разговор наш неожиданно поворачивается к темам секса, физиологических отправлениях или религии. Странной особенностью нашего склада ума является также то, что когда какой-то человек нарушает наши права — скажем, втискивается на парковке на то место, на которое претендовали мы, или включает в 7 часов утра в воскресенье воздухоплав для расчистки дорожек от листьев, — мы склонны высказывать в его адрес пожелания в духе Вуди Аллена, который сформулировал это так: I told him to be fruitful and multiply, but not in those words ‘Я пожелал ему быть плодовитым и размножаться, но другими словами’.

Подобные вспышки идут, по всей видимости, из глубинной и древней части нашего мозга, Они напоминают визг собаки, которой наступили на хвост или которая рычит, чтобы напугать врага. Они могут проявляться внешне, как произвольный тик у больных болезнью Туретта, или в виде остаточных высказываний у неврологических больных, утративших дар речи. Однако несмотря на атавистический, по-видимому, характер ругательств, составляющие их звуки — те же, что и в обычных английских словах, и они произносятся в полном соответствии со звуковыми моделями языка. Вероятно, в ходе эволюции человеческий мозг был запрограммирован так, что то, что было на выходе из старой системы призывов и выкриков, было наложено на то, что поступало на вход в новую систему членораздельной речи.

Небезынтересно отметить, что если, находясь в возбужденном состоянии, мы прибегаем к определенным словам, связанным с сексом, физиологическими отправлениями и религией, то в любом другом состоянии мы относимся к ним осторожно и стараемся их избегать. Многие эпитеты и ругательства не просто вызывают неприятие, но являются табу: самый акт их произнесения представляет собой публичное оскорбление слушателей, даже в тех случаях, когда имеющиеся у этих слов синонимы считаются вполне приемлемыми. Способность слов

вызывать благоговейный ужас наблюдается в явлении табуирования и словесной магии в культурах народов по всему миру. Так, в ортодоксальном иудаизме имя Бога, обозначаемое на письме как YHWH и обычно произносимое как Yahweh 'Яхве', запрещается употреблять всем вообще, за исключением представителей высшего духовенства во время праздника Йом Кипур в древнем храме в «святая святых» — помещении, где хранятся скрижали с Десятью заповедями. В повседневном употреблении верующие используют слово, указывающее на это табуированное имя, и упоминают Бога только как hashem 'имя'.

Хотя употребление табуированных слов оскорбляет чувства людей в обществе, сам феномен запрета слов языка является, если хорошенько вдуматься, оскорблением здравого смысла. Освобождение организма от шлаков — это деятельность, которую всякое существо из плоти и крови по необходимости осуществляет ежедневно, а в то же время все английские слова, которые ее обозначают, являются либо непристойными, либо взятыми из языка детей, либо медицинскими терминами. Изысканный лексикон англосаксонских односложных слов, придающих английскому языку его ритмическую мощь, оказывается банкротом именно тогда, когда доходит до деятельности, без которой никто не может обойтись. Бросается в глаза также отсутствие благопристойного переходного глагола, обозначающего секс, — глагола, который можно было бы вставить в формулу Adam verbed Eve 'Адам [глагол] Еву' или Eve verbed Adam 'Ева [глагол] Адама'. Существующие в языке простые транзитивные глаголы, обозначающие сексуальные отношения, являются или неприличными, или оскорбительными, а наиболее распространенные из них входят в число тех самых семи слов, которые запрещены на телевидении.

Г
Л
А
В
А

1

Или, по крайней мере, эти слова нельзя было произносить в 1973 г., когда комик Джордж Карлин исполнил свой исторический монолог против запрета этих слов в радио- и телепередачах. Возникла парадоксальная ситуация, когда при наличии, казалось бы, права на ничем не ограниченную свободу слова радиоканал, передавший этот монолог, был наказан Федеральной комиссией по средствам коммуникации (дело в конце концов дошло до Верховного суда) за то, что позволил Карлину произнести на радио именно те слова, которые, по его мнению, должны быть разрешены к употреблению на радио. У нас, таким образом, существует закон, который запрещает критику в свой адрес, — парадокс, достойный Рассела и других знатоков аутореференциальных высказываний. Невозможность идентифицировать слова-табу, не произнося их, всегда становилась препятствием для попыток урегулировать речь в отношении слов, связанных с сексом. В ряде штатов разработчики законодательного акта против скотоложества не смогли заставить себя произнести это слово и поэтому объявили вне закона «ужасное и отвратительное преступление против природы», и в результате эти

законодательные предложения были отклонены как не имеющие силы по причине неопределенности. Чтобы избежать этой западни, в законе о непристойности в штате Нью-Джерси четко оговорено, какие слова и образы считаются непристойными. Однако сам текст закона оказался настолько порнографическим, что в некоторых библиотеках юридической литературы из каждого экземпляра свода законодательных актов были вырваны страницы, содержащие этот закон^[14].

Запреты на язык по-прежнему находятся в центре внимания. Хотя слова, связанные с сексом и физиологическими отправлениями, теперь чаще, чем когда-либо, звучат на кабельном и спутниковом радио и телевидении, а также встречаются в Интернете, американское правительство, побуждаемое консерваторами от культуры, пытается так или иначе изгнать их — особенно из сужающейся сферы радио и телевидения. Согласно таким законам, как *Clean Airwaves Act* («Закон о чистоте эфира») и *Broadcast Decency Enforcement Act* («Закон о принуждении к благопристойности на радио и телевидении»), драконовские штрафы грозят тем радиостанциям и телеканалам, которые не запрещают своим гостям употреблять слова из списка, составленного Карлиным. И, как постскриптум к сказанному, упомянем о событии, которое подчеркивает неизбежно лицемерный характер языковых запретов: Закон о принуждении к благопристойности на радио и телевидении был принят в тот самый день 2004 г., когда вице-президент Дик Чейни в стенах Сената вступил в полемику с сенатором Патриком Лихи и посоветовал ему быть плодовитым и размножаться, но только другими словами.

Невозможно не поразиться нелогичности и ханжеству языковых запретов. Почему определенным словам, но не их омонимам или синонимам, приписывается столь ужасающая мощь аморального воздействия? И в то же время, независимо от того, каким бы нелогичным это ни казалось, каждый из нас уважает запрет по крайней мере на некоторые слова. Действительно ли каждый из нас? Да, именно каждый. Предположим, я сказал бы вам, что существует некоторое непроизносимое слово, которое является настолько шокирующим, что приличные люди не осмеливаются упоминать его даже в непринужденном разговоре. Подобно верующим евреям, которым запрещено прямо обращаться к Богу, люди вынуждены говорить об этом явлении как бы с известной степенью отстраненности, используя другое слово — указывающее на запрещенное. Избранному кругу людей даровано особое разрешение на его использование, но всем другим угрожают серьезные последствия, включая возможность ответных праведных насильственных действий^[15]. И что же представляет собой это непристойное слово, о котором идет речь? Это слово *pidger* ‘негр, чернокожий’, или, как о нем говорят на респектабельных форумах, *the n-word* ‘слово на букву «н»’ — его имеют право произносить только афро-американцы для выражения солидарности и чувства товарищества в ситуациях по их выбору. Реакция

возмущения, возникающая при других случаях употребления этого слова, даже со стороны людей, поддерживающих право на свободную речь и удивляющихся, почему столько шума вызывает употребление слов, связанных с сексом, наводит на мысль, что психология магии слов — это не просто патологическая реакция ханжей-пуритан, но неотъемлемая составная часть нашей эмоциональной и языковой природы.

Слова и социальные отношения

В последние годы лабораторией для изучения языка стал Интернет. Он не только предоставляет в наше распоряжение гигантский корпус реальных текстов языка, употребленного реальными людьми, но он выступает как сверхэффективный вектор для распространения популярных идей и может благодаря этому пролить свет на то, какие явления языка люди находят заслуживающими внимания и сообщают другим людям. В качестве введения к последней важной теме настоящей книги позвольте мне привести историю, которая получила широкую известность с помощью электронной почты в 1998 г.:

В последние дни работы старого Стэплтонского аэропорта в Денвере переполненный рейс «Юнайтед Эйрлайнз» был отменен. Перерегистрацией билетов взволнованных пассажиров, стоявших в длинной очереди, занималась единственная служащая. Внезапно какой-то рассерженный пассажир прорвался к стойке и, бросив свой билет на стойку, заявил: «Я **должен** улететь этим рейсом, и **только** первым классом». Служащая ответила: «Извините, сэр. Я была бы счастлива попытаться помочь вам, но я должна сначала помочь этим людям, и я уверена, мы сможем что-нибудь придумать». Однако на пассажира это не произвело никакого впечатления. Он громко спросил, так что стоявшие сзади него пассажиры могли его слышать: «А вы хоть знаете, кто я такой?» Не колеблясь ни секунды, служащая у стойки улыбнулась и схватила микрофон для общения с пассажирами. «Прошу внимания, — начала она, и ее голос прогремел на весь терминал, — У стойки находится пассажир, **который не знает, кто он такой**. Если кто-либо из вас может помочь ему установить его личность, просьба подойти к стойке». Люди, стоявшие за ним в очереди, начали неудержимо смеяться, а мужчина, сверкнув глазами на служащую, заскрежетал зубами и выругался: «Я тебя [бранное слово]!» Ни капельки не смутившись, служащая аэропорта улыбнулась и сказала: «Извините, сэр, но за этим вам также придется постоять в очереди».

Эта история слишком хороша, чтобы быть правдой и является по всей видимости местной легендой^[16]. Но использованные в ней две каламбурные реплики являют собой интереснейший образец тех странностей языка, которые мы рассмотрим в последующих главах. Я уже упомянул о загадке, скрывающейся за второй шуточной репликой, а именно о том, что некоторые слова, относящиеся к сексу, используются также и в агрессивных ругательствах (подробнее см.

в главе 7). Но первая шутливая ремарка служащей аэропорта вводит еще один — последний — мир, который мне хотелось бы соотнести со словами, мир социальных отношений (глава 8).

Остроумный ответ служащей аэропорта на вопрос пассажира: «А вы хоть знаете, кто я такой?» построен на несоответствии между значением, которое пассажир вложил в свой риторический вопрос, а именно требованием о признании его более высокого статуса, и тем значением, в котором служащая аэропорта якобы восприняла этот вопрос, а именно буквальной просьбой об информации. А неожиданный результат для окружающих (и для аудитории, ознакомившейся с e-mail) возник из осмысления этого обмена репликами уже на третьем уровне — а именно из того, что притворное непонимание со стороны служащей аэропорта было особым приемом, целью которого было перевернуть статусные отношения и низвести высокомерного пассажира до заслуженного позора.

Люди понимают язык на многих уровнях, не только так, как делается при прямом грамматическом разборе содержания предложения^[17]. В повседневной жизни мы используем способность собеседника слышать то, что «между строк», и незаметно вставляем в речь просьбы или предложения, которые по какой-то причине нам неудобно высказать прямо. Писатели также часто используют эту способность людей, описывая для читателей, что происходит в голове участников диалога. В кинофильме «Фарго»¹⁾ машину, в которой находилась парочка похитителей с заложником на заднем сидении, останавливает полицейский за отсутствие у машины номерного знака. Он просит похитителя, сидящего за рулем, предъявить водительские права. Тот достает кошелек с выступающей из него пятидесятидолларовой купюрой и говорит: *So maybe the best thing would be to take care of that here in Brainerd 'Возможно лучше всего будет позаботиться об этом здесь, в Брейнерде'*. Данное высказывание, разумеется, представляло собой предложение взятки и было интерпретировано именно так, а не как суждение об относительном удобстве различных округов с точки зрения оплаты штрафа. Интерпретация многих других видов речи также отличается от их буквального значения:

Если бы вы были столь любезны и передали мне гуакамоле²⁾, это было бы потрясающе.

Мы рассчитываем, что вы будете в первых рядах во время проводимой нами Кампании за будущее.

Не хотите ли зайти ко мне и посмотреть мои гравюры?

У вас тут прекрасный магазин. Было бы очень неприятно, если бы с ним что-нибудь случилось.

¹⁾ *Fargo* — фильм братьев Коэнов, удостоенный премии «Оскар» в 1996 г. — Прим. перев.

²⁾ Гуакамоле — закуска из пюреированного авокадо. — Прим. перев.

Эти высказывания совершенно явно содержат просьбу, настойчивое напоминание о пожертвованиях, сексуальное заигрывание и угрозу. Но почему же люди не говорят прямо то, что они имеют в виду, — «Если вы отпустите меня без лишнего шума, я дам вам пятьдесят баксов», «Передайте салат из авокадо» и т. п.?

При завуалированном подкупе или завуалированной угрозе, как можно предположить, появляется техническая возможность правдоподобного отпирательства в случае необходимости: дача взятки и вымогательство являются преступлениями, и, избегая эксплицитного выражения предложения взятки, говорящий делает обвинения в свой адрес более труднодоказуемыми в суде. Однако маскировка здесь настолько прозрачна, что трудно поверить, что она может сбить с толку прокурора или обмануть присяжных, — как говорят юристы, она вряд ли выдержит испытание смехом. И тем не менее, даже зная, что это никого не вводит в заблуждение, мы все принимаем участие в подобных играх. (Ну, скажем, почти никого не вводит в заблуждение. В одном из эпизодов телевизионного сериала «Сейнфелд»¹⁾ девушка, с которой встречается Джордж, спрашивает его, не хочет ли он зайти к ней на чашечку кофе. Он отказывается, объясняя, что от кофеина у него бессонница. Позднее он хлопает себя по лбу, поскольку до него доходит, что «Кофе не значит кофе! Кофе значит секс!» И, разумеется, этот процесс может идти сколь угодно далеко и в другом направлении. В шутке, рассказанной Фрейдом в книге «Остроумие и его отношение к бессознательному», некий бизнесмен встречает на вокзале своего конкурента и спрашивает его, куда тот направляется. Второй бизнесмен говорит, что он едет в Минск, на что первый замечает: «Вы говорите мне, что едете в Минск, потому что хотите, чтобы я подумал, что вы направляетесь в Пинск. Но мне случайно стало известно, что вы действительно едете в Минск. Так зачем же вы мне лжете?»)

Если бы говорящему и слушающему когда-нибудь удалось пробиться сквозь молчаливые пропозиции, лежащие в подоснове их беседы, глубина рекурсивного представления каждым из них ментальных состояний друг друга была бы ошеломляющей. Водитель предлагает взятку; полицейский знает, что водитель предлагает ему взятку; водитель знает, что полицейский знает; полицейский знает, что водитель знает, что полицейский знает и т. д. Итак, почему же люди не говорят прямо? Почему говорящий и слушающий с готовностью соглашаются принять участие в этой утонченной комедии хороших манер?

Вышеприведенная вежливая просьба во время обеда — лингвисты называют ее *whimperative*²⁾ — дает ключ для ответа на этот вопрос. Когда

¹⁾ *Seinfeld* — популярный в США комедийный телесериал. — Прим. перев.

²⁾ Данный термин в значении «императив, выраженный в форме вопроса» был, как полагают, создан лингвистом Джеролдом Эздоком в 1970 г. Он представляет собой слово-

мы произносим просьбу, мы предполагаем, что слушающий ее выполнит. Но, кроме подчиненных или близких знакомых, мы не можем подобным образом командовать людьми. Однако нам чертовски хочется гуакамоле. Выход из этой дилеммы заключается в том, чтобы облечь свою просьбу в форму глупого вопроса (Can you..? *‘Не можете ли вы..?’*), бесцельного размышления (I was wondering if... *‘Я вот тут думал, может быть...’*), явного преувеличения (It would be great if you could... *‘Было бы замечательно, если бы вы смогли...’*) или еще какой-нибудь ерунды, настолько нелепой, что слушающий не может принять ее за чистую монету и быстро проделывает в голове некоторую интуитивную мыслительную работу, чтобы понять ваше истинное намерение. В то же время слушающий чувствует, что вы приложили усилия и показали, что относитесь к нему не как к подчиненному лицу. Скрытый императив позволяет вам осуществить две задачи сразу — передать приглашение и сигнализировать свое понимание ваших отношений со слушающим.

Как мы увидим в главе 8, наш обычный разговор напоминает встречу дипломатов тет-а-тет, когда стороны пытаются договориться, используя такие факторы, как сила, секс, личные связи и справедливость, из которых складываются человеческие отношения, они ищут способ сохранить лицо, предлагая некий «выход из положения», и одновременно оставляя за собой благовидную возможность отступления. Так же, как в области дипломатии, высказывания, которые являются слишком туманными или, наоборот, недостаточно туманными, могут вызвать настоящий огненный шквал. Так, в 1991 г. назначение Кларенса Томаса в Верховный суд Соединенных Штатов было почти сорвано из-за обвинений его в том, что он пытался завязать сексуальные отношения со своей подчиненной, адвокатом Анитой Хилл. В одном из довольно странных эпизодов этой истории, когда Сенат использовал свое право на «совет и согласие», сенаторам пришлось решать, что имел в виду Томас, когда говорил Хилл о порнозвезде по имени Лонг Донг Силвер и когда он задал риторический вопрос: Who has put rubic hair on my Coke? *‘Кто положил волосы из половых органов на мою банку кока-колы?’* Вероятно, это совсем не то, что имели в виду создатели Конституции США, когда формулировали доктрину о разделении властей, но подобный тип вопросов стал частью нашего национального дискурса. С тех пор как судебное дело Томас-Хилл придало проблеме сексуального домогательства общенациональные масштабы, вынесение решений по обвинению в домогательствах стало главной головной болью в университетах, корпорациях и государственных учреждениях, особенно в тех случаях, когда предполагаемое заигрывание передается косвенными намеками, а не прямым и откровенным предложением.

гибрид, вторая часть которого — imperative, а первая часть, wh, — это указание на буквы, с которых начинаются вопросительные местоимения английского языка (ср. what, who, where и т.д.). — *Прим. перев.*

Подобные пикантные новости из газет и Интернета позволяют увидеть, каким образом наши слова связаны с нашим мышлением, нашими сообществами, нашими эмоциями, нашими социальными отношениями и с самой действительностью. Неудивительно поэтому, что именно язык подбрасывает нам так много щекотливых тем из нашей публичной и частной жизни. Мы являемся **словоядным** (*verbivores*)¹⁾ биологическим видом существ, питающимся словами, поэтому проблемы значения и употребления языка по необходимости оказываются среди тех важнейших вопросов, над которыми мы размышляем, по поводу которых мы соглашаемся или спорим.

В то же время было бы ошибкой считать, что в этих дискуссиях речь реально идет о языке как таковом. Как будет показано в главе 3, язык представляет собой в первую очередь средство коммуникации, с помощью которого мы выражаем наши мысли и чувства, однако его не надо смешивать с самими этими мыслями и чувствами, несмотря на то что еще одно явление — звуковой символизм (ему посвящена глава 6) — как бы подводит нас к такому выводу. Когда в подоснове наших слов нет субстрата мысли, мы не способны по-настоящему говорить, а можем только болтать, балабонить, балагурить, лялякать, тарабарить, трещать, трындеть, щебетать — эти звукоподражательные слова, означающие пустопорожнюю бессодержательную речь, со всей очевидностью показывают, что мы, как правило, ожидаем, что исходящие из наших уст звуки сообщают **о чем-то**.

Остальная часть книги и посвящена этому «чему-то»: мыслям, чувствам и привязанностям, которые просвечивают сквозь язык и которые образуют наше естество. Наши слова и конструкции раскрывают понятия физической реальности и социальной жизни людей, которые сходны во всех культурах, но отличаются от результатов, получаемых наукой и учеными. Они коренятся в нашем развитии как индивидуумов, но также и в истории нашего языкового сообщества, и в эволюции всего человеческого рода. Наша способность соединять слова в более крупные единства и распространять слова на новые области путем метафорических переносов в значительной степени позволяет объяснить, благодаря чему люди стали разумными существами. Но слова могут также иногда вступать в противоречие с природой вещей, и, когда это происходит, результат может быть парадоксальным, безрассудным или даже трагическим. По этим причинам я надеюсь убедить вас, что три с половиной миллиарда долларов, стоящих на кону в споре о том, как надо интерпретировать слово «событие», — это всего лишь часть цены понимания миров слов.

Г
Л
А
В
А

1

¹⁾ Существует предположение, что это слово было создано в 1980-х гг. американским писателем и педагогом Ричардом Ледерером. — *Прим. перев.*



Обращение к миру, скрытому где-то в укромном уголке или щели повседневной жизни, является распространенным приемом в литературе для детей. Наиболее известный пример — Алиса, которая, скатившись вниз по кроличьей норе, оказалась в сюрреалистичном подземном мире, в Стране Чудес, и этот сюжет в бесконечных вариантах продолжает восхищать читателей: проход через шкаф в Нарнию, складка во времени, тонкий нож, Ктогород в частичке пыли^[1].

Аналогичным образом и в произведениях небеллетристических открытие некоего микрокосма также является неиссякаемым источником очарования. В 1968 г. дизайнеры Чарлз и Рэй Имз создали документальный фильм *Powers of Ten* («Степени числа Десять»), который начинается с грандиозной картины звездных скоплений на расстоянии в миллиард световых лет, затем десятикратными скачками уменьшается масштаб изображения и показывается наша Галактика, наша Солнечная система, наша планета Земля и т. д., и так вплоть до гуляки, спящего в парке, его руки, клеток его тела, его ДНК, атома углерода и в конце концов до атомного ядра и его частиц, величина которых в шестнадцать порядков меньше. Величественное развертывание физической реальности предстает перед нами также в вышедшей одновременно с фильмом книге, написанной научными консультантами указанного фильма Филипом и Филлис Моррисон, а в недавнее время сходная идея была использована для одного из самых приятных способов времяпрепровождения в Интернете: плавного перемещения от фотоснимка Земли, сделанного из космоса, через фотографии с искусственных спутников (в масштабе, уменьшенном в семь порядков), и так до картины вашей улицы и дома в общей перспективе.

В этой главе я расскажу о том, как я сам, пытаюсь разрешить то, что мне казалось вполне рядовой проблемой психолингвистики, наткнулся на микрокосм — мир базовых человеческих понятий и их связей. Этот таинственный мир я обнаружил не потому, что навел на него сначала телескоп, а потому что он то и дело выглядывал из-под явлений, которые, как мне казалось, я в то время изучал. И я надеюсь представить картину этого скрытого от глаз внутреннего мира, проведя читателей книги по ступенькам ментальной структуры, которую необходимо исследовать, чтобы стала понятна суть проблемы [2].

«Кроличья нора», ведущая в этот микрокосм, — это глагольная система английского языка: что глаголы значат, как они употребляются в предложениях и как все это представляют себе дети. В данной главе я постараюсь показать, как исследование этих проблем привело к пониманию содержания мышления, и это является лейтмотивом настоящей книги. Но зачем проникать в мир мышления именно таким путем? Одна из причин, должен признаться, носит личный характер: просто глаголы для меня полны очарования. (Как заметил как-то один мой коллега: «Они действительно являются для вас маленькими друзьями, не так ли?») Однако, как известно любому увлекающемуся человеку, совершенно не обязательно, что другие люди разделят его энтузиазм, и поэтому мне хотелось бы думать, что у меня есть еще и более убедительный аргумент, чтобы познакомить читателей с моими маленькими друзьями.

Наука движется вперед, изучая частности. Никто и никогда не получал гранта для исследования «человеческого мышления». Исследователю приходится изучать что-либо не столь необъятное, а если судьба ему улыбнется, в процессе работы, возможно, будет открыт некий общий закон. В первой главе я предлагаю для рассмотрения следующие четыре идеи.

- Человеческий мозг может структурировать конкретную ситуацию многими разными способами.
- В каждом случае интерпретация ситуации строится на основе небольшого числа базовых понятий, таких как «событие», «причина», «изменение» и «намерение».
- Эти понятия путем метафорического переноса могут распространяться на другие сферы, как в тех случаях, когда мы считаем события, как если бы это были предметы, или когда мы метафорически используем понятие пространства вместо времени.
- Каждому понятию присущи явные специфически человеческие особенности, которые делают это понятие полезным при осмыслении некоторых явлений, но которые могут приводить к заблуждениям и путанице, если мы попытаемся применить данное понятие более широко.

Эти утверждения могут показаться читателю достаточно разумными, но не слишком содержательными — всего лишь четыре из сотен банальностей, которые можно было бы выбрать из числа справедливых суждений о наших мыслительных процессах. Однако я надеюсь показать в данной главе, что на самом деле приведенные выше положения представляют собой нечто большее. При решении проблемы о том, как дети усваивают глаголы, каждая из указанных гипотез походила на кусочек паззла, его, как известно, приходится долго-долго искать, но потом, когда наконец находишь, он точно соответствует своему месту и одновременно придает завершенность общей восхитительной картине. Это дает некоторую уверенность в том, что темы, обсуждаемые в данной книге, не просто тривиальные комментарии по поводу мышления, но действительно открывают о мышлении человека нечто новое.

Мой план заключается в следующем. Сначала я спущу вас с галактических высот на уровень кварков и покажу, как общий интерес к тому, как работает мозг, может привлечь внимание к глаголам и к тому, как их усваивают дети.

Затем мы столкнемся с парадоксом — с ситуацией, когда дети усваивают то, что, казалось бы, усвоить невозможно. Айзек Азимов как-то писал: «Самая волнующая фраза, какую можно услышать в среде ученых, — фраза, возвещающая о новых открытиях, — вовсе не „Эврика!“ („Я нашел это!“), а „Это странно...“». В последующем разделе будет представлено одно из таких открытий — способность мозга выбирать разные фреймы, — что было решающим шагом к решению парадокса.

На остальных этапах нашего исследования мы будем непосредственно иметь дело с двумя базовыми понятиями нашего мыслительного инвентаря — с понятиями перемещения и изменения. Аналогичный ход рассуждения, примененный к другим глаголам, проливает свет на другие важные элементы, из которых строятся наши мысли: на понятия обладания, знания и содействия, а также на понятия действия, намерения и принуждения.

После этого мы сделаем остановку, чтобы осмыслить, что означает все, что мы узнали. Мы подумаем над тем, подразумевают ли признаки разумного начала в устройстве английского языка наличие соответствующего разумного начала у всех говорящих по-английски — этот вопрос будет вновь и вновь возникать на страницах настоящей книги, поскольку мы пытаемся использовать язык как окно для проникновения в природу человека. Затем я предложу инвентарь базовых человеческих понятий, которые будут рассмотрены в последующих главах. И наконец, я продемонстрирую читателям, каким образом особенности структуры этих базовых понятий приводят к ошибкам, заблуждениям и недомыслию в том, как люди рассуждают о сложных проблемах современной жизни.

Степени числа десять

Позвольте мне теперь с помощью нескольких поворотов линзы кинокамеры совершить переключение с широкого подхода к природе человека на более детальное рассмотрение того, как дети усваивают глаголы.

Начнем с широкого — с высот всей Галактики — взгляда на человеческий мозг и его замечательные возможности. Нам, людям, обладающим нормально функционирующим мозгом, легко пресытиться повседневной деятельностью нашего мышления и обратиться вместо этого к явлениям экстраординарным и сенсационным. Однако наука о мышлении начинается с признания того, что самые обычные умственные действия — такие как видеть, слышать, помнить, двигаться, планировать, рассуждать, говорить, — требуют от нашего мозга решения сложнейших технических проблем^[3]. Несмотря на огромный риск и стоимость пилотируемых людьми космических полетов, большинство проектов межпланетных исследований по-прежнему предполагает посылку в солнечную систему людей. Частично это связано с тем, что за бесстрашным астронавтом, исследующим неизведанный новый мир, люди следят с беспокойством и волнением, тогда как кремниевый чип таких эмоций не вызывает, но главным образом это связано с тем, что никакой возможный робот не может конкурировать с обычным человеком в способности распознавать незнакомые предметы и ситуации, принимать решение о том, что с ними делать и как использовать вещи непривычным образом, — и все это продолжая одновременно обмениваться информацией с людьми на земле. Изучение таких способностей мозга человека находится на переднем крае современной науки.

Среди всех этих великолепных способностей главное место следует отвести языку, который присущ всему человеческому роду и только ему одному во всем животном царстве, языку, который неразрывно связан с жизнью общества, является необходимым условием для совершенного овладения цивилизацией и технологиями и утрата или повреждение которого является страшной бедой^[4].

Язык играет важную роль в жизни людей во многих отношениях. Мы передаем информацию, обращаемся с просьбами, мы убеждаем, задаем вопросы, разглагольствуем, а иногда просто болтаем с друзьями. Но самое замечательное, что мы делаем с языком, заключается уже в том, что мы вообще его усваиваем^[5]. Дети рождаются в этот мир, не зная ни единого слова того языка, на котором говорят вокруг них. Тем не менее, всего лишь через три года и без всякого специального обучения большинство из них будет говорить без умолку, будет обладать словарным запасом, исчисляемым тысячами слов, владеть грамматикой разговорного языка своего региона и свободно пользоваться его звуковой системой (вспомним, как туристы неизменно высказы-

вают изумление по поводу того, как хорошо дети во Франции говорят по-французски!). Дети также достаточно уверенно владеют синтаксическим кодом, чтобы понять высказывания о невероятных событиях, скажем, о корове, перепрыгивающей через луну, или о тарелке, убегающей вместе с ложкой, или высказывания других детей, вроде I think the wind wants to get in out of the rain 'Я думаю, что ветру хочется войти [к нам] из дождя' или I often wonder when people pass me by do they wonder about me 'Я часто думаю, когда люди проходят мимо меня, думают ли они обо мне'^[6].

Чтобы так свободно обращаться с языком, дети наверняка должны были проанализировать речь, которую они слышат вокруг себя, а не просто ее заучить. Мы ясно видим это, когда дети произносят фразы, звучащие на слух взрослых неправильно, но которые обнаруживают проницательные гипотезы относительно возможностей сочетания элементов языка. Когда дети делают ошибки типа All the animals are wake-upped¹⁾ 'Все животные разбудились' или Don't tickle me; I'm laughable 'Не щекочи меня, я смеющийся' или Mommy, why did he dis it appear? 'Мам, почему он у отсюда шел?', вряд ли можно предположить, что они подражают своим родителям. Скорее, они сумели извлечь некий мыслительный эквивалент грамматических правил, согласно которым к словам добавляются суффиксы, а глаголы и частицы организуются в словосочетания.

Успех детей в овладении языком производит еще большее впечатление, если мы учтем, что говорящий ребенок справился при этом со сложной задачей индукции: из наблюдений над конечной выборкой явлений он сформулировал обобщение, которое охватывает тот бесконечный ряд, из которого были взяты данные явления^[7]. Ученые прибегают к индукции, когда выходят за рамки имеющегося у них фактического материала и формулируют законы, как будто бы позволяющие делать предсказания относительно тех случаев, которые они не наблюдали. Такие, например, как утверждение, что газ под давлением будет поглощаться жидкостью или что теплокровные животные в более высоких географических широтах крупнее по своим размерам. Ученые, занимающиеся философией науки, называют индукцию «позором», потому что существует бесконечное множество обобщений, совместимых с любым набором наблюдений и при этом отсутствуют какие-либо логические основания для выбора между ними^[8]. Так, нет никакой гарантии, что закон, открытый в этом году, сохранит свою силу и на следующий год, нет предела числу гладких кривых, которые могут связывать некоторый ряд точек на графике, и, если вы мельком увидели черную овцу в Шотландии, вы не можете строго логически аргументировать выбор между заключениями о том, что все овцы в Шотландии

¹⁾ Вместо waked up. — Прим. перев.

черного цвета, что по меньшей мере одна овца в Шотландии является черной или что по крайней мере одна овца в Шотландии является черной по крайней мере с одного бока. Как писал Марк Твен, наука восхитительна потому, что *One gets such wholesale returns on conjecture out of such a trifling investment in fact* 'Люди получают такую огромную прибыль от предположений при таком мизерном вложении в факты'. Тем не менее прибыль продолжает поступать. Философы науки утверждают, что теории не просто выводятся на основе фактов, но они с самого начала ограничены разумными допущениями о том, как функционирует Вселенная, такими, например, как то, что природа подчиняется законам или что более простые теории, если они соответствуют фактам, скорее являются истинными, чем теории более сложные.

Изучая родной язык, дети тоже решают проблемы индукции. Когда они прислушиваются к тому, как говорят их родители или их братья и сестры, они не могут просто фиксировать все предложения и черпать из этого списка высказывания в будущем — иначе они были бы такими же безмозглыми, как попугаи. Не могут они также наспех соединять все усвоенные ими слова в любом порядке, в каком им заблагорассудится. Им приходится извлекать систему правил, которые позволят им понимать и выражать новые мысли, и они вынуждены делать это так, чтобы это соответствовало речевым моделям, которые используют окружающие их люди. Проблема индукции возникает у ребенка потому, что звучащая вокруг него речь предлагает ему бесчисленные возможности выбора соблазнительных, но тем не менее ложных обобщений. Скажем, по мере того, как дети учатся задавать вопросы, они должны научиться переходить от *He ate the green eggs with ham* 'Он ел зеленые яйца с ветчиной' к *What did he eat?* 'Что он ел?' и *What did he eat the green eggs with?* 'С чем он ел зеленые яйца?' Но на основе предложения *He ate the green eggs with ham* дети **не должны** строить вопрос типа *What did he eat the green eggs and?* 'Что он ел зеленые яйца и?' Возьмем еще пример: предложения *Harriet appeared to Sam to be strong* 'Хэрриет казалась Сэму сильной' и *Harriet appealed to Sam to be strong* 'Хэрриет умоляла Сэма быть сильным' различаются только положением языка при произнесении одного согласного звука. Однако значения этих предложений (в частности, кто именно, как предполагается, является сильным) совершенно различны. Услышав первое предложение, ребенок не должен путем обобщения переносить его интерпретацию на другое предложение только потому, что предложения звучат сходно.

Следовательно, когда дети познают языковой код, их мозг должен быть ограничен выбором из звучащей вокруг них речи именно правильных видов обобщений. Детей не должно вводить в заблуждение то, как предложения звучат, но они должны проникать в грамматическую структуру, скрытую в словах и их аранжировке. Именно такой ход рассуждения привел лингвиста Ноама Хомского к гипотезе о том,

что усвоение языка детьми является ключом к пониманию природы языка и что дети, по-видимому, **обладают** врожденной универсальной грамматикой: неким набором схем для работы грамматического механизма, снабжающего энергией все человеческие языки^[9]. Эта мысль кажется более противоречивой, чем она есть в действительности. (или по крайней мере более противоречивой, чем следует), потому что логика индукции предполагает, что дети строят **некоторые** допущения о том, как работает язык, чтобы преуспеть в овладении языком в целом^[10]. На деле единственное реальное противоречие здесь заключается в том, как трактуются эти допущения: как наброски особого рода системы правил, как набор абстрактных принципов или как механизм для нахождения простых моделей (которые можно было бы использовать при овладении не только языком, но также и многим другим)^[11]. Научное изучение процесса усвоения языка детьми ставит своей целью определить, что представляют собой имеющиеся у них встроенные анализаторы, чем бы они ни оказались.

Сам язык — это не простая система, а хитроумное устройство, состоящее из многих компонентов. Чтобы понять, как дети овладевают языком, целесообразно сосредоточить внимание на одном из этих компонентов, а не пытаться объяснить все и сразу. Существуют компоненты, ведающие составлением слов из звуков, и компоненты, составляющие из слов словосочетания и предложения. И каждый из этих компонентов должен взаимодействовать с системами мозга, которые управляют произношением звуков, слуховым восприятием, памятью человека на слова и понятия, речевым замыслом говорящего и мыслительными ресурсами модернизации его знаний по мере осуществления речи.

Компонент языка, организующий слова в предложения и определяющий их значение, называется синтаксисом. Сам синтаксис включает несколько механизмов, в разной степени используемых разными языками. К ним относятся расположение слов в необходимом порядке, установление согласования между такими элементами, как субъект и глагол, слежение за специальными словами, выступающими одновременно в двух местах предложения (как, например, *what 'что'* в предложении *What do you want? 'Что вам нужно?'* — которое выступает и как элемент, о котором спрашивается, и как то, в чем есть необходимость).

Одно из ключевых явлений синтаксиса — это способ построения предложений вокруг глаголов. Явление это называется многими специальными терминами (в том числе субкатегоризация, диатеза, структура предикат-аргумент, валентность, адисность (*adicity*), арность (*arity*), падежная структура и распределение тематических ролей), но я, говоря об этом явлении, буду использовать традиционный термин **глагольные конструкции**^[12].

Большинству людей наверняка кое-что известно о глагольных конструкциях, хотя бы в форме смутных воспоминаний о различии

между непереходными и переходными глаголами. Непереходные глаголы, например *snore* 'хранить', употребляются без прямого дополнения, как в предложении *Max snored* 'Макс хранил', и странно звучало бы, если бы кто-нибудь сказал *Max snored a racket* 'Макс хранил большим шумом'. Напротив, переходные глаголы типа *sprain* 'растягивать (связки), повреждать' требуют прямого дополнения, как в предложении *Shirley sprained her ankle* 'Ширли повредила лодыжку', и было бы странно услышать *Shirley sprained* 'Ширли повредила'. Но транзитивные и интранзитивные конструкции — это лишь самая верхушка айсберга. В английском языке имеются также глаголы, которые требуют косвенного дополнения (дополнения, которое вводится предлогом), как в предложении *The swallow darted into a cave* 'Ласточка метнулась в расщелину', глаголы, которые требуют и прямого и косвенного дополнения, как в случае *They funneled rum into the jugs* 'Они влили ром в кувшины' и глаголы, требующие в качестве дополнения целого предложения, как в случае *She realized that she would have to get rid of her wolverines* 'Она поняла, что ей придется избавиться от своих мичиганских привычек'. В книге лингвиста Бет Левин приведена классификация трех тысяч английских глаголов по восьмидесяти пяти классам на основе конструкций, в которых эти глаголы встречаются, причем подзаголовок книги звучит так: *A Preliminary Investigation* («Предварительное исследование»)¹⁾.

Таким образом, глагол — это не просто слово, указывающее на действие или состояние, но основа предложения. Это некая структура, вмещающая другие части — подлежащее, прямое дополнение, различные косвенные дополнения и придаточные предложения, — которые в нее вставляются. Далее, простое предложение, скрепленное глаголом, может быть вставлено в более крупное предложение, а оно, в свою очередь, может быть включено в состав еще более обширного предложения, и так может продолжаться до бесконечности (как в старой присказке «Я знаю, что вы полагаете, что понимаете, что, как вы считаете, я сказал, но я не уверен, что вы осознаете, что то, что вы услышали, это совсем не то, что я имел в виду»).

Информация, заключенная в глаголе, не только упорядочивает ядро предложения, но в значительной степени определяет его значение. Наиболее отчетливо мы видим это в предложениях, различающихся только выбором глагола, как в *Barbara caused an injury* 'Барбара причинила увечье' и *Barbara sustained an injury* 'Барбара получила увечье', где Барбара участвует с событиями совершенно по-разному. То же относится и к Норме в предложениях *Norm gave a pashmina* 'Норма отдала шерстяной шарф' и *Norm received a pashmina* 'Норма получила шерстяной шарф'. Невозможно понять значение предложения, если исходить

¹⁾ См. *Levin B. English Verb Classes and Alternations. A Preliminary Investigation*. Chicago, London: The University Of Chicago Press, 1993

только из того, что подлежащее — это деятель, а дополнение — то, с чем деятель нечто делает, необходимо еще свериться с глаголом. Так, в словарной статье глагола give 'давать', находящемся в мозгу говорящих по-английски, указывается так или иначе, что подлежащее — это тот, «кто нечто дает, донор», а дополнение — это «то, что дают, некий дар». Словарная статья к глаголу receive 'получать' упоминает, что его субъект является получателем, а его объект — это «то, что дается, подношение». Различие между приведенными выше Harriet appealing to Sam to be brave и Harriet appealing to Sam to be brave показывает, что различные схемы распределения ролей между действующими лицами предложения могут быть весьма замысловатыми.

Хороший способ оценить роль в языке глагольных конструкций — поразмыслить над шутками, в которых обыгрывается двусмысленность, возникающая в связи с этими конструкциями: слова те же, конструкции разные. Приведу старый пример — обмен репликами: Call me a taxi. — OK, you're a taxi 'Вызови мне такси. — Хорошо, ты такси'¹⁾ [13]. Согласно часто передаваемому по e-mail списку неудачно переведенных гостиничных объявлений, в Норвегии в некоем холле для коктейлей на обозрение публики было вывешено следующее объявление: Ladies are requested not to have children in the bar 'Просим леди не приводить с собой детей в бар'²⁾. В фильме *The Silence of the Lambs* («Молчание ягнят») психиатр-людоед Ганнибал Лектер (известный также как Ганнибал Каннибал) поддразнивает свою преследовательницу (сотрудницу ФБР), говоря: I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner 'Мне действительно хотелось бы поболтать с вами подольше, но я ожидаю на обед одного старого знакомого'. В своей автобиографии комедийный актер Дик Грегори вспоминает эпизод из 1960-х гг.: Last time I was down South I walked into this restaurant and this white waitress came up to me and said, «We don't serve colored people here». I said, «That's all right. I don't eat colored people. Bring me a whole fried chicken» 'Последний раз, когда я был на Юге, я вошел в ресторан и белая официантка подошла ко мне и сказала: «Мы не обслуживаем³⁾ здесь цветных». Я возразил ей: «Все нормально. Я не ем цветных. Приготовьте мне целого жареного цыпленка»'⁴⁾.

Конструкции, в которых может выступать глагол, зависят частично от его значения. Отнюдь не случайно, что глагол споге 'храпеть' является глаголом непереходным, потому что храпение — это деятельность, которая осуществляется без посторонней помощи, а глагол kiss 'целовать' — напротив, глагол переходный, ведь для поцелуя обычно

¹⁾ Английский глагол to call имеет, в частности, значения и *вызывать*, и *называть*. — Прим. перев.

²⁾ Однако это возможно понять и как *Просим не рожать детей в баре*. — Прим. перев.

³⁾ Или не подаем. — Прим. перев.

требуется наличие и того, кто целует, и того, кого целуют. Согласно давно существующему в лингвистике мнению (признаваемому в теории Хомского и разделяемому некоторыми из оппонентов Хомского, например Чарлзом Филлмором в его «Грамматике падежей»), значение глагола оказывает влияние на конструкции, в которых глагол встречается, точно определяя небольшое количество ролей, которые могут при нем выполнять существительные^[15]. (Для обозначения этих ролей используется много разных терминов, в том числе «семантические роли», «падежные роли», «семантические отношения», «тематические отношения» и «аргументные роли».) Глагол, предполагающий наличие только действующего лица (как *snorer* 'храпун' у глагола *snore*), обычно является, что вполне естественно, интранзитивным, и действующее лицо выступает как подлежащее. Глагол, имеющий действующее лицо и объект, на который оказывается воздействие (как *kisser* 'целующий' и *kissee* 'тот, кого целуют'), преимущественно бывает транзитивным, причем агенс выступает в качестве подлежащего, а испытывающий воздействие объект — в качестве дополнения. Глаголы, указывающие на перемещение предметов с одного места на другое (как глагол *move* 'двигать, -ся'), принимают, кроме того, одно или несколько косвенных дополнений, как, например, словосочетание с предлогом *from* 'из, от', обозначающее отправную точку движения, и словосочетание с *to* 'к, по направлению к' для обозначения его цели.

Однако уже давно известно также, что соответствие между ситуацией, которая предполагается глаголом, и теми конструкциями, в которых глагол может выступать, оказывается в высшей степени неточным. В конечном счете именно глагол, а не лежащее в его основе понятие, играет решающую роль. Так, например, такое понятие, как «есть, употреблять в пищу» может лежать в основе как переходного глагола, скажем, в случае *devour the pate* 'съесть паштет' (нельзя сказать *Olga devoured* 'Ольга съела'), так и у непереходного глагола, например *dine* 'обедать' (невозможно сказать *Olga dined the pate* 'Ольга обедала паштет'). Во множестве случаев глагол отказывается выступать в конструкциях, которые исходя из его значения были, казалось бы, совершенно осмысленными. Если опираться исключительно на значение глагола, можно было бы ожидать, что вполне естественно сказать *Sal rumoured that Flo would quit* 'Сэл сплетничал, что Фло собирается уехать', или *The city destroyed* 'Город уничтожился', или *Boris arranged Maria to come* 'Борис устроил, чтобы Мэрайя пришла'. Однако хотя эти предложения абсолютно удобопонятны, для говорящих по-английски они звучат странно.

Для того чтобы дети могли усвоить и то, как носители английского языка воспринимают речь, они должны так или иначе овладеть всей этой системой: тем, что каждый глагол значит, в каких конструкциях он обычно встречается и какие роли играют сопровождающие его

в предложении различные существительные. Такова та кроличья нора, которую я предлагаю читателям исследовать, нора, ведущая нас в мир человеческих понятий и драматических событий, в которые они вовлечены.

Прежде чем мы спустимся в этот мир, я обязан объяснить, что означают утверждения «так сказать нельзя» или «то-то и то-то грамматически неправильно». Подобные суждения распространены в лингвистике очень широко: некоторое предложение при определенной интерпретации и в определенном контексте признается грамматически правильным, грамматически неправильным или его оценка оказывается в той или иной степени неопределенной^[16]. Эти утверждения не предназначены для того, чтобы охарактеризовать соответствующее предложение как правильное или неправильное в каком-либо объективном смысле (что бы это ни значило), не имеют их авторы также никаких полномочий от какого-либо Совета бессмертных, вроде Французской академии. Определение предложения как «грамматически неправильного» означает только то, что носители языка стараются подобных предложений не употреблять, морщатся, когда их слышат и считают, что они звучат странно.

Отметим также, что даже в тех случаях, когда предложение признано неграмматическим, оно тем не менее при некоторых обстоятельствах может быть употреблено. Существуют, например, определенные конструкции, в которых говорящие по-английски используют переходные глаголы как непереходные, например, когда кто-то из родителей говорит ребенку: *Justin bites — I don't want you to bite 'Джастин кусается — я не хочу, чтобы ты кусалась'*. Существуют также обстоятельства, когда мы, напротив, употребляем непереходные глаголы как переходные, например, когда мы говорим *Jesus died a long, painful death 'Иисус умер долгой, мучительной смертью'* (букв. 'умер долгую мучительную смерть'). Все мы допускаем в подобных случаях натяжки, когда загоняем себя в некий синтаксический угол или не можем найти другого способа выразить то, что мы хотим сказать, таковы, например, предложения *I would demur that Kepler deserves second place after Newton 'Я бы усомнился, что Кеплер заслуживает второго места после Ньютона'* или *That really threatened the fear of God into the radio people 'Это действительно навело божий страх и ужас на людей с радио'*. Когда предложение называют грамматически неправильным, хотят сказать, что оно звучит странно «при прочих равных условиях», — а именно: в нейтральном контексте, при обычном значении предложения и при отсутствии воздействия особых обстоятельств.

У некоторых людей вызывает недоумение распространенная у лингвистов практика выдавать собственные суждения о предложениях за объективные эмпирические факты. Опасность здесь заключается в том, что близкая сердцу лингвиста теория может подсознательно исказить

его суждение. Такая обеспокоенность вполне обоснованна, и действительно, в своих суждениях лингвисты могут заходить достаточно далеко. Одно из преимуществ изучения базовых когнитивных процессов заключается в том, что у исследователя всегда есть легкий доступ по крайней мере к одному образцу человеческого рода, который исследователь изучает, а именно к собственной персоне исследователя. Когда я был студентом и работал в лаборатории по изучению восприятия речи, я как-то спросил моего научного руководителя, когда мы наконец перестанем порождать тоны и анализировать их и начнем исследовать звуки. Научный руководитель поправил меня: вслушиваться в тоны и есть вести исследование, сказал он, поскольку он был уверен, что если некоторая последовательность звуков звучит определенным образом для него, она будет звучать совершенно так же и для любого другого нормального представителя человеческого рода. Для проверки на нормальность (и для удовлетворения требований, предъявляемых в научных журналах) мы время от времени платили студентам, чтобы они слушали звуки и нажимали кнопки в соответствии с тем, что они слышали, однако их результаты всегда подтверждали то, что мы слышали своими собственными ушами. Я последовал той же стратегии в психолингвистике и в десятках работ обнаружил, что средние данные, полученные добровольными помощниками, всегда совпадали с первоначальными субъективными суждениями лингвистов^[17].

Парадокс детской речи

Поставьте себя на место ребенка, который пытается научиться говорить на языке так, как говорят родители, друзья, а также братья и сестры. Вы усвоили несколько тысяч слов, и у вас есть смутное представление (разумеется, неосознанное) о различии между подлежащими, глаголами, прямыми и косвенными дополнениями. Число глаголов продолжает увеличиваться, и по мере овладения ими вам приходится решать, как вам их использовать. Просто знать, что глагол означает, оказывается недостаточно, потому что, как мы видели, глаголы со сходными значениями могут выступать в разных конструкциях (вспомним *dine* 'обедать' и *devour* 'поглощать' или *hinted* 'намекнул' и *gimoured* 'сплетничал'); вы вынуждены обратить внимание на то, какие участники сопровождают глагол в предложении.

Представьте себе, например, что вы впервые услышали глагол *load* 'нагружать' в таком предложении, как *Hal is loading hay into the wagon* 'Хэл нагружает сено в фургон'. Допустим, у вас есть представление о том, что значат слова данного предложения и, наблюдая за тем, что происходит, вы видите, что Хэл вилами бросает сено в фургон. Можно смело предположить, что будет зарегистрирована информация

о том, что глагол *load* встречается в предложении, где есть субъект, который обозначает того, кто нагружает (Хэл); имеется прямой объект, выражающий содержимое, которое перемещают (сено); и есть объект с предлогом *into* 'в, внутрь', указывающий на контейнер (фургон). Теперь вы способны строить или понимать новые предложения с тем же глаголом в той же конструкции, например, *May loaded some compost into the wheelbarrow* 'Мэй нагрузила компост в тележку'. (Лингвисты называют подобные конструкции контент-локативными конструкциями, потому что внимание в предложении сосредоточено на перемещаемом содержимом, которое выражено прямым дополнением.) Но это все, в чем вы пока уверены, — вы не осмеливаетесь сказать *May loaded* 'Мэй нагрузила' (имея в виду, что она загрузила нечто в нечто другое) или *May loaded into the wheelbarrow* 'Мэй нагрузила в тележку'.

Пока все идет хорошо. Однако через некоторое время вы слышите глагол *load* в новой конструкции, скажем, *Hal loaded the wagon with hay* 'Хэл загрузил фургон сеном'. Снова речь идет о сене, которое грузят в фургон. И, насколько вы можете судить, это предложение имеет такое же значение, что и уже знакомое вам предложение *Hal loaded the hay into the wagon*. Вы можете теперь внести добавление в словарную статью глагола *load* в вашем ментальном словаре: глагол *load* может также выступать в конструкции с подлежащим (*the loader* 'тот, кто грузит'), прямым дополнением (контейнер, такой как *wagon*) и косвенным дополнением с предлогом *with* 'с' (содержимое, в данном случае *hay*). Лингвисты называют такую конструкцию контейнер-локативной, потому что в ней внимание сфокусировано на вместилище, на контейнере, и именно он является коммуникативным центром.

По мере того как вы продолжаете усваивать глаголы на протяжении месяцев и лет, вы встречаете другие глаголы, которые ведут себя подобно глаголу *load*; они появляются в двух конструкциях, которые являются синонимичными, но различаются тем, содержимое или контейнер выступает в качестве прямого дополнения:

Jared sprayed water on the roses.

Джейрд брызгал воду на розы.

Jared sprayed the roses with water.

Джейрд обрызгал розы водой.

Betsy splashed paint onto the wall.

Бетси брызгала краску на стену.

Betsy splashed the wall with paint.

Бетси обрызгала стену краской.

Jeremy rubbed oil into the wood.

Джеремии втирал олифу в дерево.

Jeremy rubbed the wood with oil.

Джеремии: натер дерево олифой.

Это начинает походить на некоторую модель (лингвисты называют такое явление чередованием, или альтернативой), и тут вы оказываетесь перед лицом решающего выбора. Следует ли вам продолжать накапливать такие пары глаголов, регистрируя их в памяти пара за парой? Или же следует совершить скачок веры и предположить, что любой глагол, встречающийся в одной из таких конструкций, может встречаться и в другой из этих конструкций? Тогда полученное обобщение можно будет использовать более широко, сформулировав его в виде правила, гласящего примерно следующее: «Если некий глагол встречается в контент-локативной конструкции, он может также встречаться и в контейнер-локативной конструкции, и наоборот». Имея на руках такое правило (его можно назвать правилом локативных конструкций, или локативным правилом), услышав, как кто-то произнес *brush paint onto the fence* ‘наносить краску на изгородь’, вы сможете догадаться, что *brush the fence with paint* также вполне правильно, хотя в действительности вы этого словосочетания никогда не встречали. Аналогичным образом, услышав предложение *Babs stuffed the turkey with breadcrumbs* ‘Бэбз начинила индейку хлебными крошками’, вы будете уверены, что *Babs stuffed breadcrumbs into the turkey* ‘Бэбз набила хлебные крошки в индейку’ также звучит нормально.

Это представляет собой маленький шаг к овладению языком, но шаг в правильном направлении. Английский язык изобилует рядами конструкций, допускающих чередование глаголов, и, если детям удастся определить модели и распространить их на новые глаголы, они смогут значительно ускорить процесс овладения языком, увеличив среднее число конструкций на глагол. Это был бы важный шаг к превращению ребенка в свободно владеющего языком человека, в отличие от человека, который просто выдавливает из себя небольшое количество формул.

Здесь, однако, существует одна проблема. Если локативное правило применяется без размышлений везде, это приводит к многочисленным ошибкам. Например, если применить его к предложению *Amy poured water into the glass* ‘Эми налила воду в стакан’, мы получим *Amy poured the glass with water* ‘Эми налила стакан водой’, а такое предложение носители английского языка отвергают (я проверил это по опросным листам)^[18]. Можно также попасть впросак, если применить локативное правило в другом направлении — к глаголам типа *fill* ‘наполнять’: хотя исходное предложение *Bobby filled the glass with water* ‘Бобби наполнил стакан водой’ звучит нормально, получившееся предложение *Bobby filled water into the glass* ‘Бобби наполнил воду в стакан’ вызывает возражения (это также подтверждают опросы)^[19]. И такие примеры отнюдь не являются изолированными исключениями. Многие другие глаголы также сопротивляются применению к ним локативного правила. Вот четыре других несогласных глагола, два из

которых признают только контент-локативную конструкцию, а два других — только контейнер-локативную. (Следуя принятой в лингвистике традиции, я отмечаю звездочкой предложения, которые для носителей английского языка звучат странно.)

Tex nailed posters onto the board.

Текс прибил объявления к доске.

*Tex nailed the board with posters.

Текс прибил доску объявлениями.

Serena coiled a rope around the pole.

Сирин обвила веревку вокруг столба.

*Serena coiled the pole with a rope.

Сирин обвила столб веревкой.

Ellie covered the bed with an afghan.

Элли накрыла кровать шерстяным покрывалом.

*Ellie covered an afghan onto the bed.

Элли накрыла шерстяное покрывало на кровать.

Jimmy drenched his jacket with beer.

Джимми промочил куртку пивом.

*Jimmy drenched beer into his jacket.

Джимми промочил пиво в куртку.

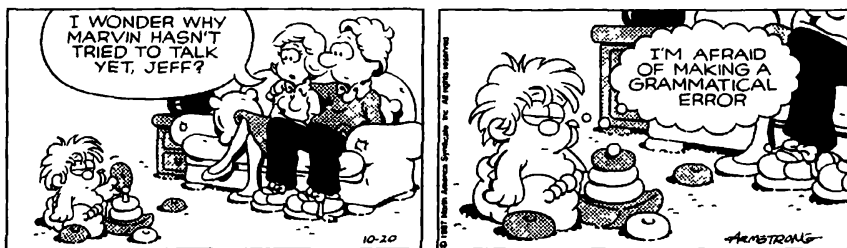
Это странно... Почему второе предложение в каждой паре звучит так непривычно? Нельзя ведь сказать, что эти вызывающие неприятие предложения невразумительны. Вряд ли кто-нибудь усомнится в значении предложений Amy poured the glass with water или Jimmy drenched beer into his jacket. Но язык не есть просто набор способов, которые люди смогли придумать для передачи сообщений. И дети в конце концов приходят к осознанию строгого соглашения, по которому иногда придирчиво исключаются вполне доброкачественные средства коммуникации. Но по какой причине? И как же дети добиваются успеха в овладении бесконечным языком, если правила, которые им показалось правильным постулировать, лишь приносят неприятности, порождая конструкции, вызывающие отторжение у других говорящих? Как им понять, что некоторые упрямые глаголы **не могут** выступать в совершенно нормальных конструкциях?

Сходная головоломка возникает, если изменить подход к данной проблеме и признать ребенка господином, а язык — рабом. Как же вообще дошел до нас английский язык со всеми этими глаголами-исключениями, при том что первое же поколение детей, столкнувшееся с необходимостью их усвоения, должно было бы попытаться привести их к единообразию?

Существуют три возможных объяснения этой парадоксальной ситуации, но ни одно из них нельзя признать удовлетворительным. В первом случае мы (и тот гипотетический ребенок, которого мы создали

в нашем воображении) исходим из предположения, что правило было сформулировано нами слишком широко. Возможно, локативное правило применимо только к какой-нибудь подсистеме глаголов, объединенных неким общим признаком, который остался незамеченным, а дети каким-то образом обнаружили это ограничение и присоединили его к правилу в качестве дополнительного условия. Однако, если такой общий признак действительно существует, он далеко не очевиден, потому что глаголы, подчиняющиеся правилу, и глаголы, которые правилу не подчиняются, очень близки по значению. Например, глаголы *pour* 'наливать', *fill* 'наполнять' и *load* 'нагружать' все означают способы перемещения чего-либо куда-либо, и все они предполагают сходный состав исполнителей: того, кто перемещает, содержимое, которое подвергается перемещению, и вместилище, которое является конечной целью перемещения. И тем не менее глагол *pour* допускает только контент-локативную конструкцию (*pour water*), *fill* встречается только в контейнер-локативной конструкции (*fill the glass*), а *load* может выступать в обоих типах конструкций (*load the hay, load the wagon*).

При втором объяснении сложившейся ситуации предполагается, что дети вообще не создают никаких правил. Возможно, они в действительности откладывают в памяти только те сочетания глаголов и конструкций, которые они слышали в речи взрослых, и будучи консерваторами, строго придерживаются именно этих сочетаний. Если принять такую теорию, тогда дети окажутся похожими на Марвина из одноименного комикса:



Marvin—NAS, North American Syndicate

Мама: Не понимаю, Джефф, почему Марвин до сих пор не попытался говорить?

Марвин: Я боюсь сделать грамматическую ошибку.

Что ж, это несомненно решило бы проблему. У детей тогда ни за что не возникло бы соблазна сказать *pour the cup with juice* 'налить чашку соком' или *cover an afghan onto the bed* 'накрыть шерстяное покрывало на кровать', потому что они никогда не слышали бы ничего подобного от окружающих. Глаголы сохраняли бы свои особенности вечно, потому что дети усваивали бы конструкции для каждого глагола отдельно,

подобно тому, как они усваивают сами слова, — каждое как уникальное соединение звучания и значения.

Некоторые лингвисты восприняли эту гипотезу всерьез, но она, по-видимому, неверна^[20]. Во-первых, было бы удивительно, если бы дети оказались настолько консервативными, учитывая, что им предстоит овладеть бесконечным языком, а у них для этого в распоряжении есть только ограниченная выборка речевых примеров. Во-вторых, английский язык обогащается, по-видимому, достаточно быстро, принимая новые глаголы в новых конструкциях, и это позволяет думать, что по крайней мере к тому времени, когда дети взрослеют, они не являются консервативными запоминателями глаголов. Большинство американцев, услышав англицизм *He hoovered ashes from the carpet* 'Он собрал пылесосом пепел с ковра' (контент-локативная конструкция), без всякого труда сделает обобщение и построит *He hoovered the carpet* 'Он пропылесосил ковер' (конструкция контейнер-локативная). Аналогичным образом, когда в широкое употребление вошли контейнер-локативные конструкции *burn a CD 'записать (нарезать) на компакт-диск'*, *rip a CD 'скачать с компакт-диска'*, за ними очень скоро последовали контент-локативные конструкции *burn songs onto the CD 'записать песни на компакт-диск'* и *rip songs from the CD 'скачать песни с компакт-диска'* (возможно порядок появления конструкций был обратный)^[21].

Наблюдаются ли подобные скачки только в речи взрослых или их можно встретить также и у детей, когда они усваивают язык? Психолог Мелисса Бауэрман, как это обычно делают многие психолингвисты, вела тщательные дневниковые записи речи своих детей, когда они были маленькими, фиксируя и анализируя каждое аномальное явление. Она засвидетельствовала, что дети действительно используют глаголы в конструкциях, которые они не могли просто воспроизвести вслед за родителями^[22]. Вот три примера носящих абсолютно творческий характер контент-локативных конструкций и три примера креативных контейнер-локативных конструкций:

Can I fill some salt into the bear?

Можно наполнить немного соли в медведя?

I'm going to cover a screen over me.

Я собираюсь накрыть москитную сетку на себя.

Feel your hand to that.

Потрогай свою руку к этому.

Look, Mom, I'm gonna pour it with water, my belly.

Послушай, мам, я собираюсь налить его водой, мой животик.

I don't want it because I spilled it of orange juice.

Он мне не нужен, потому что я пролил его апельсиновым соком.

I hitted this into my neck.

Я ударил это в мою шею.

Чтобы получить гарантию, что эти примеры не представляют собой редкие речевые ошибки исключительно одаренных детей, психолог Джесс Гроупен и я в сотрудничестве подтвердили эти факты двумя способами. Сначала мы тщательно проанализировали корпуса живой речи детей и обнаружили там аналогичные ошибки^[23]. Кроме того, мы использовали метод оценки обобщений — так называемый **ваг-тест** (*wug-test*), предложенный в классическом исследовании психолога Джин Берко Глисон^[24]. Глисон показывала детям анимационное изображение маленькой птички и говорила: «Это **ваг**. А вот теперь их двое. Вот два...» — и в этом месте четырехлетки радостно заполняли пропуск формой *wugs*, которую они никак не могли услышать в речи взрослых. В нашем случае мы говорили детям, что ‘мупирование’ (*mooring*) означает ‘перемещать губку к багровому куску ткани, окрашивая его в зеленый цвет’ (*to move a sponge to a purple cloth, turning it green*). Можете не сомневаться, — детишки сказали, что мы ‘мупировали ткань’ *were mooring the cloth*, то есть употребили контейнер-локативную конструкцию, которую они не могли услышать от кого-либо раньше^[25]. Вот вам и консервативный Марвин.

Обратимся, наконец, к третьему предложенному объяснению парадокса. Возможно, дети и допускают ошибки, но родители поправляют их и тем самым навсегда удерживают детей от употребления глагола-диссидента в неподходящей конструкции. Это, однако, тоже маловероятно. Несмотря на весьма распространенное среди психологов мнение, что родители в ответе за все, что происходит с их детьми, попытки показать, что родители исправляют нарушающие норму предложения своих детей или хотя бы как-то иначе реагируют на них, практически отсутствуют^[26]. Родители гораздо больше озабочены в речи детей значением, а не формой, и когда они пытаются поправлять детей, те обращают на это мало внимания. Следующий обмен репликами весьма типичен:

Child: I turned the raining off.

Ребенок: *Я выключил дождик.*

Father: You mean you turned the sprinkler off?

Отец: *Ты хочешь сказать, что выключил разбрызгиватель?*

Child: I turned the raining off of the sprinkler.

Ребенок: *Я выключил дождик разбрызгивателя.*

Даже если бы родители действительно время от времени выражали неодобрение по поводу необычного словоупотребления своих детей и дети бы к этому прислушивались, полученного эффекта для решения проблемы все равно оказалось бы недостаточно. Многие глаголы, имеющие нетрадиционную грамматическую ориентацию, встречаются редко, и тем не менее люди интуитивно чувствуют, как эти глаголы могут употребляться, а как не могут. Люди ощущают, что никогда

не сказали бы They festooned ribbons onto the stage ‘Они украсили гирлянды на сцену’ или She siphoned the bottle with gasoline ‘Она накачала бутылку бензином’, хотя согласно подсчетам частотности слов, эти глаголы встречаются буквально один на миллион слов^[27]. Вряд ли можно предположить, что каждый носитель английского языка в какой-то момент в детстве (или пусть даже в юности) произнес каждый из глаголов-бунтарей в каждой из неподходящих для того конструкций, что ему указали на ошибку и что теперь, благодаря этому эпизоду в его жизни, он осознает, что такое употребление неправильно.

Перед нами, таким образом, парадокс — четыре противоречащих друг другу утверждения^[28]. Люди строят обобщения с самого детства. С другой стороны, они избегают обобщений в отношении некоторых слов (по крайней мере во взрослом состоянии). Далее, это происходит не потому, что их поправляли в каждом случае, когда их обобщения были чрезмерными. И наконец, не существует регулярного различия между словами, которые подчиняются обобщению, и словами, которые ему сопротивляются. Однако эти четыре утверждения не могут все быть истинными одновременно.

Но зачем же так беспокоиться о том, что кажется столь незначительной проблемой, находящейся отнюдь не на переднем плане психолингвистики? Причина заключается в том, что трудности усвоения локативных конструкций типичны для многих парадоксов, которые возникают при объяснении явлений языка, поскольку в языке сплошь и рядом встречаются частичные модели, слишком соблазнительные, чтобы их можно было игнорировать, но и слишком опасные, чтобы их можно было не раздумывая применять. В книге «Безумный английский язык» языковой эксперт Ричард Ледерер привлекает наше внимание к некоторым из них:

If adults commit adultery, do infants commit infantry? If olive oil is made from olives, what do they make baby oil from? If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian consume? A writer is someone who writes, and a stinger is something that stings. But fingers don't fing, grocers don't groce, hammers don't ham, humdingers don't humding, ushers don't ush, and haberdashers don't haberdash...

...If the plural of tooth is teeth, shouldn't the plural of booth be beeth? One goose, two geese—so one moose, two meese? If people ring a bell today and rang a bell yesterday, why don't we say that they flang a ball? If they wrote a letter, perhaps they also bote their tongue^[29].

Если взрослые совершают адюльтер, то что — младенцы служат в пехоте? Если оливковое масло делают из оливок, то из чего же делают детский лосьон?¹⁾

¹⁾ Игра слов: adult, infant ‘взрослый, младенец’ — adultery, infantry ‘адюльтер, пехота’; olive oil ‘оливковое масло’ — baby oil ‘детский лосьон’. — Прим. перев.

Если вегетарианец ест овощи, то что же потребляет гуманитарий?¹⁾ Пи-сатель — это тот, кто пишет, жало — это то, чем жалят. Но пальцы не пальцают, бакалейщик — не бакалеит, молотки — не молотят, молодецкие парни — не молодечат, швейцары — не швейцарят, а галантерейщики — не галантереят...²⁾

...Если формой множественного числа от tooth 'зуб' является teeth 'зубы', то разве не должно множественным числом от booth 'будка' быть beeth?³⁾ Один гусь — goose, два гуся — geese, тогда и один лось — moose, а два лося — meese?⁴⁾ Если люди ring a bell (today) 'звонят в звонок (сегодня)' и rang a bell (yesterday) 'звонили в звонок (вчера)', почему же мы не говорим, что они flang a ball 'бросили мяч'?⁵⁾ Если люди говорят, что они wrote a letter 'написали письмо', может, они тогда и — bote their tongue 'прикусили язык'⁶⁾.

Каждое из подобных странных явлений представляет собой для лингвистики и психологии особую научную проблему. Случаи, о которых говорится во втором абзаце приведенного текста, — нерегулярные формы множественного числа существительных и прошедшего времени глагола — достаточно сложны, и я написал о них книгу и много статей, пытаясь добраться до сути проблемы^[30]. К сожалению, наиболее удачное, на мой взгляд, решение этой головоломки здесь нам помочь не может. Нерегулярные формы типа teeth 'зубы' и rang 'звонил' лингвисты называют позитивными исключениями: они существуют несмотря на то, что не образуются на основе общепринятых правил «Добавьте суффикс -s для образования формы множественного числа или суффикс -ed для образования формы прошедшего времени». Дети выучивают их, каждую в отдельности, слыша, как их употребляют в речи другие люди. Кроме того, мы довольно хорошо представляем себе, как дети используют позитивные исключения, чтобы пустить в ход или, наоборот, заблокировать формы, построенные согласно правилам, так чтобы не получились формы flang или meese. Спряжение и склонение устроены в виде строгих парадигм, где каждому глаголу, как правило, приписана только одна форма прошедшего времени, а каждому

¹⁾ Обыгрывается созвучие конечных частей слов: vegetarian, humanitarian 'вегетарианец', 'гуманитарий'. Ср. vegetables 'овощи' и a human 'человеческое существо'. — Прим. перев.

²⁾ Хотя большинство приведенных сопоставлений некорректно и использовано явно в юмористических целях, речь здесь идет о важной проблеме — о грамматическом своеобразии языков фузионного строя: многозначности и нестандартности существующих в них аффиксов и о возможности срастания их с корнями слов, а также о морфологических процессах опрошения, переразложения и так называемой «народной этимологии». — Прим. перев.

³⁾ Правильная форма — booths. — Прим. перев.

⁴⁾ Правильная форма — неизменяемое moose. — Прим. перев.

⁵⁾ Правильная форма прошедшего времени от глагола fling 'бросать' — flung. — Прим. перев.

⁶⁾ Правильная форма прошедшего времени от глагола bite 'кусать' — bit. — Прим. перев.

существительному только одна форма множественного числа. Когда ребенок слышит *Boggs flung the ball* 'Боггз швырнул мяч' или *Vern shot two moose* 'Верн застрелил двух лосей', эти нерегулярные формы предьявляют права на свои ячейки в ментальной матрице и вытесняют оттуда конкурирующие с ними формы *flang* и *meese* (а наряду с ними и такие формы, как *flinged* и *mooses*)^[31].

В отличие от этого, несоответствия, связанные с глагольными конструкциями, — это исключения негативные: они отсутствуют несмотря на то, что правило, казалось бы, их порождает. У детей нет прямых свидетельств, основанных на речи их родителей, что такие формы грамматически неправильны. Тот факт, что дети не слышали их в речи, не является, конечно, само по себе доказательством — вспомним поговорку о собаке, которая не лаяла¹⁾, — потому что существует бесконечное количество абсолютно правильных с грамматической точки зрения форм, которые им также не встретились в речи, и все эти формы дети никак не могут исключить, иначе они оказались бы на уровне попугаев. Не могут они также и использовать вместо них какие-либо конкурирующие формы, которые заняли бы их место (подобно тому, как *flung* вытесняет формы *flinged* и *flang*), потому что глагольные конструкции, в отличие от парадигмы спряжения, не упорядочены в виде аккуратных ячеек. Причина, по которой нельзя сказать *pin a board with posters* 'прикалывать доску объявлениями' или *coil the pole with a rope* 'наматывать столб веревкой', заключается не в том, что каждая из этих конструкций вытесняется тем или иным синонимом, защищающим свое грамматическое место под солнцем, подобно тому как *flung* оттесняет *flang* или *flinged*. В английском языке не существует глагола, который позволил бы сказать о покрытии доски прикалываемыми к ней объявлениями с помощью контейнер-локативной конструкции.

Парадокс, связанный с усвоением глаголов, заслуживает внимания еще по одной причине. Где-то на полпути нашего движения от широкомасштабного взгляда на человеческое мышление к проблеме усвоения локативных конструкций я сказал, что овладение языком представляет собой пример индукции — случай построения обобщенных обобщений относительно будущего на основе ограниченного материала, доступного в настоящем, независимо от того, идет ли речь об усваивающем язык ребенке, об обучении с помощью компьютера или о создании теории ученым. Трудность, с которой мы здесь сталкиваемся, характерна для индукции всех видов: как удержаться от чрезмерно обобщенной гипотезы, если отсутствуют отрицательные

¹⁾ Возможно, имеется в виду поговорка *Beware of a silent dog and still water* 'Опасайся молчащей собаки и тихой заводи' (то есть за этим может многое скрываться), ср русск «В тихом омуте черти водятся» — *Прим перев*

факты, противоречащие этой гипотезе^[32]. Если вывод сформулирован слишком широко и нет полной корректирующей обратной связи с реальным миром (например, если вы выросли, считая, что все лебеди являются белыми, и никогда не были в Новой Зеландии, где вы могли бы увидеть черных лебедей), существует опасность, что вы никогда не обнаружите своей ошибки. В рассматриваемом нами случае гипотетический ребенок испытывает соблазн сделать обобщение, что все глаголы, означающие перемещение чего-либо куда-либо, могут употребляться в любой из двух локативных конструкций английского языка. Тем не менее дети каким-то образом становятся взрослыми, которые строят обобщения, выходя за пределы тех глаголов, которые им довелось услышать, и при этом опасливо воздерживаются от употребления некоторых глаголов, которые им не встречались. Локативная конструкция (наряду с другими, аналогичными конструкциями) преподносит нам парадокс, свидетельствуя, что ребенок усваивает то, что усвоить, казалось бы, невозможно, и таким образом оказывается в центре внимания лингвистов и компьютерщиков, интересующихся логикой усвоения знаний в широком смысле.

Природа отнюдь не стремится нас озадачить. Если какое-то явление представляется необъяснимым, как бы мы к нему ни подходили, существует вероятность того, что мы проглядели некий более глубокий закон о функционировании мира. Именно это произошло в случае парадокса с усвоением локативных глаголов, а не замеченные нами закономерности связаны с типами понятий, населяющих человеческий мозг.

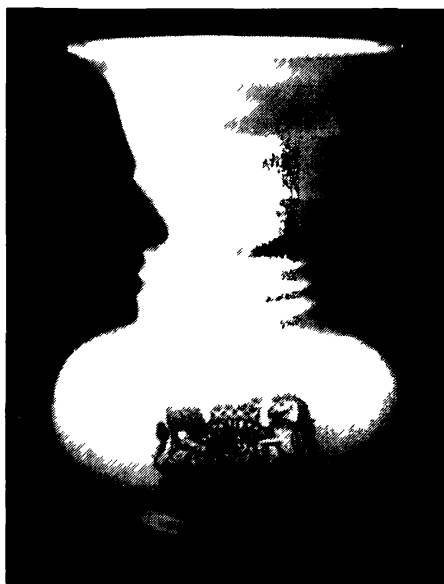
Изменение концептуальной структуры (фрейма)

Из приведенных выше четырех не вызывающих сомнения утверждений, которые не могут все быть истинными одновременно, — а именно: что люди делают обобщения; что они стараются избегать употребления некоторых исключений; что исключения непредсказуемы; и, наконец, что у детей не поправляют каждую допущенную ими ошибку, — наиболее уязвимым является утверждение о непредсказуемости исключений, согласно которому невозможно отличить глаголы, которые принимают участие в альтернации локативных конструкций, от тех, которые в ней не участвуют. Возможно, мы просто были недостаточно внимательны. Нередко языковая модель, которая сначала кажется бессистемной, имеет, как выясняется, уточнение, позволяющее отделить овец от козлиц. Например, тайна того, почему к некоторым прилагательным нельзя присоединять суффиксы степеней сравнения -er

и -est, как в случае *specialer 'более специальный' и *beautifullest 'самый красивый', была раскрыта, когда кто-то заметил, что данные суффиксы присоединяются только к односложным словам (redder 'краснее', nicer 'приятнее', older 'старше') или в крайнем случае только к словам, у которых второй слог — слабый (prettier 'миловиднее', simpler 'проще', narrower 'уже'). Возможно, существует также и некий тонкий критерий, который позволит отличить глаголы-рекруты, призванные к участию в локативной конструкции, от глаголов, уклоняющихся от призыва, — то, что Бенджамин Ли Уорф назвал криптотипом^[33]. Если окажется, что правила, создаваемые детьми, чувствительны к этому критерию, парадокс исчезнет. Этот скрытый критерий вряд ли связан со звучанием глаголов, поскольку в этом отношении глаголы обнаруживают значительное сходство; гораздо более вероятно, что такой критерий затрагивает их значение.

Прорыв в решении этого вопроса, как я полагаю, был сделан в исследовании двух лингвистов — Малки Рапппорт Ховав и Бет Левин, которые когда-то работали по соседству со мной в Массачусетском Технологическом Институте^[34]. Под влиянием Хомского лингвисты обычно склонны представлять правила как операции, позволяющие вырезать и вставлять словосочетания, как, например, передвижение дополнения с предлогом влево в положение прямого дополнения или перемещение прямого дополнения вправо в положение дополнения с предлогом^[35]. Именно при таком умонастроении столь странным казалось, что для локативного правила может быть существенно значение глагола, подобно тому как показалось бы странным, если бы ваш текстовый редактор вдруг объявил бы, что отказывается вырезать и вставлять слова с некоторыми значениями, и в то же время послушно продолжал бы это делать с другими словами. Однако что, если это правило трансформирует не аранжировку словосочетаний в конструкции, а нечто гораздо более абстрактное — фреймовое представление событий, входящее в ее значение?

Представим себе, что значением контент-локативной конструкции является «А каузирует, чтобы В переместилось к С», а значение контейнер-локативной конструкции — «А каузирует В изменить состояние (каузируя, чтобы В переместилось к С)». Иными словами, загружая сено в фургон, мы воздействуем на сено (а именно, заставляем его переместиться в фургон), а когда мы загружаем фургон сеном, мы воздействуем на фургон (а именно, каузируем, чтобы фургон загрузился сеном). Получаются два разных структурирования одного и того же события, что отчасти похоже на сдвиг концептуальных структур (гештальтов) в классическом случае обмана зрения «лицо—ваза», при котором изображение и фон меняются в сознании человека местами.



Классический пример оптической иллюзии «лицо—ваза»

В предложениях о сене и фургоне колебание между изображением и фоном происходит не в воображении, а в самом мышлении — в интерпретации того, что реально составляет суть данного события.

Г
Л
А
В
А

2

На первый взгляд, различие между каузацией того, чтобы нечто переместилось в какое-либо место, и каузацией изменения места посредством перемещения туда чего-либо может показаться такой же изощренной казуистикой, как спор о том, представляет ли собою разрушение Международного торгового центра в Нью-Йорке одно событие или два, — вопрос «чистой семантики». Но, если вспомнить, какие огромные деньги были на кону после 11 сентября, цена «чистой семантики» может оказаться весьма существенной.

Во-первых, это новое понимание явления представляется более простым и более элегантным — это не всегда знак того, что теория является истинной, но это никак нельзя сбрасывать со счетов. Если подойти к локативному правилу с позиции сдвига в понятииной структуре, его применение уже больше не кажется просто занятием, сводящимся к удалению и вставке словосочетания усложненным образом и неизвестно для какой цели. Его теперь можно представить в виде двух очень общих и продуктивных правил.

- **Правило семантического переструктурирования (сдвига гештальта):** Если какой-то глагол означает «А является причиной В переместиться в С», он может также означать «А является причиной С изменить свое состояние, переместив в него В».

- **Правило соединения значения с формой:**

Выражай объект воздействия как прямое дополнение.

В конструкции контент-локативной (load hay onto the wagon 'загружать сено в фургон') hay 'сено' выступает в качестве прямого дополнения, потому что событие структурируется как нечто, причиняемое **сену**. В контейнер-локативной конструкции (load the wagon with hay 'загружать фургон сеном') прямым дополнением является the wagon 'фургон', потому что теперь событие структурировано как нечто, причиняемое **фургону**. Остальные правила, устанавливающие связь между значением и формой, определяют способы выражения других участников события. Так, одно правило связывает каузирующий агент (человека, забрасывающего сено) с подлежащим. Другое правило связывает различных участников события с косвенными дополнениями, и каждый из них получает соответствующий его значению предлог. Предлог into означает 'по направлению в', иначе говоря 'во внутреннюю часть чего-либо'; onto значит 'по направлению на'; with имеет значение 'орудие для изменения чего-либо'.

Несмотря на то что вместо одного правила мы предложили несколько, картина в целом становится более простой, потому что, как мы увидим, эти правила могут быть многократно использованы в самых разных комбинациях и применительно к самым разным явлениям языка. Теперь, к нашему полному удовлетворению, мы можем объяснить, **почему** локативное правило действует именно так, как оно действует. Компонент wagon 'фургон' **вынужден** изменить свой статус косвенного дополнения на прямое дополнение (а не быть вставленным в какую-либо старую позицию), потому что этот участник события интерпретируется как «сущность, испытывающая воздействие», а объекты воздействия, независимо от того, предметы ли это, меняющие свое месторасположение, или предметы, меняющие свое состояние, в синтаксисе языка выражаются как прямое дополнение.

Я уже говорил, что причина того, почему в книге, посвященной природе человека, мы столько времени уделяем локативным конструкциям, заключается в том, что это помогает нам понять, как люди мыслят. Одно из таких открытий было указано в первой главе: человеческий мозг способен осмыслить одну и ту же ситуацию самыми разными способами. Теперь же мы видим, что эта способность настолько всеобъемлюща, что не только вызывает столкновение мнений относительно «оккупации Ирака» в противовес «освобождению Ирака» или по поводу понимания аборта как «манипуляции со спиралью клеток» или как «убийства живого существа» — в подобных случаях возможность разной интерпретации события никого не удивляет. Мы видим теперь, что эта способность распространяется на то, как мы трактуем даже самые простые, самые конкретные и самые обыденные

события повседневной жизни, такие как загрузка сена в фургон или начинка индейки хлебными крошками.

Внимательный анализ локативной конструкции не только показывает, что структурирование и переструктурирование событий является основополагающим свойством процесса познания, он позволил также установить те элементы, которые составляют каждое из таких построений, и даже некоторые из их причудливых особенностей. Из теории сдвига концептуальных структур — гештальтов — следует, что вопреки первому впечатлению две локативные конструкции не являются абсолютными синонимами. Возможны, по-видимому, ситуации, когда одна из конструкций полностью применима, тогда как другая там неуместна. И в этом-то как раз все и дело.

Когда некто loads hay onto the wagon *'загружает сено в фургон'*, количество сена никак не уточнено, это может быть даже просто пара охапок. Но когда кто-то loads the wagon with hay *'загружает фургон сеном'*, предполагается, что фургон полон^[36]. Это тонкое различие, которое лингвисты называют холистическим эффектом, можно видеть и на примере других локативных глаголов: to spray the roses with water *'обрызгать розы водой'* подразумевает, что будут обрызганы все розы (в отличие от просто to spray water onto the roses *'побрызгать воды на розы'*), а to stuff turkey with breadcrumbs *'начинить индейку хлебными крошками'* означает, что индейка начинена крошками полностью.

Холистический эффект — это не произвольное условие, добавленное к правилу, подобно так называемой поправке о «казенном пироге»¹⁾. Он возникает из самой природы правила, а именно из того, что согласно локативному правилу контейнер осмысливается как нечто испытывающее воздействие. А это, в свою очередь, открывает нам интересную особенность того, как мозг осознает, что представляют собой явления и как они изменяются. Оказывается, что холистический эффект не ограничивается только локативными конструкциями, но применим к прямым дополнениям вообще. Например, предложение Moondog drank from the glass of beer *'Мундог отпил пиво из стакана'* (где the glass *'стакан'* является косвенным дополнением с предлогом from *'из'*) предполагает, что агент сделал из стакана всего пару глотков. В то же время предложение Moondog drank the glass of beer *'Мундог выпил стакан пива'* (где the glass — прямое дополнение) означает, что он выпил все пиво. Аналогичным образом можно сказать, что He climbed up the mountain *'Он взбирался на гору'*, даже если на полпути он передумал и спустился вниз, но если мы скажем He climbed the mountain *'Он взобрался на гору'*, это будет означать, что, как мы полагаем, он

¹⁾ В соответствии с этой поправкой местным жителям американских штатов предоставляются из федерального бюджета субсидии и некоторые скидки по расчетным счетам. — *Прим. перев.*

достиг вершины. Вдумаемся также в различие между предложениями в каждой паре, хотя на первый взгляд эти предложения кажутся синонимичными:

Peter painted on the door.

Питер красил дверь.

Peter painted the door.

Питер покрасил дверь.

Betty put butter on the bun.

Бетти намазывала масло на булочку.

Betty buttered the bun.

Бетти намазала булочку маслом.

Polly removed peel from the apple.

Полли очищала яблоко от кожуры.

Polly peeled the apple.

Полли очистила яблоко от кожуры.

В каждой паре второе предложение, в котором объект воздействия выражен как прямое дополнение, подразумевает, что воздействию подвергся весь объект в целом, не только какая-то его часть: дверь была целиком покрашена, булочка была тщательно намазана маслом, а с яблока была полностью срезана кожа.

Однако холистический эффект является еще более всеобъемлющим. Это не столько свойство прямого дополнения (что есть всего лишь некая позиция в предложении), сколько свойство **понятия**, обычно выражаемого как прямое дополнение, а именно как сущность, на которую оказывается воздействие. В примерах, приведенных выше, сущность, на которую оказывается воздействие, выражена в качестве прямого дополнения, потому что когда в предложении есть каузирующий субъект действия, он обычно имеет преимущественное право на слот подлежащего. Но если действующее лицо в предложении не упоминается, подлежащим может стать объект воздействия — пациент, как в предложениях *The ball rolled* 'Мяч покатился' или *The butter melted* 'Масло растаяло'. И самое главное состоит в том, что когда подлежащим становится сущность, подвергающаяся воздействию, подлежащее начинает интерпретироваться холистически, подобно прямому дополнению. Особенно отчетливо это видно на примере следующих милых пар:

Bees are swarming in the garden.

Пчелы роятся в саду.

The garden is swarming with bees.

Сад кишит пчелами.

Juice dripped from the peach.

Сок тек из персика.

The peach was dripping with juice.
Персик истекал соком.

Ants crawled over the gingerbread.
Муравьи расплозились по прянику.

The gingerbread was crawling with ants.
Пряник кишел муравьями.

Во втором предложении каждой пары возникает наглядный образ некой сущности, настолько насыщенной каким-то веществом или частицами, что в мозгу сущность и наполнитель сливаются и мозг осмысляет сущность в целом как совершающую то, что обычно делает вещество или частицы: сад кишит (пчелами), персик истекает (соком), пряник кишит (муравьями).

Однако возникает вопрос: **почему** в подобных конструкциях содержимое трактуется как целое? Причина состоит в том, что в английском языке **изменяющаяся** сущность (загруженный фургон, обрызганные розы, окрашенная дверь) трактуется так же, как сущность **перемещающаяся** (загруженное сено, обрызгивающая вода, нанесенная краска). Состояние понимается как некоторое местоположение в пространстве возможных состояний, а изменение приравнивается к движению из одного местоположения в другое в этом пространстве состояний. Таким способом локативные конструкции иллюстрируют второе открытие, сделанное нами в таинственном мире, куда мы спустились по кроличьей норе, — повсеместную распространенность явления метафоры в нашем обыденном языке. Лингвист Рэй Джекендофф исследовал, как многие слова и конструкции, используемые для обозначения перемещения, расположения или воспрепятствования перемещению в физическом пространстве, употребляются также для метафорического выражения перемещения, расположения и воспрепятствования перемещению в пространстве состояний^[37].

Pedro went from first base to second base.
Педро переместился с первой базы на вторую.

Pedro went from sick to well.
Педро перешел от болезни к выздоровлению.

Pedro was at the second base.
Педро был на второй базе.

Pedro was sick.
Педро был болен.

The manager kept Pedro at first base.
Тренер задержал Педро на первой базе.

The doctor kept Pedro well.
Доктор поддерживал Педро в хорошем состоянии.

В первом предложении тело Педро реально переместилось в пространстве, тогда как во втором предложении он мог бы все время находиться в постели; перемещалось, говоря метафорически, только его **здоровье**. Понятия, относящиеся к области пространства, затрагивают также и другие понятия, как мы видели в первой главе, когда отмечали, что люди считают и измеряют события, как если бы это были предметы, сделанные из некоей субстанции времени. Люди также используют пространство как модель абстрактного континуума, когда говорят о rising 'повышении' или falling 'падении' своей зарплаты, своего веса или своего настроения^[38] или когда они на миллиметровке точками отмечают самые разные данные^[39]. Считать ли утверждение об общераспространенности метафоры революционным открытием в изучении мышления человека, банальным фактом в изучении истории языка или чем-то средним между этими крайними точками зрения, этот вопрос будет рассмотрен в следующей главе. Здесь же я хочу показать, как психология пространства проливает свет на холистический эффект и раскрывает нам нечто о психологии понятий в целом.

Когда мозг концептуализирует какое-то явление, находящееся в каком-либо месте или в движении, он обычно игнорирует его внутреннее устройство и трактует его как не имеющую измерений точку или лишенную всяких признаков частичку. Как отмечает лингвист Лен Тэлми, типичный предлог или другой пространственный термин конкретизирует отношение между телом и местом, которое определяется с помощью того или иного ориентира^[40]. Как правило, этот ориентир крупнее, чем тело, и более заметен, и тело перемещается или располагается относительно него. (Исключением, которое только подтверждает правило, можно считать остроумное замечание актрисы Беатрис Лилли о лайнере Queen Mary, когда она увидела его впервые: How long does it take for this place to get to London? 'Сколько времени потребуется, чтобы это место дошло до Лондона?') Далее, обычно ориентир уточняется более подробно геометрическими деталями. Он концептуализируется как имеющий определенное число измерений, относительно которых он имеет протяжение: одно измерение, как, например, палка или струна; два измерения, как лист бумаги или фанеры, или три измерения, подобно тахте или арбузу. Кроме того, ориентир концептуализируется как имеющий некоторые оси, части, полости и границы, которые согласуются с этими измерениями.

Таким образом, язык по-разному трактует тело, помещенное в какое-то место, и место, в которое, как сказано, тело было помещено: первое сводится к не имеющей измерений крупинке, внутренним устройством которой можно пренебречь, второе же представляется в виде диаграммы, по крайней мере схематически. Рассмотрим английские словосочетания on your hand 'на вашей руке', under your hand 'под вашей рукой' и in your hand 'в вашей руке'. В каждом словосоче-

тании выбран какой-то один аспект устройства кисти руки, а именно: ее верхняя часть, ее нижняя часть или полость, которую она может образовать. Выбор предлога зависит от представления об устройстве кисти: шарик может быть *in one's hand* 'в руке', если пальцы согнуты и образуют чашечку и шарик находится на ладони, но о том же шарике скажут, что он находится *on one's hand* 'на руке', если пальцы распрямлены или шарик оказался на тыльной стороне руки. А вот *in one's forearm* 'в предплечье', или *in one's shin* 'в голени', или *in one's trunk* 'в туловище' шарик быть никак не может, потому что эти части тела концептуализируются как некие штыри, имеющие одно измерение. Сравните подобное схематическое описание со стилизованным представлением размещаемого тела. В приведенных выше примерах речь шла о шарике, однако тело может иметь любую форму или конфигурацию: это может быть шарик, спичка, упаковка картонных спичек или мотылек, и они могут быть расположены прямо, боком или вверх ногами, и тем не менее они все равно будут находиться «в», «на» или «под» вашей рукой. Разумеется, не при всех предлогах тело трактуется как частичка или точка: такие предлоги, как, например, *along* 'вдоль, по' и *across* 'сквозь, поперек' требуют, чтобы тело было протяженным. Но предлоги, которые распространены наиболее широко, проявляют к размещаемому телу определенную близорукость.

Это подводит нас к более глубокому пониманию того, как возникает холистический эффект. При чередовании локативных конструкций, когда контейнер (например, *the wagon* 'фургон' в словосочетании *load hay into the wagon* 'загружать сено в фургон') становится прямым дополнением, он также подвергается концептуальному переосмыслению и начинает трактоваться как нечто, переместившееся в пространстве состояний (из слота «пустой» в слот «полный»). И в процессе этого переструктурирования контейнер сжимается до одной точки, а его внутреннее устройство затемняется. Фургоны загружаются, клумбы обрызгиваются, индейки начиняются не как скопления материи в пространстве, обладающие нишами и укромными уголками, которые способны сами становиться вместилищем частичек материи, но как сущности, которые, взятые в целом, готовы теперь для перевозки, цветения или зажаривания. К сожалению, термин «холистический эффект» несколько вводит в заблуждение. В действительности, речь идет об эффекте, связанном с альтернативой **состояние—изменение**, а обычно наиболее естественный путь, чтобы некий объект изменил свое состояние, когда к нему что-либо добавляется, это полное заполнение веществом всей полости или поверхности, предназначенных для его вмещения. Но предмет может быть представлен как изменяющий свое состояние, даже если вещество заполняет только одну его часть, в этом случае тоже может быть использована контейнер-локативная конструкция. Так, возможно, например, сказать, что некий любитель граффити

has sprayed a statue with paint *'забрызгал статую краской'*, даже если он замазал только одну ее часть, потому что даже единственного пятна краски достаточно, чтобы люди сочли изваяние испорченным.

Завершая рассуждение, необходимо теперь показать, как предлагаемая теория позволяет разрешить первоначальный парадокс. Каким образом признание того, что альтернатива локативных конструкций представляет собой сдвиг гештальта, объясняет, почему некоторые глаголы допускают такой сдвиг, тогда как другие глаголы, казалось бы, сходные с ними, этого не допускают? Ответ на данный вопрос мы получим, если обратим внимание на теснейшее взаимодействие, существующее между значением конструкции и значением глагола. Начнем с простого случая — можно throw a cat into the room *'бросить кошку в комнату'*, но невозможно throw the room with a cat *'бросить комнату кошкой'*, потому что вбрасывание чего-либо в комнату не может в нормальных условиях трактоваться как способ изменения состояния комнаты. Глубокое взаимодействие значения конструкции и значения глагола обнаруживается и в более сложных случаях. Например, глаголы pour *'наливать'*, fill *'наполнять'* и load *'нагружать'* различаются своим синтаксическим поведением, но все означают перемещение чего-либо куда-либо, и это создает у нас впечатление, что все они одного поля ягоды. Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается, что каждый из названных глаголов обладает особым видом **семантического** своеобразия — они различаются тем, какой именно аспект события перемещения для них важен.

Возьмем глагол pour *'наливать'* и подумаем о том, когда мы можем его употребить. То pour означает, более или менее точно, позволить жидкости перемещаться вниз непрерывной струей. В его значении подчеркивается причинное отношение «позволения», а не «принуждения», и он конкретизирует способ перемещения; именно эти элементы значения отличают его от глаголов, указывающих на другие способы перемещения жидкости, таких как spray *'брызгать'*, splash *'плескаться'* и spew *'бить струей'*. Поскольку глагол to pour сообщает кое-что о перемещении, он может быть использован в конструкциях, выражающих перемещение; мы можем, следовательно, сказать pour water into the glass *'налить воду в стакан'*. Но для pour безразлично, как и где в конце концов оказывается вода. Воду можно налить в стакан, разлить по всему полу или даже вылить в окно самолета, где она превратится в туман. Ничего определенного о месте предназначения налитой жидкости pour не сообщает, вследствие чего он не совместим с конструкцией, конкретизирующей, как именно было изменено состояние контейнера. Поэтому-то мы и не можем сказать she poured the glass with water *'она налила стакан водой'*.

Рассмотрим теперь глагол fill *'наполнять'*. To fill something *'наполнить что-либо'* означает сделать так, чтобы это нечто стало полным

(не случайно fill *'наполнять'* и full *'полный'* звучат сходно). Речь идет о состоянии контейнера: нет наполнения — значит, нет наливания. Но для fill несущественно, **как именно** наполнился контейнер. Можно, конечно же, наполнить стакан, налив в него воду, но стакан можно также наполнить, черпая воду из ванны или высунув стакан в окно и держа его под проливным дождем во время урагана, а можно также оставить стакан на всю ночь под тонкой струйкой текущего водопроводного крана. Вот почему fill *'наполнять'* является с синтаксической точки зрения зеркальным отражением глагола pour *'наливать'*: поскольку он конкретизирует изменение состояния контейнера, он совместим с конструкцией, передающей изменение состояния, и это позволяет нам сказать fill the glass with water *'наполнить стакан водой'*. Вместе с тем, поскольку to fill *'наполнять'* ничего не говорит о причине или способе перемещения содержимого, он не совместим с конструкцией, выражающей именно перемещение, и по этой причине невозможно сказать fill water into the glass *'наполнить воду в стакан'*.

И наконец, обратимся к глаголу to load *'нагружать'*. Что общего у тех действий, которые мы производим с сеном и фургоном, с патронами и ружьем, с пленкой и фотоаппаратом, с чемоданами и автомобилем и программным обеспечением и компьютером? Дело здесь не просто в том, что нечто помещают в некоторое место. Это нечто должно иметь надлежащий размер, форму или содержимое, для того чтобы место могло осуществлять то, для чего оно предназначено, — стрелять, делать снимки, отправляться в поездку и т. д. Нельзя to load a camera *'загрузить камеру'*, поместив в нее сено или патроны, так же как невозможно утверждать, что вы loaded a car *'загрузили автомобиль'*, если вы бросили в багажник чемоданы отца, а мамины вещи оставили на тротуаре. По правде говоря, нельзя даже утверждать, что вы loaded the camera *'зарядили камеру'*, если вы поместили пленку не на ее законное место в отсеке для пленки, а запихнули ее, скажем, за крышечку объектива или просто в футляр. Следовательно, глагол to load уточняет одновременно кое-что о том, как было перемещено содержимое, и как изменился контейнер. Таким образом, этот глагол подходит как для контент-локативной конструкции (load the film *'зарядить пленку'*), так и для контейнер-локативной конструкции (load the camera *'зарядить фотоаппарат'*).

Как же можно проверить эту теорию? Наиболее прямой способ состоит в том, чтобы придумать **ваг-тест** (*wag-test*), при котором исследователь сообщал бы детям и взрослым различные типы придуманных локативных глаголов, а потом следил бы, как они будут эти глаголы употреблять. Если глагол имеет отношение к манере перемещения, испытуемые должны были бы спонтанно употреблять его в конструкции контент-локативной; если же глагол указывает на изменение состояния, они должны были бы употребить его в контейнер-локативной

конструкции. Группен и я такой ваг-тест провели (точнее, это был *moop-test*)^[41]. В некоторых вариантах эксперимента *mooping* означало перемещение чего-либо особым, бросающимся в глаза способом, например зигзагообразное движение мокрой губки по направлению к фиолетовому куску ткани. В других случаях этот глагол относился также к движению губки к ткани, но само движение было нечетким, и когда губка касалась ткани, ткань становилась зеленой или розовой. Когда глагол указывал на зигзагообразное движение, и дети и взрослые были склонны описывать событие как *mooping the sponge*, то есть использовали контент-локативную конструкцию. Когда же глагол описывал движение, приводящее к изменению цвета, они предпочитали использовать конструкцию контейнер-локативную — *mooping the cloth*. Именно такой расклад и можно было предсказать, если бы говорящие вставляли глагол в конструкцию, исходя из того, какой аспект события глагол подчеркивает. (К сведению любознательных: для того чтобы приготовить жидкость, которая изменяет цвет по требованию, сварите в воде небольшие кусочки красной капусты, выловите капусту и дайте красной жидкости остыть. Если вы добавите к ней щелочь, например пищевую соду, жидкость станет зеленой; если же вы добавите к ней кислоту, например лимонный сок, жидкость приобретет розовый цвет. Капустный сок, продаваемый в супермаркетах, имеет красный цвет, потому что к нему был уже предварительно добавлен уксус).

Итак, пытаясь разгадать загадку того, как дети выводят синтаксис своего родного языка, мы были вынуждены переосмыслить то, что им приходится усваивать: вместо операции вырезания и вставки словосочетаний — понятийный сдвиг в структурировании ситуации. Это позволило обнаружить несколько основополагающих свойств наших мыслительных процессов, а именно, что мозг вводит в действие целый набор конкурирующих фреймов, которые способны структурировать даже самые непримечательные повседневные события более чем одним способом; что осмысление изменения местоположения в реальном пространстве может быть метафорически распространено также на концептуализацию изменения состояния как перемещения в пространстве состояний; и что когда мозг мыслит какую-то сущность как пребывающую где-то или движущуюся куда-либо, он обычно сводит ее к холистической частице.

Однако эти выводы порождают новые вопросы. Является ли мозг человека настолько гибким, что способен концептуализировать любое событие любым способом? И если это так, то как удалось нам достичь хоть какого-то прогресса в мышлении и употреблении языка? Наверное есть еще что-то в нашем понимании движения и изменения, не только представление о некой частице, просто пребывающей где-то, перемещающейся куда-то и изменяющейся как-то?

Мысли о движении и изменении

Гибкость человеческого мозга — его способность по-разному осмыслять события, осуществлять когнитивные сдвиги или переструктурировать события — представляет собой поистине чудесный дар. Однако из-за этого трудно предсказать, как именно тот или иной человек будет думать и говорить о какой-либо ситуации. Когда я, например, ударяю палкой по стене, я воздействую на палку, перемещая ее к стене, или я воздействую на стену, используя палку в качестве орудия? Если Хэролду нравится Хильди, это он принуждает себя относиться к ней с симпатией или это она принуждает его симпатизировать ей? Когда Билл, копируя Джона Траволту в фильме *Saturday Night Fever* («Лихорадка в субботний вечер»), заставляет Дебби смеяться, это что происходит совершенно так же, как если бы Билл проткнул чем-то острым шарик и тот лопнул, или Дебби в достаточной степени обладает свободной волей и слово «заставляет» для описания данной ситуации не подходит? Когда Бекки, обращаясь к Лиз, кричит через всю шумную комнату, что именно она делает: воздействует на Лиз, создает некое послание, производит шум, посылает через всю комнату сообщение или просто определенным образом работает мышцами речевого аппарата? Даже наиболее очевидное когнитивное различие — различие между тем, кто совершил нечто, и тем, кто подвергся некоторому воздействию, — может претерпеть в сознании странное изменение, как в случае, когда, например, хоккеист кричит: *Kiss my elbow!* «*Фиг тебе меня догнать!*» (букв. «*Поцелуй мой локоть!*») или когда в фильме *Play It Again* («Сыграй это снова») Вуди Аллен в роли Сэма рассказывает друзьям, как на него напали какие-то байкеры: *I snapped my chin down on some guy's fist and hit another one on the knee with my nose* «*Я стукнул подбородком о кулак одного парня, а другого ударил носом по колену!*»

Когнитивная гибкость является во многих отношениях благом, но если мы стремимся понять, как функционирует язык, ее приходится признать настоящим бедствием. Предполагается, что язык предоставляет в наше распоряжение способ, с помощью которого можно сообщить, кто сделал что и кому. Но как это возможно осуществить, если два человека, глядя на одно и то же событие, совершенно по-разному распределяют роли уже на уровне «кто», «что» и «кому»? Это вызывает не только теоретическую обеспокоенность; это подрывает объяснительную силу теории сдвига гештальтов в отношении того, как дети усваивают глаголы. Для того, чтобы восстановить объяснительную силу нашей теории, нам придется несколько углубиться в психологию перемещения и изменения.

Проблема заключается в следующем. Если мозг людей достаточно подвижен, чтобы интерпретировать события многими разными способами, что же может помешать ребенку интерпретировать значение гла-

гола to nail ‘прибивать гвоздями’ как ‘покрывать поверхность, прибивая к ней какие-либо предметы’, а значение глагола to coil ‘обматывать’ как ‘сделать так, чтобы продолговатый предмет был обмотан неким волокном’? Если мы ответим, что никаких препятствий для этого нет, тогда ничто не мешает ребенку сказать Tex nailed the house with shingles ‘Текс прибил дом кровельной дранкой’ или Serena coiled a pole with a rope ‘Сирин намотала столб веревкой’, и в результате мы возвращаемся к тому, с чего начинали. При наличии достаточной когнитивной гибкости **любой** глагол, указывающий на перемещение некоторого содержимого, можно переструктурировать в глагол, уточняющий изменение состояния контейнера. А в таком случае годится все — любой глагол можно использовать как только заблагорассудится.

Конечно же, у нас есть все основания полагать, что говорящие по-английски понимают события одинаково, потому что они выносят одинаковые суждения о том, как глаголы следует употреблять. Но каким образом они достигают этого согласия? Видимо, должен существовать какой-то независимый критерий, который подсказывает ребенку, когда тот или иной вид перемещения можно также трактовать как явное изменение состояния, а когда изменение состояния является слишком незначительным или сфальсифицированным, чтобы сосредоточить на нем внимание. Чтобы получить ответ на этот вопрос, необходим более пристальный анализ глаголов, нужно попытаться найти более глубинный слой значения, который предположительно используется мозгом для решения проблемы, какую из когнитивно возможных ролей — действующее лицо, предмет, который перемещается, предмет, который изменяется, — следует применить, структурируя **данный** вид события.

Для того чтобы обнаружить этот пласт значения, целесообразно начать с малого — выделить микроклассы семантически сходных глаголов, которые участвуют или не участвуют в чередовании локативных конструкций, и попробовать найти у них какие-либо общие признаки^[42]. Вот некоторые глаголы, допускающие чередование локативных конструкций, иначе говоря, они позволяют сказать как smear grease on the axle ‘намазать колесную мазь на ось колеса’, так и smear the axle with grease ‘намазать ось колеса колесной мазью’:

brush ‘наносить щеткой’, dab ‘намазывать, покрывать (краской, штукатуркой)’, daub ‘мазать (глиной, известкой)’, plaster ‘намазывать, штукатурить’, rub ‘натирать’, slather ‘намазывать толстым слоем’, smear ‘мазать’, smudge ‘мазать’, spread ‘размазывать’, streak ‘испещрять’, swab ‘тереть (шваброй)’.

А вот несколько сходных глаголов, не допускающих альтернативу локативных конструкций, — иначе говоря, они позволяют сказать pour water into the glass ‘налить воду в стакан’, но не pour the glass with water ‘налить стакан с водой’:

dribble 'капать', drip 'капать', drop 'капать', dump 'выбрасывать (в большом количестве)', funnel 'лить или сыпать через воронку', ladle 'разливать, черпать', pour 'наливать', shake 'взбалтывать', siphon 'наливать с помощью сифона', slop 'проливать, расплескивать', slosh 'смазывать, окатывать грязью или водой', spill 'проливать, расплескивать', spoon 'черпать ложкой'.

Так в чем же различие между этими двумя группами глаголов? Похоже, что обе группы означают перемещение чего-то жидкого или вязкого в некое вместилище или на его поверхность. А теперь подойдем к этому с точки зрения физики. В случае глаголов первой группы действующее лицо прилагает силу, воздействуя одновременно и на вещество и на поверхность и нанося одно на другое. У глаголов второй группы агент предоставляет действовать закону тяготения.

Таким образом, различие между данными группами — это различие между принуждением и предоставлением возможности, между прямым воздействием на что-либо и воздействием на что-либо с помощью опосредующей силы, между ожиданием того, что нечто изменится, когда агент совершит что-то в реальном времени, и ожиданием, что нечто изменится вскоре после того, как агент нечто совершит. Различение «перемещения» и «изменения» оказывается недостаточным основанием для того, чтобы мозг смог интерпретировать событие каким-либо определенным образом. Для мозга важны также более частные понятия, такие как, например, приложение силы в противоположность допущению действия какой-либо силы, принуждение в противоположность предоставлению возможности и «раньше-и-позже» в противоположность «одновременно».

Рассмотрим теперь другой ряд микроклассов, между которыми язык проводит различие... Что общего у этих глаголов, каждый из которых встречается в обеих конструкциях:

inject 'впрыскивать', shower 'лить (-ся), переливать', spatter 'брызгать (-ся), расплескивать', splash 'брызгать (-ся)', splatter 'плескаться', spray 'распылять, обрызгивать', sprinkle 'брызгать', spritz 'лить, спринцевать', squirt 'разбрызгивать, спринцевать'.

Обратимся опять к физике. Все перечисленные глаголы предполагают, что к веществу применяется сила, принуждающая его энергично переместиться внутрь или на поверхность, — эта форма каузации отличается как от давления, характерного для глаголов типа brush 'чистить щеткой', так и от оставления всего на волю закона тяготения, характерного для глаголов типа pour 'лить, наливать'. В свою очередь, приведенные выше глаголы отличаются от нижеследующего списка, который включает глаголы, не встречающиеся в контейнер-локативной конструкции (иными словами, невозможно сказать spit the floor with tobacco juice 'плевать пол жевательным табаком'):

emit 'испускать, выделять', excrete 'выделять, извергать', expectorate 'плевать, отхаркивать', expel 'выделять', exude 'выгонять, выбрасывать', secrete 'выделять', spew 'изрыгать, извергать', spit 'плевать, брызгать', vomit 'тошнить, извергать'.

Этот омерзительный список состоит из глаголов, означающих выбрасывание вещества изнутри какой-то емкости, но различаются они особенностями вместилища, характером отверстия, тем, что представляет собой вещество и как именно оно извергается. Глаголы этого микрокласса объединяются сходством внутреннего и внешнего устройства, и одновременно это же отграничивает их от глаголов других микроклассов.

Вот еще некоторые другие микроклассы. Глаголы, выражающие рассеивание мелких частиц во всех направлениях, допускают альтернативу локативных конструкций:

bestrew 'разбрасывать', scatter 'разбрасывать, рассеивать', seed 'сеять', sow 'сеять, распространять', spread 'раскидывать, распространять', strew 'разбрасывать, разбрызгивать'.

Однако глаголы, указывающие на прикрепление чего-либо к чему-либо с помощью какого-то закрепляющего устройства, в чередовании локативных конструкций не участвуют:

attach 'прикреплять', fasten 'прикреплять, привязывать', glue 'приклеивать', hook 'прицеплять', nail 'прибивать', paste 'приклеивать', pin 'прикалывать', staple 'прикреплять скобкой, крючком', stick 'приклеивать', strap 'стягивать (чем-либо)', tape 'связывать (тесьмой или чем-либо подобным)'.

Глаголы, означающие насильственное помещение некоторой субстанции в некий контейнер вопреки возможностям его вместимости, в альтернативе локативных конструкций участие принимают:

cram 'втискивать', crowd 'втискивать, вталкивать', jam 'впихивать, загромождать', pack 'набивать, переполнять', stuff 'набивать', wad 'набивать (ватой)'.

Но глаголы, указывающие на обматывание какого-либо гибкого предмета, имеющего одно измерение, вокруг твердого предмета, альтернативы не допускают:

coil 'обматывать', spin 'крутить', twirl 'крутить, обвивать', twist 'крутить, вить', whirl 'кружить', wind 'вить, мотать'.

Когда мы рассматриваем глаголы, своеобразие которых иного рода, — глаголы типа fill 'наполнять', допускающие конструкцию fill the glass with water 'наполнить стакан водой', но не fill water into the glass 'наполнить воду в стакан' — мы видим, что они тоже распадаются на микроклассы, обусловленные особенностями устройства, физическими обстоятельствами и намерениями людей. Вот их перечень, который я привожу, чтобы вербофилы могли его проштудировать, а все остальные могли бы получить общее впечатление:

Каузировать, чтобы некий слой покрывал некую поверхность. Слой жидкости: deluge 'затоплять', douse 'погружать', flood 'затоплять', inundate 'затоплять, наводнять'. **Слой твердого вещества:** bandage 'бинтовать', blanket 'покрывать (одеялом)', coat 'покрывать (краской), облицовывать', cover 'покрывать', encrust 'инкрустировать, покрывать коркой, ржавчиной', face 'обкладывать, облицовывать камнем', inlay 'выстилать, покрывать инкрустацией, мозаикой', pad 'грунтовать', pave 'мостить, выстилать', plate 'обшивать металлическим листом, лудить', shroud 'завертывать в саван, укутывать', smother 'густо покрывать, укутывать (дымом)', tile 'крыть черепицей или кафелем'.

Добавлять что-либо к предмету, улучшая или ухудшая его в эстетическом отношении: adorn 'украшать', burden 'отягощать', clutter 'приводить в беспорядок', deck 'украшать, убирать (цветами, флагами)', dirty 'загрязнять, пачкать', embellish 'украшать', emblazon расписывать, украшать, endow 'одарять', enrich 'обогащать, украшать', festoon 'украшать (гирляндами)', garnish 'украшать, гарнировать (блюдо)', imbue 'окрашивать (ткань)', infect 'заражать', litter 'разбрасывать в беспорядке, сорить', ornament 'украшать', pollute 'загрязнять', replenish 'пополнять', season 'закалять, придавать пикантность', soil 'пачкать, пятнать', stain 'пачкать, портить', taint 'заражать, портить', trim 'приводить в порядок, украшать'.

Каузировать, чтобы масса была одинаковой протяженности с твердым телом или слоем. Жидкость: drench 'промочить насквозь, орошать', impregnate 'наполнять, пропитывать', infuse 'вливать, вселять', saturate 'насыщать, пропитывать', soak 'пропитывать, промачивать насквозь', stain 'пачкать, окрашивать', suffuse 'заливать (слезами), покрываться (румянцем, краской)'. **Твердое тело:** interlace 'переплетать', interlard 'пересыпать, уснащать (речь, письмо чем-либо)', interleave 'прослаивать', intersperse 'разбрасывать, пересыпать', interweave 'сплетать', lard 'мазать салом, уснащать чем-либо', ripple 'покрываться рябью', vein 'покрываться венами'.

Добавлять предмет, мешающий движению чего-либо. Жидкость: block 'преграждать, блокировать', choke 'душить, засорять', clog 'мешать, засорять', dam 'запруживать', plug 'затыкать, закупоривать', stop up 'затыкать, заделывать'. **Твердое тело:** bind 'привязывать, ограничивать', chain 'сковывать, привязывать', entangle 'запутывать', lash 'связывать', lasso 'ловить арканом', gore 'связывать веревкой, привязывать канатом'.

Распределять что-либо по поверхности: blot 'сажать пятна, пачкать', bombard 'бомбардировать, облучать частицами', dapple 'покрывать (круглыми пятнами)', riddle 'изрешечивать пулями', speckle 'пятнать, испещрять', splotch 'покрывать пятнами, пачкать', spot 'покрывать пятнами, пачкать', stud 'усевать, усыпать'.

Что же это такое? Получается, что англофоны — это племя людей, просто заикленных на туалетной комнате! Что же это за цивилизация такая, если решая, как употребить глагол, люди озабочены выяснением того, как точно явления размазываются, окатываются грязью или водой, расплескиваются, извергаются, разбрасываются, набиваются или покрываются пятнами?! Ответ на этот вопрос следует искать

не в психосексуальной сфере, а в сфере психологии структурирования физических событий. Вспомним, что использование локативных глаголов зависит от того, на что, по мнению говорящих, они указывают: на то, как нечто перемещается, на то, какое воздействие оказывается на поверхность, или на то и на другое^[43]. Приведенные выше микроклассы глаголов как раз и свидетельствуют о том, что для мышления говорящих на английском языке существенными представляются определенные геометрические и физические признаки, и именно они определяют, как говорящие структурируют события.

У глаголов типа brush *'наносить щеткой'* агенс прилагает силу одновременно и к веществу, и к поверхности, поэтому такие глаголы естественно осмысляются как затрагивающие обе сущности, и по этой причине они допускают обе конструкции. Двустороннее действие силы наличествует также у глаголов типа stuff *'набивать, втискивать'* — в их случае содержимое и контейнер сдавливаются друг с другом — и благодаря этому данные глаголы тоже участвуют в обеих конструкциях. В отличие от них, у глаголов типа pour *'наливать'* между тем, что делает агенс, и тем, как становится мокрой поверхность, стоит сила тяжести, вследствие чего агенс не столь легко осмысляется как оказывающий непосредственное воздействие на контейнер, и в результате эти глаголы выступают только в контент-локативных конструкциях. Что же касается глаголов типа attach *'прикреплять'*, то они также подразумевают наличие посредника (клея, гвоздей и т. п.), на одно звено отдаляющего действие агенса от прямого воздействия на поверхность, и можно не сомневаться, что такие глаголы тоже не встречаются в контейнер-локативных конструкциях.

Если мы посмотрим на это с другой стороны, то увидим глаголы, которые концентрируют внимание на том, как изменяется поверхность или контейнер, когда к ним нечто добавляется: они становятся лучше или хуже (adorn *'украшать'*, pollute *'загрязнять'*), менее терпимыми к движению (block *'преграждать'*, bind *'ограничивать'*), насыщенными чем-либо (drench *'насыщать'*, interlace *'переплетать'*), сокрытыми (cover *'покрывать'*, inundate *'затоплять'*). И в результате глаголы, которые сфокусированы на том, как изменяется поверхность (и игнорируют, как там оказывается влага или то или иное покрытие), принимают конструкцию контейнер-локативную (drench the shirt with wine *'промочить рубашку вином'*) и не допускают конструкции контент-локативной (drench wine into the shirt *'промочить вино в рубашку'*).

Таким образом, более детальное рассмотрение глаголов, участвующих в альтернации локативных конструкций, заставило нас более глубоко взглянуть на то, что побуждает мозг структурировать физические события каким-то определенным образом. И на этом уровне глубины мы обнаружили новый пласт понятий, используемых мозгом для организации повседневного опыта: понятия о субстанции, про-

странстве, времени и силе. Эти понятия побуждают мозг объединять события, не имеющие между собой ничего общего, если исходить из того, на что они похожи, как пахнут или каковы они на ощупь, и тем не менее они явно имеют для мозга важное значение. Они настолько всепроникающи, что некоторые философы считают их той основой, которая организует интеллектуальную жизнь людей, и в главе 4 я покажу, как они пронизывают нашу науку, наши сказки, нашу мораль, нашу юриспруденцию и даже наш юмор. Мы наткнулись на эти великие категории познания не при самых благоприятных обстоятельствах — пытаюсь понять некое частное явление, связанное с усвоением языка. Интуиция подсказывает мне, что аналогичный путь можно использовать, чтобы подступиться к двум другим важнейшим проблемам человеческого мышления.

Мысли об обладании, знании и содействии

Может показаться, что теория, изложенная в предыдущем разделе, привлекла слишком уж много всяких аргументов только для того, чтобы объяснить, почему *pour the glass with water* 'налить стакан водой' звучит странно. Однако те же самые приемы позволяют снять налет таинственности и с других конструкций английского языка и тем самым проливают свет и на некоторые другие механизмы мышления.

Датив представляет собой пару конструкций, одна из которых похожа на контент-локативную конструкцию, а другая содержит два беспредложных дополнения:

Give a muffin to a moose.

Дайте кекс лосю.

Give a moose a muffin.

Дайте лосю кекс.

Первую конструкцию называют дативом с предлогом (потому что она содержит предлог, а именно *to*), вторая же конструкция — дитранзитивный датив, или датив с двухобъектным переходным глаголом (потому что за глаголом здесь следует не один объект, а два). В традиционных грамматиках такие объекты называются косвенным и прямым дополнениями; лингвисты же называют их сейчас просто «первый объект» и «второй объект». Сам термин **датив** восходит к латинскому глаголу *dare*, имеющему значение 'давать'.

В случае дательных конструкций мы сталкиваемся с теми же проявлениями парадокса при их усвоении, которые мы наблюдали в случае локативных конструкций. Во-первых, обе дативных конструкции более или менее синонимичны. Во-вторых, альтернатива конструкций затрагивает не один глагол, а много глаголов:

Lafleur slid the puck to the goalie.

Лафлёр отдал шайбу вратарю.

Lafleur slid the goalie the puck.

Лафлёр отдал вратарю шайбу.

Danielle brought the cat to her mother.

Дэниелл принесла кошку матери.

Danielle brought her mother the cat.

Дэниелл принесла матери кошку.

Adam told the story to the baby.

Адам рассказал сказку ребенку.

Adam told the baby the story.

Адам рассказал ребенку сказку.

Подобные пары предложений позволяют сообразительному ребенку извлечь модель и сформулировать правило, которое гласит: «Если глагол может употребляться в конструкции „датель с предлогом“, он может также употребляться в дательной конструкции с двухобъектным глаголом, и наоборот».

В-третьих, дети действительно извлекают эту модель. В их повседневной речи встречается много примеров с глаголами, которые управляют двумя объектами, примеров, которые они не могли запомнить из речи своих родителей^[44]:

Mommy, fix me my tiger.

Мама, почини мне тигра.

Button me the rest.

Застегни мне остальное.

How come you're putting me that kind of juice?

Почему ты наливаешь мне тот сок?

Mummy, open Hadwen the door.

Мама, открой Хэдвену дверь.

Используя ваг-тесты, Группен и я продемонстрировали, что дети, которые усвоили конструкцию *porp the pig to the giraffe* (в значении ‘перевезти в полувагоне свинью к жирафу’), могут сделать на ее основе обобщение и сказать *porp him the horse* ‘перевезти ему лошадь’^[45]. Взрослые тоже обобщают дательные конструкции. Когда в 1980-х гг. в общее употребление вошел глагол *to fax* ‘передавать по факсу’, не понадобилось много времени, чтобы люди стали говорить *Can you fax me the menu?* ‘Не могли бы вы сообщить мне меню по факсу?’ И они показали себя отнюдь не консерваторами, когда расширили употребление глагола *e-mail* и стали говорить *I'll e-mail him the directions* ‘Я пошлю ему инструкции по e-mail’.

Далее, в-четвертых, — и здесь как раз и возникает парадокс — обобщение наталкивается на контрпримеры в обоих направлениях.

Существуют глаголы, встречающиеся только в дативной конструкции с предлогом:

Goldie drove her minibus to the lake.

Голди направила свой микроавтобус к озеру.

*Goldie drove the lake her minibus.

Голди направила озеру свой микроавтобус.

Arnie lifted the box to him.

Арни поднял ящик ему.

*Arnie lifted him the box.

Арни поднял ему ящик.

Zach muttered the news to him.

Зах прошептал новости ему.

*Zach muttered him the news.

Зах прошептал ему новости.

А вот глаголы, которые встречаются только в дательной конструкции с двумя объектами:

The IRS fined me a thousand dollars.

Налоговое управление оштрафовало меня на тысячу долларов.

*The IRS fined a thousand dollars to me.

Налоговое управление оштрафовало тысячу долларов мне.

Friends, Romans, countrymen: Lend me your ears!

Друзья, римляне, сограждане: Выслушайте меня!

*Friends, Romans, countrymen: Lend your ears to me!

Друзья, римляне, сограждане: Одолжите ваши уши мне!

И наконец, в-пятых, глаголы, так сказать, неразборчивые в своих связях, и глаголы моногамные передают, казалось бы, сходные типы значений. Slide the puck 'подкатить шайбу' и lift the box 'поднять ящик' — это способы передвижения чего-либо; tell a story 'рассказать сказку' и mutter the news 'прошептать новости' — оба словосочетания указывают на способ сообщения чего-либо. Парадокс снова заключается в том, как ребенку удастся одновременно и сделать обобщение, и каким-то сверхъестественным образом догадаться, какие глаголы являются исключениями, хотя эти исключения представляются совершенно произвольными.

Когда мы столкнулись с подобным парадоксом в случае локативных конструкций, мы разрешили его, осмыслив чередование локативных конструкций как концептуальный сдвиг гештальтов от каузирования перемещения к каузированию изменения. Как оказывается, чередование дативных конструкций также связано со сдвигом гештальта, но только в этом случае наблюдается сдвиг от каузирования перемещения к каузированию обладания. Give a muffin to a moose означает

‘каузировать, чтобы кекс перешел к лосю’, тогда как give a moose a muffin значит ‘каузировать, чтобы лось обладал кексом’^[46].

И снова это может показаться спором о пустяках, поскольку каузирование перемещения (*causing-to-go*) обычно приводит к каузированию обладания (*causing-to-have*). В случае перемещаемых предметов, для того чтобы некое лицо стало их обладателем, нужно сделать так, чтобы эти предметы к нему перешли, но даже недвижимые и неосязаемые предметы обладания могут быть осмыслены как перемещаемые в метафорическом смысле. В этом метафорическом смысле предметы обладания предстают как вещи, обладатели — как места, а процесс «давания» — как перемещение. Так, возможно сказать *The condo went to Mary* ‘Квартира перешла к Мэри’ или *Mary kept the condo* ‘Мэри сохранила квартиру’ (совершенно так же, как *The ball went to Mary* ‘Мяч перешел к Мэри’ и *Mary kept the ball* ‘Мэри удержала мяч’), хотя вряд ли есть опасность, что квартира физически переместится куда-либо.

Тем не менее две конструкции датива в когнитивном отношении различны, потому что некоторые виды каузирования перемещения **не приводят** к каузированию обладания. Рассмотрим следующие омонимичные предложения:^[47]

Annette sent a package to the boarder.

Аннет послала посылку пансионеру.

Annette sent a package to the border.

Аннет послала посылку на границу.

В отношении первого предложения можно применить правило альтернатиции дативных конструкций и получить предложение *Annette sent the boarder a package* ‘Аннет послала пансионеру посылку’. В случае второго предложения при таком изменении конструкции получается бессмыслица — *Annette sent the border a package* ‘Аннет послала границе посылку’, потому что, как известно, границы, будучи неодушевленными сущностями, обладать посылками или чем-либо еще не могут. Понятие обладания есть нечто, что мы, как правило, прилагаем только к одушевленным существам. Это сразу же объясняет, почему некоторые глаголы не встречаются в конструкции датива с двумя объектами. Так, предложение *Goldie drove the lake her minibus* ‘Гоулди направила озеру свой микроавтобус’ подразумевало бы, что озеро теперь обладает автобусом, что было бы полным абсурдом.

Более того, не только некоторые виды каузации перемещения несовместимы с каузацией обладания, но и некоторые виды каузации обладания несовместимы с каузацией перемещения^[48]. Когда мы говорим *Cherie gave Jim a headache* ‘от Чери у Джима головная боль’ (букв. ‘Чери дала Джиму головную боль’), мы имеем в виду, что она явилась причиной того, что Джим получил головную боль, возможно, потому,

что она зануда и от ее выходок у него заболела голова, но, разумеется, не потому, что головная боль на своих маленьких ножках перешла из головы Чери в голову Джима. Именно поэтому менее естественно (хотя и не невозможно) сказать *Cherie gave a headache to Jim* ‘*Чери причинила головную боль Джиму*’^[49].

Кроме того, между двумя дативными конструкциями, даже когда они звучат одинаково естественно, можно почувствовать различие в **значении**. Например, о бейсболисте, находящемся на первой базе, странно было бы сказать *Pedro threw him the ball, but a bird got in the way* ‘*Педро бросил ему мяч, но помешала птица*’. В то же время вполне нормально звучит предложение *Pedro threw the ball to him, but a bird got in the way* ‘*Педро бросил мяч ему, но помешала птица*’. Это происходит потому, что у многих глаголов дативная конструкция с двумя объектами подразумевает, что получатель реально становится **обладателем** объекта, а не просто некий объект посылается в его сторону. По той же причине предложение *Señor Jones taught Spanish to the students* ‘*Сеньор Джоунс учил испанскому языку студентов*’ вполне может быть понято как то, что он безрезультатно вел занятия с тупицами, которые не запомнили ни единого испанского слова. Но предложение *Señor Jones taught the students Spanish* ‘*Сеньор Джоунс учил студентов испанскому языку*’ подразумевает, что студенты, скорее всего, теперь знают испанский язык, что в метафорическом смысле они им обладают^[50].

И если уж речь зашла о метафоре, в дативной конструкции может встречаться ряд глаголов передачи сообщения, например, в предложениях *Ask me no questions, I'll tell you no lies* ‘*Не задавай мне вопросов, и я не буду тебе лгать*’ и *Sing me no song, read me no rhyme* ‘*Не пой мне песен, не читай мне стихов*’^[51]. Это выглядит так, как если бы мы думали о понятиях, как о вещах, о знании как об обладании, о коммуникации как о пересылке и о языке как о почтовом отправлении^[52]. Данное явление иногда называют метафорой средства коммуникации, и его можно наблюдать в десятках выражений, связанных с мышлением, говорением и обучением. Мы **gather** our ideas to **put** them **into** words ‘*собираемся с мыслями, чтобы облечь их в слова*’, и если наши слова не является empty ‘пустыми’ или hollow ‘бессодержательными’, мы, возможно, *передадим* наши мысли слушающему, и он сможет их *упаковать* ‘распаковать’ и *extract* their content ‘извлечь их содержание’.

Еще одна загадка, напоминающая локативные конструкции, преследует нас здесь, и в процессе решения этой проблемы нам откроется еще одно окошко в механизм мышления. Сдвиг гештальта между каузацией перемещения и каузацией обладания, даже при условии его метафорического распространения на идеальные сущности, не дает достаточных оснований для различения глаголов, участвующих и не участвующих в альтернативе дативных конструкций. Трудность опять связана с проклятием когнитивной гибкости мозга: мозг обладает потенциальной

возможностью структурировать все виды событий как изменение в обладании, и необходимо поэтому выяснить, почему он осуществляет это в отношении одних видов событий, но не в отношении других. Почему, например, носитель английского языка может сказать *throw someone a box 'бросить кому-нибудь ящик'* ('каузировать, чтобы данное лицо обладало ящиком, бросив ему ящик'), но не может сказать *lift him the box 'поднять ему ящик'* ('каузировать, чтобы кто-то обладал ящиком, подняв ему ящик')? Почему допустимо *tell him the news 'рассказать ему новости'*, но не *mutter him the news 'прошептать ему новости'*?

И снова проблема заключается в том, что мы пока находимся еще слишком далеко, чтобы увидеть когнитивную деталь, играющую здесь существенную роль. Когда мы подойдем поближе, мы сможем заметить более тонкие элементы значения, которые и позволяют мозгу структурировать некоторые виды пересылки и сообщения как каузацию обладания, но отказывать в этом другим видам.

Вполне логично, что глаголы со значением *давать* имеют обе дативные конструкции:

feed 'кормить', give 'давать', hand 'передавать, посылать', lend 'одолживать, давать', loan 'давать займы', pay 'платить, вознаграждать', sell 'продавать', serve 'подавать, вручать', trade 'торговать, обмениваться'.

Таким же образом обстоит дело с глаголами, которые указывают на мгновенное приложение силы к объекту, посылающее его по направлению к реципиенту, как в предложении *Lafleur slapped him the puck 'Лафлёр сильным ударом послал ему шайбу'*:

bash 'бить, сильно ударять', bat 'бить палкой, битой', bounce 'наносить внезапный глухой удар', bunt 'ударить головой, бодать', chuck 'швырять', flick 'ударить слегка', fling 'швырнуть', flip 'слегка ударить, смахнуть', heave 'бросать, швырять', hit 'ударять, поражать', hurl 'бросать с силой, метать', kick 'ударять ногой', lob 'высоко подбрасывать (мяч)', pass 'ударом направить (мяч)', pitch 'кидать, подавать (мяч)', punt 'ударять ногой (мяч), выбивать (мяч) из рук', roll 'катить, бить легкими ударами', shoot 'кидать, посылать (мяч)', shove 'толкать (по поверхности), пихать', slam 'бросать со стуком, швырять', slap 'шлепнуть чем-либо плоским, ударить с силой', slide 'скользить', sling 'швырять, метать (из пращи)', throw 'бросать, метать', tip 'слегка касаться или ударять', toss 'метать, отбрасывать'.

Однако так же, как в случае с альтернативой локативных конструкций, важную роль и здесь играют физические обстоятельства. Глаголы, означающие **продолжительное** приложение силы к объекту, чтобы заставить его перемещаться, а не один быстрый толчок, приводящий объект в движение, избегают дательной конструкции с двумя дополнениями почти столь же последовательно (опросы это различие подтверждают)^[53]. Вот почему странно было бы сказать *to lift him the*

crate 'поднять ему деревянный ящик', или использовать в этой конструкции другие глаголы со значением длительного действия:

carry 'нести, перевозить', drag 'тащить, тянуть', haul 'тянуть, волочить', hoist 'поднимать', lift 'поднимать', lower 'спускать' lug 'тащить, волочить', pull 'тащить, тянуть', push 'толкать, двигать', schlep 'тащить медленно и тяжело', tote 'нести, перевозить', tow 'тянуть (баржу), буксировать', tug 'тащить с усилием, буксировать'.

В языке различие между событиями, которые структурируются как мгновенные, типа to throw 'бросить', и событиями, которые осмысляются как протяженные во времени, типа to lug 'волочить', играет весьма существенную роль. Лингвисты называют эту широкую сферу значения — как состояния и события распределяются во времени — видом, или «аспектом» (*aspect*, эту категорию не следует путать с другим хронометристом в языке — с категорией времени, *tense*). Как мы увидим дальше, анализируя понятие времени в главе 4, аспектуальные различия важны во многих областях языка и мышления, отнюдь не только для дативной конструкции [54].

В тех случаях, когда речь идет о коммуникации, двухобъектная дативная конструкция проявляет избирательность по-другому. Она свободно принимает глаголы, конкретизирующие род или цель сообщения, как глагол ask (который имеет отношение только к вопросу) или read (который относится только к чему-либо написанному):

ask 'спрашивать', cite 'ссылаться', pose 'формулировать', preach 'проповедовать, поучать', quote 'цитировать', read 'читать, толковать', show 'доказывать', teach 'учить', tell 'рассказывать, уверять', write 'писать, печатать'.

Однако данная конструкция оказывает некоторое сопротивление глаголам, конкретизирующим манеру говорения [55]:

babble 'лепетать', bark 'рвкать', bawl 'кричать, орать', bellow 'реветь, орать', bleat 'блеять, мыть', boom 'орать, реветь', brau 'кричать' (об осле), 'издавать неприятный резкий звук', burble 'бормотать, болтать', cackle 'кудахтать, болтать', call 'звать, окликать', carol 'воспевать, славить', chant 'воспевать, скандировать', chatter 'болтать, щебетать', chirp 'чирикать, щебетать', cluck 'кудахтать', coo 'ворковать', croak 'каркать, квакать, брюзжать', croon 'напевать вполголоса', crow 'кукарекать', cry 'кричать', drawl 'говорить, растягивая слова', drone 'бубнить', gabble 'говорить быстро и неясно, бормотать', gibber 'говорить невнятно, тараторить', groan 'говорить со стоном, стонать', growl 'рычать, ворчать', grumble 'ворчать, жаловаться', grunt 'ворчать, мычать (о человеке)', hiss 'шипеть', holler 'кричать, окликать', hoot 'кричать, улюлюкать', howl 'выть, реветь', jabber 'тараторить, бормотать', lilt 'напевать весело и живо', lisp 'шепелявить', moan 'стонать', tumble 'бормотать', murmur 'шептать, ворчать', mutter 'бормотать, говорить тихо или невнятно', rигг 'мурлыкать', rage 'беситься, бушевать', rasp 'дребезжать', roar 'реветь, орать', rumble 'громыхать,

говорить громко', scream 'визжать, пронзительно кричать', screech 'визгливо или хрипло кричать', shout 'кричать', shriek 'пронзительно кричать, визжать', squeal 'визжать', stammer 'запинаться, заикаться', stutter 'заикаться, запинаться', thunder 'греметь, грозить', trill 'выводить трели', trumpet 'трубить, реветь', tsk 'произносить щелкающий зубной звук, выражая неодобрение, цыкать', twitter 'щебетать', wail 'вопить, выть', warble 'издавать трели', wheeze 'хрипеть', whimper 'хныкать', whine ныть, подвывать, whisper 'шептать, шелестеть', whistle 'свистеть', whoop 'гикать, кашлять', yammer 'ныть, болтать без умолку', yap 'тявкать, болтать', yell 'кричать, вопить', yell 'визжать, тявкать', yodel 'петь йодлем'.

Похоже на то, что фиксация внимания на манере производства звуков разрушает чары метафорического понимания коммуникации как посылки сообщения и заставляет мозг интерпретировать эти действия в терминах физики — просто как производство звуков.

Еще один, последний, мир значений, раскрываемый дативной конструкцией, связан с понятием содействия или причинения вреда. Во многих языках существует специальный показатель бенефициария (лица, получающего пользу от действия, то есть выгодоприобретателя), и этот показатель называется бенефактивом (*benefactive*). В английском языке бенефициарий часто вводится предлогом *for* 'для, ради', как, например, в предложении *Gentlemen still open doors for women* 'Джентльмены все еще открывают двери женщинам' или *She bought a house for her fiancé* 'Она купила дом для своего жениха'. В некоторых случаях в предложениях с бенефактивом наблюдается чередование дативных конструкций: можно сказать *to buy a house for one's fiancé* 'купить дом для жениха' или *to buy one's fiancé a house* 'купить жениху дом', *to build a house for one's fiancé* 'построить дом для жениха' или *to build one's fiancé a house* 'построить жениху дом'. Но наличия только бенефактивного отношения оказывается недостаточно: странно звучало бы *Gentlemen open women doors* 'Джентльмены открывают женщин (женщинам) двери' или *He fixed me my car* 'Он отремонтировал меня (мне) мой автомобиль'. И причиной снова является то, что двухобъектная дативная конструкция означает «каузацию обладания», а в странно звучащих предложениях женщины не становятся обладателями дверей в результате их открывания, а клиент не получает права собственности на автомобиль в результате его ремонта (автомобиль принадлежал клиенту с самого начала).

Как правило, бенефициарий допускается в дативную конструкцию с двумя дополнениями, только если он выигрывает в результате получения чего-либо, и даже тогда только при определенных типах глаголов. Одна разновидность таких глаголов предполагает совершение чего-либо, что позволяет какому-то лицу стать обладателем чего-либо, как в предложении *Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz* 'О Боже, не мог бы ты купить мне Мерседес-Бенц'. (В числе других глаголов этой группы *earn* 'зарабатывать', *find* 'находить, снабжать', *get* 'получать', *grab* 'хва-

тать, присваивать', order 'заказывать, направлять', steal 'красть' и win 'выигрывать, получать'.) Глаголы второго типа имеют дело с созданием чего-либо с намерением отдать это кому-либо, как в предложении Bake me a cake as fast as you can 'Испеки мне пирог как можно скорее' (среди глаголов, близких ему по духу, — build 'строить, создавать', cook 'стряпать', knit 'вязать', make 'создавать' и sew 'шить').

Что же противостоит бенефактиву? Разумеется, малефактив (*malefactive*) — несчастный проstack, положение которого в результате соответствующего действия ухудшается. В английском языке для этой цели иногда используется предлог *on* 'на', как в предложениях They played a trick on us 'Они сыграли с нами злую шутку' и My horse died on me 'Моя лошадь пала' (букв. 'умерла на меня'). Кроме того, в английском языке существует целый микрокласс глаголов малефактивного значения, которые могут встречаться в двухобъектной дативной конструкции и которые означают «каузировать или ставить целью, чтобы кто-то не имел чего-либо»:

They **fin**ed her twenty-five cents.

Они *оштрафовали* ее на двадцать пять центов.

That remark just **cost** you your job.

Это замечание *стоило* вам работы.

And **forgive** us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.

И *прости* нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

You **bet** your life!

Будьте уверены! (букв. '*Держите пари* на вашу жизнь!')

They took all the trees and put them in a tree museum, and **charged** all the people a dollar and a half just to see them.

Они захватили все деревья и поместили их в музей деревьев, и стали *взимать плату* в полтора доллара со всех людей только за то, чтобы увидеть деревья^[56].

Другие примеры включают begrudge 'завидовать, жалеть что-либо для кого-либо', deny 'отрицать, отказывать', envy 'завидовать', spare 'экономить, жалеть' и save 'экономить, копить'. Поскольку эти глаголы не имеют значения *каузировать перемещение*, неудивительно, что большинство из них не может встречаться в конструкции датив с предлогом и что невозможно сказать They fined twenty-five cents from her 'Они оштрафовали двадцать пять центов от нее', или on her 'на нее', или of her 'с нее'.

Не всегда верно, что глаголы с бенефактивным и малефактивным значением в чистом виде — то есть глаголы, для которых изменение благополучия не является побочным эффектом приобретения или утраты чего-либо, — в предложения с двумя объектами не допускаются. Изредка встречаются случаи дативной конструкции, когда некто получает помощь или терпит ущерб, но при этом ничто не переходит из одних рук в другие. Вот примеры идиоматических выражений с глаголами give 'давать' и do 'делать, причинять':

Hymie, give me a hand!
Хайми, помоги мне!

Give me a kiss, just one sweet kiss.
Подари мне поцелуй, лишь один нежный поцелуй.

Can you do me a favor?
Не могли бы вы оказать мне любезность?

Someone should give him a good swift kick.
Кто-то должен был бы дать ему хорошего пинка и поскорее.

Другая группа примеров связана с актами символического посвящения:

If you want my hand in marriage, first you'll have to kill me a dragon.
Если вы хотите получить меня в жены, сначала вам придется убить для меня дракона.

Cry me a river!
Наплачь для меня реку!^[57]

God said to Abraham, «Kill me a son».
И сказал Господь Аврааму: «Убей для меня сына»^[58].

Наконец, еще одна группа примеров — с конструкцией типа «помоги себе» (*help yourself*), распространенной в субстандартном американском английском:

Why don't you take yourself a cab and go jump in the lake?
Почему бы тебе не взять себе такси и не исчезнуть с моих глаз (букв. 'и не пойти и утонуться в озере')?

Five more minutes, he'd have chewed himself a hole through the fence.
Еще минут пять, и он бы прожевал себе дыру в изгороди.

Have yourself a merry little Christmas.
Пусть будет у тебя веселое Рождество^[59].

I stepped outside to smoke myself a J.
Я вышел на воздух, чтобы выкурить себе сигарету с травкой^[60].

Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
Господи помилуй и спаси, похоже, что мы приобрели себе сопровождение^[61].

Но больше всего мне нравится возрождающаяся сейчас остроумная ответная реплика в форме императива (*the Neologizing Imperative Retort*), оборот, который был популярен в Великобритании в эпоху Возрождения и который означает «Не думайте, что делаете мне одолжение, предлагая или говоря то-то и то-то»: ^[62]

What is this?
«Proud»—and «I thank you»—and «I thank you not»
And yet «not proud»? Mistress minion you,
Thank me no thankings, nor proud me no prouds.

Что это значит?

То «горжусь» и «благодарю вас» — то «не благодарю»

И «не горжусь»? Ты, любимица хозяйки дома,

Избавь меня от твоих «благодарю» и от твоих «горжусь».

Шекспир. Ромео и Джульетта. Акт III, сцена 5

I heartily wish I could, but—

Nay, but me no buts—I have set my heart upon it.

Я от всего сердца желал бы, но —

Не хочу слышать ваших «но» — я это твердо решил.

Вальтер Скотт. Хранитель древностей

Advance and take thy prize, the diamond; but he answered,

Diamond me no diamonds! For God's love, a little air!

Prize me no prizes, for my prize is death!

Приблизься и возьми свою награду, бриллиант; но он ответил,

Не предлагайте мне никаких бриллиантов! Бога ради, немного воздуха!

Не нужны мне ваши награды, потому что моя награда — смерть!

Теннисон. Ланселот и Элейн

Возможно, этот оборот звучит несколько претенциозно, но он по-прежнему встречается в прессе и в Интернете. В моей коллекции есть UT me no UT's *‘Не произносите при мне ЮТ’* (название статьи, автор которой протестует против уродливых — до двух букв — почтовых сокращений названий штатов, например, UT вместо Utah *‘Юта’*), Comment me no comments *‘Не хочу ничего слышать о комментариях’*, Blog me no blogs *‘Не говорите мне о блогах’* и даже Jeff Melone me no Jeff Melones *‘Не упоминайте при мне о Джеффе Мелоуне’* (букв. *‘не джеффмелоуньте мне о Джеффе Мелоуне’*) (слова баскетбольного комментатора, отвергавшего мнение о том, что Мелоун — звезда баскетбола).

Почему в английском языке — а на самом деле во многих языках — одни и те же конструкции используются для передачи значений *‘давать’* и *‘получать выгоду’* и для *‘отказывать’* и *‘причинять вред’*? Здесь рождается еще одна грамматическая метафора: **быть состоятельным — значит обладать чем-либо, а помогать — значит давать**^[63]. Нечеткое различие в двухобъектной дативной конструкции обладателя и благоприобретателя демонстрирует ту часть метафоры, где *‘помочь’* выступает как *‘дать’*. Но более важную часть — «благополучие-как-обладание» — можно наблюдать в многочисленных идиоматических выражениях с глаголом have *‘иметь’*. Англичане говорят to have good fortune *‘быть удачливым’*, to have it made *‘добиться успеха’*, to have a good time *‘хорошо провести время’*, to have a ball *‘развлекаться’*, to have it all *‘преуспевать’*, to have one's teeth fixed *‘вылечить зубы’*, to have

something for dinner *'иметь что-либо на обед'*, to have someone for dinner *'пригласить кого-либо на обед'*, to have someone (sexually) *'обладать кем-то'* (в сексуальном смысле), to have someone where you want him *'иметь над кем-либо полную власть'*. (Вспомним Ганнибала Лектера, который имел на обед старого друга — с горошком фава и восхитительным кьянти.) Дативная конструкция вновь демонстрирует нам, что абстрактные понятия, по-видимому, представлены в мозгу (по крайней мере в той части мозга, которая взаимодействует с языком) поразительно конкретным образом. *Быть благополучным* подобно *'обладать чем-либо'*; *'знать что-либо'* походит на *'обладать им'*, а *'обладать чем-либо'* сходно с *'иметь это рядом с собой'*.

Мысли о действии, намерении и каузировании

Анализ третьего типа конструкций раскрывает еще одну важную часть нашей понятийной инфраструктуры. Многие глаголы способны выступать как в качестве непереходных, так и в качестве переходных глаголов, однако при этом в слоте подлежащего появляются обозначения разных участников события:

The egg boiled.
Яйцо сварилось.

Bobbie boiled the egg.
Бобби сварил яйцо.

The ball bounced.
Мяч отскочил.

Tiny bounced the ball.
Тайни отбил мяч.

The soldiers marched across the field.
Солдаты прошли строем через поле.

Washington marched the soldiers across the field.
Вашингтон провел солдат строем через поле.

Это явление называется каузативным чередованием, потому что в случае переходного глагола субъект конструкции принуждает объект делать то, что объект обычно делает сам в конструкции с непереходным глаголом (boil *'вариться'*, bounce *'отскакивать'*, march *'идти строем'* и т. п.). И, по всей видимости, чередование каузативных конструкций имеет такой же непредсказуемый взрывоопасный характер, из-за которого другие конструкции казались недоступными для усвоения.

Соблазнительная модель. По меньшей мере две сотни английских глаголов имеют и каузативные, и интранзитивные формы, включая такие глаголы, как bend 'гнуть (-ся)', drop 'капать, проливаться', dry 'сушить, сохнуть', float 'держаться (-ся) на поверхности', melt 'плавать (-ся)', rip 'рвать (-ся)'^[64].

Материал для обобщения. Приведу некоторые примеры, свидетельствующие о том, что дети способны выделить каузативную модель и применить ее к новым глаголам:^[65]

Go me to the bathroom before you go to bed.

Отведи меня (букв. 'иди меня') в ванную, прежде чем пойдешь спать.

And the doggie had a head. And somebody fell it off.

И у собачки была голова. И кто-то оторвал (букв. 'отпал') ее.

Be a hand up your nose.

Подними руку (букв. 'будь руку вверх') к носу.

Don't giggle me!

Не хихикай меня!

He's going to die you, David. The tiger will come and eat David and then he will be died and I won't have a little brother anymore.

Он собирается убить тебя, Дэвид (букв. 'умереть тебя'). Придет тигр и съест Дэвида, и тогда он будет убит (букв. 'будет умереть'), а у меня больше не будет маленького братика.

Способность детей делать обобщения показывают также и ваг-тесты. В одном из них Гроупен и я сообщили детям, что pilk означает 'поставить вверх тормашками', и, когда они увидели, что игрушечный медведь перевернул свинку на голову, они сказали, что медведь pilked him 'поставил ее (свинку) вверх тормашками'^[66]. Взрослые тоже строят обобщения: операционная система Макинтош инструктирует своих пользователей: Allow power button to sleep the computer 'Предоставьте клавише питания «усыпить» компьютер' (каузировать компьютер перейти в состояние sleep) и hover the mouse over the box 'провести курсором мышки над окном приложения' (каузировать курсор нависнуть над «иконкой»).

Исключения. Некоторые непереходные глаголы сопротивляются включению каузатирующего агенса:

The baby is crying.

Ребенок плачет.

*The thunder is crying the baby.

Гром заставляет ребенка плакать (букв. 'уплакивает').

The frogs perished.

Лягушки погибли.

*Olga perished the frogs.
Ольга погубила (букв. 'погибла') лягушек.

My son came home early.
Мой сын пришел домой рано.

*I came my son home early.
Я привел (букв. 'пришел') сына домой рано.

В то же время некоторые переходные глаголы сопротивляются попыткам лишить их каузирующего агенса:

We've created a monster!
Мы создали чудовище!

*A monster has created!
**Чудовище создалось!*

She thumped the log.
Она ударила бревно.

*The log thumped.
**Бревно ударилось.*

He wrecked his car.
Он повредил машину.

*The car wrecked.
**Машина повредилась.*

Очевидная произвольность. Рассмотрим два примера: допустимо сказать *march soldiers home* '*вести солдат домой*', но невозможно *come them home* '*приходить их домой*'. И когда вы *boil a lobster* '*варите омара*', вы можете сказать, что *the lobster boiled* '*омар сварился*', но когда вы *make an omelet* '*делаете омлет*', нельзя сказать, что *the omelet made* '*омлет сделался*' (букв. '*сделал*').

Изменение фрейма. Сдвиг гештальта, наблюдаемый при каузативной альтернативе, лишен той таинственности, которая характерна для локативных и дативных конструкций, поскольку в данном случае две конструкции не являются синонимичными. Одна конструкция означает, что нечто происходит (*The cookie crumbled* '*Печенье раскрошилось*'); другая же конструкция значит, что некто каузировал, чтобы нечто произошло (*She crumbled the cookie* '*Она раскрошила печенье*'). Однако концептуальное смещение при каузативном чередовании предполагает нечто большее, чем просто перенесение каузирующего агенса к началу ментального развития событий (что, примерно, происходит, когда событие каузации мы выражаем в отдельном глаголе, как в случае глаголов *make* '*заставлять*' или *cause* '*побуждать*' в предложениях *She made the cookie crumble* '*Она заставила печенье раскрошиться*' или *She caused the cookie to crumble* '*Она сделала так, что печенье раскрошилось*'). Для

того чтобы каузативная конструкция была применима, каузация должна быть осуществлена, так сказать, голыми руками, непосредственно, подобно тому как один бильярдный шар ударяет о другой. Так, прекрасно звучит предложение *She made the cookie crumble by leaving it outside in the cold* 'Она заставила печенье раскрошиться, оставив его на холоде', но совсем не столь же хорошо звучит предложение *She crumbled the cookie by leaving it outside in the cold* 'Она раскрошила печенье, оставив его на холоде'. Аналогичным образом вполне возможно сказать, что *Darren caused the window to break by startling the carpenter, who was installing it* 'Даррен стал причиной того, что окно разбилось, напугав вставлявшего стекло плотника', но при таком развитии событий некорректно было бы утверждать, что *Darren broke the window* 'Даррен разбил окно'^[67]. И, хотя можно заявить, что *Fred caused the glass to melt on Sunday by heating it on Saturday* 'Фред сделал так, что стекло расплавилось в воскресенье, нагрев его в субботу', было бы странно утверждать, что *Fred melted the glass on Sunday by heating it on Saturday* 'Фред расплавил стекло в воскресенье, нагрев его в субботу'^[68].

Каузативная конструкция предпочитает также, чтобы следствием был результат, которого действующее лицо **ожидало**. Действия нашей крошительницы печенья мы имеем право охарактеризовать как крошение печенья, если она хотела, чтобы печенье раскрошилось, была не в состоянии из-за артрита сделать это сама и знала, что, если оставить печенье на несколько минут на холоде, оно сделает свое дело, и печенье раскрошится. Если же то или иное следствие не является конечной целью действия, тогда каузатив неприменим. Так, например, хотя *to butter* 'намазать (маслом)' означает *каузировать масло быть на чем-либо*, когда Король кладет кусочек масла на свой королевский ломтик хлеба, набрав сначала масло на свой королевский нож для намазывания масла, мы не говорим, что *The King buttered his knife* 'Король намазал маслом нож'. И причиной является то, что масло было набрано на нож не как цель, а только как средство для достижения цели.

Требование непосредственности результата, взятое само по себе, могло бы подорвать для нас возможность говорить о причине и следствии. Дело в том, что прямая каузация представляет собой нечто иллюзорное; при рассмотрении, так сказать, под достаточно мощным микроскопом она исчезает из виду. Когда я, например, чищу яблоко, я сначала принимаю решение это сделать, затем посылаю нервные импульсы руке и кисти, что, в свою очередь, вызывает сокращение мышц и приводит в движение кисть, заставляя двигаться нож, заставляя его соприкоснуться с поверхностью яблока, срезать с яблока кожуру и т. д. Тем не менее существует четкое ощущение, что вся эта цепь событий, хотя она и является достаточно кружным путем к цели, — все-таки более прямое движение к достижению цели, чем заплатить слуге, чтобы он очистил яблоко. Когда мы описываем какое-то событие,

нам как бы приходится выбрать минимальный масштаб рассмотрения, мельче которого субсобытия признаются невидимыми. Что касается физического события, осуществленного человеком, то по отношению к нему сокращение мышц и все остальные физические события, предшествовавшие получению результата, попадают в число находящихся ниже установленной планки, поэтому, например, возможно break a window 'разбить окно' кулаком или ударом залетевшего бейсбольного мяча. Однако когда причинно-следственная связь включает еще одно действующее лицо-человека, каков, например, вставляющий стекло плотник с измазанными олифой пальцами, это опосредующее звено оказывается выше установленной планки, и основное действие уже не воспринимается как каузирующее результат непосредственным образом, как того требуют каузативные глаголы. Именно поэтому нельзя сказать о ком-то, что он **разбил окно**, крикнув «Бу!», когда в окно вставлялось стекло, хотя этот человек и явился причиной того, что стекло разбилось.

Серия экспериментов, проведенных психологом Филлипом Уолффом, подтвердила, что когда говорящие используют каузативные глаголы, они выбирают события, при которых каузация осуществляется непосредственно, намеренно и без участия действующего лица-посредника. Например, они считали, что некая женщина dimmed the lights 'убавила свет' только тогда, когда она поворачивала переключатель, убавивший силу света, а не тогда, когда она, скажем, включала тостер, и они также делали вывод, что некий мужчина waved the flag 'размахивал флагом', только тогда, когда он махал древком, а не когда он просто поднял флаг в ветреный день, или что некий мальчик popped a balloon 'выпустил воздух из шарика' только тогда, когда мальчик проколол шарик, а не тогда, когда он выпустил шарик из рук и тот лопнул, коснувшись горячей лампы на потолке [69].

Масштабы, в которых мозг видит мир, можно регулировать. При взгляде с очень большой высоты можно, например, сказать, что Henry Ford made cars 'Генри Форд делал автомобили' или что Bush invaded Iraq 'Буш оккупировал Ирак', хотя причинно-следственная связь между тем, что делал Форд, и моделью Т, съезжавшей со сборочного конвейера, имела много промежуточных звеньев. Эта особенность концептуальной семантики вдохновила Бертольда Брехта на написание стихотворения *Questions from a Worker Who Reads* («Вопросы от читающего рабочего»):

Who built Thebes of the seven gates?
 In the books you will find the names of kings.
 Did the kings haul up the lumps of rock?
 The young Alexander conquered India.
 Was he alone?
 Caesar beat the Gauls.
 Did he not have even a cook with him? [70]

*Кто построил семивратные Фивы?
В книгах вы найдете имена царей.
Но разве цари воздвигли каменные глыбы?
Юный Александр завоевал Индию.
Но разве он был один?
Цезарь победил галлов.
Но разве с ним не было даже повара?*

И все-таки условие прямого действия применимо, хотя и при другом масштабе рассмотрения. Когда мы пропускаем события сквозь широкоугольный объектив истории, который отбирает только действия влиятельных лидеров, каузативный глагол может разорвать цепь в звене, непосредственно связанном с результатом. Так, мы не говорим, что Neoconservative intellectuals invaded Iraq *‘Неоконсервативные интеллектуалы оккупировали Ирак’*, несмотря на то что они оказали влияние на Буша, не говорим мы и то, что это сделал Усама бен Ладен, хотя Буш не осмелился бы отдать приказ о вторжении в Ирак, если бы не события 11 сентября. Тем более не говорим мы, что Florida voters who failed to understand a butterfly ballot invaded Iraq *‘Ирак оккупировали избиратели штата Флорида, которые не смогли правильно подсчитать количество голосов, поданных за кандидатов в президенты’*¹⁾. Говорящий ожидает, что его слушатели придерживаются того же масштаба видения мира, что и он, а если это не так, общение может потерпеть неудачу. Поющие зуйки — это прелестные маленькие птички, похожие на заводных кукол в галстуках-бабочкой. Они живут в ряде мест на побережье Мыса Код и считаются исчезающим видом (хотя нам кажется, что они встречаются нам повсюду). В связи с этим местные власти принимают меры по защите мест их гнездования. Однако я испытал шок, когда увидел в газете *Provincetown Banner* («Провинстаун Бэннер») следующий заголовок: PLOVERS CLOSE PARKING LOT *‘Зуйки закрывают парковку’*. В моей голове промелькнул образ маленьких птичек, с трудом волокущих цепь, чтобы закрыть ею въезд на парковку, и отгоняющих автомобилистов. Я думал, что это самый глупый газетный заголовок, который мне довелось когда-либо встречать, пока, перевернув страницу газеты, я не прочитал DOG FECES CLOSES BEACHES *‘Собачьи фекалии закрывают пляжи’*.

Каузативная конструкция согласуется с теорией свободной воли. Большинство глаголов, означающих действия человека, не может участвовать в каузативных конструкциях, даже если эти действия, в известном смысле, обусловлены предшествующими событиями. Так, не-

¹⁾ В штате Флорида во время президентской избирательной кампании 2004 г. Джордж Буш победил кандидата от Демократической партии Джона Керри с минимальным перевесом буквально в несколько голосов, что выяснилось только после нескольких пересчетов голосов выборщиков. Это определило итог выборов, и в результате Буш стал президентом США на второй срок. — *Прим. перев.*

возможно сказать Bill laughed Debbie 'Билл рассмеял (то есть рассмешил) Дебби' (тем, как имитировал Траволту), или Judy cried Lesley 'Джуди расплакала (то есть заставила плакать) Лесли' (уйдя с вечеринки с Джонни и вернувшись с подаренным им кольцом на пальце), или Don Carleone signed the bandleader the contract 'Дон Карлеоне подписал главарю банды контракт' (сделав ему предложение, от которого тот не смог отказаться). Это наблюдение оказывается верным независимо от того, признаются ли действия осознанными (как подписание контракта) или произвольными (как смех или плач). Действия человека концептуализируются как имеющие некую причину, скрытую внутри деятеля, и, следовательно, они не каузируются непосредственно каким-либо сторонним лицом извне^[71].

Метафорическое осмысление действий человека как исходящих из внутренней сущности или побуждения находит отражение в глаголах, обозначающих физические события. Два типа таких глаголов с готовностью участвуют в альтернации каузативных конструкций. Один микрокласс содержит глаголы, указывающие на манеру движения или расположения, так сказать, «рок-н-рольные» глаголы:

bounce 'прыгать, отскакивать', dangle 'свободно свисать, качаться', drift 'относить (-ся) ветром, дрейфовать', drop 'капать, проливать (слезы)', float 'всплывать, затоплять', fly 'летать, развеивать (-ся)', glide 'скользить', hang 'висеть, вешать', lean 'наклонять (-ся), опираться', move 'двигать (-ся), перемещать (-ся)', perch 'садиться, сажать', rest 'лежать, класть', revolve 'вращать (-ся)', rock 'качать (-ся), трясти', roll 'катить (-ся), вертеть (-ся)', rotate 'вращать (-ся), чередовать (-ся)', sit 'сидеть, сажать', skid 'буксовать, заносить', slide 'скользить, катить (-ся)', spin 'прясть, крутить (-ся)', stand 'стоять, ставить', swing 'качать (-ся), вешать', turn 'вращать (-ся)', twist 'крутить, сплетать (-ся)', whirl 'вертеть (-ся), проноситься', wind 'извиваться, крутить'.

В другой микрокласс входят глаголы, означающие изменение состояния, например «сгибание», «ломание» «увеличение», «уменьшение» или «отвердение» и «смягчение»:

age 'стареть, старить', bend 'сгибать (-ся)', blur 'делать (-ся) неясным', break 'ломать (-ся)', burn 'жечь, сжигать', char 'обугливать (-ся)', chill 'холодеть, охлаждать', chip 'отламывать (-ся)', collapse 'рушить (-ся)', condense 'сгущать (-ся)', contract 'сжимать (-ся)', corrode 'разъедать, ржаветь', crack 'трескаться, расщеплять (-ся)', crash 'рушить (-ся), разрушать (-ся)', crease 'мять (-ся)', crinkle 'извиваться, морщить (-ся)', crumble 'крошить (-ся)', crush 'давить, мять (-ся)', decrease 'уменьшать (-ся)', deflate 'сплющивать (-ся)', defrost 'размораживать (-ся)', degrade 'деградировать, уменьшать (-ся)', diminish 'уменьшать (-ся)', dissolve 'растворять (-ся)', distend 'надувать (-ся)', divide 'делить (-ся)', double 'удваивать (-ся)', drain 'осушать (-ся)', enlarge 'увеличивать (-ся)', expand 'расширять (-ся)', explode 'взрывать (-ся)', fade 'увядать, обесцвечивать (-ся)',

fill 'наполнять (-ся)', flood 'выходить из берегов, затоплять', fold 'сгибать (-ся)', fracture 'ломать (-ся)', fray 'протирасть (-ся)', freeze 'замерзнуть, замораживать', fuse 'плавить (-ся)', grow 'расти, выращивать', halt 'останавливать (-ся)', heal 'исцелять (-ся), заживать', heat 'нагревать (-ся)', ignite 'зажигать, воспламеняться', improve 'улучшать (-ся)', increase 'возрастать, усиливать (-ся)', inflate 'надувать (-ся)', light 'зажигать (-ся)', melt 'таять, плавить (-ся)', multiply 'увеличивать (-ся), множить (-ся)', pop 'трескаться, всовывать', reproduce 'воспроизводить (-ся), восстанавливать (-ся)', rip 'рвать (-ся)', rumple 'мять (-ся)', rupture 'рвать (-ся), ломать (-ся)', scorch 'опалять (-ся)', shatter 'разбивать (-ся)', shrink 'сморщивать (-ся), усыхать', shrivel 'сморщивать (-ся), ссыхаться', singe 'опалять (-ся)', sink 'тонить, тонуть', smash 'разбивать (-ся)', snap 'сломать (-ся), порвать (-ся)', soak 'пропитывать (-ся)', splay 'расширять (-ся)', splinter 'расщеплять (-ся)', split 'раскалывать (-ся), трескаться', sprout 'растить, расти', steep 'погружать (-ся), пропитывать', stretch 'растягивать (-ся), удлинять (-ся)', tear 'рвать (-ся)', thaw 'таять, растапливать', tilt 'наклонять (-ся), поворачивать', topple 'валить (-ся)', warp 'искривлять (-ся), деформировать (-ся)', wrinkle 'морщить (-ся), мять (-ся)'.

Однако в микроклассе глаголов, означающих, что объект испускает нечто — свет, звуки, некую субстанцию, — большинство глаголов каузатива не допускают. Невозможно, например, сказать: glow a light 'засветить огонь', whine a saw 'заскрипеть пилу', bubble a sauce 'закипеть соус' или употребить в каузативном предложении какой-либо другой глагол данного микрокласса:

blaze 'гореть ярким пламенем, сверкать', flame 'гореть, пылать', flare 'ярко вспыхивать, ослеплять', glare 'ослепительно сверкать', gleam 'мерцать, светиться', glisten 'блестеть, искриться', glitter 'блестеть, сверкать', glow 'светиться, сверкать', shimmer 'мерцать', shine 'светить (-ся), сиять', sparkle 'искриться, сиять', twinkle 'мерцать, сверкать';

blare 'громко трубить', boom 'гремять, орать', buzz 'жужжать, гудеть', chatter 'щебетать, стрекотать', chime 'звонить, выбивать (мелодию)', creak 'скрипеть', fizz 'шипеть, свистеть', gurgle 'булькать, журчать', hiss 'шипеть, свистеть', howl 'выть, реветь', hum 'жужжать, мурлыкать', real 'гремять, трезвонить', rurr 'мурлыкать', splutter 'шипеть', squawk 'скрипеть, скрежетать', swoosh 'проноситься со свистом', thrum 'бренчать', vroom 'гудеть', whine 'скулить, подвывать', whump 'бахнуть, треснуть' (сленг), zing 'производить высокий резкий звук, свистеть';

drip 'капать', emanate 'истекать, испускать', erupt 'извергать (-ся) (о вулкане, гейзере)', foam 'пениться', gush 'хлынуть, изливаться', leak 'утекать, просачиваться', ooze 'медленно вытекать, сочиться', puff 'дуть порывами, дымить', radiate 'излучать (свет, тепло), лучиться', shed 'излучать (свет, тепло)', sprout 'бить струей, извергать', sweat 'потеть, запотевать'.

Складывается впечатление, что подобные вспышки и выбросы, аналогично действиям человека, осмысляются как исходящие изнутри и, таким образом, как не допускающие никакой другой непосредственной причины при том же масштабе рассмотрения.

Кроме того, не встречаются в каузативной конструкции глаголы, обозначающие уход из жизни и прекращение существования: нельзя сказать *To die a mocking bird* 'Умереть пересмешника', *Decease Bill* 'Скончать Билла' или *Mr. Gorbachev, fall down this wall!* 'М-р Горбачев, упадите эту стену!'

decease 'скончаться', *depart* 'умереть, скончаться', *die* 'умереть, скончаться', *disappear* 'исчезать, пропадать', *disintegrate* 'распадаться, разрушаться', *expire* 'умирать, кончаться', *apart* 'распадаться, гибнуть', *lapse* 'терять силу, падать', *pass away* 'скончаться, пройти', *pass on* 'умереть', *perish* 'погибать, умирать', *succumb* 'стать жертвой чего-либо, умереть (от чего-либо)' (с предлогом *to*), *vanish* 'исчезать, стремиться к нулю'.

Дело не в том, что невозможно выразить понятие «прямым действием каузировать, чтобы нечто прекратило свое существование». В английском языке имеется ужасающий и весьма обширный запас слов, означающих лишение жизни и разрушение:

assassinate '(предательски) убивать', *butcher* 'безжалостно убивать', *crucify* 'распять на кресте', *dispatch* 'отправлять на тот свет, убивать (книжн.)', *electrocute* 'казнить на электрическом стуле', *eliminate* 'устранять, ликвидировать', *execute* 'казнить', *garrote* 'казнить посредством удушения (гарротой, исп.)', *удушить при ограблении*, *hang* 'казнить путем повешения, повесить', *immolate* 'приносить в жертву', *kill* 'убивать, уничтожать', *liquidate* 'уничтожать, ликвидировать', *massacre* 'устраивать резню', *murder* 'убивать', *poison* 'отравлять', *shoot* 'расстреливать', *slaughter* 'устраивать резню, массовое убийство', *slay* 'убивать (книжн.)'

abolish 'отменять, уничтожать', *annihilate* 'уничтожать, истреблять', *ban* 'запрещать, изгонять', *blitz* 'разгромить, разбомбить', *crush* 'уничтожать, сокрушать', *decimate* 'казнить каждого десятого, уничтожать', *demolish* 'разрушать, уничтожать', *destroy* 'разрушать, истреблять', *devastate* 'опустошать, разорять', *exterminate* 'искоренять, истреблять', *extirpate* 'искоренять, истреблять', *finish* 'прикончить, убить', *obliterate* 'стирать, уничтожать', *gavage* 'разрушать, опустошать', *gaze* 'разрушать до основания', *rescind* 'аннулировать, отменять', *ruin* 'разрушать, губить', *tear down* 'сносить (постройку)', *terminate* 'кончать, убивать (разг.)', *waste* 'опустошать, изнушать', *wipe out* 'уничтожать (противника)', *wreck* 'разрушать, сносить'.

Более того, эти глаголы причинения вреда столь же непримиримы к утрате каузирующего действующего лица, как глаголы прекращения существования к его приобретению. Нельзя сказать *Bill killed* 'Билл убил', имея в виду *он умер*, или *The building razed* 'Здание сровняло с землей', имея в виду, что оно рухнуло или сгорело. Английский язык позволяет сказать и о прекращении существования, и о каузировании прекращения существования, но не с помощью одного и того же глагола. Ситуация выглядит так, как если бы язык занял определенную позицию по отношению к существованию — возможно, позицию

моральную, — что когда нечто перестает существовать по причине старости, естественным образом, путем самовозгорания, гниения изнутри или неся в самом себе источник собственного разрушения, то такая смерть качественно отличается от смерти в результате преднамеренного злодеяния. Это не является специфической особенностью английского языка; во многих других языках также для обозначения естественной смерти и убийства используются разные глаголы, даже при том, что другим глаголам разрешается выполнять двойную функцию: выражать и событие, и каузацию события ^[72].

Когда я при объяснении синтаксических особенностей глаголов говорю о моральных чувствах, я вовсе не пытаюсь оживить обсуждение грамматической проблемы яркой фигурой речи. Моральные чувства и каузативные глаголы исходят из одной и той же ментальной модели человеческого действия. Моральные суждения наиболее отчетливо применимы к людям, которые действуют с намерением осуществить некий предсказуемый результат. А это является также рабочим описанием группы подлежащего в каузативной конструкции. Таким образом, при формулировании морального аргумента можно искусно использовать транзитивные и интранзитивные конструкции.

Хотя в каузативных конструкциях, как правило, четко указывается лицо, совершившее действие, если глагол выражен в форме пассивного залога, субъект может затемняться. Это делает пассив удобным способом сокрытия агенса переходного глагола и тем самым сокрытия идентичности лица, несущего ответственность за совершение действия, как в знаменитом «непризнании» Рональда Рейгана: *Mistakes were made* 'Были допущены ошибки', которое теперь превратилось в клише для обозначения уклончивости речи политического деятеля. Однако альтернативное каузативному предложению высказывание с непереходным глаголом идет еще дальше. Оно не просто **скрывает** причину, оно отказывается признать, что такая причина вообще **была**. Так, если пассивное предложение *The ship was sunk* 'Корабль был потоплен' предполагает, что существовало некое лицо, совершившее злодеяние, хотя это лицо и осталось неизвестным, то предложение с непереходным глаголом *The ship sank* 'Корабль затонул' означает, что несчастье просто случилось, возможно, из-за отсутствия профилактического ремонта, невезения или «кары Божьей» (хотя и без участия Высшей силы). Наблюдательные комиссии, следящие за средствами массовой информации, иногда ведут подсчет заголовков с каузативными глаголами в активном залоге и в пассивном залоге и с глаголами непереходными в поисках доказательств того, что новостные агентства могут попытаться оправдать или обвинить в некоем конфликте ту или иную сторону. Например, израильская группа обратила внимание на преобладание в сообщениях агентства Рейтер заголовков типа *BUS BLOWS UP IN CENTRAL JERUSALEM* 'В Центральном Иерусалиме взорвался авто-

бус', в которых непереходный глагол используется для преуменьшения роли агенса, несущего ответственность за осуществление данного акта. Как отмечает лингвист в своем блоге, посвященном проблемам лингвистики и жизни общества, «Bus blows up» is indeed a strange way to describe an incident in which a human being straps explosives to himself, gets on a crowded bus in a city street, and kills 13 people by detonating his payload, clearly intending to murder as many Jews as possible at one go... Reuters describes the event as if the bus had just exploded on its own *'«Автобус взрывается» — весьма странный способ описания инцидента, в ходе которого человеческое существо привязывает к себе взрывчатку, садится на улице города в переполненный автобус и, взрывая свой смертоносный груз, убивает 13 человек, явно намереваясь погубить одним ударом как можно больше евреев... Рейтер же описывает это событие так, как если бы автобус просто взорвался сам по себе'*^[73].

Следует, однако, указать, что не все глаголы приобретают или утрачивают каузирующий субъект в результате действия именно каузативного правила. Способы, с помощью которых некто может каузировать, чтобы нечто произошло, настолько многочисленны, что каузативные глаголы в огромном количестве образуются во многих сферах жизни, а совсем не обязательно в связи с каузативным чередованием. И в результате некоторые каузативные глаголы, на первый взгляд, попирают принципы, которые я только что иллюстрировал. Но такие глаголы-бунтари чаще всего оказываются специализированными словами: так, возможно walk someone *'вести кого-либо'*, если это игрок, отбивающий мяч (например, в бейсболе), bleed him *'пускать ему кровь'*, если он пациент, burp him *'отрывать его'*, если это маленький ребенок. Другие же глаголы вообще не являются в подлинном смысле каузативными. To shine a light *'засветить огонь'* — значит *'направить свет'*, не *'активировать его'*, а to drive *'везти'*, sail *'плыть'*, walk *'вести'*, waltz *'вальсировать'* означают каким-либо способом направлять человека, перемещая его куда-либо, то есть сопровождать его, а не принуждать.

Прежде чем завершить главу некоторыми наблюдениями над языком как окном в когнитивную природу человека, позвольте мне обобщить наш лингвистический материал. Альтернатива грамматических конструкций отражает когнитивный сдвиг гештальтов: каузация перемещения и каузация изменения; каузация перемещения и каузация обладания; произойти и каузировать, чтобы произошло. Эти сдвиги придают двум альтернирующим конструкциям тонкие различия в значении, отражающие разные способы структурирования ситуации. Избирательность глаголов, исключаящую, казалось бы, возможность овладения ими, можно объяснить на двух уровнях. Так, невооруженным взглядом видно, что сопротивляются использованию в той или иной конструкции те типы глаголов, значения которых явно с ней несовместимы (to throw a cat into the room *'бросить кошку в комна-*

my' — не есть способ изменения состояния комнаты; to drive a bus to the lake *'направить автобус к озеру'* — не приведет к тому, что озеро станет в результате обладателем чего-либо; to laugh a person *'рассмеять (то есть рассместить) кого-либо'* неприменимо к действующему лицу, обладающему свободной волей). Но, поскольку люди способны проделывать всевозможные когнитивные трюки и структурировать почти любое событие почти любым способом, для того чтобы предсказать, как будет вести себя каждый глагол, необходимо рассматривать микроклассы глаголов со сходным значением, широким строем входящие в ту или иную конструкцию или тесной шеренгой останавливающиеся у входа в нее. И эти микроклассы раскрывают пласт навязчивых идей в голове человека и основанных на них метафор: холистические частицы, способные перемещаться или изменяться; сила, приложение которой может быть мгновенным или длиться в течение какого-то времени; собственность, включающая идеи и богатство; и события, которые могут просто происходить, а могут быть каузированы действующим лицом в ходе собственноручного предумышленного акта.

Сообразительные говорящие или сообразительный язык?

Г Все это время я писал об английском языке так, как если бы он
Л был мыслящим существом, у которого всегда и для всего есть разум-
А ные основания. Мы видели убедительное объяснение того, как разные
В способы структурирования ситуации выражаются в различных кон-
А струкциях (причем испытывающая воздействие сущность всегда выра-
жается как прямое дополнение, независимо от того, каузировалось ли
ее перемещение, или ее изменение, или ее обладание чем-либо). Мы
заметили тонкие оттенки значения в конструкциях, которые на пер-
вый взгляд казались синонимичными. И мы наблюдали проявление
скрытых законов физики и психологии в той разборчивости, которую
классы глаголов обнаруживали в выборе конструкций, в которые они
входили. Но языки не думают, думают люди. Действительно ли го-
ворящие — живые люди из плоти и крови — проходят все эти этапы
логического осмысления, когда они усваивают и употребляют глаголы?

Ответом должно быть и да и нет. «Да» — потому что мы знаем, что языки не создаются какой-то специальной комиссией, но спонтанно возникают и развиваются в обществе. Любая предсказуемая связь между формой и значением, которая не является чисто случайной, — как, например, то, что синтаксическое поведение столь многих глаголов можно предсказать, исходя из их значений, — несомненно, есть порождение ума каких-то **определенных** говорящих в какой-то момент

истории этого языка. И нам известно из ваг-тестов и других экспериментов, что современные говорящие, как дети, так и взрослые, четко ощущают основные законы, связывающие значение той или иной конструкции и ее форму^[74].

С другой стороны, отрицательный ответ на заданный выше вопрос обоснован тем, что в отношении большинства глаголов у говорящих **нет необходимости** вырабатывать какие-либо логические обоснования, если они просто хотят использовать данные глаголы так, как это делают все остальные. Все, что им нужно сделать, — это усвоить семантику каждого микрокласса (то общее, что есть у глаголов) и его синтаксис (в каких конструкциях глаголы этого микрокласса чувствуют себя комфортно). Этого достаточно, чтобы говорящие могли предсказывать, какие новые глаголы возможно использовать и в каких именно конструкциях, и им совершенно не обязательно знать почему.

Причиной того, что ответ на указанный вопрос может быть одновременно и положительным, и отрицательным, является то, что разные люди бывают чувствительны к рациональному осмыслению различных глаголов и их классов в разное время. В этом отношении язык, по видимому, похож на другие явления культуры, которые используются в различные периоды времени новаторами, ранними последователями, принявшими новшество, ранним большинством, поздним большинством и отставшими группами населения^[75]. Семантическое обоснование для глагольного фрейма вероятнее всего появляется в мозгу новаторов и ранних адептов: тех говорящих, которые первыми в истории языка расширили рамки конструкции, распространив ее на новый тип глаголов. Такое новое употребление может оказаться мертворожденным и не выйти за пределы речи новатора, но может, напротив, быть с готовностью воспринятым некоторой частью общества. Прием, который будет оказан нововведению, частично зависит от капризов судьбы (как мы увидим в главе 6), но если новая комбинация все-таки закрепляется, это может объясняться тем, что в дальнейшем говорящие, воспринявшие новшество, посредством интуитивной догадки воспроизвели обоснование, возникшее у первоначального творца новшества, а может быть, они просто молчаливо и покорно запомнили глагол в этой новой конструкции, или имело место нечто среднее между этими вариантами развития. Единственное, что важно, это то, что когда люди слышат глагол в новой конструкции, они, естественно, распространяют ее, обобщая, на глаголы со сходным значением.

Можно ли поймать новаторов «на месте преступления», когда они расширяют возможности языка? Это происходит постоянно. Хотя лингвисты часто строят теории языка, как если бы он представлял собой некое фиксированное соглашение в пределах однородной общины идеализированных говорящих, нечто вроде свободной от трения поверхности или идеального газа у физиков, они, конечно же, знают, что

реальный язык постоянно подвергается, особенно в своих периферийных областях, подталкиванию и растягиванию различными говорящими в разных направлениях.

Бывают времена, когда нам всем приходится растягивать внешнюю сторону грамматической оболочки, потому что предложение должно выполнить несколько функций одновременно, а эти функции могут противоречить друг другу. До сих пор я говорил о том, что позиции в предложении закрепляются за определенными значениями, что, например, первый объект указывает на лицо, которое каузируется на обладание чем-то, а второй объект обозначает то, что у него есть. Однако в то же время расположение слов в предложении слева — направо должно выполнять еще некоторые функции, а именно: держать слушающего в курсе информации, которая «дана», просто создавая обстановку для сообщения, и также настраивать его на информацию, которая является «новой», приводя в соответствие с ней понимание ситуации слушающим. В добавление к этим двум есть еще третье требование к порядку слов: говорящий должен проявлять милосердие к памяти слушающего и располагать более протяженные словосочетания ближе к концу предложения, где слушающий может подумать над ними в мире и спокойствии. («Размещайте новый материал в конце» и «Размещайте трудный материал в конце» — вот две наиболее важных рекомендации для хорошего стиля на письме или в устной речи.) Пытаясь следовать подобным указаниям, мы иногда оказываемся вынужденными принести в жертву нормальные пристрастия того или иного глагола.

Например, мы уже говорили о том, что словосочетание *to give a headache to Jim* «причинить головную боль Джиму» звучит хуже, чем *to give Jim a headache* «причинить Джиму головную боль». Но если вместо односложного имени Джим появляется длинная, сложная и неожиданная единица, пишущий может использовать датив с предлогом, чтобы переместить эту единицу на конец предложения. Лингвист Джоан Бреснан и ее коллеги внимательно просмотрели материалы, размещенные в Интернете, в поисках образцов вольного употребления датива и обнаружили такие примеры из реальной жизни:

The spells that protected her identity also gave a headache to anyone trying to determine even her size...

Чары, которые защищали ее идентичность, вызывали также головную боль у всякого, кто пытался определить хотя бы ее размер...

From the heads, offal and the accumulation of fishy, slimy matter, a stench or smell is diffused over the ship that would give a headache to the most athletic constitution.

От голов, требухи и скопления липкой рыбьей слизи зловоние или запах распространяется по всему кораблю, что вызвало бы головную боль даже у самого здорового организма^[76].

Если бы были использованы альтернативные конструкции — give anyone trying to determine her size a headache ‘вызвать у всякого, пытающегося определить ее размер, головную боль’ (букв. ‘дать всякому...’) и give the most athletic constitution a headache ‘вызвать у самого здорового организма головную боль’ (букв. ‘дать...’) — большой кусок текста пришлось бы втиснуть в середину предложения, а маленький кусочек текста повис бы в конце. По-видимому, авторы приведенных выше предложений постарались избежать таких конструкций именно по этой причине.

Из того, что люди способны распространить ту или иную конструкцию на новые глаголы в процессе разговора или написания текста, вовсе не следует, что результаты будут обязательно приняты как совершенно нормальные предложения. Говорящие значительно различаются в том, насколько легко они в состоянии воспринять те разнородные случаи обобщения, которые производят другие говорящие, и это зависит от возраста, места рождения, субкультуры и даже от особенностей личности человека. Я, например, могу еще кое-как стерпеть вышеприведенные предложения с give a headache (с горем пополам!). Но я решительно отвергаю аналогичный случай расширения границ — выражение kiss it goodbye ‘поставить крест на чем-либо’ (букв. ‘попрощаться, поцеловав на прощание’), хотя это выражение, по всей видимости, вполне хорошо звучит для обозревателя Дэвида Брукса из газеты «Нью-Йорк Таймс» и его литературных редакторов, если учесть, что он употребил его по меньшей мере три раза в тексте одного очерка, посвященного кризису 2006 г. между Израилем и Хезболла:

You can kiss goodbye, at least for the time being, to some of the features of the recent crises. You can kiss goodbye to the fascinating chess match known as the Middle East peace process... You can also kiss goodbye to the land-for-peace mentality.

Можно поставить крест, по крайней мере на данный момент, на некоторых характерных чертах современных кризисов. Можно поставить крест на восхитительном шахматном матче, известном как ближневосточный мирный процесс... Можно также поставить крест на умонастроении «земля-в-обмен-на-мир»^[77].

Я перечитал эти предложения не один раз снова и снова, но они все равно застревают у меня в горле. Точно так же вызывают у меня отторжение и многие другие режущие слух конструкции, которые мне довелось услышать и записать. Так, рекомендации фирмы Apple to sleep the computer ‘перевести компьютер в «спящий» режим’ и to hover the mouse ‘навести мышку’ на мой слух звучат все еще неприятно, хотя можно не сомневаться, что они кажутся превосходными более молодым пользователям компьютеров Макинтош, слышавшим эти выражения с самого детства. Приведу некоторые другие примеры необычных конструкций, имеющих в моей коллекции^[78]:

Контент-локативные конструкции:

Women do not invest sexual messages in clothing choice.

Женщины не вкладывают никаких сексуальных сигналов в свой выбор одежды.

She said we just dug up some trash someone littered.

Она сказала, что мы просто выкопали какой-то мусор, [который] кто-то разбросал.

Контейнер-локативные конструкции:

He squeezed them [fish fillets] with lemon juice.

Он выдавил на них [кусочки рыбного филе] лимонным соком (букв. 'выдавил их').

We installed twenty-one banks with ISDN lines.

Мы установили двадцать один банк линиями цифрового Интернета.

Двухобъектные дативные конструкции:

[The report] was given a normal and wide distribution, but we did not brief it to the President.

[Тот доклад] получил обычное широкое распространение, но мы не резюмировали его кратко Президенту^[79].

Каузативные конструкции:

The year Sidney Poitier won best actor he rose us all in the world.

В тот год, когда Сидни Пуатье завоевал титул лучшего актера, он поднял всех нас в этом мире (букв. 'поднялся').

Lectric Shave: Stands up whiskers for a 50 % closer shave.

Электрическая бритва: ставит волоски и делает бритье на 50 % более чистым (букв. 'встаёт').

Конструкции с непереходными глаголами:

The bacteria live off the dissolved minerals that exude from the vent.

Бактерии живут за счет разлагающихся минералов, которые выделяются из вентиляционного отверстия.

Can germs harbor in these things?

Могут ли микробы скрываться в этих вещах?

Все эти предложения-однодневки не выходят за пределы обширной семантической сферы рассмотренных нами типов конструкций (каузация изменения, каузация обладания, каузация осуществления действия), и это свидетельствует о том, что семантическое обоснование является психологической реальностью. Однако они раздвигают внешние пределы микроклассов. И в будущем, по мере того как такие предложения будут многократно повторяться, при наличии тех обстоятельств, которые первоначально способствовали их появлению, или при отсутствии таковых, они могут переключить семантические сферы или послужить зародышем новых сфер в умах восприимчивых говорящих — тех, кто помоложе, кто более погружен в соответствующую

профессию (кулинарное дело, политику, компьютеры, бизнес), или тех, кто менее привередлив в вопросах языка, чем люди, подобные мне. Именно так в языке и происходят изменения.

Язык мышления?

Когда говорящие стараются не употреблять тот или иной глагол в той или иной конструкции или морщатся, слыша, как это делают другие, они наверняка чувствуют тонкие семантические различия, такие как, например, различие между концентрацией внимания на типе перемещения или на типе изменения или различие между мгновенным приложением силы и приложением силы в течение определенного времени. Никто и никогда не обучает этим различиям и не фиксирует их в словарных дефинициях; лингвистам, чтобы их обнаружить, потребовалось длительное время. И ни у кого нет особой мотивации, чтобы усваивать правила, запрещающие людям говорить абсолютно вразумительные вещи. Так откуда же у говорящих возникает такая чувствительность?

Все, что нам реально требуется сделать, чтобы найти объяснение этой обостренной чувствительности слуха, это предположить, что люди репрезентируют глаголы в памяти таким образом, что глаголы со сходными синтаксическими особенностями имеют частично совпадающие дефиниции. Таким образом, как только усваивается новый глагол, это автоматически активизирует его товарищей по классу. Но для того, что бы это могло произойти, значения глаголов должны быть выражены на языке мышления, который графически показывал бы те аспекты значения, которые являются общими для глаголов соответствующего класса, и скрывал бы те аспекты, которыми данные глаголы различаются.

Вот пример. Стоит детям усвоить, как употребляется глагол *pour* 'наливать', они обобщают его синтаксические предпочтения и переносят их на глаголы *drop* 'капать' и *slosh* 'плескаться', но не на *spray* 'брызгать' и *squirt* 'спринцевать'. Это, по-видимому, происходит автоматически, если допустить, что в дефинициях глаголов в мозгу отчетливо высвечиваются понятия ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ и КАУЗИРОВАТЬ, которые делают *pour*, *drop* и *slosh* похожими друг на друга, но отличающимися от *spray* и *squirt*, и если в то же время затемняются ментальные картины перемещающейся жидкости, которые отличают 'наливание' от 'капанья' или 'брызганья' от 'спринцевания'. Благодаря этому глаголы *pour* и *drop* становятся «похожими» для воображения человека (несмотря на то, что реально 'наливание' и 'капанье' совсем различны), а *pour* и *spray* «выглядят неодинаково». А это, в свою очередь, позволяет ребенку перенести то, что он узнал о глаголе *pour*, на глагол *drop*, но не на *spray*.

Если язык мышления действительно существует, он должен быть достаточно абстрактным, чтобы иметь возможность представить глаголы одного микрокласса как выглядящие сходно, а глаголы других микроклассов как непохожие на них^[80]. Он не может просто отражать вид и звучание событий, обозначенных глаголами. Например, с точки зрения чувственного опыта глаголы to hand '*передать*', carry '*нести, передавать*' и bring '*приносить*' кажутся сходными (в развитии какого-нибудь сюжета они все могли бы описывать одно и то же событие), напротив, глаголы throw '*бросать*', kick '*пинать*' и roll '*катить*' кажутся различными. Тем не менее, если обратиться к требованиям, которые дативная конструкция предъявляет к допускаемым в нее глаголам, перед нами предстанет совершенно иная картина. Последние три из приведенных глаголов являются глаголами мгновенной каузации, и, следовательно, они допустимы в конструкции с двойным объектом, тогда как среди первых трех глаголов to hand — это глагол «давания» (в двухобъектной дативной конструкции он вполне уместен), carry — это глагол длительной каузации перемещения (в дативную конструкцию с двумя объектами он не допускается) и to bring — это глагол каузации перемещения в определенном направлении (в двухобъектной дативной конструкции он приемлем). Аналогичным образом, с точки зрения функционирования языка, глагол to tell '*рассказывать*' отличается от say '*сказать*', shout '*кричать*', talk '*разговаривать*' или speak '*говорить*' (они принадлежат к разным микроклассам), но сходен с quote '*цитировать*', leak '*проговориться*', ask '*просить*', pose '*формулировать, излагать*' и write '*писать*'. Точно так же to shout '*кричать*' не более похож на yell '*вопить громко*' или scream '*вопить пронзительно*', чем на whisper '*шептать*' или murmur '*говорить тихо, бормотать*' (поскольку все они являются глаголами, указывающими на манеру говорения). To bake a cake '*испечь пирог*' нужно признать сходным с to build a house '*построить дом*' или to write a letter of recommendation '*написать рекомендательное письмо*' (все эти глаголы относятся к глаголам созидания), но отличающимся от to warm a cake '*согреть пирог*', burn a cake '*сжечь пирог*' или reheat a cake '*разогреть пирог*' (поскольку они глаголы изменения состояния). Глагол to bet '*держаться пари, рисковать*' следует осмыслять как сходный с to envy '*завидовать*', spare '*экономить, жалеть для кого-либо что-либо*' и begrudge '*завидовать*' (глаголы, указывающие на возможность необладания в будущем) и как непохожий на глаголы sell '*продавать*', pay '*платить*' или trade '*торговать*' (которые являются глаголами «давания»). Во всех этих случаях восприятие на взгляд и на осязание события, так же как предметов и действий, с которыми событие связано (перемещение, говорение, пироги, деньги), должно отойти на второй план, а в центре внимания должна оказаться абстрактная структура события (изменение, каузация, непосредственность, мгновенность).

Что же входит в этот абстрактный язык мышления? Вероятно, вы заметили, что небольшое число различий, связанных с пространством, временем, силой, субстанцией и намерением, регулярно обнаруживалось в дефинициях микроклассов глаголов. Это подсказывает, что именно они и образуют структурную основу наших понятийных систем. Однако признание того, что эти различия играют важную роль в одном, английском, языке, — еще недостаточное доказательство. Если они действительно составляют язык мышления — понятийную инфраструктуру *Homo sapiens*, — следует ожидать, что они встретятся нам в самых разных языках мира.

Вместе с тем те конкретные явления, которые мы исследовали, — а именно конструкции, чередования конструкций и микроклассы глаголов, — конечно же не универсальны. Они не являются постоянными даже в диалектах английского языка, в разных вариантах английского языка, которые существовали в различные исторические эпохи, а также и у разных отдельных говорящих на стандартном английском в наши дни. Но иного и не следовало ожидать. Ведь даже если считать, что дети обладают неким универсальным даром языка, они вряд ли могут заговорить в одночасье, подобно тому, как английская актриса Джули Эндрюс взрывается песней в начале музыкального фильма *The Sounds of Music* («Звуки музыки»). Детям приходится старательно прислушиваться к словам и конструкциям, закрепившимся в их общине, прежде чем они научатся использовать свои языковые способности так, чтобы их понимали их соотечественники. А имеющийся в их распоряжении фонд слов и конструкций зависит от превратностей местной истории: завоеватели, торговые партнеры, иммигранты, снобы, битники и импортированные невесты — все это формировало язык на протяжении предшествующих веков и тысячелетий, а кроме того, не следует забывать еще и о влиянии причудливых процессов невнятного произнесения или преувеличенного подчеркивания звуков, которые волнами прокатывались по всей общине. Если мышление оставляет на языке универсальные отпечатки, эти следы должны быть чем-то более тонким, чем фиксированный список правил и конструкций, обнаруживаемых во всех языках.

К счастью, такие отпечатки можно увидеть повсеместно. Хотя рассмотренные нами конструкции не являются универсальными, они регулярно встречаются в неродственных языках и семьях языков по всей земле, и это приводит к мысли, что способности человека к созданию языка, столкнувшись с необходимостью передавать определенные типы понятий, вновь и вновь шли по пути открытия этих конструкций. Чередование локативных конструкций, сходное с тем, что существует в английском языке, было, например, отмечено в немецком, испанском, русском, греческом, венгерском, индонезийском, арабском, берберском, в языке игбо (на котором говорят в Нигерии), в китай-

ском, японском, корейском и в языках чичева и шона (семья банту)^[81]. Дативные конструкции и конструкции, подобные дативу, были документально зафиксированы в неиндоевропейских языках на всех континентах^[82]. Языков, где засвидетельствовано чередование каузативных конструкций, насчитываются сотни, и во многих исследованиях были предприняты попытки установить их общие свойства^[83].

Оказывается, что во многих языках не только существуют конструкции, схожие с теми, что мы видим в английском, но там, где они есть, они разыгрывают те же концептуальные сценарии. Так, в большинстве языков, в которых глагол легко переходит от контент-локативных конструкций к контейнер-локативным, в игру включается холистический эффект совершенно так же, как это происходит в английском^[84]. В некоторых языках это выражается прямо: когда говорящим, например, на языке игбо нужно передать значение «контейнер» с помощью прямого дополнения, они добавляют к глаголу слово со значением «полный», как если бы по-английски мы сказали *pack-full the suitcase with clothes* 'упаковать полный чемодан одеждой'. Аналогичным образом, двухобъектные дативные конструкции отнюдь не выражают любое изменение или перемещение, но, как и в английском языке, они резервируют первый объект за обладателями, получателями, бенефициантами и maleфициантами.

Наконец, в каузативных конструкциях, в которых значение одного и того же глагола варьируется между указанием на событие и указанием на каузацию события, предпочтение оказывается прямой, собственно-ручной и преднамеренной каузации перед более кружными или безличными причинно-следственными цепочками^[85].

Хотя классы и микроклассы глаголов в различных языках неодинаковы, это варьирование не является случайным. Оно обычно затрагивает те различия, которые точно совпадают с членением, которое язык проводит в континууме, начиная с понятий, несомненно согласующихся со значением конструкции, и кончая теми, которые этому значению явно противоречат. Если взять дативную конструкцию, то для нее членение континуума определяется тем, насколько легко тот или иной акт можно представить как разновидность «давания». На одном конце находится прототип --- глаголы, подобные самому глаголу *give* 'давать', и во всех языках, где существует дативная конструкция с двумя объектами, такие глаголы в данную конструкцию допускаются. Некоторые языки этим ограничиваются, но большинство языков допускает в эту конструкцию также и глаголы типа *send* 'посылать'. Третьи идут еще дальше и допускают сюда еще и глаголы мгновенного перемещения типа *throw* 'бросать' (английский язык здесь подводит черту), а еще некоторые языки допускают в данную конструкцию кроме того и глаголы длительного перемещения, наподобие *hoist* 'поднимать' и *pull* 'тянуть'^[86]. Когда мы доходим до самого дальнего конца конти-

нуума, мы обнаруживаем там глаголы перемещения к неодушевленной цели в чистом виде, такие как *to drive a bus to a lake* 'направить автобус к озеру', но вряд ли существует много языков (а скорее всего, их вообще нет), которые были бы настолько либеральны, чтобы позволить использовать их в двухобъектной дативной конструкции.

Из существующих в языках мира каузативных конструкций можно узнать об универсалиях мышления еще больше. При разграничении микроклассов глаголов языки проводят здесь несколько демаркационных линий. Наиболее важная из них разделяет события, у которых явно есть причина, скрытая внутри изменяющейся сущности (в этом случае не нужен непосредственный стимул типа бильярдного шара, который обычно подразумевается каузативом), и, с другой стороны, события, которые явно нуждаются в толчке извне, чтобы каузировать изменение или придать ему определенную форму. Так, лишь немногие языки допускают переход глаголов, означающих действия человека, в каузативные омонимы (как в предложении *Bill laughed Debbi*, означая, что 'Билл рассмеял (рассмешил) Дебби', вероятно, потому что непосредственная причина таится в данном случае, как предполагается, где-то внутри человека^[87]). Встречаются языки, которые, не доходя до полной вседозволенности, все же допускают каузативные конструкции с глаголами изменения или перемещения. Кроме того, известны языки, которые, подобно английскому, разрешают использовать в каузативном значении глаголы, указывающие на некоторые ограниченные **виды** перемещения и изменения, но исключают такую возможность для других глаголов. например, для глаголов, означающих прекращение существования или испускание материальных частиц. И наконец, есть очень консервативные языки, которые предоставляют право участия в чередовании каузативных конструкций только глаголам, выражающим наиболее пассивные изменения физического состояния, такие как «разбивание», «открытие» и «растопливание»^[88].

Мы пытались найти универсальные элементы мышления, глядя в явления через игольное ушко языка — через глагольные конструкции. Это значит, что вариативность, которую мы наблюдали, создает преувеличенное представление о вариативности, которая присуща структуре самого мышления. Когда речь идет о базовых понятиях, ситуация в языках мира похожа на игру *Whack-a-Mole* («Ударь крота»): если язык выбивает какое-то понятие из одного из своих грамматических механизмов, это понятие имеет обыкновение проявлять себя в каком-нибудь другом месте. Наглядным примером может служить каузация. До сих пор основное внимание мы обращали на конструкции, в которых значение каузации было сосредоточено в глаголе, как в словосочетаниях *to break the glass* 'разбить стекло' и *to slide the puck* 'катить шайбу'. Но каузация может также быть выражена специальными префиксами и суффиксами, как в английском языке *en-* (*enlarge*

‘увеличить’, enrich ‘обогащать’, ensure ‘обеспечить’), -ify (beautify ‘украшать’, electrify ‘электрифицировать’, falsify ‘фальсифицировать’) и -ize (centralize ‘централизовать’, publicize ‘рекламировать’, revolutionize ‘революционизировать’). В английском языке эти префиксы и суффиксы могут присоединяться только к прилагательным и существительным, но в других языках, таких, например, как иврит или турецкий, они в больших количествах добавляются и к глаголам. Кроме того, каузация может быть выражена в языке с помощью особого глагола, который по-родственному объединяется с другим глаголом (обозначающим казулируемое событие) и образует как бы двуглавый глагол; английский эквивалент его выглядел бы как Karen made-break the window ‘Karen заставила разбить(ся) окно’. А иногда для выражения каузации используется особый самостоятельный глагол, стоящий отдельно в главном предложении, тогда как результат переносится в придаточное предложение, как в английском Karen made the window break ‘Karen сделала так, что окно разбилось’. Если в языке имеется несколько способов выражения каузации, он резервирует более лаконичный способ для выражения более прямой каузации, а более сложный использует для каузации менее непосредственной (сравните в английском языке разницу между to dim the lights ‘приглушить свет с помощью переключателя’ и to make the lights dim ‘сделать свет менее ярким, включив, например, дополнительно тостер’) [89]. Ситуация выглядит так, как будто морфемы были выложены в виде небольшой диаграммы, изображающей звенья причинно-следственной цепочки, и цепочки с меньшим количеством звеньев передавались меньшим числом морфем.

**Г
Л
А
В
А**

2

Каузация — это лишь одно из нескольких значений-кротов, которые, как в упомянутой выше игре, постоянно выскакивают в языках мира то в одном грамматическом слоте, то в другом. В этой игре слоты включают классы и микроклассы глаголов; префиксы и суффиксы и некоторые служебные слова (такие, как предлоги, союзы и вспомогательные глаголы); а также «легкие глаголы»¹⁾, такие как в английском языке make ‘делать, производить’, do ‘делать, действовать’, be ‘быть’, have ‘иметь’, take ‘брать’ и go ‘идти’ (в некоторых языках только такие глаголы и существуют). Понятия, которые появляются в подобных слотах, составляют достаточно короткий список, более или менее ограниченный следующими рамками [90]:

- состав базовых понятий: событие, состояние, предмет, направление, место, свойство, манера;
- система отношений, связывающих эти понятия друг с другом: действие, движение, существование, обладание;
- таксономия сущностей: человек vs. нечеловек, одушевленность vs. неодушевленность, предмет vs. вещество, отдельная единица vs.

¹⁾ Light verbs, то есть десемантизированные глаголы. — Прим. перев.

совокупность, гибкий vs. жесткий, одномерный vs. двумерный vs. трехмерный;

- система пространственных понятий, определяющих место и направление, как, например, значения предлогов on 'на', at 'у', in 'в', to 'к' и under 'под';
- линия времени, выстраивающая события и разграничивающая события мгновенные, события, ограниченные определенными промежутками, и события, имеющие неограниченную протяженность;
- совокупность причинно-следственных отношений: принуждение, позволение, способствование, предотвращение, препятствование, поощрение;
- понятие цели и различие средства и цели.

Можно сказать, что это и есть важнейшие слова языка мышления. В следующей главе мы увидим, как они формируют наше понимание физического и социального миров.

Разумеется, полный список человеческих понятий намного, намного обширнее приведенного выше. Так, в значении глагола to butter 'намазать маслом' должна, например, содержаться репрезентация некой маслообразной субстанции, а если кто-либо скажет, что Bush has out-Nixoned Nixon 'Буш переплюнул Никсона', у него в мозгу должна была промелькнуть определенная примечательная черта тридцать седьмого президента США Ричарда Никсона. Однако эти и бесчисленные другие чувственно воспринимаемые, когнитивные и эмоциональные различия невидимы для той части мозга, которая оценивает некоторые глаголы как сходные, а другие как различные, решая, как использовать их в той или иной грамматической конструкции. Помимо конкретных людей и субстанций к ним относятся настроение, установка и состояние ума говорящего; скорость перемещающегося объекта; соразмерность, цвет и пол участников; физические свойства окружающей обстановки (температура, имеет ли событие место внутри или вне помещения, происходит ли дело на суше, в воздухе или на море)^[91]. Следовательно, понятия, стоящие за языком, организованы особым образом. Базовые концептуальные различия сосредоточены в структурном каркасе значения, у которого там и сям имеются крючки, и на них как бы развешаны образы, звуки, эмоции, ментальные картины и другое содержимое сознания.

Действительно ли мозг человека отличает костяк базовых понятий, существенных для грамматики, от более обширного набора значений, облакающих этот костяк плотью и кровью? Нейропсихолог Дэвид Кеммерер, опираясь на свои исследования различных моделей утраты языка у пациентов вследствие травмы мозга, отвечает на этот вопрос утвердительно. В одном из исследований Кеммерер работал с пациенткой, которая утратила способность различать глагол to drip 'капать'

и глаголы *pour* 'наливать' и *spill* 'проливать', три члена локативного микрокласса глаголов, расходящихся только деталями перемещения жидкости, но сходными по понятийному костяку («способствовать перемещению жидкости или смеси вниз») [92]. Но эта же пациентка по-прежнему чутко реагировала на абстрактные семантические понятия, управляющие поведением глаголов в конструкциях: она знала, что предложение *Sam spilled beer on his pants* 'Сэм пролил пиво на брюки' является грамматически правильным, а *Sam spilled his pants with beer* 'Сэм пролил брюки пивом' — нет. И дело было не в том, что грамматический тест в первом случае оказывался более простым. Два других пациента с повреждением других частей мозга обнаруживали противоположную модель: они чувствовали различие между «наливанием», «накапыванием» и «проливанием», но не ощущали ничего странного в предложениях, где наблюдалось столкновение ядерных понятий, как в предложении *Sam spilled his pants with beer*. Другие исследования показали сходные расхождения. Так, некоторые пациенты теряли способность различать горячее и холодное, красное и зеленое, шлепание и постукивание (различия, которые для грамматики несущественны), но сохраняли способность различать субстанцию и форму или контакт и причинно-следственную связь (различия, для грамматики значимые), или наоборот [93].

Наше путешествие вниз по кроличьей норе привело нас в семантическую Страну чудес. Перед нами прошло огромное множество глаголов — дюжина глаголов, означающих испускание материальных частиц, два десятка глаголов, указывающих на изменение поверхности в эстетическом отношении и не менее шестидесяти девяти глаголов со значением манеры говорения. Нам встретились события, интерпретация которых была подвержена колебаниям, подобно смене двух изображений — лица и фона — на вазе. Мы наблюдали пряник, который кишел, баскетболистов, превратившихся в глаголы, и сраженных драконов, которыми дамы символически обладали как знаком преданности возлюбленного. Однако несмотря на все признаки, отличающие один глагол от другого, — «обрызгивать» от «обмазывать», «морщиниться» от «мяться», «визгливо кричать» от «пронзительно визжать» и т. п. — наиболее важные и памятные для нас обитатели Страны чудес — это молчаливые и невидимые понятия, на которые мы постоянно наталкивались, когда вглядывались в то, что скрыто за глаголами: бесплотные понятия пространства, времени, причинности, обладания и цели, которые, как можно предположить, и составляют язык мышления.

Наши когнитивные причуды

Я обещал, что внимательное изучение глаголов позволит раскрыть нашу способность переходить от одного концептуального фрей-

ма к другому, поможет убедительно продемонстрировать наше обыкновение использовать некоторые понятия в качестве метафор для других понятий, а также даст возможность представить инвентарь фундаментальных понятий, которые структурируют значение предложений, а возможно, и само мышление. Какие же выводы можно сделать из этого инвентаря? Мы думаем об этих понятиях — мы думаем с их помощью — все время, и можно предположить, что они являются теми неизбежными категориями, посредством которых любая наделенная интеллектом сущность, будь то человек, кремний или пришелец, вынуждена взаимодействовать с реальностью. Позвольте мне завершить путешествие вниз по кроличьей норе некоторыми намеками на то, что это не так. Базовые понятия, управляющие мышлением людей в повседневной жизни, могут оказаться такими же эксцентричными, как Фальшивая Черепаха или Королева Червей у Льюиса Кэрролла.

Встретившиеся нам составные элементы здравого смысла, такие как причинная связь, сила, время и материя, отнюдь не являются упрощенными вариантами понятий, существующих в логике или науке, или нашими самыми современными коллективными представлениями о том, как устраивать наши дела. Эти понятия достаточно успешно функционировали в мире, в котором формировался наш мозг, но они могут подвести наш здравый смысл и оставить его безоружным при столкновении с некоторыми концептуальными вызовами современного мира. Я имею в виду здесь вовсе не парадоксы квантовой механики или теории относительности, понятные лишь немногим избранным, но гораздо более прозаические головоломки, когда наша интуиция вступает, по всей видимости, в противоречие с реальностью, в которой мы живем. Вот несколько случаев, когда ядерные понятия, приведенные выше в данной главе, могут ввести нас в заблуждение при встрече с вызовами жизни.

Обладание и благополучие. Начнем с банального примера. Вспомним грамматическую метафору благополучия: быть благополучным значит обладать чем-либо. В общем и целом, мало кто будет спорить с певицей Софи Такер, сказавшей: *I've been rich and I've been poor. Rich is better 'Я была богатой и я была бедной. Богатой быть лучше'*. Тем не менее когда речь заходит о более детальной градации степеней богатства, то на протяжении всей истории человечества мудрецы пытались удерживать людей от подобного умонастроения, постоянно напоминая, что счастья за деньги не купишь, что только циник знает, сколько стоит все на свете, но он не знает истинной цены ничему, и что неверно, будто выигрывает тот, кто, когда умирает, владеет наибольшим количеством игрушек. Современные исследователи понятия счастья (*happyologists*) подтвердили, что когда люди достигают определенного уровня благосостояния, приобретение дополнительного богатства и собственности

уже почти не приносит, а иногда совсем не приносит им никакой дополнительной радости^[94].

Обладание и знание. Другая вводящая в заблуждение концептуальная формула — это метафора коммуникации, согласно которой «знать» — это обладать чем-либо, а «общаться» — значит пересылать это нечто кому-либо подобно почтовому отправлению. И снова в этом есть зерно истины: если бы информация никогда не передавалась с известной точностью от мозга к мозгу, знание в обществе никогда не могло бы накапливаться, а сам язык был бы бесполезным. Однако наука когнитология неоднократно показывала, в каких случаях данная метафора оказывается неадекватной. В главе 1 мы видели, что понимание языка представляет собой нечто большее, чем просто извлечение буквального значения, как слишком поздно узнал Джордж Костанза, когда до него дошло, что *coffee* совершенно не обязательно означает '*кофе*'. И когда значение извлечено и отложено в памяти, оно не хранится там как безделушка, неподвижно стоящая на полке; изучение памяти подтверждает наблюдение Марка Твена о том, что люди имеют обыкновение помнить события независимо от того, происходили ли они на самом деле или нет^[95]. В традиционном образовании господствовала другая разновидность метафоры коммуникации, иногда называемая моделью сбережения-и-одалживания (*savings-and-loan model*): учитель раздает своим ученикам слитки информации, а те стараются удержать их в голове столько времени, сколько нужно, и отдают их обратно на экзамене. Хотя у прогрессивных теорий образования, ставящих целью побудить детей заново открывать знания, а не быть пассивным вместилищем фактов, были свои крайности, невозможно отрицать, что люди усваивают значительно больше, когда их призывают думать о том, что они изучают, чем когда им предлагают извлекать из лекций один факт за другим и фиксировать их в памяти^[96].

Обладание и перемещение. В языках собственность часто трактуется как некая вещь, находящаяся в определенном месте, а передача ее или продажа — как перемещение ее на новое место, вследствие чего на первоначальном месте ее уже больше нет. По отношению к движимому имуществу, такому как цыплята или пироги, подобное буквальное понимание, возможно, и справедливо, и оно также достаточно удобно при метафорически расширенном применении его к более абстрактным явлениям, таким как деньги и недвижимое имущество. Однако интеллектуальная собственность является для данной метафоры настоящей проблемой. Хотя, согласно английской поговорке, действительно нельзя «съесть пирог и по-прежнему иметь его», это утверждение неверно в отношении информации, которую можно копировать до бесконечности и при этом сохранять ее. Благодаря современным информационным технологиям, позволяющим работать

с одним файлом сразу нескольким пользователям и загружать свой файл, копируя на него что-либо, можно стать обладателем песни или изображения или части программного обеспечения и при этом первоначальный владелец своей собственности не лишается. Столкновение двух противоположных мнений — убеждения, что предмет может одновременно находиться только в одном месте и, с другой стороны, что «информация стремится быть свободной» — спровоцировало одно из самых ожесточенных сражений, идущих в юриспруденции в наши дни: как распространить законы, созданные первоначально для охраны прав собственности на материальное имущество, на право собственности на копируемые нематериальные сущности, такие как слова, песни, образы, чертежи, формулы и даже гены^[97].

Время. Модель времени, лежащая в основе языка, — это вовсе не неумолимое тиканье часов, измеряющих течение жизни в неких постоянных единицах. Напротив, в данной модели отрезки времени предстают, грубо говоря, как мгновенные события (например, *throwing* ‘бросание’), как протяженные процессы (например, *pulling* ‘растягивание’ и *pushing* ‘подталкивание’) и как процессы, имеющие кульминацию (например, *breaking a glass* ‘разбивание стекла’). Та часть мозга, которая взаимодействует с языком, следит за этими густками времени лишь с помощью вех «раньше-и-позже» и «одновременно». У этого интуитивного хронометра отсутствует понятие времени как непрерывного, поддающегося измерению бесценного явления, совпадающего по продолжительности с существованием человека. Нельзя не задуматься, а не скрывается ли на самом деле за той фрустрацией, от которой страдают постоянно спешащие граждане постиндустриального общества, столкновение различных концептуализаций времени и не проигрывают ли они в соревновании с более безмятежным (и, возможно, более интуитивным) восприятием времени, существующим в третьем мире, на американском Юге и в Массачусетском бюро регистрации автомобилей.

Предметы и их месторасположения. Когда мозг определяет положение одного предмета по отношению к другому, он склонен сокращать первый предмет до точки или некой частички, форма и строение которой более неразличимы, как у вещи в ящике. Мы уже наблюдали, как такой холистический подход переносился на абстрактные пространства для качеств или состояний, подобных заполненному фургону или саду, кишашему пчелами. Я подозреваю, что это является одной из причин, почему люди с таким трудом понимают сравнение статистических данных. Приведу один пример, оказавшийся в центре внимания прессы. Многие исследователи подтвердили документально, что распределение способностей и темпераментов у мужчин и у женщин неодинаково. Так, например, в тестах на воспроизведение в уме

трехмерных предметов показатель для мужчин в среднем выше, чем для женщин, а в тестах на беглость речи, напротив, более высоким является средний показатель для женщин^[98]. Конечно, средние показатели есть только средние показатели; некоторые женщины лучше оперируют пространственными понятиями, чем большинство мужчин, а некоторые мужчины говорят более бегло, чем большинство женщин. Но когда люди узнают о подобном исследовании, они часто пытаются исказить его результаты и свести их к утверждению, что любой последний мужчина лучше любой последней женщины (или наоборот). Люди, прославляющие различие между мужчинами и женщинами, пишут книги типа *Men Are from Mars, Women Are from Venus* («Мужчины с Марса, женщины с Венеры»)¹⁾ (наглядный пример метафоры «предмет-в-определенном месте»); люди, сожалеющие об этом различии, обвиняют исследователей в том, что они якобы признают, что «целая группа людей от природы обречена на неудачу»^[99]. Похоже на то, как если бы эти люди, услышав статистические данные о том, что женщины в среднем живут дольше мужчин, сделали бы вывод, что каждая женщина переживет каждого мужчину. Образ одного круга, плавающего над другим, по-видимому, более естественно приходит людям в голову, чем образ двух пересекающихся кривых нормального распределения.

Причинно-следственная связь. Прототипическая модель причины и следствия, выявляемая языком, включает лицо, сознательно воздействующее на некоторую сущность и непосредственно осуществляющее преднамеренное изменение ее положения или состояния. Этот образ близок к понятию уголовной ответственности, встроенному в нашу правовую систему, — *actus reus* ‘преступное деяние’ и *mens rea* ‘преступный умысел’, наличие которых необходимо для установления умышленного убийства первой степени и других тяжких преступлений. К несчастью, реальная жизнь нам часто подбрасывает сюжеты, которые с трудом укладываются в рамки этой игры в бильярд (многие из подобных сюжетов были увлекательно проанализированы в книге Лео Катца *Bad Acts and Guilty Minds: Conundrums of the Criminal Law* («Преступные деяния и злые умыслы: Головоломки уголовного права»)). Некая женщина, желая отравить мужа, насыпает мышьяк ему в яблоко, но муж выбрасывает яблоко. Бездомный бродяга подбирает яблоко из помойного ведра, съедает яблоко и умирает. Можно ли считать, что эта женщина его отравила? А что сказать о домовладельце, который захлопывает дверь перед ребенком, спасающимся от разъяренной собаки, и обрекает ребенка на верную смерть? Или о человеке, который приходит с веревкой и ящиком в дом к женщине, страдающей депрессией, привязывает один конец веревки к стропилу, на другом конце делает петлю и убеждает женщину засунуть голову в петлю и оттолкнуть ящик?

¹⁾ Имеется в виду книга психолога Джона Грея. — *Прим. перев.*

Головоломки причинно-следственной связи — это не просто казусы для тренировки будущих юристов в юридической школе. 1 июля 1881 г. президент США Джеймс Гарфилд собирался сесть в поезд, и в этот момент некто Чарлз Гуито прицелился в него из винтовки и произвел два выстрела^[100]. Обе пули прошли мимо жизненно важных органов и кровеносных сосудов, но одна застряла в мягких тканях спины. По современным меркам рана была несерьезной, и она не должна была оказаться смертельной даже во времена Гарфилда. Однако доктора, лечившие президента Гарфилда, подвергли его ряду безответственных медицинских процедур, принятых в то время, таких как зондирование раны, да к тому же грязными руками (и это десятилетия спустя после открытия антисептиков), и кормление через прямую кишку вместо того, чтобы кормить его через рот. Лежа на смертном одре, Гарфилд потерял в весе около 50 килограммов и умер через восемьдесят дней после ранения от истощения и заражения крови. На суде Гуито неоднократно повторял: «Это доктора убили его; я же только в него стрелял». Но его слова не убедили присяжных, и в 1882 г. Гуито был повешен — еще один человек, чья судьба оказалась зависимой от семантики глагола.

Пятьдесят тысяч врожденных понятий (и другие радикальные теории языка и мышления)



Любому человеку, принимавшему участие в интеллектуальном споре, приходилось сталкиваться с уловками, хитростями и нечестными приемами, которые спорящие используют, чтобы заморочить мозги аудитории, когда факты и логика говорят не в их пользу. Существуют такие приемы, как ссылка на авторитет («Так говорит Сполдинг, а он Нобелевский лауреат»), приписывание неблагоприятных мотивов («Файерфлай просто пытается привлечь внимание и большие деньги»), обзывание именами («Теория Дрифтвуда является расистской») и дискредитация посредством ассоциации («Хэкенбуша финансирует тот же фонд, который некогда финансировал нацистов»). Но самый известный прием — это, по-видимому, создание «соломенного чучелка», воображаемого противника, которого потом с легкостью ниспровергают, и этот прием настолько многогранен, что иногда задаешься вопросом, а может ли интеллектуальная жизнь вообще обойтись без него?

Прелесть «соломенного чучелка» заключается в том, что его можно использовать самыми разными способами. Наиболее банальный из них — устроить с «чучелком» боксерский поединок, заменив таким образом в сражении грозного оппонента слабосильным простаком. Можно также станцевать с «чучелком» тустеп: сначала создать некий образ воображаемого противника, затем признать, что в конце концов он не так уж и глуп, но представить благоразумие оппонента как его капитуляцию под напором сокрушительной критики с вашей стороны^[1]. А еще есть «чучелко», которое удобно принести в жертву в тех случаях, когда вы опасаетесь выйти за пределы приемлемого для уважаемого общества мнения: тогда сначала нужно выдвинуть самую экстремальную версию вашей теории, а затем дистанцироваться

от нее, доказывая тем самым умеренность ваших взглядов. Аналогичную тактику применяют торговцы вином, когда ставят на каждую полку с выставленными бутылками одну бутылку очень дорогого вина. Они знают, что неуверенные в себе покупатели обычно стараются покупать товары по некоей средней цене, поэтому если на полке выставлена сто-долларовая бутылка вина, они с готовностью купят вино по тридцать долларов за бутылку, в то время как если бы самая дорогая бутылка вина стоила тридцать долларов, покупатели были бы готовы потратить на вино только десять долларов^[2].

В своей предыдущей книге я утверждал, что в наши дни многие интеллектуалы придерживаются крайних взглядов на человеческий мозг, считая, что он подобен чистому листу и не обладает никакими врожденными способностями или темпераментами^[3]. В результате теории, признающие, что мозгу человека присущи способности, которые, казалось, не должны были бы вызывать сомнений, такие как ревность к сексуальному сопернику, или родительская любовь, или инстинктивная способность к языку, часто объявляются экстремальными. Для защиты подобной теории замечательной находкой с точки зрения риторики было бы придумать (с тем, чтобы дальше принести в жертву) воображаемого противника — сторонника врожденных идей с гораздо более радикальными взглядами, чем указанные выше, — скажем, человека, который считает, что наш стандартный интеллектуальный багаж включает не только немногочисленные эмоции и навыки мышления, но десятки тысяч вполне разработанных конкретных понятий типа «тромбон», «карбюратор» и «дверная ручка». Я не стал прибегать к подобной тактике, и не только из соображений интеллигентской этики. Я совершенно уверен, что моя позиция была умеренной с самого начала, а кроме того, тот радикальный сторонник врожденности понятий, который был приглашен мною для участия в споре, — это отнюдь не «соломенное чучелко», а человек из плоти и крови: это мой бывший коллега по Массачусетскому технологическому институту философ и психолог Джерри Фодор^[4].

Фодор — блестящий, остроумный и напористый ученый-боец, который помимо многого другого помог заложить основы когнитивной науки и способствовал формированию научного подхода к пониманию предложения^[5]. Его широко известная теория о том, что люди рождаются, уже обладая пятьюдесятью тысячами врожденных понятий (стандартный подсчет числа слов в словарном запасе типичного носителя английского языка), выступает здесь не как сторона в споре о преобладающей роли наследственных факторов или воспитания, но как сторона в дискуссии о том, как значения слов репрезентированы в мозгу людей. В предшествующей главе я высказал предположение, что человеческий мозг содержит репрезентации значений слов, состоящие из более базовых понятий, таких как «причина», «средство», «событие»

и «место». Фодор с этим не согласен. Он полагает, что значения слов подобны атомам в первоначальном смысле этого слова, то есть что они неделимы. Например, значение глагола *to kill*, с его точки зрения, не есть нечто вроде *'каузировать, чтобы умер'*, но скорее просто *'убить'* и точка. Значение глагола *to cut* — *'резать'*, значение *to load* — *'нагружать'*, значение *trombone* — *'тромбон'*, и так для всех пятидесяти тысяч слов, которыми владеет человек. И если какие-либо понятия, лежащие в основе значений слов, не складываются в процессе обучения из врожденных частей, их самих следует признать врожденными. Таким образом, радикализм теории Фодора о врожденном характере идей проистекает не из его глубокой убежденности в том, что все заложено в генах человека. Его радикализм является следствием уверенности, что значения слов представляют собой нечленимое целое. Однако оба мы не можем быть правы одновременно. К чести Фодора, следует сказать, что он развивает свои утверждения до самых их логических последствий, не боясь, что эти последствия могут оказаться весьма необычными. Как писал об этом его коллега философ Дэниел Деннет:

Большинство философов напоминает старые матрасы: на них прыгаешь и утопаешь с головой в глубине определений, оговорок, дополнений. Но Фодор подобен батуту: на него прыгаешь, а он в ответ пружинит еще выше, выдвигая положения, вдвойне более решительные и скандальные. Если кто-то из нас может видеть немного дальше, то это потому, что мы прыгали на Джерри ^[6].

Последнее предложение, представляющее собой аллюзию на знаменитые слова Ньютона: «Если я смог видеть дальше, то это потому, что стоял на плечах гигантов», объясняет, почему в данной главе так много внимания будет уделяться тому, что воспринимается как безумная идея, а именно утверждению, что понятие «карбюратор» каким-то образом закодировано в нашей ДНК. И дело тут не только в том, что справедливость требует, чтобы были рассмотрены альтернативы той теории, которую предлагаю я; дело еще в стремлении к ясности и к дальнейшему развитию. Сопоставляя ту или иную теорию с противостоящими ей теориями, даже теми, что кажутся слишком радикальными, чтобы быть истинными, можно узнать много полезного.

Теорию, да и не только ее, можно по-настоящему понять, только если знаешь, чем она не является. В предыдущей главе я познакомил читателей с теорией концептуальной семантики — значения слов репрезентированы в мозгу в виде совокупностей базовых понятий, представленных на языке мышления. Вы вполне могли бы прореагировать на это словами: «Ну и что тут нового? Как иначе могли бы люди узнать, как употреблять слова из своего словарного запаса?» В данной главе мы увидим, как это может быть иначе. Я постараюсь объяснить преимущества концептуальной семантики, противопоставив ей три другие теории.

Первая теория — это теория экстремального нативизма Фодора (в когнитологии термин «нативизм» указывает на врожденный характер ментальной организации; он не имеет никакого отношения к политическому термину «нативизм», означая орологические антииммигрантские настроения). Вторая теория — это теория радикальной прагматики, основная идея которой заключается в том, что мозг человека не содержит никаких фиксированных репрезентаций значений слов^[7]. Слова текучи, постоянно изменчивы и могут означать разные вещи при разных обстоятельствах. Мы придаем словам значение только на ходу, в контексте идущего разговора или создаваемого текста. А то, что мы извлекаем из памяти, — это не словарь дефиниций, а сеть ассоциаций между словами и типами событий и действующих лиц, на которые слова обычно указывают^[8]. Третья радикальная альтернативная теория — лингвистический детерминизм — переворачивает с ног на голову те взгляды на язык и мышление, которые разделяю я. Согласно теории лингвистического детерминизма, язык не является окном в человеческое мышление, облеченное в более богатую и более абстрактную форму, но наш родной язык и **есть** тот самый язык мышления, и в силу этого он обуславливает типы понятий, которые мы способны помыслить^[9].

Обращение к спорным проблемам, в объяснении которых теория концептуальной семантики конкурирует с альтернативными теориями, не только будет способствовать более глубокому осмыслению этих проблем, но поможет нам кроме того исследовать дополнительно некоторые свойства человеческой природы. Мы узнаем, как мозг осмысляет предметы и людей, как репрезентирует числа и как он рассматривает три измерения пространства. Мы увидим также, как люди используют свое знание слов, чтобы раскрасить свой язык выражением отношений и эмоций, чтобы позабавить слушателей и произвести на них впечатление, чтобы высказать свое мнение по поводу самого языка.

Последний аргумент в пользу того, чтобы продолжить дискуссию о том, как значения слов представлены в мозгу человека, заключается в следующем: споры по этому вопросу являются своего рода пробой сил — за ними скрываются более крупные столкновения идей. Такие часто задаваемые вопросы, как «Что является врожденным, а что приобретенным?» «Является ли значение в нашей устной и письменной речи заранее установленным или оно определяется контекстом?» «Ограничивает ли наш язык то, что мы можем помыслить?» и «Являются ли человеческие культуры в своей основе сходными или различными?», затрагивают всю нашу интеллектуальную жизнь, и в своей книге «Чистый лист» я показал, что часто им приписывается весьма широкий моральный и политический смысл. Мы не будем пытаться решать эти проблемы здесь, но пристальный анализ слов, которые легче, чем другие части культуры, поддаются выделению и исследованию, может помочь нам подойти к пониманию этих проблем.

Вступление к данной главе и обещание сопоставить мою теорию с ее так называемыми радикальными альтернативами должны были вас настроить и настроить на появление гомункулуса — «соломенного чучелка». Однако я, анализируя альтернативные теории, буду изо всех сил стараться разделять «перины» — людей, которые выдвигают некую радикальную идею, но выходят из игры, как только на них «прыгают», и «батуты» — тех, кто со всего размаха дает сдачу, «прыгая» в ответ.

Экстремальный нативизм

Ход рассуждения, который приводит Фодора к его радикальному выводу, начинается достаточно невинно^[10]. Почти все участники различных дискуссий о приоритете наследственных или воспитательных факторов, признают, что люди рождаются, несомненно обладая способностью репрезентировать некоторые элементарные понятия (пусть только такие, как «красный», «громкий», «круглый» и т. п.), а также способностью составлять новые понятия из этого инвентаря врожденных понятий в результате приобретенного опыта (пусть только связывая их друг с другом). Например, сложное понятие «красный квадрат» усваивается путем установления связи между двумя простыми понятиями «красный» и «квадрат». Ключевой вопрос здесь — какие понятия являются частью инвентаря врожденных понятий, а какие составлены из них (или по крайней мере получают свое значение в зависимости от того, каким способом они с ними связаны)? Ответить на этот вопрос можно, во-первых, если попытаться разграничить понятия, которые явно поддаются членению на более простые понятия (как, например, значение словосочетания «человек в сером фланелевом костюме» или значения других сочетаний слов), и понятия, явно на части не делимые и не содержащие никаких более мелких или более фундаментальных понятий (как, например, понятия «красный» или «прямая», порожденные непосредственными зрительными впечатлениями). Что касается тех, кто признает приоритет воспитания, то сторонники эмпиризма из их среды стараются обходиться небольшим инвентарем сенсорно-моторных признаков, прибегая для построения более сложных понятий только к процессу ассоциации. В стане тех, кто отдает предпочтение наследственным факторам, нативисты утверждают, что к нам приходит в готовом виде, а не собирается на месте, более широкий и абстрактный набор понятий, и в частности такие понятия, как «причина», «число», «живое существо», «обмен», «родич» и «опасность».

Обе стороны, противостоящие в споре, если прижать их к стене, вынуждены согласиться, что простые строительные блоки познания, подобно клавишам пианино, алфавиту в клавиатуре пишущей машинки или цветным карандашам в коробке, являются сами по себе врожденными. Печатайте на обычной пишущей машинке все, что вам угодно;

и хотя вы можете напечатать на ней любое количество английских слов, и предложений, и параграфов, вы никогда не увидите там ни одного знака иврита, или тамильского, или японского языков. Как сказал Лейбниц, стремясь усовершенствовать основной лозунг эмпиризма:

Нет ничего в разуме, чего бы раньше не было в ощущениях... за исключением самого разума^[11].

Как же обстоит дело с понятиями, лежащими в основе значений слов? И сторонники эмпиризма, и не самые фанатичные нативисты согласились бы, вероятно, с тем, что большинство из названных выше понятий построено из более элементарных единиц, — так, «мать», возможно, представлено в мозгу как «родитель женского пола», «убить», возможно, концептуализировано как «каузировать, чтобы стал неживым». Можно предположить, что эти единицы являются врожденными, но может случиться, что и они, в свою очередь, поддадутся членению на еще более элементарные единицы, которые являются врожденными. (Процесс должен наконец остановиться хоть на **чем-то** врожденном, иначе невозможно объяснить, почему дети, но не цыплята, или ремень, или кирпичи, способны вообще усваивать слова и понятия.) Если какую-либо единицу нельзя представить как сочетание более фундаментальных единиц, ее следует признать врожденной, подобно тому как, например, буква А, которую невозможно представить как построенную из чего-либо более простого, является врожденной по отношению к пишущей машинке.

Но Фодор утверждает, что значения большинства слов нельзя разложить на более простые единицы. Дефиниции всегда ушербны. «Убить», например, на самом деле не значит «каузировать, чтобы стал неживым»^[12]. Как мы видели в предыдущей главе, можно «каузировать кого-то стать неживым» в среду, отравив его во вторник, но невозможно «убить кого-то» в среду, отравив его во вторник. Точно так же невозможно убить кого-либо, захлопнув перед ним дверь, когда он спасается от бешеной собаки, хотя таким образом можно каузировать, чтобы он стал неживым. Более того, говорит Фодор, философы, которые пытались свести сложные понятия — такие как «знать», «наука», «благо», «объяснить» и «электрон» — к дефинициям, составленным из более элементарных понятий, потерпели в своих попытках сокрушительное поражение. И наконец, заявляет он, когда мы обращаемся к психологии людей, использующих язык в реальном времени, мы не видим никаких признаков того, что они испытывают больше трудностей с предположительно сложными понятиями по сравнению с предположительно простыми понятиями^[13]. Например, мы интуитивно чувствуем, что понять слово *father* 'отец' ничуть не труднее, чем слово *parent* 'родитель', хотя иногда считают, что «отец» — это сложное понятие, определяемое посредством более простых понятий «мужской пол» и «родитель»^[14].

Далее, если понятия не поддаются определению, это значит, что они не построены из более элементарных понятий, а это означает, что **они сами** представляют собой элементарные понятия и, таким образом, являются врожденными. Из этого не следует, что дети выходят из чрева матери оснащенными вполне сформировавшимся знанием того, что такое «отец», «убить» или «карбюратор». Формирование этих понятий все равно должно быть стимулировано их соответствиями в реальном мире или, как говорят этологи, должно быть «высвобождено», совершенно так же, как врожденное понятие «мать» у гусенка высвобождается, когда он видит нечто неясное и движущееся, а врожденное понятие «соперник» высвобождается у самца рыбы колюшки при виде красного пятна. Более того, нечленимость словесных значений вовсе не означает, что людям неизвестна та информация, которая обычно заключена в дефинициях значений слов. Возможно, люди знают, что отцы — это родители и что они относятся к мужскому полу, потому что у них существует правило вывода: «Если нечто является отцом, значит оно мужского пола; если нечто является отцом, значит, это родитель». Эти «постулаты значения» служат дополнением к логической системе человека, присоединяясь к другим правилам вывода, таким, например, как «Если истинно p или q , но p — ложно, тогда q истинно». Они, однако, не являются частью значения слова^[15].

Фодор допускает существование немногих исключений. Дефиниции можно дать некоторым профессиональным словам типа *ketch* 'кеч, небольшое двухмачтовое судно' или *sloop* 'шлюп, небольшое одномачтовое судно', математически определяемым терминам типа *triangle* 'треугольник' и *prime number* 'простое число', а также словам, состоящим из многих частей, типа *dishwasher* 'посудомоечная машина' и *blackness* 'темнота' (поскольку нелогично было бы говорить, что словосочетание *to wash dishes* 'мыть посуду' является когнитивно сложным, а соответствующее ему слово *dishwasher* — нет). Однако, заключает Фодор, «имеются еще другие полмиллиона или около того лексических единиц, приведенных в Оксфордском словаре английского языка. И с этими последними ничего, по-видимому, поделаться нельзя»^[16]. А если ничего нельзя сделать, чтобы дать им дефиниции, значит, они не поддаются членению, и, следовательно, являются врожденными, независимо от того, сколько их окажется, — пятьдесят тысяч, а возможно, пятьсот тысяч или, может быть, еще больше, если принять во внимание слова других языков, которые невозможно перевести одним словом на английский. *Voïngg!* 'Пры-ы-г на батуте!' А если это вступает в противоречие с эволюционной биологией (поскольку разумно было бы предположить, что естественный отбор не мог предвидеть, что возникнет необходимость в таких понятиях, как «карбюратор» или «тромбон», до того как появились карбюраторы и тромбоны), то тем хуже для эволюционной биологии — Фодор, как и его главные противники из числа сторон-

ников эмпиризма, отбрасывает дарвинизм как собрание устаревших сказок^[17]. А если это противоречит здравому смыслу, то тем хуже для здравого смысла. Мы ведь не позволяем здравому смыслу взять верх над научными открытиями там, где речь идет об этологии других видов, например, пауков или рыб, так почему же мы должны дарить ему право накладывать вето на открытия, касающиеся этологии человеческих существ^[18]? В любом случае, в истории науки случались и более странные вещи — достаточно посмотреть, какая странная штука получилась из квантовой физики. *Voing! Voing! Voing! 'Прыг! Прыг! Прыг!'*

Если говорить кратко, то мое основное возражение против экстремального нативизма заключается в том, что ошибочна его ключевая посылка, а именно тезис о том, что значения слов невозможно разложить на более базовые понятия. Заслуживает также комментария пренебрежительное отношение Фодора к здравому смыслу. Фодор справедливо замечает, что в истории часто обнаруживалась правота нешаблонных идей, — действительно, над Кристофором Колумбом или Томасом Эдисоном смеялись все кому не лень. Проблема в том, что все смеялись и над Мэнни Шварцем. Что, вы никогда не слышали о Мэнни Шварце?! Он был создателем и главным пропагандистом теории просачивания континентов, согласно которой дно южных континентов Земли является остроконечным, потому что по мере остывания из расплавленного состояния континенты каплями стекали вниз. Различие, однако, — и различие существенное, — состоит в том, что когда люди смеялись над Мэнни Шварцем, они были правы. Экстраординарные утверждения (а утверждение о том, что пятьдесят тысяч понятий, включая «тромбон» и «карбюратор», являются врожденными, — это экстраординарное утверждение) нуждаются в экстраординарных же доказательствах. Вместе с тем, как мы увидим далее, доказательства, которые предьявляет Фодор, экстраординарно неубедительны. Почему перечень, включающий тысячи врожденных понятий, представляется чрезмерным? Скажем так, если вы собираетесь утверждать, что нечто является врожденным, имело бы смысл сначала проверить, согласуется ли ваше утверждение с наукой, изучающей возникновение врожденных явлений, а именно с эволюционной биологией. В ее современном понимании, эволюционная биология свидетельствует, что врожденные явления, которые требуют многих усилий, тщательно разрабатываются и должны приносить пользу (а словарь из пятидесяти тысяч слов, несомненно, таковым является), доходят до нас потому, что они способствовали репродуктивному успеху наших предков^[19]. Однако, как я уже говорил, трудно себе представить, чтобы врожденное понимание карбюраторов и тромбонов могло оказаться полезным за сотни тысяч лет до того, как они были изобретены.

Союзник Фодора когнитивист Массимо Пиателли-Пальмарини, признав, что это является одной из трудностей, с которыми сталки-

вается теория о пятидесяти тысячах врожденных понятий, придумал аргумент, с помощью которого попытался примирить данную теорию с современной биологией^[20]. (Ноам Хомский, который тоже считает, что многие значения слов являются врожденными, выдвинул сходный аргумент^[21].) Посмотрите на иммунную систему человека, говорит Пиателли-Пальмарини. Раньше биологи думали, что организмы «научены» создавать антитела для борьбы с чуждыми протеинами (антигенами), которые порождаются патогенными веществами и паразитами, вероятно, с помощью некоего процесса, в ходе которого пластичные антитела принимают форму этих враждебных протеинов. Теперь же мы знаем, что иммунная система производит миллионы различных антител, в том числе и антитела, которые блокируют даже такие протеины, с какими наши организмы никогда раньше не сталкивались и, возможно, никогда не столкнутся в будущем (скажем, из ткани печени орангутанга или паразита, встречающегося только в Центральной Африке). Реакция нашей иммунной системы заключается в том, что она **выбирает** уже существующее антитело, лучше всего подходящее для блокирования того или иного антигена, и дает ему возможность размножаться. (Каждое антитело было первоначально создано из более простых элементов, но эти элементы не могут «распознавать» чужеродные антигены, и исходные антитела порождаются из них вслепую.) Следовательно, заключает Пиателли-Пальмарини, иммунная система адаптивна и разумна не благодаря своей способности «научаться» под влиянием окружающей среды. Скорее, все дело в том, что она от природы избыточна и расточительна, но содержит достаточное количество различных единиц, чтобы в нужный момент пустить в ход те из них, которые требуются в соответствующей ситуации. Как можно предположить, то же верно и в отношении нейробиологической системы, которая порождает наши понятия.

Уязвимым местом подобной аргументации является то, что она обходит молчанием принципиальное различие между иммунной системой человека и его мозгом. Обширный запас антител у человека — отнюдь не показатель того, что его организм расходует свои ресурсы бесполово, наподобие пьяного матроса. Этот запас — результат приспособления человека к угрозе, исходящей от окружающих нас бесчисленных быстро размножающихся вредоносных микроорганизмов. Наш организм держит большой запас антител в боевой готовности, потому что малейшая брешь в обороне может немедленно стать мишенью какого-нибудь так и ждущего удобного случая микроба. По этой же причине рентгеновские установки в аэропортах «расточительно» проверяют на наличие оружия всех пассажиров, а не только молодых арабских мужчин. В тот самый момент, когда в аэропортах перестанут обыскивать пожилых китайцев, «Аль-Каида» найдет способ заложить бомбы в сумочки этих пожилых китайских женщин.

К понятийной системе предъявляются требования совершенно иного рода. Наши понятия не только не должны учитывать любой вообразимый случай, но, наоборот, они должны быть ограничены, чтобы избежать большинства из них, иначе дети не смогут понять, что значит то или иное слово, на основании нескольких примеров его употребления. Усвоение слов — это такая же «позорная» проблема индукции, как овладение синтаксисом или практическая научная работа, потому что существует бесконечное количество обобщений, в своем большинстве ошибочных, которые логически совместимы с любой выборкой экспериментального материала. Когда перед ребенком пробегает кролик и взрослый говорит *Gavagai!*, *gavagai* может означать ‘кролик’, ‘кроличий род’, ‘бегающий кролик’ или ‘неразъятые части кролика’^[22]. Когда ему протягивают изумруд и говорящий произносит слово *green*, это может значить ‘зеленый’, но может также означать ‘зеленый до 2020 г., синий после этого срока’ (иначе это называется *grue*¹⁾). Если бы дети обладали инвентарем понятий столь же расточительным, как имеющийся у них инвентарь антител, у них были бы врожденные понятия не только «кролик» и «зеленый», но также и врожденные понятия «неразъятые части кролика» и «зелено-синий», и они никогда не могли бы определиться с правильными значениями слов^[23]. Это подрывает один из главных аргументов для признания **чего бы то ни было** врожденным явлением.

Прежде чем мы начнем закладывать слова в ядерный ускоритель, чтобы увидеть, разлетятся ли они на части или нет, позвольте мне упомянуть еще одну проблему, не получившую решения в теории экстремального нативизма. Данная проблема связана с тем, как мы включаем в работу наши понятия, если, как утверждает Фодор, они, подобно множеству камешков, не состоят из частей. Мы ведь не просто **обладаем** понятиями, мы их **используем**, а для того чтобы нечто было полезно при выполнении сложной задачи (некое орудие, орган, часть компьютерной программы), оно должно состоять из частей, берущих на себя при разделении труда выполнение более простых частных задач. Так, если *to melt something* ‘расплавить что-либо’ означает ‘каузировать, чтобы нечто стало расплавленным’, тогда мы можем решить проблему того, как люди используют понятие «плавить», проанализировав сначала, как они используют понятие «каузации», — посмотрев, например, как дети узнают случаи каузации, исходя из траекторий перемещения, или как люди приходят к заключению, что если *x* является причиной *y*, то *y* не имел бы места, если бы не *x*. Каждая из этих трудностей более легко преодолима по отдельности, по сравнению с попыткой выяснить, как работает понятие «плавить» в целом, поскольку оно включает все указанные выше проблемы и добавляет

¹⁾ То есть *gr[een]* ‘зеленый’ + *[bl]ue* ‘синий’. — Прим. перев.

к ним сверх того некоторые новые. Еще важнее то обстоятельство, что если будет разработана психологии каузации, объяснение можно будет автоматически применять к тысячам **других** глаголов, предполагающих каузацию: to kill *'убивать'*, to bounce *'отбивать'*, to butter *' намазывать (маслом)'* и т. д. (ниже об этом еще будет идти речь).

Подобным же образом обстоит дело и с другими компонентами значения. Однако если to melt значит просто *'расплавить'*, тогда остается загадкой, как дети узнают частные случаи этого понятия и как они мыслят с его помощью, — и мы оказываемся лицом к лицу с пятьюдесятью тысячами аналогичных загадок^[24].

Стремление уйти от этой проблемы слишком очевидно, когда мы читаем работы Фодора, который при объяснении того, что такое понятие, часто довольствуется тем, что просто печатает соответствующее тому или иному понятию слово в различных падежах и различными шрифтами:

Основная мысль состоит в следующем: то, что делает нечто дверной ручкой, — это именно то, что это такая разновидность вещи, из опыта обращения с которой наша разновидность мозга легко приобретает понятие ДВЕРНАЯ РУЧКА. И обратно, то, что делает нечто понятием **дверная ручка**, — это именно выражение свойства, которое наша разновидность мозга, исходя из опыта, связывает с адекватными примерами частных реализаций *класса дверных ручек*... я хочу сказать, что *класс дверных ручек* представляет собой некоторое свойство, с которым оказывается связанным человек, когда эту связь обуславливает опыт обращения с типичными дверными ручками, и происходит это *благодаря тем свойствам, которые им присущи как типичным дверным ручкам*^[25].

Справедливости ради, хочу сказать, что это не пустая болтовня; Фодор излагает свою философскую аргументацию последовательно, хотя и несколько заумно (однако я не буду здесь пытаться давать никаких пояснений). Что же касается психологии понятий, то впечатление того, что Фодор играет в некоторую игру с типографскими шрифтами, вполне оправдывается: что реально представляют собой свойства класса дверных ручек и как люди распознают их и мыслят с их помощью, так и остается необъясненным.

Таковы некоторые проблемы, возникающие в связи с теорией экстремального нативизма. Что могут сказать нам по этому поводу факты языка? Одна из проблем имеет непосредственное отношение к лингвистике и хорошо известна лингвистам: граница между значениями одноморфемных слов (которые Фодор признает нечленимыми и врожденными) и значениями многоморфемных слов (которые, по мнению Фодора, состоят из частей и усваиваются подобно значениям словосочетаний и предложений) нередко является условной. Во-первых, одно и то же понятие в одном языке может быть выражено многоморфемным

словом, а в другом — словом одноморфемным, как мы видели в предыдущей главе, рассматривая понятие «каузации», которое неожиданно возникало в разных слотах языка, В английском языке, например, существуют отдельные корневые слова для see 'видеть' и show 'показывать', для come 'приходить' и bring 'приводить', для rise 'подниматься' и raise 'поднимать', для write 'писать' и dictate 'диктовать'. В иврите слово со значением «показывать» выглядит как «каузировать, чтобы видел», слово, означающее «приводить», — как «каузировать, чтобы пришел», слово, выражающее значение «поднимать», — как «каузировать, чтобы поднялся», и слово «диктовать» — как «каузировать, чтобы написал». Однако вряд ли кто-нибудь станет утверждать, что понятие «приводить» является врожденным для американцев и британцев, но усвоенным для израильтян.

Даже в пределах одного языка, то или иное понятие может сначала выражаться многоморфемным словом, а потом одноморфемным. Именно так произошло большинство английских нерегулярных форм: возможно, говорящие тесно соединяли морфемы друг с другом в произношении или слушающим не удавалось разделить их при восприятии, и в результате две морфемы сливались в одну. Так, made 'сделал' раньше представляло собой maked (make + ed), а feet 'ноги' в прошлом было foeti (fot [foot] + -i) [26]. Но, конечно же, понятия «делать-в-прошедшем-времени» и «больше-чем-одна-нога» не перешли где-то в среднеанглийский период для говорящих по-английски из категории усвоенных во врожденные. Если взять примеры, более близкие к нашему времени, то мы наблюдаем переход от многоморфемности к одноморфемности в названиях многих изобретений, как только эти изобретения становятся общим достоянием: refrigerator 'холодильник' — fridge, horseless carriage 'безлошадный экипаж' — car 'автомобиль', wireless 'беспроволочный' — radio 'радио', facsimile transmission 'факсимильная передача' — fax 'факс', electronic mail 'электронная почта' — e-mail 'имейл', personal computer 'персональный компьютер' — PC. Что же получается — как только люди стали передавать каждое из этих понятий с помощью простого слова, оно, что, пробудило к жизни своего дремавшего до тех пор врожденного двойника?

Все эти факты подчеркивают важную особенность устройства языка. Синтаксические механизмы позволяют людям строить сложные понятия из понятий простых — таково, например, словосочетание remove caffeine from 'удалить кофеин из', интерпретация которого зависит от значений входящих в него слов, в данном случае «удалять», «кофеин» и «из». (Замечу в скобках, что Фодор высоко оценивает эту способность языка, полемизируя со своими оппонентами из лагеря эмпиристов по другим вопросам, например, в дискуссии о коннекционизме.) [27] Механизмы морфологии (образование сложных слов) осуществляют то же самое, что и механизмы синтаксиса, а именно строят

сложные понятия из понятий простых; например слово *decaffeinated* можно интерпретировать, исходя из значений *de-* 'без-', *caffeine* 'кофеин', *-ate* глагольный суффикс, означающий «становиться», или «каузировать, чтобы стал каким-либо», и *-ed* показатель причастия прошедшего времени глагола. Однако Фодор настаивает, что этот механизм должен остановиться у порога простого слова, — что когда люди начинают употреблять названия брендов бескофеинового кофе *decaf* (не осознавая его частей) или *Sanka* (растворимый бескофеиновый), происходит замена прежнего понятия совершенно другим понятием, которое является врожденным. Но легкость, с какой мультиморфемные слова сворачиваются в одноморфемные, показывает, что язык не испытывает никакого почтения к границе, воздвигнутой между ними Фодором.

Можно предположить, что понятия действительно имеют некоторые оттенки в значении в зависимости от того, выражаются ли они как словосочетания, сложные слова или простые слова. Например, компоненты значения слова являются более обобщенными, чем те же компоненты в составе словосочетания. То *butter* 'намазать' не означает в буквальном смысле «намазать сливочным маслом». Годится любая субстанция, подобная сливочному маслу: можно, скажем, *to butter one's bread with cheap margarine* 'намазать хлеб дешевым маргарином'. Некоторые эпонимические по происхождению глаголы типа *gerrymander* 'фальсифицировать, подтасовывать', *bowdlerize* 'выбрасывать (из книги и т. п.) все нежелательное' и *boycott* 'бойкотировать' намного пережили всякую память о тех людях, чье имя вызвало их появление первоначально. Но эти изменения происходят повсеместно, и связаны они с различием словосочетаний и слов как классов явлений, а не со специфическими особенностями каждого слова (совершенно так же, как можно намазать хлеб дешевым маргарином, можно *paper the walls with vinyl sheeting* 'оклеить стены виниловыми обоями'). Происходит некоторая корректировка или расширение первоначального значения, но не полная замена, как в случае, если бы значение «банан» было заменено на «большая тележка», а именно так могло бы быть, если бы значения простых и сложных слов были бы нечленимы и не связаны между собой.

Вспомним также, что, как утверждает Фодор, слова, выражающие сложные понятия, не труднее употреблять и усваивать, чем слова для простых понятий. Но сложные слова и не должны вовсе всегда быть более трудными с психологической точки зрения, поскольку по мере вхождения понятий в обиход мозг человека объединяет отдельные элементы в некоторые сгустки и приписывает каждому такому сгустку понятий один слот в памяти и при обработке информации^[28]. Вполне возможно, поэтому, что говорящему не требуется для использования понятия «каузировать, чтобы умер» больше мыслительных усилий, чем

для понятия «умереть». Если же на стадии развития какое-то понятие все-таки превышает естественную величину сгустка понятий, у детей действительно возникает больше трудностей при его усвоении^[29]. Так, психолог Дидре Гентнер исследовала простые глаголы *give* 'давать' и *take* 'брать', несколько более сложные глаголы *pay* 'платить (давать деньги)' и *trade* 'торговать (давать *x* и получать *y*)' и еще более сложные *spend* 'тратить (давать деньги и получать *x*)' и *sell* 'продавать (давать *x* и получать деньги)'. Детям было легче разыгрывать сценки с простыми глаголами, чем с более сложными, а труднее всего им приходилось с самыми сложными глаголами, как и следовало ожидать. И ошибки детей заключались в том, что они опускали некоторые из дополнительных компонентов значения, как, например, разыгрывая сценку с глаголом *sell*, давали что-нибудь, не беря взамен денег^[30]. Иногда такое неполное усвоение понятий можно наблюдать в речевых ошибках детей, как, например, в случае, когда двухлетний малыш, сопровождавший мать к банкомату, где та собиралась получить деньги по карте, спрашивает ее: *Are we buying money now? 'Мы сейчас покупаем деньги?'*^[31].

Однако центральное место в аргументации Фодора занимают его нападки на дефиниции, которые, по его словам, неизбежно упускают что-то из значения определяемого слова — *definiendum*. Ошибочность подобных нападков заключается в том, что дефиницию (которая, вероятно, всегда является неполной) следует отличать от семантической репрезентации. Дефиниция — это словарное определение значения какого-либо английского слова с помощью других английских слов, рассчитанное на то, что его прочтает нормальный человек, используя во всей полноте свои интеллектуальные и языковые навыки. Что касается семантической репрезентации, то она представляет собой знание человека о значении английского слова в концептуальной структуре (язык мышления), обработанное некой системой мозга, которая управляет сгустками понятий в концептуальной структуре и соотносит их со значениями. Дефиниции могут быть неполными, потому что в них многое оставляется на долю воображения говорящего на соответствующем языке. В отличие от этого, семантические репрезентации должны быть более эксплицитными, потому что они сами и есть воображение говорящего на данном языке. Критика Фодором сложных семантических репрезентаций объясняется тем, что он смешивает их со словарными дефинициями.

Фодор рассматривает только один пример: переходный глагол *paint* 'красить, расписывать' и его дефиницию 'покрывать поверхность краской':

To start with a fairly crude point, consider the case where the paint factory explodes and covers the spectator with paint. This may be good fun, but it is not a case of the paint factory (or the explosion) painting the spectators.

Начнем с довольно грубого примера и рассмотрим случай, когда взрывается фабрика по производству красок и забрызгивает краской свидетелей происшествия. Может быть, это и выглядит очень забавно, но вряд ли можно считать, что в данном случае фабрика красок (или взрыв) покрыла краской очевидцев^[32].

Как признает с самого начала и сам Фодор, это уж **очень** грубый пример, потому что в семантической репрезентации глагола to paint и других каузативных глаголов, как правило, обязательно присутствует одушевленное действующее лицо. (О взрыве на маслодельне нельзя сказать, что он butters the cows ‘*намазывает сливочным маслом коров*’, а взрыв на химическом заводе, производящем антикоррозийную жидкость, вряд ли oils the hinges ‘*смазывает металлические петли*’ и т. д.) Составители словарей не заботятся о том, чтобы растолковать своим читателям все это, рассчитывая, что это восполнят они сами.

И в этом-то все и дело — читатели **могут** восполнить недостающую часть значения, когда им становится известно, что to paint является каузативным глаголом, потому что они репрезентируют его значение как включающее понятие «агенса каузируемого события».

Ну а Фодор продолжает развивать свою мысль дальше:

Consider that Michelangelo, though an agent, was not a house-painter. In particular, when he covered the ceiling of the Sistine Chapel with paint, he was not painting the ceiling; he was painting a picture **on** the ceiling... Compare Tom Sawyer and his fence.

Примите во внимание, что Микеланджело, хотя он и действующее лицо, не был маляром. В частности, когда он покрывал краской потолок Сикстинской капеллы, он не красил там потолок; он писал красками на потолке картину... Сравните Тома Сойера и его забор^[33].

Обойдем молчанием тот факт, что многие люди тем не менее описывают то, что делал Микеланджело, как painting the ceiling ‘*расписывание потолка*’, — корректно применяя локативное правило к конструкции to paint a picture on the ceiling ‘*писать картину на потолке*’. (В поисковой системе Google приводится 335 ссылок на словосочетание Michelangelo painted the ceiling, хотя в одной из цитат месторасположение потолка определяется как Cistern Chapel ‘*Цистерновая капелла*’, а в другой — как Sixteenth Chapel ‘*Шестнадцатая капелла*’.) Как замечает Фодор далее, для того чтобы можно было сказать, что некто красит потолок, покрытие краской потолка должно быть основной целью человека, а не просто чтобы потолок оказался в конце концов покрытым краской как побочный результат осуществления какой-то другой цели, в данном случае написания картины. Это действительно глубокое замечание, но оно не имеет никакого отношения к своеобразию значения глагола to paint. Как мы видели в главе 2, этого требуют **все** глаголы в контейнер-локативной конструкции: все они указывают, что

изменение состояния намеренно осуществляется в отношении поверхности или контейнера. (О человеке, который, направляясь к колодцу за водой, упал с ведром в озеро, нельзя сказать, что он filled the bucket 'наполнил ведро', так же как о женщине, которая для тепла обвила плечи бинтами, неправильно говорить, что она bandaged her shoulders 'забинтовала плечи' и т. д.) Поэтому когда Фодор жалуется на то, что дефиниция глагола to paint «становится какой-то запутанной» (is getting sort of hairy), он игнорирует тот факт, что аналогичная «запутанность» присуща тысячам других глаголов и что ее можно устранить одним ударом — сняв условие преднамеренности применительно к каждому глаголу в отдельности и включив его один-единственный раз в число более общих понятий, таких как «действие», «причина» и «цель», — в число понятий, которые, хотя Фодор с этим и не согласен, являются повторяющимися компонентами значений слов.

Он делает еще одну попытку:

Anyhow, this definition doesn't work either. For consider that when Michelangelo dipped his brush into Cerulean Blue, he thereby covered the surface of his brush with paint and did so with the primary intention that his brush should be covered with paint in consequence of his having dipped it. **But Michelangelo was not, for all that, painting his paintbrush.**

Как бы то ни было, но и эта дефиниция тоже не работает. Потому что когда Микеланджело окунул свою кисть в небесно-голубую краску, он тем самым покрыл краской поверхность своей кисти и сделал это с основной целью, чтобы его кисть была покрыта краской как следствие того, что он обмакнул ее в краску. Но несмотря на все это Микеланджело не красил свою кисть^[34].

Сказанное Фодором вполне справедливо, но ведь все дело в том, что глагол paint — как и тысячи других глаголов — различает средство и цель, и то, что Микеланджело погрузил кисть в краску, структурируется как средство, а украшение поверхности — потолка — определяется как цель.

После таких трех примеров читатели, как надеется Фодор, должны потерять всякое терпение: I don't know where we go from here 'Не знаю, куда мы пойдем дальше', говорит он со вздохом^[35]. Завершая на этом свое рассуждение, Фодор оставляет своих читателей в неведении относительно того, что каждое из тех трех препятствий, на которые он наткнулся, — одушевленный агенс, осознанное намерение и различие средства и цели — отнюдь не является, вопреки требованиям теории атомизма значений, не поддающейся объяснению причудой одного только глагола to paint, но представляет собой общую особенность многих глаголов, сходных по значению с paint, а ведь против этого теория атомизма значений слов как раз и возражает.

Позвольте мне закончить обсуждение теории экстремального нативизма расщеплением неделимого атома — демонстрацией того, как значения глаголов составляются из небольшого числа концептуальных частиц. Я исходил из этой идеи, излагая материал в главе 2, однако я предпочитаю не отсылать читателей к приведенным там примерам, но представить здесь весьма элегантное описание процесса расщепления, частично основанное на работе Бет Левин^[36]. Ею был исследован тип глаголов, составляющий квинтэссенцию данного класса слов: простые переходные глаголы действия, когда *x* осуществляет что-либо по отношению к *y*. Если уж у **каких-то** глаголов значения действительно нечленимы, то это должно было бы быть именно у таких глаголов.

Атомы расщепляются с помощью процедуры бомбардировки значений переходных глаголов различными конструкциями и последующего анализа фрагментов, получившихся в результате такого столкновения. Первой для бомбардировки была выбрана конструкция, которая называется **конативной**, от латинского глагола *сопог* ‘*пытаться, пробо-вать*’. Конатив передает идею о том, что действующее лицо неоднократно пытается воздействовать на что-то, но не вполне успешно:

Mabel cut at the rope.

Мейбл пыталась разрезать веревку.

[Ср. Mabel cut the rope.

Мейбл разрезала веревку.]

Sal chipped at the rock.

Сэл пытался обтесывать камень.

Vince hit at the dog.

Винс пытался ударить собаку.

Claudia kicked at the wall.

Клодия пыталась ударить стену ногой.

Предлог *at* указывает на сущность, выступающую как цель воздействия человека (отметим метафорическое расширение значения предлога *at* по сравнению с более конкретным смыслом «цель физического движения», например, в предложении Harry fired an arrow at the tree ‘Хэрри выпустил стрелу в дерево’).

Как и можно было ожидать, не все глаголы способны выступать в конативной конструкции, даже тогда, когда получается осмысленное словосочетание. Так, каждое из приводимых ниже предложений звучит странно:

*Nancy touched at the cat.

Нэнси пыталась дотронуться до кошки.

*Jeremy kissed at the child.

Джеремми пытался поцеловать ребенка.

*Rhonda broke at the rope.
Ронда пыталась разорвать веревку.

*Joseph split at the wood.
Джозеф пытался расколоть дрова.

Таким образом, выясняется, что конативная конструкция применима к гораздо меньшему классу действий, чем весь тот круг действий, которые можно попытаться совершить. Она подходит для глаголов «резания» (chip ‘тесать, резать’, chop ‘рубить’, cut ‘резать’, hack ‘рубить’, slash ‘рубить’) и глаголов «нанесения удара» (beat ‘бить’, bump ‘ударять’, hit ‘ударять’, kick ‘ударять ногой, лягать’, knock ‘ударять’, slap ‘ударять, шлепать’, strike ‘бить, ударять’, tap ‘хлопать, постукивать’), но не для глаголов «соприкосновения» (hug ‘обнимать’, kiss ‘целовать’, pat ‘шлепать, похлопывать’, stroke ‘поглаживать, ласкать’, tickle ‘щекотать’, touch ‘трогать, касаться’) или глаголов «разрушения» (break ‘ломать, рвать’, crack ‘колоть, расщеплять’, rip ‘разрезать, рвать’, smash ‘разбивать, ломать’, split ‘раскалывать’). Если попытаться сформулировать определение более кратко, в конативной конструкции могут выступать глаголы, которые означают такую разновидность движения, которая приводит к тому или иному типу контакта.

Обратимся теперь к альтернации, которая называется «возвышение обладателя» (possessor-raising)^[37]:

Sam cut Brian's arm.
Сэм порезал руку Брайена.

Sam cut Brian on the arm.
Сэм порезал Брайену руку.

Miriam hit the dog's leg.
Мирием ударила ногу собаки.

Miriam hit the dog on the leg.
Мирием ударила собаку по ноге.

Terry touched Mavis's ear.
Терри тронул ухо Мэвис.

Terry touched Mavis on the ear.
Терри тронул Мэвис за ухо.

Как и чередования других конструкций, альтернация «возвышение обладателя» предполагает когнитивный сдвиг гештальта, в данном случае от структурирования человека как некоей нематериальной сущности — души, которая обладает частями тела человека (cut Brian's arm ‘порезать руку Брайена’) к структурированию его как куска плоти, которая сама и есть части его тела (cut Brian ‘порезать Брайена’)^[38]. В случае первой конструкции вполне правомерен вопрос, кто же такой «Брайен» и где он находится, если возможно порезать какую-то из его

частей — конечность, голову, туловище, — не порезав самого Брайена. Что касается второго предложения, то можно порезать Брайену голову, грудь или даже мизинец на ноге, и каждый раз порезан будет именно Брайен, а не какая-то часть его тела. Дуализм «душа—тело» проявляется более четко, если заменить в конструкции людей и их тела на неодушевленные бесчувственные предметы. Так, невозможно, например, сказать *The puppy bit the table on the leg* 'Щенок укусил стол за ножку', *Sam touched the library on the window* 'Сэм тронул библиотеку за окно' или *A rock hit the house on the roof* 'Скала ударила дом по крыше', потому что, в отличие от живых тел, мы не наделяем предметы некой общей чувствительностью, пронизывающей каждую их часть^[39].

Однако причина, по которой я привлек внимание к конструкции «возвышения обладателя», связана не с ментальной моделью, которую она воплощает, а с тем, что данная конструкция весьма избирательно относится к допускаемым в нее глаголам. Например, что-то не так с предложениями типа *James broke Thomas on the leg* 'Джеймс сломал Томаса по ноге' или *Hagler split Leonard on the lip* 'Хэглер разбил Леонарда по губе'. Конструкция возвышения обладателя возможна только с глаголами «нанесения удара» и с глаголами «резания», но не с глаголами «разрушения». Если подвести итог, то получается, что глагол, допускаемый в данную конструкцию, должен уточнять разновидность физического контакта.

Теперь о физическом контакте. Существует альтернатива, которая аналогична альтернативе локативных конструкций и которую можно назвать «контакт-локативной»:

I hit the bat against a wall.

Я ударил битой о стену.

I hit the wall with the bat.

Я ударил стену битой.

She bumped the glass against the table.

Она стукнула стакан о стол.

She bumped the table with the glass.

Она стукнула стол стаканом.

И снова несколько глаголов отказываются вступать в члены клуба, который, казалось бы, охотно принимает подобные им глаголы в свои ряды:

I cut the rope with the knife.

Я разрезал веревку ножом.

*I cut the knife against the rope.

Я разрезал нож о веревку.

They broke the glass with the hammer.

Они разбили стекло молотком.

*They broke the hammer against the glass.
Они разбили молоток о стекло.

She touched the cat with her hand.
Она тронула кошку рукой.

*She touched her hand against the cat.
Она тронула руку о кошку.

(Разумеется, мы не принимаем здесь во внимание прочтений, при которых нож оказывается разрезанным, молоток разбитым, а рука тронутой.) В данном случае в альтернации конструкций принимают участие глаголы «нанесения удара», но не глаголы «разрушения» или «соприкосновения». Более точно это можно сформулировать так: глаголы, участвующие в альтернации контакт-локативных конструкций, предполагают движение, за которым следует конкретный результат — контакт (порез, поломка), а не просто контакт без предшествующего изменения месторасположения (как при соприкосновении).

Процесс расщепления значений, о котором идет речь, требует пяти раундов бомбардировок этого атома; прошу читателей потерпеть еще немного ради последних двух. Конструкция, называемая «медиапассивом», или «средним залогом», определяет степень легкости, с какой действие может быть совершено в отношении чего-то, как в предложениях *This glass breaks easily* 'Это стекло легко бьется' или *This rope cuts like a dream* 'Эта веревка режется чудо как легко'^[40]. И опять также и в этой конструкции могут употребляться не все глаголы:

*Babies kiss easily.
Детей целовать легко (букв. 'целуют легко').

*That dog slaps easily.
Эту собаку легко шлепнуть (букв. 'шлепает легко').

*This wire touches easily.
Этот провод легко тронуть (букв. 'трогает легко').

Средний залог применим к глаголам, которые означают конкретное следствие некоторой причины, что справедливо в отношении глаголов «разрушения» и «резания», но не соответствует значениям глаголов «целовать», «шлепать» и «трогать». А если нет следствия, нет и среднего залога.

Существует, наконец, и альтернация, противоположная каузативной, — при ней переходный глагол путем устранения каузального агенса превращается в глагол непереходный. Эта конструкция отличается от среднего залога, потому что она описывает реальное событие, в ходе которого объект подвергается изменению, а не некое общее свойство — насколько легко объект может претерпеть изменение. Например, если взять переходный глагол *break* в предложении *Jemima broke a glass*

‘Джемайма разбила стакан’ (каузативная конструкция), то его непереходную пару употребить возможно, как в предложении At three o'clock, the glass broke ‘В три часа стакан разбился’.

Однако далеко не все каузативные глаголы соглашаются расстаться со своими агенсами:

*Sometime last night, the rope cut.

В какое-то время прошлой ночью веревка разрезалась¹⁾.

*Earlier today, Mae hit [meaning «Mae was hit»].

Немного раньше сегодня Мэй ударилась [в значении Мэй ударили].

*At three o'clock, Clive touched [meaning «Clive was touched»].

В три часа Клайв дотронулся [в значении Клайва тронули].

Такая **антикаузативная** конструкция принимает глаголы, указывающие на некий конкретный результат, но только в том случае, если они не выражают **ничего кроме** результата. В этом отношении значение данных глаголов более ограничено, чем у глаголов, способных выступать в медиопассиве, которые могут уточнять не только результат, но и средство его достижения (например, «резание»).

Моя идея — а она у меня есть — заключается в том, что рассмотренные выше альтернатики конструкций позволяют построить перекрещивающуюся классификацию простых глаголов действия, исходящую из общих для них компонентов значения, и определить совокупность пересекающихся микроклассов. Получилась следующая картина (глаголы, не участвующие в альтернатики, отмечены звездочками):

Альтернатики	Микроклассы	Примеры
Конативная	движение, контакт	hit ‘ударить’, cut ‘резать’, *break ‘ломать’, *touch ‘трогать’
Возвышение обладателя	контакт	hit, cut, *break, touch
Контакт-локативная	движение, контакт, отсутствие результата	hit, *cut, *break, *touch
Средний залог	наличие результата	*hit, cut, break, *touch
Антикаузативная	наличие результата, отсутствие контакта, отсутствие движения	*hit, *cut, break, *touch

¹⁾ В значении ‘была разрезана’. — Прим. перев.

Данная таблица, как представляется, указывает на существование некой глубинной структуры, объясняющей, почему ее элементы четко распределяются по строкам и столбцам. Эта структура становится более очевидной, если перестроить таблицу, ориентируясь не на альтернативы, а на глаголы:

- hit 'ударить': движение, контакт;
 cut 'резать': движение, контакт, результат;
 break 'ломать': результат;
 touch 'трогать': контакт.

Особую элегантность этой таблице придает то, что представленные в ней глаголы используют понятия из общего понятийного фонда, и ни одно понятие не было вброшено контрабандой для удовлетворения требований, которые предъявляет к допускаемым в нее глаголам только какая-либо одна из конструкций. Более того, несколько понятий с регулярностью появляются у различных глаголов и в разных конструкциях. Так, то самое понятие «контакт», которое маркирует глаголы, допускающие альтернативу «возвышение обладателя», одновременно характеризует **кроме того** глаголы, участвующие в конативной конструкции и конструкции контакт-локативной, а также (благодаря своему отсутствию) и антикаузативную конструкцию. Одно и то же понятие «результат», наличие которого отличает глагол cut от глагола hit, различает одновременно touch и break; то же понятие «движение», которое отличает hit от touch, помогает также разграничить cut и break. Ни один глагол не нуждается в приобретении специально для него одного какого-либо компонента значения, по крайней мере не для того, чтобы определить конструкции, в которых он может участвовать. (Разумеется, многие глаголы, например, kiss 'целовать', или chip 'тесать, резать', или spar 'щелкать, кусать', обладают специфическим для каждого из них семантическим компонентом, но он не исчерпывает значения глагола и не влияет на его синтаксическое поведение.)

Итак, мы видим, что фрагменты, получившиеся после бомбардировок, укладываются в некоторую комбинаторную систему значения внутри глагола. Элементы значения, влияющие на распределение глаголов по альтернирующим конструкциям, — это не условные маркеры, подобные показателям рода или класса склонения в латыни, потому что они определяют реальные жизненные ситуации, в которых говорящие употребляют эти глаголы. Так, именно компонент «движение» у глагола hit 'ударить' исключает использование этого глагола, когда надо описать каузирование появления синяка вследствие того, что некто облокачился на чью-либо руку и постепенно усиливал давление; а отсутствие компонента «движение» у глагола break 'ломать' позволяет нам сказать Sy broke the bicycle 'Сай сломал велосипед', даже если он

вовсе не разнес его кувалдой, но просто оказался слишком тяжелым, и колеса не выдержали его веса. Эти ограничения не есть только часть нашей системы рассуждения («постулаты значения»), потому что они управляют тем, как глаголы участвуют в синтаксических конструкциях и, следовательно, они являются частью самого языкового механизма; и они также не представляют собой просто здравый смысл, который мы используем в наших повседневных умозаключениях, когда имеем дело с окружающим миром.

Подведем теперь некоторые итоги: такие понятия, как «движение», «контакт» и «причинно-следственная связь» классифицируют глаголы по пересекающимся классам, и в силу этого их нужно признавать компонентами значений глаголов. Из этого следует, что значения этих слов **состоят** из компонентов, а из этого следует, что значения не являются нечленимыми атомами и, таким образом, им совершенно не обязательно быть врожденными. Ну, а если уж *hit*, *cut* и *break* не являются врожденными, тем менее вероятно, что врожденными являются *trombone* и *carburetor*. И это обнадеживающий вывод.

Он подкрепляет наши догадки относительно природы понятий, подсказанные здравым смыслом и эволюционной биологией. Он укрепляет нашу уверенность в том, что такие понятия, как «причина» и «движение», действительно являются базовыми компонентами нашего когнитивного инструментария. И он показывает, что предположить, что некоторые понятия являются базовыми, а возможно, и врожденными, вовсе не значит ступить на скользкую дорожку, ведущую к признанию того, что **все** понятия являются базовыми и врожденными.

Радикальная прагматика

Если бы можно было вообразить теорию, которая была бы полной противоположностью экстремальному нативизму, то это было бы радикальная прагматика. Ее расхождения с концептуальной семантикой касаются не того, являются ли ментальные репрезентации значений слов врожденными или членятся они на составные части или нет, но того, существуют ли репрезентации значений слов в головах людей вообще. Девизом радикальной прагматики можно считать слова Уильяма Джеймса: «Постоянно существующая „идея“ или репрезентация, которая через регулярные интервалы появляется перед прожекторами сознания, — это такая же мифологическая сущность, как Пиковый Валет»^[41]. С точки зрения радикальной прагматики, постоянно существующая понятийная структура, лежащая в основе значения слова, — это тоже нечто столь же мифическое, как Пиковый Валет, потому что люди могут употреблять слова так, что они будут означать практически что угодно, в зависимости от контекста. Эту общую мысль можно проиллюстрировать примером ригельского языка из комикса «Monty»:



Monty © United Feature Syndicate, Inc.

Повар: Нет, нет, это не для Дня благодарения... Это для праздника Семи фхлемкес...

Обезьянка: А что такое «фхлемкес»?

Повар: «Фхлемке» — это слово ригельского языка... В приблизительном переводе оно означает «деликатес». Но это только грубый перевод.

«Фхлемке» — это сложный термин, и у него так много оттенков значения, что для него в языке землян нет точного эквивалента.

Обезьянка: Хмм...

Повар: Например, в зависимости от грамматических показателей и контекста, «фхлемке» может также значить «мастика для пола», «дверная ручка» или «инфекция мочевых путей»

Английский язык, как и другие языки землян, просто не доводит это явление до крайности. Тонкие различия в том, как люди используют слова, по мнению радикальных прагматиков, требуют такого подхода к осмыслению языка и мышления, который коренным образом отличается от представления о том, что в голове человека находится некий словарь и что в каждой словарной статье этого словаря содержатся фиксированные куски понятийной структуры.

Название теории «радикальная прагматика» звучит как оксюморон, но оно указывает на отрасль лингвистики, которая называется прагматикой и которая изучает, как язык используется в том или ином контексте с учетом знаний и ожиданий людей, участвующих в общении. Радикальная прагматика занимает в этой области господствующее положение, стремясь объяснить как можно больше аспектов языка со своих позиций [42]. Само название было придумано лингвистом Джеффри Нанбергом, которого многие американцы знают по его комментариям по вопросам языка в газетах и на радио [43]. К сторонникам радикальной прагматики можно причислить антрополога Дэна Спербера, лингвиста Дейдрю Уилсон, психолингвиста Элизабет Бэйтс и представителей таких школ в когнитологии, как коннекционизм и динамические системы [44]. Последователи данных школ относятся к самым прыгучим «батугам», и далее в этом разделе мы рассмотрим именно модель коннекционистов, которая показывает, насколько радикальной может быть радикальная прагматика.

Пробным камнем для радикальной прагматики является феномен, продемонстрированный в комиксе «Monty», — полисемия (от греч. *polysemos*), что означает «многозначность»^[45]. Полисемия подразумевает, что слово имеет несколько различных, но связанных между собой значений, и она отличается от двух других случаев, когда с одним звучанием связано много значений.

При омонимии (от греч. *homonymia* — «одноименность») одно слово имеет несколько не связанных между собой значений. Омонимия обычно возникает, когда от какого-либо исходного слова в истории языка отпочковываются новые значения, но у современных говорящих не сохраняется ни малейшего представления об их первоначальной связи. Например, слово *odd* прежде указывало на нечто выступающее, подобно углу треугольника. Потом в результате расширения значения это слово стало означать и нечто выступающее в метафорическом смысле — нечто необычное, а еще позже оно претерпело дальнейшее расширение значения и приобрело значение «нечетное число», которое на одну единицу выступает из пары.

Полисемия отличается также и от омофонии (от греч. *homos* — «одинаковый», *phone* — «звук»), при которой различные слова произносятся одинаково, обычно потому что в ходе исторического развития первоначальные звучания этих слов по тем или иным причинам совпали. Так, *four* ‘четыре’ и *fore* ‘передний’ сейчас звучат сходно, однако первоначально *four* рифмовалось с *tour* ‘путешествие’, а *fore* раньше рифмовалось (более или менее) с *flora* ‘флора’; следы старого произношения этих слов вы видим в их написании. Омонимия и омофония часто используются для игры слов, как в следующей довольно заезженной шутке, доказывающей, что количество ног у лошади бесконечно:

Horses have an even number of legs. Behind they have two legs, and in front they have fore-legs. This makes six legs, which is certainly an odd number of legs for a horse. But the only number that is both even and odd is infinity. Therefore, horses have an infinite number of legs.

У лошадей четное количество ног. Сзади у них две ноги и спереди у них передние ноги¹⁾. В сумме это дает шесть ног, что несомненно является для лошади странным²⁾ количеством ног. Но есть только одно число, которое является одновременно и четным и нечетным, — это бесконечное число. Значит, число ног у лошадей бесконечно^[46].

В случае полисемии, напротив, значения слова очень тесно связаны, и чтобы определить различие между ними, требуются усилия лингвиста или специалиста в области искусственного интеллекта. Вот несколько примеров:

¹⁾ Или ‘четыре’: игра слов *fore* ‘передний’ и *four* ‘четыре’. — Прим. перев.

²⁾ Или ‘нечетным’: игра слов *odd* ‘странный’ и *odd* ‘нечетный’. — Прим. перев.

Chicken ‘цыпленок’ может означать разновидность животного (Why did the chicken cross the road? *‘Почему цыпленок перешел дорогу?’*) или разновидность мяса (Try it, it tastes like chicken! *‘Попробуй это, оно имеет вкус цыпленка!’*).

Newspaper ‘газета’ может относиться к организации (Jill works for a newspaper *‘Джилл работает для газеты’*) или к определенному предмету (Here, squish the roach with this newspaper! *‘Вот, прихлопни таракана этой газетой!’*).

Book ‘книга’ может указывать на совокупность информации (Abe’s book is unconvincing *‘Книга Эйба неубедительна’*) или на физический объект (Abe’s book weighs five pounds *‘Книга Эйба весит пять фунтов’*).

Window ‘окно’ может относиться к стеклянной заслонке (She broke the bathroom window *‘Она разбила окно в ванной’*) или к отверстию (She came through the bathroom window *‘Она проникла внутрь через окно в ванной’*).

Monkey ‘обезьяна’ может означать вид живых существ (Monkeys live in trees *‘Обезьяны живут на деревьях’*) или отдельную особь (Monkeys have taken over the island *‘Обезьяны захватили весь остров’*).

France ‘Франция’ может указывать на политическую единицу (France is a republic *‘Франция является республикой’*), на лидеров этой политической единицы (France defied the United States *‘Франция бросила вызов Соединенным Штатам’*) или на территорию этой политической единицы (France has two mountain ranges *‘Во Франции есть два горных хребта’*).

Construction ‘конструкция’ может означать событие (The construction took nine months *‘Строительство заняло пять месяцев’*), процесс (The construction was long and noisy *‘Стройка была долгой и шумной’*), результат (The construction is on the next block *‘Строение находится в следующем квартале’*) или манеру (The construction is shoddy *‘Сооружение выглядит претенциозно’*).

Каким-то образом мы, по-видимому, определяем то значение многозначного слова, которое нам подходит в том или ином случае, исходя из его окружения в предложении, в устной беседе или тексте. Как правило, люди не осознают, насколько легко они переходят от одного значения многозначного слова к другому, пока не замечают, что эти значения сталкиваются в форме игры слов, которую называют зевгмой (или силлепсисом) и при которой сопоставляются два значения, являющиеся несовместимыми. Примером могут служить слова Бенджамина Франклина *We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately* *‘Мы должны все держаться вместе, иначе нас всех неизбежно повесят поодиночке’*; а также фраза Чарлза Диккенса *She came home in a flood of tears and a sedan chair* *‘Она приехала домой, обливаясь слезами (букв. ‘в потоке слез’) и в портшезе’* и небольшая реприза Граучо Маркса *You can leave in a taxi. If you can’t get a taxi, you can leave in a huff. If that’s too soon, you can leave in a minute and a huff* *‘Вы можете уехать в такси. Если вам не удастся поймать такси, тогда вы, возможно, уедете в раздражении. Если же это слишком рано, можно уехать*

через минуту с половиной'¹⁾). Иногда говорящий намеренно привлекает внимание к полисемии, стремясь подчеркнуть главное в том, что он хочет сказать, как в романе Ремарка «На западном фронте без перемен», когда солдату говорят, что войны начинаются, когда одна страна оскорбляет другую, и он отвечает: I don't get it. A German mountain can't insult a French mountain, or a river, or a forest, or a cornfield 'Не понимаю я этого. Немецкая гора не может оскорбить гору французскую, или реку, или лес, или хлебное поле'^[47]. Но часто говорящие смешивают разные значения многозначных слов, даже не моргнув глазом:

Yeats did not enjoy hearing himself read aloud.

Ййтсу не нравилось слушать, как он читает вслух.

The Boston Globe decided to change its size and typeface.

«Бостон Глоб» решила изменить свой формат и шрифт.

Don't worry about that review — tomorrow it will be wrapping fish.

Не беспокойтесь об этой рецензии — завтра в нее будут заворачивать рыбу.

Sally's book, which would make a good doorstep, is full of errors.

В книге Сэлли, которой удобно было бы придерживать дверь, полно ошибок.

The chair you're sitting in was common in nineteenth-century parlors.

Стул, на котором вы сидите, был распространен для гостиных в девятнадцатом веке.

The window was broken so many times that it had to be boarded up.

Окно разбивали столько раз, что его пришлось заколотить досками^[48].

Полисемия встречается повсеместно. A sad movie 'грустный кинофильм' сделает вас грустным, но a sad person 'грустный человек' уже грустен сам. Когда кто-то begins a meal 'начинает обед', он его ест (или, если он повар, готовит его), но когда человек begins a book 'начинает книгу', он ее читает (или, если он автор, пишет ее). То, что требуется от машины, чтобы ее можно было назвать a good car 'хорошей машиной', отличается от тех качеств, которыми должен обладать a good steak 'хорошая отбивная' или a good husband 'хороший муж' или a good kiss 'хороший поцелуй'. A fast car 'быстрый автомобиль' быстро едет, но a fast book — это книга, которая вовсе не должна передвигаться, она просто 'быстро читается', a fast driver 'любитель быстрой езды', a fast highway 'быстрое шоссе' (по нему можно ехать с большой скоростью), a fast decision 'быстрое решение' (= твердое решение), a fast typist 'машинистка, умеющая быстро печатать' и a fast date 'скорое свидание' — во всех этих словосочетаниях прилагательное fast имеет самые разные значения.

Даже такие конкретные, казалось бы, слова, как термины цвета, могут изменяться подобно хамелеонам. Так, **красный** означает очень

¹⁾ Или с раздражением: игра слов huff 'раздражение' и half 'половина'. — Прим. перев.

разные оттенки цвета, когда определяет виноград, раскаленную кочергу, мясо копытных животных, волосы на голове или лицо человека, который вдруг обнаружил, что читал лекцию с расстегнутой ширинкой. Полисемия слов-цветообозначений вдохновила неизвестных авторов на создание стихотворения, которое циркулировало среди служащих-маори в некоем государственном учреждении в Новой Зеландии и было передано мне Саройей Суббиа:

Дорогой белокожий парень,
 Когда я рождаюсь на свет, я черный,
 Когда я становлюсь взрослым, я черный,
 Когда я болею, я черный,
 Когда я загораю на солнце, я черный,
 Когда мне холодно, я черный,
 Когда мне страшно, я черный,
 И когда я умираю, я все равно черный.

Но ты, белокожий парень,
 Когда ты рождаешься, ты розовый,
 Когда ты взрослеешь, ты белый,
 Когда ты болеешь, ты зеленый,
 Когда ты загораешь, твоя кожа краснеет,
 Когда тебе холодно, ты синеешь,
 Когда тебе страшно, ты желтый,
 Когда ты умираешь, ты серый.
 И после этого у тебя хватает
 наглости называть меня цветным?

Часто полисемия возникает, когда слова используются, чтобы указать на нечто, что легко ассоциируется с привычным референтом слова; этот прием называется метонимией. Можно, например, сказать *Suzie is parked out back* 'Сьюзи припаркована там, сзади' или *Bradley was rear-ended by a bus* 'Брэдли задело задней частью автобуса', используя имена людей для обозначения их автомобилей, или *Put Chomsky on the Linguistics shelf* 'Поставьте Хомского на полку, где стоят книги по лингвистике' и *You can find Hitchcock at the back of the store* 'Вы найдете Хичкока в задней части магазина', имея в виду сочинения этих авторов. Можно также указывать на людей по части их тела или по какой-то иной их принадлежности, как в случае когда медицинская сестра говорит: *The gallbladder in 220 needs his dressing changed* 'Желчному пузырю в 220 палате надо поменять перевязку', или когда одна официантка говорит другой: *The ham sandwich wants his check* 'Бутерброд с ветчиной требует свой чек'^[49].

Какие же выводы мы делаем из этого кажущегося семантического хаоса? Согласно радикальной прагматике, интерпретация речи представляет собой беспорядочный процесс, в ходе которого говорящие без разбора используют абсолютно все и вся, что им известно о мире и о тех, кто является их непосредственной аудиторией. И то, что мы называем «значениями слов», это вовсе не отдельные словарные

статьи в словаре, ментальном или каком-либо другом, но модели ассоциативной связи между стереотипными событиями и их типичными участниками. Это позволяет слушателям мять и приспособливать слова в предложении, приводя их ассоциации в соответствие друг с другом, так чтобы получалось наиболее вероятное сообщение, которое говорящий в данной ситуации мог бы передать.

Когда речь идет о **референции**, о том, как слова соотносятся с явлениями окружающего мира, в утверждениях радикальной прагматики есть доля истины.

Если обозначение *ham sandwich* *'бутерброд с ветчиной'* может указывать на человека, сидящего у стойки для ленча, тогда действительно вряд ли можно надеяться, что когда-либо осуществится мечта логиков о том, чтобы выражения языка копировали состояния явлений в мире в соответствии с фиксированным набором указателей. Нас, однако, интересует вопрос, правы ли радикальные прагматики в своем понимании мозга человека. Утверждение о том, что у слов языка нет точной репрезентации в мозгу, несомненно противоречит той картине языка, которая сложилась у нас при рассмотрении чередований глагольных конструкций, где были замечены три случая проявления ограничений.

Во-первых, люди иногда воздерживаются от употребления глаголов в конструкциях, которые можно было бы считать абсолютно удобопонятными, как, например, *He clogged hair into the sink* *'Он засорил волосы в раковину'*, *She yelled him her order* *'Она крикнула ему свой заказ'*, *We melted at the butter* *'Мы пытались растопить масло'* и *She broke him on the arm* *'Она сломала у него руку'*. Если мозг довольствуется чем угодно, лишь бы это имело смысл в контексте, тогда почему приведенные предложения ощущаются как грамматически неправильные?

Во-вторых, мы видели, что границы, разделяющие глаголы в зависимости от их способности выступать в тех или иных конструкциях, проходят, подобно хирургическим разрезам, внутри классов сходных событий, а не просто находятся вблизи стереотипов^[50]. Когда я думаю о типичной ситуации из повседневной жизни, вроде наливания воды в стакан, в моем мозгу возникает наглядный образ — томимый жаждой человек, идущий к водопроводному крану с чистым стаканом в руке и открывающий кран, чтобы дать воде налиться в стакан до самого верха. Однако когда я **говорю** об этой сценке, значительная часть полноты картины утрачивается, оставляя после себя одну из нескольких схем.

Если я употребляю глагол *pour* *'наливать'*, мое поле зрения сужается до того, как именно вода каузируется к перемещению и игнорируется ее конечное место назначения; вот почему возможно сказать *pour the water* *'налить воду'*, но не *pour the glass* *'налить стакан'*. Если же я использую глагол *fill* *'наполнить'*, мое поле видения сужается до получающейся в результате полноты стакана и игнорируется траектория перемещения воды; вот почему возможно сказать *fill the glass*

‘наполнить стакан’, но не fill the water ‘наполнить воду’. Даже в классе простых транзитивных глаголов действия, как мы только что видели, глаголы разделяются острыми перекрестными разрезами, причем cut ‘резать’, break ‘ломать’, touch ‘трогать’ и hit ‘ударять’ попадают в разные семантические зоны. Каждый глагол концентрируется на каком-то необходимом аспекте или аспектах события (принуждение, движение, контакт) и не обращает внимания на другие аспекты независимо от того, как они обычно связываются в нашем опыте. Все это совершенно не похоже на то, как было бы, если бы нашим употреблением языка управляли стереотипы типичных ситуаций, а именно на этом настаивает радикальная прагматика.

В-третьих, водоразделы между классами не просто окружают совокупности тяготеющих друг к другу признаков (быстрый, медленный, влажный, сухой, добровольный и т. п.), они проводятся с учетом формул, имеющих синтаксическую и алгебраическую структуру^[51]. Например, to cut не вызывает в уме понятий движения, контакта и результата в каком-либо привычном сочетании (привести яйцо в соприкосновение с горячей сковородой, каузируя, чтобы яйцо расколосось, совершенно не то же самое, что to cut an egg ‘разбить яйцо’). Точнее говоря, движение должно **включать** контакт режущего орудия с яйцом, за которым **следует** движение сквозь поверхность яйца, приводящее **в результате** к его разбиванию. Кроме того, классы глаголов алгебраичны в том смысле, что они требуют наличия в конкретных слотах переменных величин. Посмотрим, что требуется, чтобы определить общий показатель какого-либо микрокласса, ну, скажем, микрокласса глаголов, указывающих на манеру говорения. Что общего, например, у таких глаголов, как whisper ‘шептать’, tumble ‘бормотать’, shout ‘кричать’, rиг ‘мурлыкать’, уаттер ‘тараторить’ и т. п.? Это явно не какая-то **определенная** манера говорения, потому что годится, по видимому, любая манера. Не может быть это и общий признак различных манер говорения, потому что такого не существует в природе: признаки шептания и бормотания нейтрализуются признаками крика и визжания. Значит, глаголы этого класса должны просто указывать на **какую-то** манеру говорения, на **любую** манеру. Из этого следует, что характеристика класса должна выглядеть примерно так: «Все глаголы должны содержать в своих дефинициях утверждение „манера = x“» — дефиниция дефиниции. А это поднимает планку требований к тому, насколько логически разработанной должна быть ментальная репрезентация значений слов и порождает сомнение в том, что она представляет собой свободный клубок ассоциаций.

* * *

Итак, если значения глаголов и конструкций могут быть такими точными, как же тогда объяснить существование столь буйного мира

полисемии? В действительности оказывается, что полисемия является ничуть не более буйной, чем другие части языка. Она вырастает из взаимодействия между усвоенными формами и комбинаторными операциями, между двумя главными составляющими языка (что было предметом обсуждения в моей книге *Words and Rules* («Слова и правила»)).

Как только стали очевидны масштабы полисемии, лингвисты начали внимательно изучать материал, и в настоящее время они проводят различие между полисемией нерегулярной и регулярной, которое аналогично различению нерегулярных и регулярных форм словоизменения^[52]. Нерегулярные формы типа *come* — *came* ‘прихожу — пришел’ и *mouse* — *mice* ‘мышь — мыши’ являются нестандартными, и их приходится запоминать каждую отдельно; в отличие от этого регулярные формы типа *walk* — *walked* ‘хожу — ходил’ и *cat* — *cats* ‘кошка — кошки’ предсказуемы и могут быть образованы согласно правилам. Некоторые значения многозначного слова являются столь же непредсказуемыми, как нерегулярные словоизменительные формы, и их просто надо запоминать. Так, говорящий по-английски усваивает, например, что *red* означает ‘цвет пожарных машин’, и это фиксируется как одна дефиниция в его ментальном словаре, затем в какой-то особой ситуации он узнает, что *red* может также значить ‘цвет волос Люсиль Болл’, и это регистрируется в мозгу как вторая дефиниция *red*. Мы исходим из того, что словарный запас человека способен вмещать много дефиниций, ведь память на слова у людей весьма обширна — от пятидесяти до ста тысяч слов и, вероятно, столько же идиом — поэтому несколько дополнительных дефиниций для многих из них при таком их огромном общем количестве не составит труда запомнить. Конечно, **кто-то один** должен был быть достаточно изобретательным, чтобы в первый раз расширить употребление того или иного слова и придать ему новое значение, другим говорящим пришлось выводить это значение, после того как новатор выпустил его на волю. Однако остальные говорящие, возможно, просто запомнили плоды творческой активности того первого говорящего, и им не нужно было проделывать процедуру выведения значения каждый раз заново. Мы видели подобное разделение труда в предыдущей главе, в разделе, где сравнивались «сообразительные языки» и «сообразительные говорящие».

Основанием считать, что многие значения полисемичного слова заучиваются говорящими, а не создаются каждый раз в случае необходимости, является то, что они **условны**, — то есть они представляют собой произвольные установления, принятые в данном обществе: их невозможно вывести из других значений слова, и они не являются универсальными. Так, в английском языке *red* используется для обозначения естественного цвета волос — ‘рыжий’, но в других языках, например во французском, для этого существует особое слово (*roux*), так же как цвет волос Мэрилин Монро говорящий по-английски опре-

делит как blond 'белокурый', а не yellow 'желтый'. Другие обозначения цвета волос — platinum 'очень светлый, платиновый', ash 'пепельный', strawberry 'белокурый с рыжеватым оттенком', chestnut 'каштановый', brunette 'очень темный, черный', auburn 'темно-рыжий, золотисто-каштановый' — приходится заучивать каждое отдельно (цвет волос strawberry blond 'белокурый с рыжеватым оттенком' — это вовсе не цвет ягод земляники), тогда почему же нет такого значения у red? Все сказанное справедливо и в отношении слов, обозначающих цвет кожи, как напоминает нам стихотворение о Белом Парне: обычай, а не зрительное восприятие, говорит нам, что когда представитель европеоидной расы болен, он становится green 'зеленым'¹⁾, когда ему холодно, он gets blue 'становится синим'²⁾, а когда он напуган, он yellow 'желтый'³⁾.

Другой род доказательств того, что многие значения полисемичных слов усваиваются просто в результате практики, предоставляет нам статистика языка: чем выше частотность слова, тем больше у него значений, и наоборот^[53]. Например, широко употребительный глагол set 'ставить, размещать' (он встречается 372 раза на каждый миллион слов) имеет более восьмидесяти словарных дефиниций; менее распространенный глагол sever 'развешивать, разделять' (девять случаев на миллион) имеет четыре дефиниции, а совсем редкий глагол senesce 'стареть' (его встречаемость меньше одного случая на миллион слов) имеет только одну дефиницию. Именно этого и можно было ожидать, если слова по умолчанию имеют точные значения и приобретают дополнительные смыслы при употреблении в различных практических ситуациях, и напротив, картина была бы совершенно иной, если бы значения слов, по умолчанию, были бы изначально расплывчаты и уточнялись бы опытным путем посредством дополнительной последующей тренировки.

Лабораторные эксперименты также свидетельствуют в пользу того, что значения многих полисемичных слов существуют в мозгу человека в виде списка отдельных значений. Психологи Девра Клейн и Грегори Мерфи использовали известную методику экспериментальной психолингвистики, так называемое priming 'натаскивание', при котором испытуемым предъявляется некое слово-подсказка, которое активизирует данное слово в мозгу человека, ускоряя для него распознавание этого слова (и слов, связанных с ним) на несколько десятых долей секунды^[54]. Так, Клейн и Мерфи демонстрировали испытуемым многозначное слово типа rarer (которое может значить либо 'газета', либо 'бумажная масса', на которой печатается газета), в сопровождении определения, сужающего смысл слова до одного значения,

1) Другие значения green 'бледный, болезненный'. — Прим. перев.

2) Другие значения blue 'мрачный, подавленный'. — Прим. перев.

3) И 'трусливый'. — Прим. перев.

например, wrapping paper *'оберточная бумага'*. Это и было подсказочным словом, и задача состояла в том, чтобы выяснить, что именно оно высвечивало в мозгу испытуемых: только одно конкретное значение или некое семантическое ядро слова, включающее в себя все его полисемичные значения. Чтобы выяснить это, Клейн и Мерфи предъявляли существительное paper снова, но с другим определением — с таким, которое было совместимо также и с первоначальным значением paper, например, shredded paper *'разорванная бумага'*, но также и *'разорванная газета'*, или с определением, которое соответствовало другому, не совместимому с прежним, смыслу, как liberal paper *'либеральная газета'*. Измерялось время, которое требовалось участникам эксперимента, чтобы определить значение второго словосочетания и нажать кнопку, когда смысл словосочетания становился им понятен. Действия испытуемых были более быстрыми и точными в тех случаях, когда понимание словосочетания было уже подготовлено показом словосочетания со словом в том же значении (как в случае wrapping paper *'оберточная бумага'*... shredded paper *'разорванная бумага'*), чем тогда, когда предварительно показывалось словосочетание с другим значением слова (как в случае wrapping paper *'оберточная бумага'*... liberal paper *'либеральная газета'*). Эти наблюдения говорят о том, что для многих полисемичных слов каждое значение хранится в мозгу в виде отдельной единицы, активность которой может усиливаться или слабеть независимо от других значений. Дальнейшее развитие методики «натаскивания» и использование в экспериментах магнитоэнцефалографии для более непосредственного измерения активности мозга приводят к аналогичному выводу^[55].

Нерегулярной полисемии противостоит полисемия регулярная, при которой целые группы слов приобретают новые значения одновременно, и их не надо запоминать каждое по отдельности. Некоторые модели полисемии настолько регулярны, что не требуют даже умножения количества значений слов, нужен лишь более тонкий анализатор слов в словосочетании. Возьмем прилагательное good *'хороший'*, которое означает очень разные вещи в словосочетаниях a good knife *'хороший нож'*, a good wife *'хорошая жена'* и a good life *'хорошая жизнь'*. Следует ли из этого, что good имеет много разных значений? Только в том случае, если интерпретатор языка в мозгу будет интерпретировать словосочетания бездумно, ища точки пересечения каждого из их компонентов, например, пытаясь найти в мире такие явления, которые были бы одновременно и knives *'ножами'*, и good things *'хорошими вещами'*. Более проникательный интерпретатор мог бы ввести в существительное некий зонд и извлечь тот компонент значения, который определяется прилагательным good, тем самым избавляясь от необходимости обременять слово good множеством значений.

Что представляет собой этот компонент значения? Специалист в области компьютерной лингвистики Джеймс Пустейовски утверждает, что Аристотель был прав, когда предположил, что мозг осмысляет каждую сущность, исходя из четырех оснований: кто (или что) ее произвел; из чего она сделана; какова ее форма и для чего она предназначена^[56]. Интерпретатор таких прилагательных, как *good* и *fast* (а *good road* ‘хорошая дорога’, а *fast road* ‘быстрая дорога’), и таких глаголов, как *begin* ‘начинать’ (He began his sandwich ‘Он начал [есть] сандвич’, She began the book ‘Она начала [читать] книгу’), всматривается в ту часть понятийной структуры существительного, которая уточняет, как предполагается использовать предмет (дороги предназначены, чтобы по ним ездили, сандвичи предназначены для того, чтобы их ели, а книги предназначены для того, чтобы их читали), и заключает, что *good* и *begin* указывают как раз на эту часть. Когда, в отличие от этого, исчисляемое существительное употребляется как вещественное (как в предложении *There was sausage all over his shirt* ‘Вся его рубашка была запачкана колбасой’), интерпретатор выбирает уточнение — из чего сделана вещь; и снова нет необходимости ни в каком новом значении слова. Таким образом, мы имеем дело не с безграничной (*polymorphous*) полисемией, как это было в случае со словом *phlemke* из ригельского языка, но с несколькими схемами зондирования слова и выбором одного из компонентов его значения.

Где-то посередине между абсолютной нерегулярностью *red* в *red hair* ‘рыжие волосы’ и полной предсказуемостью *good* в *good road* ‘хорошая дорога’ мы находим примеры, которые предполагают некоторое взаимодействие между двумя крайними случаями^[57]. Взаимодействие обусловлено правилами лексической альтернации, аналогичными тем, которые изменяют структурирование глагола (например, от каузации перемещения к каузации изменения). В случае полисемии существительных известно, скажем, правило, позволяющее по названию продукта именовать его производителя (*Honda*, *The New York Times*), правило, по которому обозначение отверстия может быть использовано для указания на покрытие этого отверстия (*door* ‘дверь’, *window* ‘окно’), и правило, позволяющее слову, которое называет животное, обозначать мясо этого животного (*lamb* ‘ягненок’, *goose* ‘гусь’, *swordfish* ‘меч-рыба’). Число таких необходимых правил достаточно велико, но не неподъемно.

В этом месте защитник радикальной прагматики мог бы запротестовать и заявить, что «правила», о которых идет речь, — вымысел, что они просто слепки со здравого смысла, который сжимает или растягивает значение слова, когда в этом возникает необходимость. Для того чтобы доказать, что приведенные выше правила действительно являются частью устройства языка, нужно продемонстрировать, что они способны блокировать действие других механизмов, в частности тех, которые не удовлетворяют здравый смысл и приводят к неудачам в общении.

Взаимодействие регулярной полисемии с другими механизмами языка проявляется в том, что она обнаруживает чувствительность к **формам слов**, а не только к их значениям. В некоторых случаях, например, полисемию ограничивает звучание слов. Так, прилагательные, означающие национальность, могут приобретать форму множественного числа, которая указывает на соответствующий народ: the Swiss *'швейцарцы'*, the Spanish *'испанцы'*, the Dutch *'нидерландцы'*, the French *'французы'* и the Japanese *'японцы'*. Однако это правило применимо только при двух условиях: первое, если прилагательное заканчивается на сибиллянт (возможны формы the Swiss и the Spanish, но нельзя образовать форму *the German в значении *'немцы'*, *the Coptic в значении *'копты'* или *the Belgian в значении *'бельгийцы'*), и второе, если прилагательное имеет нехарактерную для английского языка звуковую модель (как в словах the Hausa *'народ хауса'*, the Tuareg *'туареги'* и the Wolof *'народ волоф'*). Иногда полисемии препятствует морфологическая структура слова (построение слова из корней и суффиксов). Например, существительные, называющие формы правления, могут также указывать на реальные государства с такой формой правления — мы говорим о democracies *'демократиях'*, tyrannies *'тираниях'*, oligarchies *'олигархиях'*, monarchies *'монархиях'* и dictatorships *'диктатурах'* — но это невозможно, если существительное оканчивается на суффикс -ism: нельзя сказать о кучке фашистских государств *fascisms *'фашизмы'*, как нельзя показать на карте мира communisms *'коммунизмы'*, marxisms *'марксизмы'*, maoisms *'маоизмы'*, islamisms *'исламы'* или totalitarianisms *'тоталитаризмы'* [58]. Взаимодействие полисемии с грамматикой можно видеть и на примере одного из явлений, по-разному представленного в английском языке Америки и Великобритании. Так, когда название некоего продукта используется как обозначение производителя этого продукта, это наименование имеет форму единственного числа в Соединенных Штатах (The Globe is expanding its comic section *'«Глоб» расширяет свой раздел юмора'*), но выступает в форме множественного числа в Соединенном Королевстве (The Guardian are giving you the chance to win books *'«Гардиан» дают вам шанс выиграть книги'*).

Ограничивают регулярную полисемию, кроме того, различные изошренные семантические условности. Так, слово France *'Франция'* можно употребить для указания на территорию, на государство, на власти этой страны, но не на ее население: странно звучало бы предложение France eats a lot but stays thin *'Франция ест много, но остается худой'*. Можно to work for a newspaper or for a magazine *'работать для газеты или для журнала'*, но нельзя work for a book *'работать для книги'* или for a movie *'для фильма'*. Названия съедобных предметов могут быть использованы для обозначения пюре, которое получается, когда эти продукты раздавливаются (some carrot *'немного моркови'*, some salmon *'немного лосося'*, some apple *'немного яблок'*, some egg

‘немного яйца’), но не тогда, когда эти съедобные вещи существуют в виде совокупностей, а не индивидуально. Именно поэтому в мексиканских ресторанах подают *refried beans* ‘жареные бобы’, а не *refried bean* ‘жареный боб’, и поэтому пюре, которое готовят в индийских ресторанах, называется *lentils* ‘чечевицы’, а не *lentil* ‘чечевица’^[59]. Таким образом, мы обнаруживаем, что многозначные слова сходны с глаголами в чередующихся конструкциях: они не впрыгивают бездумно с ходу в любую удобопонятную конструкцию, но поступают на военную службу или дезертируют стройными рядами в составе микроклассов.

Есть еще один случай, когда полисемия сдерживается наличием уже существующих слов, не просто наличием подходящих значений. Если в языке уже имеется слово, застолбившее за собой некоторое значение в ряду связанных между собой значений, это слово будет вытеснять из данного семантического ряда любого нарушителя, даже того, кто, вполне возможно, оказался там в результате действия какого-то правила регулярной полисемии. (Это очень похоже на то, что происходит с формами словоизменения, когда нерегулярная форма множественного числа *mouse* ‘мыши’ вытесняет регулярную форму *mouses*.) Если мы обратимся, например, к глаголам передвижения с помощью тех или иных транспортных средств, образованным от существительных, которые называют эти транспортные средства, то увидим, что возможно сказать *to ferry* ‘переезжать на лодке или пароме’, *to truck* ‘ехать на грузовике’, *to cycle* ‘ехать на велосипеде’, *to canoe* ‘плыть на каноэ’ или *to motorcycle* ‘ехать на мотоцикле’, но невозможно сказать *to car* ‘ехать на автомобиле’ или *to plane* ‘лететь на самолете’, потому что для выражения этих значений в английском языке уже существуют глаголы *to drive* и *to fly*. Или еще пример — можно употребить в пищу *chicken* ‘цыпленка’, но нельзя есть *cow* ‘корову’, *calf* ‘теленка’, *sheep* ‘овцу’, *pig* ‘свинью’ или *deer* ‘оленья’, люди едят *beef* ‘говядину’, *veal* ‘телятину’, *mutton* ‘баранину’, *pork* ‘свинину’ и *venison* ‘оленину’ (в Новой Зеландии *servena*). Многие люди, между прочим, считают, что подобные дублеты — германское по происхождению слово для обозначения животного и французское слово для обозначения мяса этого животного — унаследованы от тех времен, когда англосаксонские крестьяне ухаживали за животными, но возможность употреблять их в пищу имели только их норманнские господа. Эта версия восходит к роману Вальтера Скотта «Айвенго», где шут Вамба объясняет свинопасу:

Свинина, я считаю, — это хорошее норманнско-французское слово; и пока животное живо и находится на попечении саксонского раба, его называют его саксонским именем [свинья]; но оно становится норманном и называется свиной, когда его вносят в залу дворца... Старый Ольдермен Бык продолжает сохранять свое саксонское определение, пока за ним ухаживают крепостные и вилланы, вроде тебя, но он становится Говядиной. пылким французским шеголем, когда его ставят перед почтенными

челюстями, которым предназначено его вкусить. Подобным же образом и Минхер Теленок становится Месье Телятиной: он является саксом, пока за ним нужно присматривать, но получает норманнское имя, когда становится источником наслаждения¹⁾.

Сам по себе подобный сюжет очарователен, но специалисты по истории языка говорят нам, что такая теория неверна; слова англосаксонские и французские стали противопоставляться только столетия спустя^[60]. А вот что действительно не вызывает сомнений, так это то, что люди чувствуют себя не слишком свободно, когда употребляют слова с новыми значениями. Они усваивают общепринятые значения огромного количества слов, и обобщения, которые они делают, движутся в основном по протоптанной колее вокруг уже существующих традиционных значений.

* * *

Ну, а как обстоит дело с сэндвичем с ветчиной, который сидит за столиком 14 и барабанит пальцами по его поверхности в ожидании чека? Ни одному здравомыслящему лингвисту не придет в голову мысль предложить правило, которое позволяло бы переводить сэндвичи в людей, не говоря уже о желчных пузырях, нуждающихся в смене перевязки. Иногда слова у людей действительно приобретают чрезмерную эластичность, как это было у одного из персонажей Льюиса Керролла Хампти-Дампти, который сказал: *When I use a word, it means just what I choose it to mean 'Когда я употребляю какое-то слово, оно означает именно то, что я хочу, чтобы оно означало'*. Правда, Дампти добавил при этом с некоторым чувством ответственности: *When I make a word do a lot of work like that, I always pay it extra 'Когда я подобным образом заставляю слово много трудиться, я всегда дополнительно плачу ему сверхурочные'*. Когда говорящий придает слову какое-то по-настоящему необычное значение, слушающий далеко не без труда создает для него некую ментальную статью, чтобы обнаружить его точный смысл. Достаточно часто между тем, что имел в виду говорящий, и тем, как его понял слушающий, возникает трение, и **само это несоответствие** передает параллельным потоком дополнительную информацию. Именно это предсказуемое столкновение между новым употреблением слова у говорящего и фиксированным значением слова, существующим у слушающего, в значительной мере придает языку пикантность и остроту. Оно служит источником таких явлений, как эвфемизмы и дисфемизмы (намеренно оскорбительная речь), как подтекст и сообщения, скрытые между строк, а также источником словесного юмора, игры слов и литературной метафоры. Давайте рассмотрим каждое из названных явлений по отдельности.

¹⁾ Фрагменты классических произведений в главах 1–4 представлены в переводе В. П. Мурат.

Эвфемизмы и дисфемизмы. Когда официантка называет клиента сэндвичем, она делает это не только ради краткости, чтобы не тратить лишних слов. Она демонстрирует язвительное остроумие, низводя постоянного посетителя заведения, перед которым во всем остальном ей приходится лебезить, до недостойного уважения предмета потребления, единственного предмета, который их обоих реально связывает. Аналогичным образом, превращая пациента в его больной орган, профессиональные медики проявляют свой черный юмор (своего рода противовес чувствам жалости и брезгливости, которые могут мешать им в работе); другие примеры — CTD (circling the drain '*передавать по кругу дренажную трубку*') в значении '*неизлечимо больной пациент*', Code Brown '*Код Брауна*' — '*недержание желудка*' и wallet biopsy '*биопсия кошелька*' в значении '*проверка финансового состояния пациента*'. Именно по этой причине официантка или молодой интерн скорее всего не станут использовать выражение «сэндвич с ветчиной» или «желчный пузырь» в присутствии хозяина заведения или супруги пациента. То же можно сказать и о давящем приспособлении в мозгу, которое превращает исчисляемые существительные в вещественные, как в случае After he backed up, there was cat all over the driveway '*Когда он дал задний ход, по всей дороге была размазана кошка*'. Слово cat '*кошка*' здесь отнюдь не просто синоним слова flesh '*плоть, останки*'; употребление этого слова граничит с нездоровым юмором, такое выражение вряд ли позволил бы себе деликатный человек в присутствии хозяина погибшей кошки.

Вообще называть человека по части тела, по какому-либо физическому признаку или типичному внешнему атрибуту, то есть используя метоним, — значит прибегать к дисфемизму. Это справедливо в отношении многих определений, указывающих на расу (a slope '*косоглазый*' или a slant '*узкоглазый*' о жителе Азии, a redskin '*краснокожий*' об индейце, a wetback '*мокрая спина*' о сельскохозяйственном рабочем — мексиканце или незаконном иммигранте из Мексики), а также в отношении женоненавистнических обозначений женщин (a skirt '*юбка*', a broad '*широкая часть спины, зад*', a piece of ass '*задница*') и непочтительных обозначений представителей различных профессий (a suit '*мужской костюм*' о служащем корпорации, a jock '*качок*' о спортсмене, особенно спортсмене-студенте, не слишком преуспевающем в науках, a wrench '*гаечный ключ*' о механике). Это явление можно рассматривать как развитие умонастроения, лежащего в основе конструкции «возвышения обладателя», при которой люди осмысляются как нечто большее, чем части их тела. Напротив, сведение человека к части тела (или к какому-то принадлежащему ему предмету) имплицитно отказывает ему в праве называться человеком.

В противоположность этому эвфемизмы часто указывают на человека с помощью гиперонима — категории более широкой, чем та, что

первой приходит в голову. Хотя гиперонимы, в отличие от метонимов, строго говоря, не являются примерами полисемии, их использование в эмоционально окрашенной речи служит еще одной иллюстрацией того, как выбор слов может влиять на эмоциональное воздействие речи. Когда Редьярд Киплинг закончил одно из своих стихотворений словами *You'll be a man, my son* «Тогда, мой сын, ты будешь человек»¹⁾, а Соджорнер Трут в 1851 г. в своей бунтарской речи повторила *Ain't I a woman? 'Разве я не женщина?'*, они вовсе не отстаивали очевидную истину. Они использовали слова *man* «мужчина, человек» и *woman* «женщина», чтобы подчеркнуть свое чувство человеческого достоинства, в котором иначе могло бы быть отказано юноше или афро-американской женщине. Эти родовые дескрипторы обоих полов гордо провозглашались в песнях: в рефрене песни *Mannish Boy* («Мужественный парень») Мадди Уотерса, в песнях *I'm a Man* («Я — Мужчина») Стива Уинвуда, *I Am Woman, Hear Me Roar!* («Я — Женщина, слышишь, как я бушую!») Хелен Редди и *I'm a Woman (W-O-M-A-N)* Пегги Ли²⁾ Алл. логичную коннотацию можно также почувствовать в эвфемизме *person of color* «лицо небелой расы, цветной» и в слове *mensh* из «евранглийского» варианта английского языка, на котором говорит часть еврейского населения США и в котором это слово первоначально означало мужчину, а сейчас обозначает человека редкой мудрости и порядочности.

Употребление гиперонимов с целью восхваления и облагораживания можно видеть и в названиях неодушевленных предметов. Так, продавцы часто стараются приукрасить продаваемые товары разными претенциозными обозначениями типа *driving machine* «мощная машина» (*car* «автомобиль»), *photographic instrument* «фотографический инструмент» (*camera* «фотокамера»), *beauty bar* «слиток красоты» (*soap* «мыло») и *dental cleaning system* «система для чистки зубов» (не что иное, как всего лишь *a toothbrush* «зубная щетка»). Причина, по которой гиперонимы звучат более возвышенно, чем обычные обозначения людей и товаров, не вполне ясна. Возможно, это представляет собой некое зеркальное отражение, некую противоположность той непочтительности, которая возникает, когда человека обозначают через часть тела или какой-то его физический признак. Некая абстрактная сущность или архетип кажутся чем-то более чистым и благородным, чем привычные конкретные частности, свидетельствующие о принадлежности данного явления к определенному классу. Но какой бы ни была причина, общее правило здесь заключается в том, что употребление метонимических обозначений (метонимов) унижает, а употребление гиперонимов — возвышает^[61].

¹⁾ В переводе С. Я. Маршака «Земля — твое, мой мальчик, достоянье! / И более того, ты — человек!» — *Прим. перев.*

²⁾ А позднее Мисс Пигги — кукольный персонаж в телевизионном сериале *The Muppet Show*, которая мечтала стать звездой. — *Прим. перев.*

Подтекст. Многие ученые-гуманитарии писали книги, которым давали названия типа *The Invention of x* («Изобретение *x*») или *The Construction of x* («Создание *x*»), где *x* не является той разновидностью явлений, которые можно в буквальном смысле изобретать или создавать: имеются в виду традиции, романтическая любовь, человеческий род, Америка и реальность. Эти ученые не пытаются выхолостить значение слов *invention* и *construction*, сведя его просто к значению *origin* «возникновение», что произошло бы, если бы слушатели или читатели применили здесь интерпретацию, наиболее ожидаемую в данном контексте. Авторы пытаются пробудить в читателях осознание того, что явление, которое те, возможно, считали природным, представляет собой в действительности творение истории, и, следовательно, может быть пересоздано — и этот подтекст исчез бы, если бы значения слов *invention* и *construction* не удерживали своих позиций в головах читателей. Аналогичное средство воздействия широко использовано писательницей Памелой Маккордак в ее книге, посвященной искусственному интеллекту, *Machines Who Think* («Машины, которые думают»).

Игра слов. Когда юмористы заставляют своих слушателей переключаться от необычного значения к значению, поддающемуся интерпретации, контраст в степени благопристойности вызывает смех, как, например, в диалоге У. К. Филдса:

Do n: Oh Bill, it must be hard to lose a relative.

W. C.: It's almost impossible.

Дон: Ох, Билл, как, наверное, тяжело терять родственника.

У. К.: Это почти невозможно^[62].

В пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным» леди Брэнкнелл использует ту же самую двусмысленность: *To lose one parent, Mr. Worthing, may be regarded as a misfortune; to lose both looks like carelessness* «Потерю одного из родителей, м-р Уортинг, можно рассматривать как несчастье; потеря обоих — это уже выглядит как небрежность». Юмористический эффект возникает в результате столкновения разных значений многозначного слова *lose*: «потерять что-либо, положить не на место», «потерять любимого человека, пережив его смерть» и «стряхнуть преследователя со следа, уйти от преследования». Если бы в процессе понимания пластичному значению автоматически придавался бы наиболее подходящий смысл, не возникало бы столкновения между значением возвышенным и значением сниженным, того столкновения, которое необходимо, чтобы возникла шутка. (И никто бы не понял, почему Мэй Уэст сказала: *Marriage is a great institution, but I'm not ready for an institution yet* «Брак — великий общественный институт, но я еще не готова отправиться в психушку».)

Литературная метафора. Когда писатель использует поражающую воображение неожиданную метафору, как в стихотворных строках Владимира Набокова: *I was the shadow of the waxwing slain / By the false azure of the windowpane* 'Я был тенью птички восковое крылышко, погубленной / Обманчивой синевой оконного стекла' или у Тома Лерера: *Soon we'll be sliding down the razorblade of life* 'Скоро мы заскользим вниз по острию бритвы жизни', он не просто вводит новые слова в употребление, чтобы передать некое суждение (вроде «Я был в подавленном настроении» или «Жизнь тяжела»). Писатель обыгрывает буквальные значения слов, чтобы поразить слушателей и заставить их воспринять то, о чем идет речь, с большим эмоциональным напряжением, чем это было бы при обычном ходе событий, заставить их осознать, что художник намеренно выводит их из состояния благодушной самоуспокоенности. Мы вернемся к этому вопросу в главе 5, где снова обратимся к литературным метафорам и исследуем, чем они отличаются от метафор мертвых. Пока же достаточно заметить, что в случае литературной метафоры, так же как при таких явлениях, как дисфемизм, подтекст и игра слов, несоответствие, которое возникает между привычным смыслом слова и смыслом неожиданным, показывает, что в мозгу существует именно привычное значение, а не бесформенное нечто, приобретающее форму в зависимости от того, какая интерпретация является в данный момент наиболее разумной.

Действительно ли радикальная прагматика утверждает, что значения слов — это нечто неуловимое, колеблющееся по воле контекста? Когда ее сторонники отрицают при объяснении полисемии существование значений слов, действительно ли они расплачиваются за это тем, что оказываются неспособными объяснить, как люди устанавливают буквальные значения в случае неожиданного употребления слов? Один из возможных способов получить ответ на эти вопросы — обратиться к компьютерной имитационной модели радикальной прагматики, созданной коннекционистами Джеймсом Макклеллэндом и Аленом Кавамото^[63]. Достоинством компьютерной имитационной модели является то, что она позволяет увидеть последствия ряда допущений без какой-либо цензуры. Данная модель оказывается настоящим «батутом» — полномасштабным воплощением радикальной прагматики, представленным без всяких извинений за ее удивительное поведение.

Макклеллэнд и Кавамото хотели смоделировать процесс снятия полисемии слов в контексте, такой, как в случае различных значений предлога *with* в предложениях *Luke ate his pasta with a fork* 'Люк ел макароны вилкой'¹⁾ и *Luke ate his pasta with clam sauce* 'Люк ел макароны

¹⁾ With 'с помощью', значение «орудийности». — Прим. перев.

с устричным соусом¹⁾) или как в случае различной роли субъекта в предложениях *A ball broke the window* 'Мяч разбил окно' и *A boy broke the window* 'Мальчик разбил окно'. В согласии с радикальной прагматикой, создатели модели предположили, что фиксированные репрезентации значений слишком жестки и неуклюжи для выполнения данной задачи и что необходимой для этого гибкостью обладают искусственные нейронные сети, способные связывать признаки с признаками, а не манипулировать структурированными репрезентациями.

Создатели модели построили систему, сконструированную так, чтобы принимать на входе в качестве вводных данных слова некоторого предложения и выдавать на выходе некоторую интерпретацию предложения, указывающую, кто сделал что и по отношению к кому. Вводные данные представляли собой банк, насчитывавший примерно тысячу нейроноподобных единиц, каждая из которых репрезентировала какой-то признак значения глагола (например, «интенсивное действие» или «каузирует химическое изменение») или признак связанного с глаголом какого-либо слова данного предложения (например, «субъект мягкий», «субъект средней величины», «объект твердый» или «объект принадлежит к женскому полу»). На выходе было получено 2500 единиц, каждая из которых репрезентировала признак роли, которую каждый участник играл в одной интерпретации предложения, например, «каузирующий агент является круглым» (что подходило бы к событию «мяч-разбивает-окно») или «орудие события резания является твердым» (что подходило бы к событию «нож-режет-бумагу»). Выбор признаков, обобщенных по своему характеру, был сознательным, поскольку это позволяло каждому признаку выступать во многих так или иначе связанных между собой интерпретациях. В данной модели нет репрезентаций индивидуальных значений слов, есть лишь густая сеть связей между вводной информацией и данными на выходе, связей, подкрепленных с помощью обучающей системы. Обучающая система предлагала модели тысячи предложений и их корректные интерпретации, и модель научилась распознавать, какие виды событий обычно совершались какими именно видами участников. И в результате она правильно приписывала предлогу *with* в словосочетании *to eat pasta with a fork* 'есть макароны вилкой' значение «орудие» (поскольку она усвоила, что твердые вещи обычно используются как «орудия») и правильно приписывала *with* в *to eat pasta with clam sauce* 'есть макароны с устричным соусом' значение «сопровождение» (поскольку она усвоила, что мягкие вещи обычно используются как еда).

К сожалению, модели пришлось расплатиться за такую гибкость. Ее знание значений слов оказалось настолько податливым и неопределенным, что когда ей встречалось предложение, в каком бы то ни было

¹⁾ With 'вместе с', значение «совместности». — Прим. перев.

отношении необычное, она насильно приводила его значение в соответствие с ближайшим стереотипом, который она усвоила в результате обучения. Так, в предложении *The wolf ate a chicken* ‘Волк съел цыпленка’ она интерпретировала *chicken* как ‘приготовленное мясо цыпленка’, потому что слово *chicken* ‘цыпленок’, когда оно следует после глагола *eat* ‘есть’, обычно указывает именно на это. Когда было предъявлено предложение *The plate broke* ‘Тарелка разбилась’, модель интерпретировала *plate* ‘тарелка’ как ‘ваза’ или ‘окно’, потому что именно они имеют обыкновение разбиваться. Когда модели сообщали, что *John touched Mary* ‘Джон коснулся Мэри’, она интерпретировала *touch* ‘касаться, трогать’ как *hit* ‘ударять’, потому что в большинстве случаев касание является результатом некоторого движения. Когда же ей предложили предложение *The bat broke the window*, которое можно толковать двояко — ‘Некое животное (летучая мышь) разбило окно, влетев в него’ или ‘Некий предмет (бита), будучи брошен в окно, разбил его’ — модель породила чудовище, химеру, которая означала ‘Летучая мышь [животное] разбила окно, используя бейсбольную битую’, то есть выдала единственную интерпретацию, которая никогда **не пришла бы в голову** людям. Вот что получается, когда исходят из того, что значения слов формируются ожиданиями и контекстом, а не выбираются на основе правил и словарных статей в ментальном словаре: любящий муж, ложно обвиненный в избиении жены, и размахивающая битой *Vespertilio pipistrellus*¹⁾.

Теория радикальной прагматики, как мне думается, противоречит фундаментальной схеме устройства языка. Язык — это средство, с помощью которого мы можем передавать удивительные факты, причудливые новые идеи, неприятные новости и другие сообщения, к восприятию которых слушатель, возможно, не подготовлен. Такая система средств требует строгой упорядоченности и твердой опоры, и именно этим и должны быть значение предложения и слова и правила, которые их подкрепляют. Если бы значения можно было свободно и по-разному интерпретировать в зависимости от контекста, язык представлял бы собой некое месиво и был бы неспособен выполнять свою функцию — вводить новые идеи в головы слушающих. Даже тогда, когда язык используется не в прямом смысле, как в случае эвфемизмов, игры слов, в подтексте или в метафорических выражениях, — **в особенности**, когда язык используется подобным образом, — он опирается на искры, которые высекаются, когда буквальное значение слов, произнесенных говорящим, сталкивается в мозгу слушающего с его догадкой о вероятном намерении говорящего. В главе 8 мы увидим, что многие неполадки нашей социальной жизни молчаливо разрешаются с помощью подобных догадок.

¹⁾ Разновидность летучих мышей. — Прим. перев.

Лингвистический детерминизм

В рассказе для детей американского писателя, нобелевского лауреата Айзека Башевиса Зингера *The Elders of Chelm and Genendel's Key* («Старейшины Челма и ключик Гененделя»), основанном на произведениях фольклора на языке идиш о мифическом городе дураков, старейшины города борются с нехваткой сметаны, из-за чего поставлено под угрозу празднование приближающегося праздника, во время которого принято есть блины. Старейшины «дергали себя за бороду и потирали себе лоб, и это означало, что их мозг лихорадочно работал», пока наконец один из них не выступил с идеей: «Давайте издадим закон, по которому все будут обязаны называть воду сметаной, а сметану будут обязаны называть водой. Поскольку в колодцах Челма вода в избытке, каждая домохозяйка сможет получить целую бочку сметаны». Как отмечает рассказчик, в результате действия этого закона «нехватки „сметаны“ в Челме больше не наблюдалось, но некоторые домохозяйки жаловались на отсутствие „воды“. Однако это была уже совершенно другая проблема, и ее предстояло решать после праздника» [64].

Иронический эффект, производимый этой историей, возникает потому, что нам известно: люди понимают окружающую их действительность независимо от слов, которые используются для ее описания. Но хотя все мы знаем, когда исходим из здравого смысла, что слова не могут помыкать мыслями, многие люди склоняются к противоположному мнению, как только начинают теоретизировать. Идея о том, что язык, на котором говорят люди, контролирует то, как люди мыслят, — лингвистический детерминизм — периодически возникает в нашей интеллектуальной жизни. Эта идея была популярна в двадцатом веке у бихевиористов, которые хотели заменить такие бесплотные понятия, как, например, «верования», конкретными реакциями, такими как слова, либо сказанные вслух, либо произнесенные про себя. В форме гипотезы Уорфа или Сепира—Уорфа (названной по имени лингвиста Эдварда Сепира и его ученика Бенджамина Ли Уорфа) эта идея была главным содержанием лингвистических курсов на протяжении 1970-х гг., и к этому времени она уже прочно проникла также и в общественное сознание. (Когда я работал над данной книгой, я вынужден был сдерживать себя и не говорить окружающим, что книга посвящена «языку и мышлению», потому что все мои собеседники сразу начинали думать, что я пишу о том, как язык **формирует** мышление, — это было единственным отношением между двумя указанными явлениями, которое приходило им в голову.) Когнитивная революция в психологии, сделавшая возможным изучение чистого мышления, мышления как такового, а также ряд исследований, показавших, что воздействие языка на мышление имеет весьма ограниченные масштабы, привели, как казалось, к 1990-м гг. к естественной смерти этой гипотезы, и я на-

писал в память о ней некролог в своей книге «Язык как инстинкт». Однако совсем недавно эта идея вновь возродилась и в качестве «неоурфианской гипотезы» снова стала в психолингвистике актуальной исследовательской темой. В ряде работ последнего времени, о которых широко сообщалось в прессе, делаются заявления о том, что их авторам удалось якобы показать, что язык обуславливает мышление^[65].

Лингвистический детерминизм — третья радикальная теория, которую я собираюсь сопоставить с концептуальной семантикой. Согласно концептуальной семантике, значения слов и предложений — это формулы на абстрактном языке мышления. Согласно лингвистическому детерминизму, язык, на котором мы говорим, и **есть** язык мышления, или, во всяком случае, он в основных чертах структурирует мышление. Позвольте мне с самого начала сказать, что язык несомненно **влияет** на мышление, — по меньшей мере если бы слова одного человека не оказывали бы воздействия на мысли другого человека, язык в целом был бы бесполезен. Вопрос заключается в том, **обуславливает** ли язык мышление, — иначе говоря, может ли язык, на котором мы говорим, затруднить для нас или сделать вообще невозможным мыслить определенные мысли, а также изменяет ли язык способ нашего мышления неожиданным или логически обусловленным образом. Уязвимым местом лингвистического детерминизма является то, что различные направления, по которым язык может быть связан с мышлением, им часто смешиваются, а банальные наблюдения выдаются за фундаментальные открытия.

Когда в газете *Newsweek* появились сообщение об исследовании, авторы которого поставили целью выяснить, действительно ли в эскимосских языках существует больше слов для обозначения разновидностей снега, чем в английском языке, писатель Джерри Адлер заметил:

Нетрудно понять, почему это будничное наблюдение всплыло в качестве одного из немногих фактов, которые большинство студентов, специализирующихся в области гуманитарных наук, вынесло из всего, чему их учили. Его было легко понять, а смысл его был столь глубок, что любой, кто не спал на лекциях, когда читался вводный курс по психологии, мог почувствовать себя вторым Декартом. Потому что если эскимосы используют много разных слов для обозначения явлений, которые говорящими по-английски объединяются в одну категорию, то разве из этого не следует, что эскимосы действительно воспринимают мир по-другому? Что они не осознают сходства всех форм замерзших осадков, тогда как неэскимосы не видят между ними различий, по крайней мере пока не попытаются поднять полную лопату слякоти? Похоже, она тяжелая — идея, не лопата — или как?^[66]

На самом же деле слова, обозначающие разновидности снега в таких языках, как юпик и инуит, вероятно, не более многочисленны, чем в английском (все зависит от того, как считать), но для сторонников

гипотезы Уорфа это вряд ли имеет значение^[67]. В идее о том, что эскимосы обращают больше внимания на разновидности снега, **потому что у них есть больше слов для этого**, все настолько перевернуто с ног на голову (разве нельзя представить себе **какую-либо другую причину**, почему эскимосы могли бы обращать внимание на снег?), что трудно поверить, чтобы ее можно было принимать всерьез, если бы не то чувство самодовольства за победу над здравым смыслом, которое она доставляет. В объяснении, которое гипотеза Уорфа дает эскимосским словам, обозначающим снег, не только поменялись местами причина и следствие, она явно преувеличивает глубину когнитивного различия между народами, которые говорят на соответствующих языках. Как было отмечено в газете «Ньюсуик», даже если эскимос, как правило, действительно обращает больше внимания на разновидности снега, все, что требуется не-эскимосу, чтобы увидеть различие между разновидностями снега, это поднять лопату со слякотью.

Язык связан с мышлением по многим направлениям, некоторые из этих связей тривиальны, другие — радикальны. Поскольку интерес у людей возбуждают обычно радикальные версии теорий, а с открытиями, напротив, согласуются версии скучные, очень важно их разделить. Позвольте мне начать с рассмотрения пяти банальных версий гипотезы Уорфа.

1. Язык оказывает влияние на мышление, потому что мы получаем значительную часть наших знаний путем чтения и устного общения. Вряд ли, например, людям были бы известны понятие «вторник», или тот факт, что Цезарь завоевал Галлию, или учение о первоначальном грехе, если бы они не узнали об этом от других людей при посредстве языка. Этот вариант гипотезы Уорфа совершенно тривиален, потому что представляет собой по существу просто перефразирование определения языка как средства общения плюс наблюдение о том, что язык играет важную роль в делах людей, чего никто не подвергает сомнению.

2. Несколько более интересным представляется вариант, привлекающий внимание к тому факту, что предложение может строить **концептуальную структуру** (фрейм) события, воздействуя на то, как люди структурируют событие дополнительно к сообщению о том, кто сделал что и по отношению к кому. В предыдущей главе было приведено множество примеров, показавших, что выбор конструкции может предопределить, будут ли слушатели думать о событии, например, как о каузировании перемещения воды или как о каузировании наполнения стакана, будут ли они думать, что событие просто имело место или что его осуществление было каузировано и т. д. Способность слов структурировать событие уже давно использовалась в риторике и науке убеждения (сравните лозунги pro-choice '*в защиту права выбора*' и pro-life '*в защиту права на жизнь*' в споре об абортах, redistribution '*перераспределение*' в противопоставление confiscation '*конфискации*' при обсужде-

нии проблемы налогов и invading 'оккупации' в противопоставление liberating 'освобождению' в связи с действиями США в Ираке) и ее результаты легко подтвердить документально. Психологи Амос Тверски и Дэниел Канеман показали, например, что медицинские работники согласятся принять умеренную программу общественного здравоохранения (в противоположность программе, связанной с рисками), если она будет представлена как позволяющая спасти жизнь 200 из 600 людей, нуждающихся в помощи, но что они отвергнут ту же самую программу, если она будет сформулирована как приводящая к смерти 400 человек из 600^[68]. Восхитительно, конечно же, наблюдать, как языки обеспечивают говорящих средствами для создания концептуальных структур событий (и в этом заключается одна из главных задач данной книги). Однако сам факт того, что языки способны осуществлять это, является не чем иным, как развитием общеизвестного наблюдения, что люди используют язык для коммуникации (версия 1). Никого не принуждают структурировать событие так, как это делает тот или иной говорящий (вот почему мы смеемся, когда персонаж Вуди Аллена говорит, что ударил подбородком кулак какого-то парня), точно так же, как никого не принуждают верить всему, что произносит говорящий (и именно поэтому мы смеемся, когда комический актер Чико Маркс говорит: Who are you going to believe, me or your own eyes? '*Кому вы собираетесь верить — мне или своим глазам?*'). Когда нам не из чего больше исходить, кроме слов говорящего, нас может убедить то, как он представляет нам ситуацию, совершенно так же, как мы можем быть обмануты ложным сообщением очевидца события. Но, как мы увидим в главе 5, у людей имеются когнитивные средства для оценки того, соответствует ли понятийное представление события действительности; создание фреймов не принуждает мозг к какому-то одному способу структурирования мира.

3. Словарный запас любого языка отражает те виды явлений, с которыми носители языка сталкиваются в реальной жизни и о которых поэтому думают. Это, разумеется, очевидная не-уорфианская интерпретация так называемых фактов об обозначениях снега у эскимосов. Интерпретация же в духе гипотезы Уорфа представляет собой классический пример ошибочного смешения корреляции и каузации, соотношения и причинно-следственной связи. В случае разновидностей снега и слов, которые их обозначают, снег не только является первопричиной, но когда люди меняют свое отношение к снегу, они, как следствие, меняют и свои слова. Именно так создают новые слова для обозначения снега метеорологи, лыжники и жители Новой Англии, используя либо описательные обороты (wet snow '*мокрый снег*', sticky snow '*липкий снег*'), либо неологизмы (hardpack '*слежавшийся плотный снег, наст*', powder '*снежная крупа*', dusting '*снежная пыль*', flurries '*неожиданный снегопад*'). Можно предположить, что все происходило именно

так, а не в обратном порядке, — сначала любители поиграть с языком создали новые обозначения для снега, а потом занялись лыжным спортом или предсказанием погоды, поскольку были уж очень заинтеригованы своими неологизмами.

Однако может ли стрелка причинно-следственных отношений указывать в обратном направлении? Это, разумеется, вполне вероятно. Когда люди, проявляющие интерес к языку, встречаются с незнакомым словом или конструкцией, они могут постараться их выучить, и в процессе этого они могут обратить внимание на какое-то явление окружающего мира, которое в противном случае от них бы ускользнуло. Но даже при таком положении дел, не слово само по себе, а заинтересованность людей, их знания и размышления управляют этим процессом. Когда люди слышат какое-то слово, то, для того чтобы они взяли на себя труд выучить его значение, нужно, чтобы у них был интерес к той совокупности понятий, к которой относится данное слово. Так, люди, возможно, слышат сотни названий разных видов птиц (*vireo* 'разновидность зяблика, обитающая в Северной Америке', kinglet 'королек', тигге 'водоплавающая птица северных морей, тонкоклювая кайра' и т. д.), но если они не являются любителями наблюдать за птицами, эти названия входят у них в одно ухо и выходят из другого. А для того чтобы усвоить слово, люди должны создать соответствующее понятие. Когда мне встретилось слово *neutrino* 'нейтрино' и я узнал, что оно означает, я, по существу, выучил кое-что из физики, не только из английского языка. Все сказанное справедливо и в отношении более прозаических понятий^[69].

4. Поскольку язык функционирует, вызывая в мозгу значения, и поскольку значения соотносимы с понятиями, возникшими другим путем (например, посредством зрительного восприятия или умозаключения), тогда, если использовать слово **язык** в общем смысле, чтобы оно указывало только на значения (а не на реальные слова, словосочетания и конструкции, которые составляют язык), можно сказать, что язык влияет на мышление — тогда язык и **есть** мышление — по определению. Такая версия гипотезы Уорфа не представляет никакого интереса, потому что она построена просто на небрежном употреблении слова «язык», при котором невозможно даже высказать мысль о том, что наше мышление протекает в иной среде, чем язык^[70].

5. Когда люди думают о какой-то сущности, среди многих ее атрибутов, о которых они могут помыслить, есть и ее имя. Это значит, что если людям задают какой-либо туманный вопрос, который не имеет правильного ответа и каких-либо последствий для реальной жизни, они могут в своей реакции опираться на название того явления, о котором их спросили. Предположим, я предложил вам три фишки, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга на цветовом

спектре (скажем, синюю, зеленовато-синюю и зеленую), и попросил выбрать две фишки, которые наиболее сходны между собой, и тогда, если вам больше не на что опереться, вы, возможно, выберете те две фишки, которые на вашем языке можно описать одним словом^[71]. Это наиболее распространенный эксперимент, который проводили для проверки гипотезы Уорфа. Формально, это, так сказать, пример того, что язык якобы влияет на мышление, поскольку язык оказывает влияние на все мыслительные процессы, происходящие при интерпретации двусмысленных вопросов, заданных экспериментатором. Однако подобные эксперименты мало что говорят о мышлении человека, когда перед ним был поставлен вопрос, на который существует правильный ответ, или если данное человеку задание, хотя и было сформулировано двусмысленно, но не так, чтобы решающая роль при ответе могла принадлежать слову.

Рассмотрим еще два варианта гипотезы Уорфа, которые представляют несколько больший интерес. Однако, как мы увидим, они тоже не оправдывают надежд лингвистического детерминизма.

6. В любой вычислительной системе должны существовать средства для хранения промежуточных результатов вычислений^[72]. Компьютеры, например, перемещают информацию в центральный процессор и из него, сохраняя ее временно в памяти или на жестком диске (отсюда мерцание индикаторов и досадные задержки при работе на ПК). Общеизвестным примером вычислительных операций людей в повседневной жизни является краткая запись переносимой цифры разряда во главу колонки цифр при сложении чисел¹⁾. Когда промежуточный результат хранится в мозгу человека, а не на диске или на бумаге, психологи называют его рабочей памятью. Две наиболее яркие формы рабочей памяти — это мыслительные образы, которые также называют оперативной памятью (*visuospatial scratchpad* — «зрительно-пространственный электронный блокнот»), и краткие отрезки внутренней речи, иначе называемые фонологической петлей (*phonological loop*)^[73]. Люди часто используют свою фонологическую петлю, чтобы держать в памяти номер телефона, чтобы считать в уме, чтобы следить за правыми и левыми поворотами, следуя указаниям, как проехать по какому-либо адресу, или пытаясь запомнить дорогу куда-либо. То обстоятельство, что у языка есть физическая сторона — звучание и произношение, — делает его полезным в качестве среды для рабочей памяти, потому что это позволяет временно сгрузить информацию в слуховой и моторной частях мозга и освободить мощности в центральных системах, имеющих дело с более абстрактной информацией. Если в каком-то языке есть название для сложного понятия, людям легче мыс-

1) «Семь пишем, один в уме». — Прим. перев.

лить это понятие, потому что мозг может, оперируя рядом понятий, обращаться с данным понятием как с одной единицей и не держать каждый из его компонентов в подвешенном состоянии отдельно. Кроме того, язык может снабдить понятие каким-либо дополнительным именованием в долгосрочной памяти, что делает это понятие более легко восстанавливаемым по сравнению с понятиями, не имеющими обозначения вообще или имеющими лишь приблизительные словесные описания.

Как мне представляется, утверждение о том, что понятие легче восстановить в памяти и им удобнее оперировать, если у него в языке есть свое собственное обозначение, — это тоже вариант гипотезы Уорфа, но в этом варианте можно обнаружить долю истины, и он представляет некоторый интерес. Однако он весьма далек от лингвистического детерминизма. Во-первых, запас слов языка не является закрытым списком, который постоянно сдерживал бы мышление говорящих, напротив, он непрерывно расширяется, по мере того как люди, отвечая на запросы мышления, создают жаргонизмы, сленг и специальные термины (как мы увидим в главе 6). Во-вторых, многие из последовательностей слов, которые люди создают для удовлетворения когнитивного спроса, не являются частью языка как такового. Это будет играть важную роль, когда мы подойдем к рассмотрению притязаний «тяжелого» лингвистического детерминизма в недавнее время, поэтому на данной проблеме следует остановиться более подробно.

Одним из случаев, когда мозг может использовать языковой отрывок для управления понятием, является мнемоника. Люди часто придумывают мнемонические тексты, чтобы запомнить произвольные списки понятий или последовательность понятий, которые легко перепутать, как, например, *Every Good Boy Deserves Favor* '*Каждый добрый мальчик заслуживает одобрения*' для запоминания нот в нотном ряду EGBDF '*ми-соль-си-ре-фа*' или *Red sky at morning, sailors take warning; red sky at night, sailors delight* '*Красное небо утром — морякам предостережение; красное небо ночью — морякам радость*' как образец любительского предсказания погоды. Особенно полезна мнемоническая система, которая используется при арифметических вычислениях в уме. Многие специалисты в области когнитологии считают, что человеческий мозг унаследовал от своих млекопитающих предков две системы оперирования величинами^[74]. Одна из них — аналоговая система счисления, при которой количества измеряются приблизительно, путем соотношения их с некой непрерывной величиной в мозгу, таков, например, неопределенный смысл выражения *amount of stuff* '*количество вещества*' или протяженность воображаемой линии. Вторая система имеет дело с точными количествами, но только в небольших пределах, не больше трех или четырех. Ни одна из этих систем не является адекватной, когда приходится иметь дело с величинами, одновременно и точными, и большими, как, например, 9, или 37, или 186,272. Для

этого необходимо в детстве выучить систему чисел, а в школе овладеть арифметическими действиями. И когда эти операции совершаются в уме, а не на бумаге, в качестве справочных таблиц и оперативной памяти используются отрезки языка. Так, эхорезонатор одной строфы, отложенной в памяти (*eight times seven is fifty-six* ‘семью восемь — пятьдесят шесть’), может вызвать в памяти другую строфу (*six plus nine is fifteen* ‘шесть плюс девять — пятнадцать’).

В великолепном эксперименте, исследовавшем, как отрезки языка используются или не используются при арифметических вычислениях в уме, когнитологи Станислас Дехэне, Элизабет Спелке и их коллеги тренировали двуязычных говорящих, владевших русским и английским языками, в сложении пар двузначных чисел, предъявляемых им на одном из указанных языков^[75]. Затем они тестировали испытуемых либо на том языке, на котором их тренировали, либо на другом их языке. Дехэне и Спелке предположили, что в тех случаях, когда участники эксперимента будут производить приблизительные подсчеты, например, оценивать, к чему ближе 53 плюс 68 — к 120 или к 150, они прибегнут к аналоговой системе счисления (ментальный числовой ряд), тогда как при проведении точных подсчетов, скажем, при определении, равна ли сумма чисел 53 и 68 — 121 или 127, они будут про себя проговаривать слова — в этом случае слова того языка, на котором их тренировали. Следовательно, если бы испытуемые опирались на слова, это обязательно должно было бы проявиться в заминках, которые возникали бы, когда испытуемых тестировали не на том языке, на котором их тренировали, а также в заминках, которые возникали бы, когда испытуемым давали новые задания, в отличие от повторного тестирования уже выполненных ими старых заданий. И, можно не сомневаться, оказалось, что язык, на котором велось тестирование, не играл никакой роли, когда участникам эксперимента нужно было **примерно** оценивать суммы, но играл важную роль, когда испытуемым приходилось делать **точные** подсчеты. Продолжая исследование, Дехэне и Спелке сканировали мозг одноязычных говорящих, выполнявших аналогичных два задания, и обнаружили, что когда испытуемые производили приблизительные подсчеты, активными у них в мозгу были области, связанные с пространственным познанием в обоих полушариях, но когда они вычисляли точные суммы, у них активизировались области в левом полушарии, связанные с языком.

Можно ли считать это свидетельством того, что мышление человека зависит от его языка? На самом деле, нет. Во-первых, способности, обнаружившиеся в ходе эксперимента, не имеют никакого отношения ни к английскому, ни к русскому языку как таковым. Они опираются на мнемонические системы, использующие ресурсы языка (а именно, на последовательности речевых отрезков, беззвучно проговариваемых про себя); но мнемонические системы не являются естественной ча-



стью какого-либо языка; они были изобретены как особое явление в истории культуры и их усваивают в школе намного позже того, как говорящие овладели родным разговорным языком. Кроме того, функционирующая языковая система не является **необходимой** для математического рассуждения. В статье под названием *Agrammatic but Numerate* («Аграмматичны, но способны считать») нейропсихолог Розмари Варли и ее коллеги опубликовали результаты тестирования трех человек с серьезными поражениями областей левого полушария мозга, ответственных за язык^[76]. Пациенты были неспособны строить и понимать предложения и даже испытывали затруднения с произнесением и написанием обозначений чисел. И тем не менее у них не было никаких трудностей с операциями сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел, включая отрицательные числа, дроби и выражения в скобках, как, например, $50 - [(4 + 7) \times 4]$ (которые напоминают встроенные синтаксические структуры вроде *The man whom the woman likes is bald* «*Мужчина, который нравится этой женщине, лыс*»).

Использование при счете и других формах сознательного рассуждения ментального эхо-резонатора является, как я полагаю, основной причиной того, что многие люди утверждают, что они **думают** на своем родном языке. Однако данное явление не есть главное событие в процессе мышления, большая часть обработки информации в мозгу происходит бессознательно. Как заметил Рэй Джекендофф, сознательная часть мыслительного процесса приходится, по-видимому, на средний уровень в иерархии от простого ощущения к абстрактному знанию^[77]. При зрительном восприятии, например, мы живо осознаем поверхности, которые видим перед собой, их цвет и фактуру, но не осознаем расплывчатые, искаженные очертания, отраженные на сетчатке наших глаз, или абстрактные категории, к которым относятся объекты («орудие», «овощ» и т. д.). В языке же, указывает Джекендофф, люди прежде всего отдают себе отчет в фонологическом уровне — в последовательностях слогов, составляющих слова и словосочетания, — но не в нечленораздельных звуках, похожих на шипение и гудение, которые несет звуковая волна, или в абстрактных синтаксических и понятийных структурах, придающих им значение^[78]. И в результате получается, что звучания языка — это манифестации мышления, наиболее отчетливо присутствующие в бодрствующем сознании человека, хотя в действительности они представляют собой лишь верхушку айсберга нашей мыслительной деятельности.

Вот еще один интересный вариант гипотезы Уорфа:

7. Каждый язык побуждает говорящих, когда они строят или интерпретируют предложения, обращать внимание на определенные аспекты действительности. Так, в английском языке говорящим приходится, как только они открывают рот, чтобы произнести предложение,

думать о категории времени — о соотношении времени события, о котором они говорят, и момента речи. Другие языки, например турецкий, принуждают говорящих указывать, были ли они непосредственными свидетелями события или же узнали о нем от других людей. Еще пример: в английском языке пространственные термины типа *in* 'в' и *on* 'на' различают (более или менее) опору и вместилище; в корейском же языке это различие пространственными глаголами игнорируется, зато они учитывают, является ли пригонка между содержимым и контейнером свободной (как у фруктов на блюде или у цветов в вазе) или плотной (как в конструкторе Лего, детали которого входят друг в друга, или у кассеты в кассетнике, или у кольца на пальце). Еще один пример: в английском языке глаголы (такие, как *float* 'плыть') могут сочетать факт движения со способом движения, но отсылают выражение направления движения в предложное словосочетание, как в предложении *The bottle floated into the cave* 'Бутылка плыла в пещеру'. В отличие от этого, в испанском и греческом языках глаголы обычно сочетают факт движения с направлением движения и выражают манеру движения, подобно **отсроченной мысли**, — по-английски это выглядело бы как *The bottle entered the cave, floating* 'Бутылка попала в пещеру, плывя'.

Таким образом, один из случаев, когда язык, по всей видимости, оказывает влияние на мышление, заключается в том, что говорящие, выбирая слова и соединяя их в предложения, обращают внимание на разные вещи — явление, получившее название «мышление для речи» (*thinking for speaking*)^[79]. Вопрос, однако, состоит в том, распространяется ли этот сформировавшийся на протяжении жизни человека навык — навык обращать внимание на определенные различия и игнорировать другие — на мышление для мышления — то есть на размышление о предметах и событиях для иных целей, чем просто их описание. Испытывают ли говорящие по-английски, в отличие от говорящих на других языках, затруднения в понимании различия между, например, событиями, которые они видели собственными глазами, и событиями, очевидцами которых они не были, или между свободно и плотно подогнанными контейнерами, или выражением направления вместе с фактом движения или отдельно от него? Задать такой вопрос — значит одновременно и ответить на него, потому что, конечно же, говорящие на английском языке вполне справляются с этими различиями, когда имеют дело с социальным миром и миром природы. Возможно, поэтому, хотя «мышление для речи» является, наверное, самой популярной темой в неоуорфианских изысканиях, исследователи старательно избегали проверки положений лингвистического детерминизма на таком материале и обращались к гораздо менее убедительным ситуациям. Так, они изучали вопрос, что будет, если испытуемым дать некое неопределенное задание, скажем, задание выбрать из ря-

да действий какое-либо одно действие, чем-то выделяющееся среди других, то действительно ли говорящие по-английски с меньшей вероятностью, чем говорящие на корейском языке, выберут действие, выделяющееся плотностью пригонки контейнера. Некоторые экспериментаторы находят в суждениях своих испытуемых следы влияния языка, другие — нет^[80].

Вряд ли может удивить тот факт, что влияние мышления для речи на мышление как таковое в самом лучшем случае весьма невелико. Такие понятия, как насколько плотно предметы подогнаны друг к другу или видел ли человек событие собственными глазами или знает о нем понаслышке, настолько важны в человеческой жизни, что представляется маловероятным, чтобы исторические случайности, которые влияли на формирование того или иного языка, могли бы как-то помешать людям использовать культурные и когнитивные ресурсы, необходимые им, чтобы следить за этими явлениями. И, кроме того, совсем даже не очевидно, что, если на протяжении всей своей жизни человек использовал язык, в котором кодировалось некоторое различие, это обстоятельство сделало данное различие более доступным для мышления. Столь же вероятно, что может произойти нечто прямо противоположное. Когда какой-то процесс в мозгу становится автоматическим, он в качестве когнитивного рефлекса глубоко встраивается в систему языка, и его внутреннее действие доступно сознанию уже не больше, чем мы осознаем движения пальцев при завязывании шнурков на ботинках.

Пара примеров из реальной жизни может пояснить, почему мышление для речи оказывает так мало влияния на само мышление как таковое. Рассмотрим семантику грамматического времени. Время — важная категория грамматики английского языка, и, если рассуждать с позиций гипотезы Уорфа, использование ее говорящими по-английски на протяжении всей жизни должно было бы заставить их остро ощущать относительную последовательность времени совершения события и времени, когда говорящий об этом событии сообщает. Однако детективы и прокуроры знают, что дело обстоит иначе: автоматическое определение порядка следования событий инкапсулировано в языковой системе, и это приводит к тому, что подозреваемые выдают себя тем, что они говорят. В 1994 г. Сьюзен Смит, утопившая двух своих сыновей и утверждавшая, что их похитили, выдала себя, сказав репортерам: *My children wanted me. They needed me. And now I can't help them. 'Я была необходима детям. Они нуждались во мне. А теперь я не могу им помочь'*. Рефлексивное употребление прошедшего времени выдало ее: она знала, что дети были уже мертвы^[81]. Возможно, то же явление грамматики английского языка послужило основанием для вынесения смертного приговора через смертельную инъекцию Скотту Петерсону: по мнению обвинения, о наличии у него преступного умысла свиде-

тельствовало то, что он говорил о своей жене и нерожденном сыне в прошедшем времени еще до того, как были найдены их тела^[82]. Таким образом, даже при наличии сильного мотива — в буквальном смысле выбор между жизнью и смертью — навык исчисления времени не помог носителям английского языка четко продумать порядок следования событий, когда им на месте без подготовки пришлось думать, что следует говорить, а чего не следует.

Наконец, мы подошли к радикальным вариантам гипотезы Уорфа — к лингвистическому детерминизму в подлинном смысле слова:

8. Слова и грамматические структуры оказывают глубокое влияние на то, как говорящие мыслят, даже когда те в действительности не говорят и не слушают.

9. Средой мышления являются реальные слова и предложения на языке, носителем которого является говорящий. Следовательно, люди не в состоянии помыслить понятие, для которого в их языке нет названия, и направление причинно-следственной связи идет от языка к мышлению: отсутствие выражения для какого-либо понятия в родном языке говорящего постоянно создает для него некую мертвую зону и лишает его возможности использовать данное понятие.

10. Если представители двух культур говорят на языках, различающихся теми понятиями, которые на них возможно выразить, их убеждения являются несопоставимыми, и коммуникация между ними невозможна.

От подобных заявлений, несомненно, захватывает дух, и они имели бы далеко идущие последствия, если бы были верны. Сейчас самое время было бы привлечь подставных выразителей идей лингвистического детерминизма, но у лингвистического детерминизма нет недостатка в реальных пропагандистах, настоящих «батутах». Сам Уорф, например, с предельной ясностью изложил свои взгляды:

We dissect nature along lines laid down by our native languages... We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, largely because we are parties to an agreement... that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our language. The agreement is, of course, an implicit and unstated one, **but its terms are absolutely obligatory.**

Мы членим природу в соответствии с границами, проложенными нашими родными языками... Мы расчлениаем природу, организуем ее в понятия и приписываем определенным образом значения в основном потому, что являемся участниками соглашения, которое имеет силу во всем нашем речевом коллективе и которое кодифицировано в моделях нашего языка. Это соглашение является, конечно же, имплицитным и не сформулированным, но его условия абсолютно обязательны для выполнения^[83].

Сходные высказывания можно найти у многих мэтров философии и литературоведения:

We have to cease to think if we refuse to do it in the prisonhouse of language.
Нам придется перестать мыслить, если мы откажемся делать это в темнице языка.

Фридрих Ницше

The limits of my language mean the limits of my world.
Пределы моего языка — это пределы моего мира.

Людвиг Витгенштейн

Man acts as though he were the shaper and master of language, while in fact language remains the master of man.

Человек ведет себя так, как если бы он был создателем и господином языка, тогда как в действительности язык остается господином человека.

Мартин Хайдеггер

Man does not exist prior to language, either as a species or as an individual.

Человек не существует до языка ни как вид, ни как индивидуум.

Роланд Барт^[84]

Подобные настроения характерны не только для гуманитариев. После того как журнал *Science* опубликовал историю о том, как английский язык стал общим языком — *lingua franca* — науки, в нем появилось письмо, в котором говорилось:

Language often leads thought. What will we be losing when all scientists write and think in a language that hems the descriptions of facts and theories into a single Subject—Verb—Object (SVO) order? I do not think that one universal SVO language in science, to the exclusion of others, should be underestimated in its potential for severely skewing how scientists look at the world, time, space and causality, perhaps unconsciously closing off areas of investigation in a way that even the most pervasive Kuhnian paradigm does not.

Язык часто управляет мышлением. Что мы утратим, если все ученые будут писать и думать на языке, который втискивает описания фактов и теории в предложения с единым порядком слов Субъект—Предикат—Объект (С—П—О)? Я считаю, что не следует недооценивать опасность того, что использование в науке одного универсального языка с порядком слов С—П—О и исключение из обращения других языков способно серьезно исказить взгляд ученых на мир, время, пространство и причинность и привести, возможно, бессознательно, к такому сужению области исследования, к какому не привела бы даже самая всеобъемлющая парадигма Куна^[85].

А недавно этот флагман американской науки опубликовал исследование о вычислительных способностях представителей одного из племен в Южной Америке, автор которого, психолингвист Питер Гордон писал:

Is it possible that there are some concepts that we cannot entertain because of the language we speak? At issue here is the strongest version of Benjamin Lee Whorf's hypothesis that language can determine the nature and content of thought... The present study represents a rare and perhaps unique case for strong linguistic determinism.

Возможно ли, что существуют понятия, которые мы не можем использовать из-за языка, на котором говорим? Споры вызывает, таким образом, самый радикальный вариант гипотезы Бенджамина Ли Уорфа, согласно которому язык определяет природу и содержание мышления... Настоящее исследование представляет собой редкий, а возможно, и единственный в своем роде случай выступления в защиту радикального варианта лингвистического детерминизма^[86].

Большинство других неоуорфианцев высказывается более осторожно.

Утверждения в их работах и кратких обзорах в защиту лингвистического детерминизма выглядят весьма загадочно, как, например, language can affect the way you think 'язык может влиять на то, как вы думаете', language can restructure cognition 'язык может реструктурировать сознание' и (на псевдоакадемическом жаргоне) language is thought of as a potentially catalytic and transformative of cognition 'язык трактуется как потенциальный катализатор и преобразователь сознания'^[87]. Однако в этих загадочных формулировках не разделяются вполне обыденные случаи влияния языка на мышление (а именно это показывают эксперименты) и случаи сенсационные (варианты лингвистического детерминизма, которые кажутся столь привлекательными).

Настоящие доказательства в пользу лингвистического детерминизма должны были бы продемонстрировать три вещи. Во-первых, то, что говорящие на каком-то языке испытывают серьезные затруднения или вообще не могут мыслить каким-то определенным образом, который является естественным для говорящих на другом языке (а не только показать, что для них менее привычно думать таким образом!). Во-вторых, нужно было бы показать, что наблюдаемые различия действительно затрагивают мышление, делая людей неспособными решать те или иные проблемы (а не просто толковать вкривь и вкось субъективные впечатления говорящих, превращая все это в надуманные суждения или запутывая их в парадоксах!). И, самое важное, различие в мышлении должно быть обусловлено языком, а не просто возникнуть в силу каких-либо других причин и только получить отражение в языке или объясняться тем, что некоторая модель и языка и мышления явилась результатом воздействия культуры и окружающей среды.

Позвольте мне завершить данную главу анализом трех появившихся в последнее время впечатляющих выступлений сторонников лингвистического детерминизма. Они показывают, насколько различны виды доказательств, которые привлекаются для решения старого-престарого

вопроса о языке и мышлении, а это вынуждает нас попытаться разобрататься в трех фундаментальных категориях мышления — объектах, числе и трехмерном пространстве, — каждая из этих категорий была предметом рассмотрения в том или ином недавнем исследовании, посвященном языку и мышлению.

В оригинальном исследовании умственной жизни детей психологи Фей Ху и Сьюзен Кэри показали, что дети в возрасте десяти месяцев, пытаясь следить за предметами, не классифицируют их по форме. Как представляется ребенку, предмет есть предмет и только^[88]. Ху и Кэри устроили целое действо с участием игрушек; в нем утка появлялась с правой стороны ширмы и затем скрывалась за ширмой. Потом другая игрушка, например грузовичок, появлялась с левой стороны ширмы и скрывалась за ней. Эти действия повторялись несколько раз, пока детям не становилось скучно, и тогда ширма падала на пол, открывая игрушки. В одном варианте эксперимента упавшая ширма открывала грузовик рядом с уткой, как и ожидали бы мы с вами. Но в другом варианте эксперимента с помощью небольшого театрального фокуса за упавшей ширмой на полу оказывался только грузовик (или только утка). Физически это, разумеется, невозможно, тем не менее десяти-месячные дети не удивлялись и смотрели на грузовик и утку так же долго, как если бы это была единственная игрушка, виденная ими раньше. Для детей, по-видимому, с обеих сторон ширмы появлялась одна и та же сущность, и тот факт, что она иногда выглядела как грузовик, а иногда как утка, не вызывал у них беспокойства. Когда же аналогичный эксперимент бы проделан с детьми в возрасте двенадцати месяцев, результаты были другие. Когда ширма падала и обнаруживалась только одна игрушка, дети более старшего возраста глядели на нее в растерянности — совершенно так же, как это сделали бы взрослые, которым известно, что грузовик — это одно, а утка — совершенно другое.

Что же произошло за эти два месяца? Ху и Кэри заметили, что двенадцать месяцев — это тот возраст, когда большинство детей впервые начинает реагировать на слова. Они предположили, что, возможно, именно усвоение слов **было причиной** того, что более старшие дети отличали одну игрушку от другой, следя за тем, сколько их там было. Таким образом, Ху и Кэри поддержали такой вариант лингвистического детерминизма, продемонстрировав, что в течение переходных двух месяцев именно те дети, которые научились понимать некоторые слова, удивлялись, когда за упавшей ширмой чудесным образом обнаруживалась единственная игрушка, в то время как дети, не знавшие никаких слов, обычно удивления не выражали. Экспериментаторы также отметили, что если за кадром раздавался голос, произносивший названия предметов (Look, a truck! Look, a duck! *Смотрите, грузовик! Смотрите,*

утка!"), это подталкивало детей даже в возрасте девяти месяцев к тому, чтобы они обратили внимание на то, что игрушки различны.

Однако даже при всем при этом радикальные идеи теории Уорфа относительно того, как мы научаемся различать разные виды предметов, представляются маловероятными. Например, люди, лишенные слуха, не владеющие ни языком жестов, ни устной речью, вырастая, несомненно не ведут себя так, как если бы они, наблюдая за окружающими их предметами, не могли отличить велосипеды от бананов или от банок с пивом^[89]. И каждый из нас может различить всякие разные как-их-там, как-бишь-их-называют такие вот штуковины, которые хранятся у нас в чуланах и ящиках комодов и названия которых нам так и остались неизвестны. Поэтому существует возможность иной интерпретации эксперимента с детьми, для чего нужно повернуть в противоположном направлении стрелку причинно-следственной зависимости, а именно: дети усваивают названия предметов, когда они становятся достаточно взрослыми, чтобы различать предметы в уме. И, по правде говоря, трудно представить себе, как дети **могли бы** усвоить название предмета, **если бы они не могли подумать** о данной разновидности предметов как о чем-то отличающемся от других видов предметов.

В последние годы одним из наиболее плодотворных источников сведений о языке и мышлении были разыскания в новой области — в области изучения умственных способностей животных^[90]. Смертельный удар по идее о том, что язык необходим для классификации предметов по видам, был нанесен серией экспериментов, проведенных психологами Лори Сантос, Марком Хаузером и их коллегами в колонии макак-резусов на Кайо Сантьяго, кишашем обезьянами прелестном острове у берегов Пуэрто-Рико^[91]. Экспериментатор привлекал внимание одной из обезьян и проделывал действия, аналогичные эксперименту с грузовиком и уткой, с той только разницей, что в данном случае использовались предметы, способные привлечь внимание любой обезьяны, — морковка и кабачок. После того как из-за ширмы по очереди показывались то морковка, то кабачок, а потом после падения ширмы за ней оказывался только один из овощей, обезьяны выражали удивление, — совершенно так же, как двенадцатимесячные дети или как удивились бы мы с вами. Но обезьяны, конечно же, не знали ни единого английского слова. Другие исследования показывают, что детеныши обезьян (в возрасте четырех месяцев) ведут себя подобно маленьким детям — они не удивляются чуду, и это приводит к мысли, что мозг приматов должен развиваться до определенного уровня, прежде чем он сможет различать предметы по их принадлежности к тому или иному виду. Наверняка именно это позволяет и маленьким детям усваивать слова, а никак не наоборот.

Наиболее беззастенчивой пропагандой лингвистического детерминизма в последние годы является исследование Питером Гордоном

понятия числа у туземных народов в бассейне Амазонки^[92]. Как мы уже знаем, Гордон высказался в защиту «радикального варианта» гипотезы Уорфа, и именно так о его исследовании сообщалось в прессе в 2004 г. Индейцы пираха в Бразилии, подобно многим другим народам, занимающимся охотой и собирательством, используют при счете только три количественных слова, означающих «один», «два» и «много». Но даже эти слова употребляются неточно и несколько напоминают английское выражение *a couple 'nara'*, которое, строго говоря, указывает на два предмета, но часто используется для обозначения просто небольшого количества. Физик Джордж Гамов начал свою блистательную книгу *One, Two, Three... Infinity* («Один, Два, Три... Бесконечность»), опубликованную в 1947 г., шуткой о двух венгерских аристократах, которые поспорили о том, кто из них сможет назвать наибольшее число. Первый из них сосредоточенно думал несколько минут и потом произнес «Три». Второй, поразмышляв над указанной сложной проблемой не менее пятнадцати минут, в конце концов признал себя побежденным, сказав *You win 'Вы выиграли'*. Как замечает Гамов, эта история является, возможно, злостной клеветой на аристократов, однако подобный разговор вполне мог иметь место среди многих народов, живших в эпоху до образования государства. Их превзошел бы сейчас даже американский ребенок детсадовского возраста, что свидетельствует о великолепных достижениях западной системы счета, которую большинство людей принимает как нечто само собой разумеющееся.

Меня прежде ставило в тупик преобладание у бесписьменных народов счетных систем «один, два, много», пока я не поинтересовался у антрополога Наполеона Чэгнона, который изучал другое племя индейцев на Амазонке — племя яномамо, как им удается этим обходиться. Он объяснил мне, что в своей повседневной жизни яномамо не нуждаются в точных числах, потому что они отслеживают предметы как отдельные сущности, — один за другим. Охотник, например, распознает каждую из своих стрел, и, если какая-то стрела пропала, чтобы узнать об этом, ему не нужно считать стрелы. То же самое свойство мозга заставило бы нас замешкаться, если бы нас спросили, сколько у нас двоюродных братьев и сестер, или сколько бытовых приборов у нас на кухне, или сколько отверстий у нас в голове.

Вспомним, что вдобавок к универсальной способности представлять ряды индивидуальных сущностей, люди могут также отслеживать небольшие точные количества (примерно до трех или четырех), и, кроме того, они могут подсчитывать гораздо большие количества, хотя и только приблизительно (речь идет об аналоговой системе счета, засвидетельствованной Дехэне и Спелке в их экспериментах с двуязычными говорящими и при сканировании мозга испытуемых). Эти две составляющих понятия числа присущи и детям, и обезьянам, и наличествуют, разумеется, во всех человеческих обществах^[93]. Более сложные

системы, позволяющие точно исчислять большие числа, появляются позже как в истории общества, так и в развитии ребенка. Такие системы изобретают обычно, когда в обществе развивается сельское хозяйство, производится огромное множество неотличимых друг от друга предметов и возникает необходимость следить за их точным количеством, особенно когда ими торгуют или с них взимают налог.

Гордон показал, что индейцы пираха поразительно беспомощны при выполнении любого задания, требующего отслеживания точных чисел от трех до девяти. Они не могут, например, посмотрев на орехи на столе, положить в один ряд под ними то же самое количество батареек или обозначить на листе бумаги черточкой каждую батарейку, которую они видят, или, проследив за тем, как несколько орехов помещают в банку, угадать, по мере того как орехи вынимают один за другим, когда банка опустеет. Ответы пираха не были случайными: чем больше предметов они видели, тем больше предметов они указывали в среднем. Но их ответы были в высшей степени неточными, и по мере того, как возрастало количество предметов, увеличивалась и неточность ответов. (Все это признаки аналоговой системы счета — что подтверждает мысль о том, что этот компонент восприятия числа существует независимо от количественных слов.) Гордон пришел к выводу, что отсутствие точных количественных понятий у пираха обусловлено отсутствием у них точных количественных слов — вот вам тот самый «редкий и может быть единственный в своем роде случай выступления в защиту радикального варианта лингвистического детерминизма».

Но, как охарактеризовал ситуацию когнитолог Дэниел Касасанто, мы имеем здесь скорее дело с *crying Whorf* 'проливающим слезы Уорфом', поскольку вывод построен на необоснованном скачке от корреляции к каузации, от соотношения явлений к причинно-следственной связи^[94]. Не может быть простым совпадением то, что в языке индейцев пираха отсутствуют названия для больших чисел (в отличие от английского языка), и то, что говорящие на языке пираха индейцы занимаются охотой и собирательством и живут в отдаленных деревнях, как в каменном веке (в отличие от говорящих на английском языке). Гораздо более правдоподобным представляется другое объяснение, а именно: стиль жизни, история и культура этого технологически неразвитого племени охотников и собирателей обусловили отсутствие у него и обозначений чисел и количественного мышления. (И действительно, Дэниел Эверетт, лингвист, изучавший индейцев пираха в течение двадцати трех лет, отверг вывод Гордона и связал ограниченность количественного мышления пираха с общими моделями, присущими их культуре.)^[95] Причина того, что более убедительна интерпретация не уорфианская, заключается в том, что, как нам известно, не существует современных урбанизированных обществ, которые не имели бы

сложных систем счетных слов, так же как мы не находим обществ охотников и собирателей, которые такими бы системами обладали. Понятно, что народ вряд ли мог бы развиваться в урбанистическую цивилизацию, не имея количественных слов и количественных понятий, поэтому мы вряд ли ожидали бы встретить общество, в котором отсутствовали бы количественные слова, а общество тем не менее было бы современным. Но в этом-то как раз все и дело — как только возникает потребность, очень скоро из имеющихся когнитивных ресурсов развиваются и количественные слова, и количественное мышление.

Речь не идет о том, что определенный тип языка вообще ни при каких обстоятельствах **не может** разойтись с определенным типом общества, — это сделало бы гипотезы, подобные гипотезе Уорфа, в принципе непроверяемыми. Языки эволюционируют по-разному в силу внутренней динамики развития произношения и грамматики, а также из-за превратностей истории. Вследствие этого сходные общества могут различаться типами языка, как, например, венгерский и чешский или иврит и английский. Если бы теория лингвистического детерминизма была верна, уже одних этих типологических различий — без всяких соотносящихся с ними различий в типе общества — должно было бы быть достаточно, чтобы направить мышление соответствующих обществ и говорящих в различных направлениях. В рассмотренном нами примере это должны были бы быть народы, у которых система культурных навыков, включая счет, не развилась **по причине** исторической случайности — из-за того что в их языке отсутствовали количественные слова, тогда как сходные народы, которым посчастливилось говорить на языке, имевшем счетные слова, достигли высот математической науки. В действительности же, как свидетельствует история, когда общества становятся более стабильными и сложными, в силу внутреннего развития или под давлением со стороны соседей, они быстро создают или заимствуют счетные системы, независимо от типа языка, на котором говорят ^[96].

Возникает вопрос — нельзя ли найти контрольную группу для индейцев пираха, найти народ, культура которого была бы сходна с их культурой, но язык отличался бы по своему инвентарю счетных слов? Если бы такой народ удалось отыскать, это позволило бы осуществить настоящую проверку лингвистического детерминизма, исключаящую возможное вмешательство культуры. Поразительно, но такая контрольная группа не только существует, но была описана в другой статье, опубликованной в том же номере журнала *Science*, что и исследование Питера Гордона ^[97]. Индейцы мундуруку являются, **так же как** и пираха, бесписьменным народом охотников и собирателей, обитающим в бразильской части течения Амазонки, но в их языке имеются счетные слова от одного до пяти. Этого, однако, недостаточно, чтобы признать, что у них существуют точные количественные **понятия** от одного до пя-

ти. Дехэне совместно с лингвистом Пьером Пика и их коллегами показали, что индейцы мундуруку, подобно индейцам пираха, используют счетные слова (кроме «один» и «два») в приблизительном значении: слова, означающие «три», «четыре» и «пять», они не всегда употребляли, когда нужно было указать именно на соответствующие количества, но иногда использовали их для указания на количества, близкие к ним. И так же, как у их соседей пираха, тоже живущих в бассейне Амазонки, способность индейцев мундуруку мысленно представить себе результат вычитания (скажем, когда они видели компьютерную анимацию, изображавшую пять точек, входящих в банку, и четыре точки, выходящие из нее, и должны были угадать, сколько точек осталось в банке) была неадекватной, когда дело касалось чисел больше, чем «три», и становилась все более и более неуверенной по мере возрастания чисел. Таким образом, наличие в языке индейцев мундуруку дополнительных счетных слов очень мало или вообще никак не влияло на их восприятие точных чисел.

Если в языке индейцев мундуруку были обозначения чисел «три», «четыре» и «пять», почему же они не использовали их точно? Исследователи недвусмысленно указали на суть проблемы: у мундуруку отсутствует устоявшаяся практика счета. Очень соблазнительно приравнять использование числа пять к способности сосчитать пять предметов, однако это совершенно разные вещи. Счет — это алгоритм, подобный серии операций деления или использованию логарифмических таблиц, — в данном случае это алгоритм для определения точного количества предметов в некоторой совокупности. Он состоит в декламации по памяти отрезка белого стиха («один, два, три, четыре, пять...») и в одновременном подборе для каждой стопы стихотворения некоторой пары — одного из предметов, находящихся в центре внимания, не пропуская при этом ни одного предмета и не привлекая ни одного из них дважды. И затем, когда уже не осталось не сосчитанных предметов, вы объявляете, что последняя стопа, до которой вы дошли в стихе, и есть общее число предметов в данной совокупности^[98]. Таков один из многих возможных алгоритмов установления количества. В некоторых обществах люди сопоставляют предметы с частями тела человека, а кроме того, я знаю нескольких компьютерщиков-программистов, которые считают следующим образом: «Нуль, один, два, три, четыре. Итого пять». Что касается алгоритма счета, которому мы учим дошкольников, так же как более сложных арифметических действий в уме, которым мы обучаем детей школьного возраста, то они соотносятся со словами языка. Но это не есть часть языка, в отличие от согласования субъекта и глагола, и это не приходит просто так с языком. Поэтому в случае с восприятием числа корректное сравнение — сходные культуры, но различные языки — не только не подкрепляет, но, напротив, **опровергает** лингвистический детерминизм. Необходимым усло-

вием для существования точных понятий числа свыше понятия «два» является наличие алгоритма счета, а отнюдь не наличие счетных слов.

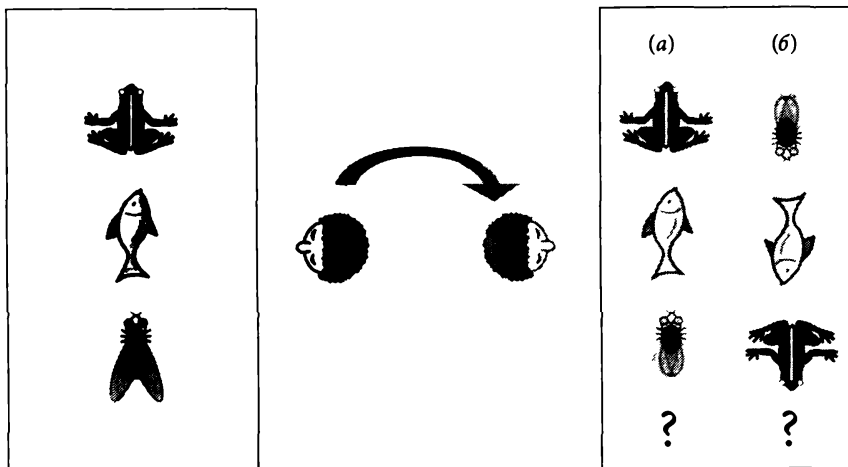
Обратившись от предметов и чисел к пространству, мы обнаруживаем главное украшение неоуорфианского движения — серию работ антрополога Стивена Левинсона и его коллег, поставивших целью доказать, что пространственные термины языка обуславливают то, как люди используют трехмерное пространство, чтобы запомнить расположение предметов^[99]. Группа Левинсона исследовала язык цельталь, на котором говорят индейцы, живущие в регионе Чиapas в Мексике и являющиеся потомками народа майя, расцвет цивилизации которого приходится на время с 250 по 900 г. н. э. В языке цельталь нет общих слов со значением «левый» и «правый». Ближайшие по смыслу слова, которые здесь существуют, указывают на левую или правую руку или ногу, но эти слова редко употребляются для указания на левую или правую сторону предметов, стола или комнаты^[100]. Вместо этого говорящие на языке цельталь описывают пространственное расположение предметов по отношению к горному склону, возвышающемуся над их деревнями. Словарь пространственных терминов языка цельталь включает слова, означающие «вверх-по-склону» (грубо говоря, на юг), «вниз-по-склону» (в общих чертах, на север) и «по-ту-сторону-склона». Эти координаты используются не только тогда, когда индейцы передвигаются вверх и вниз по горе, но также и при перемещении на ровной местности или в помещении, и даже при описании расположения небольших предметов. Если верить Левинсону, индейцы цельталь говорят: «Ложка находится ниже по склону от чашки», а не «Ложка лежит справа от чашки»^[101].

Левинсон и его коллеги пишут: *A speaker of such a language cannot remember arrays of objects in the same way as you and I* «Говорящий на подобном языке не способен запоминать расположение предметов так, как это делаем вы и я»^[102]. Они отмечают, что индейцы цельталь смешивают зеркальные отражения предметов, но проявляют сверхъестественные способности в распознавании направления на север или юг — даже в помещении и даже когда им завязывали глаза и многократно, до головокружения, поворачивали вокруг себя — как если бы им в голову вставили компас (подобно некоторым видам перелетных птиц). Существует, например, анекдот о том, как говорящая на языке цельталь индианка, приехав однажды ночью в гостиницу в незнакомом городе далеко от дома, спрашивает мужа, идет ли горячая вода из крана, который «вверх-по-склону», или из того, что «вниз-по-склону».

В ходе нескольких экспериментов Левинсон и его коллеги сажали испытуемых за стол, на котором перед ними лежали три игрушки, скажем, муха, рыба и лягушка, расположенные в один ряд слева направо. Затем испытуемых поворачивали на 180 градусов лицом к столу, нахо-



дядемуся у них за спиной, давали им тот же набор игрушек и просили разложить игрушки «так же», как они были разложены на первом столе.



Задание, которое было дано испытуемым, является двусмысленным. «Так же» могло означать «расположить так же по отношению к окружающей обстановке», и в этом случае муха должна была бы теперь находиться справа от испытуемого, но с точки зрения общей перспективы, — на том же конце стола, что показано как (а) на диаграмме. С другой стороны, «так же» можно было понять как «расположить так же по отношению к испытуемому», и тогда муха должна была бы по-прежнему находиться слева от испытуемого, хотя с точки зрения общей перспективы, она оказывается на **противоположном** конце стола, как в (б). Говорящие на языке целгаль, как правило, размещали ряд игрушек на втором столе «так же» относительно окружающей обстановки, как в (а). Однако говорящие на нидерландском языке (в котором, как и в английском, существуют общие обозначения для понятий «левый» и «правый») сохраняли расположение игрушек слева-направо с их точки наблюдения, изменяя порядок расположения игрушек по отношению к миру, как в (б). Следовательно, делал вывод Левинсон, *use of the linguistic system... actually forces the speaker to make computations he or she might otherwise not make 'использование языковой системы... по существу принуждает говорящего производить действия, которых он иначе не стал бы производить'*^[103].

Как уже говорилось выше, подлинное подтверждение теории лингвистического детерминизма должно было бы продемонстрировать три вещи: первое, что говорящие на том или ином языке вообще не способны думать так, как это без всяких усилий делают говорящие на другом

языке, или по крайней мере испытывают при этом огромные затруднения; второе, что данное различие затрагивает действительно мышление, приводящее к умозаключению, а не просто влияет на субъективную склонность говорящего в неопределенных обстоятельствах; и, наконец, третье, что различие в мышлении обусловлено различием в языке, а не просто соотносится с ним по какой-то иной причине, такой, как, скажем, естественная или культурная среда. Несмотря на свой широко разрекламированный статус продолжателя неоуорфизма в современной психолингвистике, команда Левинсона оказалась несостоятельной при ответе на все три указанных вопроса.

Чтобы понять, что здесь происходит в действительности, необходимо сначала посмотреть, как о пространстве можно думать и говорить^[104]. У людей в голове нет приемников Общей системы обнаружения (GPS), чтобы принимать сигналы со спутников, имеющих орбиту, синхронную с землей. Им приходится искать некий ориентир, который мог бы быть надежно идентифицирован разными людьми (или одним и тем же человеком в разное время) с тем, чтобы они могли определять относительно его направление, в котором находится объект, и расстояние до этого объекта. Для направления «вверх—вниз» есть всеобщий и постоянно присутствующий ориентир — это сила тяготения. Но два других направления являются проблематичными, потому что не существует таких компасов или разбросанных по всему миру указателей типа you are here *‘вы находитесь здесь’*, чтобы ориентировать людей в направлениях «север—юг» или «восток—запад».

Одна из возможностей — выбрать геоцентрический ориентир: оси «север—юг» и «восток—запад», соотнесенные с какими-либо бросающимися в глаза объектами, например с горным хребтом или с какой-то другой особенностью местности, прочно закрепленной на земле. Геоцентрический ориентир имеет то преимущество, что не меняет своего месторасположения, и поэтому если нечто «указывает на восток», оно будет указывать на восток всегда, независимо от того, где находится человек. Однако у этого ориентира есть тот недостаток, что он недоступен, если вы находитесь в помещении или далеко от дома, а кроме того, часто он стабилен не так, как было бы нужно. Любой объект или часть объекта, способные менять положение, будут сохранять постоянное расположение по отношению к **другому объекту**, к тому, к которому они прикреплены, а не по отношению к окружающему миру. Так, руль велосипеда всегда находится у него спереди (не к северу или югу и не к востоку или западу) или кран холодной воды всегда расположен с правой стороны раковины, независимо от того, в какую сторону обращен велосипед или умывальник.

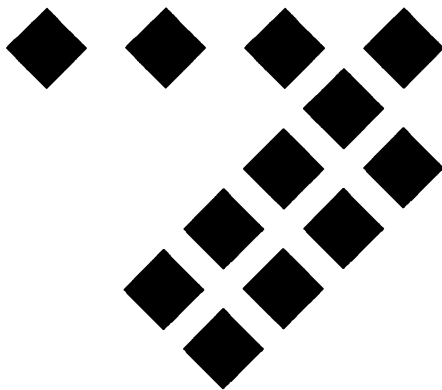
Описание движимого объекта или его частей требует ориентира, исходящего из объекта: определенной системы координат, которая бы-ла бы насажена на некий заметный объект, что позволяло бы определять

расположение частей этого объекта или других объектов по отношению к его верхней части, основанию, передней стороне и боковым сторонам. Подобный подход тоже имеет свои достоинства и недостатки. Хотя такой объектоцентрический (то есть нацеленный на объект) ориентир полезен, когда нужно распознавать формы или следить за расположением объектов, он сталкивается с трудностями, если требуется последовательно разграничивать два горизонтальных направления. У некоторых предметов есть естественная передняя и задняя стороны (например, у велосипеда, телевизора, холодильника), но у многих других этого нет (например, у дерева или торшера). Хуже того, за исключением немногих созданных руками человека форм, таких как автомобиль или буквы, почти ни один предмет на свете не имеет последовательно различаемой левой и правой стороны. Фотографии часто публикуются в зеркально перевернутом виде, и никто этого не замечает, а в 2000 г. Почтовая служба США по оплошности выпустила почтовую марку, на которой Большой Каньон был изображен так, как если бы это было его отражение в зеркале. В отличие от предыдущего скандала с той же маркой (тогда, согласно надписи на марке, это чудо природы располагалось в штате Колорадо, а не в Аризоне, и эта географическая ошибка привела к изъятию из обращения ста миллионов марок) новая ошибка, как посчитали в почтовом ведомстве, ничего не изменит в том, как марка выглядит для людей, и поэтому изображение на марке так и осталось не исправленным^[105].

Теперь мы подошли к третьему типу системы координат — к эгоцентрическому ориентиру, когда люди как бы мысленно распинают себя на осях, определяющих верх и низ, переднюю и заднюю часть и левую и правую стороны по отношению к их собственному телу, которое, что очень удобно, они всегда носят с собой. Одна из проблем, связанных с эгоцентрическим ориентиром, заключается в том, что люди все-таки перемещаются, поэтому данный подход оказывается бесполезным, когда приходится определять местонахождение предметов, не прикрепленных к человеку, если, конечно, человек не согласится стоять в определенном месте, повернувшись лицом в определенном направлении. Другая проблема состоит в том, что человеческое тело и мозг в значительной степени устроены симметрично, вследствие чего нам чертовски трудно различать левую и правую стороны. Дети часто пишут буквы перевернутыми задом наперед и с трудом запоминают, какой ботинок надо надевать на какую ногу. Что касается взрослых, то они могут, например, неправильно указать, в какую сторону смотрит Линкольн, отчеканенный на монетке в один цент, или куда обращена лицом — влево или вправо — женщина на картине «Портрет матери» Джеймса Уистлера^[106].

Исследователи пространственного мышления считают, что люди (и многие другие животные) рождаются, обладая способностью ис-

пользовать все три типа ориентирования, в зависимости от стоящей перед ними задачи и обстоятельств. Приведу простой пример, когда мы можем почувствовать, что колеблемся между эгоцентрическим и объектоцентрическим подходами, — когда, например, перед нами некая форма, которую мы воспринимаем то как вертикальный ромб, то как наклоненный квадрат^[107]. Впечатляющей иллюстрацией этого является приводимое ниже изображение, предложенное психологом Фредом Эттнивом, где крайнюю верхнюю фигуру справа можно представить себе либо как ромб, либо как квадрат, в зависимости от того, с каким рядом форм — горизонтальным или диагональным — мы ее в мозгу объединяем и, следовательно, на какую ось — горизонтальную или диагональную — насаживаем^[108].



Наше мастерство в членении зрительно воспринимаемого мира находит отражение в многочисленных словах, существующих в языке. Многие английские пространственные термины, такие как *front* ‘передняя сторона’ и *right* ‘правый’, могут быть использованы и как эгоцентрические (*to the right of the bicycle* ‘справа от велосипеда’) или как ориентированные на предмет (*the bicycle’s right pedal* ‘правая педаль велосипеда’). В английском языке существует также группа геоцентрических терминов. В нее входят не только слова, обозначающие направления по компасу, но также слова типа *uphill* ‘в гору’, *downhill* ‘под гору’, *seaward* ‘к морю’ и *shoreward* ‘к берегу’ и словосочетания типа *toward the lake* ‘по направлению к озеру’ и *from the hills* ‘с гор’. Психолингвист Лайла Глайтман рассказывает своим слушателям о некоем острове, обитатели которого, подобно индейцам майя, определяют расположение многих мест и направлений с помощью геоцентрических терминов. Этот остров — Манхэттен, а термины — это, например, *uptown* ‘в верхней части города (то есть в спальном его части)’, *downtown* ‘в нижней части города (в деловой его части)’ и *crosstown* ‘поперек главных авеню и транспорт-

ных линий'. Аналогичным образом, в Бостоне в системе метрополитена направления определяются терминами *inbound* 'к центру' и *outbound* 'от центра'.

Учитывая, что все три типа ориентиров полезны и что каждый из них восполняет недостатки других, было бы удивительно, если бы у какого-то народа отсутствовала способность использовать какой-либо один из них просто в силу неудачного стечения обстоятельств в истории его языка. И действительно, уже самый факт того, что в английском языке, как и в языке цельталь, существуют геоцентрические термины, которые говорящие на соответствующих языках прекрасно понимают, выбивает почву из-под ног у тех, кто пытается интерпретировать в духе радикального варианта гипотезы Уорфа те различия, которые были обнаружены между индейцами майя и американцами в размещении игрушек на столе. Говорящие по-английски, конечно же, способны использовать геоцентрические координаты, и многие из них делают это без всяких усилий. Я знаю нескольких американцев, которые могут указать на север в комнате, где нет окон, с помощью навигационного счисления, а однажды, когда ремонтировали мой дом, я слышал, как подрядчик говорил о каждой принадлежности дома, даже самой маленькой, в терминах севера, юга, востока и запада (что легко было определить благодаря идущей с севера на юг и видимой из окон береговой линии). Или, например, когда я был в университете Южной Юты, расположенном между двумя параллельными горными цепями на типичной для американского Запада территории с бассейнами рек и возвышенностями, я узнал, что преподаватели и студенты-старшекурсники указывают на расположение зданий университета с помощью направлений по компасу (северо-восточный холл, южная лекционная аудитория), чем приводят в замешательство новичков-первокурсников. Таким образом, даже в среде говорящих по-английски могут употребляться геоцентрические термины, если на местности имеются бросающиеся в глаза ориентиры. Следовательно, наличие в английском языке слов *left* 'левый' и *right* 'правый' и отсутствие таких обозначений, как «вверх-по-склону» или «по-ту-сторону-склона», отнюдь не приводит к «реструктуризации» сознания носителей английского языка; в условиях, когда это оказывается полезно, они проявляют свою способность определять местонахождение объектов геоцентрически.

А что можно сказать о говорящих на языке цельталь? Психолингвисты Пегги Ли, Линда Абарбанелл и Анна Папафрагоу провели серию экспериментов, чтобы выяснить, действительно ли отсутствие слов «левый» и «правый» и существование терминов типа «вверх-по-склону» реструктурируют мышление индейцев цельталь, делая их неспособными определять местонахождение предметов посредством эгоцентрических терминов^[109]. Они завязывали индейцам глаза, поворачивали их вместе со стулом, на котором те сидели, вокруг своей оси и просили найти

монетку, спрятанную в одной из двух коробок. В одном эксперименте обе коробки находились на полу, и таким образом их положение с точки зрения геоцентрического ориентира было постоянным. В другом эксперименте каждая коробка была помещена на конце перекидываемой, прикрепленной к стулу сбоку, и поворачивалась вместе со стулом, и таким образом расположение коробок было постоянным с точки зрения эгоцентрического ориентира. Индейцы майя справились с заданием в обоих случаях — точнее говоря, они были даже чуть-чуть более успешными при нахождении монетки, которая вращалась вместе с ними, то есть когда нужно было прибегнуть к эгоцентрическому ориентире, и это, казалось бы, вопреки своему языку. Иначе говоря, индейцы цельгаль **могут** использовать эгоцентрический подход, когда этого требует ситуация, совершенно так же, как говорящие на английском языке могут применять геоцентрические ориентиры.

В первоначальных экспериментах Левинсона говорящие по-английски и говорящие на языке цельгаль действительно вели себя по-разному, когда их поворачивали на 180 градусов и предлагали разложить игрушки на втором столе. Однако, как мы видели, это был некорректный тест, не имевший однозначного правильного ответа: «сделайте это так же» могло означать «так же» по отношению к телу испытуемого **или** это могло означать «так же» по отношению к окружающему миру — экспериментаторы не удосужились объяснить испытуемым, что они имели в виду (поскольку, конечно же, они не имели в виду ни того, ни другого). Если воздействие языка на мышление заключается просто в том, что выбор говорящего склоняется в ту или иную сторону, как при игре в орлянку, тогда различие легко устранить или по крайней мере значительно сократить, подсказав тестируемому, какой выбор более разумен при тех или иных обстоятельствах. Ли, Абарбанелл и Папафрагоу продемонстрировали, что, когда того требовала ситуация, говорящие на языке цельгаль могли реально выбрать и тот и другой подход. Их можно было научить, посмотрев на предметы на одном столе, воспроизвести их расположение на втором столе, **либо** сохраняя ориентацию «север—юг», **либо** сохраняя ориентацию «слева—направо». В сотрудничестве с психологами Лайлой Глайтман и Рэнди Галлистедем названные выше три исследователя с помощью простых приемов превратили американцев в индейцев майя — они тестировали их вне помещения (что сделало местность более разнообразной), прикрепляли к одному концу стола в качестве ориентира игрушечный прудик с утками и не поворачивали испытуемых к другому столу, находившемуся у них за спиной, а переводили их к другому концу того же стола^[110].

Третий удар по лингвистическому детерминизму, после неудач с обозначениями снега в эскимосском языке и выражением числа в языке пираха, был нанесен тестом, позволившим разграничить каузацию и корреляцию. Даже в том случае, когда мы признаем, что

между говорящими на языке цельталь и говорящими по-английски существует различие, а именно, что индейцы цельталь более склонны использовать геоцентрический ориентир при размещении игрушек на поверхности стола, это различие можно констатировать двояко.

1. Индейцы цельталь обычно определяют направление по отношению к топографическим особенностям местности, и это находит отражение в их языке (интерпретация не в русле гипотезы Уорфа).
2. В языке цельталь существуют обозначения направлений относительно топографии местности, и это вынуждает говорящих на языке цельталь определять направления именно таким образом (интерпретация в духе гипотезы Уорфа).

Как решить, какая из этих интерпретаций верна? Можно поискать, не существует ли каких-либо особенностей окружающей среды или образа жизни говорящих на языке цельталь, которые побуждали бы их обращать больше внимания на север и юг, на левую и правую стороны, безотносительно к языку. Оказывается, существует не одна такая особенность, а множество. В отличие от учащихся колледжа в Соединенных Штатах и Нидерландах, индейцы цельталь живут всю свою жизнь в тени большого горного склона. Они занимаются сельским хозяйством и значительную часть времени проводят на открытом воздухе вне дома, причем многие из них каждые полгода совершают нелегкие переходы вверх по склону между своими земельными участками в горных районах и на равнине^[111]. И они редко покидают пределы своей территории. Все эти особенности их образа жизни делают природные характеристики местности гораздо более важными для их сознания, чем для часто меняющих место жительства и обитающих в закрытых помещениях американцев и нидерландцев. С другой стороны, жители западных стран проводят значительно большую часть своей жизни в чтении, что погружает их в мир текста, в котором очень существенно направление слева-направо. (Почтовая служба США никогда не потерпела бы марку с перевернутым, как в зеркале, отражением отрывка текста — скажем, знака HOLLYWOOD.) Таким образом, есть множество оснований ожидать, даже не взглянув на языки, что индейцы майя будут больше полагаться на топографию местности, а американцы и нидерландцы — на левую и правую стороны относительно тела человека^[112].

Спор был окончательно решен исследователями Ли, Абарбанелл, Глайтман и их коллегами, которые обратили внимание на то, что другое племя индейцев майя, живущее в районе Чиapas, говорит на языке цоцил, использующем для указания на соответствующие направления слова со значением «левый» и «правый». Тем не менее в других отношениях их культура была сходна с культурой индейцев цельталь^[113].

И конечно же, говорящие на языке цоцил размещали игрушки совершенно так же, как говорящие на языке цельталь. И снова мы видим, что именно культура и окружающая среда, а не язык, приводят к различиям в том, насколько свободно та или иная способность мозга используется на практике.

Таким образом, данные новых исследований, привлеченные для поддержки лингвистического детерминизма, согласуются только с умеренными вариантами гипотезы Уорфа, которые признают, что говорящие на разных языках обнаруживают разные тенденции при выполнении путаных заданий, но отнюдь не то, что их мозг по-разному структурирован. Но даже эти различия, возможно, были обусловлены не их языками, а особенностями их культуры и окружающей среды, получившими отражение в их языке.

Причина, побудившая меня столь тщательно, пункт за пунктом, рассмотреть наиболее важные заявления сторонников идей Уорфа, сделанные в последние годы, — это совсем не желание поупражняться в искусстве развенчания. Я сделал это отчасти для того, чтобы показать, как можно с научных позиций подойти к извечно волнующему людей вопросу о языке и мышлении, но также и потому, что это дает возможность заглянуть в способность мозга мыслить о предметах, числах и трехмерном пространстве. Вместе с тем я хотел бы еще раз подчеркнуть основную идею этой книги: язык — это окно в природу человека, позволяющее увидеть глубинные и универсальные свойства наших мыслей и чувств; мысли и чувства нельзя отождествлять с самими словами как таковыми. Позвольте мне теперь завершить данную главу некоторыми позитивными утверждениями о языке и мышлении как части более широкой картины того, как работает мозг, а также обобщающим обзором нашей позиции по отношению к трем рассмотренным радикальным теориям.

Одной из причин, почему язык, на котором мы говорим, не может играть **слишком уж** определяющую роль для функционирования нашего мышления, является, во-первых, то, что язык нам приходится для начала усваивать. Нетрудно представить себе, как может происходить усвоение языка детьми в ситуации, когда дети способны осмыслить некоторые события и понятия вокруг них и попытаться наложить их на звуки, произносимые их родителями ^[114]. Но как мог бы нерасчлененный поток звуков вызвать из ничего, как будто путем заклинаний, понятия в мозгу ребенка, остается тайной, покрытой мраком. Неудивительно, что изучение мозга детей, еще не научившихся говорить, показало, тем не менее, что они восприимчивы к причинно-следственной связи, к человеческому фактору, к пространственным отношениям и другим понятиям, составляющим ядро концептуальной структуры человека ^[115].

Нам также известно, что понятия хранятся в памяти человека в форме, гораздо более абстрактной, чем предложения. Одно из главных открытий в изучении памяти заключается в том, что люди плохо помнят конкретные предложения, из которых они почерпнули свои знания. Такая амнезия **формы** не мешает, однако, людям запоминать **суть** того, что они услышали или прочитали ^[116]. В одном классическом эксперименте испытуемым предъявляли ряды определенным образом связанных между собой предложений, например, The tree was in the front yard *‘Дерево росло во дворе перед домом’*, The ants ate the jelly *‘Муравьи ели желе’*, The tree shaded the man *‘Дерево заслоняло мужчину’*, The jelly was sweet *‘Желе было сладким’*, The jelly was on the table *‘Желе было на столе’* и т. д. Через короткое время им давали список предложений и просили отметить галочкой те предложения, которые они уже видели. В тех случаях, когда эти предложения согласовывались с совокупностью значений первоначальных предложений, например, The ants ate the sweet jelly *‘Муравьи ели сладкое желе’* или The tree in the front yard shaded the man *‘Дерево, росшее во дворе перед домом, заслоняло мужчину’*, испытуемые уверяли, что уже встречали эти предложения раньше, причем делали это даже с большей убежденностью, чем в отношении предложений, которые они **действительно** видели ^[117]. Это указывает на то, что отрезки языка обычно отбрасываются, прежде чем они достигнут памяти, и что в памяти складываются именно их значения, объединенные в некую обширную базу данных концептуальной структуры.

Вторая известная нам причина, по которой язык не может обусловливать мышление, состоит в том, что в случае если язык не отвечает концептуальным потребностям говорящих на нем людей, те недолго чешут себе затылок в растерянности (по крайней мере не слишком долго); они просто изменяют язык. Они обогащают его за счет метафор и метонимий, заимствуют слова и словосочетания из других языков или создают новый сленг и жаргон. (А если подумать, как еще это могло быть? Если людям трудно думать без языка, откуда же мог появиться их язык — не от комитета же марсиан?!) Непрерывное изменение — великое достояние языка, и это совсем не то, что можно было бы ожидать, если бы язык был «темницей для мышления». Вот почему лингвисты только разводят руками, когда слышат распространенные утверждения, например, о том, что немецкий язык — это оптимальный язык для науки, что только на французском языке возможно истинно логическое выражение и что языки туземных народов для современного мира являются неадекватными. Как сказал об этом лингвист Рэй Харлоу, это все равно, что утверждать: «Раз о компьютерах не говорили на древнеанглийском языке, следовательно, о них нельзя говорить и на современном английском» ^[118].

Однако, вероятно, самая серьезная причина, по которой воздействие языка на мышление может быть только ограниченным, заклю-



чается в том, что язык как таковой очень слабо приспособлен для того, чтобы служить средой мышления. Язык годится для использования только при поддержке огромной инфраструктуры абстрактного вычислительного механизма в мозге человека. Так, наши предложения не только перегружены информацией, ориентированной на аудио-акустическое общение, — например, звуки речи, последовательность слов во времени, а также многие средства, используемые для привлечения внимания слушателя, — но язык не содержит в себе информации, важной для построения четких умозаключений.^[119] Наиболее очевидный недостаток языка — полисемия. Любой человек, способный думать, находясь в здравом уме, может отличить отверстие в стене от застекленной рамы (window), лист бумаги от информационного агентства (newspaper), процесс сборки, длящийся десять месяцев, от здания, возвышающегося в небо на десять этажей (construction), или вид животных от одной живой твари во плоти (monkey). (Специалисты по экспериментальной психологии могут протестировать все, что угодно, и они действительно показали, что люди не смешивают значения многозначного слова^[120].) Но именно это вынужден был бы делать думающий человек, если бы в качестве внутренней среды мышления использовались обычные слова английского языка. Некорректно здесь было бы апеллировать к способности мозга разрешать полисемию в контексте, потому что речь идет о той самой части мозга, которая осуществляет устранение полисемии, и получалось бы, что эта же часть мозга должна разграничивать категории, которые совмещены в слове.

В этом отношении каждая из рассмотренных нами радикальных теорий языка и мышления опровергает одну из остальных, как в игре «камень—ножницы—бумага». Так, различия, существующие между языками, предмет гордости для лингвистического детерминизма, представляют собой источник неприятностей для экстремального нативизма, который полагает, что понятия являются врожденными и, следовательно, универсальными. Утверждение о том, что значения слов обладают точностью, которое экстремальный нативизм использует, чтобы подвергнуть сомнению словарные дефиниции, бросает тень на радикальную прагматику, согласно которой наше знание слова в высшей степени неустойчиво и изменчиво. А полисемия, которая была таким мощным аргументом в теории радикальной прагматики, оказалась серьезным препятствием для лингвистического детерминизма, показав, что мысли — явление гораздо более тонко устроенное, чем слова.

Теория концептуальной семантики, которая исходит из того, что значения слов репрезентированы в мозгу людей в виде выражений на более богатом и более абстрактном языке мышления, находится в центре этого круга и способна дать ответ на все указанные выше трудные вопросы. Значения слов могут варьироваться от языка к языку, потому что дети собирают значения из более элементарных понятий и регули-

руют их определенным образом. Значения слов могут быть точными, потому что понятия концентрируются на каких-то одних аспектах действительности и отбрасывают остальные. И кроме того, значения слов могут оказывать поддержку мышлению, потому что они репрезентируют подчиняющиеся законам природы аспекты действительности — пространство, время, причинно-следственную связь, понятия и логическое мышление — а не систему звуков, возникшую в обществе и позволяющую людям общаться. Концептуальная семантика также соответствует нашему основанному на здравом смысле представлению о том, что слова — не то же самое, что понятия, и, по правде говоря, значительная часть человеческой мудрости заключается в том, чтобы не смешивать одно с другим. Как писал Гоббс, *Words are wise men's counters; they do but reckon by them; but they are the money of fools* 'Слова — это фишки для мудрых людей; они только рассуждают с их помощью; но для глупцов это деньги'. Аналогичную ассоциацию мы встречаем в написанном столетия спустя стихотворении английского поэта Зигфрида Сэссона:

Words are fools
Who follow blindly, once they get a lead.
But thoughts are kingfishers that haunt the pools
Of quiet; seldom seen...

*Слова — это глупцы,
Которые слепо следуют, как только им указали, куда идти.
Но мысли — это зимородки, обитающие у заводей
Безмолвия; их редко видно...^[121]*



С того случая, когда я несколько лет назад чуть не опоздал на рейс, потому что не зазвонил будильник, я теперь в ночь перед полетом завожу два будильника — один на моем карманном компьютере, а другой на радиочасах в моей спальне или в гостиной. Поскольку мелодия наладонника кажется мне менее резкой и будит более мягко, чем сигнал радиобудильника, я устанавливаю время на нем на минуту раньше, чем на будильнике. Таким образом, на протяжении многих лет по утрам я слышу, как за мелодией наладонника через несколько секунд следует трубный глас будильника. И в соответствии с широко известной теорией восприятия причинно-следственных связей, которую связывают обычно с именем философа Дэвида Юма, я должен был бы считать, что мелодия наладонника является **причиной** рёва будильника^[1].

Разумеется, ничего подобного я не думаю. Будильник производит звуки потому (и я в этом твердо уверен), что, перед тем как идти спать, я нажал на нем некоторые кнопки. И я не сомневаюсь в этом несмотря на то, что разрыв во времени между причиной и следствием может быть от трех до восьми часов, и несмотря на то, что будильник не всегда срабатывает (поскольку слишком многое в устройстве цифрового будильника может оказаться неисправным), и несмотря на то, что я имею лишь самое смутное представление о том, как работают цифровые часы (я думаю, что это как-то связано с зарядами в кремниевых чипах — микросхемах).

И тем не менее, несмотря на отдаленную связь между нажатыми мной кнопками и ревающим будильником (и более непосредственную связь между мелодией карманного компьютера и звонком будильника),

моя уверенность относительно истинной причины остается непоколебимой. Вот почему, когда будильник не срабатывает, я не трясу карманный компьютер и не поднимаю его к свету, а начинаю вспоминать, что я делал с будильником прошлым вечером. Может быть, я неточно установил время на будильнике (не заметил знака р. т. *'после полудня'*, перепутал сигналы двух будильников, настроил будильник на музыку, но оставил индикатор частоты на радио между станциями и т. п.). А возможно, дизайнеры часов были недостаточно опытные и не сумели создать прибор, который был бы способен привести в действие средний обыватель. А может, какая-то часть часового механизма — провод или микросхема внутри него — сгорели. Или вдруг механизм часов пришел в негодность под воздействием космических лучей, или гремлинов, или из-за того что луна взошла в созвездии Стрельца, в Сигиттариусе. Но, как бы то ни было, я совершенно уверен, — то, что происходит с часами, имеет **какое-то** разумное объяснение, и его следует искать не в предшествующих событиях, но в некоей силе или механизме, которые способны послужить для этого причиной.

Люди считают, что мир имеет причинно-следственную текстуру, что происходящие в нем события можно объяснить, исходя из самой природы мира, а не тем, что одно явление просто следует за другим. Они также полагают, что явления располагаются во времени и в пространстве. Как гласит граффити, *Time is nature's way to keep everything from happening at once* *'Время — это способ, с помощью которого природа не допускает, чтобы все случилось одновременно'*, а *Space is nature's way to keep everything from happening to me* *'Пространство — это способ, с помощью которого природа не допускает, чтобы все случилось со мной'*^[2]. Однако в мышлении людей время и пространство играют гораздо более важную роль. Они, по-видимому, существуют даже тогда, когда нет событий, которые нужно разделить; это некоторая **среда** (*medium*) — среда времени и среда пространства, — в которой находятся предметы и события, данные нам в опыте, и не только реальные предметы и события, но и плоды нашего воображения.

Человеческое воображение — удивительный выдумщик. Мы можем зрительно представить себе единорогов и центавров, людей, способных бежать быстрее летящей пули, и братство всех людей на земле. Но есть много вещей, которые мы не можем себе представить, по крайней мере в форме ментального образа^[3]. Например, невозможно зрительно представить себе яблоко, лежащее рядом с лимоном, так чтобы ни одно из них не оказалось справа от другого, а было бы просто «рядом» с другим (хотя, разумеется, мы можем **говорить** о таком расположении, как это только что сделал я). И, как сказала Алиса по поводу Чеширского кота (что она, мол, часто видела котов без улыбки, но никогда не видела улыбку без кота), мы не можем вообразить предмет, который был бы симметричным или треугольным,

но не имел бы какой-то еще конкретной формы (в случае треугольника не был бы еще равносторонним, или равнобедренным, или неравносторонним) [4]. Нам известно, что слоны обычно бывают большими и серыми, что они занимают много места и в каждый конкретный момент где-то находятся. Но хотя вполне возможно представить себе слона, который не был бы ни большим, ни серым, невозможно вообразить слона, который не занимал бы много места и не находился бы где-то (даже если слон проносится как некое видение в воображении человека, он все равно в каждый момент где-то находится) [5]. В одной старой шутке туристу, который спрашивает о дороге у местного жителя, тот говорит: *You can't get there from here* '*Вы не можете попасть туда отсюда*'. Нам смешно, потому что мы знаем — природа пространства такова, что все места в нем связаны. И, как заметил специалист по когнитивной психологии Роджер Шепард, люди часто хотят иметь для офиса более просторное помещение, где было бы больше мест, куда поставить книги. Но они никогда не высказывают желания иметь офис с большим числом **измерений**, чтобы у них было больше способов **расположить** книги. Непрерывное трехмерное пространство постоянно присутствует в нашем мозгу как некая матрица, в которой размещаются объекты нашего воображения.

Наше воображение обречено также жить в мире времени. Подобно тому, как мы можем представить себе пустое пространство, лишённое объектов, но не можем вообразить ряд предметов, которые не были бы локализованы в пространстве, точно так же мы можем представить себе отрезок времени, в течение которого ничего не происходит, но не можем вообразить событие, которое не развертывалось бы во времени или не происходило бы в определенное время. Мы можем вообразить время, которое замедляет или ускоряет свой ход, идет в обратном направлении или останавливается совсем, но мы не можем вообразить время, имеющее два или три измерения. По существу, неясно даже, действительно ли мы воображаем время, замедляющее свое движение или прекращающее его совсем, или же мы **моделируем** эти возможности, воображая предметы, движущиеся с половинной скоростью или останавливающиеся, как в стоп-кадре, тогда как время идет вперед как обычно.

Хотелось бы, конечно, знать, объясняются ли эти особенности нашего опыта устройством мозга человека или свойствами воспринимаемой нами вселенной. В конце концов, мир существует в трех измерениях, разворачивается во времени и подчиняется законам причинности (по крайней мере на уровне, доступном нашим органам чувств), и, возможно, мышление просто отражает то, что можно наблюдать в окружающем мире. Однако между тем, как пространство, время и причинно-следственная связь представлены в нашем мозгу, и тем, как они существуют в реальности, имеется принципиальное различие. Наши интуитивные представления об этих сущностях постоянно под-

вергаются испытанию, сталкиваясь с различными парадоксами и непредвиденными обстоятельствами. Однако парадоксы и случайности не могут подорвать **реальность**; реальность просто **есть**.

Возьмем пространство. Оно должно быть либо конечным, либо бесконечным, но ни первая, ни вторая возможность не согласуется полностью с нашими интуитивными представлениями. Когда я пытаюсь вообразить конечную вселенную, я вспоминаю Марсея Марсо, мимически изображающего, как он руками ощупывает невидимую стену. Или же после того, как я прочитал в книгах по физике о многочисленных мирах, я вижу муравьев, ползающих по поверхности сферы, или людей, заключенных, как в западне, в громадном подземном туннеле и даже не подозревающих об огромном пространстве вокруг них. Но во всех этих случаях некий замкнутый мир неизменно оказывается помещенным в более обширное пространство, которого там вообще не должно было быть, но в которое мое воображение украдкой заглядывает, будучи не в силах удержаться.

Бесконечная вселенная может показаться более благоприятной, поскольку тогда воображение может лететь сквозь пространство сколько угодно долго, и при этом в критический момент всегда материализуются все новые пространства. Но и у бесконечного пространства тоже имеются вызывающие тревогу последствия. Содержит ли в себе бесконечная масса пространства бесконечную массу материи? Это не просто возможно, но вполне вероятно; физики недавно обнаружили, что в крупных масштабах материя распределяется по наблюдаемому пространству равномерно^[6]. А это указывает на возможность того, что бесконечное пространство усеяно бесконечным количеством миров. Поскольку же некая данная система элементарных частиц может иметь только конечное число состояний и положений, в данном объеме существует только конечное число возможных упорядочений материи. В сочетании с теорией о равномерном распределении материи в пространстве это может означать, что существует только определенное количество возможных миров, а это, в свою очередь, означает, что в бесконечном мильтиверсуме миры будут повторяться. Но если так, тогда на расстоянии от 10 до 10^{28} метров от вас существует ваша, читатель, точная копия, которая читает точную копию той книги, которую сейчас читаете вы, а где-то еще ваш двойник решил отложить книгу, а в еще одном мире имеется некто по фамилии Мюррей, а в каком-то еще другом мире есть еще один ваш двойник, у которого во все стороны торчат волосы, — по существу, таким образом, речь идет о бесконечном числе двойников, пребывающих в своих мирах-двойниках. Это, по-видимому, слишком трудно переварить, тем не менее именно такой вывод следует, казалось бы, из невинного интуитивного представления о том, что пространство и материя существуют извечно.

И время тоже не желает быть ни конечным, ни бесконечным. Трудно представить себе, что время возникло вместе с Большим взрывом, хотя мы и склонны хитрить и воображать некое пустое перво-зданное пространство, в котором лежит небольшая космическая бомба с часовым механизмом, готовая взорваться. Не можем мы вообразить и пустое время, которое простиралось бы перед этим в прошлое до бесконечности. В самом лучшем случае, мы можем отмотать пустую и беззвучную пленку с видеокассеты, дать ей заиграть на мгновение, затем снова отмотать немного и так далее, так никогда в действительности и не охватив бесконечность прошлого. Не можем мы также понять, что значило бы время при отсутствии материи и энергии. Ничто в этой абсолютной пустоте не могло бы отличить одно мгновение от следующего, и поэтому у нас не было бы возможности понять, почему Большой взрыв произошел именно в тот момент когда он произошел, а не на несколько триллионов лет раньше или позже или вообще никогда. Не говоря уже о такой неприятной возможности, как та, что если время существует извечно, тогда любое возможное событие, которое когда-либо имело место, может повториться вновь и вновь бесконечное количество раз — такая вот космическая версия фильма «День сурка»¹⁾.

Аналогично пространству и времени, причинно-следственная решетка, которая, как мы это себе представляем, связывает между собой все события, также не выдерживает слишком пристального критического рассмотрения. Я завел будильник, сделал так, чтобы он позже зазвонил. Но кто завел **меня**, побудив меня завести будильник? С одной стороны, я могу вообразить себя грудой часовых механизмов, потому что нервные волокна в моем мозгу воздействуют друг на друга, подобно крошечным шестеренкам и пружинкам. Вместе с тем, когда я принимаю решение без всякого принуждения, у меня несомненно есть ощущение, что я делаю свой выбор самостоятельно, а не являюсь беспомощным вместилищем цепи каких-то механизмов. И никакой наблюдатель не может предсказать ничего, кроме самых тривиальных моих поступков. С другой стороны, я не могу понять, что такое свободная воля, которая вдруг таинственно проявляется и совершает действия без всякого предварительного стимула или побуждения. Как действует свободная воля? Если она по-настоящему произвольна, то как получается, что она принимает решения, разумные в данной ситуации? И как можно возлагать на нее ответственность за принятые решения, если все происходит случайно? И если благодаря свободной воле делается выбор, который действительно соответствует ситуации, включая наши непредсказуемые каноны морального одобрения и порицания, тогда в каком же смысле это свободная воля?

¹⁾ В американской фантастической комедии 1993 г. человек попадает в «петлю времени», застряв в Дне сурка — для него бесконечно повторяется день 2 февраля и никак не наступает 3 февраля и следующие дни. — *Прим. перев.*

Пространство, время, причинность. Мы не можем без них мыслить, и тем не менее мы не можем их понять. Подобные размышления об инфраструктуре нашего опыта, разумеется, не оригинальны; я заимствовал их (с некоторыми изменениями и добавлениями) у немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804) [7]. По словам Канта, его пробудило от «догматического сна» чтение сочинений Юма, в частности его «Опыта критического анализа причинности». Юм писал, что у людей нет оснований быть уверенными в том, что одно событие в мире должно следовать за другим. Все, что у нас есть, это **ожидание** того, что одно последует за другим, опирающееся на сходный опыт в прошлом. В соответствии с остальной частью своей теории ассоциативной психологии Юм предположил, что интуитивное ощущение причинно-следственной связи — это лишь навык, запечатленный в мозгу, в силу того что мы многократно наблюдали какое-то событие и заметили, что за ним часто следует другое событие. Один из вопросов, который остается без ответа, — почему же тогда те, кто многократно наблюдал, как за звонком одного будильника следует звонок другого будильника, не считают первое событие причиной второго? Однако проблема, которая пробудила Канта к размышлению, заключалась в том, что предположение Юма не может объяснить нашу уверенность в том, что причины и следствия объяснимы действием управляющих нашей вселенной сил, подчиняющихся законам природы. Как сказал об этом в прошлом веке Уильям Джеймс, наблюдатель в эпоху Юма *lived in a world of mere **witness**, of which the parts were only strung together by the conjunction «and» ‘жил в мире простой совместности, части которой были скреплены только союзом «и»* [8].

Г
Л
А
В
А
4

Истинные же наблюдатели, заключает Кант, должны жить в мире материи (*whatness*), пространства (*whereness*), времени (*whenness*) и причинности (*becauseness*), навязанных нам тем способом осмысления мира, который присущ мозгу, такому как наш. Наш опыт разворачивается в среде пространства и времени, которые не **абстрагируются** из нашего чувственного восприятия (подобно тому, как голубь выводит понятие красного цвета, если его научили путем тренировки клевать красную фигуру независимо от ее формы или величины), но изначально организуют наше чувственное восприятие. Люди не просто пассивно воспринимают свои ощущения, но интерпретируют их как случаи проявления общих законов, выраженных в таких понятиях логики и науки, как «и», «или», «нет», «все», «некоторый», «необходимый», «возможный», «причина», «следствие», «субстанция» и «признак» (последние два понятия связаны с понятием материи, с нашей способностью воспринимать тающий кубик льда и лужицу, в которую он превращается, как одно и то же вещество). Эти понятия возникают, по всей вероятности, в силу нашего внутреннего устройства, поскольку ничто в нашем чувственном опыте не заставляет нас мыслить с их помощью.

Так, вы можете сколь угодно долго наблюдать за падающими на землю яблоками, и ничто не заставит вас не просто сидеть сложа руки и наслаждаться зрелищем, похожим на смену узоров в калейдоскопе, а размышлять над тем, что яблоки — это предметы, которые притягиваются к земле силой всеобщего тяготения. Или вы можете смотреть на некую корову до бесконечности — до самого дождчика в четверг; ничто из того, что вы видите, никогда не заставит вас подумать «Это не жираф», или «Все коровы — млекопитающие», или «По крайней мере один из видов животных ест траву», или «У нее наверняка была мать», или «Это вряд ли та корова, которая съела на прошлой неделе».

Хотя пространство, время и причинность (наряду с законами логического мышления и материей) организуют наш мир, парадоксы, которыми заражены эти понятия, — пространство и время не являются ни конечными, ни бесконечными, наш выбор не является ни обусловленным, ни свободным — доказывают, что эти понятия не есть часть саморегулирующегося мира, но принадлежат нашему не-обязательно-последовательному мозгу. Окружающий нас мир, несомненно, **существует**, он воздействует на наши органы чувств, наполняя наш мозг чувственным содержанием и тем самым не давая нашим мыслям превращаться в галлюцинации. Но поскольку мы постигаем мир только через структуры нашего мозга, мы не можем, как писал Кант, понастоящему познать мир в себе. В целом, не такая уж плохая сделка. Хотя мы никогда не сможем постичь мир непосредственно, познать мир вообще без **какой бы то ни было** разновидности разума, по-видимому, невозможно, а тот мозг, которым наделены люди, достаточно хорошо согласуется с миром, что делает возможной науку. Ньютон, например, писал, что в его теории *absolute, true and mathematical time, of itself, and from its own nature flows equally without relation to anything* *‘абсолютное, истинное и математическое время само по себе и в силу своей собственной природы течет равномерно и без всякой связи с чем-либо’*, и что *absolute space, in its own nature, without relation to anything external, remains always similar and immovable* *‘абсолютное пространство в силу своей собственной природы, без всякой связи с чем-либо внешним, остается всегда подобным себе и неподвижным’*^[9]. В то же время для Канта время и пространство — это подпорки разума при его взаимодействии с действительностью, и бесполезно поэтому пытаться думать без них или в обход их. Он высказывает в наш адрес упрек с помощью некой аналогии: *The light dove, cleaving the air in her free flight, and feeling its resistance, might imagine that its flight would be still easier in empty space* *‘Легкокрылая голубка, рассекая воздух в свободном полете и ощущая сопротивление воздуха, возможно, воображает, что ее полет был бы еще более легким в пустом пространстве’*.

Данная глава посвящена пространству, времени, причинности и материи — как они представлены в языке, в мышлении и в действитель-

ности. Я построил эту главу на основе идей Канта, потому что та понятийная структура, которая, по его убеждению, систематизирует наш опыт, заметна также и в организации языка. Можно, например, вообразить некий гипотетический язык, конструкции которого ориентированы на такие виды чувственного восприятия, как зрение и слух, на главных действующих лиц окружения человека, таких как растения, животные, орудия труда и родственники, или на навязчивые идеи людей, подобные еде, бирже и сексу. Однако реально существующие языки организованы, как представляется, в соответствии с абстрактными категориями Канта. Мы видим их в основных частях речи: материю в существительных, пространство в предлогах, причинность в глаголах, время в глаголах и показателях времени. Мы наблюдали их (в главе 2) в том, как глаголы входят в определенные конструкции, которые ведут себя избирательно и обращают внимание на то, как нечто перемещается, является ли это нечто предметом или веществом, происходило ли событие мгновенно или было длительным, а также кто или что послужило его причиной. Наконец, мы наблюдали их в обыденных метафорах, которыми избобилуют язык и мышление, как, например, когда мы говорим, что цена на газ может rise 'подняться' или fall 'упасть', как будто это воздушный шарик, или когда мы пытаемся считать события, произошедшие 11 сентября, как будто это пачки масла, или когда говорим, что два города 'отстоят друг от друга на час' (are an hour apart), как если бы это были два будильника, или когда мы говорим о некой Соне, что она is forcing Adam to be nice 'заставляет Адама быть приветливым' или даже что она is forcing herself to be nice 'заставляет себя быть приветливой', как если бы она силой пыталась задвинуть переполненный выдвижной ящик. Таким образом, даже когда наши мысли кажутся воспаряющими ввысь, мы обнаруживаем, что они рассекают воздух, получая тягу от невидимых, но тем не менее присутствующих повсеместно понятий пространства, материи, времени и причинности. Чтобы понять природу человека, необходимо рассмотреть эти понятия более внимательно.

Из сказанного мной не следует, что сам Кант может сегодня служить нам надежным советчиком в понимании природы мышления и его отношения к миру. Многие философы в наши дни считают неубедительным то, что Кант отвергает возможность познать мир в себе, а большинство физиков полагает, что он смешивает осмысление времени и пространства мозгом с пониманием времени и пространства в науке^[10]. Вопреки повседневному опыту, самые современные наши физики утверждают, что пространство не является жесткой структурой, как это было у Евклида, но деформируется объектами, что оно может быть искривленным и ограниченным, может быть пронизано черными дырами, а возможно, и пространственно-временными туннелями, имеет одиннадцать или больше измерений и измеряется по-разно-

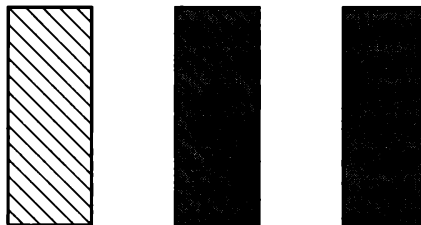
му в зависимости от выбранной системы координат^[11]. Время, по их мнению, не представляет собой непрерывного динамического потока нашего опыта, это четвертое измерение статического пространства-времени или возможное решение некоей игры «соедини точки» в мультиверсуме всех возможных универсумов, где каждый универсум связан с тем, что «следует» за ним, подобно последующему кадру в кинофильме^[12]. Во всех этих случаях наше самое передовое научное понимание времени и пространства кардинально расходится с тенденциями мозга. Многие физики заявляют, что пространства и времени, понимаемых как пустые среды, в которые вставляются предметы и события, не существует вообще, как не существует нечто, называемое «алфавит», сверх и помимо тех двадцати шести букв, которые алфавит составляют^[13].

Кроме того, сочинения Канта, как широко известно, написаны весьма «темным» языком, и даже в наши дни эксперты спорят о том, относились ли утверждения Канта к мозгу *Homo sapiens* или определяли свойства некоего общего познающего разума. Я не могу представить себе, чтобы сказанное Кантом не относилось к мозгу человека по крайней мере имплицитно, во всяком случае исследователь учения Канта Патриция Китчер убеждена, что Кант был не только великим философом, но и устремленным в будущее и наделенным даром предвидения когнитивным психологом^[14]. Однако независимо от того, разделял ли Кант в действительности те идеи, которые в наше время часто ассоциируются с его именем, или же был только вдохновителем подобных идей, по меньшей мере две такие идеи являются бесценными для понимания мозга.

Кант пытался создать некий синтез эмпиризма и рационализма, что в общих чертах оказывается полезным в современном споре о приоритете врожденных или приобретенных факторов в развитии человека. Мозг человека не просто осуществляет связь между чувственными впечатлениями (как думали сторонники эмпиризма во времена Канта и как убеждены представители коннекционизма в наши дни), но он не рождается также и вооруженным реальным знанием содержания мира (как считалось в некоторых вариантах теории рационализма в эпоху Канта и в чем уверены последователи радикального нативизма в наше время). Вклад, который вносит врожденный аппарат нашего мозга, — это совокупность абстрактных концептуальных структур, организующих наш опыт, — пространство, время, материя, причинность, число и логическое мышление (сегодня мы, возможно, добавили бы к ним еще другие сферы — живые существа, иные типы разума и язык). Однако каждое из этих явлений есть не что иное, как пустая форма, которая должна быть заполнена конкретными реализациями, предоставляемыми нам нашими органами чувств и воображением. Как сказал Кант, его трактат *admits absolutely no divinely implanted or innate representations... There must, however, be a ground in the subject which makes it*

possible for these representations to originate in this and no other manner... This ground is at least innate *'не допускает абсолютно никаких божественно внушенных или врожденных представлений'*. Должна, однако, существовать в субъекте некая основа, которая делает возможным появление подобных представлений именно таким, а не иным образом... Эта основа по крайней мере является врожденной'^[15]. Кантианский вариант нативизма, говорящий об абстрактных систематизирующих опыт структурах, но не о реальном знании, встроенном в мозг, является в наши дни наиболее продуктивным, его можно, например, обнаружить в хомскианском направлении в лингвистике, в эволюционной психологии и в том подходе к когнитивному развитию, который получил название проблемно-ориентированного^[16]. Можно было бы, таким образом, взять на себя смелость и сказать, что Кант предвидел путь к разрешению спора о роли наследственных и приобретенных факторов: определите, как упорядочен опыт, что бы под этим ни понималось, и это сделает возможным плодотворное обучение^[17].

Поразительно современным является также определение, которое Кант дал пространству и времени, — это среды, в которых упорядочиваются ощущения. С точки зрения логики визуальное поле можно охарактеризовать как обширную базу данных о пятнышках и черточках, причем каждое новое включение уточняет их цвет, яркость, положение, направленность и глубину. Но с точки зрения психологии положение в пространстве — совершенно иное явление^[18]. Пространство — это отнюдь не одно из нескольких включений в протоколе базы данных объекта, но постоянно присутствующая среда, в которой размещено визуальное содержание. Вспомним эксперименты с мышлением, показавшие, что люди могут представить себе зрительно, — например, туловище лошади с торсом человека, — а чего они визуализировать не могут (например, человека и лошадь, стоящих рядом друг с другом, но так, что никто из них не находится слева от другого)^[19]. Расположение — это не только обязательный атрибут объекта в воображении, но также главный признак, который мозг использует, чтобы индивидуализировать и сосчитать объекты. Так, мы рассматриваем приведенную ниже совокупность как три объекта: один, крайний слева, — полосатый, другой, крайний справа, — серый и третий, посередине между ними, — одновременно и полосатый, и серый:



Теоретически мы могли бы рассматривать эту совокупность как два объекта: один — полосатый, слева и в центре, и второй — серый, в центре и справа. Однако мы не воспринимаем это изображение так, потому что мозг не использует цвет и подобную маркировку поверхности для различения объектов, в отличие от расположения объектов в пространстве. Мы можем сфокусировать прожектор внимания на любом месте в пространстве, даже на пустом его участке, как в случае когда баскетболист, глядя в глаза противника, направляет внутренний прожектор внимания на пустое место на полу, где, как он ожидает, должен появиться его товарищ по команде. Однако, как показывают эксперименты, мы сталкиваемся с гораздо большими трудностями, если настраиваем внимание на все участки определенного цвета или определенной маркировки поверхности, где бы они ни находились^[20]. Об особой организующей функции пространства свидетельствуют даже первичные зоны зрительного восприятия в головном мозгу. Каждый участок коры головного мозга связан с фиксированным местом поля зрения человека, и очертания реального мира репрезентированы как очертания на поверхности мозга, по крайней мере в значительной степени^[21]. Время также присутствует в мозге не только как некий привычный атрибут опыта. Исследователи мозга обнаружили, что биологические часы существуют в мозгу даже таких простых организмов, как плодовые мухи дрозофилы. И подобно тому, как мы видим материю, связанную в пространстве в виде объекта, мы видим материю, которая связана во времени в виде движения, например как траектория перемещения или жест или, в случае звука, как мелодия или отрезок речи^[22].

Таким образом, в восприятии и воображении человека существует определенная модель пространства и времени, а в реальности существуют различные модели пространства и времени (как об этом свидетельствует самая передовая физика). Однако, как мы увидим в дальнейшем изложении в данной главе, модель пространства и времени, выраженная в языке, не похожа ни на одну из них. Для начала язык — это не аналоговая среда, но цифровая. Хотя мы воспринимаем пространство как непрерывное и трехмерное, а время — как непрерывное и неумолимо текущее, в выражении пространства и времени в языке нет ничего ни трехмерного, ни текущего — они выражаются прерывистыми последовательностями звуков. Предваряя простейшие примеры, которые нам встретятся дальше, укажем, что объекты располагаются неар ‘вблизи’ или far ‘вдали’, события происходят в прошедшем времени или в настоящем времени, и при этом ничто не указывает на точные измерения, скажем, с помощью рулетки или секундомера с остановом. Кроме того, семантика языка выбирает отдельные, абстрагированные от конкретного воплощения аспекты действительности, сочетает их и комментирует. Так я смог описать словами расположения объектов, которые невозможно представить себе зрительно, используя такие вы-

ражения, как next to 'рядом с' и symmetrical 'симметричный', которые ничего не говорят о том, как точно материя заполняет пространство. Я в состоянии также описать событие, ничего не сообщая о моменте времени его совершения, используя словосочетание, где время не выражено, типа for Bill to leave 'Биллу уйти'. Избирательность семантики языка позволяет нашему мозгу справляться с миром абстрактных понятий, которые не закреплены в чувственно воспринимаемых средах пространства и времени, организующих наш непосредственный опыт. Вероятно, именно эта пластичность мысли и позволяет современным ученым и математикам описывать пространство и время способами, которые абсолютно не соответствуют интуиции людей.

Как мы увидим, модели пространства и времени (а также материи и причинности), запечатленные в языке, чужды физике и логике — базисным данным, которые философы и психологи обычно используют для оценки нашей мыслительной деятельности. Наши когнитивные модели не являются также показаниями, полученными от наших органов чувств или от нервных часовых механизмов. Однако они **представляют собой** данные, считанные с основных аспектов природы человека. Каждая из этих моделей осмысления отвечает отчетливо человеческим целям, и они позволяют нам членить материю, пространство, время и причинно-следственные связи так, как это важно в первую очередь для реализации целей человека в природе и обществе. Хотя Кант не предвидел того, что наши фундаментальные категории разума могут быть деформированы в результате того, что они возникли, как он выразился, in the crooked timber of humanity 'в кривом лесу человечества', специфически человеческие варианты этих категорий организуют жизнь людей так, что это имеет далеко идущие последствия. Они определяют типы сущностей, которым мы ведем счет и за которыми следим, ряды, по которым мы распределяем людей и предметы, то, как мы используем в своих интересах окружающую природу и как приписываем моральную ответственность людям за их действия. По этим причинам эксцентричные понятия материи, пространства, времени и причинности, с помощью которых мы рассекаем воздух, стимулируют не только наше абстрактное мышление, но и повседневный ход нашей жизни — нашу торговлю, политику, юридические диспуты и даже наш юмор.

Измельчение, расфасовка, приклеивание ярлыков: мысли о материи

Пространство, время и причинность, хотя они и играют важную роль, связывая наши мысли друг с другом, тем не менее представляют собой абстрактные структуры, над которыми редко кто-либо специально задумывается, кроме разве что философов и физиков. Мы

же осознанно размышляем над реальными сущностями, живущими в пространстве и времени и влияющими друг на друга. И самые базовые сущности в наших мыслях обозначаются существительными — это наши понятия о людях, предметах и веществах. Существительные — это такие слова, которые легче всего идентифицируются в самых разных языках, а также это первые слова, которые обычно усваивают дети; они являются названиями наиболее устойчивых и лучше всего понимаемых человеческих понятий^[23]. Но несмотря на всю кажущуюся простоту существительных, рассмотрение их значений влечет нас вниз по еще одной кроличьей норе. Существительные не просто указывают на куски материи в реальном мире. Когда человеческий мозг осмысляет человека, предмет или вещество, он может структурировать их по-разному, и эта гибкость переносится и на наши понятия о нематериальных сущностях.

Наилучший способ оценить, что значат существительные, — начать с некоторых примеров, которые на первый взгляд не значат вообще ничего. Вдумаемся в следующие предложения (многие из них взяты из материалов, собранных лингвистом Анной Вержбицкой)^[24].

Boys will be boys.

Мальчики есть мальчики.

A deal is a deal.

Уговор есть уговор.

What difference does it make what kind you get? Coffee is coffee.

Какая разница, какой сорт вы купите? Кофе есть кофе.

A man is a man, tho' he have but a hose upon his head.

Мужчина есть мужчина, даже если у него на голове шланг.

Let bygones be bygones.

Пусть прошлое будет прошлым. (Кто старое помянет, тому глаз вон.)

A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke.

Женщина — это лишь женщина, а добрая сигара — это курево.

Que será, será (фр.).

Что будет, то будет. (Чему быть, того не миновать.)

East is East and West is West, and never the twain shall meet.

Восток есть Восток, а Запад есть Запад, и вместе им не сойтись¹⁾.

You must remember this: a kiss is just a kiss, a smile is just a smile.

Вам следует помнить, что поцелуй — это всего лишь поцелуй, а улыбка — лишь улыбка.

Let Poland be Poland.

Пусть Польша будет Польшей.

A horse is a horse, of course, of course.

Лошадь есть лошадь, конечно, конечно.

¹⁾ Строка из стихотворения Р. Киплинга «Баллада о Востоке и Западе». — Прим. перев.

Существует шутка о некоей женщине, которая приходит к адвокату, вводящему бракоразводные дела. Тот спрашивает женщину, сколько ей лет. «Восемьдесят два», — отвечает женщина. «А сколько лет вашему мужу?» — «Восемьдесят пять». — «И сколько же лет вы состоите в браке?» — «Пятьдесят семь лет». Адвокат не может поверить своим ушам: «Но тогда почему же вы хотите развестись сейчас?» На что женщина говорит ему: *Because enough is enough! 'Потому что с меня хватит.'* (букв. *'достаточно есть достаточно'*).

В своем буквальном значении приведенные выше предложения кажутся пустыми тавтологиями, но конечно же они таковыми не являются. Любому говорящему по-английски известно, что они означают: напоминание о том, что некая сущность обладает характерными свойствами, важными для своего вида, несмотря на то что некто надеется, что это не так, или забыл об этом. *Boys will be boys* означает, что в природе молодых людей совершать бессмысленные, отчаянные или бестактные поступки. И в последний раз я слышал это выражение, когда студенты из мужской команды гребцов Гарвардского университета вылепили из снега огромный фаллос и поставили его посередине внутреннего двора.

Поскольку высказывания, построенные по формуле «*x* есть *x*», не являются тавтологичными, первый *x* и второй *x* должны означать разные вещи. Иногда существительное указывает на что-либо, служащее приметой некоей сущности в окружающем мире, которую должен идентифицировать слушатель. В других случаях существительное означает класс или вид, которые определяются дефиницией или стереотипом. Это различие между референцией и предикацией является для языка фундаментальной. Имена, например, *Canada* '*Канада*' или *Luciano Pavarotti* '*Лучано Паваротти*', как правило, указывают на нечто, хотя они и могут превращаться в обозначения категорий в выражениях, подобных *Every producer is searching for another Pavarotti* '*Каждый продюсер ищет второго Паваротти*'. Взятые вне контекста, существительные типа *boy* '*мальчик*' или *coffee* '*кофе*' по умолчанию представляют собой названия категорий или видов явлений («мальчик» вообще, «кофе» вообще), хотя они могут приобретать функцию референции, если их включают в словосочетания, подобные *that boy* '*тот мальчик*' или *the coffee grown in Brazil* '*кофе, выращенный в Бразилии*'. Ядерное предложение, — а вероятно, и ядерное понятие, — в субъекте указывает на нечто, а в предикате сообщает нечто о его свойствах.

В настоящей книге я не устал повторять, что значения, которые различает грамматика, соотносятся с важнейшими типами понятий человека и в силу этого имеют реальные последствия для жизни людей, последствия, которые для них не безразличны, за которые они готовы сражаться и согласны платить. Превосходный пример тому — названия вещей. Мы уже видели, что семантика собственных имен вдохнула новую жизнь в вопрос из области литературы (а именно, что мы должны

будем понимать под именем «Уильям Шекспир», если вдруг окажется, что его пьесы были написаны кем-то другим), а также сделала актуальным практический вопрос, как вернуть себе свою идентичность, если вор украл всю информацию и документы, устанавливающие личность человека. Вот еще три среза нашей жизни, где существительные значат очень многое.

Различие между предикацией и референцией может приобретать реальную цену. Наиболее успешная новая корпорация этого столетия до настоящего времени — это корпорация *Google*, заработавшая свой капитал в буквальном смысле **продавая именные словосочетания**. Проблема с прежними порталами Интернета заключалась в том, что никто не знал, как на них можно заработать: пользователям не нравилась реклама крупными буквами на весь экран, и они редко щелкали мышкой, чтобы переключиться на рекламодателей. У создателей рекламных объявлений существует присказка о том, что половина бюджета, выделяемого на рекламу, всегда уходит впустую, и никто не знает, какая именно половина, — большинство людей, которые видят рекламное объявление, не интересуется ни товаром, ни услугой, которые оно рекламирует. Парням из *Google* — Лэрри Пейджу и Сергею Брину — пришла в голову блестящая идея: слова, которые люди печатают в поисковой машине, могут служить великолепным ключом к пониманию того, какие виды товаров они, возможно, купили бы, а это делает поисковую систему прекрасным посредником между покупателями и продавцами. И теперь наряду с тем, что поисковая система *Google* по-прежнему дает безупречные результаты при поиске информации в Интернете, она открывает по краям экрана несколько коммерчески спонсируемых сайтов, связанных с искомым словом. Компании платят деньги за возможность разместить там свою рекламу, предлагая свою цену на непрерывном аукционе за термины, которые лучше всего способны привлечь внимание к их сайтам. Будучи ценителем форм множественного числа, я был заинтригован, узнав, что эти формы стоят дороже, чем формы единственного числа существительных. Так, сайт *digital camera* ‘*цифровой фотоаппарат*’ можно купить за семьдесят пять центов за включение, тогда как сайт *digital cameras* ‘*цифровые фотоаппараты*’ приносит доллар и восемь центов. Рекламодатели знают, что форма множественного числа скорее будет напечатана людьми, которые реально намереваются **купить** цифровой фотоаппарат, хотя почему это так, не понимают^[25]. А причина заключается в том, что «голое» существительное *digital camera*, без определителей, обозначает класс, и его напечатает в запросе, скорее, тот, кто просто интересуется, как такие камеры работают. Напротив, форма множественного числа *digital cameras* воспринимается скорее в референциальной функции и будет востребована теми, кто хочет знать, какие типы цифровых фотоаппаратов есть в продаже и как один из них можно приобрести.

Более активно используют лингвистику те компании, которые стали жертвами собственного успеха, и теперь им нужно изъять из обращения названия своих товаров, которые начали употребляться обобщенно — как имена нарицательные (такие существительные иногда называют *генегонимс* ‘генеронимами’, а их переход из категории собственных имен в имена нарицательные — *генегиде* ‘генерицидом’). Мало кто осознает, что такие слова, как zipper ‘застежка-молния’, aspirin ‘аспирин’, escalator ‘эскалатор’, granola ‘гранола’¹⁾, yo-yo ‘игрушка «Йо-йо»’ и linoleum ‘линолеум’ были раньше наименованиями торговых марок изделий конкретных компаний. В настоящее время угроза генерицида нависла над владельцами компаний *Kleenex*, *Baggies*, *Xerox*, *Walkman*, *Plexiglas* и *Rollerblade*, которых беспокоит, что конкуренты могут украсть эти наименования (и хорошую репутацию, которую они заслужили) для своих собственных изделий. Те, кто использует эти названия как глаголы или как нарицательные существительные или пишет их со строчной буквы, могут оказаться получателями сурового письма с требованием немедленно прекратить подобную практику. Предлагаю им ответить на такое письмо в манере Дэйва Барри:

I want to apologize in a sincerely legal manner to Jockey International Inc., which manufactures Jockey brand wearing apparel. Recently, I received a certified letter from Charlotte Shapiro, a Jockey brand corporation attorney, noting that, in a column concerning the issue of whether or not you can eat your underwear, I had incorrectly used the official Jockey brand name in the following sentence: «Waiter, are these Jockeys fresh?»

Ms. Shapiro points out that the word «Jockey» is an official trademark, not a generic word for underwear, and it must be used «as an adjective followed by the common name for the product.» Thus, my sentence should, legally, have read: «Waiter, there’s a fly in these Jockeys!»...

I have nothing but the deepest respect for the Jockey corporation and its huge legal department. So just in case I may have misused or maligned any brand names in this column, let me conclude with this formal statement of apology to Nike, Craftsman, Kellogg’s, Styrofoam, Baggies, Michael Jordan, and any other giant corporate entity I may have offended: I’m really sorry, OK? So don’t get your Jockeys in a knot.

Хочу принести свои извинения в чистосердечно юридическом стиле компании «Джокей Интернэшнл Инк.», производящей одежду бренда «Джокей». Недавно я получил от юриста компании «Джокей» Шарлотты Шاپиро заказное письмо, в котором мое внимание обращалось на то, что в колонке, посвященной проблеме, можно ли съест свое нижнее белье²⁾, я некорректно употребил официальное название бренда «Джокей» в следующем предложении: «Официант, эти Джокейсы свежие?»

¹⁾ Вид мюсли. — Прим. перев.

²⁾ Возможна ассоциация с выражением to eat one’s hat ‘клятвенно утверждать, давать голову на отсечение’, букв. ‘съест шляпу’. — Прим. перев.

Миссис Шапиро указывает, что слово «Джокей» является официальной торговой маркой, а не общим названием нижнего белья, и что его следует употреблять как «прилагательное, за которым должно следовать нарицательное имя существительное, обозначающее изделие». Таким образом, мое предложение должно было бы с юридической точки зрения гласить: «Официант, в этих Джокейсах муха!»¹⁾

Я испытываю только глубочайшее уважение к компании «Джокей» и ее огромному юридическому отделу. Поэтому на тот случай, если я ненароком неправильно использовал или исказил в данной колонке какие-нибудь торговые марки, позвольте мне закончить мой текст следующим официальным выражением извинения компаниям «Nike», «Craftsman», «Kellogg's», «Styrofoam», «Baggies», «Michael Jordan» и всем другим гигантским корпорациям, которым я мог причинить обиду. Я действительно сожалею о содеянном, понимаете? Так что не заморачивайтесь!²⁾ [26].

В трудное положение попадают не только владельцы торговых марок, видя, как дорогой их сердцу референт начинает восприниматься как нарицательное существительное. Еще большую обиду испытывают люди, слыша, как их самих называют нарицательными существительными. Причина заключается в том, что существительное в функции предиката, очевидно, характеризует человека в соответствии со стереотипом определенной категории, а не указывает на него как на особую личность, обладающую тем или иным признаком. Логике затруднились бы точно определить, в чем здесь состоит различие, но с точки зрения психологии различие это весьма существенно. Так, можно вполне нейтрально описать цвет волос человека как blond 'белокурый', brunette 'очень темный, черный' или red 'рыжий' (прилагательные), но отнюдь не безобидно назвать человека, особенно женщину, а blonde 'блондинка', а brunette 'брюнетка' или a redhead 'рыжеволосая' (существительные). По всей видимости, эти обозначения сводят женщину к какой-то сексуально привлекательной физической черте и приписывают ей в соответствии со старыми стереотипами определенное амплуа — «ветренная», «манерная» или «вспыльчивая» [27]. Поскольку метонимы унижают, а гиперонимы возвышают (см. главу 2), мы теперь предпочитаем говорить а woman with blond hair 'женщина с белокурыми волосами', а не a blonde, если только речь не идет специально о волосах. Возросшее уважение достоинства человеческой личности привело также к тому, что вышли из употребления существительные, обозначающие людей с физическими недостатками, такие как cripple 'инвалид, калека', hunchback 'горбун', deaf-mute 'глухонемой', mongoloid 'больной монголизмом', leper 'прокаженный' и даже diabetic 'диабетик'. В настоящее время в психиатрии наблюдается тенденция не называть

¹⁾ Игра слов: кроме значения 'муха' слово fly имеет еще значение 'ширинка'. — Прим. перев.

²⁾ Игра слов: буквальное значение выражения «не завязывайте свои Джокейсы узлом». — Прим. перев.

человека а schizophrenic ‘шизофреник’ или an alcoholic ‘алкоголик’, а характеризовать его как a person with schizophrenia ‘человек, больной шизофренией’ или a person with alcoholism ‘человек, больной алкоголизмом’. Чувствительность к категоризирующей способности существительных побудила театрального деятеля и ученого в области медицины Джона-тана Миллера, от лица многих людей его этнического происхождения, сказать: I’m not a Jew. I’m Jew-ish. I don’t go the whole hog. ‘Я не еврей. У меня еврейское происхождение. Но это всего лишь часть меня’.

Как правило, мы спокойно называем обычные предметы и вещества нарицательными существительными, но при этом мы снова проявляем гибкость нашего мозга. На первый взгляд, концептуальное различие между предметами и веществами отражено в языке в различии между счетными и вещественными существительными^[28]. Счетные существительные типа apple ‘яблоко’ или pebble ‘камешек’, обычно употребляются для обозначения имеющих определенные границы кусков материи; вещественные существительные типа applesauce ‘яблочное пюре’ и gravel ‘гравий’, обычно используются для обозначения веществ, не имеющих собственных границ. Эти два типа имен четко разграничены в грамматике английского языка. Мы можем считать счетные существительные и употреблять их в форме множественного числа (two pebbles ‘два камешка’), что для вещественных существительных невозможно (*two gravels ‘два гравия’). Если мы говорим о количестве, то должны использовать различные слова-кванторы: так, правильно сказать a pebble ‘один (какой-то) камешек’, но нельзя *a gravel; мы говорим many pebbles ‘много камешков’, но не *many gravels, и, наоборот, можно сказать much gravel ‘много гравия’, но не *much pebble ‘много камешка’ или *much pebbles. Кроме того, вещественные существительные могут употребляться «голыми», без кванторов — Gravel is expensive ‘Гравий дорог’; I like gravel ‘Мне нравится гравий’ — тогда как для счисляемых существительных это, как правило, невозможно — *Pebble is expensive; *I like pebble ‘Камешек дорог; Мне нравится камешек’.

Важным ключом к пониманию ментальной модели материи, стоящей за вещественными существительными, является то, что в определенных отношениях они ведут себя как формы множественного числа счетных существительных. У них совпадают некоторые кванторы (more applesauce ‘больше яблочного пюре’, more pebbles ‘больше камешков’), и вещественные имена и формы множественного числа счетных имен могут выступать в предложении без определителей (I like applesauce ‘Мне нравится яблочное пюре’; I like pebbles ‘Мне нравятся камешки’), оба способны сочетаться с пространственными словами типа all over ‘повсюду’, например, Applesauce was all over the floor ‘Повсюду на полу было яблочное пюре’ и Pebbles were all over the floor ‘Повсюду на полу были камешки’ (сравните *A rock was all over the floor ‘Повсюду на полу был камень’)^[29]. Эти частичные совпадения в грамматических особенностях

отражают сходство в том, как люди воспринимают вещества (то, что, как правило, обозначается вещественными существительными) и множества (то, что, как правило, обозначается формами множественного числа счетных существительных), явления, которые обобщенно можно назвать совокупностями (*aggregates*)^[30]. И у веществ, и у множеств нет внутренних границ, и они могут быть помещены в любую форму. И они способны объединяться: положите, например, несколько камешков вместе с еще несколькими камешками, и у вас все равно будут камешки; добавьте к некоторому количеству яблочного пюре еще некоторое количество яблочного пюре, и у вас по-прежнему будет яблочное пюре. Кроме того, их возможно делить: половина груза камешков — это все равно камешки; половина блюда яблочного пюре остается яблочным пюре. Все сказанное не соответствует типичному референту счетного существительного, такому, например, как *horse* 'лошадь'. Ни у кого не возникает сомнений относительно того, где кончается лошадь и начинается воздух вокруг нее, или относительно того, что когда соединяют вместе двух лошадей или режут лошадь пополам, в результате получается уже не лошадь — обстоятельство, которое, если его применить к младенцам, очень существенно для понимания библейской притчи о мудрости царя Соломона¹⁾.

Форма множественного числа счетных существительных отличается от вещественного существительного тем, что она осмысливается как набор **отдельных явлений**, которые можно идентифицировать и сосчитать. Это позволяет построить классификацию всего, что существует в природе^[31]. Так, форма единственного числа счетных существительных типа *pebble*, означает нечто, имеющее границы (очерченное фиксированной формой) и не состоящее из отдельных явлений. Множественное число счетных существительных, например, *pebbles*, означает нечто, не имеющее границ и состоящее из отдельных явлений. Вещественное существительное типа *applesauce* означает нечто, не имеющее границ и не состоящее из отдельных явлений. Все это наводит на мысль, что наши базовые понятия о материи — это не понятия «счетный» или «вещественный», а мини-понятия «имеющий границы» и «состоящий из отдельных явлений». Если это так, тогда должна существовать и четвертая возможность: явления, которые и имеют очерченные границы, и состоят из отдельных сущностей. И такие явления действительно есть: это собирательные существительные, подобные *committee* 'комитет', *bouquet* 'букет', *rockband* 'рок-оркестр' и те претенциозные слова, называющие группы животных, которые школьники вынуждены

¹⁾ См. Ветхий Завет, 1 Книга Царств, 3: 16–28; речь идет о том, что царь Соломон, будучи судьей в конфликте двух женщин о том, кому из них принадлежит ребенок, отдал ребенка той, которая не согласилась, чтобы ребенка разрубили пополам, — она и была настоящей матерью. — *Прим. перев.*

запоминать, но которые никто никогда не употребляет, — типа a gaggle of geese *'стая гусей'* или an exaltation of larks *'стая жаворонков'*.

Может сложиться впечатление, что счетные и вещественные существительные — просто наклейки на куски материи и на нечто бесформенное, однако это было бы недооценкой и нашего языка, и нашего мышления. В пределах того или иного языка часто трудно предсказать, будет ли какая-то разновидность материи обозначаться с помощью счетного или вещественного существительного. Так, в английском языке существуют слова noodles *'лапша'* (счетное) и macaroni *'макароны'* (вещественное), beans *'бобы'* (счетное) и rice *'рис'* (вещественное), имеются также hair *'волосы'* и hairs *'волоски'*, что побудило Ричарда Ледерера в книге «Безумный английский язык» задаться вопросом: Why a man with hair on his head has more hair than a man with hairs on his head? *'Почему мужчина, у которого на голове волосы, имеет больше волос, чем мужчина, у которого на голове волоски?'*¹⁾ [32]. В разных языках классификация слов по признаку счетности—вещественности различна (слово spaghetti *'спагетти'*, например, является вещественным в английском, но счетным в итальянском языке), а также в разные периоды истории одного и того же языка. Так, носители английского языка раньше употребляли в пищу некое вещество, которое называлось pease, что сохранилось в детских стишках: Pease porridge hot/Pease porridge cold *'Гороховая каша горяча/Гороховая каша холодна'*. Но когда-то в туманном прошлом некий англичанин, с педантичной строгостью относившийся к грамматике, неправильно воспринял на слух это слово как форму множественного числа peas *'горошины'*, от которой всего лишь один короткий шаг к pea *'горошина'*, счетному существительному, которое мы употребляем сегодня. Специалист по математической лингвистике Джим Лэмбек как-то предположил, что зернышко риса когда-нибудь будут называть a gouse²⁾. Люди, выучившие английский язык уже будучи взрослыми, испытывают здесь огромные трудности. Мой дедушка, например, обычно говорил, что он combed his hairs *'причесал волоски'*, именно так, как говорят носители идиш, французского и многих других языков.

Причина того, что языки часто произвольно решают вопрос о счетности или вещественности того или иного вида материи, состоит, по видимому, в том, что мозг человека может структурировать совокупность либо как множество отдельных элементов, либо как непрерывную субстанцию. Ведь когда мы перемалываем каменную глыбу на все более и более мелкие части, валуны на камни, камни на камешки,

¹⁾ Слово hair *'волосы'* с собирательным значением не имеет формы множественного числа, и форма hairs *'волоски'*, похожая на форму множественного числа от hair, в силу лексических отличий таковой не является. — *Прим. перев.*

²⁾ То есть Лэмбек предположил, что по аналогии с mice—mouse *'мыши—мышь'* rice будет осмыслено как форма множественного числа и ему будет противопоставлена форма единственного числа gouse. — *Прим. перев.*

потом на гравий, песок и, наконец, на пыль, в какой-то момент обнаруживается некая серая зона, в пределах которой люди могут структурировать совокупность и как скопление небольших кусочков, и как сплошное вещество, в зависимости от того, насколько близко находится наблюдатель, как давно он обновлял у врача рецепт на очки, а возможно, даже и от особенностей личности наблюдателя (как в случае человека, который «из-за деревьев не видит леса»). В этой переходной серой зоне язык (а точнее, те, кто говорил на данном языке в прошлом) решает для каждого слова особо, какое осмысление он навяжет современным говорящим при его употреблении.

Наличие или отсутствие границ и отдельных частей важно не только для существительных; это имеет значение и для глаголов. Как мы видели в главе 2, глаголы типа pour 'наливать' требуют наличия совокупностей, таких как вода или камешки; глаголы типа smear 'мазать' и streak 'испещрять' применимы к веществам; а глаголы типа scatter 'разбрасывать' и collect 'собирать' применяются по отношению к множествам. Это объясняется тем, что понятие действия зависит от количества и типа вещей, которые действие затрагивает, достаточно сравнить, например, глаголы eat 'есть' и drink 'пить', throw 'бросать' и scatter 'разбрасывать', murder 'убить' и massacre 'устраивать резню'. (Биолог Жан Ростан однажды заметил: Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god 'Если вы убьете одного человека, вы убийца. Если вы убьете миллионы людей, вы завоеватель. Если вы убьете всех, вы — бог'.)^[33] Выбор в разных языках и даже в разных диалектах может быть различным, как в случае американского и британского английского языка. Так, я всегда на мгновение теряюсь, когда мой редактор в Великобритании предлагает to collect me at the hotel 'зайти за мной в гостиницу', как если бы он принимал меня за кучку черепков¹⁾.

Способность мозга структурировать материю в виде поддающихся счету единиц или аморфного вещества проявляется не только на промежуточных этапах работы при перемалывании каменной глыбы. Структурировать указанными двумя способами можно что угодно. Можно смотреть на cup 'чашку' (счетное существительное), но думать о plastic 'пластике', из которого она сделана (вещественное существительное), или смотреть на ice cream 'мороженое' (вещественное) и думать о той форме, которую ему придали, — а scoop 'рожок' или a bar 'брикет' (счетные). В отношении многих видов материи говорящие прошлых поколений проявили о нас достаточную заботу и передали нам по наследству по отдельному слову для того и другого осмысления явлений. Так, в современном английском есть слово butter 'масло' (вещественное) и pat

¹⁾ Глагол to collect 'собирать' имеет также значение 'заходить или заезжать за кем-н.' — Прим. перев.

'кусок масла' (счетное), gold 'золото' (вещественное) и ingot 'слиток золота' (счетное), есть даже shit 'дерьмо' (вещественное) и turd 'кусок дерьма' (счетное) — случай, когда табуированное слово подчиняется грамматическим законам остальной части языка. Как мы увидим в главе 7, далеко не все наши бранные слова являются столь деликатными.

Учитывая многочисленные примеры, показывающие, что язык принуждает говорящих, когда они используют слово в предложении, структурировать обозначаемое им явление либо как отдельную вещь, либо как непрерывное вещество, невольно задумываешься над вопросом, а не обусловлена ли наша способность думать о материи подобным образом тем, что мы сначала научились различать счетные и вещественные слова — такой вариант лингвистического детерминизма был предложен логиком У. В. О. Куайном. Психологи Нэнси Соия, Сьюзен Кэри и Элизабет Спелке придумали эксперимент, чтобы проверить это утверждение. Они показывали двухлетним детям (возраст, когда дети не обнаруживают признаков того, что различают в своей речи счетные и вещественные существительные) либо какой-то незнакомый предмет, например, медный паяльный тройник, либо круглый комочек неизвестного вязкого вещества, например, розовый гель для волос^[34]. Экспериментаторы сообщали каждому ребенку название предъявляемого предмета, говоря: This is my tulver 'Это мой талвер' — структура такого предложения никак не уточняет, является ли это существительное счетным или вещественным. Затем они показывали детишкам два предмета — один той же формы, но из другого материала, а второй из того же материала, но другой формы — и просили их point to the tulver 'указать на талвер'. Нужно было выяснить, трактовали ли дети то, что мы структурируем как предмет, иначе, чем то, что мы структурируем как вещество, без подсказки со стороны английского языка.

И вот что произошло. В том случае, когда детям первоначально показывали то, что мы воспринимаем как предмет, например медный тройник, они указывали как на «талвер» на предмет той же формы, но сделанный из другого материала, — на пластиковый тройник, но не на изделие из того же материала, но иной формы, скажем, на кучку медных обрезков. Однако если детям сначала показывали то, что мы осмысляем как вещество, например гель для волос, они указывали на то же вещество независимо от его формы, скажем, на три пятна геля для волос, а не на сходную форму с другой субстанцией, круглый комочек вроде крема для рук. Таким образом, задолго до того, как дети узнают, как в английском языке различаются отдельные предметы и порции вещества, они различают их самостоятельно и соответственно обобщают обозначающие их слова. Наименования твердых предметов с примечательной формой они прилагают к предметам такого же рода; названия нетвердых существей неопределенной формы они используют применительно к подобного же рода субстанциям.

Язык не только не необходим детям для усвоения различия между предметами и веществами, он также не оказывает решающего влияния на то, как структурируют материю носители языка, когда становятся взрослыми. Говорящие могут пренебречь установлениями языка, мысленно придавая форму референтам вещественных существительных (I'll have two beers '*Я возьму два пива*') или, напротив, размалывая в некую массу референты счетных существительных (There was cat all over the driveway '*По всей дороге были разбросаны останки кошки*'; буквальный перевод: '*Кошка была (размазана) по всей дороге*')^[35].

Люди также придают форму референтам вещественных существительных, распределяя их по категориям, в тех случаях, когда говорят о woods '*различных видах древесины*' (oak '*дуб*', pine '*сосна*' и mahogany '*красное дерево*') или о creams '*различных видах кремов*' (например, Pond's, Nivea и Vaseline — ой-ой, виноват! — Pond's™ Cold Cream, Nivea™ Cream и Vaseline™ Intensive Care™ Lotion). Как мы видели в главе 3, подобные процессы расфасовки и измельчения имеют некоторые последствия: так, предложение We labeled the bloods '*Мы наклеили ярлычки на анализы крови разных пациентов*' (букв. '*на крови*'), совершенно обычное в среде медицинских работников, звучит странно для остальных говорящих, а употребление слова cat в качестве вещественного существительного, означающего плоть кошки, имеет коннотацию равнодушия к достоинству животных. Но сам факт — возможность так сказать — свидетельствует о том, что язык не навязывает говорящим выбор определенного типа структурирования из тех, что имеются в их распоряжении.

Интуитивная наука о материалах, стоящая за различением счетных и вещественных явлений, предполагает существование некоего игрушечного мира (a Play-Doh world), в котором предметы сделаны из соответствующего вещества: скалы из камня, стаканы из стекла, порции пива из пива, кошки из кошатины. Однако такая модель терпит фиаско, когда предмет невозможно представить как сделанный из куска вещества. Так, a television '*телевидение*' не сделано из чего-то называемого television и поэтому нельзя, например, сказать, что паровой коток *left television all over the road '*размазал телевидение по всей дороге*'. Различие теряет силу также, если мы начинаем рассматривать вещество под достаточно сильным микроскопом. Мы употребляем слово rice '*рис*', когда указываем на чашку риса, на зернышко риса или даже на часть зернышка риса, но если мы будем настраивать линзы микроскопа на все более и более мелкие масштабы, то рано или поздно достигнем такой точки, когда мы больше не увидим **риса** (молекул риса, по-видимому, не существует, как и атомов риса или кварков риса). Возможно, если бы люди могли видеть кристаллы, волокна, клетки и атомы, из которых состоит материя, у них бы вообще никогда не возникло различия между счетными явлениями и веществами. Врачей, практи-

кующих гомеопатию, согласно которой субстанции разводятся столько раз, что (если верить химикам) от них не остается даже молекул, можно обвинить в том, что они восприняли ментальную модель материи в отношении вещественных существительных уж слишком серьезно.

Различие «счетность—вещественность» в нашем мозгу не зависит от различия «предмет—субстанция» в реальном мире; оно не зависит от физического мира вообще. Его правильнее всего рассматривать как некое когнитивное оптическое стекло или некий подход, с помощью которого наш мозг способен структурировать почти любое явление как имеющий очерченные границы и поддающийся счету предмет или как лишенную границ непрерывную среду. Мы наблюдаем это на примере особого рода вещественных существительных, которые ведут себя так, как обычно ведут себя счетные существительные, а именно указывают на ограниченные куски материи, такие как стулья или яблоки. Речь идет о вещественных гиперонимах (высшего порядка), подобных furniture 'мебель', fruit 'фрукты', clothing 'одежда', mail 'почтовая корреспонденция', toast 'гренки' и cutlery 'ножевые изделия'. Хотя такие слова не указывают на вещество — стулья и столы не изготовлены из какого-то ингредиента, называемого мебель, а конверты и открытки не штампуются из некой субстанции, называемой «почтовая корреспонденция», — они не могут прямо указывать и на отдельные предметы, которые они обозначают в совокупности. Для этого требуется специальное слово-классификатор, как в случае a stick of furniture 'предмет мебели', an article of clothing 'предмет одежды', или классификатор широкого назначения a piece 'кусочек, часть':



"WOULD YOU LIKE A PIECE OF TOAST FOR BREAKFAST?" "I'D RATHER HAVE A WHOLE ONE, THANKS"

Мама: Хочешь на завтрак кусочек тоста?
Ребенок: Я бы, если можно, предпочел целый.

Как откроет для себя Деннис, a piece of toast (или of mail, of clothing, of fruit, of furniture) — это вовсе не часть чего-либо. Нам приходится использовать слово *piece* 'кусок' в качестве классификатора для идентификации и счета, чтобы отделить части от совокупности «фрукты», совокупности «мебель» или совокупности «гренки» (подобно тому, как мы используем классификаторы, чтобы отщипнуть кусок от субстанций в случае a sheet of paper 'лист бумаги', a blade of grass 'былинка травы, травинка' или a stick of wood 'кусок древесины'). В английском языке вещественные существительные, обозначающие предметы, как правило, относятся к классам предметов, неоднородных по величине и форме, но часто воспринимаемых как некая совокупность, например мебель в фургоне, фрукты в корзинке, одежда в чемодане или почтовая корреспонденция в мешке. Однако в некоторых языках **все** существительные ведут себя как вещественные и означают само понятие, а не его отдельное воплощение, и говорящие не могут ни считать их, ни образовывать от них форму множественного числа, не используя классификатор, наподобие two tools of hammer 'два инструмента молотка' или three rods of pen 'три стержня ручки'.

Но если счетные и вещественные существительные могут быть применены практически к чему угодно, зачем же языкам вообще о них беспокоиться? Одна из причин состоит в том, что они позволяют нам прийти к соглашению относительно того, как выделять, считать и измерять вещи. Представьте себе, что вас попросили to count everything in this room 'сосчитать все в этой комнате'. Что именно вы будете считать? Стулья? Ножки стульев? Оттенки цвета? Стены? Следует ли прибавить еще единицу, чтобы сосчитать еще и саму комнату? Задание бессмысленно, пока не будет конкретизирован какой-то вид единицы, и именно это делают счетные существительные (не случайно они называются «счетными» существительными). Невозможно также сравнивать количества, не уточнив, идет ли речь о явлениях, обозначенных счетными словами или словами вещественными. Если у Салли есть один большой камень, а у Дженни три, но гораздо более мелких камня, у кого из них больше? И снова вопрос, если он задан в такой формулировке, не имеет ответа; ответ зависит от того, имеется ли в виду «больше камня» или «больше камней». Детям уже в возрасте четырех лет известно, что эти вопросы требуют разных ответов (как показал эксперимент психологов Дэвида Барнера и Джесс Снедекер)^[36]. Понимание того, что можно по-разному определить количество материи, необходимо и для того, чтобы оценить шутку в комиксе на следующей странице.

По той же причине самое простое суждение, например, о том, являются ли какие-нибудь две вещи «тем же самым», зависит от того, **что** мы договорились понимать под «тем же самым» — чашку и осколки чашки можно считать той же самой керамикой, хотя это не та же самая чашка. Следовательно, разграничение счетности и вещественности по-



Monty © United Feature Syndicate, Inc.

Объявление: «Пожалуйста, не кормите утку».

Первый отдыхающий: Не кажется ли тебе этот знак странным?

Второй отдыхающий: Чем именно?

Первый отдыхающий: Да вот, слово «утка» стоит в единственном

числе. Казалось бы, если не хотят, чтобы люди кормили уток, нужно было бы употребить множественное число. «Пожалуйста, не кормите...»

Утка: Кря! Первый отдыхающий: Неважно.

могает нам договориться, какие отдельные явления мы трактуем как ментальные сущности, которые можно считать и отслеживать, а какие рассматриваем просто как воплощение определенной категории.

Если счетные и вещественные существительные — это отражение разных когнитивных подходов, а не рефлексии на разновидности материи, они должны быть применимы и к сущностям, которые вообще нематериальны. И мы действительно наблюдаем, что различие счетности—вещественности обнаруживается во многих призрачных сферах, где обитают явления, не имеющие массы и не занимающие пространства. Так, мы отличаем дискретные *opinions* 'мнения' (счетное существительное) от непрерывного *advice* 'совет' (вещественное), *stories* 'рассказы' от *fiction* 'беллетристика', *facts* 'факты' от *knowledge* 'знание', *holes* 'дыры' от *space* 'пространство', *songs* 'песни' от *music* 'музыка', *naps* 'короткие промежутки сна' от *sleep* 'сон', *falsehoods* 'враки' от *bullshit* 'ерунда, бред'.

Является ли способность структурировать абстрактные сущности аналогично тому, как мы структурируем предметы и вещества, более поздним достижением зрелого мышления, результатом широкого использования людьми счетных и вещественных существительных? Психолог Пол Блум показал, что ответ на этот вопрос, по-видимому, должен быть отрицательным: такая способность естественным образом складывается у детей уже в возрасте трех лет^[37]. Когда дети слышали быструю последовательность звуков и им говорили: *These are feps—there are really a lot of feps here* 'Это фепсы — здесь, по правде говоря, много фепсов' (счетное существительное), а потом предлагали *to make a fer* 'произвести фен' с помощью палочки или звонка, они обычно

производили один звук. Но если им говорили: This is fep—there is really a lot of fep here ‘Это феп — здесь, по правде говоря, много фена’ (вещественное существительное), а потом предлагали to make fep ‘произвести феп’, гораздо чаще дети звонили много раз. Это в точности соответствует тому, как они поступали, когда им предъявляли слова, указывавшие на естественные совокупности, такие как lentils ‘горох’: на просьбу «дать феп» дети реагировали одной горошиной, а в ответ на просьбу «дать фена» протягивали целую пригоршню. Следовательно, дети различают счетные и вещественные существительные независимо от того, относятся ли слова к эфемерным событиям или к физическим объектам (проявление высокой гибкости человеческого мозга, которое, как мы увидим, лежит и в основе семантики категории времени). Другие эксперименты продемонстрировали, что дети способны считать сущности, которые не являются дискретными объектами, в том числе скопления, доли, действия, дыры и лужи^[38].

Таким образом, хотя наша способность думать о предметах и веществе, несомненно, коренится в нашем восприятии кусков и сплошных масс материи в окружающем мире, мы легко переносим ее на мир идей. И в результате, мы можем вслух свободно идентифицировать, отслеживать и считать содержимое нашего сознания, каким бы призрачным оно ни было. По существу, способность определять количество бесплотных явлений служит свидетельством нашей умственной жизни.

How do I love thee? Let me count the **ways**.

Как я люблю тебя? Дай я перечислю как.

Ten Jews, eleven **opinions**.

Десять евреев, одиннадцать мнений.

There must be fifty **ways** to leave your lover.

Есть пятьдесят способов бросить любовника.

How many **times** must a man look up, before he can see the sky?

Сколько раз человеку нужно взглянуть вверх, прежде чем он увидит небо?

Four be **the things** I'd been better without: love, curiosity, freckles, and doubt.

Есть четыре вещи, без которых я предпочла бы обойтись: любовь, любопытство, веснушки и сомнение^[39].

И конечно же:

How many **events** took place in New York on the morning of September 11, 2001?

Сколько событий произошло в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001 г.?

Игра на дюймы: мысли о пространстве

«Игра, где счет идет на дюймы» — выражение, которое применялось к бейсболу, футболу, гольфу и сексу. Но в действительности оно приложимо к любой деятельности, которая связана с движением

в пространстве, где любой пропущенный шаг или поворот может обернуться угрозой для жизни. Определение устройства мира и движение тела через окружающий мир представляют собой невероятно сложные технические задачи, как можно судить по тому, что сих пор нет посудомоечных машин, способных освобождаться от посуды, или пылесосов, которые могли бы подниматься по ступенькам. Тем не менее сенсорно-моторные системы человека осуществляют эти подвиги с легкостью, наряду с ездой на велосипеде, вдеванием нитки в иголку, забрасыванием баскетбольного мяча в корзину и игрой в классики. In form, in moving, how express and admirable! *‘Его форма, его движения, как они выразительны и прекрасны!’*, — сказал Гамлет о человеке.

Однако если обратиться к **языку** пространства, то мы уже не являемся столь выразительными и прекрасными. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, потому что словесное описание может привести человека в растерянность при попытке составить мысленный образ сцены действия. Вот несколько примеров, которые я собрал, читая газету всего лишь пару дней:

- The first step in construction will be to protect the sheared-off column remnants from the twin towers with a pool-type liner and 12 inches of fill.

Первым шагом в строительстве будет защита остатков разрушенных колонн башен-близнецов с помощью объединяющей прокладки общего типа и 12 дюймов наполнителя [Находится ли прокладка выше или ниже наполнителя? Имеют ли остатки колонн высоту только 12 дюймов? Поддерживают ли они прокладку наподобие столбиков палатки или пронизывают ее насквозь как кольца палатки?]

- Designed to protect beachfront land by controlling beach erosion, rock walls are already in place on much of the town's bayside shores.

Созданные для защиты суши в прибрежной полосе путем сдерживания эрозии берега заграждения из камня уже находятся на месте на большей части обращенного к бухте городского побережья. [Идут ли они параллельно берегу или перпендикулярно к нему?]

- A 40-foot opening was made in the center of the steel wall that is at the end of the canal.

40-футовое отверстие было пробито в центре стальной стены, находящейся в конце канала. [Закрывала ли стальная преграда конец канала, подобно плотине, или была расположена сбоку, подобно автобусной двери?]

- The maintenance crew apparently left a pressurization controller rotary knob out of place, according to the official connected to the investigation.

Команда технического обслуживания оставила, по-видимому, вращающуюся ручку регулятора давления не на месте, по заявлению официального лица, связанного с расследованием. [Они сняли ручку или просто неверно ее установили?]

- To form an 'L' floodwall, sheet pilings, a sort of steel fence, are driven into compacted dirt of the levee. The reinforcing steel rods are threaded through

the top of the piling, and concrete is poured to encapsulate the top of the piling and form the wall.

Чтобы построить запруду от наводнения, имеющую форму «I», в утрамбованный грунт дамбы заколачивают сваи с защитным покрытием, нечто вроде стального ограждения. Затем сквозь верхушку свай пробивают укрепляющие стальные стержни и заливают все бетоном, чтобы инкапсулировать верхушку свай и образовать стену. [Ну, каково?!]

Подобная неточность может иметь серьезные последствия. Несколько ужасающих авиационных катастроф произошло из-за взаимонепонимания между пилотами и диспетчерами относительно местонахождения и направления движения самолета^[40].

Расхождение между нашим плавным и точным передвижением в пространстве и тем грубым и двусмысленным языком, который мы используем для описания пространства, связано с особенностями устройства головного мозга человека, у которого есть несколько систем для отслеживания нашего трехмерного мира. Существует сложная система сенсорно-моторной координации, включающая мозжечок («малый мозг»), основные нервные узлы и несколько цепей, охватывающих центральную борозду мозга. Эта система в основном аналоговая, она точно кодирует месторасположение, однако она по большей части для осознанного мышления невидима^[41]. В пределах той зоны мозга, которая ведает зрительным восприятием, существует система «что» («*what*» system), проходящая по низу мозга от его задней части к передней. Она регистрирует очертания букв, лиц и предметов, и повреждение ее может привести к дислексии или агнозии¹⁾, как в случае мужчины, который принял жену за шляпу (так названа знаменитая книга невролога Оливера Сэкса)²⁾. Существует, кроме того, система «где» («*where*» system), которая идет от задней части мозга вверх к верхушке. Она позволяет нам отслеживать расположение предметов, и повреждение этой системы может вызвать синдром, называемый «небрежностью» (*neglect*), при котором человек может оказаться неспособным заметить мебель с одной стороны комнаты, есть с одной стороны тарелки или брить одну сторону лица. Так же как с остальной частью мозга, системы «что» и «где» дублируются в левом и правом полушариях, хотя функции этих двух сторон не идентичны. Система «где» в правом полушарии более успешна в осуществлении оценки аналоговых пространственных отношений, например, при оценке того, находятся ли два предмета на расстоянии точно одного дюйма друг от друга. Система «где» в левом полушарии лучше приспособлена для оценки

¹⁾ Дислексия — нарушение способности человека при чтении узнавать и понимать знаки; агнозия — нарушение способности человека распознавать предметы, людей, звуки, формы и т. п. — *Прим. перев.*

²⁾ *The Man Who Mistook his Wife for a Hat* (1990). — *Прим. перев.*

цифровых пространственных отношений, например, при определении того, соприкасаются ли два предмета друг с другом и находится ли один предмет справа или слева от другого [42].

Отнюдь не случайно две основных части мозга приматов, ведающие зрительным восприятием, названы английскими вопросительными местоимениями. Разумеется, мозг возник раньше, чем появились местоимения: мы спрашиваем «что» и «где», потому что наш мозг устроен так, чтобы следить за предметами и местами их расположения. Это различие отражено в словарном составе большинства языков, где можно найти обширный класс существительных, называющих предметы разной формы (связанных с системой «что» в левом полушарии), и значительно меньший класс слов или морфем, уточняющих пути движения и места расположения (связанных с системой «где» в левом полушарии) [43]. В английском языке это различие чрезвычайно велико. Одного взгляда на любой наглядный словарь достаточно, чтобы увидеть, какое огромное количество слов, означающих предметы разной формы, существует в английском языке — наверное, не меньше десяти тысяч [44]:



Zippy—Bill Griffith. King Features Syndicate

Мужчина в пиджаке: Все в этом мире имеет название, Зиппи! У этого греческого храма есть тимпан, фронтон, карниз, фриз и архитрав... А мы еще не добрались даже до колонны!

Зиппи: Гм...

Мужчина в пиджаке: А у этой электрической гитары есть колки, гриф, лады, звукосниматель для басс-гитары, ручка тремоло, регулятор громкости и гнездо штекера!

Зиппи: Неужели Бон Джови все это запомнил?

Мужчина в пиджаке: Это не просто гриб! Он состоит из шляпки, гимениальной пластинки, кольца, ножки, вольвы, спор, гифов и мицелия!

Зиппи: Не будь названий, интересно, существовали бы вещи?

Мужчина в пиджаке: Интересный вопрос... когда абстракции конкретизируются? Не мешают ли слова пониманию?

Зиппи: Если шестимесячного младенца оставить без родителей на необитаемом острове и никогда не учить языку, что он будет называть «Конни Чанг»?

По сравнению с этим богатством в английском языке существует только восемьдесят или около того предлогов с пространственным значением:

about 'вокруг', above 'над', across 'сквозь, через', after 'сзади, позади', against 'напротив', along 'вдоль, по', alongside 'сбоку от, рядом с', amid (st) 'среди, между', among (st) 'посреди, между', apart 'в стороне, врозь', around 'вокруг', at 'в, на, у, при', atop 'наверху, сверху', away 'от, прочь', back 'в стороне, сзади', backward 'обратно, задом наперед', behind 'за, позади', below 'ниже, под', beneath 'под, ниже', beside 'рядом с, близ', between 'между', beyond 'за, по ту сторону', by 'у, при, мимо', down 'вниз, вдоль по', downstairs 'вниз', downward 'вниз, книзу', east 'на восток, к востоку', far from 'вдали от', forward 'вперед', from 'от, из, с', here 'здесь, тут', in 'в, на, у', in the back of 'в глубине, в задней части', in between 'между', in front of 'впереди, перед', in line of 'в один ряд', inside 'внутри', into 'в, внутрь', inward 'внутри', left 'слева, налево', near 'возле, у', nearby 'рядом', north 'на север, к северу', off 'от, с', on 'на, у', on the top of 'сверху, поверх', onto 'на, в', opposite 'против, напротив', out 'из, вне, за', outside 'вне, за', outward 'наружу', over 'над, выше', past 'мимо, за', right 'справа, направо', sideways 'в сторону, вкось', south 'на юг, к югу', there 'там', through 'через, сквозь, по', throughout 'через', to 'к, в, на', to the left of 'налево от', to the right of 'направо от', to the side of 'в сторону от, сбоку от', together 'вместе', toward 'к, по направлению к', under 'под, ниже', underneath 'под', up 'выше, вверх', upon 'на', upstairs 'вверх', upward 'вверх', via 'через', west 'на запад, к западу', with 'с', within 'в, внутри', without 'вне, за пределами'.

Пространство закодировано также в таких существительных, как edge 'край' и vicinity 'соседство', в глаголах типа enter 'входить', spread 'распространять (-ся)' и cover 'покрывать' и в суффиксах, подобных -ward и -bound в словах homeward 'домой, к дому' и Chicagobound 'в направлении Чикаго'^[45]. Многие языки полагаются на такие формы больше, чем на предлоги или их эквиваленты. Но, даже если учесть эти способы выражения места и направления, все равно пространственные отношения в целом представлены в языках гораздо более скупо и обобщенно, чем обозначения форм предметов^[46].

Такая ситуация частично объясняется внутренним различием между геометрией форм и геометрией расположений. Так, для точного описания формы может потребоваться столько деталей информации, сколько у данной формы граней, углов и щелей, тогда как чтобы точно определить расположения одного предмета относительно другого, необходимо всего шесть видов информации. Говоря теоретически, язык мог бы точно определять местонахождение предметов, построив свои предлоги из шести слогов: по одному для указания на расстояние от ориентира в направлениях «вверх—вниз», «влево—вправо» и «близко—далеко» (возможно, используя логарифмически вычисленные единицы, ориентированные на какой-либо привычный объект или

часть тела) и по одному для каждого из углов наклона относительно поперечной оси, крена и отклонения от направления движения (возможно, увеличивая угол на одну шестнадцатую полного оборота). В действительности же ни в одном языке мы этого не находим. То, как язык описывает пространство, не похоже ни на что известное геометрии, и он иногда может оставить слушающих в недоумении, в полной растерянности или в окончательном неведении относительно того, где находятся предметы.

Первый парадокс состоит в том, что пространственные слова в высшей степени многозначны^[47]. Большинству говорящих на английском языке не приходит в голову, что предлог *on*, например, означает не одно пространственное отношение (скажем, когда один предмет находится поверх другого предмета, как в случае *a book on the table* 'книга на столе'), а несколько. Достаточно сравнить разные значения *on* в словосочетаниях *a picture on a wall* 'картина на стене', *a ring on a finger* 'кольцо на пальце' или *an apple on a branch* 'яблоко на ветке'. Даже в таком близком английскому языку, как нидерландский, в подобных случаях используются разные предлоги: *op* для случая книги на столе, *aan* для картины на стене и *om* для кольца на пальце. Еще сложнее обстоит дело с предлогом *over*, который имеет свыше ста различных употреблений, включая следующие: *Bridge over troubled waters* 'Мост над бурным потоком', *The bear went over the mountain* 'Медведь перебрался через гору', *The plane flew over the mountain* 'Самолет пролетел над горой', *Amy lives over the hill* 'Эми живет по ту сторону холма', *Barney spread the cloth over the table* 'Барни накрыл стол скатертью' (букв. 'разложил поверх стола') и *The book fell over* 'Книга упала сверху'^[48]. Если вы когда-либо удивлялись, подобно Ричарду Ледереру в книге «Безумный английский язык», почему люди влюбляются *head over heels* 'по уши' (букв. 'голова выше пяток') — ведь голова наша всегда находится выше пяток, тогда почему не *heels over head* 'пятки выше головы', — ответ же заключается в том, что *over* может указывать не просто на местонахождение, но еще и на траекторию движения (как в *The cow jumped over a moon* 'Корова пришла в возбужденное состояние', букв. 'прыгнула через луну'), и таким образом, влюбленный человек описывается, как находящийся в середине процесса кувиркания «колесом».

Совсем не всегда в английском языке объединяется то, что разделяется в других языках. Во многих языках, например, не различаются *on* 'на' и *over* 'через', и одно слово употребляется для указания и на тот, и на другой случай соседства, или не различаются *in* 'в' и *under* 'под'^[49]. Дело, однако, не обстоит так, что могут соединяться какие угодно значения: в языках обычно имеются слова для обозначения контакта, вертикального положения, прикрепления, нахождения одного в другом и соседства, как если бы существовал некий когнитивный алфавит пространственных отношений, более фундаментальный, чем предлоги

того или иного языка. Таким образом, когда языки соединяют разные пространственные отношения в одном предлоге, они придерживаются некоторого универсального представления о том, какие отношения наиболее схожи между собой. Например, английский язык объединяет книгу на столе (вертикальное положение плюс контакт) и картину на стене (прикрепление), вероятно, потому, что в обоих случаях предполагается наличие силы, которая держит один предмет в контакте с другим. По тем же причинам в берберском языке *dí* сочетает прикрепление (картина на стене) и нахождение одного в другом (игрушка в коробке), рассматривая и то и другое как случай, когда один предмет препятствует движению другого предмета; два эти языка, английский и берберский, различаются только тем, как они разделяют препятствия — исходя из вертикального положения предметов или из нахождения одного предмета в другом. В испанском же языке все три расположения совмещены в предлоге *en* 'на, в, при'. Но ни в одном языке значение вертикального положения не сочетается с нахождением одного предмета в другом при исключении прикрепления, или значение расположения сверху не соединяется с нахождением поблизости при исключении положения на чем-либо, потому что такие сочетания, по-видимому, не имеют смысла с когнитивной точки зрения^[50].

Средства языка, используемые для выражения пространственных значений, оказываются неадекватными еще в одном отношении, и это связано с тем, что устанавливаемые ими различия носят цифровой характер и в большинстве случаев являются бинарными. Во многих языках самое базовое различие — это различие между тем, что находится близко к говорящему, и тем, что расположено от него на некотором расстоянии, как в случае английских *here* 'здесь' и *there* 'там'. Это различие является относительным, не абсолютным; как отмечает Стивен Левинсон, предложение *Put it there* 'Положите это туда' означает совершенно разные вещи для оператора подъемного крана и для нейрохирурга. В большинстве языков мира пространство вокруг говорящего разделяется именно на указанные две области, но примерно четвертая часть языков (включая испанский) имеет тройное членение и различает «близко ко мне», «далеко от меня» и «посередине», и в совсем немногих языках (например, в языке тлингит, на котором говорят на северо-западе Канады в Юконе) есть еще четвертое положение — «очень далеко от меня». Ни в одном языке не существует пространственных слов, которые измеряли бы расстояние в конкретных единицах (хотя, конечно же, в культуре, обладающей системой счета, это возможно сделать с помощью существительных и прилагательных, например, *five thousand two hundred and eighty feet* 'пять тысяч двести восемьдесят футов').

Наиболее распространенными пространственными различиями в языках мира являются различия типа «или—или»: вы находитесь или внут-

ри чего-либо, или вовне — в буквальном смысле. Дело не только в том, что языки членят пространство на зоны, границы которых неопределенны. Многие из важных для языков пространственных отношений являются **по своему существу** качественными и затрагивают различия, которые можно в общих чертах охарактеризовать как топологические^[51]. О топологах иногда говорят, что это математики, которые не могут отличить пончик от чашки кофе, потому что топология изучает такие качественные признаки, как контакт, нахождение одного в другом, связанность (*connectedness*) и пустоты (*holes*) — свойства, которые остались бы неизменными, даже если бы мир был создан из искусственного заменителя резины (*Silly Putty*) и его можно было бы растягивать, не разрывая. Среди закодированных в языке понятий, так или иначе относящихся к топологии, мы находим понятия контакта, нахождения одного в другом и прикрепления. Различие между топологией и непрерывными пространственными отношениями схвачено в милой шутке Граучо Маркса: *If I held you any closer I'd be on the other side of you* 'Если бы я прижал тебя к себе теснее, я оказался бы по другую сторону от тебя'.

Даже пространственные термины, которые **являются** непрерывными, все равно не отражают плавное варьирование количества, присущее расстоянию, величине и форме^[52]. Как заметил лингвист Лен Тэлми, мы используем один и тот же предлог *across* 'через, noneпек', описывая движение муравья, ползущего по ладони (*an ant crawling across a hand*), и вспоминая поездку на автобусе через всю страну (*a bus trip across the country*). Однако при этом муравей передвигается, делая лапками маленькие шажки, и заканчивает свое путешествие при постоянном внимании наблюдателя, который, подобно богу, следит за его движениями сверху, а что касается автобуса, то он везет людей на экскурсию по шоссе, и она длится много дней и проходит в разных местах, причем все эпизоды поездки можно воссоединить только в воспоминании. Несмотря на эти различия в опыте, мы и в том и в другом случае употребляем один и тот же предлог. Подобный талант к геометрической абстракции мы наблюдаем и в языке детей. Писатель Ллойд Браун рассказывал, как его малолетняя дочь однажды сказала о двух собаках, бежавших рысцой друг за другом: *Look at those dogs running like a hook-and-ladder* 'Посмотри на тех собак — они бегут как длинная пожарная машина с управляемой кабиной сзади' (букв. 'как крючок и спущенная петля на чулке'). А в другой раз она попросила у отца коробку цветных карандашей, которая *looks like an audience* 'похожа на зрительный зал', то есть не плоскую коробку с восемью карандашами, а большую по размеру, в которой карандаши расположены в несколько рядов, приподнятых друг над другом, как ряды кресел в зрительном зале^[53].

Такие достижения возможны, потому что та часть мозга, которая взаимодействует с языком, воспринимает предметы **схематично**, исхо-

дя из того, как они расположены по отношению к каждому из трех измерений пространства^[54]. В реальной жизни каждый кусок материи имеет длину, ширину и толщину, но когда мы говорим об этих кусках материи, мы делаем вид, что некоторые из этих измерений отсутствуют. В самом простом случае мы можем мыслить как геометры и представлять себе точку как не имеющую измерений, прямую или кривую линию как имеющую одно измерение, поверхность как имеющую два измерения, а тело как нечто трехмерное. Вместе с тем мы способны вообразить и более сложные формы, соединяя и ранжируя измерения. Так, предмет мыслится как имеющий одно или более основных измерений, которые реально важны, когда мы размышляем о данном предмете, но наряду с этим у него есть одно или более вторичных измерений. Скажем, а road *'дорога'*, а river *'река'* или а ribbon *'лента'* концептуализируются как бесконечная линия (ее длина является ее единственным основным измерением), утолщенная за счет ограничивающей линии (ее ширина, которая служит вторичным измерением), что дает в результате поверхность. А layer *'слой'* и а slab *'пластина'* имеют два основных измерения, определяющих поверхность, и ограничивающее вторичное измерение — толщину. А tube *'труба'* или а beam *'брусок'* имеют единственное основное измерение — длину и два вторичных измерения, утолщающих их поперечное сечение.

Наш мозг может также сосредоточиться на границах, воспринимая их так, как если бы они сами представляли собой предметы. Специалист по геометрии скажет, что трехмерное тело должно быть ограничено двумерной поверхностью, поверхность — одномерным краем (ребром), линия — нульмерной точкой. Но мозг человека, видит больше, чем это. Мы можем осмыслить а stripe *'полосу'*, которая имеет два измерения, как ограничивающую двумерную поверхность, подобно ободку тарелки или кромке ковра; того факта, что **основное** измерение у полосы одно, достаточно, чтобы она воспринималась как граница поверхности. Аналогичным образом, an end *'конец'* осмысляется как имеющий нуль основных измерений и как ограничивающий объект, обладающий одним основным измерением. Слово end, следовательно, охватывает ряд сущностей, совершенно различных с точки зрения Эвклидовой геометрии: point — нульмерную **точку**, которая ограничивает **линию**, edge — одномерный **край**, который ограничивает **ленту**, и surface — двумерную **поверхность**, которая ограничивает **брусок**. Точно так же обстоит дело с edge *'край'*, за исключением только того, что у него есть одно основное измерение, тогда как у end его нет. Часто **конец** или **край** осмысляются как включающие маленький кусочек прилегающей **линии** или **поверхности**. Это объясняет, почему мы можем отрезать конец у ленты или сострогать край у доски, то есть совершить то, что с точки зрения геометрии совершенно невозможно. Когда двумерной границе трехмерного твердого тела придается кусочек прилегающего

вещества, мы называем это а crust *'корка, поверхностный слой'*. Хотя слово *корка* мы чаще всего слышим в связи с хлебом, оно используется также применительно к ранам (**корка** на ране) и планетам (земная **кора**), несмотря на огромные различия в их размерах, структуре и съедобности. Эти явления объединяет та геометрия измерений, которую мы к ним применили.

Аппарат основных и вторичных измерений, примененный к отрицательному пространству, которое остается после удаления части материи из чего-либо, дает нам словарь пустот: множество слов, обозначающих *picks* *'щели'*, *grooves* *'пазы'*, *dents* *'выбоины, вмятины'*, *dimples* *'впадины, ямочки (на щеках)'*, *cuts* *'разрезы, выемки'*, *slots* *'пазы, щели'*, *holes* *'дыры, отверстия'*, *tunnels* *'туннели, штольни'*, *cavities* *'полости, трещины'*, *hollows* *'пустоты, впадины'*, *craters* *'кратеры, воронки'*, *cracks* *'трещины, свищи'*, *clefts* *'трещины, расселины'*, *chambers* *'камеры'*, *openings* *'отверстия, расщелины'* и *orifices* *'отверстия, сопла'*^[55]. Когнитивное сходство предметов и пустот привело к появлению многочисленных загадок и парадоксов. Мы уже знакомы с полисемией слов *window* *'окно'* и *door* *'дверь'* (которые могут указывать либо на отверстие, либо на покрытие отверстия). Философы никак не могут найти место пустотам в онтологической таксономической классификации явлений, существующих во вселенной, потому что отверстие, например, может быть высоким, что делает его разновидностью предметов, а из этого следует, что оно должно было бы также иметь вес (массу), подобно любой материи, подтипом которой являются предметы. Но а *heavy hole* *'тяжелое отверстие'* — это такая же бессмыслица, как «счастливый стол» или «зеленая идея»^[56]. Ломают голову по поводу отверстий — реальных явлений для мозга, пустот в действительности — не только лингвисты и философы по долгу своей нелегкой профессии^[57]. «Дыра» может быть ответом на такие головоломки, как *What's the only thing you can put into a bucket that will make it lighter? 'Что можно добавить в ведро, а ведро от этого станет легче?'* и *The more you take from me the bigger I grow; what am I? 'Чем больше у меня берут, тем больше я становлюсь; что я такое?'* Отверстия являются также источником хитроумных вопросов типа *How much dirt is in a hole six feet wide, eight feet deep, and five feet long? 'Сколько грунта находится в яме шириной в шесть футов, глубиной в восемь футов и длиной в пять футов?'* (Ответ: «Нисколько»). Кроме того дыры были использованы для создания зрительных иллюзий, таких как «лицо—ваза» (с. 60), а также в работах Эшера и Магритта и в серии эпизодов «Море Дырок» в мультфильме «Желтая подводная лодка», где один из персонажей, Ринго, прячет в карман черный эллипс и позднее достает его, чтобы выпустить воздух из воздушного шарика, в который был заключен «Оркестр Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (*I've got a hole in my pocket! 'У меня в кармане дыра'*, — напоминает он себе). Ну и конечно же существуют

маленькие шарики жареного теста, пончики в форме кольца, продаваемые фирмой *Dunkin' Donuts*, под странным названием *donut holes* 'дыры пончиков'.

Идея того, что формы с когнитивной точки зрения можно свести к схематически представленным шарикам, насаженным на оси, первоначально пришла из теории распознавания форм Дэвида Марра, исследовавшего мозг с помощью компьютера. Марр обратил внимание на то, как легко люди распознают грубые фигуры людей и животных, сделанные из ершиков или перекрученных воздушных шариков, несмотря на их отличие от реальных объектов в расположении пикселей. Он предположил, что в действительности формы **репрезентируются** в мозге не в виде расплывчатых образов, а в виде моделей «шарик и ось», поскольку такая модель стабильна и объект перемещается относительно наблюдателя, тогда как пикселя образа находятся в разных местах^[58]. Схематические модели — не единственный способ, с помощью которого мы распознаем предметы, — мы можем, например, узнать рубашку в корзинке для белья просто по цвету и по текстуре ткани, — но такие модели занимают, вероятно, то промежуточное пространство, где зрительное восприятие взаимодействует с языком и размышлением^[59]. Существительные, называющие формы (такие, как *gibbon* 'лента', *layer* 'слой', *crust* 'кора', *hunk* 'кусок' и *groove* 'паз'), получают свои определения из мира ершиков, обрезков и воздушных шариков, но, более того, в этих же терминах люди, по-видимому, и **осмысляют** окружающие их предметы. Мало кто думает о проводе как об очень-очень тонком цилиндре, а о компакт-диске как об очень коротком цилиндре, хотя с технической точки зрения именно таковыми они и являются. Мы представляем их себе как объекты, имеющие одно и два основных измерения соответственно. Точно так же обычно мы не думаем об озере как о полупрозрачной глыбе с плоским верхом, острыми краями и многочисленными деформациями, повторяющими очертания дна озера. Мы думаем о нем как о некоторой двухмерной поверхности^[60].

Схематическое представление предметов и их измерений оказывает влияние не только на то, как мы распознаем и визуализируем предметы, но иногда также и на то, как мы их осмысляем. Так, мы обычно думаем о коробке как о трехмерном полом контейнере. В классическом эксперименте на решение задач, который известен всем студентам-психологам, испытуемым дают книжечку со спичками, коробку чертежных кнопок и свечку и предлагают придумать способ, как прикрепить свечку к стене^[61]. Большинство людей оказывается при этом в полной растерянности. Они думают о коробке как о контейнере, и им не приходит в голову освободить ее от кнопок и прикрепить с помощью кнопок к стене, образовав для свечки двухмерную полку. Но когда

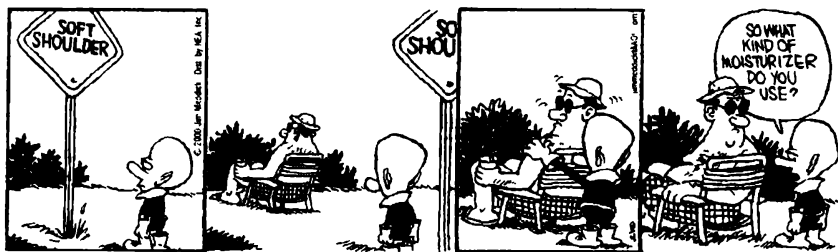
речь заходит о нашем теле, такой схематический подход приводит к противоположным результатам: мы обычно воспринимаем наше тело как нечто твердое, не как контейнер, и это порождает некоторые причудливые интуитивные убеждения. Исследователи искусственного интеллекта, пытающиеся понять природу здравого смысла, заметили, что если у человека в машине лежит сумка, а в сумке галлон молока, то человек охотно согласится, что галлон молока находится в машине. Но если в машине находится человек, а в его теле циркулирует галлон крови, то люди не считают, что галлон **крови** находится в машине. Исследователи эмоций обратили также внимание, что большинству людей кажется отвратительным есть суп из тарелки, в которую они сначала плюнули, хотя никому из них не становится противно от мысли, что его рот был с самого начала полон слюны^[62]. Известна шутка о маленькой девочке, которая засыпала в саду ямку, когда ее увидел сосед, взглянув поверх забора. На вопрос соседа, что она делает, девочка, заливаясь слезами, отвечает, что умерла ее золотая рыбка и она только что ее похоронила. Сосед участливо говорит ей, что, по его мнению, ямка слишком велика для золотой рыбки, на что девочка, утрабмовывая землю на ямке, возражает: «Это потому, что она находится внутри вашего глупого кота».

Давайте теперь вернемся к языку как таковому. Схематическое моделирование форм — это та разновидность геометрии, которая определяет большинство пространственных терминов как в английском, так и в других языках^[63]. Предлог, например, локализует расположение тела по отношению к некоторому предмету, служащему ориентиром, и, осуществляя это, предлог должен уточнять кое-что о форме тела и кое-что о форме ориентира. Наиболее распространенные предлоги типа *in 'в'*, *on 'на'*, *near 'около'* и *at 'у, при'*, ничего не говорят о том теле, положение которого определяется, и рассматривают его как нульмерную точку или как некий монолит^[64]. (В этом суть эффекта холизма, который мы наблюдали в главе 2, когда движение или изменение считалось затрагивающим некую сущность во всей ее целостности.) Вспомним, что все что угодно может находиться *in 'в'* или *on 'на'* чем-либо, будь то камешек, карандаш или бювар, и не имеет значения, в каком направлении они повернуты. В отличие от этого, предмет-ориентир, относительно которого определяется положение, должен иметь некоторое устройство, для того чтобы к нему был применим тот или иной предлог. Предлог *in*, например, требует наличия двух- или трехмерной полости. Предлог *along 'вдоль, по'* нуждается в одномерной основной оси: жук может ползти по карандашу, но не по компакт-дису, хотя двигаться по одномерному **краю** компакт-диска жук может. *Through 'через, сквозь'* требует двухмерного отверстия или некой совокупности, как в случае, когда рыба плавает сквозь воду или медведь пробирается

сквозь чашу. Для предлога *inside* 'внутри, в' обязательно наличие какого-либо замкнутого пространства, обычно трехмерного объекта.

Реальные описания расположения предметов в пространстве зависят от совместимости устройства предметов, определенного на уровне ершиков, и требований, предъявляемых пространственными терминами к наличию определенных измерений. Именно потому, что озеро мыслится как имеющее только два основных измерения, невозможно плавать *inside the lake* 'внутри озера', хотя с точки зрения геометрии это было бы вполне осмысленно. Ледерер задавался вопросом, почему по-английски говорят, что нечто находится *underwater* 'под водой' или *underground* 'под землей', хотя оно окружено водой или землей, а не находится под ними. Дело в том, что *water* 'вода' и *ground* 'земля' мыслятся как двухмерные поверхности, не как трехмерные тела, хотя с точки зрения геологии это совершенно неправдоподобно. Какие измерения есть у предмета — это тоже аспект его устройства, который «видят» модификаторы, когда соединяются с обозначением предмета в словосочетании. A big CD 'большой компакт-диск' — это диск, диаметр которого больше обычного, а не диск, у которого толщина превышает стандарт (о таком диске можно сказать только a thick CD 'толстый компакт-диск'), в то же время a big lake 'большое озеро' — это озеро, занимающее необычно большую площадь, независимо от его глубины; «большое озеро» не может быть шириной в несколько ярдов и глубиной в милю^[65].

В главе 3 мы видели, что когда объект, служащий ориентиром, представлен в виде нескольких стержней, пластин или шариков, его нужно насадить на оси, которые установят его направления и позволят локализовать относительно него соответствующее тело. Наиболее обычный для языка способ определения места и направления заключается в том, чтобы наложить на объект-ориентир человеческое тело и призвать на помощь подходящее к случаю название части тела^[66]. Мы наблюдаем это в английском языке в обобщенных пространственных терминах типа *back* 'спина' — «задняя или обратная часть», *face* 'лицо' — «передняя или лицевая сторона» и *head* 'голова' — «верхняя часть, верхушка», и даже еще более отчетливо в словах, которые сообщают нам больше об устройстве человеческого тела, как, например, *eye* 'глаз' («ушко» иголки, «центр» циклона), *nose* 'нос' («передняя часть самолета, лодки, машины»), *foot* 'ступня, нога ниже щиколотки' («ножка» стола, «подножие» горы), *mouth* 'рот' («устье» реки), *neck* 'шея' («узкий пролив, перешеек»), *elbow* 'локоть' («крутой изгиб дороги»), *finger* 'палец (на руке)' («остров или полуостров удлинненной формы»), *groin* 'пах' («волнорез»), *flank* 'бок' («склон горы»), *butt* 'ягодица' («нижняя утолщенная часть ствола дерева») и еще одно слово, которое, по-видимому, поставило в тупик иностранца мистера Пая в комиксе Monty, который приведен ниже:



Monty © United Feature Syndicate, Inc.

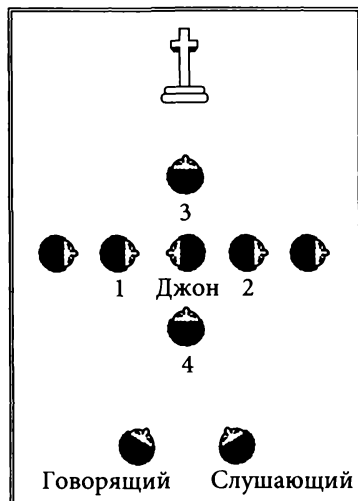
Надпись на табличке: «Грунтовая, не забетонированная обочина шоссе» (букв. 'мягкое плечо').

Мистер Пай: Интересно, каким увлажнителем Вы пользуетесь?

Разумеется, метафорическое употребление слов, называющих части человеческого тела, не является единственным источником терминов пространственных отношений. В главе 3 мы видели, как различные языки и различные термины в пределах одного языка производят свой выбор из списка возможных ориентиров. В их числе ориентир, основанный на силе тяготения, который использовался для предлога *above* 'над, выше'; геоцентрический ориентир, использованный для *north* 'к северу от'; направленный на объект ориентир, употребленный в случае *the car's right side* 'правая сторона автомобиля', и эгоцентрический ориентир, который был представлен в выражении *behind the pole* 'за столбом'. Этот общий список возможных ориентиров свидетельствует о способности зрительной системы человека применять к объектам разные системы координат, что мы наблюдали выше, на примере формы, которую можно было воспринимать и как квадрат, и как ромб (с. 183).

Одной из причин, почему описания пространства бывают столь раздражающе неопределенными, является то, что наши пространственные термины не фиксируют точно все возможные положения объекта-ориентира, насаженного на оси. Представим себе загорающую на солнце девушку, на согнутых коленях которой лежит книга и на бедро которой садится муха. Мы можем сказать, что муха находится *below her knee* 'ниже ее колена', если как ориентир мы выбрали силу тяготения, но мы можем сказать и то, что муха сидит *above her knee* 'выше ее колена', если в качестве ориентира мы возьмем тело девушки. В действительности, возможности путаницы еще более серьезные. Тэлми предлагает нам, например, вообразить говорящего и слушающего, находящихся в задней части церкви^[67]. Вереница людей движется слева направо лицом к правой стене. Джон находится в середине вереницы, но он повернулся кругом и стоит лицом к левой стене. По бокам его расположены два человека, оба лицом к передней части церкви, но один находится немного ближе Джона к алтарю, а другой немного ближе к входу в церковь. На рисунке, приведенном ниже, данная сцена изображена в общей перспективе.

Предположим, что нам нужно определить, кто стоит *in front of John 'перед Джоном'*? Говорящий может ответить, что это Лицо № 1, если он строит ось-ориентир относительно тела Джона. Но он мог бы сказать, что это Лицо № 2, если он ориентируется на вереницу людей. Он мог бы также утверждать, что это Лицо № 3, если ориентиром для него будет служить церковь и ее передняя и задняя части. Наконец, он может указать и на Лицо № 4, если будет исходить из линии обзора, соединяющей его с Джоном. Конечно, не все пространственные термины в языках мира столь же неопределенны, как английское *in front of 'перед, впереди'*, но все они в том или ином отношении двусмысленны.



Почему же так неадекватен наш повседневный язык пространства? Почему мы описываем пространство — всеобщую среду, в которой разворачивается любая практическая деятельность, — терминами, которые часто туманны, имеют дискретный характер, являются топологическими, схематичными и относительными? Как всегда, когда речь идет о вопросах, связанных с устройством языка (или чего угодно еще), ответ заключается в альтернативе: выборе между тем, чем можно пожертвовать, и тем, что нужно обязательно сохранить.

Вспомним предложенный мной гипотетический идеальный словарь пространственных слов, в котором предлоги были бы составлены из шести слогов по одному на каждое возможное положение предмета относительно ориентира. Очевидная трудность, которая при этом возникает, заключается в том, что мы обычно не любим шестисложные слова, особенно тогда, когда эти слова приходится употреблять все время, как это происходит с пространственными предлогами. (Предлоги *in 'в'* и *to 'к'*, например, входят в десятку наиболее частотных слов английского языка, а *on 'на'*, *at 'у, при'* и *from 'от'* ненамного от них отстают^[68].) Конечно, каждое из подобных неудобоваримых слов можно было бы заменить одним коротким, но это значительно увеличило бы число отдельных слов, которые пришлось бы запоминать детям. Даже если бы мы свели длину и углы только к семи градациям, нам пришлось бы запомнить больше ста тысяч слов, только чтобы овладеть пространственным словарем языка, и это еще до того, как мы добрались бы до **карбюраторов, дверных ручек и тромбонов**. Неудачные попытки найти разумный баланс между прозрачностью, точностью,

длиной слова и объемом словаря обрекли на провал различные проекты «совершенного языка» эпохи Просвещения, и в книге *Words and Rules* («Слова и правила») я утверждал, что многие свойства реальных языков возникли как компромисс между этими требованиями^[69].

Поскольку количество слов и слогов для языка не безразлично, языки — там, где это возможно, — проявляют экономию. Одной из причин, почему язык терпит неопределенность пространственных слов (и неопределенность вообще), является то, что многие потенциально двусмысленные термины уточняются при личном общении, когда говорящий и слушающий находятся в одном общем окружении и в любой момент осведомлены о том, что известно собеседнику. Но в газетных и других текстах слова вырваны из этого непосредственного диалога, и с ними имеют дело люди, незнакомые друг с другом и разделенные расстоянием.

В отношении пространственных слов экономия проявляется иным способом. Не все случаи нахождения одного предмета около другого заслуживают различения в равной степени. Вообразите, например, что ураган с дождем застал вас в десяти футах от нависающего выступа скалы. Если вы продвинетесь по направлению к нему на один фут, на вас все равно будет лить дождь. Продвинувшись еще на фут, вы по-прежнему будете под дождем. Продолжайте двигаться, и в какой-то момент вы больше не будете под дождем. Если вы продвинетесь еще на фут в том же направлении, вам не станет более сухо. Таким образом, природа создала некий разрыв непрерывности между тем сегментом дороги, где при постепенных изменениях положения на вас продолжал лить дождь, и тем ее сегментом, где при постепенных изменениях положения вы оставались одинаково сухим. И именно у этого разрыва можно было бы начинать описывать ваше положение, используя предлог *under* ‘под’, а не *near* ‘около, вблизи’^[70]. Выраженное в цифрах аналоговое расстояние и есть та мудрость, которая лежит в основе старой поговорки о том, что бейсбол — это *a game of inches* ‘игра на дюймы’, и пословиц, сходных по смыслу «чуть-чуть не считается», — *A miss is as good as a mile* ‘Промач есть промах’ (букв. ‘Промачнуться [немного] — все равно, что [промахнуться] на милю’) и *Close only counts in horseshoes and hand grenades* (букв. ‘Близость [к достижению цели] важна только, когда играешь в подковы и бросаешь ручные гранаты’).

Пространственные термины квантуют пространство на пиках, по разные стороны которых по-разному проявляются причинно-следственные события. Скажем, по мере того как ладонь человека постепенно сжимается вокруг мраморного шарика, изгиб, при котором говорящие перестают говорить, что шарик находится у человека на ладони, и начинают говорить, что шарик у него в руке, и есть приблизительно та форма, которая не даст шарикуну выкатиться и упасть, если его станут трясти. Точно так же положение веревки, которая находится around

а pole 'вокруг столба', отличается от положения просто by the pole 'около столба'. Невнимание к качественным компонентам семантики предлога может иметь трагические последствия:

**Женщина из Ньютона¹⁾, спасенная
из замерзшего пруда в Линкольне, умерла**

Женщина, которая в воскресенье провалилась сквозь тонкий лед и пробыла под водой не менее 90 минут, вчера умерла. Между тем Департамент пожарной безопасности Линкольна сделал заявление о том, что спасение женщины значительно задержалось из-за взаимонепонимания между звонившим, который сообщил о несчастном случае, и диспетчером... Глава департамента пожарной безопасности Линкольна заявил, что промедление было вызвано путаницей, связанной с тем, что спасатели подумали, будто женщина упала на лед, не под лед, и это привело к тому, что они прочесывали лес, чтобы найти место происшествия^[71].

Следовательно, предлог обычно охватывает определенную область конфигураций, сходных в том, какие действия они допускают, а также в отношении зрительного восприятия, стабильности и состояния покоя. Подобная схема перевода в цифровую форму, оцифровка, более экономична, чем полный набор координат; кодируя причинно-следственный разрыв в мире реальности с помощью бинарного противопоставления наличия или отсутствия символа, мы получаем больше информации на один бит. Но еще более важное преимущество заключается в том, что каузальные возможности конфигурации становятся **эксплицитными**. Пространственный символ, как только он закодирован в памяти, может быть самым непосредственным образом задействован в алгоритмах мышления. Для того чтобы определить, намокнет ли нечто от дождя, нет нужды производить геометрические расчеты на основе базы данных о положениях объектов; можно просто проверить, наличествует ли символ **под** или нет.

Из сказанного, разумеется, не следует, что существует единственный, оптимальный путь выстраивания пространственных отношений. Конечно же, не все языки строят их одинаково^[72]. Можно предположить, что это объясняется тем, что природа наделяет пространство многочисленными причинно-следственными разрывами и предоставляет языкам выбор, а также тем, что каждый язык по-своему решает вопрос о том, каков будет баланс между выразительностью, точностью, длиной слов и общим объемом словаря. Однако квантование пространственных отношений носит универсальный характер, и выражение таких важных с точки зрения причинности отношений, как контакт, прикрепление, выравнивание по прямой, вертикальное рас-

¹⁾ Пригород Бостона. — Прим. перев.

положение и соседство, можно найти в лексике пространства во всех языках мира.

Когда Пол Блум и я впервые высказали предположение о том, что пространственные термины соответствуют важным для человека разрывам в причинно-следственных связях, мы исходили тогда только из нашей собственной интуиции^[73]. Недавно наша догадка была подтверждена экспериментами Кенни Кавентри, Саймона Гэррода и других. Они показывали испытуемым фотографии, на которых были изображены необычные расположения предметов, и просили определить, насколько для описания этих расположений подходят те или иные предлоги^[74]. В результате экспериментов было обнаружено, что интуитивное восприятие людей чувствительно не только к чисто геометрическому аспекту расположения предметов, но также и к тому, что предметы могут **делать**. Так, электрическая лампочка признавалась находящейся **в** патроне, когда в патрон был вставлен ее цоколь, потому что это позволяло ее включить, но человек не считался находящимся **в** автомобиле, если он только засунул в него руку через окно, потому что это не позволяло автомобилю ни увезти его, ни даже укрыть. Положение, при котором испытуемые считали, что зонтик находится **над** человеком, зависело от того, когда зонтик лучше всего защищал человека от проливного дождя, а тюбик зубной пасты оценивался как находящийся **над** зубной щеткой не тогда, когда он располагался над ее центром, а когда он был ближе всего к ее щетинкам, такой вот своеобразный компромисс между геометрией и функциональностью.

Таким образом, как мы видим, понятие пространства, выраженное в языке, совершенно не похоже на всеобщую, непрерывную, пустую Эвклидову среду, которую Кант признавал матрицей опыта. Оно состоит из цифровых символов, идеализированно представляющих предметы в виде стержней, пластин и шариков, которые насаживаются на оси и монтируются в сочлененные структуры. И эти символы соотносятся не только с просторами материи и пространства, но и с силами и факторами, которые управляют тем, как мы используем контейнеры, застежки и орудия труда. Речь не идет о том, что Кант был неправ, когда предположил, что в мозгу человека существует понятие чистого пространства, абстрагированного от содержания, полученного из реального мира. Дело в том, что это понятие мы встречаем на двух ступенях иерархической лестницы человеческого познания, перескакивая через ту ступень, на которой обычно мы находимся, когда говорим и думаем. На нижнем уровне пространственная среда организует нашу врожденную способность зрительного восприятия и образного мышления, как мы видели в начале данной главы, когда рассматривали, какую роль пространство играет для воображения. На верхнем же уровне понятие пространства может изучаться в школе как часть эксплицитной системы знаний о пространстве, которую называют наукой геометрией.

Бенджамин Франклин некогда сказал: *Do not squander time, for that is the stuff the life is made of* ‘*Не тратьте время попусту, ведь время — это та материя, из которой сделана жизнь*’. Наше сознание, даже в еще большей степени, чем оно включено в пространство, разворачивается во времени. Так, я могу представить себе, например, что из моего сознания исключили пространство, — что я плаваю в некоем сенсорно-депривационном резервуаре, полностью лишаящем человека чувствительности, или что я потерял зрение и меня разбил паралич, — но что несмотря на все это я охранил способность мыслить как обычно. Однако почти невозможно вообразить, что из нашего сознания устраняется **время** и последняя мысль оказывается остановленной, как заевший клаксон автомобиля, и что при этом мозг вообще продолжает функционировать. Для Декарта именно этим было обусловлено различие между материальным и идеальным. Материя разворачивается в пространстве, но сознание существует во времени, и это столь же бесспорно, как «Я мыслю, значит, я существую».

В отношении времени, так же как в отношении всех других аспектов природы человека, высказывались утверждения, что где-то существуют культуры, в которых понятие времени якобы отсутствует. Лингвист Бернард Комри проанализировал эти утверждения и пришел к выводу, что они не являются достоверными^[75]. Человек, принадлежащий к культуре, в которой отсутствует понятие времени, не смог бы сделать обобщение о том, что люди неизменно рождаются, взрослеют, старятся и потом умирают, и поэтому он бы не удивился, если бы встретил кого-то, кто сначала был трупом, затем вернулся к жизни как престарелый человек, становился бы все моложе и моложе и в конце концов исчез бы в утробе матери. Всем известно, что общество, где жили бы подобные безумцы, не существует. А везде в мире люди в обществах упорядочивают события своей жизни во времени в виде автобиографий и генеалогического древа, а также в своей истории и в мифах о сотворении мира или о прибытии своих предков^[76].

Люди также отслеживают время при помощи слов и конструкций своего языка. Во многих языках последовательность событий выражается обстоятельственными словами типа *yesterday* ‘вчера’ или *a long time ago* ‘давным-давно’. Примерно в половине языков мира время запечатлено в грамматике в форме категории времени^[77]. Семантика времени подсказывает, что даже утверждение о том, что многие народы представляют себе время циклично, не следует понимать слишком буквально. Хотя люди осознают периодическую повторяемость дней, лет и фаз луны, это не отменяет осознания ими линейной последовательности событий, составляющих течение жизни. Ни в одном языке

нет, например, формы времени, которая означала бы «в настоящий момент или в эквивалентной точке другого цикла»^[78].

Наше интуитивное понимание времени отличается, однако, от бесконечного космического потока, каким представляли себе время Ньютон и Кант. Начнем с того, что в нашем опыте настоящее время не является бесконечно малым мгновением. Оно охватывает некоторый минимальный отрезок времени, некое движущееся окно в жизнь, через которое мы видим не только мгновенное «сейчас», но и кусочек недавнего прошлого и кусочек надвигающегося будущего. Уильям Джеймс назвал его *the specious present* 'обманчивое настоящее':

The practically cognized present is no knife-edge, but a saddle-back, with a certain breadth of its own on which we sit perched, and from which we look in two directions into time. The unit of composition of our perception of time is a duration, with a bow and a stern, as it were—a rearward- and a forward-looking end... We do not first feel one end and then feel the other after it, and from the perception of the succession infer an interval of time between, but we seem to feel the interval of time as a whole, with its two ends embedded in it.

Настоящее время, осмысленное с точки зрения практики, представляет собой не острие ножа, но имеющую некоторую собственную протяженность седловину горы, на которой мы сидим и с которой вглядываемся во время в двух направлениях. Единица структуры нашего восприятия времени — это временной отрезок, у которого есть носовая часть и корма, так сказать, конец, обращенный назад, и конец, обращенный вперед... Мы не ощущаем сначала один конец, а потом другой после него, и не заключаем из восприятия их последовательности об интервале времени в промежутке, но мы, по-видимому, ощущаем интервал времени как нечто целое, с двумя его концами, в нем запечатленными^[79].

Сколько длится «обманчивое настоящее время»? Исследователь мозга Эрнст Пеппель предложил ответ, сформулированный как закон: *We take life three seconds at a time* 'Мы воспринимаем время по три секунды за раз'^[80]. Этот промежуток времени равен, более или менее, продолжительности целенаправленного движения, например, рукопожатия; это также длительность непосредственного планирования точного движения, например, удара по мячу при игре в гольф; время колебаний человека при оценке двусмысленной фигуры (подобной тем, что были приведены на страницах 60 и 183); период времени, в течение которого мы способны точно воспроизвести интервал; время, в течение которого происходит затухание нетренированной краткосрочной памяти; время, необходимое для принятия быстрого решения (как в случае, когда мы переключаем телевизор с одного канала на другой), и, наконец, это продолжительность высказывания, поэтической строчки или музыкального мотива, такого, скажем, как начало Пятой симфонии Бетховена.

Время, по крайней мере в том виде, как оно выражено в грамматическом механизме языка, отличается от времени, как его понимал Ньютон, еще тем, что не измеряется в каких-либо единицах. Формы времени, представленные в языке, членят ленту времени на ряд сегментов, таких как обманчивое настоящее, будущее вплоть до бесконечности и все прошлое мира, предшествующее моменту речи. Иногда прошлое и будущее подразделяются на промежутки «ближайшее» и «отдаленное», аналогично дихотомии here 'здесь' и there 'там' или near 'вблизи' и far 'вдали'. Но ни в одной грамматической системе время не исчисляется, начиная от какой-нибудь фиксированной точки (как это делаем мы в нашем специальном словаре, отталкиваясь от традиционной даты рождения Иисуса Христа), и не используются постоянные числовые единицы, подобные секундам или минутам^[81]. Это делает локализацию событий во времени в высшей степени неопределенной, как в случае, когда Граучо Маркс сказал хозяйке дома, у которой был в гостях: I've had a perfectly wonderful evening. But this wasn't it 'Я совершенно замечательно провел вечер. Но это было не сегодня'.

Наблюдается значительное сходство в том, насколько точно языки способны выразить количество, пространство и время^[82]. Используя сочетания слов, можно с помощью количественных словосочетаний с любой степенью точности, от бесконечно малых величин до бесконечно больших, выразить количество (three hundred and sixty-two 'триста шестьдесят два'), направление (the third house on the right off Exit 23 'третий дом с правой стороны от съезда с магистрали № 23'), а также даты и сроки (seven forty-two p. m. 'семь часов сорок две минуты после полудня', May seventeenth 'семнадцатое мая', nineteen seventy seven 'тысяча девятьсот семьдесят седьмой год'). Но если ограничиться только простыми и сложными словами, тогда число выражаемых различий резко сокращается — для количества до нескольких слов, таких как one 'один', two 'два', twelve 'двенадцать' и twenty 'двадцать' (или, как во многих языках, только один, два и много); для пространства — это предлоги, такие как across 'через, сквозь' и along 'вдоль, по'; применительно к времени — наречия времени, такие как now 'теперь', yesterday 'вчера' и long ago 'давно'. Если же мы обратимся к различиям, закодированным в грамматике, то они оказываются еще более схематичными. В английском языке, например, мы различаем только два числа (единственное и множественное) и, по всей видимости, пять времен (в зависимости от того, как их считают); это похоже на существующую во многих языках дихотомию в области пространства — членение на «здесь» и «там».

Неточность выражения времени в языке связана с неточностью того, как люди воспринимают и вспоминают время. Хотя никто из нас не воспринимает время так грубо, как можно было бы подумать, исходя из весьма немногочисленных различий, представленных в граммати-

ческий системе, мы не живем также и по мысленному секундомеру с остановом^[83]. Существует анекдот об отце, который попросил сына-физика объяснить ему теорию относительности Эйнштейна. Объяснение, предложенное сыном, было таким: «Понимаешь, отец, дело обстоит так. Когда ты сидишь в кресле у зубного врача, минута кажется тебе часом. Когда же у тебя на коленях сидит хорошенькая девушка, час кажется тебе минутой». Подумав немного над услышанным, отец произнес: «Скажи мне, неужели м-р. Эйнштейн зарабатывает на жизнь, говоря подобные вещи?»

Будем справедливы к Альберту Эйнштейну и укажем, что согласно его теории время относительно с точки зрения инерциальной системы, в которой оно измеряется, но это не означает, что оно субъективно. Субъективным, конечно же, является переживание времени человеком, и время ускоряет или замедляет свой ход в зависимости от того, насколько важным, разнообразным и приятным кажется человеку тот или иной отрезок времени. Однако один аспект теории Эйнштейна находит соответствие в психологии времени, по крайней мере в том, как она выражена в языке, — речь идет о глубинной эквивалентности времени и пространства.

Сходство между временем и пространством настолько прозрачно, что мы каждодневно используем пространство, чтобы репрезентировать время в календарях, песочных часах и других измеряющих время приборах. Когнитивное сходство обнаруживается также в повседневных метафорах, в которых пространственные термины используются для указания на время. Джордж Лакофф и Марк Джонсон исследовали некоторые из таких «концептуальных» метафор, названных так потому, что они представлены в языке не одним тропом, а целой группой образных выражений, в основе которых лежит одно и то же понятие^[84]. В метафорах **ориентации во времени** наблюдатель находится в настоящем времени, прошлое расстилается позади него, а будущее простирается перед ним, как в предложениях *That's all behind us* 'Это все у нас позади'; *We're looking ahead* 'Мы смотрим вперед' и *She has a great future in front of her* 'У нее впереди блестящее будущее'. Кроме того, метафорическое движение может быть изображено в ситуации двояко. В метафорах **движущегося времени** время, подобно процессии, проходит мимо неподвижного наблюдателя: *The time will come when typewriters are obsolete* 'Наступит время, когда пишущие машинки устареют'; *The time for action has arrived* 'Пришло время действовать'; *The deadline is approaching* 'Приближается крайний срок'; *The summer is flying by* 'Лето уносится прочь'. Но существуют также метафоры с **движущимся наблюдателем**, в которых ландшафт времени неподвижен, а наблюдатель проходит сквозь него: *There's trouble down the road* 'Дальше по дороге творится что-то неладное'; *We're coming up on Christmas* 'Мы приедем на Рождество'; *She left at nine o'clock* 'Она уехала

в девять часов'; We passed the deadline 'Мы превысили крайний срок'; We're halfway through the semester 'Мы перевалили через середину семестра'. Как отмечают Лакофф и Джонсон, два указанных типа метафор несовместимы, несмотря на то что в обоих из них пространство используется для выражения времени. И в результате высказывания типа Let's move the meeting ahead a week 'Давайте передвинем встречу на неделю' оказываются двусмысленными. Они могут означать «назначим встречу на неделю раньше», если ahead 'вперед' определяется движением времени мимо наблюдателя, или, наоборот, их можно понять, как «перенесем встречу на более поздний срок», если ahead определяется движением наблюдателя через ландшафт времени. (Обратите внимание на аналогию с мухой, которая находилась на бедре загорающей девушки одновременно и **выше** ее колена и **ниже** его.)

Хотя использование пространства для репрезентации времени носит универсальный характер, способы сопоставления времени с пространством могут варьировать^[85]. Только в одном языке — английском — метафоры движущегося времени и метафоры движущегося наблюдателя сосуществуют с временем, выступающим в качестве преследователя, — Old age overtook him 'Старость настигла его', и со временем, которое осмысляется как движение по вертикали, — Traditions were handed to them from their ancestors 'Традиции перешли к ним от их предков'. Вертикальное представление времени в метафорах еще более распространено в китайском языке, причем более ранние события обозначаются как находящиеся up 'наверху', а более поздние — как находящиеся down 'внизу', что, как полагают, связано с особенностями китайской системы письма^[86]. В отличие от этого, в языке аймара, на котором говорят индейцы, обитающие в Андах, время в метафорах повернуто на 180 градусов, так, что будущее выражается там как находящееся позади, а прошлое — как находящееся впереди^[87]. На первый взгляд, такие метафоры необычны, однако когда мы исследуем понятие будущего, то увидим, что они не так уж причудливы, как может показаться.

Метафора — не единственный способ, с помощью которого язык соотносит время с пространством. Время может быть связано с пространством и материей еще более глубоко: в семантике грамматической категории времени и в семантике глаголов. Аналогия здесь является более глубокой, чем в метафорах, потому что речь идет уже не о простом использовании для времени и пространства одних и тех же слов. Аналогия заметна в сходстве **структурирования** времени, пространства и материи при отсутствии каких бы то ни было явно выраженных языковых связей между ними.

Время закодировано в грамматике двумя способами. Привычный способ — это грамматическое время (*tense*), которое можно осмыслить как «локализацию» события или состояния во времени, сравните, на-

пример, различие между *She loves you* 'Она любит вас', *She loved you* 'Она любила вас' и *She will love you* 'Она полюбит вас'. Другой измеритель времени — это аспект (*aspect*, вид) (мы уже сталкивались с этим явлением в главе 2); его можно рассматривать как **форму протекания** события во времени. Аспект имеет дело с различием между *to swar a fly* 'прихлопнуть муху', которое концептуализировано как мгновенное действие (иначе говоря, как находящееся в пределах обманчивого настоящего времени); *to run around* 'бегать вокруг', которое не имеет завершения, и *to draw a circle* 'чертит круг', которое достигает кульминации в событии, завершающем действие. Аспект может также выражать третий тип информации, относящейся к времени, — **точку зрения** на событие. Событие можно описать, как если бы оно было увидено изнутри (в разгар события по мере его развертывания), как в предложении *She was climbing the tree* 'Она карабкалась на дерево', или как если бы на него смотрели извне (взятое в целом), как в случае *She climbed the tree* 'Она вскарабкалась на дерево'^[88]. (Термин «аспект» восходит к латинскому глаголу *ad-specere* 'смотреть (на)' и он родствен таким словам, как *perspective* 'перспектива, вид', *spectator* 'зритель' и *spectacles* 'очки'.)

Большинство людей хоть как-то слышаны о категории времени, но лишь очень немногие слышали об аспекте, потому что эти две категории часто смешиваются и на уроках языка, и в традиционных грамматиках. И время, и аспект относятся к времени и оба выражаются сходными средствами, а именно глаголами и вспомогательными словами. И, как мы увидим дальше, некоторые флексии глагола выражают частично время, а частично аспект, что затрудняет их разделение. Однако с точки зрения выражаемых понятий они совершенно независимы друг от друга — событие, которое разворачивается во времени определенным образом (аспект), может происходить и вчера, и сегодня, и завтра (время). И что примечательно, и время, и аспект имеют свой отдельный аналог в сфере пространства и материи. Как мы увидим, значение времени (локализация во времени) сходно со значением пространственных терминов, а значение аспекта (форма протекания во времени и точка зрения на протекание события во времени) имеет сходство со значением слов, называющих предметы и вещества, включая формы множественного числа, наличие границ и различие счетности — вещественности.

Время считается наиболее запутанной частью грамматики. В своей колонке *Ask Mister Language Person* («Спросите лично у господина Языка») Дэйв Барри отвечает на следующую просьбу:

Q: Please repeat the statement that Sonda Ward of Nashville, Tenn., swears she heard made by a man expressing concern to a woman who had been unable to get a ride to a church function.

A: He said: «Estelle, if I'd a knowed you'd a want to went, I'd a seed you'd a got to get to go».

Q: What tense is that, grammatically?

A: That is your pluperfect consumptive.

Вопрос: *Повторите, пожалуйста, слова, которые, как клянется Сонда Уорд из Нэшвилля, штат Теннесси, она слышала, как произнес мужчина, выражавший сочувствие женщине, которая не смогла попасть на богослужение в церковь.*

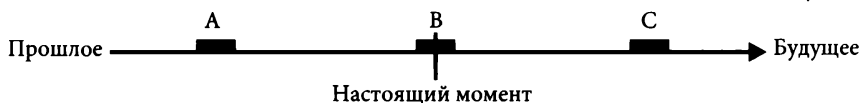
Ответ: *Он сказал: «Эстелл, если б я знал, что ты захочешь пойти, я б проследил, чтоб ты смогла пойти».*

Вопрос: *Какое это время с грамматической точки зрения?*

Ответ: *Это ваш плюсквамперфект чертов.*

Ужас, внушаемый категорией времени, возникает из-за того, что времена сочетаются с глаголами, аспектами, наречиями и друг с другом весьма запутанным образом (как в предложении Brian said that if Barbara walked home, he would walk home too 'Брайен сказал, что если Барбара пойдет домой, он пойдет домой тоже'). Тем не менее основное значение категории времени совершенно ясно.

Лучше всего понять язык времени можно, описав его, естественно, с помощью пространства. Возьмем прямую линию, которая идет из прошлого через настоящий момент в будущее. Возможные ситуации (то есть события и состояния) можно представить на этой прямой в виде некоторых отрезков:



В английском языке три основных времени не представляют никаких трудностей: форма прошедшего времени употребляется для ситуации (А) на диаграмме (ситуация предшествует моменту речи), настоящее время используется для ситуации (В) (ситуация совпадает с моментом речи) и будущее время используется для ситуации (С) (ситуация следует за моментом речи). Однако для других времен английского языка и многих времен других языков нам придется ввести третий момент, связанный с временем: не только событие, о котором говорят, и не только момент, когда говорят (то есть настоящий момент), но еще и **референциальное время** (reference time, время-ориентир): событие, которое было установлено в ходе общения и которое служит в качестве «сейчас» для действующих лиц повествования. (Часто «сейчас» для действующих лиц совпадает с «сейчас» для говорящего, но иногда они различаются. Например, если сегодня пятница, а я рассказываю историю о том, что делала Салли в понедельник, тогда понедельник

является «сейчас» для Салли, и это и есть референциальное время, хотя для меня это уже больше не «сейчас».) Таким образом, мы можем определить время, поставив два вопроса:

- 1) имеет ли место событие до, после или одновременно с референциальным временем?
- 2) имеет ли место референциальное время до, после или одновременно с моментом речи?

С учетом двух дополнительных усложнений — в ряде языков существуют два и более референциальных времени, а некоторые языки различают еще «раньше» и «намного раньше», а также «позже» и «намного позже» — ответы на два указанных выше вопроса охватывают, по мнению Комри, значение любого времени в любом языке (можно предположить, что даже плюсквамперфект чертов) [89].

В английском языке референциальное время не играет никакой роли в прошедшем, настоящем и будущем времени, но оно необходимо для определения двух других основных времен. Плюсквамперфект — *She had written the letter* «Она написала письмо» — показан на диаграмме как относящийся к ситуации (E):



Он подразумевает, что написание письма (D) имело место до «сейчас» (E) в рассказываемой истории, а это предшествовало моменту произнесения предложения. Ситуация становится более очевидной, когда мы конкретизируем участников, дав им имена: *Francesca had already written the fateful letter when the count knocked at the door* «Франческа уже написала роковое письмо» (событие, которое локализуется), *когда граф постучал в дверь* (событие в прошлом, являющееся референтом). Перфектная форма будущего времени — *Francesca will have written the letter* «Франческа уже напишет письмо» — отличается только тем, что событие-референт имело место **позже** настоящего времени:



Я уже упоминал, что формы времени (локализация событий во времени) ведут себя подобно предлогам и другим пространственным

терминам (локализация в пространстве). Категория времени локализует ситуацию только относительно некоторого ориентира (момент речи или событие-референт), но не в фиксированной системе координат, таких как часы или календарь. Для нее важно направление (до или после), но безразлично абсолютное расстояние (дни, часы, секунды). И она обычно не обращает внимания на то, как устроено локализуемое явление, поскольку воспринимает его как точку или частицу, не имеющую видимой внутренней структуры.

Но время не тождественно пространству ни в реальности, ни в мышлении, и это ведет к некоторым различиям между формами времени и пространственными терминами^[90]. Самое очевидное различие состоит в том, что время имеет одно измерение, поэтому форм времени меньше, чем пространственных терминов. И в силу одномерности времени настоящий момент («сейчас») вторгается между прошедшим и будущим временами так, что его никак нельзя обойти, и это неотвратимо разделяет время на две не соприкасающиеся между собой области. Поэтому в отличие от пространства, где в английском языке существуют такие слова, как *there 'там'*, *far 'далеко'* и *away from 'вдали от'*, которые относятся ко всему пространству кроме *here 'здесь'*, ни в одном языке нет формы времени, которая указывала бы на все время, кроме пов *'сейчас'*, и объединяла бы прошлое и будущее единым обозначением. (Есть один контрпример, но это слово, а не форма времени: *then 'тогда'* может относиться и к прошлому, и к будущему, как в случае *She saw him then 'Она увидела его тогда'* и *She will see him then 'Она увидит его тогда'*.)

Другое существенное различие между временем и пространством заключается в том, что два направления времени очень неодинаковы^[91]. Прошедшее время застыло, и его нельзя изменить (за исключением научной фантастики, сравните, например, фильм «Назад в будущее»), тогда как будущее — это лишь потенциальная возможность, и его можно изменить теми решениями, которые мы принимаем в настоящем. Такая интуитивная метафизика находит отражение в том, что во многих языках проводится только бинарное различие между прошлым и непрошлым, а непрошлое охватывает и настоящее, и будущее. Многие языки вообще не выражают будущее в системе времени, но только как различие между событиями, которые реально имели место или происходят сейчас (*realis*), и событиями, которые являются предположительными, обобщенными или относятся к будущему (*irrealis*). Метафизическое и эпистемологическое различие между прошлым и будущим лежит также в основе метафоры в языке аймара, в которой прошлое располагается спереди, а будущее сзади. Прошлое уже свершилось и оно известно, как если бы его можно было видеть перед собой, тогда как будущее подвержено неожиданным изменениям

и является непостижимым, как если бы оно было вне поля зрения человека.

Даже в английском языке статус будущего времени отличается от статуса других времен. Так, оно выражается не формой глагола, а вспомогательным модальным словом *will*. Не случайно, что показатель будущего времени имеет синтаксические особенности, сходные со словами, выражающими долженствование (*must*), возможность (*can, may, might*) и моральное обязательство (*should, ought to*), потому что то, что произойдет, концептуально связано с тем, что должно произойти, что может произойти, чему следовало бы произойти, и тем, что, как мы надеемся, произойдет. Само слово *will* имеет расплывчатое значение, колеблющееся между значением будущего времени и выражением решимости (как в предложении *Sharks or no sharks, I will swim to Alcatraz 'Будут акулы или нет, я все равно поплыву в Алькатрас'*), а его омонимы мы обнаруживаем в выражениях *free will 'свободная воля'*, *strong-willed 'волевой, с сильной волей'* и *to will something to happen 'желать, чтобы нечто произошло'*. Та же двойственность значения между будущим временем и тем, что предначертано, наблюдается и у другого маркера будущего времени — *going to* или *gonna*. Все выглядит так, как будто язык подтверждает веру людей в то, что они обладают властью творить свое собственное будущее. Можно было бы подумать, что эта особенность является следствием определенной жизненной позиции — стремления к успеху любой ценой, состояния духа «я все могу», отражением протестантской этики труда, пронизывающей всю англосаксонскую культуру. Но ничего подобного: в языках самых разных культур по всей земле показатели будущего времени развиваются из глаголов, означающих изъявление воли, или из глаголов движения совершенно так же, как это произошло в английском языке ^[92].

Смешение значений волеизъявления и будущего времени проявляется также в том, что будущее время по-разному используется при обозначении говорящим своих действий и действий других людей. Все люди, кроме разве что тоталитарных деспотов, могут предвидеть свое собственное ближайшее будущее более надежно, чем будущее другого человека, поэтому соотношение значений преднамеренности и предсказуемости, совмещенных в показателе будущего времени, может быть различным для первого лица и для второго и третьего лица. Согласно мнению экспертов в области лингвистики, в английском языке правильным служебным словом для первого лица является *shall*, а для второго и третьего — *will*; если их поменять местами, мы получим декларацию о намерении, а не подлинное будущее время. Так, *I will drown, no one shall save me 'Я утону, никто не спасет меня'* — это данное в сердцах обещание совершить самоубийство; *I shall drown, no one will save me 'Я утону, никто меня не спасет'* — это патетическое предсказание обреченного бедолаги. Я не думаю, что в прошлом веке все говорящие

проводили такое различие между *will* и *shall*; как представляется, Уинстон Черчилль был настроен весьма решительно, когда заявлял: *We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender* 'Мы будем сражаться на побережьях, мы будем сражаться на причалах, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем сражаться в горах; мы никогда не сдадимся'. Вместе с тем во многих языках будущее время, действительно, сопряжено с понятиями возможности и решимости. Это также объясняет одно загадочное явление из области времени, на которое обратил внимание Зонкер Харрис в комиксе *Doonesbury*:



Doonesbury © 2002 G. B. Trudeau. Reprinted with permission of Universal Press Syndicate. All rights reserved

Первый официант: Послушай, Ньют, как ты думаешь, почему они поменяли все фразы в нашей инструкции на будущее время? Например, «Вот это будет ваш стол», и «Мы предложим вам три сорта хлеба», и «Шеф-повар приготовит это на основе арахисовой скорлупы».

Ньют: Понимаешь, будущее время сейчас используют во всех шикарных ресторанах. Считается, что это придает нам элегантности.

Первый официант: О!

Ньют: Это также удобно, если запаздывает еда.

Первый официант: Правильно! Это дает посетителям надежду!

Будущее время часто используется бортпроводниками на авиарейсах и обслуживающим персоналом в модных ресторанах как проявление вежливости. Употребляя будущее время, говорящий как бы показывает, что он не исключает никакого возможного развития событий, и испрашивает одобрение слушающего на каждом этапе, до того как будет принято окончательное решение. Как мы увидим в главе 8, это не что иное, как пример весьма распространенной тактики вежливости в языках мира: делайте вид, что предоставляете слушающему возможность выбора^[93].

Хотя носители английского языка используют его систему времен без каких бы то ни было усилий, тех, кто выучил английский во взрослом состоянии, она часто приводит в замешательство. Собирая материал для данной главы, я встретил в статье, написанной одним

итальянским лингвистом, следующее предложение: It may be useful to step back and get a more general picture of what goes on 'Полезно, на-верное, отступить назад и получить более общую картину того, что происходит'. Ни один носитель английского языка не мог бы написать такое предложение; говорящие, для которых английский язык является родным, написали бы of what is going on 'того, что происходит'¹⁾. Но почему? Ответ заключается в том, что в английском языке существуют два настоящих времени — простое настоящее (it goes) и настоящее длительное (it is going), и они не взаимозаменяемы. Различие между ними связано не с грамматической категорией времени, а со вторым способом, каким язык кодирует время, — с аспектом.

Вспомним, что аспект относится к **форме протекания** события во времени и к **точке зрения** на событие. Под «формой» я понимаю то, как событие разворачивается во времени. Лингвисты разделяют глаголы на классы, каждый из которых называется *Aktionsart*, что по-немецки значит «тип действия», исходя из временного контура, то есть, формы протекания во времени^[94]. Самый глубокий водораздел проходит между «состояниями», в которых не происходит никаких изменений, как в случае to know answer 'знать ответ' или to be in Michigan 'быть в Мичигане', и «событиями», при которых нечто происходит. События, в свою очередь, подразделяются на те, что могут длиться неопределенно долго, типа to run around 'бегать вокруг' или to brush one's hair 'причесывать волосы', и события, достигающие кульминации при завершении, типа to win a race 'выиграть скачку' или to draw a circle 'начертить круг'. Глаголы, имеющие завершение, называются «предельными» (telic, от греч. *telos* — «конец», «предел»; то же происхождение имеет слово teleology 'телеология'). Завершение представляет собой обычно изменение состояния прямого дополнения, каузированное действующим лицом. Действие «черчения круга», например, заканчивается, когда круг полностью начерчен^[95]. Говорят, что некая Лиззи Борден (из Массачусетса), взяв топор, нанесла мачехе сорок ударов. Если это правда, то она **убила** мачеху (событие, имеющее завершение) в тот момент, когда был нанесен удар, оказавшийся для мачехи смертельным. (В действительности, случилось так, что Борден была оправдана судом присяжных.)

Глаголы разделяются также в зависимости от того, описывают ли они событие как длящееся во времени, например, to run 'бежать' или to draw a circle 'чертить круг' (такие глаголы называются «дуративными»), или как мгновенное, например, to win a race 'выиграть скачку' или to swat a fly 'прихлопнуть муху'. Конечно, произвести по-настоящему мгновенное действие способен только Супермен; остальным смертным приходится сначала поднять мухобойку, потом опустить ее,

¹⁾ Используя здесь длительную форму. — Прим. перев.

прихлопнуть муху и т. д. Однако событие может быть осмыслено как мгновенное, если оно находится в пределах обманчивого настоящего времени. Лингвисты называют такие события *momentaneous* 'моментальными', очаровательным словом, которое последний раз было модно в семнадцатом веке.

Чтобы хорошенько проникнуться всем этим, следует снова зрительно представить себе время в виде прямой линии^[96]. Изобразим событие, у которого отсутствуют фиксированные границы (типа *to run around* 'бегать вокруг'), в виде отрезка с неопределенными краями:

Прошлое —————> Будущее

Такое событие называется «деятельностью» (*activity*), оно является дуративным (то есть длится во времени) и неопредельным (у него нет внутреннего предела). Теперь изобразим значком мгновенное событие, подобное *to swat a fly* 'прихлопнуть муху':

Прошлое —————> Будущее

Предельное событие не имеет фиксированного начала, но по определению у него есть завершающий момент, когда действующее лицо осуществляет задуманное изменение:

Прошлое —————> Будущее

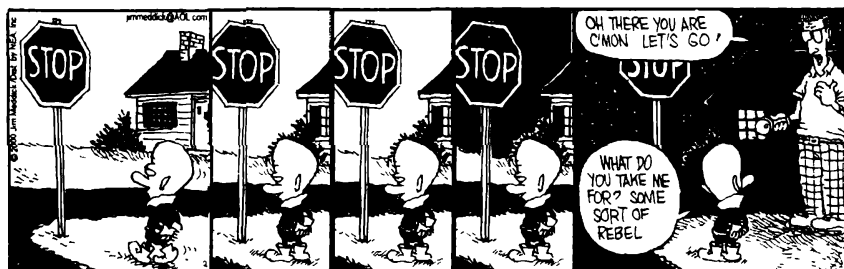
Предельное событие можно описать двояко: либо используя дуративный глагол, который охватывает и нарастание, и кульминацию, как *to draw a circle* 'чертить круг', либо с помощью моментального глагола, который концентрирует внимание на наивысшей точке, как *to win the race* 'выиграть скачку', *to reach the top* 'достичь вершины' или *to arrive* 'приехать'. (Лингвисты различают эти два случая, называя их разными терминами — в первом случае *accomplishments* 'завершения', а во втором *achievements* 'осуществления', что часто приводит к путанице. Я, например, никак не могу упомянуть, что есть что, и поэтому последний случай я буду называть *culminations* 'кульминации'.) Существуют, кроме того, глаголы итеративные, или многократные, например, *to pound a nail* 'забивать гвоздь':

Прошлое —————> Будущее

и глаголы, указывающие на начало состояний, — начинательные (инцептивные или инхоативные), такие как *to sit down* 'садиться' (в отличие от глагола *to sit* 'сидеть', означающего деятельность):

Прошлое —————> Будущее

Различие между начинательными глаголами и глаголами мгновенными можно проиллюстрировать с помощью нашего друга мистера Пая, пришельца из космоса, чье слишком буквальное понимание английского языка уже помогло пролить свет на ряд тонких семантических различий:



Monty © United Feature Syndicate, Inc

Надпись на знаке: «Стоп».

Человек: А, вот вы где... Поторапливайтесь... Идите же!

Мистер Пай: За кого вы меня принимаете? Наверное, за какого-то бунтовщика.

Я уже говорил, что примечательной чертой этих классов глаголов действия является то, что они оформлены так же, как материальные объекты и вещества, — как если бы события были сделаны из некой разновидности материи времени^[97]. Аналогично тому, как в области материи мы видим предметы, имеющие границы (cup 'чашка'), и не имеющие границ вещества (plastic 'пластик'), так и в области времени мы встречаем глаголы, которые указывают на действия, имеющие завершение (to draw a circle 'чертит круг'), и глаголы, которые обозначают деятельность, не имеющую границ (to jog 'бегать трусцой'). Совершенно так же, как существуют слова, обозначающие однородные скопления (mud 'отбросы'), и формы множественного числа, которые называют совокупности, состоящие из отдельных предметов (pebbles 'камешки'), мы теперь встречаем дуративные глаголы, называющие однородные действия (to slide 'скользить'), и итеративные глаголы, называющие серии действий (например, round 'забивать', beat 'бить' и rock 'качать'). И подобно тому, как огромный список существительных, обозначающих различные формы (pediment 'фронтон', cornice 'карниз', frieze 'фриз' и т. д.), был сведен к схематическому каркасу линий, плоскостей и шариков, обширный инвентарь глаголов действия (drum 'барабанить', pipe 'свистеть', leap 'прыгать' и т. п.) сводится к схематической основе мгновений и длительностей. Различие состоит в том, что время имеет одно измерение и поэтому существует меньше базовых «форм», которые события могут принимать, а значит, существует и меньше классов глаголов действия, чем классов форм.

Тем не менее даже одномерной форме может быть придано нульмерное окончание. Так, Ледерер задавался вопросом: Why is it called «after dark» when it is really «after light»? *‘Почему говорят «после наступления темноты», когда в действительности это «после светлой части дня»?’* Все дело в том, что dark *‘темнота’* может указывать на момент, когда начинается промежуток темноты. Это абсолютно зеркальное отражение ответа на вопрос того же Ледерера, почему мы говорим, что нечто находится underwater *‘под водой’* или underground *«под землей»*, где слово, обозначающее некое трехмерное твердое тело, используется также для указания на его двухмерную границу.

Зачем нам вообще вдаваться так глубоко в проблему классов действий? Да потому, что функции, которые они выполняют в языке и мышлении, весьма многообразны^[98]. Классы действий определяют те логические умозаключения, которые можно сделать на основе того или иного предложения, потому что истинность суждения зависит от отрезка времени, на который оно указывает. Так, исходя из предложения Ivan is running *‘Айвен бежит’* (непредельное действие), можно сделать вывод, *‘Айвен бежал’*, но исходя из предложения Ivan is drawing a circle *‘Айвен чертит круг’* (предельное действие) мы не можем сделать заключение, что *‘Айвен начертил круг’*, — ему могли помешать завершить действие. Подчеркнем еще раз сходство классов действий с веществами и предметами — половина порции яблочного пюре остается яблочным пюре, но половина лошади не есть лошадь.

Классы действий оказывают также влияние на то, как глаголы сочетаются с обозначениями точного времени. Можно, например, сказать He jogged for an hour *‘Он бегал трусцой в течение часа’*, но не He swatted a fly for an hour *‘Он прихлопывал муху в течение часа’*, потому что словосочетание for an hour *‘в течение часа’* навязывает событию завершающее окончание. Оно применимо к деятельности, такой как бег, которая длится во времени и может быть оборвана, когда ей кладут некий предел, но не к моментальным событиям, подобным прихлопыванию мухи. Немного странно звучали бы даже предложения He crossed the street for a minute *‘Он перешел улицу в течение минуты’* или She wrote a paper for an hour *‘Она написала статью в течение часа’*, поскольку эти предельные глаголы класса завершений уже ограничены событиями, составляющими их кульминацию, и не принимают второго конечного предела. Если же мы возьмем словосочетание in an hour *‘за час’*, то с ним ситуация оказывается прямо противоположной: оно навязывает событию **начальный** предел, ведя отсчет от конца в обратном направлении. Так, возможно сказать to cross the street in a minute *‘перейти улицу за минуту’* или to write a paper in an hour *‘написать статью за час’*, но невозможно сказать to jog in an hour *‘бежать трусцой за час’* (разве что только в значении «за час, начиная с настоящего момента»), потому что у действия *бежать трусцой* нет конечной точки. Невозможно

также употребить *in an hour* в сочетании с *to swat the fly — to swat the fly in an hour* *'прихлопнуть муху за час'*, потому что у этого действия нет продолжительности, присущей дуративной деятельности, которую можно было бы измерить и ограничить. Название песни *Love Me Two Times* («Люби меня дважды»), исполняемой группой *The Doors*, сначала кажется странным, потому что словосочетание «столько-то раз» применимо только к событиям, но не к состояниям, а *to love someone* *'любить кого-либо'* — это состояние. Предполагается, конечно же, что мы интерпретируем этот глагол как эвфемизм, означающий сексуальный акт, который является деятельностью и завершением (иногда более, чем в одном отношении).

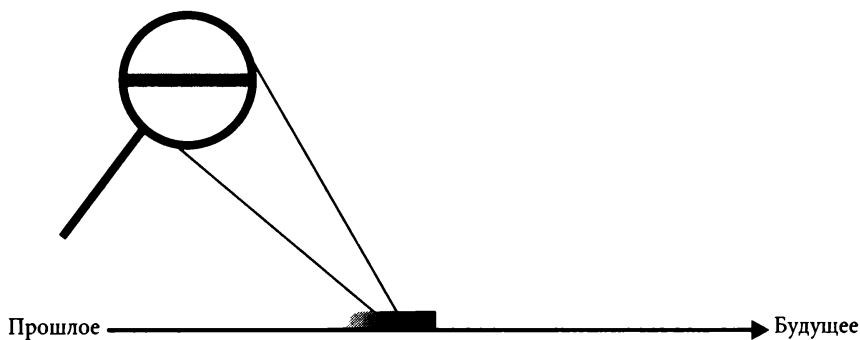
Словосочетания, подобные *in an hour* и *for an hour*, являются частью мыслительной системы, в которой отрезки времени динамично растягиваются, измеряются и обрезаются, как это делали в древнегреческой мифологии богини судьбы Парки, определяя жизнь смертных. Указанные словосочетания представляют собой аналоги в сфере времени тех мыслительных процессов, в результате которых в системе существительных вещества превращаются в предметы, как в случае, когда мы заказываем себе *a beer* *'кружку пива'* или выпиваем *three coffees* *'три чашки кофе'*^[99]. Еще одним способом придания формы событиям является использование инструментария английских частиц типа *out*, *up* и *off*, которые сообщают не имеющей предела деятельности некую кульминационную точку, сравните, например, различие между просто *to shake something* *'трясти что-либо'* и *to shake it up* *'встряхнуть что-либо'*. *To shake something up* означает *'трясти нечто до тех пор, пока оно не изменит свое состояние'*, иногда в метафорическом смысле, как в случае когда Элвис Пресли признавался, что находится в состоянии *all shook up* *'весь потрясенный'*. То, что мистер Пай открывает нам благодаря тому, что понимает все услышанное совершенно буквально, мистер Ледерер демонстрирует благодаря своему остроумию, и теперь он привлекает наше внимание к тому факту, что многие частицы с пространственным значением типа *up* *'вверх'*, *down* *'вниз'*, *out* *'вовне'*, используются также и в аспектуальном значении для придания деятельности оттенка завершенности:

Why do «slow up» and «slow down» mean the same thing?.. You have to marvel at the unique lunacy of the language where a house can burn up as it burns down and in which you fill in a form by filling it out. English was invented by people, not computers... That's why when the stars are out they are visible but when the lights are out they are invisible and why it is that when I wind up my watch it starts, but when I wind up this poem it ends.

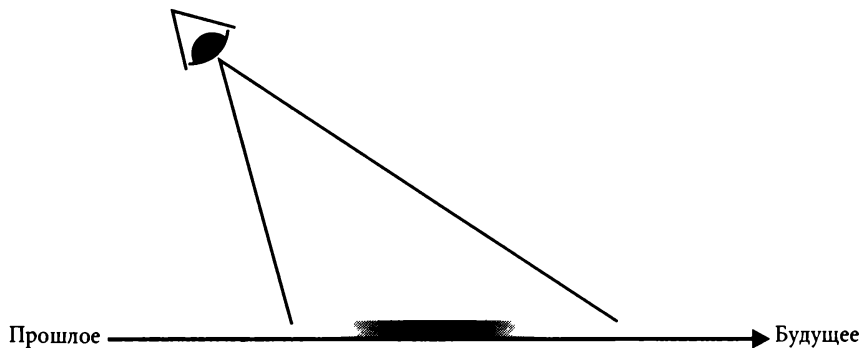
Почему slow up и slow down значат одно и то же — замедлить?.. Приходится удивляться поразительному безумию языка, в котором дом может 'сгореть' (burn up), если он 'сгорает дотла' (burns down), и в котором вы 'заполняете' (fill in) анкету, 'заполняя' ее (by filling it out). Английский язык был создан

людьми, не компьютерами... Вот почему когда звезды 'находятся на небе, высыпали (на небо)' (are out) — они видны, но когда огни 'выключены' (are out), их, наоборот, не видно, и вот почему, когда я 'завожу часы' (wind up my watch), они начинают идти, а когда я 'завершаю стихотворение' (wind up this poem), оно кончается^[100].

Языки обладают еще более мощным средством, позволяющим придать форму дуративным видам деятельности или измельчить предельные разновидности: это второй тип аспекта — точка зрения. По правде говоря, более удачной аналогией, чем измельчение и придание формы, было бы **фокусирование внимания** на внутренней сущности события при том, что его границы оказываются вне поля зрения, или **отход назад**, чтобы все событие целиком, в том числе и его нечеткие границы, сократилось до маленького пятнышка^[101]. Первый случай называется **имперфективом** (несовершенным видом, imperfective) и может быть графически представлен следующим образом:



Второй случай называется **перфективом** (совершенным видом, perfective), и его можно изобразить так:



Почему выбран термин «перфективный»? Потому что perfect означает не только *‘совершенный, безупречный’*, но также и *‘законченный, завершённый’*, как в словосочетаниях perfectly useless *‘совершенно бесполезный’*, а perfect nuisance *‘совершенный неумеха’*, а также в специальных терминах, таких как a perfect fifth *‘чистая квинта (в музыке)’* и a perfect square *‘квадрат целого числа (в математике)’*. Таким образом, ‘перфективный’ представляется удачным термином для обозначения аспектуальной точки зрения, которая позволяет охватить в восприятии все событие целиком.

В английском языке имперфективный аспект существует в длительной форме настоящего времени, например, Lisa is running *‘Лайза бежит’*, которая противопоставлена форме Lisa runs *‘Лайза бежит’* (простое настоящее). В длительной форме внимание сосредоточено на некотором отрезке действия, образующем ограниченное событие, что превращает его в не имеющую границ деятельность, подобно тому как мы можем мысленно сосредоточиться на пластике, из которого сделана чашка, и думать о нем как о веществе, для чего совершенно не требуется раздробить чашку на кусочки в буквальном смысле. Поэтому странно звучало бы предложение Lisa drove home, but she never got there *‘Лайза поехала домой, но так и не добралась туда’*, но вполне можно сказать Lisa was driving home, but she never got there *‘Лайза ехала домой, но так и не добралась туда’*, — показатель -ing в форме driving концентрирует внимание на одной части ее движения домой и исключает из поля зрения конечный пункт. Имперфективные формы используются обычно в повествовании при описании сцен, где происходят события (при описании, так сказать, обстановки), а прошедшее и настоящее время используются для развития сюжетной линии, например, Lisa was driving home when suddenly a spaceship landed on the roof of her car *‘Лайза ехала домой, когда неожиданно космический корабль приземлился прямо на крышу ее автомобиля’*. В отличие от многих других языков, например, от русского, в английском языке нет особых аффиксов для образования форм совершенного вида. Однако говорящие по-английски могут интерпретировать глаголы как перфективные исходя из контекста, как в предложении After Sara jogged, she took a shower *‘После того как Сара совершила пробежку трусцой, она приняла душ’*. Деятельность ‘бег трусцой’, которая обычно не имеет границ, в данном случае воспринимается как законченное событие, как если бы оно было увидено с отдаленного пункта наблюдения.

Мы рассмотрели все времена английского языка за исключением одного — так называемого перфекта (*perfect*), как в I have eaten *‘я поел’*. Перфект не нужно смешивать с перфективной формой: по своему существу, это вовсе не время, но сочетание времени и аспекта^[102]. Перфект указывает, что нечто находится в данный момент в состоянии

или обстоятельствах, которые являются результатом некоторого действия в прошлом.



Например, I have eaten 'я поел' предполагает, что в данный момент человек сыт и ему не нужно принимать пищу снова, тогда как I ate 'я ел' просто описывает событие в повествовании в любое время в прошлом. В отличие от состояния, обозначенного предельным глаголом типа melt the butter 'растопить масло', состояние, которое подразумевает перфект, должно интерпретироваться в контексте — это любое последствие последствий какого-то действия, которое сейчас признается важным. Вот почему требуется известная степень самоуверенности, чтобы произнести I have spoken 'Я провозгласил' или I have arrived 'Я прибыл', вместо того чтобы сказать более скромно I spoke 'Я говорил' или I arrived 'Я приехал'. (Do not arouse the wrath of Great and Powerful Oz! I said come back tomorrow! Oh! The Great Oz has spoken! Oh! Pay no attention to that man behind the curtain! The Great and Powerful Oz has spoken! 'Не гневите Великого и Могучего Оза! Я сказал, придите снова завтра! О! Великий Оз сказал свое слово! О! Не обращайте внимания на того, кто за занавесом! Великий и Могучий Оз свое слово провозгласил!')¹⁾

С теоретической точки зрения время и вид должны быть совершенно независимы друг от друга. Дело в том, что характер протекания события (темпоральный контур) и пункт наблюдения за событием не зависят от размещения события во времени, подобно тому как форма предмета и то, сосредоточил ли говорящий на ней внимание или нет, не зависят от расположения предмета в пространстве. На практике же получается далеко не так. Ведь жизнь по мере своего развития никогда полностью не синхронизируется с тем временем, когда мы о ней говорим, поэтому и соотношение между событиями, происходящими в мире, и точным моментом, когда говорящий начинает двигать языком и челюстью, производя звуки, никогда не бывает прямым. В результате интерпретация настоящего времени для разных глаголов получается разной — в зависимости от класса действий. Так, описывая в настоящем времени какое-либо состояние, следует употребить простое настоящее — He knows the answer 'Он знает ответ'; He wants to drink 'Он хочет пить' — но не длительную форму He is knowing the

¹⁾ Из книги американского писателя Лаймена Френка Баума (1856–1919) «Удивительный волшебник из страны Оз» (1900), по которой в 1939 г. был снят известный фильм «Волшебник страны Оз». — *Прим. перев.*

answer или He is wanting to drink. Однако, описывая в настоящем времени деятельность или событие-завершение (*accomplishment*), необходимо употребить длительную форму — He is jogging ‘Он бежит трусцой’; He is crossing the street ‘Он переходит улицу’, а не He jogs или He crosses the street¹⁾. По-видимому, это объясняется тем, что длительные формы, превращающие действие в состояние, являются избыточными для таких глаголов, как to know ‘знать’ или want ‘хотеть’, которые уже представляют собой состояния. Но эти формы необходимы для глаголов, означающих деятельность и событие-завершение, которые являются перфективными по умолчанию и их нужно как бы расщепить в настоящий момент, чтобы можно было выделить некий отрезок деятельности и сосредоточить на нем внимание. Моментальные события вообще с трудом описываются в настоящем времени — и He swats a fly ‘Он прихлопывает муху’, и He is swatting a fly ‘Он находится в процессе прихлопывания мухи’ — оба предложения звучат странно, потому что вряд ли вероятно, что точечное событие произойдет как раз в то самое мгновение, когда говорящий его описывает. Длительная форма превращает моментальное событие в многократное — The light is flashing ‘Свет загорается’ означает, что свет вспыхивает неоднократно, в отличие от The light flashed ‘Свет загорелся’, что означает «вспыхнул только один раз». Именно такого рода сложности и заставляют изучающих английский язык иностранцев рвать на себе волосы.

Что касается простого настоящего времени, то говорящие прибегают к нему в двух разных случаях. Первый случай — повествование в развитии. Это время употребляется в репортажах на радио о спортивных соревнованиях, например, Lafleur skates down the ice... He shoots... He scores! ‘Лафлер подкатывает по льду... Он бьет... Он забрасывает шайбу!’ Когда ориентиром в повествовании является не настоящий момент, а некоторый момент в прошлом, мы имеем дело с «историческим настоящим», с помощью которого писатель пытается ввести читателя в самую гущу развертывающегося повествования (Genevieve lies awake in bed. A floorboard creaks ‘Женевьева лежит в постели без сна. Скрипит половица’). Историческое настоящее часто используется также в структуре анекдотов, например, A guy walks into a bar with a duck on his head... ‘Как-то раз в бар заходит парень с уткой на голове...’^[103]. Хотя историческое настоящее время создает иллюзию нахождения на месте события и является благодаря этому эффективным нарративным средством, оно может также производить впечатление некой манипулируемости. Недавно один канадский обозреватель жаловался на то, что в программе радионовостей на Си-би-эс, как ему кажется, злоупотребляют настоящим временем, используя его в таких, например,

¹⁾ Или, как было в статье итальянского лингвиста, get a general picture of what goes on — место of what is going on. — Прим. перев.

контекстах, как UN forces open fire on protesters *‘Силы ООН открывают огонь по протестующим’*. Однако шеф объяснил ему, что данная программа должна звучать «менее аналитично, менее рефлексивно» и «более динамично, более страстно», чем главная ночная новостная передача ^[104].

Второй случай использования простого настоящего времени — для действий, которые являются привычными (Sarah jogs every day *‘Сара бежит трусцой каждый день’*), или для обобщений (Beavers build dams *‘Бобры строят запруды’*), где глагол описывает **предрасположенность** субъекта к совершению чего-либо. Предрасположенность длится во времени, следовательно, можно сказать, что она имеет силу и в настоящий момент, несмотря на то что в тот самый момент, когда произносятся данные высказывания, Сара может находиться на службе, а все бобры на свете могут мирно спать.

Теперь, дорогой читатель, можно считать, что вы уже достаточно вооружены знаниями, чтобы понять самый важный спор о временах и аспектах в истории человечества:

Question: Mr. President, I want to go into a new subject area... [Your] counsel is fully aware that Ms. Lewinsky... has an affidavit, which they were in possession of, saying that there was absolutely no sex of any kind in any manner, shape or form with President Clinton. That statement was made by your attorney in front of Judge Susan Webber Wright.

Clinton: That's correct.

Question: That statement is a completely false statement. Whether or not [your attorney] knew of your relationship with Ms. Lewinsky, the statement that there was no sex of any kind in any manner, shape or form with President Clinton was an utterly false statement. Is that correct?

Clinton: It depends upon what the meaning of the word «is» is. If «is» means is and never has been, that's one thing. If it means there is none, that was a completely true statement.

Вопрос: *Мистер президент, я хочу перейти к новой теме... [Ваш адвокат] полностью в курсе того, что миссис Левински дала письменные показания под присягой (и эти показания были ему предоставлены), которые свидетельствуют, что абсолютно никаких сексуальных отношений никакого рода и ни в какой манере, виде или форме с президентом Клинтон у нее нет. Это заявление было сделано вашим юристом в присутствии судьи Сьюзен Уэббер Райт.*

Клинтон: *Да, это так.*

Вопрос: *Данное заявление является абсолютно ложным. Независимо от того, знал или нет [ваш юрист] о вашей связи с миссис Левински, его заявление о том, что с президентом Клинтон у нее нет никаких сексуальных отношений никакого рода и ни в какой манере, виде или форме, было в высшей степени ложным. Это так?*

Клинтон: Это зависит от того, каково значение слова «нет». Если «нет» значит «нет и никогда не было», это одно дело. Если оно значит «нет сейчас», тогда это совершенно правдивое заявление ^[105].

В августе 1998 г. президент Клинтон дал свои печально известные показания (которые впоследствии были увековечены в книге *Bartlett's Familiar Quotations* («Знакомые цитаты Бартлетта»)) большому жюри, список присяжных которого был составлен специальным прокурором Кеннетом Старром. Старр расследовал лжесвидетельство и воспрепятствование правосудию в показаниях под присягой, которые Клинтон давал в связи с судебным иском о сексуальном домогательстве, поданным Полой Джоунс ранее в том же году, в ответ на обвинения в том, что у него была связь с Моникой Левински. Адвокат Клинтона заявил тогда в показаниях под присягой, что между Клинтоном и Левински *there is absolutely no sex of any kind 'нет абсолютно никаких сексуальных отношений'*. В своих показаниях теперь Клинтон указывал, что в заявлении адвоката содержался глагол *is* (форма настоящего времени глагола *to be* 'есть'), а его связь с Левински действительно закончилась к тому времени, когда было сделано заявление, и что, следовательно, утверждение было правдивым. Обратите внимание, как корректно Клинтон разграничивает форму настоящего времени *is* и форму перфекта *has been*, которая подразумевала бы наличие некоего продолжающегося состояния, сохраняющегося и на момент, когда было сделано заявление. Прокурор, не веря своим ушам, продолжал:

Question: I just want to make sure I understand you correctly. Do you mean today that because you were not engaging in sexual activity with Ms. Lewinsky during the deposition that the statement Mr. Bennett made might be literally true?

Clinton: No, sir. I mean that at the time of the deposition... that was well beyond any point of improper contact between me and Ms. Lewinsky. So that anyone generally speaking in the present tense saying that was not an improper relationship would be telling the truth if that person said there was not, in the present tense—the present tense encompassing many months. That's what I meant by that... I wasn't trying to give you a cute answer to that.

Вопрос: Я просто хочу удостовериться, что понимаю вас правильно. Вы хотите сказать сегодня, что потому что у вас не было сексуальных отношений с миссис Левински во время дачи вашим адвокатом показаний под присягой, заявление мистера Беннета можно считать в буквальном смысле правдивым?

Клинтон: Нет, сэр. Я имел в виду, что во время дачи показаний... что это было намного позже какого-либо случая недостойной связи между мной и миссис Левински. Поэтому любой человек, говорящий в настоящем времени и заявляющий, что недостойной связи нет, говорит правду, если это лицо сказало, что ее нет — в настоящем времени, ведь настоящее время охватывает много месяцев. Вот что я имел в виду... Я вовсе не пытался в своем ответе как-то изворачиваться.

В этом тесте на знание семантики времени Клинтон заслуживает наивысшей оценки. Как мы уже видели, в английском языке настоящее время, помимо использования в радиорепортажах о непосредственно происходящих спортивных соревнованиях, употребляется для указания на состояние, обусловленное предрасположенностью или привычкой, не для указания на конкретное событие. В то время, когда был произнесен глагол *is*, Клинтон и Левински уже разорвали свою связь и вряд ли предполагали возобновить сексуальные отношения в дальнейшем, поэтому предрасположенность уже утратила свою силу. Считается, что окончание дуративного неопределенного состояния, определяемого предрасположенностью к действию, является по своей сути размытым (подобно границе множеств типа *gravel* 'гравий' или *pebbles* 'камешки'). Сколько времени должно пройти после последней выкуренной папиросы, прежде чем бывший курильщик сможет сказать о себе «Я не курю»?

Что касается того, «изворачивался» ли Клинтон, то здесь семантика кончается и начинается прагматика. Как мы увидим в главе 8, слушающие предполагают, что говорящие сообщают им информацию, существенную для того, что их интересует, предоставляя им догадываться о значении неясных выражений. Это прекрасно работает, когда собеседники сотрудничают друг с другом и догадка слушающего совпадает с тем, что имел в виду говорящий, но не тогда, когда говорящий и слушающий — противники, как в случае судебного разбирательства. Как заметил Клинтон, *My goal in this deposition was to be truthful, but not particularly helpful* 'Моей целью при даче показаний было говорить правду, но отнюдь не стараться помочь следствию'. При том что юристы в судебном процессе, инициированном Полой Джоунс, по всей вероятности, хотели знать, была ли у Клинтона **когда-либо** связь с Левински, возникает вопрос, имел ли он с юридической точки зрения право, отвечая на их вопрос, сузить его смысл (в соответствии с его семантикой), или же данная им под присягой клятва «говорить всю правду» требовала ответа на вопрос согласно тому, что в нем подразумевалось (в соответствии с его прагматикой). В докладе Старра был сделан второй вывод, и показания Клинтона о значении глагола *is* были приведены в качестве одного из пяти случаев, когда Клинтон пытался воспрепятствовать правосудию и обмануть американский народ. Палата представителей США согласилась с этим и в декабре 1998 г. проголосовала за импичмент Клинтону. Сенат США с этим не согласился и в феврале 1999 г. проголосовал за оправдание президента. Как бы то ни было, именно с Клинтона начинается отсчет американских президентов, попадающих в беду из-за тонких нюансов концептуальной семантики, как мы видели на примере Джорджа У. Буша и глагола *to learn* 'узнать'.

Семантика времени аналогична семантике пространства еще в одном, последнем отношении, и это сходство свидетельствует в пользу

идеи Канта о тождественности абстрактных структур, организующих наше знание. Подобно тому как язык пространства обусловлен, как мы выяснили, не только устройством объектов, но также тем, как люди их применяют, так и язык времени обусловлен не только тем, как события возникают и разворачиваются согласно показаниям хронометров, но еще и целями и возможностями действующих лиц. Классы действий были в общих чертах первоначально выделены Аристотелем и соответствовали его теории, согласно которой каждое событие имеет форму, субстанцию, действующее лицо, которое его осуществило, и цель, которой оно служит. И, наверное, он бы не удивился, если бы узнал, что каждый из четырех основных классов действий (состояние, деятельность, кульминация, завершение) в добавление к понятию темпорального контура включает еще одновременно понятие человеческой воли^[106].

Состояние определяется не только отсутствием изменений, но и тем, что оно находится вне сферы сознательного контроля. Как правило, невозможно persuade 'убедить' или force 'заставить' кого-либо to know the answer 'знать ответ', как и нельзя сказать о ком-то, что он deliberately 'умышленно' или carefully 'тщательно' knows the answer 'знает ответ'; нельзя также употребить глагол состояния в форме повелительного наклонения — Know the answer! 'Знай ответ!' Соединение в английском языке значений состояния и неумышленности отражает более глубинную связь этих понятий, когда мы решаем вопрос о моральной ответственности. Поскольку мы структурируем состояния как неумышленные, мы обычно не считаем, что люди несут за них ответственность, по крайней мере без тщательного исследования вопроса. Так, в 1962 г. Верховный суд США постановил, что хотя законодательная власть может объявить вне закона **использование** наркотиков или **торговлю** ими, она не может признать наказуемым **пристрастие** к наркотикам. Согласно другому судебному решению, было признано несправедливым наказывать человека за нахождение **в состоянии** алкогольного опьянения в публичном месте (речь шла о мужчине, который пришел в состояние опьянения дома, но был вытасчен полицейскими на улицу), однако можно по-прежнему преследовать людей в судебном порядке, если они **приходят в состояние** алкогольного опьянения в публичных местах или **появляются в нетрезвом состоянии** на публике (*getting drunk in public or going out in public drunk*)^[107]. Исключением из этого общего правила является преступление, заключающееся в **хранении** наркотиков, — оно ведь тоже представляет собой состояние. И, вероятно, неслучайно многие считают такие законы несправедливыми.

Неумышленными являются также моментальные кульминации, оканчивающиеся завершением, подобные to win a race 'выиграть скачку', to find a diamond 'найти бриллиант', to reach Boston 'достичь Бостона', to notice a painting 'заметить картину'. Эти глаголы не сочетаются

с наречиями, означающими усилие (*He deliberately won the race 'Он намеренно выиграл скачку'), с глаголами, выражающими побуждение к действию (*I persuaded him to notice a painting 'Я убедил его заметить картину') и не выступают в форме императива (*Find a diamond! 'Найди бриллиант!'). Когда какое-либо действие подобного рода было предпринято, определить момент кульминации может только окружающая ситуация, но не намерение человека.

Такие классы действий, как деятельность и завершение, напротив, обычно понимаются как намеренные. По этой причине глаголы, предполагающие завершение, например, to bake a cake 'испечь пирог' и to hide a key 'спрятать ключ', могут выступать в повелительном наклонении и сопровождаться наречиями, выражающими намерение и волю, например, deliberately 'намеренно' и carefully 'тщательно, осмотрительно' и т. д. По существу, для действий класса завершений именно цель действующего лица определяет то событие, которое заканчивает какое-либо подобное действие, например, стремление создать картину в случае to draw a picture 'написать картину' или желание оказаться на другой стороне улицы в случае to cross the street 'перейти улицу'. И снова мы имеем дело здесь не просто с тонкостями грамматики, но с краеугольным камнем наших моральных воззрений. Поскольку совершение преступления предполагает как преступное деяние, так и преступный умысел, преступные деяния обозначаются глаголами деятельности или действия-завершения: to kill 'убивать', to steal 'красть', to rape 'насилловать', to bribe 'давать взятку' и т. п. Если действие-завершение не было доведено до конца (например, в случае потенциального душителя, которому помешала полиция), человеку можно предъявить обвинение только в попытке совершить преступление. А в связи с тем что кульминация трактуется как не зависящая от воли человека (она обусловлена окружающей обстановкой, а не чьим-либо намерением), люди часто испытывают затруднения, пытаясь определить, какое именно преступление было совершено, если возникает несоответствие между тем изменением, которое планировалось и которое называет глагол завершения, и имевшим место реальным изменением. Так, во время многочасовых споров будущие юристы, обучающиеся на юридических факультетах университетов, пытаются решить вопрос, как поступить с человеком, который ударяет ножом труп, думая, что это его спящий враг, или оправданно ли предъявлять обвинение в попытке совершить убийство, человеку, стрелявшему с намерением совершить убийство, но ближайшая больница была в пяти минутах езды и жертва выжила, но предъявлять ему обвинение в убийстве, в случае, если ближайшая больница оказалась на расстоянии пятнадцати минут езды и пострадавший умер.

Таким образом, подобно тому как в языке пространства не используется никакой точной системы координат, язык времени не прибегает

к помощи автономно работающих часовых механизмов. Пространство рассматривается по отношению к объектам, как они осмысляются людьми, и в том числе как они людьми используются, а время рассматривается по отношению к действиям — как они людьми осмысляются, включая возможности людей и их намерения. Поскольку пространство и время являются центральными для языка и мышления людей, осознание их как универсальных сред, в которые помещен наш опыт, является большим достижением науки и математики начала современного периода.

Магическая сила: мысли о причинности

Как заметил Дэвид Юм, наше ощущение причинности представляет собой *the cement of the universe* ‘цемент, скрепляющий вселенную’^[108]. Каждый день мы неизменно прибегаем к помощи наших интуитивных представлений о причинно-следственных связях, чтобы понять, что происходит в мире и как нам поступать (на стекле окна капли дождя — значит шел дождь; если я надену плащ, моя одежда не промокнет). Когда же интуиция не оправдывается, мы знаем, что либо мы спим и видим сны, либо оказались в Стране Чудес или в каком-то другом месте, созданном нашим воображением. Мы обращаемся к науке как более чистому и строгому варианту поиска причин — как к лучшему способу установить, что явилось причиной землетрясения, или определенного устройства солнечной системы, или появления на земле человеческого рода.

Неутешительно поэтому узнать, что при более пристальном рассмотрении этот цемент, «скрепляющий вселенную», оказывается такой же дешевой подделкой, как тот материал, который использовался при прокладке туннелей в Бостоне. Чем внимательнее мы изучаем причинность, тем менее понятной она представляется, и некоторые философы вообще пришли к выводу, что науке следует с ней распрощаться. В то же время категория причинности настолько глубоко укоренилась в нашем языке и мышлении, включая наши моральные воззрения, что ни в одном случае, когда человек сталкивается с затруднениями, невозможно обойти вопрос о том, как наше интуитивное ощущение причинности соотносится с причинно-следственной структурой вселенной. Неслучайно поэтому отправной точкой для современного понимания причинности стала книга Дэвида Юма «Трактат о человеческой природе» (*Treatise of Human Nature*).

Юма (а позднее и Канта, когда он пробудился от своего догматического сна) беспокоила мысль о том, как мы можем **подтвердить** наши выводы о ненаблюдаемых явлениях, — сможем ли мы когда-нибудь сделать наши суждения типа «Если что-либо уронить, оно упадет;

я уронил стакан — значит, стакан упадет», такими же достоверными, какими мы привыкли видеть логические и математические дедукции типа «Если две стороны треугольника равны, значит, у него равны два угла; у данного треугольника равны две стороны — следовательно, у него и два равных угла». Юм пришел к заключению, что это нам не удастся, хотя мы, конечно же, не безрассудны, когда ожидаем, что стакан упадет. Наше интуитивное чувство причинности — полезная часть нашей психологии, даже если оно не в состоянии гарантировать нам полную уверенность. Сомнения возникают из-за того печального факта, что наше интуитивное чувство причинности по своей сути — это не более чем ожидания, подкрепленные опытом, но эти ожидания сбываются только при условии, если вселенная подчиняется законам, а это, по мнению Юма, уже неразумное допущение, которое мы никогда не сможем доказать. Вот как Юм объясняет, почему мы думаем, что один бильярдный шар заставляет двигаться другой шар:

Если бы человек, подобный Адаму, в момент создания в полную силу обладал разумом, но не обладал бы опытом, он бы никогда не смог объяснить движение второго бильярдного шара движением первого шара и полученным от него импульсом... Необходимо было, следовательно, чтобы у Адама (если только на него не снизошла благодать) уже был опыт того результата, который следовал за взаимодействием двух шаров. Он должен был бы видеть хотя бы в нескольких случаях, что, когда один шар ударял о другой, второй шар всегда приходил в движение. Если он наблюдал достаточное количество такого рода примеров, то когда бы он потом ни увидел, как один шар катится в направлении другого, он всегда без всяких колебаний делал бы заключение, что второй шар начнет двигаться. Его разум, превосходящая то, что он увидит, формировал бы заключение, которое соответствовало его прошлому опыту.

Из этого следует, таким образом, что все рассуждения относительно причины и следствия основываются на опыте и что все рассуждения, исходящие из опыта, основываются на предположении, что ход природы будет всегда оставаться тем же самым ^[109].

В этом размышлении Юма о том, можем ли мы верифицировать наши представления о причинно-следственных отношениях, в скрытом виде заключена высказанная им экспромтом теория психологии причинности, исходящая из постоянного соотношения явлений (*constant conjunction*): по этой теории, наши интуитивные ощущения причины и следствия есть не что иное, как ожидание того, что, если одно явление в прошлом многократно следовало за другим, оно будет продолжать делать это и в будущем. Эта идея не так уж сильно отличается от того, что происходит с собакой, когда у нее выработался условный рефлекс ожидания пищи при звуке звонка, или с голубем, которого приучили клевать клавишу в ожидании пищи. Очевидную трудность для данной теории представляет история о двух будильниках, звонящих один за другим, с которой я начал эту главу. Люди осознают (даже

если не всегда применяют на практике) принцип, согласно которому корреляция явлений не предполагает с абсолютной необходимостью наличия между этими явлениями причинно-следственной связи. Ку-кареканье петуха не является причиной восхода солнца, гром не вызывает лесных пожаров, и не огоньки, мигающие на принтере, привели к тому, что был напечатан документ. Все эти явления осознаются как нечто побочное по отношению к подлинным причинам — как эпифеномены (*epiphenomena*).

Я назвал теорию Юма «экспромтом», потому что он сам ее последовательно не применял. Так, вряд ли можно сыскать более сокрушительно опровергающий ее контрпример, чем тот самый пример, который Юм приводит в качестве ее доказательства в своем заключении, — *when we think of the son, we are apt to carry our attention to the father 'когда мы думаем о сыне, мы склонны переносить наше внимание на отца'*. Мы ведь не думаем, что сыновья являются причиной существования отцов, скорее уж наоборот, но в теории постоянного соотношения именно причина переносит наше внимание на следствие. Более того, нам не нужно в бесчисленном количестве случаев на опыте наблюдать сначала отца, а потом наблюдать его сына, чтобы понять существующую между ними связь, потому что даже самый любящий отец не будет ходить за сыном по пятам круглосуточно. Вывод о связи между отцом и сыном можно сделать не только исходя из того, что люди видят их идущих один за другим, но и на основании всякого рода сплетен, генеалогического древа, особого строения верхней губы сына, которая подозрительно похожа на верхнюю губу почтальона, или, в наше время, на основании анализа ДНК. Даже при самых благопристойных обстоятельствах должны пройти полные девять месяцев между событием отцовства, которое мы считаем причиной, и событием появления сына, которое мы понимаем как следствие. В течение этого времени отец может бросить семью или может умереть, и тем не менее, несмотря на все это, он все равно останется отцом.

Юм, несомненно, данную трудность осознавал, потому что — тоже экспромтом, но более подробно — он развивает свою мысль следующим образом:

We may define a cause to be an object followed by another, and where all the objects, similar to the first, are followed by objects similar to the second. Or, in other words, where, if the first object had not been, the second never had existed.

Мы можем определить причину как объект, за которым следует другой объект, если за всеми другими объектами, подобными первому, следуют объекты, подобные второму. Или, иными словами, если при отсутствии первого объекта никогда не было бы и второго объекта.

Слзано последнее предложение в этом высказывании Юма не только не выражает «иными словами» идею постоянного соотношения явлений,

но выражает совершенно **другую** мысль. По правде говоря, эта идея во многих отношениях гораздо более удачна, потому что она успешно преодолевает трудность, связанную с побочными явлениями — эпифеноменами. Например, если первый будильник не сработает, второй будильник все же может зазвонить; значит, первый будильник не каузирует второй будильник. Аналогичным образом, если лампочки на принтере перегорели, текст все равно может быть напечатан, значит, не огоньки каузируют, чтобы принтер печатал. И этот вывод успешно действует и в тех ситуациях, где причина и следствие разделены во времени или о них стало известно окольным путем. Если бы никогда не существовало отца, не было бы и сына, следовательно, в известном смысле, отец является причиной существования сына.

Эта **контрфактуальная** (*counterfactual*) теория причинности — «А является причиной В» означает «В не случилось бы, если бы не А» — представляет собой шаг вперед по сравнению с теорией постоянного соотношения явлений^[110]. Однако чем больше о ней думаешь, тем более непонятной она кажется. К чему именно, например, относятся «не случилось бы» и «если бы не»? Как мы определяем, что истинно, а что ложно в мире фантазии? У человека лишь одна жизнь, и в мире все идет как идет, а не как-то по-другому. Она не начинается с нажатия кнопки «начни сначала», что позволяет в игре начать все заново, сделать другой ход и посмотреть, что из этого получится. В жизни это неосуществимо, и мы признаем свое бессилие в пословицах *If wishes were horses, beggars would ride* ‘Если бы пожелания были лошадьми, нищие ездили бы в каретах’ и *If my grand mother had wheels, she'd be a streetcar* ‘Если бы у моей бабушки были колеса, она была бы трамваем’ (это благопристойный вариант пословицы на идише *If my grandmother had balls, she'd be my grandfather* ‘Если бы у моей бабушки были яйца, она была бы моим дедушкой’). Вспомним также сожаление, высказанное Вуди Алленом: *My one regret in life is that I am not someone else* ‘Единственно, о чем я сожалею в жизни, так это о том, что я не являюсь кем-то другим’.

Многие философы пытались осмыслить контрфактуальные высказывания, привлекая «возможные миры» (*possible worlds*)^[111]. Речь идет не о неизвестных планетах, на которых обитают зеленые человечки, но о совместимых с логикой положениях вещей: о различных путях, по каким могло бы пойти развитие вселенной, не нарушая законов логики. Сказать, что «А является причиной В» означает, что если бы не случилось А, не случилось бы и В, а это, в свою очередь, значит, что существуют возможные миры, в которых А не происходит, и в каждом из них не происходит также и В.

К сожалению, этого еще недостаточно, чтобы построить теорию причинности на основе контрфактуального подхода. Если бы мы были абсолютно свободны и пустили бы в вольный полет свою фантазию,

рисуя в воображении возможные миры, тогда **любое** следствие могло бы произойти даже без какой-либо предполагаемой причины: все, что требовалось бы сделать, это придумать какое-нибудь другое обстоятельство, которое привело к нему. Привело ли чирканье спичкой к тому, что она загорелась? Ну, скажем так, в этом мире и во многих возможных мирах, если не чиркнуть спичкой, она не загорится. А как быть с миром, в котором температура в комнате вдруг поднимается до 451 градуса по Фаренгейту, и спичка загорается, хотя ею никто не чиркал? Заставит ли нас существование такого возможного мира прийти к заключению, что и в нашем мире чирканье спичками не является причиной их загорания?

Чтобы сохранить плодотворную мысль о том, что причинно-следственная связь зависит от контрфактуальных обстоятельств, которые, в свою очередь, могут быть обусловлены возможными мирами, философы предложили ранжировать возможные миры по степени их сходства или близости к реальному миру. Например, возможный мир, в котором я этим утром надеваю синие, а не черные носки, ближе к реальному миру, чем возможный мир, в котором я родился женщиной, или мир, в котором начинается Третья мировая война, или мир, в котором атмосфера состоит из метана и аммиака, а не из азота и кислорода. И, возвращаясь к причинности, можно сказать, что именно чирканье спичкой привело к тому, что она зажглась, потому что в возможных мирах, наиболее близких к нашему, спички не загораются, если ими не чиркнули. И, разумеется, это такие миры, в которых температура в комнате является именно комнатной температурой, а не 451 градус по Фаренгейту.

Можно спросить, почему философы так беспокоятся о близких и дальних возможных мирах вместо того, чтобы сказать просто *all things being equal 'при прочих равных условиях'* или *holding everything else constant 'считая все прочее неизменным'*? Да потому что все прочие условия никогда не бывают равными: невозможно изменить только одну единственную вещь. Рассмотрим, например, возможный мир, в котором Нью-Йорк Сити находится в штате Колорадо. Оказывается ли тогда Нью-Йорк Сити расположенным западнее Миссисипи? Или Колорадо оказывается на побережье Атлантического океана? ^[112] В нашем описании возможного мира это существенное обстоятельство осталось не уточненным. Слова — это всего лишь слова, и сказать можно что угодно, поэтому любое описание возможного мира будет умалчивать о каких-то принципиально важных фактах, неразрывно связанных с тем фактом, который был изменен мановением нашей магической вербальной палочки. Рассказывают, что однажды Никиту Сергеевича Хрущева спросили, как изменился бы мир, если бы в 1963 г. убили его, а не Джона Ф. Кеннеди. Хрущев ответил: «Ну, во-первых, Аристотель Онассис, вероятно, не женился бы на моей вдове». Подобная шутка

возможна, потому что ничто «при прочих равных условиях» или «считая все прочее неизменным» не отменяет того факта, что «Аристотель Онассис женился на вдове убитого лидера одной из сверхдержав». Согласно другому анекдоту, который был очень популярен в 1993 г., когда Билл и Хиллари Клинтон проезжали по родному городу Хиллари, она вдруг заметила своего бывшего бойфренда, который заправлял машины на бензоколонке. «Если бы ты не вышла замуж за меня, — сказал Билл, — ты была бы теперь женой рабочего автозаправочной станции». «Если бы я не вышла замуж за тебя, — возразила ему Хиллари, — президентом был бы теперь он». Предполагается, что понятие «ближайшего из возможных миров» должно объяснять подобные контрфактуальные высказывания, помогая выбрать такое разумное положение вещей, при котором требуется произвести наименьшее число дополнительных изменений в реальном мире, чтобы приспособить единственное изменившееся исходное условие. (Сомневаюсь, чтобы это действительно решило проблему, но от этого становится как-то легче на душе.)

Интерпретация утверждения «А является причиной В» как «В не встречается в ближайших к нашему возможным мирах, в которых не встречается А» — это значительный шаг вперед по сравнению с трактовкой: «когда встречается А, встречается также и В». Например, она соответствует научной практике различения причинно-следственной связи и простой корреляции явлений с помощью экспериментов. Скажем, если обнаружится, что у любителей кофе чаще происходят сердечные приступы, значит ли это, что причиной болезни сердца является кофе? Вряд ли, потому что наличие корреляции явлений еще не доказывает наличия между ними отношения причины-следствия. Вполне возможно, что любители кофе, кроме того, еще и меньше двигаются, чаще бывают курильщиками, едят более жирную пищу, и одно или более из названных обстоятельств и есть настоящая причина болезни сердца, тогда как пристрастие к кофе — всего лишь побочное явление. Для того чтобы кофе можно было считать истинной причиной сердечных заболеваний, нужно было бы доказать, что в ближайшем возможном мире, в котором люди не пьют кофе, у них меньше сердечных приступов. Как это можно установить? Да очень просто: **построить** такой мир, а именно разделить случайно выбранную группу людей на две подгруппы и рекомендовать одной подгруппе воздерживаться от употребления кофе, а другой разрешить наслаждаться своим кофе со сливками. Если в первом возможном мире, который мы превратили в реальный, у людей окажутся более здоровые сердца, мы будем иметь право сказать, что причиной заболеваний сердца действительно является кофе^[113].

Хотя контрфактуальная теория (которая связана с именем философа Дэвида Льюиса) считается одним из наиболее разработанных учений о причинности в современной философии и юриспруденции,

она сталкивается с многочисленными трудностями^[114]. Одна из таких проблем обнаруживается в тех случаях, когда для того, чтобы возникло следствие, требуется **совокупность** обстоятельств. Для того чтобы спичка зажглась, необходимо, чтобы ею чиркнули, но столь же необходимо, чтобы спичка была сухой, чтобы в воздухе был кислород и чтобы имелось укрытие от ветра. Во всех возможных мирах, подобных нашему, если спичка намокла, в комнате полно углекислого газа или если спичку пытаются зажечь на ветру, она не зажжется. И тем не менее, если нас попросят назвать причину, вызывающую возгорание спички, мы выберем действие чирканья, а не наличие кислорода, сухость спички или наличие защиты от ветра в виде четырех стен и крыши. На том же основании мы не рассматриваем вступление в брак в качестве причины вдовства или кражу драгоценностей в качестве причины обнаружения их полицией, хотя в каждом из этих случаев более позднее событие не случилось бы, если бы сначала не произошло более раннее событие.

Каким-то образом люди выбирают для события лишь одно из необходимых условий в качестве его **причины** и считают, что другие просто **способствуют** или содействуют осуществлению события, даже если все эти условия в равной степени необходимы. Различие коренится не в цепи физических событий и не в законах, которым они подчиняются, но в имплицитном сравнении с некоторыми другими ситуациями (со сходными возможными мирами, если угодно), которые мы храним подспудно в глубине мозга в качестве разумной альтернативы *status quo*^[115]. Поскольку кислород окружает нас практически всегда, мы не воспринимаем его присутствие как причину возгорания спички. Напротив, поскольку мы проводим больше времени не чиркая спичками, чем чиркая ими, мы чувствуем, что в любой момент от нас зависит, чиркнуть спичкой или нет, и соответственно признаем чирканье причиной возгорания спички. Если изменить систему сравнения, изменится и причина. Например, если сварочные работы определенного рода обычно проводились в камере, свободной от кислорода, но в какой-то день в камеру проник кислород и произошел пожар, мы назовем в качестве причины пожара наличие кислорода. (Пожар, во время которого в 1967 г. погибли три астронавта «Аполлона», был, по общему мнению, следствием того, что капсулу заполнил чистый кислород, и именно он стал причиной того, что маленькая искорка превратила все в настоящий ад.) Подобным же образом можно признать, что вступление в брак является причиной вдовства, если женщина согласилась выйти замуж за мужчину, одной ногой стоящего в могиле (характеристика, которая была дана Анне Николь Смит, когда она в 1994 г. сочеталась браком с восьмидесятидевятилетним нефтяным магнатом Д. Говардом Маршаллом за год до его смерти)^[116]. Признать то или иное условие «причиной» — значит установить некий фактор, который, по нашему

ощущению, легко мог бы быть другим или которым кто-то мог управлять раньше или сможет управлять в будущем.

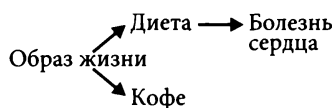
Аналогичная трудность возникает у контрфактуальной теории в связи с тем, что причинно-следственная связь является **транзитивной**: если А является причиной В, а В является причиной С, тогда А является причиной С. Если курение является причиной рака, а рак приводит к смерти, значит, курение является причиной смерти. Однако необходимые условия (условия, на которых основываются контрфактуальные выводы) транзитивными не являются. Можно, по-видимому, с полным основанием сказать, что если бы Кеннеди не был президентом, его бы не убили. Можно также вполне обоснованно заявить, что если бы Кеннеди не был убит, его бы переизбрали президентом на второй срок. Но нет никаких оснований утверждать, что если бы Кеннеди не был президентом, его бы переизбрали на новый срок^[117].

Еще одна трудность, с которой сталкивается контрфактуальная теория — это проблема преимущественного права (*preemption*). Представим себе, что два снайпера тайно сговорились убить диктатора во время публичного мероприятия. Было решено, что тот из них, кто первым получит свободный обзор, будет стрелять, а другой тогда скроется в толпе. Убийца № 1 убивает диктатора первым же выстрелом, и очевидно, что именно его действие является причиной смерти диктатора. Однако разве не верно, что если бы убийца № 1 не выстрелил и диктатор не был бы убит, в этом случае дело бы сделал убийца № 2? (И действительно, когда во время экспериментов, проводимых психологом Барбарой Спеллмен, испытуемых спрашивали о подобном развитии событий, они не снимали вины ни с одного из убийц^[118].) Или рассмотрим пример, приведенный ученым и юристом Лео Катцем: «Генри собирается совершить путешествие через пустыню. Альфонс, намереваясь убить Генри, наливает в его флягу яд. Гастон тоже замышляет убийство Генри, но он ничего не знает о планах Альфонса. Он прокалывает флягу Генри, и Генри умирает от жажды. Кто стал причиной смерти Генри? Был ли это Альфонс? Или Гастон? Или и тот и другой? Или никто из них?» Совершенно ясно, что смерть была кем-то причинена, и большинство людей указывает на Гастона, а иногда на Гастона и на Альфонса вместе^[119]. Однако контрфактуальная теория прогнозирует, что они должны ответить «ни тот, ни другой».

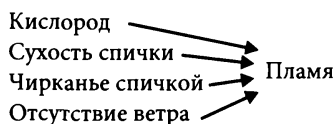
Последнюю трудность, с которой приходится иметь дело контрфактуальной теории, называют проблемой сверхдетерминации (*overdetermination*) (или, иногда, проблемой множественности достаточных причин). Рассмотрим случай с расстрельной командой, которая приводит в исполнение смертный приговор — расстреливает осужденного абсолютно синхронизированными выстрелами. Если бы первый стрелок не произвел выстрела, осужденный все равно был бы мертв, поэтому с точки зрения контрфактуальной теории его выстрел не был

причиной смерти осужденного. Однако то же самое можно сказать и о втором стрелявшем, и о третьем и т. д., и в результате получается, что **никто** из членов расстрельной команды не может быть признан причинившим смерть осужденного. Но ведь это уже чистое безумие.

Если все указанные проблемы свести к общему знаменателю, то напрашивается следующий вывод: мир отличается от игры в домино, где события (костишки) выстраиваются цепочкой и каждое событие является причиной только одного события и само вызывается только одним событием. Мир — это переплетение причин и следствий, которые пересекаются и перекрещиваются, образуя замысловатые узоры. Трудности, с которыми столкнулись обе теории причинности Юма (теория постоянного соотношения и контрфактуальная теория), можно изобразить графически в виде совокупности сетей, где линии веерообразно разворачиваются или свертываются или образуют петли, как показано на диаграмме, приведенной ниже:



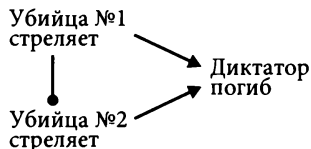
Эпифонемы



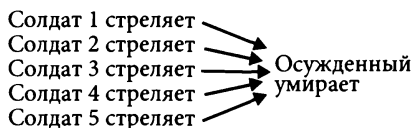
Причины vs. условия



Транзитивность



Преимущественное право



Сверхдетерминация

Одной из попыток решения проблем, возникающих из-за хитросплетений причинно-следственных связей, является методика искусственного интеллекта, получившая название «причинно-следственных сетей Байеса» (Casual Bayes Networks)^[120]. (Методика названа по имени Томаса Байеса, чья теорема показывает, как можно исчислить вероятность какого-либо условия, исходя из его предшествующей вероятности и возможности того, что оно привело к некоторым на-

блюдаемым признакам.) Создатель модели выбирает ряд переменных (например, количество выпитого кофе, объем физической нагрузки, наличие заболеваний сердца и т. п.), чертит стрелки между причинами и их следствиями и придает каждой стрелке числовое обозначение, которое отражает силу ее каузирующего воздействия (возрастание или убывание вероятности следствия при том условии, что дана причина). Расположение стрелок может приобретать необходимую форму — веерообразное схождение/расхождение или петля; устанавливать «истинную» причину не требуется. Имея такую диаграмму и зная величины переменных (например, количество чашек кофе, которые выпивает человек), компьютер может произвести некоторые математические вычисления и предсказать последствия той или иной причины (например, возросший риск сердечного заболевания) или, если идти в другом направлении, вероятность наличия причины, если имеются типичные для нее последствия. Так, причинно-следственные сети Байеса позволяют вам предположить, что если из дома вашего соседа раздается сигнал тревоги, туда, вероятно, проникли грабители, — но если вы также заметили, что внутри дома бродит кошка, вы, скорее всего, положите телефонную трубку на место и не станете набирать номер 911 и вызывать полицию. Перед началом использования причинно-следственные сети Байеса необходимо подготовить, что можно сделать, используя некоторые исходные допущения относительно переменных и их связей, результаты экспериментов (например, лишить испытуемых кофе и посмотреть, как это отразится на их здоровье) или систему измерений, показывающих корреляцию факторов в обширном наборе данных.

Причинно-следственные сети Байеса представляют собой оптимальный способ рассуждения о причинах и следствиях, исходящий из информации об их взаимосвязях, и в некоторых случаях было продемонстрировано, что люди ведут себя в соответствии с заложенными в данную модель идеями, как, например, в ситуации с кошкой и сигналом тревоги. Однако по своей сущности это не что иное, как Юм, вооруженный компьютером. Модель описывает рассуждение о причинах и следствиях как обработку огромной совокупности соотношений, не обращая внимания на то, что стоит за самими переменными или какие механизмы в мире позволяют референтам этих переменных в реальной жизни воздействовать друг на друга. Система работала бы прекрасно, если бы наблюдатель сидел за дисплеем громадных размеров с разноцветными огоньками и следил за тем, имеет ли тенденцию красный огонек в правом верхнем углу появляться на несколько минут раньше зеленого огонька в среднем ряду, если только желтый квадрат внизу с левого края не вспыхнул дважды в промежутке. Данная модель упускает, таким образом, из виду ключевой компонент нашего причинно-следственного мышления: наше интуитивное ощущение, что мир создан из механизмов и сил, способных оказывать влияние, —

из некой разновидности импульса, или энергии, или магической силы, которая передается от причины к следствию, — и что наблюдаемые нами корреляции порождаются действием этих сил^[121].

Одного взгляда на поведение людей достаточно, чтобы осознать, что люди часто думают о причинно-следственных связях, исходя из неких скрытых сил, а не просто из соотношений. Многие эксперименты психологов показывают, что если у людей есть какая-либо своя, излюбленная теория о том, как устроен мир (скажем, убеждение, что сырая погода вызывает обострение артрита), они будут клятвенно уверять, что видят соответствующие корреляции в жизни, даже если статистика свидетельствует, что таких корреляций нет и никогда не было^[122]. Привычка творить с помощью воображения подобные силы, воздействующие на дела людей, и подгонять под них опыт формировала человеческие культуры с незапамятных времен, создав для человеческого рода обширный набор, включающий вуду, астрологию, магию, молитву, а также идолопоклонство, средневековые панaceи как средства от всех бед и другой вздор. Даже уважаемые ученые часто не ограничиваются регистрацией корреляций, а пытаются взламывать черные ящики природы и выявлять действие скрытых сил. Иногда их открытия не выдерживают испытания временем, как флогистон или светящийся эфир, но нередко они оказываются успешными, как это произошло с генами, атомами и тектоническими плитами.

Другим ограничением для вероятностных теорий причинности является то, что они применимы к средним показателям на протяжении длительных промежутков времени (курение вызывает рак) и ничего не говорят о причинах конкретных событий (курение привело к смерти чью-либо бабушку). Но обостренные интуитивные эмоции возникают у людей именно по поводу конкретных событий^[123]. Представьте себе, что дядя Ирв, выкуривавший две пачки сигарет в день, жив и здоров в возрасте девяноста семи лет. Все согласится, что курение не привело его к смерти. Тем не менее, если бы утверждение «курение является причиной рака» было бы всего лишь констатацией рисков, невозможно было бы вообще говорить о том, что оно применимо к дяде Ирву в каком бы то ни было виде. Допустим, что люди вообще рассуждают **нерационально**, когда настаивают на том, что у отдельно взятых событий есть причины, которые возможно установить. Если многие люди умирают от сердечного приступа, и некий препарат слегка увеличивает риск возникновения сердечного приступа, а Джон, принявший этот препарат, умирает от сердечного приступа, то был ли данный препарат причиной смерти Джона? Можно было бы утверждать, что на этот вопрос нет ответа. Однако люди ведут себя так, как если бы ответ существовал. В 2005 г. вдове человека, принимавшего лекарство Vioxx, решением суда присяжных в судебном процессе против производителя

лекарства было присуждено 253 миллиона долларов, и ожидается решение еще по шести тысячам аналогичных судебных исков.

Люди не только **применяют** понятие причинно-следственной связи к одиночному событию, но могут попытаться **вывести** причинно-следственную связь, исходя из единичного события, не требуя, чтобы событие многократно повторилось. Пассажиры «Титаника», несомненно, были уверены, что корабль затонул из-за столкновения с айсбергом, даже несмотря на то, что у них не было предшествующего опыта, когда бы за столкновением с айсбергом следовала гибель корабля ^[124]. Простейшим способом продемонстрировать различие между установлением соотношения явлений на протяжении длительного времени и ощущением действия каузирующих сил в случае одиночного события может служить классический эксперимент психолога Альберта Мишотта ^[125]. Мишотт показывал испытуемым анимационные изображения, на которых точка двигалась по экрану, пока не происходило соприкосновение с другой точкой, и тогда первая точка внезапно останавливалась и начинала двигаться вторая точка в том же направлении и с той же скоростью. Когда испытуемые видели это в первый раз, у них складывалось полное впечатление, что первая точка стала **причиной** движения второй точки, подобно тому как один бильярдный шар, ударяя другой, приводит тот в движение. Аналогичной, по-видимому, была реакция у детей в возрасте шести месяцев и по крайней мере у некоторых видов обезьян ^[126]. В других случаях показ движущихся точек передает живые впечатления от сходных типов каузации, таких как содействие, воспрепятствование, позволение и предотвращение ^[127].

Недавние эксперименты психологов Марка Хаузера и Бэйли Сполдинга показали, что представление о действии каузирующих сил, не требующее подтверждения в виде длинной последовательности предшествующих событий, является по праву рождения достоянием всех приматов, включая людей ^[128]. Тестируя макак-резусов, не имевших никакого опыта обращения с ножами или краской, они обнаружили, что обезьяны проницательно оценивают их возможности. Так, обезьяны не выказывали никаких признаков удивления при виде того, как яблоко исчезало за экраном, за ним следовала рука с ножом и в конце концов появлялись две половинки яблока. Не вызывало у них удивления и то, что белое полотенце и стакан с синей краской сначала исчезали за экраном, а потом появлялось синее полотенце. Однако они удивленно тарасили глаза, как бы не веря тому, что видят, когда им показывали события, невозможные с точки зрения причинно-следственной связи, а именно стакан воды, исчезающий вместе с яблоком, и появляющиеся затем две половинки яблока, или синий нож, исчезающий вместе с белым полотенцем, и появляющееся затем синее полотенце.

Следовательно, причинность нельзя свести ни к постоянному соотношению, ни к возможным мирам, более того, наше восприятие

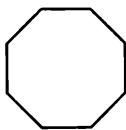
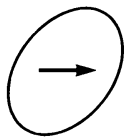
причинно-следственных связей не охватывается полностью и статистическими сетями. Как же можем мы тогда понять наше интуитивное ощущение той таинственной магической силы, которая движет нашими каузальными инстинктами? Ответ можно попытаться найти, рассмотрев, как причинность выражается в языке.

* * *

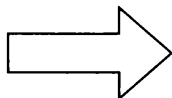
Лен Тэлми, лингвист, который много сделал для прояснения понятия пространства, как оно представлено в языке, пролил также свет и на понятие каузирующей силы, нашедшее выражение в языке [129]. Как мы видели в главе 2, многие глаголы передают понятие причинности. Некоторые из них выражают каузацию в чистом виде, например, begin 'начинать', bring about 'осуществлять', cause 'причинять, заставлять', force 'заставлять, принуждать', get 'заставлять', make 'заставлять, побуждать', produce 'вызывать, быть причиной', set 'приводить в какое-либо состояние' и start 'начинать'. Другие глаголы дополнительно уточняют характер следствия: melt 'плавить, растворять', move 'двигать', paint 'красить' или roll 'катить'. Третьи передают различные оттенки причинно-следственных отношений, которые имеют большое значение для людей, но обычно игнорируются в философских исследованиях. Существуют глаголы предотвращения (*preventing*), например, avoid 'избегать', block 'препятствовать, блокировать', check 'препятствовать, сдерживать', hinder 'мешать, препятствовать', hold 'удерживать, сдерживать', impede 'препятствовать, задерживать', keep 'держат, заставлять', prevent 'мешать, предотвращать', save 'избавлять, ограждать', stop 'преграждать, блокировать' и thwart 'мешать, разрушать (планы и т. п.)'. Существуют, напротив, глаголы способствования (*enabling*), как, например, aid 'помогать', allow 'позволять, делать возможным', assist 'помогать, содействовать', enable 'способствовать, давать возможность', help 'помогать, содействовать', leave 'позволять, предоставлять возможность', let 'позволять, разрешать', permit 'позволять, давать возможность' и support 'поддерживать, способствовать'. Кроме того, многообразные оттенки причинных отношений выражаются соединительными словами и союзами, такими как although 'хотя, несмотря на', but 'но, кроме', despite 'несмотря на', even 'даже', in spite of 'несмотря на, вопреки' и regardless 'независимо от'.

Тэлми показывает, что все эти понятия связаны с ментальной моделью «динамики сил» (*force dynamics*) — с понятием о внутренних тенденциях и уравнивающих силах, которое напоминает анимационные изображения бильярдных шаров, так живо и наглядно передававших впечатление причинно-следственной связи. Основной игрок в этом сценарии причинно-следственной связи — **агонист** (*agonist*): это

персонаж, который осмысляется как имеющий внутреннюю тенденцию к движению (рисунок слева) или покою (рисунок справа):



По ходу развития сюжета к действию присоединяется **антагонист** (*antagonist*): персонаж, который оказывает на агониста воздействие, обычно противоположное его внутренней тенденции. Если воздействие антагониста сильнее, чем тенденция агониста (ниже слева), агонист перейдет от движения к покою, или наоборот. Если же оно слабее внутренней тенденции агониста (ниже справа), агонист будет продолжать делать то, что он обычно делает:

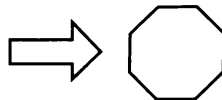
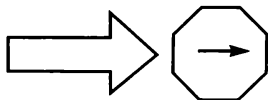


Представим себе теперь, что мы что подключились к ситуации, которая уже развивается, — тогда мы получаем четыре возможности (маленькая стрелка внутри агониста указывает, что он находится в движении):

Агонист
начинает

Агонист прекращает
действие

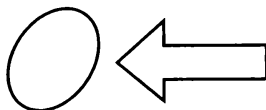
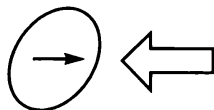
Агонист
стремится
к покою



Каузация
(Мяч продолжал
катиться, потому что
его гнал ветер)

Несмотря на
(Дерево продолжало
стоять несмотря на
то, что на него дул
ураганный ветер)

Агонист
стремится
к движению

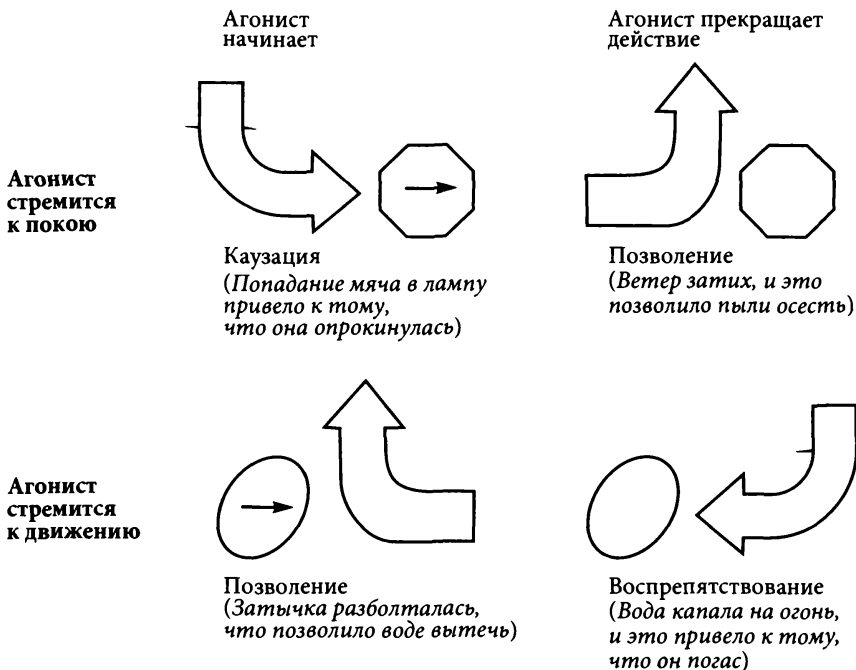


Несмотря на
(Мяч продолжал
катиться несмотря
на густую траву)

Предотвращение
(Бревно удержалось
на склоне горы благодаря
выступу скалы)

Приведенные четыре ситуации дают нам следующие основные значения — принуждение, побуждение, предотвращение и два варианта продолжения: движение несмотря на препятствие (нижняя слева) и стабильность вопреки воздействию (верхняя справа).

Чтобы завершить рассмотрение типов причин, находящихся выражение в языке, нам необходимо теперь перейти от не имеющих предела деятельности к предельным действиям типа завершений. Представим теперь, что антагонист появляется или исчезает, но не находится все время на сцене действия, — как показано на диаграмме:



Это дает нам динамический вариант принуждения одновременно с блокированием и двумя разновидностями позволения: позволением чему-либо сделать нечто (внизу слева) и позволением чему-либо быть (вверху справа). Немногочисленные иные сценарии (например, антагонист и агонист движутся в одном направлении или антагонист держится в стороне от агониста) дают нам представление о других причинно-следственных отношениях, таких как содействие, воспрепятствование, предоставление возможности, сохранение в определенном положении, удерживание и оставление в покое. Последнее разграничение, которое мы проводим среди каузальных глаголов, связано с тем, сообщает ли глагол о последствии, предоставляя говорящему упомянуть о причине как бы в отсроченном раздумье (The window broke because a ball hit it

‘Окно разбилось, потому что в него попал мяч’), или же глагол сообщает о причине, предоставляя говорящему упомянуть о последствии как бы в отсроченном раздумье (The ball hit the window, causing it to break ‘Мяч попал в окно, из-за чего оно разбилось’).

Нетрудно заметить, что эти предложения выглядят довольно неестественно. Обычно мы говорим, что the wind blew the ball ‘ветер подхватил мяч’ или что the ball hit the lamp ‘мяч угодил в лампу’, не что the ball kept rolling because of the wind blowing on it ‘мяч продолжал катиться, потому что на него дул ветер’ или что the ball hitting it made the lamp topple ‘попадание мяча в лампу заставило ее опрокинуться’. Неуклюжие предложения должны были сделать очевидным то, что только **событие** может каузировать другое событие, не сам объект как таковой. Мяч не может сделать ничего просто своим существованием, нечто начинает происходить, только когда мяч бросают. Однако наш повседневный язык эту логическую тонкость замалчивает. В качестве субъекта по отношению к предикату выступает некая автономная сила, подобная ветру, волнам или огню или такая, как человек, проявляющий свободную волю, предикат же выражает конечное событие причинно-следственной цепочки, и о промежуточных звеньях этой цепочки ничего не сообщается. Поэтому мы, как правило, говорим Cal made the lamp break ‘Кэл разбил лампу’ (букв. ‘заставил лампу разбиться’) (по-видимому, опрокинув ее) и The wind made the tree topple ‘Ветер повалил дерево’ (букв. ‘заставил дерево упасть’) (по-видимому, шквальным порывом). Язык причинно-следственных отношений может становиться еще более лаконичным благодаря процессу, с которым мы встречались в главах 2 и 3: в случае если антагонист воздействует на агониста непосредственно, действие и результат действия могут сосредоточиться в едином глаголе, и мы говорим Cal broke the lamp ‘Кэл разбил лампу’ и The wind toppled the tree ‘Ветер повалил дерево’. Но для того чтобы каузация могла быть выражена столь сжато, причинно-следственная цепочка, напомним, должна быть структурирована как прямая, без каких-либо промежуточных звеньев аналогичного масштаба: если, например, Сибил открывает окно и ветер сдувает со стола лампу, люди обычно не говорят, что Sybil broke the lamp ‘Сибил разбила лампу’^[130]. А при многих каузативных глаголах антагонист должен **иметь намерение** получить определенный результат. Как показывают эксперименты, о девочке, которая встает и отпускает воздушный шарик, вследствие чего шарик касается горячей лампы на потолке и лопается, нельзя сказать, что она popped the balloon ‘лопнула шарик’; точно так же нельзя считать, что человек waved a flag ‘махал флагом’, если он просто поднял флаг в ветреный день, или что он dimmed the lights ‘убавил свет’, если он лишь передвинул переключатель на своем тостере^[131].

Основные сценарии (агонист имеет тенденцию к покою или движению, антагонист действует, агонист реагирует), разыгрываемые в раз-

личных комбинациях и приводящие к различным результатам, лежат в основе значений каузативных конструкций большинства, а возможно, и всех языков мира. В одном языке за другим обнаруживается, что наиболее характерным для самой сжатой каузативной конструкции языка является прототипический сценарий модели динамики сил — антагонист прямо и намеренно принуждает пассивного агониста изменить свое внутреннее состояние^[132].

Чтобы доказать, что модель динамики сил управляет тем, как люди используют язык для выражения причинно-следственных отношений, даже тогда, когда они видят тот или иной сценарий впервые, Филлип Уолфф с помощью компьютерного моделирования оживил диаграмму, созданную Леном Тэлми, и предложил испытуемым описать то, что они видели на экране компьютера^[133]. Маленькая моторная лодка (агонист) двигалась по водоему, как вдруг в нее ударила волна, вызванная работой вентиляторов (антагонист). Описывая действие вентиляторов, когда они изменили направление движения лодки и стали толкать ее в сторону буйка, испытуемые использовали глагол *cause* ‘заставить, побудить’. Они использовали глагол *help* ‘помогать’ (глагол **способствования**), когда лодка уже двигалась по направлению к буйку, а вентиляторы погнали ее туда с увеличившейся скоростью. И наконец, испытуемые употребили глагол *prevent* ‘препятствовать, предотвращать’, когда лодка начала двигаться к буйку, а вентиляторы сдули ее с курса. В остроумном продолжении эксперимента Уолфф продемонстрировал, что аналогичная динамика применима и к метафорически понимаемой силе, лежащей в основе нашего представления о личном влиянии людей (как в случае, когда мы говорим о *social forces* ‘влиянии социального окружения’ и *peer pressure* ‘давлении со стороны сверстников’). В анимационных картинках изображалась женщина (агонист), стоящая на углу улицы и показывающая знаком регулировщику уличного движения (антагонист), что собирается или не собирается перейти улицу, а полицейский делал разрешающий или запрещающий жест рукой, после чего женщина переходила или не переходила улицу. Испытуемые, видевшие указанные сценки, описывали их, используя слова *cause* ‘побуждать’, *enable* ‘способствовать’, *prevent* ‘предотвращать’ и *despite* ‘несмотря на’, в соответствии с тем же ходом мысли, какой они применяли по отношению к маленьким лодкам и вентиляторам.

Если люди естественно воспринимают причинно-следственные отношения, исходя из модели динамики сил, можно понять, почему понятие причинности так тесно связано с контрфактуальным мышлением. Внутренняя тенденция агониста — это, по определению, то, что он делал бы, **если бы** на него не воздействовал антагонист (иначе говоря, то, что он делает в возможных мирах, в которых антагонист отсутствует). Вероятно, это и есть та скрытая глубоко в нашей когнитивной структуре основа, на которой современными логиками

было построено более ограниченное определение причинности, исходящее из контрфактуального моделирования. И возможно, что другие свойства этой когнитивной основы делают контрфактуальное знание таким неустойчивым. Различие между причинами и условиями (чирканье спичкой vs укрытость от ветра) в рамках контрфактуальной теории несущественно, однако оно получает прямое применение в модели динамики сил в различии между прототипическим каузированием — принуждением (когда антагонист пересиливает внутреннюю тенденцию агониста) и различными формами содействия, способствования и позволения (когда антагонист либо объединяет силы с агонистом, либо держится от него в стороне). А поскольку при подходе с позиций динамики сил наше понятие причинности приравнивается к метафоре, основанной на интуитивной физике, а не к догматам формальной логики, не обязательно соблюдать такие логические требования, как транзитивность. Если антагонист А стимулирует к действию агониста В, которого потом останавливает антагонист С, нет оснований считать, что антагонист А сколько-нибудь повлиял на антагониста С.

Был проведен ряд экспериментов, показавших, что испытуемые различают причинно-следственные цепочки, которые иллюстрируют типы взаимодействий, разные с позиции динамики сил, даже если с логической точки зрения они эквивалентны^[134]. В своем скучном, но информативном эксперименте психологи Клэр Уолш и Стивен Слоумен сообщали испытуемым о монете, которая стояла на ребре и была готова вот-вот упасть. В одном варианте эксперимента монета готова была упасть вперед на лицевую сторону, но Билл подкатывал к ней мраморный шарик и опрокидывал монету на обратную сторону. В другом варианте монета должна была упасть на обратную сторону, но некто неизвестный катил шарик в направлении монеты, угрожая перевернуть ее на лицевую сторону, однако Фрэнк ловил шарик до того, как он докатывался до монеты, что позволяло монете приземлиться на обратную сторону. С точки зрения логики оба человека сделали нечто, что было необходимо, чтобы монета упала на обратную сторону, — если бы они не сделали того, что сделали, монета упала бы на свою лицевую сторону. Тем не менее при первом сценарии испытуемые говорили, что Билл заставил (*caused*) монету приземлиться на обратную сторону, тогда как при втором сценарии они утверждали, что Фрэнк не повлиял на то, что монета упала на обратную сторону. Разница заключается в том, что Билл (который катил шарик) был воспринят испытуемыми как антагонист по отношению к внутренней тенденции монеты к падению, напротив, Фрэнк (который поймал шарик) был осмыслен как антагонист не тенденции монетки к падению, а тенденции шарика к движению.

Тэлми показывает, насколько умонастроение, стоящее за моделью динамики сил, отличается от современных представлений о силе

и импульсе, восходящих к ньютоновской физике. Модель динамики сил в языке выделяет одну сущность и трактует другую как воздействующую на нее, тогда как, согласно физике, ни один из объектов при взаимодействии не имеет преимущества. Язык представляет агониста как имеющего внутренний импульс к движению или покою, тогда как для физики объект просто продолжает двигаться со своей постоянной скоростью. Язык различает движение и покой как качественно различные тенденции, в то время как физика признает покой состоянием, скорость которого просто является нулевой. С точки зрения языка, антагонист оказывает воздействие, которое сильнее внутренней тенденции агониста. В ньютоновской физике действие и реакция на него (противодействие) противоположно направлены и равны по величине, так что два соприкасающихся объекта, находящихся в состоянии покоя или равномерного движения, должны оказывать друг на друга равное воздействие (если бы одно воздействие оказалось сильнее, оба объекта стали бы двигаться в соответствующем направлении с большей скоростью). Для языка события могут просто иметь место, без установленных причин — *The book toppled off the shelf 'Книга свалилась с полки'*; *The sidewalk cracked 'Тротуар потрескался'*, — тогда как в физике каждое событие имеет закономерное предшествующее событие. И наконец, для физики различие между принуждением, воспрепятствованием, позволением и содействием не играет сколько-нибудь существенной роли.

Интуитивная физика, запечатленная в языке, способствует созданию у людей превратного представления о физических явлениях^[135]. Когда учащихся колледжа попросили в общих чертах охарактеризовать силы, которые воздействуют на мяч при его подбрасывании в воздух, большинство из них сказала, что, когда мяч летит вверх, сила, толкающая его кверху, больше, чем та, что тянет его вниз; когда мяч достигает высшей точки, обе силы равны, а когда мяч падает, сила, которая тянет его вниз, оказывается более мощной. Правильный же ответ заключается в том, что на объект все время воздействовала одна и та же сила — сила тяжести.

Когда в двадцатом веке получили признание теория относительности и квантовая физика, многие физики высказывались о них как о насилии над здравым смыслом. Так, Ричард Фейнман сказал однажды: *I think I can safely say that no one understands quantum mechanics... Do not keep asking yourself, if you can possibly avoid it, «But how can it be like that?»... Nobody knows how it can be like that 'Полагаю, что могу с уверенностью сказать, что квантовую механику не понимает никто... Не спрашивайте себя все время, если, конечно, можете удержаться, «Но как же это может быть вот так?..» Никто не знает, как это может быть вот так'*^[136]. Однако гораздо меньше люди осознают, что классическая ньютоновская физика тоже является глубоко контринтуитивной. Из всех теорий в истории физики наиболее близко

к интуитивной модели динамики сил подходит средневековое учение об импульсе (*impetus*), согласно которому движущийся объект наделен некой разновидностью энергии или силы, которая толкает его некоторое время вперед, но потом постепенно иссякает.

Таким образом, между интуитивной физикой, с ее дискретными событиями побуждения, содействия и преодолением тенденции к покою, и реальной физикой, которая представляет собой не что иное, как совокупность дифференциальных уравнений, уточняющих, как объекты изменяют с течением времени направление и скорость движения, существуют большие расхождения. Говорили, что Демон Лапласа, гипотетический бесенок, которому были известны положения и скорости движения любой частицы во Вселенной в любой момент времени, был способен вычислить целиком все будущее или прошлое, включив эти данные в уравнения, выражающие законы механики и электромагнетизма. Понятие «причины» или даже отдельного «события» не играет здесь никакой роли. Расхождения между физикой интуитивной и физикой классической побудили некоторых философов высказать предположение о том, что с точки зрения науки устарело само понятие причинности вообще, что это пережиток эволюционных теорий прошлого, когда люди тащили по земле сучья и бросали камни в жирафов. Как писал Бертран Рассел, *The law of causation... is a relic of a bygone age, surviving, like the monarchy, only because it is erroneously supposed to do no harm. 'Закон причинности... является пережитком прошлого века, сохранившимся, подобно монархии, только потому, что ошибочно считается безвредным'* [137].

Однако это нельзя признать правдой. Когда эксперты пытаются определить причину того, почему космический корабль «Челленджер» взорвался и упал на землю, или установить, кто причинил смерть Джону Ф. Кеннеди, они отнюдь не проявляют свою научную безграмотность. И их вряд ли удовлетворил бы совет посмотреть в справочнике размеры всех атомов космического челнока до того, как он разлетелся на части, или на Дили Плаза¹⁾ в тот злополучный ноябрьский день, и заложить эти данные в очень-очень-очень большую систему уравнений. На том уровне рассмотрения, который представляет интерес для людей и на котором существуют и порождают беспорядок трение и химические реакции и триллионы микроскопических взаимодействий в мозге других людей, движущаяся материя подчиняется собственным законам, и законы Ньютона становятся безнадежно неадекватными.

Здесь наблюдается явная закономерность. Резюмируя все, что было сказано о языке материи, пространства и времени, я пришел к заключению, что они определяются целями людей, не только весами,

¹⁾ Дили Плаза — площадь в городе Даллас (штат Техас), где 22 ноября 1963 г. был убит президент США Джон Ф. Кеннеди. — *Прим. перев.*

часами и масштабной линейкой. Теперь мы видим, что и четвертая важнейшая категория концептуальной семантики — причинность — тоже не безразлична к намерениям и интересам людей. Тогда, по видимому, мы искали опору для понятий, выраженных в языке, не там, где нужно. Возможно, вместо того чтобы вслед за Кантом идти в аудитории факультетов физики и математики, нам следовало направиться в кампусы, в школы инженерного искусства и юриспруденции.

Чистая и прикладная

Сторонники эволюционной психологии полагают, что человека среди других животных выделяют, помимо языка, две способности — способность изготавливать орудия труда и манипулировать в своих интересах физическим миром, и способность к сотрудничеству, к манипулированию в своих интересах социальным миром^[138]. Техника и юриспруденция представляют собой два институционализованных воплощения этих способностей человека.

Когда понятия материи, пространства, времени и причинности прилагаются к объектам, обслуживающим потребности людей, мы перемещаемся в сферу техники. В технических описаниях широко используется повседневный обиходный язык, несмотря на то что такие описания могут показаться некорректными логике или физику-теоретику. Если слова выбираются тщательно, с их помощью можно достаточно внятно объяснить, что происходит в устройстве, созданном руками человека, не прибегая к уравнениям или компьютерному моделированию, — по крайней мере на уровне краткой пояснительной записки. Рассмотрим отрывок из помещенного в Интернете на сайте *How the Stuff Works* («Как работает эта штукавина») технического описания того, как спускается вода в унитазе:

Take a bucket of water and pour it into a bowl. You will find that pouring in this amount of water causes the bowl to flush. That is, almost all of the water is sucked out of the bowl, and the bowl makes the recognizable «flush» sound and all of the water goes down the pipe. What's happened is this: You've poured enough water into the bowl fast enough to fill the siphon tube. And once the tube was filled, the rest was automatic. The siphon sucked the water out of the bowl and down the sewer pipe. As soon as the bowl emptied, air entered the siphon tube, producing that distinctive gurgling sound and stopping the siphoning process.

Возьмите ведро воды и вылейте ее в бачок. Вы обнаружите, что вливание в бачок такого количества воды приводит к тому, что бачок ее спускает. Иначе говоря, почти вся вода высасывается из бачка, и бачок производит узнаваемый звук «спускания воды», и вся вода уходит в трубу. Произошло следующее: вы налили в бачок достаточное количество воды достаточно быстро, чтобы заполнить трубку сифона. Когда трубка была заполнена,

остальное произошло автоматически. Сифон высосал воду из бачка и слил ее вниз в канализационную трубу. Как только бачок опустел, в трубку сифона вошел воздух, произвел характерный булькающий звук и остановил процесс перекачивания воды^[139].

Давайте посмотрим сначала, как в техническом описании представлена субстанция. Счетные существительные употреблены в тексте для обозначения материи, которая имеет стабильную форму и границы, и это мы видим на протяжении всего описания (the bowl *‘бачок’*, the siphon tube *‘сифонная трубка’*, the sewer pipe *‘канализационная труба’*). Вещественные существительные употребляются для обозначения материи, которая приобретает форму того контейнера, в котором она в данное время находится, и которая появляется и исчезает так, что для нас в действительности не имеет значения ее конкретное количество (water *‘вода’*, air *‘воздух’*). Отметим также, что когда возникает необходимость измерить количество вещества, привлекаются другие счетные существительные — a bucket of water *‘ведро воды’*, this amount of water *‘это количество воды’*, — к которым добавляются еще и кванторы, например, all the water *‘вся вода’* и enough water *‘достаточное количество воды’*. Наконец, обратим внимание на то, что другие счетные существительные материализуют и превращают в нечто конкретное бесплотные события, как если бы это были предметы, — the flush sound *‘звук спуска воды’*, the gurgling sound *‘булькающий звук’*, the siphoning process *‘процесс перекачивания воды’*.

Теперь обратимся к пространству. В тексте упоминаются предметы, которые можно концептуализировать как двухмерные границы трехмерных емкостей — bucket *‘ведро’* и bowl *‘бачок’* — и как границы емкостей с одним основным и двумя вторичными измерениями — pipe *‘труба’* и tube *‘трубка’*. Ни о каких других аспектах их формы не упоминается (ведро или унитаз могут быть круглыми, овальными или квадратными), и все эти детали для данного технического описания не существенны. Границы определяются не просто своими геометрическими особенностями, но своими возможностями с точки зрения динамики сил, такими как вмещение или перемещение содержимого. Предлоги дают нам настоящую схему траекторий движения: вода вливается в бачок (into the bowl), высасывается из бачка (out of the bowl) и сливается по трубе вниз (down the pipe). В дополнение здесь есть еще глагол enter *‘входить’*, который тоже передает пространственное значение (*‘входить внутрь’*).

Теперь время. В описании говорится What’s happened is this *‘Произошло следующее’*. Выражение what happened *‘что произошло’* является для лингвиста подобием лакмусовой бумажки, показывающим, что некий отрезок времени осмыслен скорее как событие, чем как состояние (важнейшее различие для категории аспекта). Спускание воды представлено

как дуративное непредельное событие: процесс разворачивается во времени и завершается, когда возникает новое состояние (пустой бачок). Время также искусно используется, чтобы обеспечить понимание читающего. Несколько предложений в начале описания, в которых читающему предлагается принять участие в идущем эксперименте, относятся к настоящему времени: causes *'заставляет'*, is sucked *'всасывается'*, makes *'производит'*, goes *'уходит'*. В следующих двух предложениях употреблен перфект — What [has] happened *'Что произошло'*, You [have] poured *'Вы налили'* — чтобы показать, что эти недавние события привели к нынешнему состоянию, представляющему сейчас интерес. Затем происходит переход к прошедшему времени, чтобы заставить читающего обозреть одно за другим все, что он проделал: the tube was filled *'трубка была заполнена'*, sucked the water *'высосал воду'*, the bowl emptied *'бачок опустел'*, air entered *'вошел воздух'*. Наконец, имеющиеся в тексте адвербиальные словосочетания придают глаголам перфективный аспект (события рассматриваются извне, как уже законченные), подготавливая сцену для последующих событий: Once the bowl filled *'Как только бачок заполнился'*, As soon as the bowl emptied *'Как только бачок опустел'*.

И наконец, причинность. Мы находим в тексте глаголы, выражающие каузальные понятия напрямую — cause the bowl to flush *'заставить бачок слить воду'*, make the sound *'издать звук'*, produce the sound *'произвести звук'*, stop the process *'остановить процесс'*, и глаголы, каузативное значение которых связано с особыми результатами, — pour *'позволить течь'*, suck *'заставить перемещаться посредством всасывания'*, fill *'заставить наполниться'*. Три основных типа причинно-следственных отношений — принуждение, позволение и блокирование — все встречаются в тексте, четвертый же тип — способствование — скрыт в наречных обстоятельствах once *'как только'* и as soon as *'как только'*. Кроме того, здесь есть событие, которое трактуется как не имеющее причины, а именно, air entering the siphon *'воздух, входящий в сифон'*. И, конечно же, имеется агонист — вода, которая стремится остаться в бачке, и антагонист — наливаемая вода, которая заставляет воду в бачке выливаться (наряду с более мелкими агонистами и антагонистами, которые появляются, когда мы применяем микроскоп и рассматриваем каузальную последовательность в более мелком масштабе).

Таким образом, перенесенные в сферу человеческой практики понятия Канта, которые представляются такими сложными физикам, специалистам по геометрии и логикам, имеющим дело с абстракциями, оказываются чрезвычайно полезными для инженеров, которые действуют на уровне, соответствующем человеческим интересам и задачам. Нет конечно никакой гарантии, что на английском языке технические описания всегда общепонятны и точны, их часто пишут небрежно (как мы видели на примере путаных описаний, взятых из газет), и они

несколько различаются в разных языках (как мы видели на примере ориентиров и многозначных пространственных терминов). Но и английский, и другие языки используют инвентарь понятий, имеющих необходимый уровень точности и тип, которые соответствуют нашему интуитивному пониманию того, как работают вещи. И хотя мы, возможно, не проводим много времени в разговорах о сливных бачках и других продуктах профессионалов инженерного дела, мы тем не менее тратим уйму времени, обсуждая продукты деятельности непрофессионалов в области техники, когда пользуемся кулинарными рецептами, инструкциями по оказанию первой помощи, советами по ведению домашнего хозяйства, а также рекомендациями по созданию выкроек для шитья, руководствами по ремонту дома и подсказками, какие ставки делать на тотализаторе.

Понятие причинности, необходимое людям для успешного взаимодействия с физическим окружением, столь же необходимо им для успешного взаимодействия с социальным окружением. По существу, понятие причинности неразрывно связано с понятием действия человека вообще. Хотя иногда первым звеном в причинно-следственной цепочке, представляющей для человека интерес, является природный феномен, например, погода или лавина камней, гораздо чаще это звено — человеческое существо, осуществляющее свою, как нам кажется, свободную волю. Прототипический субъект каузативного глагола — это некое лицо, а его прототипический объект — некая сущность, на которую данное лицо прямо и намеренно оказало воздействие в последнем звене каузальной цепочки.

Хотя мы понимаем добровольные действия как действия, не вызываемые каким-либо влиянием, это не мешает нам пытаться самим оказать на них влияние. Так, мы оказываем влияние на людей, возлагая на них **ответственность** за те последствия, причиной которых они явились. Когда мы сталкиваемся с событием, которое нам нравится или не нравится, и приписываем его причину намеренному действию определенного лица, мы обрушиваем на этого человека поток похвал или порицаний, надеясь, что это побудит его (и других людей, которые услышат о такой реакции) в будущем поступать подобным образом чаще или, наоборот, реже. И понятие причинности, которое мы применяем, когда выбираем глаголы, есть то же понятие, из которого мы исходим, возлагая на людей ответственность. Мы выбираем те действия, которые человек совершил сознательно, непосредственно и предсказуемо, а не те, которые просто случились в его присутствии или которые он совершил случайно или неосознанно. Так происходит, вероятно, потому, что именно на подобные виды действий наша похвала или неодобрение могут повлиять в будущем (мы виним ассистента, например, за то, что он не спас файл, потому что наше порицание

может сделать его более внимательным в будущем, но мы не виним его за поломку жесткого диска, потому что здесь от него ничего не зависело). Когда же мы определяем реальную меру наказания, а не просто высказываем словесное осуждение, и при этом кодифицируем правила поведения в письменной форме, — мы называем это юриспруденцией.

Говорят, что *The law is a profession of words* ‘Юриспруденция — профессия слов’. Но на действиях людей слова в виде ярлыков не наклеены; в кинофильме жизни нет ни голоса за кадром, ни субтитров. Чтобы применить слова закона к конкретному происшествию, как это приходится делать юристам, необходимо найти примеры **понятий**, которые эти слова репрезентируют. Если наше интуитивное представление о причинно-следственной связи настолько точно соответствует ситуации, что все наблюдатели готовы прийти к согласию, дело не вызывает сомнений, и его можно просто открыть и закрыть. Но если то или иное понятие приходится силой навязывать некоей ситуации, которая нарушает наш привычный стереотип прямой причинно-следственной связи, — а это случается с поведением людей гораздо чаще, чем с поведением сливных бачков, — заинтересованные стороны спорят о том, как правильнее определить ситуацию. И каждый элемент понятия причинности, который фигурирует в языке причинности, неоднократно служил искрой, из которой возгоралось пламя юридических споров.

Возьмем самое фундаментальное из всех различий — различие между событиями, которые просто следуют одно за другим, в духе Юма, и событиями, между которыми, как мы чувствуем, существует причинно-следственная связь. Норман Финкельштейн, критик государства Израиль, привлекает внимание к событию 1995 г., когда офицер израильской полиции сильно встряхнул палестинца, находившегося в израильской тюрьме, и тот впоследствии умер. Этот случай был расследован судебными патологоанатомами и Верховным судом Израиля, и все согласились, по версии Финкельштейна, что *Harizad died from shaking* ‘Харизад умер от сотрясения’. Ален Дершовиц, выступавший в качестве защитника Израиля, указал, что в действительности заключение выглядело так: *the subject expired after being shaken* ‘человек скончался **после** сотрясения’^[140]. Дершовиц отметил, что между формулировками «умер от сотрясения» и «скончался **после** сотрясения» есть существенная разница. И это действительно так: налицо различие между простой последовательностью событий и их реальной причинно-следственной связью (что в данном случае передает предлог *from* ‘от’, который создает характерный для модели динамики сил метафорический образ энергии, перетекающей от причины к следствию). Семантическое различие между *after* ‘после’ и *from* ‘от’ указывает на каузальное различие между некоей последовательностью и оказанием воздействия, что, в свою очередь, обращает нас к моральному различию между трагедией и злодеянием.

Наши морально-этические представления глубоко пронизывает и другое различие, важное для модели динамики сил, — различие между причинением и допущением. Это различие обнаруживается, например, в знаменитом эксперименте, который придумала философ Филиппа Фут и который долгое время был предметом споров среди философов, занимающихся проблемами этики^[141]. Суть эксперимента в следующем. Дрезина потеряла управление и надвигается на пятерых дорожных рабочих, которые не замечают ее приближения. Вы стоите у переключателя и можете перевести дрезину на другой путь, но тогда погибнет находящийся там один рабочий, который тоже не заметил опасности. Должны ли вы, изменив путь дрезины с помощью переключателя, спасти пять человек ценою жизни одного человека? Большинство людей говорит «да» — и это не только читатели философских журналов, со знанием дела кивающие головами, но и почти 90 % из ста пятидесяти тысяч участников широкомасштабного эксперимента, проведенного Марком Хаузером в более чем ста странах, которые добровольно вызвались поразмышлять над данной дилеммой и поделились своими интуитивными соображениями на его сайте в Интернете^[142].

Представьте себе теперь, что вы находитесь на мосту, который возвышается над железнодорожными путями, и неожиданно замечаете стремительно несущийся поезд, надвигающийся на пятерых рабочих. Единственный способ остановить поезд — сбросить на рельсы перед поездом что-нибудь тяжелое. А единственным тяжелым предметом в пределах досягаемости является для вас толстый человек, стоящий на мосту рядом с вами. Должны ли вы сбросить этого человека с моста? В обоих случаях перед вами стоит дилемма — пожертвовать или нет жизнью одного человека ради того, чтобы спасти пятерых, и поэтому, на первый взгляд, оба случая с моральной точки зрения кажутся идентичными. Однако большинство людей в мире с этим не согласится. Хотя в первом случае они были готовы, повернув переключатель, перевести дрезину на другой путь, во втором случае они не были согласны сбросить с моста толстяка. Когда у них спрашивали о причине, они не могли ответить ничего вразумительного, как не могло дать убедительного объяснения и большинство философов, занимающихся этическими проблемами.

Джошуа Грин, который является одновременно и философом, и исследователем мозга, высказал предположение, что людям присуще сложившееся в ходе эволюции отвращение к лишению жизни невинного человеческого существа и что это чувство оказывается сильнее любых прагматических подсчетов, в которых соизмерялись бы жизни спасенные и жизни, принесенные в жертву^[143]. Этот внутренний протест против жестокого обращения с человеком, возможно, объясняет и другие случаи, когда люди отказываются ценой жизни одного человека спасти многих, например, подвергнуть эвтаназии пациента

в больнице, чтобы получить его органы и спасти пять умирающих пациентов, нуждающихся в трансплантации органов, или во время войны задушить в убежище ребенка, чтобы его плач не привлек внимание солдат и они не расстреляли бы всех, прячущихся в убежище, включая и самого ребенка. Для подтверждения этой мысли Грин совместно с когнитивным исследователем мозга Джонатаном Коэном сканировали мозг людей, когда те размышляли над различными дилеммами^[144]. Исследователи обнаружили, что дилеммы, при решении которых требовалось убить человека собственными руками, одновременно с теми областями мозга, которые включаются при разрешении конфликта, активизировали еще и определенные области мозга, связанные с эмоциями.

Таким образом, мы наблюдаем здесь при обдумывании глубокой моральной дилеммы несомненное влияние умонастроения, характерного для модели динамики сил. Сценарий, в котором действующее лицо является антагонистом, а приносимый в жертву толстяк — агонистом (прототипическое значение каузативных глаголов), возбуждает эмоции, которые перевешивают всякие подсчеты жизней спасенных и жизней погубленных, тогда как альтернативный сценарий, в котором действующее лицо выступает простым **пособником** антагониста (поезда), таких эмоций не вызывает.

Означает ли это, что наша настроенность в духе динамики сил делает наши суждения в области морали неразумными? Не подрывает ли очевидное различие между причинением и способствованием наши этические устои и не приводит ли оно к тому, что наши интуитивные представления становятся ненадежными? Совершенно не обязательно. Мы ценим людей не только за то, что они **делают**, но и за то, что они **собой представляют**. А человек, который способен сбросить с моста отбивающееся человеческое существо или закрыть рукой рот ребенку и держать, пока тот не перестанет дышать, способен, вероятно, и на другие ужасные поступки, у которых уже нет никаких смягчающих обстоятельств и оправданий, вроде количества тел. Даже если оставить в стороне бессердечие, которое необходимо для осуществления подобных действий, человек, обуславливающий свои поступки только тем, каких затрат они требуют и какие выгоды сулят (исходя из расчетов, которые он самонадеянно сам же и произвел), может и подтасовать результаты подсчетов в свою пользу там, где шансы на успех или неудачу неопределенны, а таковыми они в реальной жизни являются практически всегда. Поэтому возможно, что большинство людей, давших в ходе упомянутых выше экспериментов «непоследовательные» ответы, попали в западню, устроенную философами, занимающимися этическими проблемами. Эти философы придумали эксперимент, в котором добропорядочный человек, поведение которого в типичных обстоятельствах обычно приводит к положительным результатам и, следовательно, за-

служивает нашего одобрения, должен был совершать поступки, приводящие к большому количеству смертей. Подобное слишком уж богатое воображение философов, заводящее в тупик или запутывающее наши интуитивные представления о причинности, было сатирически изображено в сборнике юмора философов:

Мозг в баке на планете-близнеце Земли сидит за рулем потерявшей управление дрезины. На одном пути находится рабочий, Джоунз, который планирует убийство пятерых человек, но один из этих пятерых собирается взорвать мост, по которому должен проехать автобус с тридцатью детьми-сиротами...

Будем, однако, справедливы к философам — любой фанат телевизионного сериала «Закон и порядок» знает, что система правосудия подбрасывает нам в жизни мучительные сюжеты, когда принятие решения зависит от того, трактовать ли действие как причинившее смерть, как способствовавшее смерти или как допустившее смерть. По правде говоря, нет даже необходимости обращаться к телевидению; примеры в изобилии можно найти в газетах и книгах по истории. Мы уже упоминали Чарлза Гuito, человека, который стрелял в президента Джеймса Гарфилда, но мог бы избежать повешения, если бы только некто подумал вымыть руки, прежде чем засовывать палец в рану президента, или стал кормить президента через рот, а не с другого конца его пищеварительного тракта. В одной из головоломных историй непрямои причинно-следственной связи (история была взята из реальной жизни, но такую не смог бы, наверное, придумать даже философ) некая вдова из Лонг Айленда подала в суд иск против сети ресторанов Бенихана о возмещении шестнадцати миллионов долларов за преступное причинение смерти, потому что один из шеф-поваров Бениханы, подражая Джеки Чану в фильме «Мистер Крутой», пытался забросить жареную креветку в рот ее мужа с помощью лопаточки. Первую креветку повар запустил в шурина погибшего мужчины, но попал ему не в рот, а в лоб. Затем он бросил креветку в сына пострадавшего, попав ему по руке. И тогда шеф-повар запустил третью креветку — на этот раз в самого мужчину, который, пытаясь увернуться от креветки, резко отдернул голову назад. После обеда мужчина почувствовал боль в шее. В последующие месяцы он перенес две операции на позвоночнике. После второй операции он подхватил инфекцию и умер от заражения крови. Судя по сообщению, опубликованному в *New York Law Journal*, адвокат семьи привлек в качестве аргумента контрфактуальную теорию причинности: *But for the food-flinging incident... [the man] would still be alive 'Если бы не инцидент с бросанием пищи... [человек] был бы жив'*. Юрист со стороны Бениханы имплицитно использовал альтернативную аргументацию динамики сил: *Benihana cannot be liable for [the man's] death because of a break in the chain of causation between the first*

or second procedures and his death five months later. *‘Бенихана не может нести ответственность за смерть [мужчины], по причине разрыва в цепочке причинно-следственной связи между первой и второй процедурами и его смертью пять месяцев спустя’*. Присяжные, продемонстрировав, по-видимому, то, что они действительно думают по этому поводу, вынесли решение в пользу Бениханы^[145].

Каждый второй компонент, входящий, как мы видели, в семантику категории причинности, становился камнем преткновения в судебном разбирательстве^[146]. Так, существует головоломка промежуточного звена, представляющего собой намеренное действие другого действующего лица — человека. Например, безжалостный бандит из ИРА¹⁾ приказывает некому человеку отвезти его в определенное место, где бандит убивает полицейского. Является ли водитель машины сообщником убийцы? И что сказать о человеке, которого объявили военным преступником, а он утверждает, что просто выполнял приказы, или о жертве похищения, такой как Пэтти Херст, заявляющей, что ее подвергли «промыванию мозгов»?

Известна также головоломка, связанная с преступным бездействием, то есть не с совершением преступления, а с его непредотвращением. Следует ли предъявить обвинение в убийстве женщине, которая не помешала своему сожителю до смерти избить ее ребенка? Или прохожему, который не сделал ничего, чтобы спасти бездомного бродягу, и тот погиб на улице от холода? Или человеку, который в порядке самозащиты выстрелил напавшему на него мужчине в ногу, затем долго не вызывал скорую помощь, и в результате нападавший умер от потери крови?

И есть еще головоломка, связанная с установлением цели совершенного действия, которая часто таится в сокровенном уголке мозга человека. Это проявляется достаточно отчетливо, когда мы разграничиваем последствия случайные и намеренные, например, проводим различие между женщиной, которая теряет управление автомобилем на обледеневшей дороге и убивает своего мужа, стоящего на тротуаре, и женщиной, которая направляет автомобиль на мужа, нажимает на акселератор и давит мужа насмерть. А как быть в тех случаях, когда есть расхождение между личными намерениями действующего лица и публичным результатом, который при этом возникает? Например, женщина думает, что крадет чужой зонтик из стойки, но оказывается, что этот зонтик ей и принадлежит. Или мужчина вступает в сексуальные отношения на добровольной основе со своей падчерицей (что не противоречит закону), думая, что она его дочь (тогда это уже противозаконно). Или когда поклонник вуду втыкает иголки в изображение жены в надежде ее погубить.

¹⁾ Ирландская республиканская армия. — *Прим. перев.*

Мы не можем обойтись без понятия причинно-следственной связи, когда в повседневной жизни раздаем хвалу или порицание. Но в полном драматизма опыте нашей жизни это понятие иногда сталкивается с обстоятельствами, которые коренным образом отличаются от стандартных ситуаций. Учитывая бесконечные загадки, вытекающие из нашего понятия причинности с его моделью непосредственного действия, наличия намерения, контакта и внутренней тенденции, неудивительно, что эпизоды сериала «Закон и порядок» заполняют все каналы на кабельном телевидении утром, днем и ночью.

Кант, несомненно, был прав относительно того, что мозг человека «рассекает воздух» понятиями материи, пространства, времени и причинности. Эти понятия являются субстратом нашего сознательного опыта. Они составляют семантическое содержание основных элементов синтаксиса: существительного, предлога, грамматического времени, глагола. Они предоставляют нам словарь, вербальный и ментальный, с помощью которого мы размышляем о мире природы и мире социальном. И, поскольку они являют собой принадлежность мозга, а не извлечения из реальности, они преподносят нам парадоксы, когда мы подталкиваем их к границам науки, философии и юриспруденции. И, как мы увидим в следующей главе, они служат источником метафор, с помощью которых мы постигаем многие другие сферы жизни.

Тем не менее, когда мы рассматриваем эти понятия сквозь окошко языка, они оказываются совершенно не похожими на бесконечный аквариум, вечные часы или кнопку «начни игру сначала», которые во времена Канта наиболее адекватно отражали догадки людей о природе пространства, времени и причинности. Эти понятия имеют цифровой характер, тогда как окружающий нас мир является аналоговым, они жестки и схематичны, тогда как мир богат и многогранен, неопределенны, даже когда мы жаждем точности, и пристрастны в отношении целей и интересов людей, даже тогда, когда нам следует стремиться к полной объективности.

Иногда унизительно думать, что основа здравого смысла — это всего лишь не что иное, как схема устройства одного из наших органов. Тем не менее нашей науке и разуму удалось раскрыть многие аспекты материи, пространства, времени и причинности, которые выглядят как насилие над здравым смыслом, но которые, как мы можем убедиться, по всей видимости соответствуют действительности. Немалую роль в этом прояснении понятий играет исследование того, как они выступают в языке и мышлении, что позволяет понять их как принадлежность нашей натуры и, соответственно, не принимать в расчет. Но ближе подойти к светлой мечте легкокрылой голубки — мечте взлететь в пустом пространстве — мы не можем.

Метафора метафоры



Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден разорвать политические узы, связывающие его с другим народом, и занять наравне с другими державами мира независимое положение, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, должное уважение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, подтолкнувших его к такому отделению.

«Декларация независимости» Соединенных Штатов является, пожалуй, наиболее известным прозаическим произведением на английском языке, выражающим абстрактную политическую идею. Ее основная тема — вызов, бросаемый власти, — испокон веков являлась частью человеческого существования. Однако если до этого момента все сводилось к выяснению, кто кого сильнее, то здесь подобный вызов обосновывается с опорой на принципы, впервые выработанные философами Возрождения. Действительно, в документе выражалось не только основание для вызова, но и обоснование для этого основания.

Сердцевину этой абстрактной аргументации образует, однако, целый ряд весьма конкретных метафор. Проблемой в данном случае явились «узы», которые «связывали» колонии с Англией и которые было необходимо «разорвать» (*dissolve*), чтобы добиться «отделения» (*separation*). (И хотя сегодня *dissolve* значит ‘растворяться (в жидкости)’, изначально оно значило ‘распускать’.) Эти четыре метафоры на самом деле указывают на одну, напрямую не выраженную: альянсы — это узы. Мы видим ту же метафору и в других устойчивых выражениях, таких как *bonding*¹⁾, *attachment* ‘привязанность’ и *family ties* ‘семейные узы’.

¹⁾ Перен. ‘процесс формирования каких-либо близких отношений’, от глагола *to bond* — ‘связывать, прикреплять’. — Прим. перев.

Просматривается метафора и в слове *impel* ‘подтолкнуть, заставить двигаться’ — буквальное значение которого легко понять из слова *impeller* ‘импеллер, вращающаяся деталь, которая выталкивает воду или воздух из насоса’, а также из его близкого родственника *propeller* ‘пропеллер’. Имплицированная метафора в данном случае: ПРИЧИНЫ ПОВЕДЕНИЯ — ЭТО СИЛЫ. Она заложена в когнатах *repel* ‘отталкивать’ и *compel* ‘заставлять’, а также в аналогичных им словах, таких как *impetus* ‘толчок (к чему-либо), импульс’, *drive* ‘вести к чему-либо’, *force* ‘заставлять’, *push* ‘толкать’, *pressure* ‘давление’. Родственную метафору находим в выражении *powers of the earth*, ‘державы мира’ (букв. ‘силы’), что, в свою очередь, наводит на мысль о *horsepower* ‘лошадиная сила’ и *electric power* ‘электричество’: СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО — ЭТО ИСТОЧНИК ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ.

Не столь очевидна в данном случае метафора, использованная для обозначения человеческой истории, — *course* ‘ход’, — которая относится к пути, по которому кто-то бежит или что-то течет, как в выражениях *course of a river* ‘течение реки’, *gascourse* ‘беговая дорожка, водный путь’, *headlong course* ‘стремительное течение’. Метафора в данном случае — ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОБЫТИЙ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ, что является частным случаем метафоры ВРЕМЯ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ, рассмотренной нами в предыдущей главе.

Само название документа вызывает ассоциации с двумя более старыми метафорами. *Declare* ‘декларировать’, как и *clarify* ‘прояснять’ происходят от латинского слова, означающего «делать ясным, прозрачным», что является примером метафоры ПОНИМАНИЕ — ЭТО СПОСОБНОСТЬ УВИДЕТЬ, как и в выражениях *I see what you mean* ‘Я вижу, что вы подразумеваете’, а *murky writer*¹⁾ и *shedding more heat than light* ‘не столько прояснить, сколько наделать шума’. *Independence* ‘независимость’ буквально означает ‘не-висение (на ком-либо)’, отголоски чего мы слышим в словах *suspend* ‘подвесить’, *pendant* ‘подвеска’ и *pendulum* ‘маятник’. Это приводит нас еще к двум метафорам: ПОЛАГАТЬСЯ, РАССЧИТЫВАТЬ (НА ЧТО-Л./КОГО-Л.) — ЭТО ИМЕТЬ ОПОРУ (*propped up* ‘подкрепленный’, *financial support* ‘финансовая поддержка’, *support group* ‘группа поддержки’) и ПОДЧИНЕННЫЙ НАХОДИТСЯ ВНИЗУ (*control over him* ‘контроль над ним’, *under his control* ‘под его контролем’, *decline and fall* ‘упадок и гибель’, букв. ‘спад и падение’).

Если мы станем копать еще глубже, до самых корней слов, мы обнаружим физические метафоры и для других абстрактных понятий. *Event* ‘событие, происшествие’, от латинского *evenire*, изначально означало ‘выходить, исходить’ (ср. с *venture* ‘отважиться, рискованное предприятие’). *Necessary* ‘необходимый’ развилось из ‘неподатливый,

¹⁾ Букв. ‘непрозрачный писатель’, то есть тот, чьи творения не для массового читателя. — Прим. перев.

неуступчивый' (ср. с *cede* 'уступать'). *Assume* (здесь 'занять' (о положении)) означало 'брать, принимать'. *Station* (здесь 'положение') — это место для стояния, случай широко распространенной метафоры, при которой статус равен местоположению. *Nature* 'природа' происходит от латинского слова, обозначающего рождение или свойственные с рождения качества, что очевидно в словах *prenatal* 'предродовой', *nativity* 'рождество' и *innate* 'врожденный'. *Law* 'закон' в значении 'моральная необходимость' основан на слове *law* в значении 'установленные людьми правила', восходящему к старонорвежскому *lag* 'нечто установленное, поставленное'. Метафора МОРАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО — ЭТО ПРАВИЛО лежит также и в основе слова *entitle* (здесь 'давать право на что-либо'), от латинского слова, означающего надпись. Слово *decent* (здесь 'должный') изначально имело смысл 'быть подходящим по размеру'. *Respect* 'уважение' значило 'оглядываться назад' (вспомним аспект 'сторона, аспект'), *kind* 'вид, разновидность' происходит от того же германского корня, что и слово *kin* 'родня, родство', а *require* 'требовать' восходит к 'искать, добиваться чего-либо взамен чего-либо другого'.

Даже маленькие грамматические слова имеют физическое происхождение. Иногда оно очевидно и в современном английском языке, как в случае местоимения *it* 'оно' (СИТУАЦИЯ — ЭТО ВЕЩЬ), а также предлогов *in* 'в' (ВРЕМЯ — ЭТО ПРОСТРАНСТВО), целевого *to* (НАМЕРЕНИЕ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ К НЕКОЙ ЦЕЛИ) и *among* 'среди' (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОДНОЙ ГРУППЕ — ЭТО БЛИЗОСТЬ). Иногда это понятно только из «предка» данного слова, как, например, *of* 'относящийся к', происходящего от германского слова, связанного с *off* 'прочь, от, с', или *for* 'для', восходящий к индоевропейскому слову со значением 'вперед'.

Осталось рассмотреть совсем немного. *Political* 'политический' происходит от греческого слова *polites*, означающего 'гражданин', в свою очередь восходящего к слову *polis* 'город', что скорее случай метонимии, нежели метафоры, но тем не менее ассоциируется с чем-то конкретным. *The* (определенный артикль) и *that* 'тот' происходят от древнего индоевропейского указательного термина (который, в свою очередь, также является источником таких слов, как *then* 'тогда', *there* 'там', *they* 'они' и *this* 'этот', стандартно используемых в связи с указанием направления, места и проч. Остаются только такие слова, как *God* 'Бог', *man* 'человек' и *people* 'люди', которые означают именно то, что они означают и означали уже давно, а также квазилогические термины *and* 'и', *equal* 'равный' и *cause* 'причина'.

В таком случае, если считать нашим путеводителем язык, эта высокопарная декларация абстрактных принципов становится историей с весьма странным и несладким сюжетом. Некие люди висят под другими людьми, с которыми они связаны веревками. По мере того как нечто проплывает мимо, что-то заставляет людей снизу перерезать эти веревки и встать рядом с людьми сверху, чего требуют правила.

Они видят неких наблюдателей и расчищают им поле обзора от того самого, что заставило их перерезать веревки.

Но **должен** ли быть нашим гидом язык? Кажется маловероятным, что кто-то, читая «Декларацию», будет думать теми странными образами, что возникают при буквальном восприятии значений этих слов или их корней. В то же время шокирует осознание того факта, что даже наши самые воздушные мысли выражаются (*expressed* 'выдавливаются') весьма конкретными метафорами. Исследование языка и мысли в предыдущих главах обнаруживало подобные метафоры на каждом шагу: события как объекты, состояния как местности, знание как обладание, коммуникация как посылание чего-то, помощь как дарение, время как пространство, причинность (каузация) как сила. Какой же мы сделаем вывод из того, что мы обнаружили, что человек не может связать двух слов, не прибегая к аллюзиям и аллегориям? В данной главе мы попытаемся проложить путь между двумя экстремальными ответами.

Может быть, не стоит так переживать по данному поводу. Все слова должны были быть созданы неким «словесных дел мастером» когда-то в седой древности. Словесных дел мастер должен был передать некую идею, и ему нужен был для этого некий звук. В принципе, подошел бы любой звук — основной принцип лингвистики гласит, что соотношение звука и значения является произвольным, — так что тот, кто первым вводил термин для политической принадлежности, например, мог бы использовать слова «глорг, шмендрик» или «макгиликадди». Однако у людей плохо получается вызывать звуки «из ниоткуда», и они, вероятно, хотели облегчить понимание нового слова своим слушателям, а не быть обязанными давать ему определение или иллюстрировать его примерами. Поэтому они обратились к такой метафоре, которая напоминала им об этой идее и которая, как они надеялись, вызывала бы нечто похожее в мозгу у слушателя, как, например, *band* 'лента, тесьма' или *bond* 'узы, оковы' для выражения политической принадлежности. Этот метафорический намек позволял слушателям освоить значение термина быстрее, чем в случае, если бы им приходилось полагаться исключительно на контекст, что давало этому слову преимущество в дарвиновском соревновании между неологизмами (тема нашей следующей главы). Это слово распространялось и становилось эндемическим в соответствующей общине, пополняя реестр существующих в том языке метафор. Но потом его стали использовать так часто и в таком количестве контекстов, что говорящие смогли «отбросить костыли», так что сегодня люди ни на секунду не задумываются о его метафорическом референте. Он продолжает существовать подобно семантическому ископаемому, некой диковине на забаву этимологов и прочих любителей словесности, резонируя в нашем мозгу ничуть не больше, чем любой другой набор гласных и согласных. Назовем это теорией зануды. Она гласит, что большинство метафор — метафоры мертвые, такие как,

например, coming to a head ‘*достигнуть апогея*’, букв. ‘*прийти к головке*’, которую люди, наверное, перестали бы употреблять, знай они, что выражение это отсылает нас к скоплению гноя в прыщике.

Другая крайность — мнение, что человеческий мозг может непосредственно думать только о конкретных данных опыта: об изображениях и звуках, об объектах и силах, а также об обычаях вести себя и чувствовать в той культуре, в которой мы выросли. Все наши прочие идеи суть метафорические аллюзии к тем конкретным сценариям. Например, мы не можем думать о политических связях, не вспоминая, возможно, бессознательно, о некоем клее или веревке. А когда мы думаем о времени, «включаются» именно те отсеки мозга, которые отвечают за пространство. Человеческий разум с его способностью придумывать неограниченное число абстрактных мыслей развился из основной схемы, существовавшей для решения задач физического и социального мира, расширенной возможностью распространять эти схемы на новые зоны с помощью метафорической абстракции. И, поскольку люди думают метафорами, ключом к пониманию человеческой мысли является деконструкция этих метафор. Люди не соглашаются друг с другом потому, что они вставляют одну и ту же проблему в рамки разных метафор и портят себе жизнь из-за пагубных последствий такого оформления, которое они используют, сами того не ведая. Лингвистически осведомленное литературоведение является ключом к решению конфликтов и проблем, возникающих в психотерапии и праве, в философии и политике. Назовем это мессианской теорией. Она основана на идее: думать — значит, понимать МЕТАФОРУ, — или метафоре метафоры.

Зануды и мессии

Теория зануды и мессианская теория могут показаться эдакими дорогими бутылками, которые ловкий виноторговец выставляет по обеим краям полок, но каждая из них заслуживает нашего внимания. Нет сомнения, что некоторые метафоры давно и безнадежно мертвы, — если уж не dissolving the bands и coming to a head, то уж, безусловно, те, что произошли из латинских и древненорвежских корней. Как-никак современные англофоны не хранят в Юнгианском коллективном бессознательном метафорическое воображение давно умерших говорящих. И если некоторые метафоры способны оставаться в языке в качестве «ископаемых», это наводит тень сомнения на каждую метафору. Даже тот факт, что та или иная метафора была обнаружена в определенном языке, не является гарантией того, что она прозрачна для говорящего, а не употребляется им неосознанно, так же как мы бы употребили слова таи ‘*человек*’ или дог ‘*собака*’. Как заметил однажды знаменитый знаток символического, «иногда сигара — всего лишь сигара».

Одним из признаков того, что метафоры часто не осознаются, является преобладание **смешанных** метафор, то есть таких, в которых говорящий или пишущий как попало слепляет две метафоры, которые связаны по их актуальным значениям, но выглядят нелепо с точки зрения их буквального смысла:

I'm not going to stick to my laurels.

Я не буду держаться за свои лавры (букв. 'Я не буду липнуть к своим лаврам'.) [Актриса Кейт Уинслет, на церемонии Оскар в 2002 г.]^[1].

Once you open a can of worms, they always come home to roost.

Ввяжешься в неприятность, а потом из нее не выпутаешься (букв. 'Откроешь банку с червями, они непременно вернутся домой на насест', соединение идиомы to open a can of worms 'коснуться неприятной темы', ср. 'открыть ящик Пандоры' и chickens always come home to roost 'зло непременно вернется к тому, кто его содеял', ср. 'посеешь вертер, пожнешь бурю'^[2]).

Those professors tilt at the windmills of a capitalist patriarchy from whose teat they feed.

Эти профессора борются с ветряными мельницами капиталистической патриархии, молоком которой они питаются^[3].

Once again, the Achilles' heel of the Eagles' defense has reared its ugly head.

И снова подняла свою уродливую голову ахиллесова пята защиты Eagles^[4].

Непрозрачность повседневных метафор явствует также из ненамеренно бестактных высказываний (например, один радио-психотерапевт как-то сказал: For some patients, cancer can be a growth experience 'Для некоторых больных рак может быть событием, совпавшим с периодом их роста'¹⁾), из двусмысленных заголовков в прессе, например chef throws his heart into helping the needy 'Шеф-повар с воодушевлением помогает обездоленным' (букв. 'Шеф-повар бросает свое сердце в помощь обездоленным'), голдвинизмов (An oral agreement isn't worth the paper it's written on 'Устный договор не стоит потраченной на него бумаги'), а также из вступления в клуб под названием AWFUL²⁾ — Americans Who Figuratively use the Word «Literally» 'Американцы, которые употребляют слово «буквально» в переносном значении'^[5]. Одним из основателей этого сообщества стал раввин Барух Корф, защищавший Ричарда Никсона в тяжелые для того времена процесса Уотергейт. Он как-то заявил следующее: «Американская пресса буквально кастрировала президента Никсона».

С другой стороны, вездесущность метафоры в повседневном языке является поистине удивительным открытием, имеющим серьезные

¹⁾ Слово growth используется в медицинском подязыке в значении 'новообразование, опухоль', поэтому growth в данном высказывании может ассоциироваться у больных раком с «опухолью». — Прим. перев.

²⁾ Аббревиатура клуба совпадает со словом awful 'ужасный'. — Прим. перев.

следствия. Даже зануде приходится признать, что метафоры были живыми в сознании их создателей и весьма привлекательными для тех, кто начинал ими пользоваться. Даже само количество риторических фигур, относящихся к одному и тому же (в метафоре не упомянутому) образу, предполагает тот факт, что ныне умолкнувшая метафора должна была быть прозрачной для большого количества как ее создателей, так и адептов в течение очень длительного времени. Рассмотрим лишь несколько выражений, которые можно объединить под шапкой СПОР — ЭТО ВОЙНА, собранных лингвистом Джорджем Лакоффом и философом Марком Джонсоном [6]:

Your claims are indefensible.

Ваши утверждения очень шаткие (букв. 'не пригодны для обороны').

He attacked every weak point in my argument.

Он атаковал каждый слабый пункт в моей аргументации.

His criticisms were right on target.

Его критика была прямо в цель.

I demolished his argument.

Я камня на камне не оставил от его доводов.

I've never won an argument with her.

В споре с ней я ни разу не выходил победителем.

You don't agree? Okay, shoot!

Ты не согласен? Хорошо, теперь твоя очередь! (букв. 'стреляй!').

If you use that strategy, he'll wipe you out.

Если ты будешь использовать эту стратегию, он сотрет тебя в порошок.

She shot down all my arguments.

Она повергла в прах (букв. 'сбила выстрелами') все мои аргументы.

А вот ряд вариантов на тему ЛЮБОВЬ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ:

Our relationship has hit a dead-end street.

Наши отношения зашли в тупик.

It's stalled; we can't keep going the way we've been going.

Они застряли на одном месте; мы не можем продолжать в том же духе (букв. 'идти тем путем, которым шли').

Look how far we've come.

Смотри, до чего мы докатились.

It's been a long, bumpy road.

Это был долгий и ухабистый путь.

We can't turn back now.

Теперь мы не можем повернуть назад.

We're at a crossroads.

Мы на распутье.

We may have to go our separate ways.
Возможно, нам придется пойти разными дорогами.

The relationship isn't going anywhere.
Эти отношения ни к чему не приведут.

We're spinning our wheels.
Мы буксуем на месте.

Our relationship is off the track.
Наши отношения разладились (букв. 'сбились с пути').

Our marriage is on the rocks.
Наш брак потерпел крушение.

I'm thinking of bailing out.
Я подумываю о том, чтобы вырваться.

Поскольку приведенные метафоры не наделены поэтическим своеобразием, их следует отличать от литературных метафор типа «Джультетта — это солнце». Иногда их называют концептуальными метафорами, поскольку никому в действительности не приходилось заявлять «Спор — это война!» или «Любовь — это путешествие»; лежащая в основе метафора свойственна семейству родственных тропов. Их также называют **порождающими** метафорами, поскольку люди с легкостью порождают новые тропы, относящиеся к тому или иному семейству, как, например, He protected his theory in a hardened bunker *Он защищал свою теорию из упроченного бункера* или Marsha told John they should step on the breaks *Марша сказала Джону, что (их отношения) надо притормозить*^[7]. Чтобы эти выражения появлялись с такой легкостью, говорящие и слушатели должны расчлнить подразумеваемую метафору, чтобы обнажить связующие нити между вещами, поименованными в метафоре, и теми абстрактными понятиями, о которых идет речь на самом деле. В литературной теории их иногда называют «носителем» (*vehicle*) и «содержанием» (*tenor*); когнитивисты же называют их «источником» и «целью»^[8]. Например, чтобы свободно употреблять различные варианты выражений на тему ЛЮБОВЬ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, человеку необходимо проникнуть в метафору-концепт на достаточно большую глубину. Лакофф объясняет это так:

Влюбленные — это путешественники, совершающие совместную поездку, где пунктами назначения являются объединяющие их общие жизненные цели. Их отношения — это средство передвижения, которое и позволяет им вместе достигать намеченных общих целей. Отношения считаются отвечающими своей главной задаче тогда, когда они позволяют им приближаться к этим совместным целям. Это путешествие нелегкое. На пути возникают препятствия, встречаются определенные места (перепутья), где необходимо принимать решения относительно дальнейшего направления или того, стоит ли продолжать путешествие вместе^[9].

Любой, кто не уловил интуитивно вышеприведенного сценария, сможет употреблять некоторые из этих выражений, выучив их наизусть, но не будет способен понимать или придумывать новые выражения. И сообщество таких все понимающих буквально людей никогда бы не сочло эти метафоры столь красноречивыми, чтобы позволить им накопиться в их языке в таком количестве. Когда мы соединим продуктивность выражений внутри той или иной порождающей метафоры с количеством существующих в языке порождающих метафор (Лакофф насчитал сотни, начиная от БОЛЬШОЙ ЗНАЧИТ ВАЖНЫЙ и ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — ЭТО НЕКАЯ ЕМКОСТЬ до МОРАЛЬ — ЭТО ЧИСТОТА И СОБСТВЕННОЕ Я — ЭТО ГРУППА ЛЮДЕЙ), нам придется согласиться с возможностью того, что порождающие метафоры — значительный языковой феномен, дающий важную информацию о нашем когнитивном строе^[10]. Абстрактные идеи систематическим образом связаны с какими-то более конкретными вещами.

Метафора важна

От того, каков будет ответ на вопрос, как человеческий мозг обрабатывает концептуальные метафоры, зависит многое. Во-первых, этот ответ может пролить свет на когнитивное развитие и обучение. Дети могут не разбираться в политических объединениях и интеллектуальной аргументации, но они, безусловно, знают толк в рогатках и драках. Концептуальные метафоры указывают на наиболее очевидный путь постижения новых абстрактных понятий. Дети заметят, или же им укажут на параллель между уже понятным им физическим миром и миром концептуальным, которого они пока не понимают. Это бы объяснило не только то, как дети постигают различные сложные идеи по мере своего взросления, но и то, как люди любого возраста изучают их в школе с помощью дидактической прозы^[11]. Такие аналогии, как АТОМ — ЭТО СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА или АНТИТЕЛО — ЭТО КЛЮЧ ОТ ЗАМКА в таком случае являются не просто педагогическими приемами; они становятся механизмом, используемым мозгом для постижения недоступных доселе уму понятий.

Привлекательность метафоры метафор лежит еще глубже. С тех пор как Дарвин и Уоллес выдвинули теорию эволюции, основанной на естественном отборе, люди стали задумываться о том, как человеческий мозг развил способность размышлять о таких абстрактных областях, как физика, шахматы или политика, не имеющих отношения к продолжению рода и выживанию. Эта самая загадка заставила Уоллеса отойти от Дарвина и приписать человеческий разум некоему божественному замыслу, что, по сути, предвосхитило движение «разумный план» (*intelligent design*), возникшее в США более ста лет спустя^[12].

Однако концептуальная метафора указывает на один из возможных путей решения загадки [13].

Те концептуальные метафоры, что мы с вами встретили во второй и четвертой главах, уходили своими корнями в понятия о веществе, пространстве, времени и каузации (которая сама произрастает из понятия о силе). Эти понятия были, безусловно, в пределах понимания наших далеких предков. В предыдущей главе мы рассмотрели эксперименты Марка Хаузера и его коллег, показавших, что макаки-резус могут понимать причинно-следственную связь (например, они знают, что рука с ножом может разрезать яблоко, а рука со стаканом воды не может). Другие эксперименты Хаузера показали, что обезьяны-игрунки обладают обширным пониманием пространственных и механических отношений, выражаемых нами с помощью существительных, предлогов и глаголов [14]. Когда им дают возможность дотянуться до порции еды, находящейся за окном, с помощью различных предметов, разложенных перед ними, обезьяны выбирают прочные палочки и крючки, избегая похожих, но разрезанных надвое или сделанных из ниток или пластилина и не тратя времени на это, если путь чем-то блокирован или отверстие слишком узкое. Теперь представим эволюционную ступень, которая позволила тем самым нейронным программам, которые выполняли такую умственную работу, отделиться от конкретных кусков материи и начать работать с символами, обозначающими практически все что угодно. Когнитивная техника, которая высчитывает отношения между вещами, местами и причинами, могла бы по совместительству «сдаваться» абстрактным идеям. Происхождение абстрактного мышления усматривалось бы из конкретных метафор, своего рода когнитивных рудиментов [15].

Разумеется, источниками большинства метафор из обширной коллекции Лакоффа являются далеко не только предметы, пространство, время и каузация. Многие из них — это другие весьма вероятные «больные темы», волновавшие наших далеких предков, такие как конфликт, растения или болезнь. И даже сложные метафоры могут быть построены из более простых концептов. Например, «двигателем» в метафоре ЛЮБОВЬ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ может считаться некая емкость, которая движет людей по некому пути к некой цели. Если любая абстрактная мысль метафорична, а все метафоры состоят из биологически базовых концептов, то у нас с вами имелось бы объяснение эволюции человеческого разума. Человеческий разум был бы результатом метафоры и комбинаторики. Метафора позволяет мозгу использовать несколько основополагающих идей — вещества, места, силы, цели, — для понимания более абстрактных областей. Комбинаторика же дает возможность использовать некий ограниченный набор простых идей для производства бесчисленного количества идей сложных [16].

Еще одним следствием метафоры метафор является феномен **фрейминга**. Множество разногласий между людьми происходит не по причине различий в данных или в логике, а оттого, какой фрейм накладывается на ту или иную проблему. Мы наблюдаем этот феномен в случае, когда противники «говорят мимо друг друга» или когда понимание чего-либо требует резкой «смены парадигмы». В первой главе мы упомянули несколько примеров, таких как *invading Iraq* ‘вторжение в Ирак’ или — *liberating Iraq* ‘освобождение Ирака’, *ending a pregnancy* ‘прерывание беременности’ или *killing an unborn child* ‘убийство еще не родившегося ребенка’, *redistributing wealth* ‘перераспределение богатства’ или *confiscating earnings* ‘конфискация заработков’. Каждая острая ситуация зиждется на выборе между метафорами, такими как конкурирующие модели динамики сил, лежащие в основе вторжения (антагонист проникает в ту или иную местность, преодолевая сопротивление агониста) или же освобождения (антагонист устраняет другого антагониста, который мешает свободному существованию агониста). Одной из причин, по которой я стал объяснять глагольные конструкции во второй главе, стал тот факт, что они показывают, что даже наши самые обыденные действия могут быть оформлены по-разному, как, например, явствует из разницы между выражениями *spraying paint on the wall* ‘распылять краску по стене’ (заставлять краску перемещаться) и *spraying the wall with paint* ‘окрашивать стену при помощи распылителя’ (заставлять стену измениться).

В рамках когнитивной психологии наиболее известный пример эффектов фрейминга (вкратце рассмотренный в третьей главе) получен в эксперименте Амоса Тверски и Дэниэла Канемана, которые поставили перед группой врачей следующую проблему^[17]: «Ожидается, что новый штамм гриппа унесет жизни 600 человек. Предложены две системы борьбы с данным заболеванием». Далее некоторым из врачей была предложена следующая дилемма:

Если будет принята программа А, выживут 200 человек. Если будет принята программа Б, то вероятность, что выживут 600 человек, равна одной третьей, а вероятность того, что никого не удастся спасти, равна двум третьим. Какую из двух программ предпочтете вы?

Если вы похожи на большинство докторов, поставленных перед этим выбором, вы отдадите предпочтение программе А, то есть гарантированному варианту, а не программе Б, варианту рискованному. Второй группе докторов была предложена другая дилемма:

Если будет принята программа С, 400 людей умрет. Если будет принята программа D, то вероятность, что никто не погибнет, равна одной третьей, а вероятность, что умрет 600 человек, равна двум третям. Какую из двух программ предпочтете вы?

Если вы похожи на большинство докторов, поставленных перед **этим** выбором, вы будете избегать программы С, гарантированного варианта, и поставите на программу D, рискованный вариант.

Если же вы внимательно прочтете оба варианта, то вы заметите, что два предложенных сценария идентичны. Если считать, что 600 людей умрет от отсутствия лечения, то спасение 200 человек равно потере 400 человек, а спасение никого равно потере всех. Тем не менее доктора меняли свои предпочтения в зависимости от того, как было «оформлено» идентичное по своей сути меню вариантов. Решающая разница в подборе слов соотносилась с разницей в метафорах. Люди, которых удалось бы спасти после курса лечения, воспринимались как «приобретение» по сравнению с тем, что случилось бы, если бы эпидемию не пытались остановить с помощью лечения, тогда как люди, которые умерли бы, воспринимались как «потеря» по сравнению с тем, что было бы, если бы эпидемия просто не началась. Теперь следует заметить, что, как показали другие эксперименты, люди более остро переживают потерю чего бы то ни было, нежели радуются приобретению того же ^[18]. Например, люди охотно расплачиваются кредитной карточкой даже в случае, если за оплату наличными им будет предложена скидка, но они ни за что не захотят платить точно такую же сумму, если им скажут, что за оплату кредитной картой взимается процент. В результате люди часто отказываются рисковать ради возможного выигрыша (они отвергают предложения типа «Орел — вы выиграли 120 долларов, решка — вы платите 100 долларов»), но они станут рисковать, дабы избежать возможной потери (например, «Орел — вы больше не должны нам 120 долларов, решка — теперь вы должны нам еще 100 долларов»). Подобное поведение приводит экономистов в **бешенство**, хотя активно изучается инвестиционными фирмами, надеющимися обратить его в свою пользу. Сочетание человеческого отвращения к потерям с эффектами фрейминга объясняет этот парадоксальный результат: метафора «прибыли» заставила докторов избегать риска, тогда как метафора «потери» побудила их к риску.

Работа Тверски и Канемана (1981), хотя и несколько сложновата, является золотым стандартом демонстрации воздействия фрейминга на поведение: идентичные события, разные метафоры, смена решения — и не просто какого-то решения, но такого, от которого зависели бы сотни человеческих жизней. С тех пор идея о том, что фрейминг влияет на мышление применялась ко многим областям человеческой деятельности. Градостроитель Дональд Шен утверждал, что метафора *urban blight* '*городское увядание*' заставила планировщиков относиться к перенаселенным районам как к неким большим растениям, которые следует выполоть, чтобы предотвратить распространение гниения. Результатом этого стали ужасные проекты «городского обновления» 1960-х гг. ^[19]

Судья Майкл Буден утверждал, что на судей могут скрыто воздействовать такие метафоры, как *fruit of the poisonous tree* ‘плод ядовитого дерева’, означающая нелегально добытые доказательства, или *the wall of separation between church and state* ‘стена, разделяющая церковь и государство’ и *bottleneck monopolies*, букв. ‘монополии бутылочного горла’ (компании, которые контролируют некий сектор рынка, например энергосистему или сервис объявлений по продаже недвижимости) [20]. Книга по психотерапии под названием *Metaphors in Mind*¹⁾ призывает врачей работать с метафорами, употребляемыми их пациентами, такими как *I have a sensitive radar for insults* ‘У меня высокочувствительный радар на оскорбления’ или *I’m trapped behind a door* ‘Я в ловушке: дверь закрыта’ [21]. Книга о лидерстве в области бизнеса под названием *The Art of Framing* («Искусство фрейминга») рассматривает случаи, когда различные виды бизнеса называются путешествиями, играми, войнами, машинами, организмами и обществами [22].

Мысль, что наш мозг — торговец метафорами, имеет многочисленные следствия. Давайте рассмотрим то, что говорит в пользу этого утверждения, и то, что совсем не способствует данной мысли.

Мессия метафоры

Если считать, что уважение к метафоре приведет нас к некоей мессинской эпохе, мессией был бы никто иной, как Джордж Лакофф. В 1960-е гг. Лакофф был студентом Хомского и стал основателем таких новых движений, как когнитивная семантика и когнитивная лингвистика [23]. В серии занимательных книг, начатой с *Metaphors We Live By* (написанной в 1980 г. в соавторстве с Марком Джонсоном²⁾), Лакофф весьма глубоко проанализировал мир концептуальных метафор, сделав ряд потрясающих открытий. Он пришел к ряду удивительных выводов.

Лакофф, безусловно, является самым ярким сторонником метафоры метафоры. Метафора, утверждает он, — это, определенно, не просто некое изобразительное средство языка, но важная часть мышления: «Наша обыденная понятийная система, в терминах которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути» [24].

Жизнь умственная начинается с небольшого количества событий, которые не метафоричны по своей сути, а именно с тех ощущений, действий и эмоций, которые закладываются в наш организм и связаны с физическим миром. Оттуда мы и извлекаем концептуальные метафоры в ходе процесса создания соответствующих ассоциаций. Мы

¹⁾ Игра слов: «Метафоры в сознании» и «Памятуя о метафорах». — Прим. перев.

²⁾ Рус. пер.: Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Изд. 2. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2008. — Прим. перев.

усваиваем, что КОНТРОЛЬ НАХОДИТСЯ ВВЕРХУ, потому что мы пережили ряд драк, в ходе которых победитель оказывается наверху, что ЦЕЛИ — ЭТО КОНЕЧНЫЕ ПУНКТЫ ДВИЖЕНИЯ, поскольку мы подходим к тому, что нам нужно, и что ВРЕМЯ — ОБЪЕКТ, НАХОДЯЩИЙСЯ В ДВИЖЕНИИ, поскольку объекты, которые двигаются по направлению к нам, становятся все ближе и ближе по мере того, как проходит время.

Но это только начало. Поскольку мы думаем метафорами, основанными на физически пережитом опыте, а не логическими формулами с истинностными значениями, вся традиция западной мысли со времен древних греков является фундаментально неверной^[25]. Разум базируется не на абстрактных законах, поскольку мышление основано на телесном опыте. Соответственно, понятие объективной или абсолютной истины следует отвергнуть. Существуют лишь соревнующиеся между собой метафоры, которые в большей или меньшей степени подходят для целей тех, кто «по ним» живет.

В таком случае западная философия является не продолжительным спором о знании, этике и реальности, а некоей последовательностью концептуальных метафор^[26]. Философия Декарта основана на метафоре знать — значит видеть, Локка — на разум — это сосуд, Канта — на мораль — это строгий отец и т. д. Математика также не имеет отношения к платоновской реальности вечных истин^[27]. Она была создана телом и чувствами человека, происходя из таких действий, как передвижение по дороге, а также собирание, строительство и измерение предметов. Политические идеологии также можно определять не в терминах представлений или ценностей, но только как соревнующиеся между собой версии метафоры общество — это семья Правые в политике сравнивают общество с семьей, во главе которой стоит строгий отец, а левые — с семьей, о которой печется заботливый родитель^[28].

Ежедневные политические дебаты — это тоже соревнования между метафорами^[29]. Граждане, по сути, нерациональны и обращают внимание на факты только в той степени, в которой те соответствуют определенным фреймам, а сами фреймы «закреплены в нейронной структуре мозга»^[30]. К примеру, в свой первый президентский срок Джордж Буш-младший обещал **облегчение налогового бремени** (*tax relief*), что представляет налоги как бедствие, того, кто дает некое облегчение по ним, как героя, а любого, кто будет стоять у него на пути, как злодея. Поступая весьма неразумно, демократы предложили свою собственную версию «облегчения налогового бремени», тем самым принимая фрейм республиканцев; по мнению Лакоффа, это было равносильно тому, чтобы попросить людей не думать о слоне. Вместо этого демократической партии следовало бы назвать налоги чем-то вроде «членских взносов», которые необходимы для поддержания услуг и инфраструктуры того общества, к которому мы принадлежим. В 2005 г. Лакофф был выбран на роль спасителя демократической партии в связи с ее

шокирующим поражением в прошлогодних президентских выборах. Он общался с лидерами и стратегами партии, выступал на закрытых партсобраниях, а его книга *Don't Think of an Elephant!* («Не думайте о слоне!») стала бестселлером и своего рода талисманом либералов^[31].

Теперь заметим, что лингвистика принесла в мир множество крупных идей. К ним относится разнообразие языков, вдохновлявшее Дарвина при создании теории происхождения видов, анализ звуковых оппозиций, вдохновлявший структурализм в литературной теории и антропологии, гипотеза лингвистического детерминизма, а также теория глубинной структуры и универсальной грамматики Хомского. Но даже по этим меркам теория концептуальной метафоры Лакоффа представляет собой нечто невероятное. Если он прав, то его теория может сделать все — от ниспровержения более чем двухтысячелетней западной интеллектуальной традиции ошибочного мышления, полагавшегося на правду и объективность, до привода демократа в Белый дом.

Хотя я считаю, что концептуальная метафора в самом деле имеет огромное значение для понимания языка и мысли, мне кажется, что Лакофф заходит с этой идеей слишком далеко.

Начнем с самого верха, с его отрицания правды, объективности и отвлеченного разума. Справедливости ради следует заметить, что Лакофф не является постмодернистом или радикальным культурным релятивистом. Он верит в существование неметафорического, физического мироздания, он также признает то, что человеческая природа, заключенная в нашем теле и вступающая в контакт с миром, поставляет тот универсальный опыт, который и делает многие метафоры общими для всего человечества. Однако он также считает, что многие метафоры, которые являются основой нашего мышления, различаются в зависимости от культуры, в которой они возникли, и даже его универсализм — это своего рода **видовой** релятивизм типа: наше знание есть не что иное, как инструмент, настроенный на организм и интересы *homo sapiens*. А коль скоро это так, версию релятивизма Лакоффа можно свободно раскритиковать теми же двумя способами, что и релятивизм в целом^[32].

Во-первых, наши лучшие достижения в науке и математике могут предсказывать поведение мира с такой точностью, что это было бы уж слишком поразительным совпадением, если бы эти теории не соответствовали действительности. Как заметил Ричард Докинз, даже самый завзятый релятивист полетит на свою очередную академическую конференцию на реактивном самолете, созданном согласно метафорам современной физики, а не на ковче-самолете, спроектированном согласно некоей метафоре-сопернице (говоря его словами, «покажите мне релятивиста на высоте 30 000 футов, и я покажу вам лицемера») ^[33].

Недостаточно будет сказать, что научные метафоры просто-напросто «полезны», если только, конечно, не подавить в себе всякий

интерес к тому, почему некоторые метафоры полезны, а другие — нет. Очевидным ответом будет то, что некоторые метафоры могут выражать истины об окружающем мире. Так что даже несмотря на то, что язык и мысль используют метафоры, это не означает, что знание и правда никому не нужны. Это может подразумевать, что метафоры могут объективно и правдиво отражать аспекты реальности. В одном из последующих разделов мы увидим, как это делается.

Другим опровержением является тот факт, что самой своей попыткой убедить других в правдивости релятивизма его сторонники доказывают, что не могут обойтись без такого понятия, как объективная истина^[34]. Они привлекают новых адептов с помощью убеждения — четким построением фактов, логикой, — а вовсе не подкупом или угрозами. Они противостоят своим критикам, используя дебаты и интеллект, а не с помощью дуэли на пистолетах или швыряния стульями, как на дешевом ток-шоу. И если бы их спросили, является ли их разновидность релятивизма ложью, они бы стали отрицать подобное обвинение, а не болтать вздор, что вопрос не имеет никакого смысла. Достаточно взглянуть на первые строчки *Philosophy in the Flesh* («Философия во плоти») Лакоффа и Джонсона:

Разум по существу воплощен в теле человека, встроен в него.

Мысль в основном бессознательна.

Абстрактные понятия в целом метафоричны.

Это три основных открытия когнитивистики. Более двух тысячелетий заведомо философских спекуляций на тему этих аспектов мышления позади. Благодаря этим открытиям философия уже никогда не станет прежней. Взятые вместе и детально рассмотренные, эти три открытия несовместимы с центральными идеями западной философии.

«Разум по существу воплощен в теле» — а не «Мы предлагаем метафору, согласно которой разум воплощен в теле». «Эти открытия» — а не «эти полезные концептуализации (фрейминги)». «Не совпадают с центральными идеями западной философии» — а не «метафора, отличающаяся о той, что предлагает западная философия». У Лакоффа и Джонсона нет другого выхода. Самим актом выдвижения своего тезиса они предполагают наличие трансцендентных понятий об истине, объективности и логической необходимости, которые они и пытаются подорвать. Даже если мы согласимся с Лакоффом в том, что абстрактные понятия неким образом метафоричны, важной следующей ступенью было бы показать, как метафорическое мышление может быть рациональным, а не отказываться от рациональности полностью.

Двигаясь от одной философии к другой, мы обнаруживаем множество доводов против утверждения, что наше мышление по большому счету метафорично: люди с легкостью «перешагивают» через метафоры, присущие их родному языку. Я уже упоминал мнение зануды, что

многие (если не большинство) концептуальные метафоры непрозрачны для современного носителя языка. Это значит, что у говорящих достаточно средств, чтобы непосредственно усматривать лежащие в основе понятия: абстрактную идею о приближении к наивысшей точке, а не конкретную идею о головке прыща; абстрактную идею об изобилии проблем, а не конкретную идею о жестяной банке с червями.

Экспериментальная психология — область, полная таких вот затруднений, и целый ряд ученых доказал, что люди не докапываются до концептуальной метафоры всякий раз, когда понимают метафору обычную. Психологи Боаз Кейзар и Сэмюэл Глюксберг, а также их коллеги, показывали людям цепочку предложений, построенную вокруг одной концептуальной метафоры^[35]:

«Любовь — это больной, — сказала Лиза. — Я чувствую, что наши отношения на последнем издыхании. Как же наш брак может быть крепким, если ты продолжаешь восхищаться другими женщинами?» «Это все твоя ревность», — сказал Том.

Экспериментаторы рассудили, что если бы читатель на самом деле задумался о лежащей в основе текста метафоре, он бы был готов к новым примерам, таким как «Ты заразился этой болезнью». В таком случае он бы распознал ее быстрее, чем если бы фраза появилась в тексте неожиданно, после обычного начала, в котором не было бы никакого упоминания данной метафоры:

«Любовь — это испытание, — сказала Лиза. — Я чувствую, что наши отношения под угрозой. Как же мы можем сохранять наш брак, если ты продолжаешь восхищаться другими женщинами?» «Это все твоя ревность», — сказал Том.

Однако преимущества не было: начало, содержащее в себе типовые метафоры, не подготавливало читателей к новой метафоре, что говорит о том, что лежащая в основе концептуальная метафора была попросту не замечена. В третьем эксперименте читателя заставляли задуматься о концептуальной метафоре, поскольку вводные предложения содержали ряд нетиповых метафор:

«Любовь — это больной, — сказала Лиза. — Я чувствую, что наши отношения вот-вот впадут в кому. Как же мы можем ввести необходимое лекарство, если ты продолжаешь восхищаться другими женщинами?» «Это все твоя ревность» — сказал Том.

В этом случае читатель понимал тест-предложение о заражении болезнью быстрее — так же быстро, как если бы история была о реальном случае заражения некоей существующей болезнью. Психологи пришли к выводу, что люди могут прочитать то или иное метафорическое выражение «вглубь» до понятий, лежащих в его основе, но только в том случае, если метафора является новой. Когда же перед нами

мeтaфopa oбщeпpинятa, кaк бoльшннcтвo тeх, чтo пpивoдит нaм Лaкoфф, лyди cрaзy жe oбpaщaютcя к ee aбcтpактнoмy знaчeннoмy.

Лyди нe тoлькo мoгyт нe пpнoснть мeтaфopы, нo cпocобны cтaвнть нх пoд coмнeннe нлн вooбщe нe бpать нх в pacчeт, a тaкжe aнaлнзнpoвaть, кaкнe aспeктy ee пpнмeннмы, a нa кaкнe нe cлeдyeт oбpaщaть вннмaннe. В дeйcтвнтeльнocтн, пpнвлeчeннe вннмaннe к pacxoжнм мeтaфopaм — этo pacпpocтpaнeнннй жaнp юмopa, кaк, нaпpнмeр, вoпpoc, зaдaнннй Cтнвeнoм Pнйтoм: «Eслн вeсь мнр — тeaтp, тo гдe жe тoгдa cнднт пyблнкa?», — нлн aфpo-aмepнкaнcкaя шyткa: *Your mama is so dumb, she put a ruler on the side of the bed to see how long she slept* ‘*Твoя мaмaнa тaк глyпa, чтo пoлoжнл нa кpай кpoвaтн лннeнкy, чтoбы пoнять, кaк дoлгo oнa cлaлa*’. Ннжe пpнвeдeн eщe oдн пpнмeрe нз кoмнкcа пpo Днлбepтa:



Dilbert © United Feature Syndicate, Inc.

Днлбepт: Мь мoжeм лнбo ждaть тpн мeсяцa, пoкa кoмнтeт пo пpoгpaммнoмy oбeспeчeннoмy oдoбpнт нaш плaн...

Лнбo жe мь мoжeм вoспapнть пoдoбнo oрлaм нaчaть дeйcтвoвaть бeз нх oдoбpeннe, экoнoмя тeм cамым мнлннoны дoллapoв!

Нaчaльннк: C кaкнх этo пop oрлы cтaлн нcпoльзoвaть пpoгpaммнoe oбeспeчeннe?

Днлбepт: Пoжaлyйтa, нe oтвлeкaйтeсь нa этy aнaлoгню

Шyткн шyткaмн, a лyдн тeм нe мeнee нe мoглн бн aнaлнзнpoвaть мeтaфopы, eслн бн нe влaдeлн лeжaщнм в нх oснoвe бoлee aбcтpактннм cпocoбoм мышлeннe, чeм cамн этн мeтaфopы. Нe мoглн бн oнн, кcтaтн, н нcпoльзoвaть кoнцeптyaльнyю мeтaфopy длa тoгo, чтoбы c ee пoмoщью дyмaть. Paccуждaя o чeлoвeчecкнх oтнoшeннeнх, дoпycтнмo пyтaтьcя в мeтaфopнчecкнх cooтвeтcтвннх oбщeгo кoнeчнoгo пyнктa, cкopocтн, c кoтopoй oн дocтнгaeтcя, a тaкжe pазнлчннх yхaбoв нa пyтн. Нo нyжнo бнть нe coвceм в ceбe, чтoбы нaчaть зaдyмывaтьcя o тoм, eсть лн вpeмя, чтoбы cобpaть вeщн в дopoгy, нлн o тoм, гдe нaхoднтcя блнжaйншaя бeнзoкoлoнкa. Гoтoвляcь к дeбaтaм, я мoгy ceбe пpeдcтaвлять, кaк мнe нyжнo бyдeт pазгpoмнть чeй-тo aргyмeнт н кaк зaщнтнть cвoй, нo мнe нe cлeдyeт бeспoкoнтьcя o тoм, кaк зaщнщaть cвoн

резервы, выпускать облигации военных займов или как разбираться с пацифистами у себя на родине. Мышление не способно к бартеру метафорами. Оно должно использовать более простую валюту, которая отражает абстрактные понятия, общие для самой метафоры и ее темы — продвижение к общей цели в случае путешествий и отношений, конфликт в случае споров и войн, — избавляясь от всего ненужного^[36].

По этой причине, не стоит удивляться, узнав, что даже такая вездесущая метафора, как ВРЕМЯ — ЭТО ПРОСТРАНСТВО не зависит от того, разбило ли понятие времени свой лагерь на нейронной территории, занимаемой понятием пространства. Дэвид Кеммерер показал, что некоторые больные с мозговыми повреждениями могут терять свою способность понимать пространственные предлоги, как в *She's at the corner* 'Она на углу' и *She ran through the forest* 'Она бежала через лес', сохраняя при этом свою способность понимать те же самые предлоги, используемые для указания на время, как в предложениях *She arrived at 1:30* 'Она прибыла в 1 час 30 минут' и *She worked through the evening* 'Она работала на протяжении всего вечера'^[37]. Другие больные демонстрировали противоположные симптомы. Это говорит о том, что за понимание времени и пространства в мозгу человека отвечают разные участки, несмотря на их пересечение в метафоре.

Потребность в более глубоком пласте мысли, нежели метафора, также возникает, когда мы задумываемся о том, как человек осваивает концептуальные метафоры. Вспомните, что у Лакоффа этот процесс выглядел весьма по-павловски, то есть, скажем, мы узнаем, что БОЛЬШЕ — ЗНАЧИТ ВЫШЕ благодаря таким реальным наблюдениям, как растущая на столе гора книг, которая становится все выше по мере добавления томов. Но это становится абсурдным, когда мы обращаемся к более сложным метафорам. Совершенно необязательно влюбляться в попутчика во время автобусной поездки по стране, чтобы понимать, что любовь — это путешествие, или видеть, как участники дебатов достают пистолеты, чтобы чувствовать, что споры подобны войне. Так, Лакофф вызывает к «сходству» как к второй теории того, как мы усваиваем концептуальные метафоры: после того как заучили, что ЦЕЛЬ — ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ по методике академика Павлова (то есть, например, прибыли на игровую площадку после того, как долго туда шли), мы расширяем область действия этой метафоры на романтические отношения, поскольку цель тех или иных отношений подобна цели некоего физического конечного пункта, такого как игровая площадка. Но тогда все дело именно в абстрактности такой идеи, как «цель». Абстрактные идеи определяют границы сходства (то есть то, чем романтические надежды и игровая площадка похожи), что и позволяет концептуальной метафоре быть усвоенной и использоваться в дальнейшем. Нельзя думать, используя одну лишь метафору.

Глубже, чем метафора

Если освоение и использование той или иной метафоры заставляет нас использовать идеи, находящиеся в более глубоком слое нашего мышления, имеем ли мы представление о том, что это за идеи? Можно усмотреть их в более скромной версии теории концептуальной метафоры, первоначально открытой однокурсником Лакоффа по Массачусетскому технологическому институту (MIT) Джеффри Грубером и развитой еще одним выпускником этого института, Рэем Джекендоффом [38].

Ключевой феномен был рассмотрен нами во второй главе: такие глаголы, как *go*, *be* и *keep* используются не только для обозначения местоположения (*The doctor kept Pedro at home*, букв. *‘Доктор держал Педро дома’*), но также для обозначения состояний (*The doctor kept Pedro healthy* *‘Доктор охранял здоровье Педро’*), имущественных отношений (*Pedro kept the house* *‘Педро сохранил дом за собой’*) и времени (*Pedro kept the practice session at noon*, букв. *‘Педро (всегда) устраивал тренировки в полдень’*). Джекендофф заметил, что одна часть значения этих глаголов сохраняется при употреблении их как в физическом, так и в нефизическом смысле, а другая часть меняется. Сохраняемая часть является остовом из пространственных и сило-динамических понятий, таких как *те*, что мы с вами рассматривали во второй и четвертых главах: вещь, вещество, совокупность, место, путь, агонист, антагонист, цель, средства. Этот остов затем помечается определенным символом принадлежности к тому или иному семантическому полю, такому как местоположение, состояние, обладание или время. Например, остов, лежащий в основе глагола *keep* в предложении *He kept the money* *‘Он оставил деньги себе’* может указывать на антагониста, противостоящего тенденции агониста к исчезновению, с ярлычком, на котором помечено «обладание». Понятие, стоящее за тем же *keep* в *He kept the book on the shelf* *‘Он хранил (держал) эту книгу на полке’*, имело бы тот же остов, но на ярлычке было бы написано «местоположение».

Метафорический привкус языка возникает оттого, что базовые понятия, из которых состоит остов, такие как «ходить», «место» и «агонист», сохраняют свои связи с представлениями о физическом мире. Легче всего их вызвать в сознании, наблюдая, как предметы двигаются; дети сначала используют их в пространственном смысле и лишь потом в абстрактном, и, возможно, они развились из тех схем, которые использовались нашими предками-приматами при постижении физического мира. Однако, когда они участвуют в текущем мышлении, они являются символами абстрактными и не нуждаются в том, чтобы их сопровождали различные образы чего-то физического. В этом смысле они не являются метафорами по-настоящему, во всяком случае в том смысле, какой имел в виду Лакофф.

Кто-то может в связи с этим спросить: если понятия, лежащие в основе концептуальных метафор, на самом деле являются всего лишь абстрактными символами, такими же, как x , y и z , в каком смысле в мозге взрослого человека будет играть роль **какое бы то ни было** понятие метафоры? И почему в ходе истории, развития или эволюции умственная техника, обслуживающая положение в пространстве, стала использоваться также и применительно к обладанию, обстоятельствам или времени, если из них выветрилось какое бы то ни было содержание, относящееся к реальному физическому пространству?

Ответ заключается в том, что существуют инструменты логического вывода, или **инференции**, которые работают, даже будучи перенесенными из мира физического в мир нефизического. Например, известно, что если A передвигает B к C в соответствии с природой пространства, времени и каузации, то B не был в C в непосредственно предшествующий этому отрезок времени, но теперь он находится там. Также известно, что если бы A не совершил этого передвижения, B не был сейчас в C . По сути, те же силлогизмы применимы и в области обладания. Если A **дает** B некоему C , то значит B не **принадлежал** C в прошлом, а теперь принадлежит. И если бы A не совершил акта передачи, C сейчас не имел бы B . Так что, если организм, который в состоянии рассуждать о пространстве, может также извлечь из этого ряд правил, отвлекшись от строго пространственного содержания, он получает способность рассуждать о принадлежности автоматически, делая точно такие же предсказания о будущем и такие же инференции относительно прошлого.

Разумеется, возможности использовать пространственное мышление для отношений принадлежности и других абстрактных областей не безграничны. Физическое пространство трехмерно и непрерывно, тогда как обладание одномерно и организовано по принципу «все или ничего». По этой причине метафора **давать** — то же, что **передвигать** не всегда имеет смысл: вы не можете дать что-то **вверх** или **лицом вперед** или дать это **к Биллу на половину расстояния**, отделяющего его от вас^[39]. Но если часть пространственных правил переносится нами в область обладания, тогда как другие части отпадают, у человека появляются основы для рассуждения об обладании.

Так происходит и с временами, состояниями и причинами. Поскольку время является измерением, во многом похожим на пространство, мы можем пользоваться нашими инструментами пространственного мышления для работы с ним (учитывая, что время имеет одно измерение и что будущее отличается от прошлого, что мы с вами видели в четвертой главе). Обобщая, можно сказать, что мы можем использовать наши ментальные механизмы для пространства в работе с **любой** непрерывной переменной, от здоровья или ума до валового национального продукта. Сходным образом, когнитивная техника,

используемая в силовой динамике, имеет достаточно общего с логикой ирреальных условий («Если бы не антагонист, агонист бы остался на прежнем месте»), чтобы, будучи лишённая всего того, что касается «наивной физики», использоваться для оформления абстрактных казуальных рассуждений («Если бы не скандал, Мелвин бы до сих пор был губернатором»), а не только для ситуаций удара или шатания. Вот почему язык пространства и силы настолько широко представлен в человеческой речи: в этой жизни очень немного понятий, которые нельзя было бы охарактеризовать, пользуясь языком переменных и вызываемых в них изменений.

С этой точки зрения метафорами полезно думать в той мере, в какой они являются **аналогиями**, то есть поддерживают рассуждение вида «А соотносится с В так же, как X соотносится с Y»^[40]. Если многие метафоры и сравнения просто сообщают о воспринимаемом сходстве (как, например, «Облака на закате были словно вареные креветки»), то более полезные указывают на то, из каких частей и как был собран источник данной метафоры. Источник (например, путешествие) сводится к нескольким наиболее важным компонентам (А, В и С). Метафора соотносит эти компоненты с компонентами цели (например, романтических отношений): А соотносится с X, В с Y, а С с Z. Затем некое понятие, связанное с А в источнике, такое как, например, В, используется для того, чтобы выбрать аналогично связанное понятие в целевой конструкции, например Y. Во время путешествия, чтобы достигнуть конечного пункта, иногда приходится проезжать по ухабам. То, чем любовь похожа на путешествие, — это то, чем опыт отношений похож на опыт поездки-путешествия, а общая цель пары подобна конечному пункту назначения путешественника. Следовательно, мы можем сделать дедуктивный вывод, что ради достижения общей цели пара должна быть готова переносить периоды конфликта.

Поэтому Лакофф справедливо настаивает, что концептуальные метафоры являются не просто литературными украшениями языка, но способствуют процессу мышления — это «метафоры, которыми мы живем». Метафоры, надо сказать, могут приводить в действие весьма сложные умозаключения, а не только очевидные вроде «Если ты отдашь что-то, тебе это больше не принадлежит» или «Если ты убегаешь при первом же признаке конфликта, у тебя никогда не будет настоящих отношений». Дональд Шен рассказал об одной инженерной проблеме, с которой столкнулись дизайнеры первых синтетических кистей для рисования^[41]. По сравнению с кистями из натуральной щетины новые неравномерно распределяли краску по поверхности, и ни одно из предложенных инженерами улучшений (варьирование диаметра, расщепление кончиков подобно натуральному волосу) не исправляло этого недостатка. И вдруг кто-то заявил: «Вы знаете, кисть для рисования — это своего рода насос!» Когда художник прижимает кисть

к поверхности, он силой заставляет краску проходить сквозь щетину, которая выступает в функции ряда каналов или труб. Кисть из натуральной щетины образует плавную кривую, когда ее прижимают к стене, тогда как синтетическая образует острый угол, блокируя каналы, как зажим в садовом шланге для полива. Варьируя плотность щетины относительно ее длины, инженеры добились того, что синтетическая кисть стала гнуться более плавно, соответственно, более равномерно наносить краску. Важнейшим первым шагом к этому была метафора о насосе, которая заставила их реконструировать кисть, превратив ее из одного большого «весла», которое размазывает краску по поверхности в набор канальцев, которые «выкачивают» краску из своих кончиков (заметьте заодно, как эти метафоры используют схематичную геометрию существительных и предлогов, рассмотренную нами в предыдущей главе).

История с кистями указывает на то, что сила аналогии возникает не просто оттого, что было замечено некое сходство частей (синтетическая щетина похожа на натуральную, у натуральной щетины кончики расщепляются, соответственно, давайте и новым кистям сделаем такие же расщепленные кончики). Она возникает оттого, что замечают **отношения** между составляющими, даже если сами по себе части очень отличаются друг от друга. Кисть для рисования совершенно не похожа на насос, но соотношения между деталями кисти похожи на те, что можно наблюдать между частями насоса. Пространство между щетинками подобно пространству внутри шланга, наклон кисти проталкивает краску сквозь эти каналы так же, как сжатие камеры проталкивает воду по шлангу и так далее. Психолог Дидре Гентнер и ее коллеги показали, что фокус на отношениях — это ключ к пониманию силы аналогии как мыслительного инструмента^[42]. Они заметили, что многие научные теории изначально подавались как аналогии и часто до сих пор лучше всего объясняются именно с их помощью: сила тяжести подобна свету, тепло подобно жидкости, эволюция подобна отбору, атом похож на Солнечную систему, а гены — на закодированные послания. Однако, чтобы та или иная аналогия стала научно полезной, соответствия не могут относиться только к какой-то одной части той или иной вещи, которая просто напоминает часть какой-то другой вещи. Они должны относиться к **отношениям между этими частями**, а лучше к отношениям между этими отношениями или даже к отношениям между отношениями между отношениями.

Вот один из их примеров. В начале девятнадцатого века французский физик Сади Карно изложил принципы термодинамики, объясняющие, как работают тепловые двигатели, в которых разница температур могла быть обращена в работу^[43]. (Например, в одном из паровых двигателей пар, нагретый в одном конце закрытой камеры, распространялся и толкал поршень к противоположному концу. Однако поршень

будет двигаться только в случае, если другой конец холоднее и заставляет пар конденсироваться; если же тот конец не холоднее, пар с той стороны просто будет идти обратно, и поршень не сдвинется с места.) В объяснении Карно используется детальная аналогия, которая сравнивает передачу тепла между двумя соединенными механизмами с движением воды в водопаде. Разница высоты между верхом и низом водопада соответствует разнице между температурами горячих и холодных предметов. Количество воды наверху соотносится с количеством тепла в более нагретом объекте. Максимальная мощность водопада зависит и от разницы в высоте, и от количества воды в верхней части так же, как количество мощности, производимой тепловым двигателем, зависит и от разницы температур, и от количества тепла, выделяемого более горячим объектом. Если бы мы нарисовали схемы двух этих систем, указывая при помощи прямоугольников и стрелок, что от чего зависит и что чем вызывается, геометрия этих схем была бы идентичной, отличаясь только надписями на прямоугольниках.

Карно осторожно объединял в пары объекты из двух областей, действуя последовательно и устанавливая взаимно-однозначное соответствие (тепло в более горячем объекте и объем воды в верхней части, и т. д.). Он сфокусировался на взаимоотношениях между объектами (разница температур для тепла, разница по высоте — для воды) и не обращал внимания на индивидуальные особенности этих объектов, например на тот факт, что вода прозрачная и мокрая, а горячие предметы раскаляются докрасна. Не стал он отвлекаться и на черты, роднящие объект из одной области с объектом из другой, — например, что вода может быть горячей или что паровые двигатели используют воду. (Именно так поступил начальник Дилберта, подумав о том, что орлы пользуются программным обеспечением.)

Гентнер и ее коллега Майкл Йезерски отмечают, что подобная умственная сдержанность совершенно необходима для использования аналогии в науке, однако далась она людям отнюдь не легко^[44]. Большинство тех, кто использовал аналогию до наступления эры современной науки (и большинство тех, кто сегодня занимается лженауками) активно перемешивают свои метафоры, перекрещивают связи и поддаются чарам внешнего сходства. Алхимики, например, проводили аналогию между солнцем и золотом, поскольку оба они желтого цвета; между Юпитером и жестью, поскольку Юпитер — бог неба, а считалось, что небо сделано из жести; между Сатурном и свинцом, поскольку эта планета медленно двигалась, будто была тяжелой, как свинец, но также и потому, что свинец темный, словно ночь, которая, в свою очередь, подобна смерти, к тому же Сатурн наиболее удален от Солнца, дарителя жизни, что делает Сатурн повелителем смерти. Считалось, что напластование метафорических и метонимических ал-

люзий делало систему более убедительной, тогда как по современным научным стандартам именно это делает ее менее убедительной.

Сегодня вульгарный символизм, неглубокие уподобления и шаткие соответствия — фирменный знак многих разновидностей шарлатанства: принцип «подобное лечится подобным», господствующий в гомеопатии (как, например, лечение сенной лихорадки с помощью настойки из лука); использование сходства в народной медицине (как, например, применение тертого носорожьего рога для лечения эректильной дисфункции); придание значения цифрам, соответствующим определенным буквам в том или ином слове в каббале; прокалывание куклы, похожей на врага, в колдовстве и другие формы симпатической магии.

Неряшливые и пересекающиеся между собой аналогии являются также признаком плохих научных статей или учебников. Иммунная система — это вроде часового, кроме тех случаев, когда она — замок с ключом, ах нет, она же — сборщик мусора! В противоположность этому лучшие авторы научных текстов подчеркивают значимые соответствия в той или иной аналогии и пресекают те, что могут ввести нас в заблуждение. В своей книге *The Blind Watchmaker* («Слепой часовщик») Ричард Докинз объясняет, как половой отбор приводит к таким ярким явлениям, как хвост птицы вдовушки (*widowbird*). Черты самцов, привлекательные для самок, могут сильно различаться в процессе эволюции, отмечает Докинз, поскольку существует множество стабильных комбинаций длины хвоста, предпочитаемой самками, и реальной длины хвоста в данной популяции (что, само по себе, является компромиссом между длиной, предпочитаемой предыдущими поколениями разборчивых самок, и длиной, оптимальной для полета). Математики называют это «линией равновесия», и, чтобы установить условия, которые ее создают, им приходится прибегать к сложным уравнениям. Докинз объясняет эту идею следующим образом:

Предположим, что комната оборудована и нагревателем, и охладителем, у каждого из которых есть собственный термостат. Оба термостата настроены на поддержание одной и той же температуры комнаты, 70 градусов по Фаренгейту (около 26 °C). Если температура падает ниже 70 градусов, то нагреватель автоматически включается, а охладитель выключается. Если температура повышается более 70 градусов, то охладитель автоматически включается, а нагреватель выключается. *Аналог длины хвоста вдовушки здесь — не температура (которая остается приблизительно постоянной — 70°), но общее потребление электричества.* Дело в том, что имеется много различных путей достижения желаемой температуры. Ее можно достичь работой обоих устройств на полной мощности — нагреватель будет извергать реку горячего воздуха, а охладитель — выкладывать до упора, нейтрализуя высокую температуру. Также ее можно достичь при умеренной производительности нагревателя и, соответственно, умеренной работе охладителя, нейтрализующего это тепло. Но можно достичь ее при едва-едва заметной работе обоих устройств. *Очевидно, что последний вариант*

наиболее желателен с точки зрения счета за электричество, но если нас интересует лишь поддержание заданной температуры в 70°, то каждое сочетание из большого их ряда одинаково удовлетворительно. Мы имеем здесь **линию** точек равновесия, а не единственную точку^[45] 1).

Как следует из подчеркнутых мною предложений, Докинз предвидит, каким образом его читатели могут ошибочно соединить объекты из жизни с объектами из его аналогии, и переводит их взгляд на нужные моменты соответствия.

Легитимные научные аналогии, такие как у Карно, Шена и Докинза, делают актуальным вопрос о том, почему метафоры и аналогии столь полезны в той сфере знаний, где, казалось бы, мы наиболее уверены в правдивости своих представлений. В случае метафор о пространстве и силе это неудивительно, поскольку они попросту используются, когда речь идет о переменных или о причинно обусловленных изменениях, являющихся универсальными для языка науки. Но что касается метафор более сложных, то даже почти жутковато думать о какой бы то ни было их полезности. Что же в мире или **в нас** такого, что позволяет печам или кондиционерам проливать свет на вопрос о хвосте самца вдовушки? Вспомним: Лакофф предполагает, что наши научные знания, как и любые другие, ограничены используемыми нами метафорами, которые могут быть более или менее подходящими или полезными, но не точными описаниями объективной истины. Философ Ричард Бойд приходит к диаметрально противоположному выводу^[46]. Он пишет: «...использование метафоры — одно из множества средств, доступных научному сообществу, с помощью которых решается задача **приспособления языка к каузальной структуре мира**. Под этим я подразумеваю задачу введения новой терминологии, а также модификации способа использования имеющейся терминологии, с тем чтобы предоставить в наше распоряжение языковые категории, которые описывают важные в каузальном и объяснительном аспекте характеристики нашего мира».

Метафора в науке, по мнению Бойда, — это вариант обычного процесса, в ходе которого к метафоре прибегают вынужденно, для заполнения пробелов в словаре языка, как, например, к метафоре *rabbit ears* *'кроличьи уши'* для обозначения антенн, которые раньше были на большинстве телевизоров. Ученые постоянно открывают новые объекты, у которых нет названия в английском языке, и им приходится обращаться к метафоре для того, чтобы дать необходимое наименование: selection *'отбор'* (в эволюции), kettle pond *'озеро в котловине, образованной отступившим ледником или наводнением'* (букв. *'озеро-котелок'*) (в геологии), linkage *'сцепление'* (в генетике) и т. п. Их, одна-

¹⁾ Перевод А. Протопопова: ulenspiegel.od.ua/?ID=4641 [Эл. ресурс]. Дата обращения 06.11.12. — Прим. перев.

ко, не сковывает содержание метафоры, поскольку новое слово в его новом, терминологическом значении отличается от слова в его обычном значении (вид полисемии). По мере того как ученые начинают понимать изучаемый феномен все детальнее и глубже, они выделяют те аспекты метафоры, к которым следует относиться серьезно, и отбрасывают те аспекты, которые следует игнорировать, в точности как Докинз в случае с аналогией нагревателя—охладителя. Метафора преобразуется в технический термин, обозначающий некое абстрактное понятие, которое поглощает и целевой феномен, и феномен-источник. Это один из примеров того, что каждый философ и методолог науки знает о языке науки и что неверно понимают большинство неспециалистов: ученые не «определяют со всей тщательностью используемые ими термины» до начала исследования. Напротив, они пользуются словами в весьма общем смысле, чтобы указать на некий существующий в мире феномен и постепенно, по мере того как ученые начинают понимать этот феномен более глубоко, значения используемых ими слов становятся все более точными^[47]. (Подробнее об этом — в следующей главе.)

Тем не менее вышесказанное все равно оставляет открытым вопрос о том, почему вообще метафоры могут **работать**. Почему такое большое количество научных аналогий позволяют нам приходить в своих размышлениях к верным умозаключениям, а не просто остаются некими ярлыками, как «кварк» или «Большой взрыв», которые отлично запоминаются, но неинформативны? Бойд считает, что научные метафоры часто оказываются ненужными для тех вещей или явлений, которые могут быть охарактеризованы при помощи какой-то одной черты или сущности, как, например, то, что вода — это H_2O . Но они начинают приобретать немаловажное значение, когда речь заходит о сложных системах, состоящих из множества частей и имеющих много свойств, которые действуют сообща, чтобы система оставалась стабильной (он называет их **видами гомеостатического пучка свойств**). Основная идея состоит в том, что существуют общие законы сложных систем, которые управляют разнообразными явлениями в природе и обществе^[48]. Один свод законов объясняет, почему солнечные системы, атомы, планеты и их луны, а также шарики, привязанные к шестам, образуют стабильные модели вращения. Другой объясняет схожие черты экосистем, тел и экономик: к примеру, во всех трех системах идет поглощение энергии, внутренние функции дифференцированы, а использованные ресурсы используются повторно. Третий свод законов объясняет петли обратной связи, с помощью которых животные регулируют уровень глюкозы в крови, термостаты регулируют температуру в доме, а устройство автоматического контроля скорости поддерживает определенную скорость автомобиля. Если некие законы существуют, ученые могут открывать в них все новые свойства по мере изучения тех систем, которые работают по ним. Поэтому они вправе

пользоваться метафорой и как названием для систем такого типа, и как средством, позволяющим судить о свойствах менее изученных представителей таких систем на основе свойств их хорошо изученных представителей.

В повседневном бытии науки все это оставляет простор для дискуссий о том, является ли тот или иной феномен **действительно** примером системы, которой было дано то или иное метафорическое название, или же сходство заканчивается на уровне метафорической терминологии. Ни у кого¹⁾ не вызывает сомнений, что хрусталик глаза и линза телескопа, обозначаемые одним и тем же словом *lens* 'линза', — это два частных случая единой общей категории *lens* 'линза'; люди не думают, что телескоп — это «метафора» для глаза. Также нет ничего метафорического в том случае, когда мы говорим о «генетическом коде»: на данный момент «код» — это термин теории информации для обозначения схемы отображения, и он включает в себя и криптограммы, и ДНК в качестве частных случаев. Но используют ли когнитивные психологи «компьютер» как «метафору» для мозга или (как считаю я сам) мы можем сказать, что мозг **буквально** занят вычислением, а человеческий разум и коммерческие цифровые компьютеры — это два представителя категории «вычислительных систем»? [49]

Таким образом, вездесущность метафоры в языке не означает, что любая мысль основана на конкретном телесном опыте, также этот факт не означает, что все идеи — это всего лишь конкурирующие фреймы, а не предложения, которые можно проверить. Концептуальные метафоры можно узнавать и использовать только в том случае, если они разложимы на более абстрактные элементы, такие как «причина», «цель» и «изменение», которые и составляют подлинную валюту наших мыслей. И систематическое использование метафоры в науке указывает на то, что метафора — это один из способов приспособления языка к реальности, а не наоборот, и что метафора способна зафиксировать подлинные законы бытия, а не просто проецировать на мир некие удобные для нас образы.

Интерпретация концептуальной метафоры в духе реализма может пролить иной свет на применение метафоры и фрейминга в политике. Будучи верным своей когнитивной теории, Лакофф утверждает, что «фреймы бьют любые факты» в сознании граждан и что господствующие в обществе фреймы навязываются теми, кто находится у рычага власти, и служат их интересам. Это высокомерная и циничная теория политики, подразумевающая, что обычные люди неразборчивы и внушаемы, а политические дебаты не могут и не должны затрагивать реальные достоинства тех или иных политических программ или

¹⁾ Из носителей английского языка. — *Прим. перев.*

личностей. Но политическая теория Лакоффа вытекает из природы концептуальной метафоры ничуть не больше, чем его теория научного знания. Метафоры и их трактовки (фреймы) не «зафиксированы в нейронной структуре человеческого мозга», но могут быть изучены, оспорены и даже высмеяны (вспомним, как Вуди Аллен врезал подбородком по кулаку какого-то парня).

Можно себе только представить визг и хохот, которые вызвал бы политик, если бы действительно заменил «налоги» на «членские взносы», приняв близко к сердцу совет Лакоффа, заставляющий вспомнить Оруэлла. (И в самом деле, Оруэлл выделил **повышение доходов** как вопиющий пример эвфемизма для увеличения налогов в его знаменитом эссе 1949 г. «Политика и английский язык».) Необязательно услышать метафору *tax relief* «облегчение налогового бремени», чтобы считать налоги неприятностью; полагаю, что подобное отношение к проблеме существует столь же давно, сколь сами налоги. И всегда ли фреймы бьют факты? Доказательство Лакоффа состоит в том, что люди не понимают, что на самом деле им живется гораздо лучше при более высоких налогах, поскольку любая экономия от понижения федерального налога сопровождалась бы повышением местных налогов и стоимости частных услуг. Но если это факт, нужно доказать его по старинке, с конкретными цифрами в руках и с учетом того, что народ все-таки соображает, что определенная часть федеральных налогов уходит на популистские проекты, благосостояние корпораций, бюрократические издержки и т. д. Многие демократы были недовольны Лакоффом за то, что он недооценил избирателей, пытаясь продать им левые взгляды 1960-х гг. в новой упаковке, вместо того чтобы выдвинуть новые привлекательные идеи ^[50].

Но ведь невозможно отрицать, что на наши взгляды и решения влияет то, как эти факты подаются? Да, но это не всегда иррациональный процесс. Различные способы подачи той или иной ситуации могут в равной мере соответствовать фактам, описываемым в этом же самом предложении, но вести к совершенно иным заключениям о **других** фактах, которые в нем **не** описываются. В таком качестве конкурирующие фреймы (способы подачи) можно изучать и оценивать, а не только распространять, увлекая ими или навязывая их силой. Возьмем самый очевидный пример: **налоги** и **членские взносы** — это не два способа подачи одного и того же: если ты решишь не платить членский взнос, организация не будет более предоставлять тебе свои услуги, но если ты решишь не платить налоги, придут люди с автоматами и посадят тебя в тюрьму. Не являются также в действительности взаимозаменяемыми слова «освобождение» и «вторжение». Одно слово подразумевает, что большинство населения презирует своих правителей и радо прибывающей армии; другое слово подразумевает ровно противоположное. Участники дебатов, которые подадут то или иное со-

бытие этими двумя способами, делают конкурирующие предсказания о ненаблюдаемых фактах, совсем как ученые, которые исследуют одни и те же данные и предлагают конкурирующие между собой теории, которые можно будет оценить с помощью новых эмпирических проверок.

Даже в золотом стандарте эффектов подачи информации, а именно в проблеме с эпидемией гриппа, рассмотренной Тверски и Канеманом, фреймы (способы подачи) не являются полными синонимами. Описание «двести человек будут спасены»¹⁾ относится к тем, кто выживет вследствие лечения. Это не исключает того, что **дополнительное количество** человек будет спасено по каким-то другим, непредвиденным причинам — возможно, грипп будет менее вирулентным, чем предполагалось, или, может быть, медики успеют придумать альтернативные способы лечения и т. д. Таким образом, эта фраза подразумевает, что **по меньшей мере** двести человек выживут. С другой стороны, сценарий, в котором говорится, что «четыреста человек умрут», объединяет без разбора все летальные исходы, вне зависимости от их причины. Он подразумевает, что **не более** двухсот человек выживет.

В других случаях различные фреймы соотносятся с одними и теми же фактами, но совместимы с разными установками. Осмысление аборта как «убийства нерожденного ребенка» подразумевает, что легализация аборт является логически и морально совместимой с легализацией детоубийства; осмысление государственного здравоохранения как «ограничения выбора» подразумевает, что это совместимо с ограничением со стороны государства и других случаев личного выбора. Можно поколебать подобные фреймы, поставив под вопрос подразумеваемые ими обобщения: аборт, в отличие от детоубийства, может быть легальным, поскольку зародыши на ранней стадии развития в существенных отношениях подобны оплодотворенным яйцам (смерть которых не рассматривается как криминал), тогда как новорожденные — то же самое, что другие дети (причинение смерти которым влечет уголовную ответственность). В отличие от других случаев личного выбора, государственное страхование здоровья может быть обязательным, поскольку оно относится к категории выбора, имеющего социальные последствия, как, например, полицейская охрана или сбор мусора, которые мы уже заставляем людей оплачивать. Как и в случае любых других метафор, мы можем оценивать достоинства конкурирующих способов подачи, задаваясь вопросом, какие аспекты сходства стоит принимать всерьез, а какие следует игнорировать.

Способ подачи информации (фрейминг) действительно влияет на людей, что нам хорошо известно благодаря многовековой риторической традиции обсуждения ораторского искусства и искусства

¹⁾ Напомним, что общее число заболевших, рассматриваемое в данной задаче, составляет 600 человек (см. с. 300). — *Прим. перев.*

убеждать. Метафоры же, и в особенности концептуальные метафоры, являются важнейшим инструментом риторики, обычного общения и самой мысли. Но это не означает, что люди находятся в кабале у своих метафор или, наоборот, что выбор метафоры — это дело вкуса или идеологии. Метафоры — это обобщения: они подводят конкретный случай под некую общую категорию. Разные метафоры могут подавать одну и ту же ситуацию точно так же, как разные слова могут описывать один и тот же объект, разные грамматики — порождать один и тот же корпус предложений, а разные научные теории — объяснять одни и те же наборы данных. Как и в случае с другими обобщениями, метафоры можно проверять по их предсказаниям и тщательно оценивать их сравнительные достоинства, в частности то, насколько верно они отражают структуру реального мира.

Хороший, плохой, злой

Прежде чем обратиться к свидетельствам за или против того, что метафорическое мышление является естественным для человека, давайте замкнем круг, изучив источник метафоры метафоры, то есть, собственно говоря, саму «метафору», в знакомом нам смысле фигуры речи, используемой в поэзии, литературе и изысканной речи.

Очевидно, что литературная метафора указывает на некое сходство между источником и целью. Джульетта, словно солнце, улучшает мое настроение; в жизни, как на сцене театра, люди играют роли. Поначалу кажется, что литературная метафора — это просто компактное сравнение. Но столь же очевидно, что превращение метафоры в сравнение лишает первую живости и яркости. «Окно — словно восток, а Джульетта — словно солнце»? «Мир подобен театру, а все мужчины и женщины в нем — словно актеры»? Ску-ко-та. Особую острогу литературной метафоре должны придавать те дополнительные ингредиенты, которые служат как бы приправой к простому совпадению черт. Эти ингредиенты также должны делать литературную метафору более пикантной по сравнению с обычными концептуальными метафорами типа «Она разгромила мои доводы» или «Наши отношения ведут в никуда».

Одним из этих ингредиентов является синтаксис метафоры. Выражая характеристику при помощи именного предиката (или просто производя референцию к некоей сущности с помощью именной группы), метафора использует семантику категории или типа^[51]. Это тот самый эффект, рассмотренный нами в четвертой главе, который лишает фразу *Boys will be boys* 'Мальчишки есть мальчишки' тавтологичности, он же побудил Джонатана Миллера заявить, что он *Jewish rather than a Jew* 'скорее еврей, чем иудей'. Именная группа, предцизируемая

субъекту, передает ту характеристику, которая важна для самого его существования. Эта черта определяет категорию, которая метит данный субъект таким способом, какой ощущается нами как более глубокий, более длительный и имеющий более серьезные последствия, чем простое приписывание какой-то характеристики. «Юрист — это акула» говорит нам гораздо больше, чем «Юрист подобен акуле».

То, что метафора скорее утверждает тождественность, нежели проводит сравнение — это одна из причин, по которой Лакофф говорит, что мы думаем метафорами. По этой же причине он заявил, что литературные метафоры по существу не отличаются от повседневных метафор. В своей весьма проницательной книге о поэтической метафоре, написанной в соавторстве с Марком Тернером, Лакофф отмечает, что поэтические метафоры нередко связаны с повседневными концептуальными метафорами, но используют те их элементы, обычно опускаемые, которые высвечивают детали с необычной стороны или противопоставляют родственные метафоры друг другу^[52]. Например, когда Роберт Фрост говорил о «нехоженной дороге», он разрабатывал концептуальную метафору жизнь — это путешествие, которую мы также используем в повседневной речи, например, в выражениях *I've come a long way* 'Я прошел немалый путь', *He had to get out the fast lane* 'Ему пришлось сбавить скорость'.

В своей рецензии на эту книгу Джекендофф (совместно с Дэвидом Аароном) ставит это равенство под сомнение, отмечая, что люди отличают поэтические метафоры и от буквальных утверждений и от повседневных метафор^[53]. Особенность литературных метафор в том, что они вызывают ощущение несоответствия — момент волнения, когда слушатель задумывается над чем-то, что кажется ему бессмыслицей. (Почему он приравнивает планету к сцене? Почему выбор дороги, по которой реже ходят, решительно все меняет?) Простой способ показать это — **признать** несоответствие, а затем указать на метафорическое сходство. В случае поэтической метафоры результат звучит вполне осмысленно, поскольку обнажает логику самой метафоры:

Разумеется, на самом деле мир не сцена, но если бы он был сценой, то можно было бы сказать, что младенчество — это первый акт.

Разумеется, на самом деле люди — не небесные тела, но если бы они были таковыми, то можно было бы сказать, что Джульетта — солнце.

Разумеется, на самом деле жизнь — это не дорога, но если бы она была дорогой, то можно было сказать, что лучше выбирать менее исхоженный маршрут.

Однако это не работает в случае буквальных утверждений. Джекендофф и Аарон рассмотрели цитату из Левита: «Ибо жизнь человеческая в крови его». Для нас это — литературная метафора, ответвление концептуальной метафоры жизнь — это телесная жидкость; СМЕРТЬ —

ПОТЕРЯ ЖИДКОСТИ, которая также дала нам такие выражения, как «Жизнь по капле вытекала из него», «Он у меня все соки выпил», «Она в самом соку». Древние же иудеи в самом прямом смысле приписывали органам и веществам в теле человека ментальные функции, а в рассмотренном авторами пассаже речь идет о запрете на употребление в пищу крови животных. Давайте теперь применим нашу лакмусовую бумажку:

Разумеется, на самом деле жизнь не жидкость, но если бы она была ею, можно было сказать, что она находится в крови.

Древние иудеи не согласились бы с первой частью, а мы с ней согласны. Это подтверждает, что существует разница между принятием терминов метафоры как буквального выражения мнения и пониманием метафоры как изобразительного средства, как подтверждает и то, что эти два типа можно различать с помощью теста «на самом деле не».

Этот тест также показывает, что повседневные концептуальные метафоры работают иначе, чем метафоры литературные:

Разумеется, отрезки времени — это не места, но если бы это было так, можно было бы сказать, что Рождество уже близко.

Разумеется, цели — это не пункты назначения, но если бы они ими были, можно было бы сказать, что я еще не достиг своей цели — закончить эту книгу.

Разумеется, любовь — это на самом деле не путешествие, но если бы это было так, то можно было бы сказать, что мне не нравится, к чему идут наши отношения.

В этих предложениях следствие не вытекает из посылки. Несовместимость, отмеченная в первой части, вполне справедлива, но кажется, что у нее нет ничего общего со второй частью высказывания. Это происходит потому, что выражение во второй части предложения вовсе не интерпретируется нами как метафора, это просто обычный способ выражения данной мысли при помощи слов.

Несовместимость в свежей литературной метафоре — это еще один ингредиент, который придает ей особую изюминку^[54]. Слушатель, уловив лежащее в основе сходство, понимает, что к чему, достаточно быстро, но первоначальное замешательство и вызванная им мозговая работа передают нечто дополнительное. Они подразумевают, что данное сходство не заметно в будничном течении нашей жизни, что автор представляет нам нечто совершенное новое, нарочито привлекая к этому наше внимание. Мы столкнулись к этим эффектом при обсуждении радикальной прагматики в главе 3: напряжение, возникающее между буквальной и подразумеваемой интерпретацией, может

передавать некое третье послание, которое можно использовать в целях дисфемизации¹⁾, юмора или создания подтекста.

Третий источник пикантности литературной метафоры — это эмоциональная окраска источника и то, как она распространяется на цель^[55]. Лакофф анализирует высказывание Бенджамина Дизраэли «Я взобрался на самый верх измазанного салом (*greasy*) столба» как означающее, что он (Дизраэли) достиг своего статуса с трудом, временами вынужден был отступать, не может достичь ничего большего и, вероятно, скоро свой статус утратит. В толковании Лакоффа упущен горький подтекст: что политическая конкуренция может быть неприятной, марающей человека и в конечном счете бессмысленной. Еще более поэтические метафоры, такие как набоковская *Shadow of the waxwing slain / By the false azure of the windowpane* «Я тень, я свиристель, убитый влет / Подложной синью, взятой в переплет окна», переполнены этими эмоциональными посланиями: иллюзорность тени, иллюзорная природа отражения и тот обман, который может вызвать эта иллюзия, напоминание о смерти в виде безобидного отпечатка на окне, внезапный трагический конец ничего не подозревающего очаровательного существа, и многие другие. Эти связанные между собой аллюзии также в корне отличают литературные метафоры от научных аналогий^[56]. Множественные, неполные и эмоционально окрашенные сходства обогащают поэзию, но в науке они только мешают пониманию.

И если лучший способ понять нечто — это когда тебе показывают, чем оно не является, то мы можем лучше разобраться в том, что такое литературная метафора, благодаря особому юмористическому жанру, который состоит в коллекционировании плохих метафор. Много лет в журнале *New Yorker* в нижней части большинства колонок печатали рубрику под названием «Не используйте эту метафору!» (*Block That Metaphor*), в которой воспроизводили натянутые и нелепые аллюзии из провинциальной прессы. Однако мне больше нравится широко распространенный список «Худших аналогий мира», часто приписываемый старшеклассникам из разных англоговорящих стран, но в действительности представляющий собой список победителей конкурса, проводимого *Washington Post*. Рассмотрим три из них:

Джон и Мэри никогда не встречались. Они были как два колибри, которые тоже никогда не встречались.

Ее глаза были как два коричневых кружка с большими черными точками в центре.

Гром звучал зловеще, очень похоже на звук того тонкого листа металла, который трясут за кулисами во время сцены бури в пьесе.

¹⁾ Придания негативного смысла. — Прим. перев.

В этих метафорах знание об источнике не добавляет ничего к нашим знаниям об объекте-цели, поэтому они не проходят тест на подержку умозаключений. Или посмотрим на следующие примеры:

Свидание было вполне приятным, но она знала, что, если бы ее жизнь была кинофильмом, этот парень был бы в самом конце списка статистов, в роли «мужчины, второго по росту».

Даже в его последние годы ум у деда был стальной капкан, да только такой, что очень долго был на дворе, проржавел и от этого захлопнулся.

Он говорил с той мудростью, что приходит только с опытом, как парень, который ослеп, потому что смотрел на солнечное затмение без одной из тех коробок с маленькой дырочкой, а теперь ездит по стране и вещает по школам о том, что смотреть на солнечное затмение без этой коробки с дырочкой опасно.

Здесь автору пришлось так много потрудиться над объяснением источника метафоры, что от несовместимости, которую нужно было бы преодолеть читателю, ничего не остается, и читатель из-за этого не получает никакого риторического вознаграждения. А как вам вот эти?

Открытие, что его тридцатилетний брак распался из-за неверности его жены, было для него жестоким ударом, как комиссионные, взятые вдруг тем банкоматом, который раньше не брал комиссионных.

Балерина грациозно поднялась на пуантах и вытянула одну из своих стройных ног назад, как собака у пожарного гидранта.

МакБрайд пролетел 12 этажей, ударившись о мостовую, как большой пластиковый мешок с овощным супом.

В последних трех случаях аналогия достаточно ясна и даже информативна, но эмоциональная окраска источника настолько не совпадает с эмоциональной окраской цели, что не получается распространить ее с одной части фразы на другую.

Метафоры и разум

Теперь, когда мы узнали, что метафора может и чего не может делать в науке, литературе и философии, давайте вернемся к вопросу, который открывал эту главу. Насколько просто человеку придумывать и понимать новые метафоры? Каждая метафора и аналогия откуда-нибудь да происходят. Возможно, это — редкие жемчужины, которые падают с кончика пера избранного круга поэтов и писателей и которые затем подбирает благодарная публика. Но, судя по их распространенности в языке, кажется более вероятным, что они — естественный результат работы человеческого разума. Если это так, мы могли бы поймать человека в момент осознания глубоких соответствий между

внешне отличающимися областями, которые помогают создать полезную аналогию или концептуальную метафору.

Легко показать, что люди чувствуют эту связь в простых метафорах, основанных на одном измерении пространства, таких как СЧАСТЛИВЫЙ — НАХОДЯЩИЙСЯ ВВЕРХУ. Когда участникам эксперимента показывают слова на экране и просят оценить их с точки зрения позитивности (например, «подвижный», «грациозный» и «искренний») или негативности (например, «горький», «переменчивый» и «вульгарный»), они быстрее справляются с заданием, если позитивное слово проецируется на верхнюю часть экрана, а негативное — на нижнюю, нежели наоборот^[57]. Люди также быстрее протягивают руку к кнопке, расположенной ближе к их телу, чтобы проверить предложение типа «Адам передал сообщение тебе», нежели чтобы проверить предложение «Ты передал сообщение Адаму», и наоборот, если им нужно нажимать на кнопку, расположенную дальше от их тела. Такое впечатление, что физическое движение руки было запрограммировано в том же ментальном пространстве, что и метафорическое движение сообщения. То же самое происходит и в сфере обладания, например, «Ты продал землю Майку» по сравнению с «Майк продал землю тебе», а также в сфере благодеяния, как в «Тиана уделила тебе время» по сравнению с «Ты уделил Тиане время»^[58].

Ряд изобретательных исследований, проведенный психологом Лерой Бородицки и ее коллегами, показал, что люди способны чувствовать пространственные аллюзии также в таких метафорах, как ВРЕМЯ — ЭТО ПРОЦЕССИЯ И ВРЕМЯ — ЭТО ЛАНДШАФТ^[59]. Напомним, что эти две метафоры несовместимы, что делает некоторые предложения о времени двусмысленными. *Wednesday's meeting has been moved forward two days* «Совещание, назначенное на среду, было перенесено на два дня вперед» может означать, что оно было перенесено на понедельник, поскольку, если мы будем применять метафору времени как процессии, «вперед» подстраивается под ход времени навстречу человеку — событие, которое было перенесено вперед в процессии дней, теперь находится ближе к нам. Если же применять метафору времени как ландшафта, эта фраза может означать, что совещание было перенесено на пятницу, где «вперед» будет подстраиваться под наше собственное движение во времени — нам нужно идти дальше, мимо большего количества дней, чтобы добраться до события, которое перенесли вперед. Люди могут склоняться к той или иной интерпретации, если незадолго до этого они прочитали предложение, которое сочетается только с одной из этих метафор, как то «Мы миновали конечный срок подачи два дня назад» (что подталкивает их к «пятничной» интерпретации) или «Конечный срок подачи прошел два дня назад» (что подталкивает их к «понедельнику»). Объяснение этих данных похоже на объяснение данных в эксперименте, демонстрировавшем, что люди анализируют

свежие примеры концептуальных метафор типа «любовь — это больная». Единственный общий элемент преамбулы и тестового предложения — это лежащая в их основе концептуальная метафора, а значит эта метафора уже зарегистрировалась в человеческом сознании^[60].

Бородицки пошла на шаг дальше, показав, что действительный **опыт** движения, а не просто слова, которые используют метафору движения, может влиять на то, в какую «сторону» люди интерпретируют двусмысленное слово **вперед**. Люди склоняются к интерпретации «пятница» (где **вперед** совпадает с их собственным движением по метафорическому ландшафту), если их сначала просят представить, как они толкают офисное кресло. Однако они больше склоняются к версии «понедельник» (где **вперед** совпадает с движением времени по направлению к ним), если сначала их просят представить, как они притягивают кресло к себе с помощью нити. Похожие тенденции можно вызвать с помощью опыта реального движения: люди скорее выберут «пятницу», если они недавно продвинулись вперед в очереди на обед в столовой, вышли из самолета или доехали до конечной станции на поезде.

Однако способность людей соединять одно единственное измерение пространства с одним единственным измерением опыта — это довольно скромный пример метафорического мышления по сравнению с теми амбициозными надеждами, которые мы на него возлагаем. Вспомним, что метафоры действенны в той мере, в какой они подобны аналогиям, которые пользуются преимуществом структуры **отношений** внутри сложного понятия. Можем ли мы показать, что людям легко увидеть метафорическую связь в случае набора предметов, находящихся в определенных отношениях друг с другом? И можем ли мы убедиться, что люди выявляют **новые** метафорические связи, а не просто подбирают те давно избитые, что понижают тот или иной язык?

Одной из хороших иллюстраций метафорических способностей человеческого мозга являются ошибки, совершаемые детьми в их спонтанной речи. Психолог Мелисса Бауэрман, изучая двух своих дочерей дошкольного возраста, заметила, что иногда они, говоря о принадлежности, состояниях, времени и причинах, использовали слова для пространства и движения необычным образом^[61]:

You put me just bread and butter.

Ты положи мне только хлеб и масло.

You put the pink one to me.

Ты положи(ла) розовый ко мне.

I'm taking these cracks bigger.

Я беру эти щели побольше (при очищении арахиса).

I putted part of the sleeve blue so I crossed it out with red.

Я поклала часть рукава синим, так что я закрасила его красным (во время раскрашивания).

Can I have the reading behind the dinner?

Можно ли мне читать позади обеда?

Today we'll be packing because tomorrow there won't be enough space to pack.

Сегодня мы будем паковать, потому что завтра не будет достаточно пространства паковать.

Friday is covering Saturday and Sunday so I can't have Saturday and Sunday if I don't go through Friday.

Пятница закрывает субботу и воскресенье, так что у меня не может быть субботы и воскресенья, если я не пройду через пятницу.

My dolly is scrunched from someone but not from me.

Моя куколка помята от кого-то — но не от меня.

They had to stop from a red light.

Им пришлось остановиться от красного света.

Когда я впервые изучал глаголы в речи детей, подобные отчеты казались мне необыкновенно интересными, поскольку они были, как мне казалось, свидетельством метафоры из уст маленьких детей и младенцев. Конечно же, выше шла речь всего лишь о двух детях, дочерях ученого, целенаправленно сутки напролет прислушивающегося к ним в поисках интересных моментов употребления. Чтобы понять, насколько легко дети делают подобные скачки, я нанял студента по имени Лэрри Розен, чтобы тот «закинул невод» в компьютерную базу данных, состоящую из примерно пятидесяти тысяч предложений, записанных за тремя другими детьми [62].

Улов этого процесса был жалким:

I going' put de door open.

Я собирающийся положить дверь открытой.

Now I think I take the whole crayoned.

Теперь, я думаю, я беру все раскрашенным мелками (за раскрашиванием).

It's gonna stay raining.

Останется дождь.

He put the bread and butter folded over.

Он положил хлеб и масло свернутыми.

Затем Розен и я провели эксперимент, пытаясь вызвать подобные ошибки в живом общении с детьми. Мы попросили детей описать картинки, на которых были изображены изменения принадлежности и состояния, например мать, дающая ребенку мяч, или мальчик, раскрашивающий лист бумаги. Мы подтасовывали карты, прося детей использовать тот или иной конкретный глагол, например «Не мог бы ты мне сказать, что она делает, используя слово „класть“ (put)», надеясь, что тем самым сможем периодически подвести их под ошибку типа He is putting the paper blue 'Он кладет бумагу голубым'. Тридцать детей описали по девятнадцать картинок каждый, всего пятьсот

семьдесят (570) приглашений использовать пространственный термин метафорически. И опять «невод» вернулся практически пустым:

Mother takes ball away from boy and puts it to girl.
Мать берет мяч от мальчика и кладет его к девочке.

Square go big.
Квадрат идет большой.

Boy puts flowers to girl.
Мальчик кладет цветы к девочке.

Square went bigger.
Квадрат пошел больше.

Все остальные 99,3% времени дети, если и употребляли целевой глагол, то употребляли его в стандартном смысле, как в He put water on him 'Он положил/поставил воду на него'. Вот вам и еще один гол в пользу теории зануды. Хотя дети, безусловно, способны увидеть параллели между изменением местоположения и изменением состояния или принадлежности, они очень редко демонстрируют это умение. Как правило, они используют пространственные слова так же, как и их родители.

Еще один волнующий контакт с метафорическим разумом состоялся во время моего разговора о памяти со специалистом по искусственному интеллекту Роджером Шенком, когда он стал пересказывать мне ряд эпизодов, один из которых напомнил ему о другом^[63]. Шенк, разумеется, был не первым, кто размышлял о психологии припоминания (*reminding*). Мы часто представляем ее себе как воспоминание о прошлом, вызванное неким сенсорным ощущением, как в знаменитом пассаже Пруста из романа «По направлению к Свану»:

Мама велела принести одно из тех круглых, пышных бисквитных пирожных, формой для которых как будто бы служат желобчатые раковины пластинчатожаберных моллюсков. Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожиданием безотрадного завтрашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чаю с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего неба, я вздрогнул: во мне произошло что-то необыкновенное. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. Я, как влюбленный, сразу стал равнодушен к превратностям судьбы, к безобидным ее ударам, к радужной быстролетности жизни, я наполнился каким-то драгоценным веществом; вернее, это вещество было не во мне — я сам был этим веществом. Я перестал чувствовать себя человеком посредственным, незаметным смертным. Откуда ко мне пришла всемогущая эта радость?^{[64] 1)}

Через пять абзацев рассказчик внезапно находит ответ на свой вопрос, когда вспоминает, что в детстве, по воскресеньям, тетя Леония подавала ему такие бисквиты, размоченные в чае из липового цвета.

¹⁾ Перевод Н. М. Любимова. — Прим. перев.

У Шенка воспоминания о былом выглядят несколько иначе:

Кто-то рассказал мне о том, что, проведя много времени в очереди в своем почтовом отделении, он заметил, что человек, стоявший перед ним прождал все это время ради того, чтобы купить одну-единственную марку. Это напомнило мне о тех людях, что на бензоколонке заправляют бензобак на один-два доллара.

Ну что ж, чего же вы хотите от ученого-информатика? Но то, чего этому эпизоду не хватает с литературной точки зрения, с лихвой восполняется его научной значимостью, поскольку данный эпизод демонстрирует поразительное свойство человеческой памяти. Воспоминания могут быть связаны не только общей нитью вкусов, текстур и форм, но и общим «скелетом» абстрактной идеи, в данном случае это «неэффективность долгого ожидания ради приобретения малого количества». Шенк приводит и эпизоды, где наблюдается еще меньшая сенсорная перекличка между воспоминанием и тем, что о нем напомнило:

Х рассказал, что его жена, готовя бифштекс, никогда не делала его таким сырым, каким ему хотелось бы. Когда об этом сказали Y-у, это напомнило тому об эпизоде 30-летней давности, когда он, будучи в Англии, хотел коротко постричься, а парикмахер так и не подстриг его настолько коротко, насколько ему хотелось бы.

Дочь X-а ныряла в поиске монет. X указал ей место, где денег под водой было гораздо больше, но дочь X продолжала нырять в том же самом месте. X спросил, почему. Она ответила, что ныряет там, где мельче. Это напомнило X-у об анекдоте про пьяницу, который искал свои ключи под фонарным столбом, потому что там было светлее, хотя потерял он свои ключи где-то в другом месте^[65].

Желая узнать, насколько распространенными являются подобные «звоночки», я не так давно завел дневник собственных припоминаний, отделяя прустовские припоминания в связи с общностью ощущения от шенковского припоминания в связи с общностью концептуальной структуры. В течение нескольких дней мне пришел в голову целый ряд примеров последнего типа. Вот некоторые из них:

Во время забега я слушал музыку на своем айпоне, на котором была установлена функция проигрывания песен в произвольном порядке. Я постоянно нажимал кнопку «пропустить», пока не дошел до песни с подходящим темпом. Это напомнило мне о том, как подающий в бейсболе сигнализирует принимающему, какую подачу он собирается совершить, — принимающий показывает ему на пальцах коды различных бросков, а подающий качает головой, пока не увидит кодовый сигнал именно той подачи, которую он собирается совершить.

Исправляя цифровую фотографию на своем компьютере, я старался осветлить определенную часть снимка, но это в результате сделало соседний участок фотографии слишком темным, так что я осветлил и его, что

привело к потребности осветлить еще один и так далее. Это напомнило мне о том, как у стола по кусочку отпиливают ножи, чтобы он перестал шататься.

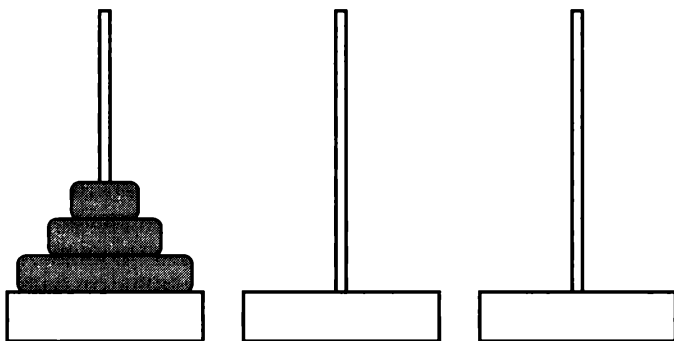
Одна моя коллега сказала, что на нее произвел впечатление высокий научный уровень докладчика, поскольку она не все в его речи смогла понять. Другой коллега на это ответил, что, возможно, докладчик просто не очень хороший оратор. Это напомнило мне о шутке про тегасца, который посетил ранчо своего кузена в Израиле. «И ты называешь это ранчо? — сказал он. — В Тегасе, я могу выехать на своей машине утром и не доехать до конца своих владений даже к закату». Израильтянин ответил: «Да, у меня тоже когда-то была такая машина».

Пока я размышлял над данным способом припоминания, мне даже вспомнилось об одном таком случае. В университетские годы я с одним моим другом как-то попали на ужасный концерт певицы, у которой был явный ларингит. Когда она вернулась после антракта и начала первую песню второй части своего выступления, ее голос был достаточно чистым. Мой друг прошептал: «Когда надевают колпачок на высохший фломастер, он снова начинает писать, однако это ненадолго».

Припоминание по Шенку, должно быть, и является тем неуловимым ментальным актом, который рождает новую метафору или аналогию. И к тому же не какую-то поверхностную или неудачную, как те, что мы наблюдали у алхимиков и участников конкурса на «Худшую аналогию», а глубокую аналогию, которая под поверхностным слоем сенсорного опыта усматривает общий концептуальный скелет событий, состояний, целей, причин и степеней. Эти воспоминания приходили и к Шенку, и ко мне неожиданно-негаданно, и, если они являются столь естественным маневром из ментального репертуара человека, возможно, у нас есть объяснение того, почему метафоры настолько распространены в языке и настолько полезны в наших рассуждениях. Возможно, у нас даже есть объяснение того, почему человек столь умен: припоминание шенковского типа — это эволюционный подарок, который позволяет нам привлекать старые идеи (начиная с тех, что мы унаследовали от наших предков-приматов) для применения их в новых областях.

Но возможно и то, что Шенк, я и все наши единомышленники — просто чудачки. Как и в случае с детскими ошибками, аналогичные скачки в припоминаниях вовсе не так легко воспроизвести, когда просишь волонтеров с улицы проводить аналогии по заказу. В действительности, если вы спросите у большинства когнитивных психологов о том, как люди используют аналогии, они будут вести себя как форменные зануды, заявляя, что людей впечатляет лишь поверхностное сходство и что они не выделяют никакой общей структуры — и это прямо противоположно тому, на что указывают припоминания шенковского типа [66].

Начиная с 1950-х гг. Герберт Саймон и Аллен Ньювелл, два основателя когнитивной науки и теории искусственного интеллекта, программировали компьютеры для решения задач, сначала разделяя проблему на ряд состояний (как, например, все возможные комбинации в шахматной игре) и ряд операций, которые переводят одно состояние в другое (как, например, ход определенной шахматной фигуры) [67]. Состояния и операции потом были представлены в виде символов и вычислительных шагов компьютера, лишенные каких-либо сенсорных атрибутов окружающего мира (типа внешнего вида шахматных фигур). Компьютер решал задачу с помощью определения разницы между целевым состоянием и состоянием на данный момент и применения операций, помогающих уменьшить эту разницу. И если компьютеру удастся решить одну задачу, он может автоматически распространить это решение на новую задачу с похожей пошаговой логической структурой при условии, что вторая задача будет представлена внутри компьютера в сходной форме, — своего рода решение по аналогии. (Саймон назвал различные версии одной и той же задачи «изоморфами задачи».) Известным примером является игра Ханойская пирамида, состоящая из ступенчатых колец, надетых на шесты:



Можно переносить только одно кольцо за один ход и нельзя класть большее кольцо на меньшее по размеру. Цель игры — перенести стопку колец с самого левого шеста на самый правый. Большинство людей через какое-то время понимают, как это сделать:

Некоторые гималайские гостиницы устраивают чайные церемонии с участием хозяина, пожилого человека и юноши. Хозяин выполняет три действия, упорядоченные по степени их благородства: разведение огня, подача чая и декламация стихотворения. Церемония должна повторяться несколько раз. После каждого исполнения любой участник может спросить другого: «Многоуважаемый, могу ли я в этот раз исполнить это нелегкое задание за Вас?» Однако человек может освободить другого гостя от исполнения только наименее благородного из выполняемых тем заданий. Более того, если какой-то человек только что выполнил одно

из заданий, он не может взяться за более благородное. Обычай требует того, чтобы в последнем исполнении чайной церемонии все задания были переданы юноше. Каким образом можно этого достичь?

Вышеописанное действие является изоморфом Ханойской пирамиды и может быть сведено к той же последовательности шагов (представим, что хозяин — это левый шест, старший гость — средний шест, а юный — это правый шест, тогда как кольца-диски на шестах — это задания, из которых «декламация стихотворения» находится в самом низу)^[68]. Однако задача чайной церемонии кажется намного сложнее ханойской пирамиды. Вопреки надежде на то, что наш мозг обладает «рентгеновским» зрением, которое позволяет разглядеть абстрактный концептуальный скелет, люди могут находить изоморфы одной задачи радикально разными по уровню сложности, и без посторонней помощи им бывает совсем непросто перенести найденное ими решение одной задачи на другую.

Другой известный пример был вдохновлен психологом, занимающимся гештальт-терапией, по имени Карл Данкер (он также разработал задачу свечи и коробки кнопок, с которой мы столкнулись в главе 4)^[69]. Представьте, что вы — доктор, пытающийся уничтожить неоперабельную опухоль в желудке. Вы можете послать узкий пучок лучей на саму опухоль, но он разрушит опухоль только при высокой интенсивности, что также приведет к разрушению здоровых тканей. При более низкой интенсивности здоровым тканям ничто не угрожает, но опухоль не будет уничтожена. Решение проблемы существует, но оно приходит в голову только одному человеку из десяти: направить на опухоль несколько пучков из различных отправных точек, так что опухоль получает дозу, эквивалентную сумме пучков, тогда как окружающие ткани получают долю облучения лишь от одного луча. Данкера интересовало то, как люди доходят до того самого «Ага!», которое позволяет им увидеть решение той или иной задачи. Десять лет спустя когнитивные психологи Мэри Гик и Кейт Холояк задалась вопросом, не является ли одним из таких путей аналогия.

В одном своем весьма плодотворном исследовании Гик и Холояк задали своим испытуемым задачу про опухоль, сначала дав им некий намек на ее решение в виде изоморфа задачи вместе с ее решением^[70]. Диктатор управляет своей маленькой страной из крепости. От крепости отходит множество дорог. Генерал освободительных сил знает, что его армия достаточно велика для того, чтобы занять крепость. Однако он только что узнал, что дороги заминированы таким образом, что небольшие группы людей пройти могут, а большая армия подорвется, что сделает невозможным полноценное вторжение. Генералу приходит в голову идея: он делит свою армию на небольшие группы, каждая из которых может выбрать себе собственный путь, все они в итоге

соберутся у крепости и с легкостью возьмут ее. Тот, кто способен хорошо проводить аналогии, должен заметить изоморфизм и перенести решение задачи о вторжении на проблему с опухолью. Однако лишь 35 процентов участников исследования разглядели аналогию, что, разумеется, втрое больше, чем у Данкера, но все-таки меньшинство. Другие исследования также оказались в пользу теории зануды, подтвердив буквальность человеческого восприятия. Если задачи не имеют между собой поверхностного сходства, у людей лишь изредка вспыхивает в голове некая лампочка, позволяющая им увидеть способ перенесения решения задачи на ее изоморф. Например, людям удастся решить задачу с опухолью в желудке после того, как они прочитали про доктора, лечащего **опухоль мозга** с помощью нескольких пучков облучения^[71]. Конечно, когда две части аналогии близки по лежащей в их основе структуре и по их поверхностным свойствам, то это вообще не стоит называть аналогией. Не надо большой аналогической проницательности, чтобы понять, как сделать заказ в «Бургер Кинге», базируясь на знаниях о том, как сделать заказ в «Макдоналдсе».

В чем же дело? С одной стороны, кажется, будто аналогическое мышление дано нам с самого рождения. Метафорические связи понижают наш язык, двигают нашу науку, оживляют литературу, прорываются (во всяком случае, иногда) в детской речи, напоминают нам о том, что было. С другой стороны, когда экспериментаторы подводят лошадь к воде, они не могут заставить ее пить.

Одним из факторов является просто-напросто опытность, компетентность. Большинство студентов мало что знают о чайных церемониях, лучевой терапии и армиях-оккупантах, поэтому в их распоряжении нет необходимой концептуальной базы. Дальнейшие исследования показали, что наличие знаний по той или иной теме помогает проведению более глубоких аналогий с большей легкостью. Например, когда студентам, прослушавшим только один курс физики, показали ряд задач и спросили, какие из них похожи, они объединили друг с другом те, на картинках к которым были одинаковые объекты — наклонные плоскости в одну группу, шкивы и блоки — в другую, и т. д. Однако когда сортировку проводили студенты-физики старших курсов, они объединяли друг с другом задачи, основанные на одних и тех же принципах, например на принципе сохранения энергии, независимо от того, говорилось ли в задаче о коробках, перемещаемых вверх по наклонной плоскости, или же о грузах, которые висят на пружинах^[72]. Возможно, мы подкованы в отношении концептуальных метафор в реальной жизни, поскольку все мы знатоки по части путешествий, любви, споров и войны.

Однако дело обстоит сложнее. Психолог Кевин Данбар и его коллеги нащупали еще одну причину, по которой люди в лаборатории проявляют себя хуже: экспериментаторы сами выбирают аналогию^[73].

Затем они закапывают ее в недра некоей истории и тестируют участников на предмет того, могут ли те эту аналогию найти. Подобный поиск клада гораздо сложнее, нежели создание своей **собственной** аналогии, что и происходит в детских ошибках, аналогическом напоминании и придумывании новых метафор в истории того или иного языка.

Данбар призвал студентов придумать аналогии в поддержку каждой из сторон жаркого спора, разгоревшегося в то время в Канаде, по поводу того, следует ли балансировать государственный бюджет с помощью урезания социальных программ ^[74]. В течение нескольких минут средний участник исследования выдавал 11 аналогий. Восемьдесят процентов из них не имели никакого отношения к науке или политике, но касались таких отдаленных сфер, как фермерство («Если ты решишь, что слишком дорого покупать пестициды для твоих яблонь, все твои яблони умрут») или быта («Дефицит — это как ворсинки, оставшиеся в твоей сушильной машине. Если их не вычищать, они просто будут скапливаться и блокировать поток воздуха, приводя машину в негодность»). Он также проверил на предмет аналогий около четырехсот газетных статей на тему референдума 1995 г. по вопросу политического отделения Квебека от Канады ^[75]. Поиск привел к обнаружению более двухсот аналогий, большинство из которых были основаны на глубоком, а не на поверхностном сходстве. Они черпались из таких источников, как семья («Это как при разводе, когда опекунство получает тот родитель, который меньше нравится»), медицины («Отделение — это как полостная операция; важно, чтобы пациент был хорошо проинформирован, а врач — беспристрастен») и конечно же любимого национального времяпрепровождения («Путь к суверенитету Квебека — это хоккейный матч. Этот референдум — конец третьего периода»).

Г
Л
А
В
А
5

Мессия не явился. Хотя метафоры в языке вездесущи, многие из них на самом деле мертвы в сознании сегодняшних говорящих, а живые не могут быть выучены, поняты и использованы в качестве инструмента для рассуждения, если они не были построены на основе более абстрактных понятий, которые улавливают общие и различающиеся черты у символа и символизируемого. По этой причине концептуальные метафоры ни в коей мере не отменяют правду и объективность, не низводят они и философский, правовой и политический дискурсы до уровня конкурса красоты между соперничающими системами.

И тем не менее я полагаю, что метафора — это один из ключей к объяснению мысли и языка. Человеческий разум оборудован способностью проникать сквозь чувственно воспринимаемую оболочку и различать под ней абстрактную конструкцию — не всегда по заказу и не всегда безошибочно, но достаточно часто и вполне разумно, чтобы это могло формировать бытие человека. Наша способность проводить аналогии позволяет нам применять древние нейронные структуры

к новым предметным областям, открывать скрытые законы и системы в природе и, что немаловажно, усилить выразительную мощь самого языка.

Язык по самому своему устройству, кажется, должен быть инструментом с хорошо определенной и ограниченной функциональностью. С конечным набором произвольных символов и правилами грамматики, позволяющими составлять из них предложения, язык дает нам способ создавать безграничное количество комбинаций идей о том, кто кому что сделал, и о том, что где находится^[76]. Однако как средство «оцифровки» нашего мира язык допускает информационные потери, отбрасывая информацию о целостной многомерной текстуре нашего опыта. Язык, например, чрезвычайно беден, когда необходимо передать тонкости и богатство таких ощущений, как вкус или звук. И, вероятнее всего, столь же неадекватен для передачи информации из других каналов восприятия, которые не состоят из дискретных, доступных для наблюдения частей. Вспышки обобщающей мысли (такие, как в математическом или музыкальном творчестве), волны всепоглощающего чувства и моменты мечтательной задумчивости не являются типами событий, представимыми в форме бусинок на нитке, которые мы называем предложением.

И все же метафора дает нам способ описать неопишемое. Возможно, самое большое удовольствие, даруемое нам языком, — это возможность поддаться очарованию метафор искусного писателя и тем самым проникнуть в сознание другого человека. Они почти что позволяют нам понять, что испытывает человек в моменты гениальных математических прозрений:

Иногда я целыми часами блуждаю кругами, проходя одни и те же места, теряясь, подчас на целые часы, дни и даже недели... Но я знаю, что если буду погружена в это достаточно долго, то все станет яснее, проще. Я могу на это рассчитывать. А когда это случается, то происходит быстро. Бум-бара-бум! Одно за другим, аж дух захватывает. А затем, вы знаете, я чувствую, будто выхожу из какого-то удаленного уголка космоса, где не бывал еще ни один смертный, совершенно одна с чем-то красивым... Однажды, когда я была в Швейцарии, друзья подняли меня очень высоко на фуникулере, идущем на вершину горы. Наверху был расположен ресторан, из которого открывается потрясающий вид. Когда мы поднялись, нам пришлось испытать чувство страшного разочарования, потому что все было затянато облаками. Однако вдруг в облаках образовался разрыв и показалис Юнгфрау (*Jungfrau*) и два других пика, возвышающихся прямо перед нами... Вот на что это похоже^[77].

Или в моменты сочинения музыки:

Это было как дар. Большая серая птица взлетела, издав громкий крик при его приближении. Набирая высоту и кружа над долиной, птица издала звук наподобие свирели, из трех нот, в которых он узнал инверсию мелодии,

уже записанной им для пикколо. Как элегантно, как просто. Изменение последовательности нот дало ему идею простой и красивой песни в размере четыре четверти, которую он уже почти мог услышать. Но не совсем. Образ пришел к нему в виде ряда ступенек веревочной лестницы, которые, разворачиваясь, скользили сверху вниз — из люка чердака или из двери легкого самолета. Одна нота перетекала в другую и намекала на следующую. Он слышал эту мелодию, она уже была его и вдруг исчезла. Оставалось некое сияние волнующего следа и меркнувший зов печального мотивчика... Эти ноты были совершенно взаимозависимы, небольшие отполированные крепления, ловко переносящие мелодию по идеальной дуге. Он снова почти услышал ее, когда взобрался на выступ скалы и остановился, чтобы достать из кармана блокнот и карандаш^[78].

Или когда он охвачен невыразимым желанием:

Надобно быть художником и сумасшедшим, игралищем бесконечных скорбей, с пузырьком горячего яда в корне тела и сверхсладоэстрастным пламенем, вечно пылающим в чутком хребте (о, как приходится нам ежиться и хорониться!), дабы узнать сразу, по неизъяснимым приметам — по слегка кошачьему очерку скул, по тонкости и шелковистости членов и еще по другим признакам, перечислить которые мне запрещают отчаяние, стыд, слезы нежности, — маленького смертоносного демона в толпе обыкновенных детей^{[79] 1)}.

Или даже когда он размышляет о границах самого языка:

Ведь никто же до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс^[80].



Всю свою жизнь я окружен напоминаниями о зурядности моего имени. Его происхождение достаточно благопристойно: *stephanos* — это по-гречески «корона». Тем не менее имя это вело совершенно неприметное существование в течение почти двух тысячелетий после того, как первый христианский мученик был забит камнями и о нем вспоминали

лишь в день Св. Стефана, когда добрый король Венцеслав выглянул в окно¹⁾. Только в девятнадцатом веке на мировой сцене вновь появился целый ряд Стефанов-Стивенсов — Остин, Дуглас, Фостер, Ликок и Крейн, а первые декады двадцатого века добавили еще Бене, Спендера и Дедала, последний из которых даже не существовал.

В 1930-х гг. это имя было примерно на семьдесят пятом месте в списке наиболее популярных американских мужских имен (после Клэрэнса (*Clarence*), Лероя (*Leroy*) и Флойда (*Floyd*), а в 1950-х, когда родился я, имя Стивен (*Stephen*, а также *Steven* и *Steve*) взлетело аж на 7 строчку^[1]. И, кажется, оно было еще более популярным в тех демографических кругах, в которых вращался я. По мере того как мое громоздкое поколение пробивало себе путь в недрах удава, именуемого обществом²⁾, я был постоянно окружен Стивами. В школе ко мне постоянно обращались по имени и по первой букве фамилии, поскольку в каждом классе нас было двое или трое. Все время, пока я учился, концентрация «Стивости» только увеличивалась. Когда я был аспирантом,

¹⁾ Интертекстуальная отсылка к тексту английского рождественского гимна «Добрый король Венцеслав», в котором речь идет о чешском короле св. Вашаве. — *Прим. перев.*

²⁾ Отсылка к известной демографам аналогии, уподобляющей общество удаву, а слишком многочисленное поколение — свиные, проглоченной удавом. — *Прим. перев.*

мой сосед по общежитию был Стивом, так же звали и моего научного руководителя и еще одного его подопечного (что в итоге привело к выходу работы, написанной тремя Стивами). А когда у меня появилась собственная лаборатория, я два раза подряд нанимал Стивов на работу.

Когда я стал писать научные книги по своей тематике, меня просто окружили Стивены. Я надеялся развить идеи Гулда и Хокинга, затем вдруг стал оспаривать сначала Гулда, а затем Роуза (транскрипт этого опровержения называется «Два Стива») [2] и в какой-то момент мои книги появились на тех же полках, что и книги всех вышеперечисленных Стивенсов, а также книги Стивена Будянски и Стивена Джоунза. Не скажу, что это мне навредило:



Pile 'Em High cartoon by Kipper Williams, originally printed in *The Sunday Times*, reprinted with permission of the artist

«Если его зовут Стив, он точно знает, о чем говорит»

Затем к нам присоединились Джонсон, Ландсберг, Леви, Майтен, Вайнберг, Вольфрам, оба автора бестселлера «Фрикономика» (*Freakonomics*) Левитт и Дабнер. Стивы также доминировали в области высоких технологий, включая исполнительных директоров *Microsoft* — Балмер, и обоих основателей *Apple* — Джобс и Возняк, а также основателя *America Online* — Кейс.

Обилие Стивов в науке конца двадцатого века привело к созданию потрясающего оружия в борьбе с неокреационизмом, называемого проектом «Стив» (*Project Steve*) [3]. Являясь детищем «Национального центра поддержки естественнонаучного образования» (*National Center for Science Education, NCSE*), проект пародирует креационистскую традицию публикации списков нескольких дюжин ученых, которые «произошли от Дарвина». На что *NCSE* отвечает: «Ах так? У нас вообще-то есть список из нескольких сотен ученых, которые принимают теорию эволюции, и это лишь те, которых зовут Стив!» (а также Стефани,

Штеффи, Стефан и Эстебан). Будучи частично сатирой, частично — трудом в память Стивена Джея Гулда, проект ведет учет Стивов при помощи «стивометра» (*Steve-o-Meter*) (в настоящее время зашкаливающего за отметку 800), выпустил свою футболку, свою песню, свой талисман (профессор Стив Стив в виде куклы-панды) и статью в уважаемом научном журнале «Анналы маловероятных исследований» (*The Annals of Improbable Research*) под названием «Морфология Стива» (*The Morphology of Steve*), написанную на базе распределения размеров экземпляров той самой футболки, заказанной подписавшимися^[4].

Гиперстивизм — это феномен второй половины двадцатого столетия. Как это когда-то произошло с тюльпанами, акциями сетевых коммерческих компаний и другими примерами массовых помешательств, популярность имени Стив упала так же быстро, как и выросла. Сегодня она упала до уровня, не виданного с 1910-х гг., и это имя может стать таким же старомодным, как Элмер или Клем^[5].

Что делает то или иное имя более или менее популярным? Как и большинство тех, кто дают своему ребенку новое, «свежее» имя, мои родители вовсе не подозревали, что являются частью некоей тенденции, им просто нравилось, как оно звучит. Мои дедушка с бабушкой пытались отговорить их, это имя, по их словам, навевало им мысли о неотесанном работяге. Мне нравится думать, что в нем есть некая толика тихо тлеющей мужественности, продемонстрированная в эпизоде фильма «Иметь и не иметь» (*To Have and Have Not*), в котором Лорен Бэколл говорит Хамфри Богарту :

You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.

Со мной тебе не нужно притворяться, Стив. [Имя героя — вовсе не Стив.] Тебе не нужно ничего говорить, не нужно ничего делать... совсем ничего. Ну, разве что свистнуть. Ты ведь умеешь свистеть, не так ли, Стив? Просто соединишь вместе губы и дуешь.

Они не могли знать, что всего одно поколение спустя коннотации имени изменятся настолько, что слоганом движения против гомосексуализма в США станет фраза *God created Adam and Eve, not Adam and Steve* 'Бог создал Адама и Еву, а не Адама и Стива'¹⁾.

В данной главе речь пойдет о назывании (*naming*) — о том, как мы даем имена детям, а также всем прочим вещам. Наречение малыша тем или иным именем — это, фактически, единственная возможность самим выбрать название чего бы то ни было, доступная большинству людей. Но ведь каждое из полумиллиона слов, входящих в Оксфордский словарь английского языка, должно было быть придумано кем-то

¹⁾ В английском имена Ева (*Eve*) и Стив (*Steve*) рифмуются. — Прим. перев.

в тот или иной момент истории человечества, оно должно было быть принято тем или иным сообществом и увековечено на целые эпохи. Это процесс, в который удивительным образом вовлечены и мир, и разум, и общество. Как мы увидим далее, один из аспектов скромного акта именованья, как оказалось, смог произвести переворот в нашем понимании логики, значения и отношения знаний к действительности. А другой аспект этого процесса оказался способным кардинально изменить наше понимание культуры и общества.

В мире или в голове?

Революция в нашем понимании логики имен началась с простого вопроса: где живут значения слов? Существует две возможных среды обитания. Одна из них — это наш мир, где мы находим те предметы, к которым относится то или иное слово. Вторая — наша голова, где мы находим людское понимание того, как может использоваться то или иное слово.

Для любого, кого интересует язык как окно в человеческое сознание, внешний мир может показаться неподходящей средой обитания. Слово «кошка», например, относится к множеству всех кошек, которые когда-либо жили или будут жить. Однако ни один простой смертный не может быть знаком со всеми кошками прошлого, настоящего и будущего. К тому же, у многих слов вообще нет референта во внешнем мире, например «единорог», «Элиза Дулитл»¹⁾, «пасхальный кролик»²⁾, но эти слова, безусловно, обладают значением для человека, который их знает. И наконец, люди могут использовать слова с совершенно разными значениями по отношению к одному и тому же предмету внешнего мира. Классическим примером является «Вечерняя звезда» и «Утренняя звезда»: оба выражения являются названиями планеты Венеры. Но два этих выражения, конечно, имеют разные значения для людей, не искушенных в астрономии, которым неоткуда узнать, что выражения относятся к одному и тому же небесному телу. Есть еще один хорошо известный пример двух слов, относящихся к одному и тому же явлению действительности, но означающих для человека две совершенно различные вещи: слова «Иокаста» и «мама», если этот человек — Эдип^[6]. Как мы уже не раз видели, семантические тонкости могут играть немаловажную роль.

Альтернатива идеи о том, что значение того или иного слова — это набор предметов, к которым оно относится, состоит в том, что

¹⁾ Элиза Дулитл — героиня пьесы Б. Шоу «Пигмалион». — *Прим. перев.*

²⁾ Один из символов Пасхи в Западной Европе и Америке, представляемый в виде человекоподобного кролика, разносящего пасхальные яйца. — *Прим. перев.*

это — некое описание, как определение в словаре, или некая формула логических или концептуальных символов. Математика дает нам наглядную модель того, как за имеющим определенные границы описанием может стоять бесконечное число предметов. Например, «набор натуральных чисел, делимых на два без остатка», — фраза всего из десяти слов, но она определяет набор четных чисел, который сам по себе бесконечен. Математика также показывает нам, как два различных выражения могут определять одни и те же вещи: еще одно определение четных чисел — это «набор натуральных чисел, включая ноль и все числа, которые получаются от прибавления к ним цифры два любое количество раз». То же самое и в языке: значение слова «кошка» может быть определено как «небольшое домашнее млекопитающее с мягкой шерстью, острыми когтями, остроконечными ушами и, как правило, длинным пушистым хвостом, широко используемое в качестве домашнего питомца или для ловли мышей».

Два значения слова «значение» иногда называют референцией (предмет или ряд предметов внешнего мира) и смыслом (суммарная формула)^[7]. Смысл не **обязательно** находится во всякой голове; это идеальная характеристика концепта, стоящего за тем или иным словом, о которой индивиды, говорящие на этом языке, могут быть осведомлены в большей или меньшей степени. Но в той степени, в которой люди имеют в своих головах **хоть какой-то** концепт, относящийся к смыслу слова, можно считать, что они знают его значение. Преимущество определения слова «кошка» перед множеством всех котов — это, безусловно, тот факт, что определение может уместиться в голове человека. Разумеется, каким-то образом человек, знающий то или иное слово, должен уметь идентифицировать те предметы, к которым это слово относится. Но по крайней мере в принципе, смысл слова может использоваться для установления его референтов во внешнем мире. В случае слова «кошка», вы просто ищете небольших домашних млекопитающих с мягкой шерстью, острыми когтями, заостренными ушами и так далее. Смысл того или иного слова, таким образом, может поддерживать связь человека с возможными референтами данного слова даже если их бесчисленное количество или они далеки от реальности.

Не может быть единственного ответа на вопрос «Находятся ли значения слов во внешнем мире или в голове?», потому что разделение труда между смыслом и референцией очень сильно отличается у разных типов слов. У таких слов, как (this) 'mom' или (that) 'mom', смысл сам по себе бесполезен для нахождения референта; все зависит от того, что окружает человека в том месте и в то время, когда он их произносит. Логики называют подобные слова **индексикалами** (*indexicals*). Термин происходит от латинского слова, обозначающего указательный палец, поскольку значение индексикала зависит от того, на что вы, в сущности, указываете. Лингвисты называют такие слова

деиктическими, от греческого корня для того же действия — указания. Другими примерами являются слова «здесь», «там», «ты» («вы»), «я», «сейчас» и «тогда».

На противоположном конце расположены слова, которые означают то, что мы договорились обозначать при помощи этих слов, установив их значения в системе правил. По крайней мере теоретически, вам не нужно глядя во все глаза отправляться на поиски по белу свету, чтобы знать, что такое «тачдаун» (*touchdown*) в регби, «парламентарий», «доллар» или «гражданин Америки» (*American citizen*) или «ВПЕРЕД» (*GO*) в игре «Монополия», поскольку их значение изложено точно в виде правил той или иной игры или установлений той или иной системы. Иногда их называют номинальными классами — классами таких вещей, которые выделяются только благодаря тому, что мы решили так их называть.

Нам остается разобраться с тремя не столь четкими категориями: естественными видами, такими как «кошка», «вода» или «золото»; артефактами, такими как «карандаш», «толокно» или «циклотрон», и именами собственными, такими как «Аристотель», «Пол Маккартни» и «Чикаго». Каковы роли внешнего мира и человеческого сознания по отношению к этим классам сущностей?

Начнем с имен собственных. На первый взгляд, знание того или иного имени должно бы предполагать знание его смысла, а не только его референции. Видеть референта того или иного имени или дотрагиваться до него не может быть обязательным условием, поскольку мы все знаем значения имен таких людей, как Аристотель, который жил на земле на тысячелетия раньше нас с вами. И мы все умеем пользоваться именами, которые имеют различные значения, но относятся к одному и тому же референту во внешнем мире: не только «Вечерняя звезда» и «Утренняя звезда», но также «Сэмюэл Клеменс» и «Марк Твен», «Кларк Кент» и «Супермен», «Пафф Дэдди» и «Пиддиди». Как же выглядит значение имени собственного, хранящееся в голове человека? Предположительно, оно похоже на «определенную дескрипцию»: характеристику, которая позволяет выбрать единственного индивидуума. Значением имени «Джордж Вашингтон», например, тогда было бы «первый президент Соединенных Штатов». Изредка люди или организации в самом деле используют подобную определенную дескрипцию в качестве своего имени собственного, как, например, «Артист, ранее известный под именем Принц» (*The Artist Formerly Known as Prince*). Хорошим напоминанием о логической разнице между именем и определенной дескрипцией является замечание Вольтера о том, что Священная Римская империя не была ни священной, ни римской, ни даже империей; острота Граучо о том, что *Military Intelligence* «военная разведка» (букв. «военный ум») — это противоречие между терминами, а также наклейка на бампер, говорящая об американских

правых: *The Moral Majority is Neither 'Моральное большинство не есть ни то, ни другое'*. Согласно теории, которую мы сейчас рассматриваем, значение того или иного имени является **сокращением** определенной дескрипции, но, как показывают вышеприведенные шутки, не обязательно той, что содержится в самом имени.

Теперь мы вплотную подошли к тому, что, по мнению многих, является одним из наиболее неожиданных открытий философии двадцатого столетия. Эта идея пришла на ум независимо друг от друга философам Солу Крипке и Хилари Патнэму (а также, в более ранней версии, Рут Баркан Маркус). В ее основе лежит ряд престранных мысленных экспериментов^[8]. Я проиллюстрирую ее вам на более жизненном примере, взятом из той же эпохи, который был представлен публике отнюдь не философом, а неким диск-жокеем из Детройта.

Будем исходить из нашего нынешнего представления, согласно которому имя — это стенографическая запись определенной дескрипции. Тогда, например, значение имени «Пол Маккартни» выглядело бы наподобие вот такого определения, похожего на то, что можно найти в толковом словаре:

Маккартни, Пол (р. 1942), английский музыкант, который, будучи членом популярной музыкальной группы «Битлз» (*The Beatles*) (1960–1971), написал множество известных песен в соавторстве с Джоном Ленноном, включая «Один день из моей жизни» (*A Day in the Life*) и «Пусть будет так» (*Let it Be*). (Син.: Маккартни, Сэр Джеймс Пол Маккартни.)

Теперь обратимся к самому мысленному эксперименту — по сути, слуху, всерьез воспринятому многими осенью 1969 г., о том, что Маккартни умер. Согласно этому слуху, в среду в пять утра в ноябре 1966 г., Маккартни со скандалом ушел с одной из сессий звукозаписи группы «Битлз», подобрал по дороге девушку по имени Рита, ловившую машину, не заметил красный свет светофора и погиб в результате ужасной автомобильной аварии. «Битлз» в то время были на пике своей популярности, и смерть Пола означала бы конец их славе и богатству. По этой причине они наняли человека, который занял его место (победителя конкурса на самого похожего на Пола, мужчину по имени Билли Ширз) и задумали успешный план по сокрытию истинного положения дел от публики и прессы. Это объясняет, почему они в тот период прекратили гастролировать (подделку было бы уж слишком просто отличить во время живого выступления) и почему они отрасли усы (чтобы скрыть шрам на верхней губе самозванца). Также, чего и следовало бы ожидать от досконально разработанного сценария по одурачиванию всего мира, они поместили немало ключиков к разгадке этого заговора в свои песни и на обложки своих альбомов.

На обложке альбома *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* члены ансамбля предстают на могиле, украшенной цветочным венком в форме

басс-гитары левши Пола. На обороте той же обложки Пол — единственный, кто сфотографирован спиной к фотоаппарату. В одной из песен упоминается мужчина, у которого мозги вышибло во время езды на машине, а в другой говорится, что ничего нельзя было сделать для того, чтобы спасти ему жизнь. Подсказки продолжались и в других песнях и альбомах. В конце песни *Strawberry Fields Forever* можно услышать, как Джон поет «Я похоронил Пола», а если песню *Revolution № 9* проиграть задом наперед, можно услышать, как он распевает «Заведи меня, мертвец». На обложке альбома *Abbey Road* похоронная процессия, в которой Джон — священник, Ринго — работник бюро ритуальных услуг, Джордж — могильщик, а тот, кто заменил Пола, — босиком (именно так принято хоронить в Италии). А в песне, открывающей альбом, Джон поет о возрождении группы: «Один плюс один плюс один — это три / Соберитесь вместе теперь же надо мной».

Допустим, что слух был верным. Как сказали бы логики, существует возможный мир, в котором это и есть правда. Теперь давайте вернемся к нашему определению «Пола Маккартни». Согласно этому нашему сценарию, человек, которого мы имеем в виду, на самом деле не был членом вышеуказанной группы с 1960 по 1971 г., не написал *A Day in the Life* и *Let it Be* и не был возведен в рыцарское достоинство в 1997 г. Таким образом, если значением имени «Пол Маккартни» является это определение, то тот человек, который родился в Ливерпуле в 1942 г. и умер в Лондоне в 1966 г., не есть Пол Маккартни. А это уже бросает вызов человеческой интуиции. Большинство скажет, что человек, о котором идет речь, все равно Пол Маккартни, несмотря на его трагическую участь.

Позвольте мне донести до вас суть проблемы с помощью расширения вышеописанного мыслительного эксперимента. «Пятый Битл», Стюарт Сатклифф, оставил группу в 1961 г. и умер в 1962 г. при трагических обстоятельствах. Или так считается. Как и Маккартни, Сатклифф был красив, играл на бас-гитаре и, по мнению многих поклонников группы, олицетворял собой этот ансамбль (он придумал название группы *The Beatles*, манеру одеваться и знаменитые прически). Совпадение? Я так не считаю. Очевидно, что им вдвоем в группе не было места, иначе Сатклифф не ушел бы из нее прямо перед самым их прорывом. Возможно, Маккартни нашел компромиссное решение. Возможно — по крайней мере, можно себе представить — ну, в общем, есть возможный мир, в котором Сатклифф секретным образом продолжал быть членом группы, сочиняя песни, приписываемые Полу, играя на бас-гитаре и исполняя песни в альбомах, тогда как Пол был просто хорошеньким личиком и только. Когда же Пол погиб в аварии, ничего не нужно было делать, просто снова подменить солиста! Вновь сверяемся с нашим определением и приходим к выводу, что имя «Пол Маккартни» относится к Сатклиффу — человеку, игравшему

с «Битлз» до 1971 г. и сочинившему «Один день из моей жизни» в соавторстве с Ленноном. И снова мы чувствуем, что что-то не так. Даже если Сатклифф и подходит под стандартное определение имени «Пол Маккартни», мы чувствуем, что само имя относится на самом деле не к нему, а, скорее, к человеку, которого в 1942 г. нарекли именем Джеймс Пол.

Все это должно было напомнить вам об изоморфе проблемы, с которым мы столкнулись в первой главе: тайный стговор с целью сокрытия «факта» того, что Шекспир не является автором приписываемых ему пьес. В том случае человеку тоже интуитивно будет казаться, что если слухи на самом деле правдивы, то имя «Уильям Шекспир» все равно относится к человеку, которого им нарекли, а не к кому-то, кто написал те пьесы. Это как раз тот момент, в связи с которым я стал обсуждать вопрос о подделке документов, удостоверяющих личность: в подобном случае человек вправе сказать, что его имя относится к нему даже в том случае, если оно ассоциируется с описанием, к нему не применимым.

Чтобы убедить вас в том, что эти реальные примеры со слухами отражают суть аргументации Крипке, давайте рассмотрим ряд его собственных примеров. Хотя «Аристотеля» определяют как «философа, ученика Платона и учителя Александра Македонского», мы все равно признавали бы этого человека Аристотелем даже если бы он решил стать плотником, а не учителем или даже если бы он умер в возрасте двух лет. Многие люди считают, что «Христофор Колумб» — это имя человека, который доказал, что земля круглая, а «Альберт Эйнштейн» — тот, кто изобрел атомную бомбу. Вышеприведенные мнения ошибочны, но тем не менее мы понимаем, что эти плохо осведомленные люди все равно имеют в виду тех же личностей, что и мы с вами. Сходным образом, большинство людей не знают о Цицероне ничего, кроме того, что тот был римским оратором. И хотя он был далеко не единственным из них, когда люди употребляют имя «Цицерон», они имеют в виду этого и только этого человека, а не какого-то другого древнеримского оратора.

Вывод Крипке был следующим: имя — это отнюдь не некая сокращенная дескрипция, но **жесткий десигнатор** — термин, обозначающий одного и того же индивидуума в любом из возможных миров. Иными словами, имя относится к некоему человеку в любом из возможных случаев, в которых мы вообще можем говорить об этом индивидууме, и факты биографии тут ни при чем. Референция имени фиксируется на самом деле в тот момент, когда родители указывают пальцем на своего малыша, который, согласно их пожеланиям, будет носить это имя, или в любой другой момент, когда какое-то имя закрепляется за человеком. Оно продолжает указывать на человека в течение всей его жизни и после нее, благодаря цепи передач, в которой лицо, знающее это имя, использует его в присутствии другого лица, которое собира-

ется употреблять его таким же образом. («Я расскажу вам о великом философе. Его звали Аристотель...») Имена в каком-то смысле ближе к таким индексикалам, как «этот» или «ты», чем к таким дескрипциям, как «первый президент Соединенных Штатов» или «небольшое домашнее животное с мягкой шерстью, острыми когтями и заостренными ушами». Когда мы знаем то или иное имя, мы имплицитно указываем на кого-то вне зависимости от того, что мы (или кто-либо другой) знаем об этом человеке.

Эту теорию довольно легко принять в случае имен собственных, о которых известно, что ими кто-то нарек кого-то в определенный момент времени. Но что же делать с двумя другими интересующими нас категориями — естественными видами и артефактами? Возьмем термины, относящиеся природному миру: «золото», «атом», «вода» и «кит». Предполагается, что каждое из **этих** названий имеет некое определение, наподобие того, что «золото» — это химический элемент с атомным числом 79, «вода» — это H_2O , а «киты» — это несколько семейств отряда китообразных (*Cetacea*). Предполагается также, что поиск того, что стоит за этими определениями, — дело ученых.

Однако так же, как и в случае с определениями «Маккартни» и «Шекспира», эта, казалось бы, безобидная идея вступает в конфликт с некоторыми мощными интуитивными ощущениями. Одно из них проистекает от наблюдения, что современные научные определения того или иного слова могут расходиться с тем, что люди (включая самих ученых) ранее думали об их референтах. Китов раньше считали громадными рыбами (животное, которое проглотило Иону, в оригинальном тесте, написанном на иврите, называлось «большая рыба»), сегодня мы знаем, что они являются млекопитающими. Однако когда не знающие науки люди употребляют слово «кит», они, безусловно, имеют в виду тех же самых животных, что и мы, а не просто некую рыбу крупного размера, например китовую акулу. Подобным же образом древние алхимики и физики двадцатого столетия дали бы очень сильно отличающиеся друг от друга определения слова «золото», но все они, несомненно, говорили об одном и том же веществе. То же самое имеем и в случае с физиками, определившими **атом** как нечто, не поддающееся делению, и их коллегами, поделившими (расщепившими) атом.

Когда наше научное понимание естественного вида изменяется, слово, используемое для его называния, не меняет своего **значения**, по крайней мере в той степени, в которой «значение» имеет отношение к тому, на что указывает это слово. Первые референты всегда будут включены в список предков. Если бы этого не происходило, ученые различных эпох (или ученые с различными теориями, живущие в одну и ту же эпоху) никогда бы не смогли разговаривать об одном и том же предмете. Значение слова, используемого для обозначения естественного вида, как и значение имени собственного — это не описание

или определение, но **указатель** на нечто, существующее в мире. Слово получило значение, когда кто-то в незапамятные времена обозначил субстанцию или предмет этим словом (так же, как родитель нарекает своего ребенка), желая, чтобы оно (слово) относилось именно к этому классу сущностей. Затем люди передавали слово из поколения в поколение с той же целью, произнося фразы вроде «Это называется „золотом“». Разумеется, референтом термина, обозначающего естественный вид, не может быть конкретный золотой самородок или лужица воды, на которые указывал первый употребивший то или иное слово, в отличие от референта имени собственного, которым является конкретный человек, на которого указали его родители. В конце концов тот самородок и та лужа не хранятся где-то в тайнике. Референция термина, обозначающего естественный вид, включает в себя все то, что относится к тому же **виду**, что и названное вещество, — как правило, это что-то, содержащее общую скрытую характеристику или основное свойство, некую суть, которая потенциально может быть открыта с помощью науки. Тот, кто дает название, и те, кто его впоследствии используют, могут не знать, в чем заключается эта сущность, но они интуитивно чувствуют, что этот вид имеет ее, возможно, это характеристика, которая может быть выражена в виде какой-то сложной или статистической формулы. Патнэм, например, признается, что он не знает разницы между вязом и буком. Тем не менее эти слова не являются для него синонимами: хотя он не способен отличить данные деревья друг от друга, он знает, что существуют эксперты, которые могут это сделать, и этого факта для него вполне достаточно. Патнэм утверждает, что слова, как товары и услуги, являются продуктом разделения труда внутри общества: нам часто приходится доверяться экспертам в определении значения слов, потому что одному человеку невозможно постичь все самостоятельно.

Патнэм пытается доказать, что термины, обозначающие естественные виды, не имеют определений, с помощью одного весьма знаменитого сегодня мысленного эксперимента. Представьте себе далекую планету, которая является точной копией Земли, где люди выглядят и думают в точности так же, как и мы, живут в похожих на наши условиях и даже говорят на языке, который невозможно отличить от английского. Единственным отличием является то, что жидкость, которую местные жители называют «вода», у них не H_2O , но некий состав, выражаемый очень длинной и сложной химической формулой, которую можно сократить до XYZ. На Земле-близнеце XYZ — это бесцветная жидкость, которая поддерживает жизненные функции, утоляет жажду, тушит пожары, падает с неба, а также наполняет собой озера и океаны. Это означает, что знания на эту тему, имеющиеся в мозгу у землян и землян-близнецов, идентичны — земляне-близнецы родились с тем же типом мозга, что и мы, и их мозг по мере их взросления

сталкивался с теми же данными опыта. В случае, когда мы просим дать нам «стакан воды» (обозначаемой у нас H_2O), они тоже попросят «стакан воды» (в их случае — XYZ).

Итак, если значения находятся в голове, значение слова «вода» на Земле должно быть таким же, что и значение слова «вода» у землян-близнецов. И тем не менее это не по душе тем, кто хорошенько обдумал данную ситуацию, — они утверждают, что «вода» на двух разных планетах означает различные вещи. Разница стала бы очевидна, если бы космический корабль с нашими химиками когда-нибудь приземлился на Земле-близнеце и проанализировал субстанцию, которая льется там из кранов, — они бы сказали: «Земляне-близнецы пьют не воду, они пьют XYZ!» Но даже если этого никогда бы не случилось, мы бы все равно считали, что земляне и земляне-близнецы используют слова с различными значениями, разумеется, не осознавая этого. Базируясь на истории с Землей-близнецом и на примере про вяз и экспертов, Патнэм приходит к следующему заключению: «Как пирог не разрезай, а „значения“ находятся не в голове!»

«Ну, хорошо, — возможно, ответите вы, — может быть, в случае со словом „вода“ это и так. Но что же делать с естественными видами, которые относятся к более сложным концептуальным системам, как, например, виды животных? Ведь, конечно же, нельзя считать, что человек знает значение слова „кошка“, если он не в курсе, что кошка — это животное, не так ли?» Но представьте себе, что ученые сделали потрясающее открытие: кошки — на самом деле *далеки* (*daleks*) — мутировавшие потомки народа Калед с планеты Скарро — беспощадных людей, помешанных на завоевании Вселенной и всемирном господстве, которые путешествуют в механических оболочках, ловко замаскировавшись под животных^[9]. Скажем ли мы тогда, что таких существ, как кошка, не существует, поскольку в определении слова «кошка» фигурирует покрытое шерстью животное? Или же мы скажем, что, вопреки нашим прошлым представлениям по данному вопросу, кошки — не животные? А что бы было, если бы мы открыли небольших животных, покрытых шерстью, которые урчат и мяукают, на другой планете — могли ли мы говорить и о них все эти годы? Если вы ответили «нет, да, нет», то вы согласны с позицией Патнэма, который считает, что имена естественных видов, так же как и имена собственные, являются строгими указателями.

Теперь остаются слова, обозначающие артефакты. Вы можете как минимум сказать, что часть значения слова «карандаш» — это то, что он **является** артефактом, а именно инструментом для письма. Предположим, однако, что ученые сделали еще более потрясающее открытие: карандаши — это живые организмы. Если их разрезать и положить под микроскоп, то мы увидим, что у них есть нервы, и кровеносные сосуды, и маленькие органы, а, когда никто не видит, они размножа-

ются и у них появляются карандаши-младенцы, которые впоследствии становятся взрослыми карандашами. (Патнэм отмечает: «В самом деле, странно, что на многих из этих организмов можно увидеть надписи — например, „дублированный Грантс класса люкс, сделано в США. № 2“ (*BONDED Grants DELUXE made in U.S.A. No. 2*), однако возможно, что они являются разумными механизмами и это — их форма маскировки»^[10].) Если вы согласны, что это все равно карандаши (а не пришли к выводу, что «Ученые открыли, что карандашей на свете не существует!»), то, значит, вы признали, что даже сама идея того, что карандаш — это инструмент, сделанный руками человека, не может быть частью значения слова «карандаш».

Разумеется, **какая-то** часть значения слова должна быть в головах людей. Должно существовать не только что-то, что отличает человека, знающего слово, от того, кто его не знает, но, как мы видели ранее в данной главе, два имени могут указывать на одну и ту же вещь в мире («Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда»; «Иокаста» и «мать»), но означать разные вещи, в зависимости от того, какова глубина знания о них говорящего. В таком случае аргумент Патнэма — это не «нет», а «либо, либо»: либо значение того или иного слова не определяет его референции (то есть тех вещей, которые стоят за этим словом), либо значения находятся не в голове человека. Сегодня многие ученые подходят к этой проблеме несколько иначе, утверждая, что существуют **два** значения слова «значение». **Узкие** (*narrow*) значения находятся в сознании, в форме определений, концептуальных структур или стереотипов^[11]. («Вода» в английском и «вода» в языке-близнеце английского. имеют одно и то же узкое значение.) **Широкие** (*wide*) значения в дополнение к этому указывают на предметы в мире и зависят от множества факторов, находящихся вне рамок сознания говорящего: от каких людей последний узнал эти слова, от кого **они** их узнали и, если копнуть достаточно глубоко, на что именно указывали создатели слова, когда впервые произнесли его. («Вода» в английском и «вода» в языке-близнеце английского, таким образом, имеют разные широкие значения.)

Почему же нам обычно удается игнорировать разницу между узкими значениями в нашем сознании и широкими значениями, связанными с окружающим миром? Почему мы никогда не беспокоимся о возможности того, что идеи, стоящие за нашими словами, неверно характеризуют те вещи, которые мы называем этими словами? Причина в том, что вне сферы мысленных экспериментов и теоретиков заговора значения в нашем сознании и значения в мире, как правило, совпадают. Наши сознания столь гармонично настраиваются на одну волну с окружающим миром, что в большинстве случаев мы думаем именно о том, о чем мы **думаем**, что думаем. Разумеется, существует ряд исключений. Бывают случаи неправильной идентификации, как, например, в ситуации, когда Колумб называл жителей, населяющих Латинскую

Америку, «индейцами». Бывает, что меняются границы классов, как в случае с «дельфинами», которых в свое время зоологи переклассифицировали, отнеся к китам. И какая-то ужасная ошибка, должно быть, произошла в цепочке пересказов, когда жесткий десигнатор Святой Николай постепенно стал Санта-Клаусом. Но в большинстве случаев нам не нужно заботиться о таких несоответствиях. Частично это происходит потому, что на земле, как и на небе, вещей и явлений меньше, чем мечтается нашим философам. В реальном мире действуют некоторые закономерности, и наша способность к усвоению слов принимает их как данность. Можно быть практически уверенным, что во Вселенной не существует ничего, что имеет вид и вкус воды, но при этом состоит из XYZ, никаких дэлеков, которые выглядят и ведут себя как кошки, или живых организмов, выглядящих как карандаши; нет и трагических совпадений, из-за которых человек по незнанию убивал бы родного отца и женился на своей матери, а также никаких успешных операций по сокрытию истины, провернутых «Битлз». Благодаря ограничениям, обусловленным тем, как функционирует наш мир, нас с вами не так-то легко одурачить^[12].

Однако наша надежная связь с миром требует большего, чем просто сотрудничество с его стороны. Она также требует молчаливой, но глубокой уверенности, что слова привязаны к реальным предметам, а также веры, что другие говорящие нашего сообщества как в прошлом, так и сейчас убеждены в том же. Именно эта уверенность и руководит нашими суждениями в мысленных экспериментах, что наши слова привязаны к определенным людям и вещам даже тогда, когда мы узнаем, что эти люди или предметы очень сильно отличаются от наших с вами о них представлений. Эта же уверенность позволяет нам овладевать словами, референтов которых мы определить не способны, полагая, что существуют те, кто может это сделать. Подобные интуиции обычно поддерживают непрерывность цепочки усвоения слов с того времени, когда кто-то употребил их впервые, несмотря на большое расстояние во времени и пространстве, а также значительные изменения в нашем понимании. Возникает странное, но очень радостное чувство, что каждый раз, когда мы упоминаем Аристотеля, мы через очень длинную цепочку говорящих связаны с ним самим. А каждый раз, когда вы используете слово, относящееся к какой-то вещи, вы привязываете себя к концу извилистой нити времени-пространства, которая соединяет вас с первыми людьми, посмотревшими на ту самую звезду или существо, или вещество и решившими, что им надо дать имя.

То, что слова способны соединять нас именно с предметами окружающего мира, а не с тем, что мы думаем об этих вещах или явлениях, проявляется не только в том насилии, которое испытывает наша интуиция во всяких безумных мысленных экспериментах. Даже если не учитывать практические применения вроде того, как отличить слу-



чаи жульничества или махинаций по краже личных данных, существует множество крупнейших загадок-ребусов в науке и в юриспруденции, которые влияют на наше понимание того, к чему именно в нашем мире относятся те или иные наши слова и понятия.

Важнейшим примером из истории биологии является значение терминов для видов. До Дарвина люди думали (а креационисты и сегодня думают), что каждый вид может быть определен с помощью ряда необходимых свойств, характеризующих его сущность, — существовали точные определения «тунца», «гаички», «гремучей змеи» и т. д. Но тот, кто так думает, с трудом сможет воспринять идею эволюции, поскольку эволюция подразумевает появление промежуточных форм, которые в буквальном смысле «ни рыба ни мясо». Согласно этой «сущностной» точке зрения у динозавра — сущность динозавра, и он не может постепенно превратиться с птицу так же, как треугольник не может стать квадратом. Одним из концептуальных прорывов Дарвина было решение считать термин для вида неким вектором, указывающим на популяцию организмов (жестким десигнатором), а не типом, характеризующим неизменным набором свойств. Члены этой популяции могут отличаться по своим характеристикам в тот или иной промежуток времени, а распределение свойств может постепенно меняться у их потомков. Название вида, как жесткий указатель, просто указывает на некоторую ветвь огромного генеалогического дерева, которое включает в себя всех членов, когда-то получивших этот ярлык, их современников, размножившихся от них, а также какую-то часть их предков и потомков, которые в достаточной степени на них похожи^[13].

В более близкое к нам время природа имен фигурировала в научном споре, который возбудил многих неспециалистов не менее сильно, чем в свое время теория эволюции. Ситуация была вызвана открытием во многом сходным с водой XYZ, кошками-роботами и живыми карандашами, но случившимся не на какой-то воображаемой Земле-близнеце, а в нашей с вами солнечной системе. Речь идет о планете Плутон — или даже, можно сказать, о Плуtone, ранее известном в качестве планеты. Выяснилось, что Плутон не такой же, как Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран или Нептун. В противоположность мнению астрологов, впервые открывших его, Плутон — это жалкий шар изо льда, меньше, чем наша с вами Луна, и болтается он на неустойчивой орбите, на обочине солнечной системы, не особенно отличаясь от сотен других ледяных шаров, вращающихся там же. На симпозиуме, собранном в 2006 г. Международным астрономическим союзом, ученые жарко спорили о том, как его (Плутон) классифицировать, пока весь мир ждал, затаив дыхание. Если бы астрономы разжаловали Плутон из должности планеты, они бы сделали недействительными миллионы мобилей для спальни, классных настенных карт, а также возмутили бы целые поколения учащихся, которые учили

мнемоники наподобие *My very eager mother served us just nine pizzas* 'Моя очень заботливая мать подала нам всего девять пицц'¹⁾. Но любое единое правило, дарующее Плутону право на членство в клубе планет, должно было бы тогда включить в него и разношерстную коллекцию астероидов, лун и ледяных шаров. Ничто, кроме подтасовки в определении, не позволило бы слову «планета» включать в себя только девять истинных членов.

На самом деле это был не настоящий научный скандал, а, скорее, проигрыш спора Крипке—Патнэма о логике слов. Слово «планета» в умах большинства людей являлось жестким десигнатором, так же, как какое-нибудь имя собственное. Оно относилось к собранию из девяти различных небесных тел, которые в нашем языковом сообществе стали называть словом «планета» — в данном случае речь идет не о каком-то единственном моменте называния (поскольку слово «планета» стало использоваться задолго до того, как Плутон был открыт в 1930 г.), но о растянутом во времени акте называния, который был завершен до того момента, как мы с вами познакомились с этим словом. А раз это жесткий десигнатор, то люди чувствовали, что это название продолжает относиться к тому же, к чему всегда относилось в их коллективной памяти, даже если наши знания о нем (тот смысл, который мы пытаемся придать слову) изменилось. Дилемма астрономов была в том, что им был необходим технический термин, который бы выражал нечто научно когерентное (эквивалент формулы H_2O в химии или названия вида в биологии) и им совсем не хотелось расставаться с принятым словом «планета». В итоге они решили не подчиняться языковому сообществу, интуитивно отдавая предпочтение строгим десигнаторам, и лишили Плутон статуса планеты, к большому сожалению всех остальных.

Законодатели также обеспокоены тем, что мы имеем в виду, употребляя те или иные слова в определенном значении. Чтобы закон был справедливым, у него должны быть строгие рамки, которых люди могут придерживаться до совершения того или иного акта и на которые могут опираться присяжные в ходе суда после совершения этого акта. Это требует того, чтобы слова, из которых составлен тот или иной закон, относились к номинальным классам — действиям, которые не больше и не меньше, чем то, как их описывает закон. Но понятия, входящие в мысли и действия людей, часто бывают либо естественными видами, либо артефактами. В той степени, в какой слова для этих понятий являются строгими десигнаторами, попытка юристов заменить их на определения невозможна в принципе. Лео Катц приводит при-

¹⁾ Первые буквы слов английской фразы те же, что и у названий планет и идут в том же порядке, в каком расположены планеты. Аналог на русском языке: «Морской Волк Замучил Молодого Юнга, Совершенно Утомив Несчастливого Подростка». — *Прим. перев.*

мер в своей книге «Преступные деяния и злые умыслы» (*Bad Acts and Guilty Minds*)^[14]. Во времена эпохи колониального господства в Африке британская администрация приняла закон о подавлении колдовства (*Witchcraft Suppression Act*), который включал в себя подробное описание колдовства. К сожалению, составители закона не были сведущи в местных обычаях и поэтому дали весьма небрежное определение, утверждая, что некоторые ритуалы являлись колдовством, хотя на деле они были методами по **выявлению** ведьм и колдунов. А что же было делать судье с обвиняемым, который несомненно занимался колдовством, но не делал того, что было **названо** колдовством в законопроекте? Если значением слова является его определение, то обвиняемого должны были бы признать невиновным. Однако если термин «колдовство» является жестким десигнатором, он относится ко всем действиям, подобным тем, что имели в виду составители закона в то время, когда они разрабатывали закон, в котором употреблялся данный термин, даже если данное ими описание охарактеризовало его неверно. Многим американцам известна аналогичная проблема и в нашем собственном законодательстве. Десятилетиями юристы и суды не могли установить какого-либо постоянного определения для «непристойности», в связи с чем в 1964 г. верховный судья Поттер Стюарт предложил следующую альтернативу: I know it when I see it 'Когда я вижу ее, я всегда ее узнаю'.

Крипке делает еще один необычный вывод из семантики именованного, о чем идет речь во второй половине его работы «Именование и необходимость» (*Naming and Necessity*). По крайней мере со времен Канта философы выделяли два типа знания. Знание априори (знание до свершившегося факта) — это знание, которое можно получить, не вставая с кресла, — с помощью божественного откровения, интроспекции, врожденных идей или, что наиболее распространено, с помощью логической и математической дедукции. Знание апостериори (после свершившегося факта) — это знание, которое можно приобрести только выходя в реальный мир и наблюдая. Согласно одной истории, скорее всего, апокрифического происхождения, на одном из своих семинаров средневековые ученые пытались вывести из первичных принципов, сколько зубов во рту у лошади, и были шокированы, когда некий юный выскочка предложил им найти лошадь, заглянуть ей в рот и посчитать^[15].

«Знание априори» может означать целый ряд вещей для философов, но одна из них — это множество **необходимых** фактов — фактов, которые не могли бы быть никакими другими и потому верны в любых возможных мирах^[16]. В противоположность этому знание апостериори имеет дело с фактами **случайными**, зависящими от определенных условий. Они зависят от того, как отскакивали мячики, пока наш мир формировался, и могли получиться иными, если бы мы перемотали

кассету и начали смотреть фильм сначала. Ведь на самом деле мы не могли бы успешно применить набор неких аксиом и правил, чтобы вывести то, что зависело от превратностей кружения и оседания в первичной солнечной системе какой-то пыли, или от того, какие именно виды обитали на планете в тот момент, когда в нее так неудачно врезалась комета. И, наоборот, когда мы **можем** сделать те или иные выводы дедуктивным методом, мы **может** думать, что последнее **должно** быть именно таким, либо по причине логических импликаций слов, используемых в данной дедукции (как в выводе «Все холостяки не женаты»), либо в силу вечной и универсальной природы математической дедукции, которая заставляет вывод быть именно таким, каков он есть.

Кант пытался найти третью возможность: знание, которое будучи знанием априори было бы больше, чем просто следствием значений слов, — знание, которое действительно характеризовало бы действительный мир, каким мы его знаем. Он указывал на теоремы эвклидовой геометрии, которые, по его мнению, полностью описывали пространство, хотя эти теоремы были скорее выведены математически, нежели открыты с помощью мерной ленты и весов. Почти никто не принимает этого его аргумента сегодня, поскольку, помимо всего прочего, современная физика доказала, что пространство на самом деле устроено не по Эвклиду^[17].

Крипке разрабатывал еще одну возможность, которую большинство философов никогда даже не принимали в расчет: знание апостериори (открытое после факта), являющееся при этом необходимым. Открытие того, что «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» — это одна и та же вещь (планета Венера), было по природе своей апостериори. Но будучи открытым, это знание стало необходимой истиной — не существует возможного мира, в котором «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» относились бы к различным вещам (хотя, конечно же, их можно было бы **называть** по-другому — утверждение Крипке относится к тому, что **мы с вами** имеем в виду под этими терминами). И кстати, если ученые правы, что вода — это H_2O , то тогда вода **должна быть** H_2O , а если что-то не является H_2O , то это заведомо не вода, согласно тому, что мы имеем в виду под термином «вода». (Вспомним, как мы отрицали, что нечто другое на планете-близнеце Земли было водой.) Таким же образом, золото **должно** иметь атомное число 79 (если уж у него такое атомное число), тепло **обязано** быть движением молекул (если вообще считать, что это действительно движение молекул), и так далее.

Ничто из вышеперечисленного не является попыткой заняться химией прямо сидя в кресле, как в случае со средневековыми учеными и зубами лошади. Отдельные факты, которые мы в итоге считаем необходимыми, будут зависеть от того, какие открытия были сделаны



учеными. Скорее, аргумент Крипке — это попытка прояснить, к чему мы себя логически обязываем, когда употребляем имена собственные и имена естественных видов. Как ни странно, мы обязываем себя принимать определенный класс логически необходимых истин (хотя априори мы не можем знать, каковы они). Это — значительный пересмотр нашего понимания того, какие вообще существуют истины и как мы можем их познать, — и все это из наших интуитивных ощущений относительно употребления имен.

Несомненно, когда мы подходим настолько близко к понятию значения, от всего этого начинает веять парадоксом. Что именно я делаю, когда я **имею в виду** нечто, выраженное рядом слов, — когда я говорю об «Аристотеле» или об «Альфа-Центавре», о «воде» или о «четных числах», о «первом ребенке, рожденном в 2050 г.» или когда я задаю вопрос «Каким бы был мир, если бы Пол тогда умер?» Бодрит уже только одно осознание того, что лишь за счет активации каких-то нейронов или движения губами я вступаю в отношение с давно умершим философом или удаленным небесным телом. Но в этих случаях мы, по крайней мере, можем уловить некую связь между тем, кто имеет в виду, и тем, что имеется в виду, в виде цепочки узнавания слова, тянущейся в глубь веков к первобытному «именователю», который был непосредственно знаком с референтом имени. Однако голова начинает идти кругом, когда мы задумываемся над тем, что соединяет нас с некоторыми другими референтами используемых нами слов: с водой, где бы в космосе ее ни находили, с бесчисленным числом абстрактных вещей, с конкретным человеком, которого еще не существует (а не с миллиардом других людей, которых еще нет на свете), или же с параллельной Вселенной, которая нереальна, но подчиняется определенным законам. Эти объекты не посылают нам никакой энергии, у наших тел не существует органов, способных их почувствовать, но все же каким-то образом прозрачная семантическая ниточка соединяет нас с ними. Как сказал философ Колин , значение как будто бы «дает возможность мышлению преодолевать границы знания по знакомству: оно может перенести нас на любое расстояние в любом направлении, пересекая сколь угодно обширные части реальности, но при этом двигаясь по проложенным рельсам»^[18]. Возможно, не случайно люди многих культур считают, что у слов есть магическая сила (что мы с вами увидим в главе про сквернословие) и не случайно одно из Евангелий начинается так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». У Макгинна нашлось более прозаическое объяснение: проблема значения, как и многие загадки в философии, возможно, всегда будет окружена ореолом тайны, поскольку она сдвигает наш здравый смысл в сторону таких концептуальных областей, для которых он не приспособлен, так как развивался, чтобы думать совсем не о них^[19].



Цацки, блоги и блурбы: откуда берутся новые слова?

Если значение слова связывает нас с первоначальным моментом именованя, из чего именно состоит это эпохальное событие? Как люди вызывают в своем воображении те звуки, которыми они собираются назвать то или иное понятие? Какие безымянные понятия считаются достойными того, чтобы тот или иной звук стал их обозначать? И что приводит в действие цепочку передачи, которая позволяет слову распространяться по сообществу и наследоваться его потомками? Оставшаяся часть главы будет посвящена рассмотрению подобного рода загадок.

Происхождение слов выделяется среди других областей человеческой любознательности, поскольку она отличается: 1) потрясающим объемом знаний и 2) поразительным объемом белиберды. Когда дело касается происхождения слов, что-то буквально толкает людей на сочинительство. Вот лишь несколько примеров из электронного сообщения, циркулирующего в сети в качестве серьезного документа под названием «Для любителей викторин: история фраз».

Во времена Шекспира матрасы закреплялись на кровати с помощью веревок. Когда человек тянул за веревки, матрас натягивался, отчего кровать становилась более жесткой. Вот откуда произошло выражение *Good night, sleep tight* ‘Спокойной ночи, спи крепко’¹⁾.

Четыре тысячи лет назад в Вавилоне было принято, чтобы в течение месяца после свадьбы отец новобрачной поставлял своему зятю столько медовухи, сколько тот потенциально мог бы выпить. Медовуха — это медовое пиво, а поскольку они жили по лунному календарю, этот период назывался *honeymoon* ‘медовый месяц’.

В древней Англии человек не мог заняться сексом без согласия на то короля (за исключением членов королевской семьи). Когда семья хотела завести ребенка, она получала согласие короля, и тот выдавал им табличку, которую они вывешивали на дверь во время своих занятий любовью. На табличке было написано *F.U.C.K.* (*Fornication Under Consent of the King* ‘Совокупление с согласия короля’) — теперь вы знаете, как произошло это слово²⁾.

Тот же источник вдохновения и у одной из этимологий самого слова **ЭТИМОЛОГИЯ**: «от лат. *etus* — „съеденный“, *mal* — „плохой“ и *logy* — „изучение чего-либо“. Соответственно, это значит „изучение вещей, которые трудно проглотить“»^[20]. Каждая из подобных побасенок

¹⁾ *Tight* — букв. ‘тугой’. — Прим. перев.

²⁾ *Fuck* — груб. ‘совокупляться’. — Прим. перев.

может быть развеяна, стоит лишь разок залезть в словарь, который покажет, что ученые отследили настоящие истоки практически каждого английского слова, иногда вплоть до его создателя, но, как правило, до корня из языка-предка или из языка-соседа, на которых говорили сотни или даже тысячи лет назад. Как правило, настоящие этимологии куда менее красочны по сравнению с народными. Tight ‘крепко’ означает ‘устойчиво и безопасно’, как и в выражении sit tight ‘сиди спокойно’, honeymoon ‘медовый месяц’ восходит к метафорической сладости, которая убывает подобно луне, а fuck (груб. ‘совокупаться’) произошло от скандинавского слова со значением ‘бить’ или ‘пронзать’. (И, между прочим, testify ‘клятвенно заявлять’ не происходит от древнеримской традиции, по которой мужчины, делая какое-то заявление, клялись своими собственными яичками (testicles), а shit (груб. ‘дерьмо’) — это не сокращение от Ship High in Transit ‘При перевозке класть наверх’ — рекомендации держать сухой навоз повыше от дна грузового трюма, где он может намочнуть, выпустить метан и взорвать корабль.) Но, как мы с вами еще увидим, иногда происхождение слов бывает ярче любой фантазии лексического фальшивомонетчика.

Наиболее распространенным суровым испытанием для новых слов является процесс составления их из старых слов или их частей (морфем). В каждом языке есть целая батарея комбинаторных операций, которые выдают новые слова предсказуемым образом. Например, в английском языке добавление суффикса -able превращает глагол в прилагательное, говорящее о том, насколько возможно или легко выполнить данное действие (learnable ‘который можно выучить’, fixable ‘который можно починить’, downloadable ‘который можно скачать’). А склеивание вместе двух существительных создает сложное слово, обозначающее вариант второго существительного, ассоциирующийся с первым (ink cartridge ‘чернильный картридж’, lampshade ‘абажур’, букв. ‘ламповая тень’, tea strainer ‘ситечко для чая’). Обычно мы даже не замечаем подобных новых слов, они чеканятся в одно мгновение и понимаются нами практически без приложения каких-либо усилий (outdoorsiness ‘любовь к нахождению на природе’, uncorkable ‘которую невозможно откупорить’ (о бутылке), pinkness ‘розовость’).

Если бы словообразование лишь этим и ограничивалось, то язык был бы намного скучнее и куда законопослушнее, чем то, что мы обнаруживаем на самом деле. В таком случае Ричард Ледерер, например, никогда бы не смог спросить, совершают ли infants ‘младенцы’ infantry (по аналогии с adultery ‘адюльтер’), что едят humanitarians ‘гуманитарии’¹⁾,

¹⁾ Игра слов, основанная на созвучии с vegetarians ‘вегетарианцы’. — Прим. перев.

из чего делают baby oil ‘детское масло’¹⁾ или другие риторические вопросы, о которых мы с вами читали на с. 55. Английский (и другие языки) сходит с ума, потому что у слов есть привычка накапливать идиосинкразии, которые невозможно предсказать с помощью логики тех правил, по которым они образовывались. Transmission ‘передача’ и ‘коробка передач’ — это не только акт передачи, но и составная часть автомобиля, и если то или иное высказывание называют unprintable ‘непечатный’, то это не потому, что оно может испортить принтер, а потому, что оно непристойно. Arrowhead ‘стрелоголовый», кончик стрелы’ — это головная часть стрелы, тогда как redhead ‘красноголовый», рыжий’ — это человек с рыжими волосами, egghead ‘яйцеголовый’ — это интеллектual, blackhead ‘черноголовый», чирей’ — прыщ, pothead ‘голова-горшок» торчок’ — кто-то, кто курит много марихуаны, а Deadhead ‘мертвая голова’ — поклонник группы *The Grateful Dead*. Одной из причин подобного беспредела может быть то, что продукт того или иного правила может стать просто еще одной заученной формой и приобрести любое идиосинкразическое значение, которое могло бы быть полезным говорящим на данном языке (как в случае со словом transmission, ‘передача, коробка передач’. Другой причиной может быть то, что какие-то правила оставляют открытыми некоторые семантические детали своего продукта и те должны заполняться на уровне конкретных слов (как в случаях с композитами, составленными с помощью слова head ‘голова’).

Наряду с более или менее регулярными способами составления новых слов из старых, такими как присоединение суффиксов или образование композитов, у говорящих есть разнообразные возможности импровизации при переработке известных им слов. Эти способы можно заметить в любом списке новых слов, подобном «Словам года» (*Words of the Year*), ежегодно объявляемом составителями словарей. Список 2005 г. из словаря английского языка Макмиллана (*Macmillan English Dictionary*), по сути, является учебным памяткой по способам образования новых слов^[21]:

- Префиксация: desshopping — покупка чего-то с целью использовать этот предмет один раз и затем вернуть обратно, возместив затраченные средства.
- Суффиксация: Whovian — поклонник британского научно-фантастического телесериала *Dr. Who*.
- Изменение части речи, например превращение существительного или прилагательного в глагол: supersize — предоставить существенно больший вариант чего-либо.

¹⁾ Игра слов, основанная на синтаксическом параллелизме с olive oil ‘оливковое масло’. — Прим. перев.

- Составление композита: *gripesite* — веб-сайт, посвященный уведомлению покупателей о бракованных товарах и некачественных услугах.
- Заимствование из другого языка: *wiki* — веб-сайт, где пользователи могут коллективно дополнять и (или) редактировать текст (от гавайского слова, обозначающего «быстрый»).
- Акронимы: ICE (от *In Case of Emergency* — аварийный) — номер определенного человека, хранимый под таким сокращением в адресной книге мобильного телефона.
- Усечение: *fanfic* (от *Fan Fiction*) — новые истории о тех же героях и местах, что и в какой-либо книге, фильме или ТВ-шоу, написанные поклонниками, а не автором оригинала.
- Портманто (слово-гибрид, соединение начала одного слова с концом другого): *spim* (*spam* (спам) + I. M.) — ненужная реклама, посылаемая с помощью сервиса *Instant-Messenger*.
- Обратное словообразование (неправильное разложение слова на части и повторное использование одной из образовавшихся частей): *preheritance* — финансовая поддержка, которую родители еще при жизни предоставляют своим детям, рассматриваемая как альтернатива оставлению наследства.
- Метафора: *zombie* — персональный компьютер, зараженный вирусом, который заставляет его рассылать спам без ведома его пользователя.
- Метонимия: *7/7* — взрывы, производимые террористами (из-за ряда терактов в лондонском метро, произошедших 7 июля 2005 г.).

Из сорока слов в этом списке лишь у одного имеется совершенно новый корень: *doosed* ‘уволненный за размещение информации в интернет-блоге’. Согласно истории, которая превосходит даже самые изобретательные примеры народной этимологии, это слово было создано дизайнером, которая потеряла свою работу после размещения сообщения в своем блоге (www.doose.com). Блог был назван ею в честь часто делаемой ею опечатки — *doose* вместо *doode*. А неправильное написание — *doode* вместо *dude* — было вызвано ее стремлением передать манеру произношения серферов, удлинявших гласный звук в этом слове.

Эта нелепая история поднимает вопрос о том, каким образом люди придумывают новые «корни» слов — наборы звуков, которые в отличие от большинства новых слов представляют собой не результат переработки существующих слов и морфем, а оригинальную последовательность гласных и согласных. Не стоит и говорить, что большинство из них не являются тезками блогов, названных в честь фонетической передачи модного на тот момент произношения.

Наиболее очевидным источником новых корней является онамото́пия — случай, когда слово напоминает звук, издаваемый его референтом, как хрю-хрю, дзинь, апчхи, ба-бах, а также woofe*r* ‘репродуктор низкого тона’ (от woof ‘гавкать’) и tweete*r* ‘небольшой репродуктор для высоких частот’ (от tweet ‘чирикать’). Однако онамото́пия весьма ограничена в своих возможностях. Она применима только к «шумным» предметам и даже в этом случае сходство зависит от субъективного восприятия. Звукоподражательными словами управляет скорее фонологическая модель языка, нежели акустические характеристики выходного сигнала, производимого «шумящим» существом или предметом, что мы и наблюдаем, когда сравниваем воспроизведения звуков животных в разных языках:



Robotman © United Feature Syndicate, Inc.

Греция: rav-rav.

Индонезия: gong-gong.

Португалия: ham-ham.

Румыния: ao-ao.

Подпись снизу: я ничего не выдумываю.

— Мы просто хотели показать вам, что все, даже собачий лай, переводится, когда комиксы печатают за границей.

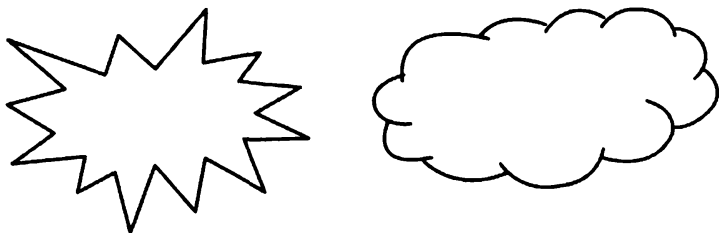
— Тогда почему же и немецкие овчарки, и мексиканские чихуахуа говорят «гав-гав» наравне со всеми остальными собаками?

— Потому что они иммигранты и им пришлось учить английский язык.

— Почему же я тогда не слышу акцента?

Несколько удобнее чистой онамотопеи — звуковой символизм, где произношение слова просто напоминает людям о том или ином аспекте его референта. Длинные слова могут использоваться для больших или неуклюжих вещей, краткие, отрывистые, как стаккато, слова — для острых или быстрых вещей, слова, произносимые глубоко во рту или горле, — для чего-то произошедшего давно или далеко (ср. this ‘этом’ и that ‘том’, near ‘близко’ и far ‘далеко’, here ‘здесь’ и there ‘там’) [22]. Подобные типы построения — своего рода акустическую или артикуляторную метафору — можно найти в большинстве языков мира,

и эксперименты показали, что люди чувствительны к данным моделям даже в придуманных словах. Например, какую из этих картинок можно назвать *malooma*, а какую — *takata*?



Большинство людей соглашались с тем, что на картинке слева изображена *takata*, поскольку остrokонечные детали этого рисунка напоминают им об отрывистых звуках, а *malooma* нарисована справа, так как плавность контура напоминает им о «плавных» же звуках. И если я скажу вам, что китайские слова «тяжелый» и «легкий» произносятся как *qīng* (с высоким тоном) и *zhòng* (с нисходящим тоном), то вы будете правы, если предположите, как и большинство говорящих на английском языке, что *qīng* означает «легкий», а *zhòng* — «тяжелый», а не наоборот^[23]. Звуковой символизм «открывали» десятки раз и каждый раз первооткрыватель утверждал, что это опровергает Фердинанда де Соссюра, утверждавшего, что соотношения звука и значения произвольно. На самом деле не опровергает, поскольку вам никогда не удастся даже приблизительно предсказать звучание слова по его значению или наоборот, но звуковой символизм является одним из вдохновителей в процессе создания или распространения нового слова.

Ономатопея и звуковой символизм — семена более широко распространенного в языке феномена фонестезии, создающего семейства слов, объединенных одним небольшим звуковым фрагментом и одним малюсеньким осколком значения. Например, многие слова со звукосочетанием *sn-*, имеют то или иное отношение к носу, предположительно потому, что вы практически чувствуете, как морщится ваш нос при его произнесении. В эту группу включены слова, обозначающие сам нос (например, *snout* «рыло»), слова, обозначающие инструменты, похожие на нос (такие как *snorkel* «трубка для плавания с маской под водой» и *spoort* «нос самолета, конусовидная деталь для направления света в определенную точку»), слова, обозначающие действия и предметы, ассоциирующиеся с носом (*sneeze* «чихать», *sniff* «нюхать», *sniffle* «хлюпать носом», *snivel* «высморгаться», *snore* «храпеть», *snort* «фыркать», *snot* «сопли», *snuff* «нюхательный табак», *Snuffleupagus* — сказочное животное с хоботом, как у слона, персонаж детской телепередачи «Улица Сезам»), а также слова для обозначения отношения к кому-либо, на кого мы смотрим свы-

сока, сверху вниз, как бы вдоль носа, looking down one's nose at smb. (snarky 'язвительный', sneer 'презрительный', snicker 'хихикать', snide 'ехидный', snippy 'резкий', snob 'снобистский', spook 'излишне любопытный', spooty 'высокомерный', spotty 'раздражительный' и snub 'сделать резкое замечание, осадить').

Менее очевидна связь звукосочетания sp- со словами, означающими быстрые, скрытые или хватательные действия, такие как spack 'перекусывать', snag амер. 'поймать', snar амер. разг. 'ухватиться', snare 'поймать (в ловушку)', snatch 'хватать', sneak 'делать что-то незаметно, украдкой', snip 'отрезать', snitch 'стащить', snog 'целоваться и обниматься' и spoor 'шпионить' (хотя не означает ли последнее слово как раз «совать нос не в свои дела?»). Возможно, кто-то «унюхает» намек на быстроту и мягкость при произнесении звуков sp-, хотя это, как кажется, будет уже постфактум и может быть отнесено к почти любому началу английских слов. Вероятнее то, что фонестезия растет и распространяется из некоего ядра похожих друг на друга слов, которые по каким-то причинам объединились. Некоторые из них могут быть продуктами звукового символизма. Другие могут быть останками морфологического правила, которое действовало в более ранний период развития данного языка или в языке, из которого эти слова были заимствованы. А некоторые могут возникать из чисто случайного столкновения в фонологическом пространстве, поскольку звуковая система того или иного языка допускает лишь конечный набор комбинаций гласных и согласных. Когда же эти слова начинают соприкасаться друг с другом, они могут привлекать и порождать новые члены того же объединения, благодаря ассоциативности человеческой памяти, согласно которой похожие вещи притягиваются друг к другу. (В «Словах и правилах» я показал, как эта черта памяти привела к распространению похожих друг на друга неправильных глаголов, таких как sing-sang 'петь — пел', ring-rang 'звонить — звонил', drink-drank 'пить — пил', wind-wound 'заводить — завел', find-found 'найти — нашел', grind-ground 'молоть — молот'. Вот еще несколько подобных объединений, рассудите сами, насколько символичны их звуко сочетания:

cl- для целого, состоящего из тесно связанных элементов, или для двух соприкасающихся поверхностей: clad 'плакировать', clam 'приклеивать', clan 'клан', clap 'хлопок, хлопать', clasp 'скреплять, пряжка', clave 'clave', cleat 'клемма', cleave 'приклеивать' (устар.), cleft 'расселина', clench 'скреплять, скрепление', clinch 'зажим', clip 'скрепка', clique 'клика', cloak 'покров', clod 'комок', clog 'засорять', close 'закрывать', clot 'сгусток', cloven 'раздвоенный', club 'клуб', clump 'ком, глыба', cluster 'кисть, гроздь, группа чего-либо', clutch 'сжатие, захват';

gl- для излучения света: glare 'сияние, яркий свет', glass 'стекло, зеркало', glaze 'глазурь', gleam 'проблеск, вспышка', glimmer 'мерцание', glimpse 'проблеск, вспышка', glint 'вспышка, сверкание', glisten 'искриться, сиять', glitter 'блестки, сверкание', gloaming 'сумерки' (поэт.), gloss 'блеск', glow 'сияние';



Ј- для внезапного движения: jab 'толчок', jag 'прокол', jagged 'зубчатый', jam 'впихивать, вталкивать', jangle 'резкий звук', jarring 'резкий, неприятный' (о звуке), jerk 'резкий толчок', jive 'джайв', jig 'джига', jigger 'грохот', jimmy 'взлом', jingle 'звон', jitter 'дрожание', jockey 'маневрировать', jog 'встрахивание', jostle 'удар, толчок', jot 'бегло набрасывать' (текст). jounce 'ударяться, трястись', judder 'вибрация, колебание', juggle 'жонглировать', jumble 'встряска', jump 'прыжок', jut 'выступ';

-le для совокупности маленьких объектов, дырочек или меток: bubble 'пузырь', crinkle 'изгиб, складка', crumble 'крошка', dabble 'обрызгивать, орошать', dapple 'покрываться пятнами', freckle 'веснушка', mottle 'крапинка', pebble 'камушек', pimple 'прыщик', riddle 'сито', ripple 'рябь', rubble 'кладка', ruffle 'рюшка', spangle 'блестка', speckle 'крапинка', sprinkle 'капелька', stubble 'щетина', wrinkle 'морщина'.

Некая комбинация ономапии, звукового символизма и фонестезии также привела к появлению списка слов для пустой речи, который я привел в конце первой главы.

Фонестезия жива в умах детей, которые прибегают к ней время от времени в своих лексических полетах фантазии. Писатель Ллойд Браун поделился со мной следующими примерами, записанными за его дочерью Линдой:

The water was drindling down the drain.
Вода стекала в раковину.

A mouse scuttered along the baseboard.
Мышь пролепетнула по плитусу¹⁾.

I was scrumbling with the boys.
Я разборолась с мальчишками²⁾.

I'm going to sloop up the gravy [with bread].
Я буду сгребастать соус [куском хлеба].

Why is Grandma's face crimped?
Почему у бабушки лицо в складочку?³⁾

Why does the lightbulb ringle when you shake it?
Почему когда лампочку трясешь, то она звенякает?⁴⁾

Также фонестезия стала причиной милой загадки сравнительного языкознания: почему языки очень редко имеют родственные корни для своих слов, обозначающих бабочку? ^[24]

В Западной Европе, например, мы обнаруживаем Schmetterling — в немецком, vlinder — в нидерландском, somerfugl — в датском, ра-

1) Ср. scuttle 'стремительное бегство', scatter 'разбегаться'. — Прим. перев.

2) Ср. scrum 'драка, потасовка', rumble 'грохот; ссора, скандал, драка'. — Прим. перев.

3) Ср. crimped 'гофрированный', wrinkle 'морщина' — Прим. перев.

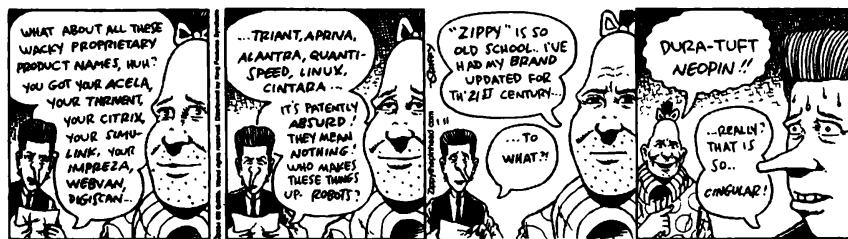
4) Ср. ring 'звонить', jingle 'звенеть' — Прим. перев.

pillon — во французском, mariposa — в испанском, farfalla — в итальянском и borboleta — в португальском. Загадка в том, что в случае практически любого другого слова эти языки прямо-таки без разбора делятся друг с другом корнями. Слова для кошки, например, это Katze, kat, kat, chat, gato, gatto, и gato. Ключ к разгадке можно найти в том, что, хотя слово, обозначающее бабочку, в каждом языке свое, в нем нередко присутствует редуцированный звук, чаще всего *b*, *p*, *l* или *f*, как, например, в иврите — *par-par*, в итальянском — *farfalla* или папуа — *fefe-fefe*. Кажется, будто эти слова призваны изображать взмахи крыльев! Не все эти названия являются фонестетическими; мы также видим и аллюзии по отношению к свойствам бабочек, реальным или мифическим. В английском это летающее насекомое цвета масла, или то, которая питается маслом, или чей помет похож на масло (народная этимология, выводящая слово *butterfly* из случайной перестановки звуков в *flutter-by* 'пролетать мимо' привлекательна, но неверна). Откуда же подобное нежелание поделиться метафорами и аллюзиями? Никто не знает, но мне нравятся предположения лингвиста Хаджа Росса:

Концепт/образ бабочки обладает уникальной мощью в групповом сознании мировых культур, с его мало обещающим началом в виде гусеницы, за которым следует ослепительный финиш визуальной симметрии, вкупе с незабываемой зигзагообразной траекторией, по которой бабочка порхает сквозь наше сознание. Бабочки — это такие идеальные символы трансформации, что практически ни одна культура не согласна принять поэтику другой для обозначения этого мифического создания. Каждый язык находит свои словесные красоты, чтобы воздать должное поразительной уникальности этого существа^[25].

Гораздо менее лирическим образом фонестезия, очевидно, приложила руку к появлению в последние десятилетия неизвестно откуда множества английских корней, таких как *bling*, разг. 'крупные блестящие украшения', *bonkers*, разг. 'сумасшедший', *bungee*, разг. 'тарзанка', *cruffy*, разг. 'плохо состряпанный' (о технике, дизайне чего-либо), *dongle*, груб. 'половой член', *dweeb*, разг. 'не популярный в компании человек, «ботаник», в противоположность «крутому»'), *frob*, разг. 'тыркать, тыкать пальцем с целью позлить', *glitzy*, разг. 'претендующий на роскошь и гламурность', *glom*, разг. 'пристать к кому-то (как банный лист)', *gonzo* разг. 'не совсем в себе, слегка того, ненормальный', *grunge*, разг. 'грязь, (стиль) гранж', *gunk*, разг. 'что-то противное и неприятное, гадость', *humongous*, разг. 'огромный, необъятный', *kluge*, разг. комп. 'временное решение проблемы', *mosh*, разг. 'давка' (на рок-концерте), *perd*, разг. 'ботаник, заучка', *skuzzy*, разг. 'шлюха', *skank*, разг. 'грязь, неухоженность', *snarf*, разг. студ. 'поглощать еду с большой скоростью' и *wonk*, разг. 'знаток в какой-то области'.

Смутные фонестетические ассоциации в применении к конгломератам звуков большей протяженности также являются источником явной тенденции в именовании торговых марок (брендов):



Zippy—Bill Griffith. King Features Syndicate

— И что вы думаете обо всех этих сумасшедших названиях торговых марок, а? Тут вам и *Acela*, и *Thrivent*, и *Citrix*, и *Simulink*, *Impreza*, *Webvan*, *Digiscan*...

— *Triant*, *Apriva*, *Alantra*, *Quantispeed*, *Linux*, *Cintara*... Это полный абсурд! Они ничего не значат! Кто это придумывает? Роботы?

— *Zippy* — такое устаревшее название. Я обновил имя своей марки для 21-го века.

— И как?

— *Дура-Тафт Неопин*!!

— В самом деле? Это — клэзз!⁵⁾

Раньше компании называли свои бренды в честь их основателей (*Ford*, *Edison*, *Westinghouse*) или выбирали наименование, которое передавало их масштабность (*General Motors*, *United Airlines*, *U.S. Steel*), или использовали слово-портманто, определяющее новую технологию (*Microsoft*, *Instamatic*, *Polavision*), или пользовались какой-нибудь метафорой или метонимом с коннотацией качества, которое выпускающая фирма желала бы приписать продукту (*Impala*, *Newport*, *Princess*, *Trailblazer*, *Rebel*). Однако сегодня они стремятся передать некое *je ne sais quoi*¹⁾, используя псевдогреческие и «латинизированные» неологизмы, построенные из фрагментов слов, которые должны коннотировать определенные качества, не позволяя людям понять, какие именно. Мы можем посочувствовать удивлению Гриффи, *alter ego* автора вышеприведенного комикса. *Acura* — *accurate* ‘точный’? *acute* ‘острый’? При чем здесь автомобиль? *Verizon* — *veritable horizon* ‘истинный горизонт’? Означает ли это, что хорошее телефонное обслуживание отойдет на задний план? *Viagra* — *virility* ‘мужественность’? *vigor* ‘сила’? *viable* ‘жизнеспособный’? Должны ли мы думать, что после принятия

⁵⁾ В оригинале — *It is so... singular!* Игра слов — *singular* ‘уникальный’ и *Cingular* (марка компании мобильной связи). — Прим. перев.

¹⁾ Не знаю что (фр.). — Прим. перев.

этого лекарства семяизвержение мужчины будет подобно Ниагарскому водопаду? Наиболее вопиющим примером является переименование основной компании *Philip-Morris* в *Altria*, предположительно, чтобы сменить имидж с «плохих людей, торгующих вызывающими привыкание канцерогенами» на «место или государство, которое отличается альтруизмом и высокими ценностями».

Матери неудавшихся изобретений*: тайны неназванного и того, что нельзя назвать

Теперь, когда у нас появились некоторые соображения по поводу того, откуда появляются звуки для новых слов, мы оказываемся перед следующей загадкой: какие значения считаются достойными озвучивания? Откуда возникает потребность дать чему-то название?

Наиболее очевидная причина отражена в известном афоризме «Необходимость — мать изобретательности»¹⁾. Новые слова, как мы можем догадаться, должны появляться, чтобы заполнить некую лексическую лауну: понятие, которое все хотели бы как-то выразить, но для которого *le mot juste*²⁾ пока не найдено. Стоит только услышать профессиональный жаргон любой специальности, будь то фотография, скейтбординг, хип-хоп или любая академическая область, чтобы оценить, как часто лексические поставщики приходят на выручку, чтобы удовлетворить спрос. Даже обычные пользователи персональных компьютеров владеют целым лексиконом, который был не известен людям предшествующего им поколения, — модем, перезапускать, оперативная память, загружать, браузер и так далее. И в век, который заявляет о своем равном отношении к мужчинам и женщинам, что бы мы делали без аббревиатуры Ms.³⁾

Но вспомним и другое изречение: «Если бы пожелания были лошадьми, нищие ездили бы в каретах». Многие лауны в языке просто напросто отказываются заполняться. Две из них мы встретили в первой главе: название для первой декады двадцать первого века и термин для официально не расписавшихся гетеросексуальных партнеров. Существует множество других таких лаун. Гендерно-нейтральное местоимение третьего лица на смену he и she — в течение столетий

* В оригинале *Mothers without Inventions*; автор использует игру слов, отсылая, видимо, к названию американской экспериментальной рок-группы *Mothers of Invention* — Прим. перев.

1) Автор афоризма — английский писатель-сатирик Дж. Свифт. — Прим. перев.

2) Верное, правильное слово (фр.). — Прим. перев.

3) Принятое «политкорректное» сокращение, из которого не ясно семейное положение женщины, вместо традиционного Mrs. 'миссис' или Miss 'мисс'. — Прим. перев.



возникло около шестидесяти предложений (na, shehe, thon, herm), но ни одно из них не закрепилось^[26]. Название для взрослых детей кого-либо. Собирательное имя для племянников и племянниц. Для родителей супруга (супруги) твоего ребенка (как в идише *machetunim*)¹⁾. Для факта, который ты можешь учить сто раз, но так и не запомнить. Или для того неотесанного товарища, который сидит рядом с тобой в поезде или в зале ожидания в аэропорту и всю дорогу громко разговаривает по мобильному телефону. Для тех отвратительных комков коричневого снега, которые собираются на колесах вашей машины и потом падают на пол вашего гаража. Для утренней бессонницы, вызванной настолько полным мочевым пузырем, что вы уже не можете снова заснуть, но и сил встать у вас пока тоже нет^[27].

В английском столько пробелов, что подросло целое юмористическое направление, занимающееся их заполнением. Комик Рич Холл подарил нам слово *sniglet* (само являющееся примером того, что оно обозначает) для слова, которое должно существовать, но не существует^[28]. Вот несколько примеров:

elbonics (сущ.) — ‘локтевание’. Действия двух людей, маневрирующих с целью захватить один и тот же подлокотник кресла к кинотеатру.

reprier (сущ.) — ‘перечник’. Официант в дорогом ресторане, единственная обязанность которого, как кажется, это ходить по залу и спрашивать посетителей, не хотят ли они добавить в свое блюдо молотого перца.

*furbling*²⁾ (гл.) — необходимость проходить по лабиринту, выгороженному канатами в аэропорту или банке, даже когда вы единственный человек, стоящий в очереди.

phonesia (сущ.) — ‘фонезия’. Внезапная напасть, когда вы, набрав чей-то номер телефона, забываете, кому вы позвонили как раз в тот момент, когда на том конце провода снимают трубку.

Но *сниглеты* (*sniglets*) не были первыми в своем роде, до них были лиффы (*liffs*). В 1983 г. писатель Дуглас Адамс (наиболее известный как автор романа *Hitchhiker's Guide to the Galaxy* («Путеводитель по Млечному пути для путешествующего автостопом»)) и телевизионный продюсер Джон Ллойд опубликовали *The Meaning of Liff* («Значение Лиффа»), базируясь на следующем наблюдении: «В жизни (как и в Лиффе) существуют сотни обычных событий, чувств, ситуаций и даже объектов, которые мы все знаем и опознаем, но для которых нет отдельных слов. С другой стороны, мир засорен тысячами свободных слов, которые проводят свое время впустую, бездельничая на дорожных знаках, указывающих на различные места». Адамс и Ллойд решили назвать

¹⁾ Ср. также ‘сваты’ в русском языке. — Прим. перев.

²⁾ Почему для выражения данного значения было выбрано слово с такой фонетической структурой, остается неясным. — Прим. перев.



различные случаи, у которых нет своего названия, именами мест, в которые никому никогда не нужно ехать^[29]. Например:

consoner (сущ.) — человек, который, разговаривая с вами, озирается, нет ли поблизости кого-то поинтереснее.

lamlash (сущ.) — папка, лежащая на трюмо в гостиницах, полная поразительно скучной информации.

shoebuygness (сущ.) — слегка неуютное чувство, возникающее, когда вы садитесь в кресло, еще сохраняющее тепло чьего-то зада.

hextable (сущ.) — пластинка в чьей-то коллекции, найдя которую вы моментально понимаете, что не сможете (романтически) встречаться с этим человеком.

Знаток языка Барбара Уолрафф вывернула эту формулу наизнанку в книге *Word Fugitives* («Слова-беглецы») — истории занимательного словообразования и в собрании ее колонок, выходявших под тем же названием в журнале *Atlantic Monthly*, в которых один читатель присылал какой-то лексический пробел, а другие пытались его восполнить^[30]:

Осознание того, что говоря что-то своим детям, вы повторяете то, что говорили вам ваши собственные родители: *deja vieux* ‘дежа вье’¹⁾, *matamorphosis* ‘маморморфорза’, *mnemonic* ‘мнемомика’, *paterfamilias* ‘патеффамилиас’, *vox pop* ‘вокс поп’, *negativism* ‘ворчизм’, *parentiloquism* ‘родителелоквизм’.

Опасная ситуация, когда вам нужно представить двух людей друг другу, а вы не можете вспомнить одно из имен: *whomnesia* ‘ктомнезия’, *persona non data* ‘персона нон дата’, *nomenclutchure* ‘имяистязание’, *not-working* ‘несрабатывание’, *mumbleduction* ‘представляние’, *introducing* ‘полупредставление’.

Находчивый ответ в споре, который осеняет вас лишь три часа спустя: *hindser* ‘задвет’, *stairwit* ‘поздновод’, *retortort* ‘назадражение’, *afterism* ‘послеизм’.

Кратковременное замешательство, испытываемое всеми, когда поблизости звонит мобильный телефон, но никто не уверен, чей он: *conphoniesion* ‘зателефонельство’, *phonundrum* ‘телефоноломка’, *ringchronicity* ‘синхро-телефонность’, *ringxiety* ‘звонобеспокойство’, *fauxcellarm* ‘ложносотопревога’, *pandephonium* ‘пандефонизм’.

Колонка, приглашающая читателей поучаствовать в создании раздела «Стиль» газеты *The Washington Post*, периодически просит читателей заполнить лексический пробел, заменив лишь одну букву уже существующего слова:

*sarcasm*²⁾ (сущ.) — пропасть, лежащая между человеком с саркастическим чувством юмора и человеком, который его не понимает.

¹⁾ В устойчивом сочетании *deja vue* ‘дежа вю’ второй компонент заменен паронимом *vieux* ‘старый’, что дает смысл ‘уже старый’. — *Прим. перев.*

²⁾ В слово *sarcasm* ‘сарказм’ добавлена буква *h*, в результате чего частью нового слова становится слово *chasm* ‘пропасть’. — *Прим. перев.*

hipatitis (сущ.) — неизлечимая (хроническая) крутость, крутизна.

Dopeler effect (сущ.) — тенденция считать глупые идеи более умными по причине того, что они быстро пришли в голову.

Beelzebug (сущ.) — дьявол в виде комара, который проникает к вам в комнату в 3 часа ночи и которого невозможно выгнать.

А еще существует часто рассылаемый по электронной почте список «новых слов, которые следует добавить в ваш еврейский лексикон».

identify¹⁾ (гл.) — ‘идентифицировать’. Способность определять реальное этническое происхождение знаменитостей, даже если их фамилии Сент-Джон, Кертис, Дейвис или Тейлор.

mishpochamarks²⁾ (сущ.) — ‘следы от мишпохи’. Разнообразные следы губной помады и других предметов макияжа, которые появляются у вас на лице и воротнике после того, как вы перецелуете всех тетушек и кузин на чьем-то приеме.

santa-schmanta (сущ.) — ‘санта-шманта’. Объяснение, которое получают еврейские дети на вопрос о том, почему они празднуют Хануку, когда все соседи празднуют Рождество.

meinstein (сущ.) — ‘мэйнштейн’. Мой сын — гений.

Несмотря на кажущуюся потребность, большинство слов, созданных «из спортивного интереса», редко становятся постоянными членами языка. То же самое можно сказать и о большинстве «Слов года», таких как *deshopping* и *preheritance*. В первой главе я упоминал о том, что «Американское сообщество диалектологов» (*American Dialect Society*) ежегодно определяет, какие из новых слов являются наиболее значительными, наиболее полезными и имеют больше всего шансов на успех^[31]. Дальнейшее изучение тех слов, что были отобраны ими в 1990-е гг., показывает, что эксперты сообщества примерно так же точны, как составители гороскопов в желтой прессе. Некоторые из слов, такие как *to newt* и *to gingrich* ‘лицемерить, ханжествовать’³⁾, были политическими уколами, которые умерли вместе с карьерами тех, на кого они нацелены. Другие зависели от популярности той или иной темы, которая угасала как только вызвавшее то или иное слово событие стиралось из памяти, как прибавление *-azzi* (*агрессивный преследователь*’, слово 1997 г., когда принцесса Диана погибла, пытаясь скрыться от paparazzi) и *drive-by* ‘проездом’ (ругательное, относится к 1996 г., когда

¹⁾ Благодаря добавлению «у» к первой букве глагола *identify*, что делает начало нового слова совпадающим с началом слова *yiddish* ‘идиш, еврейский’. — Прим. перев.

²⁾ Мишпоха — семья (идиш). — Прим. перев.

³⁾ От «Ньют Гингрич». Ньютон Грингрич — политический деятель времен правления Билла Клинтона, обвинивший последнего в аморальности при том, что сам был позднее уличен в тех же грехах. — Прим. перев.

Билл Клинтон боролся с так называемыми drive-by deliveries 'роды проездом' в роддомах, обыгрывание выражения drive-by shootings 'обстрел противника проездом, не выходя из машины' (из афро-американского гетто-жаргона)). Некоторые были ставками на неверное имя для того или иного новшества: notebook PC 'ноутбук ПК' (в разговорном языке их по-прежнему называют laptops¹⁾), s-mail 'почта улитки', то есть обычная почта (затмилось своим источником, словосочетанием snail mail 'почта улитки'), W3 (это World Wide Web, *всемирная паутина*), information superhighway 'информационное супершоссе' (слишком уж в стиле Эла Гора), Infobahn 'инфобан' (фу!).

Судьбы новых слов покрыты мраком. Заполнение лексического пробела еще не гарантирует успеха, чего не дают и еще два свойства, которые, как можно подумать, ему способствовали бы, — краткость и понятность. WWW произносить дольше, чем то, сокращением чего оно является (The World Wide Web 'Всемирная паутина'), но несмотря на количество раз, которое нам приходится произносить эти девять слогов, они упорно сопротивляются более кратким заменам типа — triple-dub, wuh-wuh-wuh и sextuple-u^[32].

Что касается прозрачности, глаголы to boot up 'загружать' и re-boot 'перезагружать' продолжают удерживать свои позиции против кристально понятных start up 'запускать' и restart 'перезапускать' (термины, используемые в меню операционных систем), несмотря на то что большинство людей понятия не имеют, к чему восходит boot. Слово это не имеет никакого отношения к быстрому и удачному пинку по вашему компьютеру, но относится к тому, как запускали компьютеры в ту мезозойскую эру, когда я писал свою докторскую диссертацию. Мини-компьютеры того времени были совершенно пустыми приборами, неспособными в своей операционной системе даже считывать с кассеты или диска. Им нужно было скармливать программы и данные по ложечке (по одному байту) с помощью дерганья за разные рычажки на передней панели, каждый из которых соответствовал одному биту в байте, которые и заменяли единички и нолики, составлявшие программу или кусочек информационных данных. Поскольку это было слишком занудным занятием даже для аспиранта, вводили очень короткую программку, которая давала компьютеру ровно столько необходимой информации, чтобы он мог прочитать несколько байтов на специальной бумажной кассете с дырочками. Эти байты составляли программу подлиннее — такую, что говорила компьютеру, каким образом загрузить оставшуюся часть кассеты, в которой и находилась операционная система компьютера. Маленькая программка в начале кассеты называлась bootstrap loader 'загрузчик операционной системы', буквально 'шнурок-загрузчик', поскольку ее магическая способность

¹⁾ В Америке. — Прим. перев.

самозагружаться напомнила кому-то выражение *lift yourself up by your bootstraps* «*вытянуть себя (из кризиса) за шнурки собственных ботинок*». Весь этот процесс назывался *booting up* «*загрузка*» компьютера. Возможно, что все это звучит так же, как и «совокупление с разрешения короля» (см. выше), но я сам был там и могу поклясться, что это слово возникло именно так.

Алан Меткалф, бывший президент «Американского сообщества диалектологов» и автор книги *Predicting New Words* («Предсказывая новые слова»), постарался определить, почему некоторые слова успешно закрепляются, а другие — нет. Он суммирует свои догадки в виде сокращения FUDGE: Frequency «*частота*», Unobtrusiveness «*ненавязчивость*», Diversity of users and situations «*широкий спектр пользователей и ситуаций*», Generation of other forms and meanings «*способность к генерации новых форм и значений*», Endurance of the concept «*устойчивость понятий*». Начало хорошее, но от него возникает больше вопросов, нежели мы получаем ответов. Все слова рождаются в виде одного слова, так что начинают свою жизнь с частотой и спектром, равным единице. Тот факт, что некоторые слова увеличивают частность и спектр своего употребления, — это скорее феномен, который мы пытаемся объяснить, нежели более ранняя причина, которая способна объяснить его. Одна и та же циркулирующая угрожает генерации новых форм (полисемия), как в случае распространения слова *blockbuster*, от значения *большая бомба до «нечто, имеющее коммерческий успех*». Частотные слова более многозначны (см. главу 3), так что, возможно, именно успех слова заставляет его быть лучшим генератором новых значений, а не словообразовательная (генеративная) сила того или иного слова становится причиной большего его успеха. Устойчивость понятий также не является хорошим предсказателем выживания того или иного слова. Хотя у нас сейчас все меньше поводов говорить о «тормозных вагонах» (*caboose*), модницах 1920-х годов (*flapper*), костюмах в стиле *zoot* (*zoot suit*) и холодной войне (примеры, приведенные Меткалфом), если мы хотим поговорить о них, слова для этого имеются.

Остается ненавязчивость, отрезвляющее напоминание всем словоплетам — любителям и выборщикам «Слов года» о том, что большинство новинок, привлекающих к себе много внимания, оказываются потом на помойке истории, тогда как настоящие победители проникают в язык с помощью какой-нибудь уловки. Безусловно, большинство сниглетов, лиффов и слов-беглецов уж чересчур умны и потому обречены на развлечение публики, а не на долготлетие. То же самое и с новинками на злобу дня, выходящими из-под пера ерников-журналистов и привлекающими внимание составителей списков «лучших слов года», такими как *Brown-out* — о плохом решении аварийной ситуации, напоминающее нам о директоре организации FEMA, появившейся по-



сле урагана «Катрина»¹⁾, и *flee-ancee* — невеста, убежавшая со своего собственного бракосочетания на манер Дженнифер Уилбенкс, которая на краткий миг прославилась подобным поступком в 2005 г. Юмористу Гелетту Берджессу (1866—1951) повезло с его словами *blurb* ‘*краткое описание книги, фильма или другого произведения, написанное в целях его продвижения на рынке*’²⁾ (см. выше) и *bromide* ‘*банальность*’ в 1907 г., но не с *alibosh* ‘*наглая ложь*’, *quisty* ‘*полезный, но некрасивый*’ *cowcat* ‘*человек, который просто впустую занимает пространство*’ или *skyskrimble* ‘*перевести разговор на постороннюю тему*’.

Даже когда изобретатель новинки из кожи вон лезет, чтобы распространить новое слово, заполняющее тот или иной лексический пробел, неблагодарная публика, как правило, будет его игнорировать. В 2000 г. концептуальный художник Милтос Манетос заметил, что в английском языке отсутствует слово, определяющее эстетические качества товаров, являющихся продуктом высокотехнологичного дизайна, как во фразе *The new iPod Nano is really X* ‘*Новый iPod Nano*’³⁾ *очень X*, а также слово, определяющее жанр художественных медиа, основанных на высоких технологиях, таких как видео-арт, компьютерная графика и цифровая анимация, например, *Our gallery showcases new artists working in X* ‘*В нашей галерее представлены новые художники, работающие в X*’. Манетос предложил, чтобы единое слово, употребляемое и как существительное, и как прилагательное, заполнило бы оба этих пробела. В духе движения, имя которому он собирался дать, Манетос нанял *Lexicon Branding* (компанию, которая придумала такие марки, как *Pentium*, *Celeronm Zima*, *Vibrance*, *Optima* и *Alero*), чтобы те с помощью компьютерного алгоритма и своих штатных лингвистов подобрали ряд кандидатов. Из предложенного ему списка Манетос выбрал слово *neep*, что в греческом языке означает ‘*новый*’. Он представил это слово на забитой публикой до отказа презентации в одной из крупнейших арт-галерей Нью-Йорка, куда пришли журналисты, критики и группа комментаторов, включая меня. Я предсказал, что новое слово не приживется из-за своей неверной фонестетики, слишком резонируя со словами, начинающимися на *sn-*, а также детскими дразнилками типа *nyah-nyah* ‘*мямя, размазня*’ и *neener-neener* (употребляется детьми в ответ на чью-то дразнилку, лишь бы что-нибудь сказать, часто сопровождается высывыванием языка). Я был прав (вот попробуйте набрать слово *neep* в поисковике *Google*), но предсказать

¹⁾ Директора звали Майкл Д. Браун. — *Прим. перев.*

²⁾ Слово *blurb* произведено от фамилии вымышленной мисс Белинды Блурб, от чьего имени якобы был написан текст на обложке книги Г. Берджеса «*Are you a bromide?*» («*Вы любите банальности?*»). — *Прим. перев.*

³⁾ Ультеракомпактный MP3-плеер марки *Apple*. — *Прим. перев.*

это было совсем несложно, поскольку большинство таких броских именованных проваливаются, невзирая на все усилия.

Но нельзя даже быть уверенным в том, что неологизм провалится по причине своей курьезности или неловкости. Недавно в язык вошло слово *podcast* ‘аудио-передача, которую можно загрузить в цифровой музыкальный плеер’ — каламбур из слов *iPod* и *broadcast* ‘радиовещание’, а также слово *blog* (*Web log* ‘интернет-дневник’), которое заимствует аморфность таких слов, как *blob* ‘капля, клякса’ и *bog* ‘болото, трясина’, а также беззаботно обрезает слово против его слогового деления в стиле университетского сленга 1970-х гг., когда появились такие перлы, как *shroom* (*mushroom* ‘гриб’), *strawb* (*strawberry* ‘клубника’), *burb* (*suburb* ‘пригород’) и *gents* (*parents* ‘родители’). Канадцы называют свои монеты стоимостью в один доллар *loonies*, панибратски намекая на полярную гагару (*loon*), которая изображена с другой стороны, так что когда вышла монета стоимостью два доллара, она мгновенно стала известна как *toonie*¹⁾. Более ранние десятилетия подарили нам *Yuppie* ‘яппи’ (от *Young Urban Professional* ‘молодой профессионал из большого города’ — игра со словами *hippie* ‘хиппи’, *Yippee* ‘ура!’ и *preppie*, разг. ‘ученик частной школы, готовящийся к поступлению в элитный вуз’), *couch potato* ‘лентяй-домосед’, *palimony* ‘контракт, сродни брачному, заключаемый между людьми, состоящими лишь в гражданском браке’²⁾, *qwerty* ‘стандартная раскладка клавиш на клавиатуре’ (технологическая инерция, таковы были первые шесть букв верхнего ряда клавиатуры печатной машинки) и, конечно же, самое бесхитрое из всех — *spam* ‘спам’. И этот феномен не нов. Словосочетание *soap opera* ‘мыльная опера’ — из 1930-х гг., *hot dog* ‘хот-дог (сосиска в тесте)’ из 1890-х гг. (из-за студенческой шутки на тему его якобы реального ингредиента), а *gergumander* ‘подтасовывать факты, заниматься махинациями’ — из 1812 г. Глагол *razz* и существительное *raspberry* (в значении того неприлично шумного звука, который производят, высовывая язык) не являются примерами ономастопеи. Они — продукт рифмованного сленга кокни, в котором одно слово заменяется фразой, которая с ним рифмуется, и последнее слово фразы, создающее рифму, опускается, как, например, *loaf* ‘буханка’ вместо *head* ‘голова’ (*head* — *loaf of bread* ‘буханка хлеба’ — *loaf*, или *apples* ‘яблоки’ вместо *stairs* ‘лестница’ (*stairs* — *apples and pears* ‘яблоки и груши’ — *apples*). Следуя той же логике, вы сами можете понять, какое слово было источником вдохновения для *raspberry* ‘малина’, если вам подскажут, что последнее — усеченная форма от *raspberry tart* ‘малиновый пирог’³⁾.

¹⁾ От *two* ‘два’ + *loonie*. — Прим. перев.

²⁾ По созвучию с *matrimony* ‘брак’ от слов *pal* ‘приятель’ и *alimony* ‘алименты’. — Прим. перев.

³⁾ Слово *fart* ‘пукать’ (груб.) по схеме *fart* — *raspberry tart* — *raspberry*. — Прим. перев.

Несмотря на периодический успех комических неологизмов, Меткалф отчасти прав, когда он говорит о ненавязчивости или обычности как об одном из типичных требований к кандидатам в новые слова языка. Однако дело не в обычности как таковой, а в способности удовлетворить когнитивные требования к статусу слова. Не все, что мелькает у нас в уме, обладает нужной степенью связности и стабильности, чтобы стать значением слова^[33]. Чтобы то или иное понятие могло получить имя, оно, как правило, должно относиться к чему-то регулярному или к событию, которое протекает одинаковым или похожим образом в каждом отдельном случае. Также, в отличие от ситуации с именами собственными, понятие, способное получить имя, должно быть обобщенным, а не особенным. Например, новое имя нарицательное типа *latte drinker* 'тот, кто пьет кофейные напитки типа латте' относится к такому человеку, который обычно пьет латте (скажем, молодому горожанину с утонченным вкусом), а не к кому-то, кто пьет этот кофейный напиток в данный конкретный момент. По этой причине его можно, не впадая в противоречие, употребить в предложении типа *Craig is a latte-drinker in every sense except that he doesn't actually drink lattes* 'Крейг во всех отношениях типичный любитель кофе-латте, за исключением того, что на самом деле он кофе-латте не пьет'. (В этом отношении данное имя отличается от соответствующей фразы; вы не можете сказать *Craig drinks lattes in every sense except that he doesn't actually drink lattes* 'Крейг во всех отношениях пьет кофе-латте, не считая того, что на самом деле он его не пьет'. Слова, как правило, закрепляются, если они используются для обозначения чего-то цельного («кролик», а не «неотделенные друг от друга части кролика»), для стабильных качеств («зеленый», а не «зеленый до 2020 г., а впоследствии голубой»), для естественных видов, для событий, которые оканчиваются какой-то одной сменой состояния или обладают некой одной целью, для артефактов, имеющих определенную функцию, и для действий с явно выраженными причиной, следствием, средством достижения или манерой осуществления. И еще: слова присваиваются игрокам, которые разыгрывают роли в событиях, о которых мы делаем те или иные утверждения, а не самим утверждениям. Предложение может быть истинным или ложным, а слово не может.

В свете этого интересные неологизмы нечасто приживаются в языке именно потому, что они **интересны** — не потому, что у них какая-то замысловатая конструкция, а по причине того, что их создатель скорее **комментировал** что-то, нежели что-то **называл**. Возьмем, к примеру, слова из типичного ежегодного списка новинок, такие как *egosurfing* 'эгосерфинг' (поиск ссылок на себя с помощью интернет-поисковика *Google*), *celanthropist* (*celebrity philanthropist* 'филантроп-знаменитость'), *infomania* 'инфомания' (маниакальная проверка электронной почты и смс-сообщений), *security mom*, букв. 'мама службы безопас-

ности (или охранника)' (избиратель, обеспокоенный проблемой терроризма), *ubersexual* 'сверхсексуал' (гетеросексуальный мужчина, который сочетает в себе мужественность с чувствительностью и эрудированностью), *greenwashing*, букв. 'отмывание для зеленых' (пиар-жест, направленный на придание той или иной компании имиджа озабоченности экологией). Эти слова на деле суть новостные сообщения о социальных тенденциях; вы почти чувствуете, как их сочинитель толкает вас локтем в бок, словно говоря «Смотри, как революционизировал нашу жизнь Интернет (смена половых ролей, новые технологии, терроризм, осведомленность о проблемах экологии)!»

Сниглеты и все их родственники, со своей стороны, на самом деле говорят «Не раздражает ли вас, что..?», «Ну не глупость ли, что..?» или «Вы никогда не замечали, как..?» На самом деле, упаковывая одно из таких замечаний в одно-единственное слово, создатели комментируют свои комментарии. Они говорят «Этот феномен настолько распространен и узнаваем, что для его обозначения нужно слово!» Я думаю, что такая вот эксплуатация отношения к статусу слова в не меньшей мере, чем языковая игра, придает сниглетам юмористический характер. Но это же делает их негодными в качестве настоящих слов. Вам может показаться глупым блуждать по пустому лабиринту, выгороженному канатами в помещении банка (*furble*), или вы можете испытать неуютное чувство *shoebuygness*, когда в автобусе сядете в кресло, еще сохраняющее тепло чье-то тела, но не так уж много возможностей предоставится поговорить обо всем этом, разве что рассказать о том, как глупо вы себя почувствовали. И большое количество таких сниглетов, посвященное всяким промахам и глупостям (типа *purpitation* 'взять что-либо с полки магазина, затем решить, что тебе этот предмет не нужен, но переложить его уже на полку другого отдела'), возможно, и успокаивает разных путаников, но они едва ли относятся к событиям, отмеченным некой целью, которые могли бы стать достойным значением для глагола.

Но, даже зная обо всем этом — об инструментах словообразования, о лексических лакунах, о фонстетическом ландшафте и концептуальных требованиях, связанных со статусом слова, — мы все равно по-прежнему не можем предсказать, когда то или иное слово закрепится. Оставшиеся неразгаданными части этого детектива приведут нас к новому видению культуры и общества — однако сначала нам необходимо вернуться к загадке про Стива.

Возвращение к проекту «Стив»

Взлет и падение Стива, а также других имен, даваемых детям при рождении, говорит нам о том, что для того, чтобы слово стало общепринятым, ему необходимо нечто большее, чем приятное звучание

и понятие, подходящее для именованя. Называние ребенка именем, казалось бы, должно быть наиболее прямым из всех возможных способов добавления нового слова к словарю языка. Родители вправе сами выбрать звучание, а общество, по большому счету, должно уважать их выбор. И тем не менее наречение ребенка именем подразумевает действие неких загадочных сил, которые определяют распространение слова и, возможно, могут пролить свет на вопрос, почему другие слова либо закрепляются, либо не имеют успеха^[34].

В определенных аспектах, именование ребенка отличается от озвучивания других слов. Мы никогда не сталкиваемся с человеком-сниглетом — несчастным ребенком, которого родители так и не назвали, — не можем мы и отвергнуть родительский выбор, если не считать того, что иногда награждаем людей прозвищами, которые к ним «прилипают». Также в большинстве случаев при наречении своего ребенка тем или иным именем родители выбирают из обычного набора звуков, а не создают новый специально для этого события. Но поскольку именование ребенка — наш самый чистый и самый демократичный акт называния чего бы то ни было и поскольку данные об именах, даваемых детям, точны и имеются в большом количестве (Департамент социального обеспечения (*Social Security Administration*) ведет базу данных всех американских имен с 1880-х гг.), они являются настоящей золотой жилой для всех, кого интересует, как распространяются слова^[35].

Не обязательно быть Стивом, чтобы понять, что имена могут проходить сквозь цикл «бум/крах». Зная всего лишь имя женщины, большинство наблюдателей могут угадать ее возраст с точностью, намного превышающей случайность^[36]. Эдна (*Edna*), Этель (*Ethel*) или Берта (*Bertha*) — это женщина пенсионного возраста, Сьюзан (*Susan*), Нэнси (*Nancy*) или Дебра (*Debra*) — это стареющая представительница поколения беби-бумеров, Дженнифер (*Jennifer*), Аманда (*Amanda*) или Хезер (*Heather*) — это женщина за тридцать, а Изабелла (*Isabella*), Мэдисон (*Madison*) или Оливия (*Olivia*) — это маленькая девочка. Я написал «угадать ее возраст», поскольку женские имена меняются чаще, чем мужские: Роберт (*Robert*), Дэвид (*David*), Майкл (*Michael*), Уильям (*William*), Джон (*John*) и Джеймс (*James*) просто-напросто вообще никуда не исчезают. Но даже в случае с мальчиками вам повезет больше, чем в игре в дартс, если вы попытаетесь угадать возраст человека с именем Этан (*Ethan*), или Клеренс (*Clarence*), или, само собой, Стив (*Steve*). Имена не всегда подвержены цикличности моды — во многих обществах дети должны быть названы в честь святых или в честь своих предков, и многие родители продолжают отягощать именно имена своих сыновей, а не дочерей грузом ответственности за продолжение династии, но, так или иначе, изменения происходят всегда, а в двадцатом веке скорость смены таких циклов в западных странах резко возросла^[37].

Как и мои мать с отцом, большинство родителей не могут припомнить, что слышали о каком-то ребенке, названном тем же именем, которое они в итоге дали своему. Как правило, люди говорят, что у них был любимый родственник (или симпатичный им персонаж), которого звали так же, или что им просто понравилось звучание. Но потом, когда они приходят забирать своих Тайлера (*Tyler*) или Зоуи (*Zoe*) из детского садика, они с удивлением обнаруживают, что на их зов откликаются целых три детских голоса. Их тщательно обдуманый выбор, оказывается, стал столь же тщательно обдуманным выбором и тысяч других родителей. Лейбниц писал, что если вы видите пару настенных часов, указывающих одно и то же время, существуют три объяснения. Они могут быть синхронизованы соединяющим их стрелом или проводом. Их может постоянно настраивать умелый часовщик, который поддерживает их синхронность. Или оба этих часовых механизма могут работать столь похоже, что им удается идти синхронно самим по себе. Если родители не координируют выбор имен с помощью прямого копирования друг друга, что мы можем сказать про две другие альтернативы: внешнее влияние и независимо развившееся сходство во вкусах?

Мы можем мгновенно отбросить те типы влияния, которые, как правило, приводятся при обсуждении других вкусов или мод. Социолог Стенли Либерсон решил написать свою книгу «Дело вкуса» (*A Matter of Taste*) после того, как, выбрав вместе с женой для дочери имя **Ребекка**, с удивлением обнаружил, сколь большому числу его современников пришла в голову та же идея. Он знал, что не сможет объяснить тенденцию ссылкой на то, что обычно подозревают в таких случаях:

Не было рекламной компании, спонсированной НАР (Национальной ассоциацией Ребекки), и уж тем более попыток принизить тех, кто отдаст предпочтение сопернику. Восхождение имени **Ребекка** и падение популярности другого имени — это не то же самое, что жесткая конкуренция между «Пепси-» и «Кока-колой». Ни *Wal-Mart*, ни *Neiman Marcus* не рекламировали этого имени на модных комплектах для новорожденных девочек¹⁾. Также не предлагалось никаких бонусных очков или вознаграждений за то, что вы назовете свою дочку **Ребекка**^[38].

Существуют и другие источники внешнего влияния. Наиболее популярная народная теория о тенденциях в выборе имени детям состоит в том, что на родителей влияют герои, лидеры, актеры или персонажи, которых те играют. Хиллари Клинтон говорила, что родители назвали ее в честь первого человека, покорившего Эверест. Однако она родилась в 1947 г., когда Эдмунд Хиллари был никому не известным пасечником из Новой Зеландии, он не восходил на вершину до 1953 г.,

¹⁾ *Wal-Mart* — универсам товаров по доступным ценам, *Neiman Marcus* — один из самых дорогих универсамов в США. — Прим. перев.

когда Хиллари Клинтон было уже шесть лет. Либерсон изучил корреляцию между подъемом и падением популярности имен и появлением и исчезновением знаменитых людей, как реальных, так и выдуманных, в поле зрения общества. Почти во всех случаях он наблюдал рост популярности определенного имени до прорыва той или иной знаменитости, носившей это имя. Зачастую известный человек-носитель имени становился причиной нового витка популярности последнего — Либерсон назвал это явление «удерживаться на гребне», — но случаи, когда имя знаменитости становилось причиной для возникновения повальной моды на это имя, редки.

Мэрилин (*Marilyn*), к примеру, было довольно популярным именем в 1950-е гг., и большинство людей сможет указать на вроде бы очевидную на то причину: расцвет славы Мэрилин Монро. К сожалению для данной теории, это имя начало набирать обороты еще за десятки лет до этого и было уже популярным, когда Норма Джин Бейкер решила взять его в качестве сценического имени в 1946 г. На самом деле популярность имени **Мэрилин** даже несколько упала после того, как Монро стала знаменитой. В этот момент люди подумают, что актриса, вероятно, способствовала падению его популярности: в годы повальной чопорности пригородов (1950-е гг.) и в годы зарождения феминизма (1960-е гг.) родители не хотели называть своих девочек в честь секс-бомбы. И опять ошибка — пик популярности имени пришелся на 1930-е гг. и уже падал, когда появилась Монро.

В ряде случаев реальная или вымышленная знаменитость действительно дает толчок к распространению того или иного имени. Имя **Дэррен** (*Darren*) было абсолютно не известно в Англии, пока британцы не познакомились с мужем колдуньи из ситкома (комедии положений) 1960-х гг. «Околдованный» (*Bewitched*). А **Мэдисон**, на сегодня третье по популярности имя для девочки, вообще не существовало в качестве женского имени, пока русалка, сыгранная Дэрил Ханной в фильме 1984 г. «Всплеск» (*Splash*), не выбралась из Ист-Ривер, и не увидела его на уличной вывеске, и не решила так назваться^[39]. Либерсон нашел также еще несколько свидетельств, которые можно приписать именам знаменитостей. В 1930-е гг. популярность имени **Герберт** упала, имени **Франклин** — возросла, а имя **Адольф** с тех пор практически исчезло по совершенно очевидным причинам. Однако в целом привязчивость имен знаменитостей является когнитивной иллюзией. Люди помнят один или два момента, когда какое-то имя стало известным благодаря некой знаменитости и одновременно давалось многим новорожденным, и полагают, что первый феномен стал причиной второго. Но, разумеется, они не в состоянии в уме рассортировать имена по годам, чтобы убедиться в правильности выбора времени, не могут они также вспомнить и противоположных примеров, а именно миллионов новорожденных, которых могли бы назвать (но не назвали) **Хамфри**

(*Humphrey*), **Бинг** (*Bing*), **Кери** (*Cary*), **Хеди** (*Hedy*), **Грета** (*Greta*), **Элвис** (*Elvis*), **Ринго** (*Ringo*) и так далее. Не так легко людям и отличать причину от следствия. Сценаристы должны давать своим персонажам правдоподобные имена, а начинающие актеры в поисках сценического псевдонима должны выбирать имена привлекательные. Остается прийти к заключению, что на них воздействовали те же силы, что влияют и на ожидающих прибавления родителей в тот же период времени.

А что можно сказать о более массовых социальных тенденциях, таких как изменение отношения к национализму, религии и к гендерным ролям? Опять-таки не то, что вы думаете. В последние несколько десятилетий возросла популярность библейских имен, таких как **Джейкоб** (*Jacob*), **Джошуа** (*Joshua*), **Рейчел** (*Rachel*) и **Сара** (*Sarah*). Все подумают, что это отражает тенденцию возрождения религии как части американской жизни. Однако Либерсон показывает, что в течение этого периода, тенденции к именованию библейскими именами и тенденции к соблюдению религиозных обрядов, расходятся в противоположные стороны, а также то, что люди, называющие своих новорожденных библейскими именами, несколько не более религиозны, чем те, кто этого не делает. Феминизм, казалось бы, должен был быть более многообещающей вспышкой, но даже здесь влияние вызывает множество сомнений. Популярность некоторых женских имен, базирующихся на названиях цветов, например, с 1970-х гг. упала — **Роуз** (*Rose 'роза'*), **Виолетта** (*Violet 'фиалка'*) и **Дейзи** (*Daisy 'маргаритка'*), тогда как у других имен такого типа она выросла — **Лили** (*Lily 'лилия'*), **Джезмин** (*Jasmine 'жасмин'*)^[40]. Вы также можете выбрать любую из существующих тенденций, когда будете размышлять о популярности женских имен, являющихся производными от мужских: мода на некоторые из них проходит (**Роберта**, **Пола**), тогда как другие набирают обороты (например, **Эрика**, **Микейла** (*Michaela*), **Брианна** и, разумеется, **Стефани**)^[41].

Причина пропасти между расхожими представлениями и фактами в том, что у большинства людей сложилась неправильная теория изменений в культуре. Они думают, что эти изменения являются предсказуемыми следствиями внешних причин: правительств, рекламодателей, знаменитостей, экономики, войн, машин, технологий и т. д. Они также полагают, что культурные изменения **наполнены смыслом** — что кто-то может дать рациональное объяснение причинам, по которым общество поступает каким-то определенным образом, точно так же, как можно дать рациональное объяснение поведению какого-то отдельного человека^[42].

Писатель Эдвард Теннер документально подтвердил пример подобного заблуждения^[43]. Вплоть до 1960 г. большинство мужчин на публике носили фетровые шляпы, а сейчас практически никто этого не делает. Что произошло? Объяснениям буквально несть числа. Джон Ф. Кеннеди ввел новую моду, появившись без шляпы после своей инаугурации. Люди переехали в пригороды и стали проводить много

времени в автомобилях, из-за чего их головы практически перестали мерзнуть (также в шляпе неудобно выходить из машины и садиться обратно). Мужчины стали отращивать волосы подлиннее в качестве способа самовыражения и не хотели скрывать этого факта или, того хуже, некрасиво приминать свои новые прически шляпами. Был сделан большой акцент на естественность, а шляпы представляли собой некий символ незаконченности природы. Шляпы ассоциировались с истеблишментом, а молодое поколение бунтовало против него. В культуре началась идеализация молодости, а шляпы ассоциировались с пожилыми мужчинами.

Примеры такой кустарной психологии можно найти в любой газетной статье о социальных тенденциях. Но все эти объяснения будут неверными. Если измерить популярность мужских шляп в течение десятилетий, вы узнаете, что она стабильно падала с 1920-х гг. (1960-е просто стали последней каплей, когда ношение шляп упало до критически низкой отметки). И это падение шло абсолютно параллельно со снижением популярности **женских** шляп и женских перчаток в те же самые временные отрезки^[44]. Ни одно из объяснений, предлагаемых поп-социологией на тему шляп мужчин 1950-х и 1960-х гг., не соотносится с этой хронологией. Что-то действительно **происходило** в эту эпоху — падение формальности во всех жизненных сферах, включающих в себя одежду, уход за собой, поведение в обществе и формы обращения к людям (как, например, использование имен вместо «Мистер Такой-то» или «Миссис Такая-то»). Сложно представить себе какое-то внешнее или рациональное объяснение данной тенденции (война, политика, экономика, технологии), которое могло бы толкать ее строго в одном направлении с 1920-х гг. вплоть до первой декады двадцать первого века и далее. То же самое заключение можно сделать и из количественного анализа женской моды. Несмотря на расхожие мнения, длина юбок не связана с фондовой биржей, нехваткой тканей, высококонцептуальными рекламными кампаниями и чем-либо еще, хотя она и демонстрирует медленные и постепенные подъемы и падения в течение десятилетий^[45].

Либерсон утверждает, что нам необходимо переосмыслить то, как мы объясняем культурные изменения. «Тенденция» — это как бы стенография совокупного воздействия миллионов мужчин и женщин, делающих личный выбор и одновременно предугадывающих и реагирующих на личный выбор других. Это дает почву для появления **внутренней** динамики изменений — ношение шляп в какой-то один определенный год влияет на ношение шляп в последующий год, — а также для тенденций, у которых своя собственная логика, которые не вписываются в какое-либо осмысленное повествование о предпочтениях общества в целом.

Большинство модных тенденций — длина юбок, ширина лацканов пиджака, ношение усов и бороды и, конечно же, имена, даваемые детям, — показывают мягкие волны роста и падения, а не внезапные скачки с одного уровня на другой и не нервный хаос фондового рынка. Так и хочется призвать на помощь физическую метафору об инерции и о движении маятника, но нам все равно бы понадобилось объяснение тому, почему эта метафора в данном случае уместна. Экономист Торстейн Веблен и искусствовед Квентин Белл заметили, что циклы моды могут быть объяснены с помощью психологии статуса^[46]. Элита хочет отличаться от толпы своим внешним видом, но затем люди из социального слоя, расположенного на одну ступень ниже, копируют их, потом из следующего слоя, пока определенный стиль постепенно не проникает в самые широкие массы. Как только это происходит, элита меняет свой облик на новый, что снова заставляет буржуазию копировать его, затем то же делают менее обеспеченные слои среднего класса и так далее в бесконечном, движимом изнутри круговороте моды. (Это напоминает аналогию Докинза о нагревательной и охладительной системах, приведенную им для разъяснения эволюции другого предмета статуса — хвоста птицы-вдовушки.) Статусная иерархия традиционно определялась по богатству и знатности, но ее также можно вычислять с помощью других метрик престижа — чести, «крутости», изысканности — внутри различных клик и группировок.

Либерсон добавляет, что острие моды будет продолжать двигаться в одном и том же направлении так долго, как только это будет возможно, поскольку любое отступление будет автоматически означать поражение в борьбе за образ, отличающийся от всех остальных. Отсюда и метафора о движущей силе. Но в какой-то момент оно упирается в некий практический предел — юбки не могут уменьшиться до размера бельевого пояса с подвязками, не могут они и расти до размеров двадцатифутового шлейфа, — тогда элите просто приходится резко повернуть стиль в ином направлении. Вот вам и метафора о маятнике. Звучит так, словно это объясняет все и потому ничего, но Либерсон отмечает, что всякий раз, когда мода меняет направление, законодатели модных тенденций одновременно вводят какое-нибудь *другое* изменение, дабы новинку не путали с юбками (бородами, крыльями автомобиля) прошлых сезонов.

Это снова возвращает нас к именам. Имена не растут и не уменьшаются в одном измерении, подобно лацканам пиджака, но у них множество варьируемых черт: звучание их начала или коды, их этимология (древнееврейская, латинская, греческая, кельтская, англосаксонская), их буквальное значения (цветы, украшения, оружие, месяцы), их ассоциации с известными людьми^[47]. Банк имен необычайно огромен, и он может пополняться с помощью художественной литературы (имя

Миранда пришло из «Бури»¹⁾, **Венди** — из «Питера Пэна»²⁾, с помощью перевода фамилий во вторые имена, а затем и в первые (основные) имена (как **Морган** (*Morgan*) или **МакКензи** (*McKenzie*)), с помощью заимствования из других языков (**Шобан** (*Siobhan*), **Наталия** (*Natalia*), **Диего** (*Diego*), а также с помощью добавления префиксов и суффиксов, таких как *-a*, *-ene*, *-elle* или, среди афро-американцев, *La-*, *Sha-* и *-eesha* (**Латония** (*Latonya*), **Латойя** (*Latoya*), **Лакиша** (*Lakeesha*) и так далее). Неудивительно и то, что различные классы и этнические группы черпают имена из различных источников.

Большинство родителей стремится дать своему ребенку такое имя, что отличалось бы от имен других детей, с которыми ему придется столкнуться, что вполне соответствует совету Сэма Голдуина своему подчиненному: «Не называй своего сына Уильямом. Каждого Тома, Дика и Гарри зовут Уильямом». С другой стороны, они не хотят огорчать своего ребенка именем, которое бы отличалось настолько, что ребенка будут считать потомком каких-то выскочек или неудачников. Одна крайность представлена такими знаменитостями, как Рейчел Гриффитс, которая назвала своего сына **Банджо** (*Banjo*), как фокусник Пенн Жилетт, который нарек свою дочь именем **Мокси Краймфайтер** (*Moxie Crimefighter*, букв. *‘Отважная — борец с преступностью’*), как рок-звезда Боб Гелдоф, назвавший своих дочерей **Литгл Пикси** (*Little Pixie ‘Маленькая фея’*), **Фифи Триксибелл** (*Fifi Trixiebelle*, приблиз. *‘Фифи Блондинка-красавица’*), **Пичес Ханиблоссом** (*Peaches Honeyblossom ‘Персики Медовый Цвет’*). Другая крайность — боксер Джордж Форман, все пять сыновей которого получили имя **Джордж** (*George*). Большинство родителей находятся где-то посередине. Проблема всех, кто старается быть в меру отличающимся, в том, что существует опасность в меру отличаться абсолютно одинаковым образом. Поэтому в 1960-е гг. школы были полны **Сюзан** (*Susan*) и **Стивами** (*Steve*), как сейчас они заполнены **Клоэ** (*Chloe*) и **Диланами** (*Dylan*). Но затем следующее поколение родителей среагирует на «гиперстивизм» или «гипердиланизм» с помощью поиска чего-то нового. Динамика этого подобна ресторанной рецензии Йоги Берры: «Никто туда больше не ходит. Там слишком людно». Консультанты по именам для новорожденных, в частности Памела Сатран, стараются посоветовать родителям категории имен, которые уже появились на горизонте, но не являются ни слишком распространенными, ни чересчур странными, — фамилии известных людей, такие как **Моне** (*Monet*) в честь художника Клода Моне, или **Коуфэкс** (*Koufax*) в честь бейсболиста Сэнди Коуфакса, или названия оттенков цвета: **Тоуп** (*Taupe ‘серо-коричневый’*) или **Церулиан** (*Cerulean ‘небесно-голубой’*)^[48]. (Может, кого-то заинтересует имя **Йоги** (*Yogi*)?)

¹⁾ Пьеса У. Шекспира. — *Прим. перев.*

²⁾ Детская книга Дж. М. Барри. — *Прим. перев.*

Мощным фактором при поиске имени, в меру отличающегося от остальных, является фонестезия. Популярное имя распространяет свое очарование на уже существующие имена или дает ростки новых имен, имеющих общее начало, общий конец или общий слог. Ранее в двадцатом веке имя **Джейн** (*Jane*) породило имена **Дженис** (*Janice*), **Дженет** (*Janet*), **Джен** (*Jan*), **Джанель** (*Janelle*), каждое из которых имело несколько вариантов орфографии. **Кэрл** (*Carol*) дало имена **Кэролин** (*Carolyn*), **Кэрен** (*Karen*), **Керри** (*Carrie*), **Кара** (*Cara*) и **Карина** (*Carina*). Не так давно начальные звуки имени **Дженнифер** (*Jennifer*) способствовали расцвету имен **Джессика** (*Jessica*) и **Дженна** (*Jenna*), а концовка того же имени привела к росту популярности имен **Хезер** (*Heather*) и **Эмбер** (*Amber*). Либерсон отмечает, что многие имена, популярность которых приписывают влиянию знаменитостей (Дженет Гейнор, Джессика Лэнг), на самом деле оседлали волну популярности определенного звучания. Фонестетика, таким образом, может помочь объяснить тот факт, почему лишь некоторые имена знаменитостей становятся модными. Имя **Дэррен** (*Darren*) стало очень популярным в 1960-е гг. Англии, тогда как другие навеянные телевидением имена, такие как **Рики** (*Ricky*) или **Максвелл** (*Maxwell*)¹⁾, не пришлось ко двору, потому что в те времена в Англии более трети мужских имен оканчивалась на *-n* (*-n*)^[49].

Определенную роль играет и пол (помимо того очевидного факта, что практически во всех культурах имена мальчиков отличаются от имен девочек). Иногда родители дают девочке мужское имя, возможно, по причине того, что они изначально хотели мальчика, но скорее, чтобы наделить свою дочку независимостью и силой. По какой-то причине эти имена имеют обыкновение доставаться девочкам, которым суждено стать сексапильной актрисой или супермоделью (или, возможно, эти имена они выбирают себе сами), например Дрю Берримор, Блэр Браун, Гленн Клоуз, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Диас, Джерри Холл, Дэрил Ханна, Мел Хэррис, Джеймс Кинг и Шон Янг, имена которых очень редки среди женщин их возраста^[50]. Феминизм был бы весьма очевидным объяснением этого, если бы не тот безусловный факт, что этот процесс продолжается уже более ста лет. В начале двадцатого столетия **Беве́рли** (*Beverly*), **Дана** (*Dana*), **Эвелин** (*Evelyn*), **Гейл** (*Gail*), **Лесли** (*Leslie*), **Мереди́т** (*Meredith*), **Робин** (*Robin*) и **Ширли** (*Shirley*) были в основном мужскими именами. И в течение всего этого времени андрогинное именование работало только в одну сторону^[51]. Как только неким мужским именем называли достаточно значительное число девочек, имя в качестве мужского было навсегда испорчено, возможно, потому, что родители не столь охотно соглашаются прида-

¹⁾ *Ricky* — имя главного персонажа сериала *I Love Lucy*, *Maxwell* — имя главного героя телесериала *Get Smart*. — Прим. перев.

вать своим сыновьям женственные черты, нежели наделять дочерей мужественными. Как заметил Джонни Кэш: «Нелегко живется пареньку с именем **Сью**» («*Life ain't easy for a boy named „Sue“*»).

Возраст также является одним из двигателей прогресса в этой области. Многие имена и звуки сутуляются и покрываются морщинами вместе со своими носителями и отправляются на пенсию, поскольку родители не желают думать о своих отпрысках как о стариках или старушках. Такова была судьба имен **Этель** (*Ethel*), **Дороти** (*Dorothy*), **Милдред** (*Mildred*), а также многих имен, оканчивающихся звуком [s]: **Глэдис** (*Gladys*), **Флоренс** (*Florence*). **Лоис** (*Lois*), **Дорис** (*Doris*), **Фрэнсис** (*Frances*) и **Эгнес** (**Агнесса**) (*Agnes*). Однако как только носители этих имен умирают или исчезают из поля зрения, гериатрические коннотации имени могут исчезнуть, и оно может начать использоваться снова, во всяком случае, если оно находится в гармонии с фонестетикой новой эпохи. Подобное возрождение, например, получили такие имена, как **Элизабет** (*Elizabeth*), **Кристина** (*Christina*) и **Джозеф** (*Joseph*), а если вы вдруг оказались в компании людей по имени **Макс** (*Max*), **Роуз** (*Rose*), **Сэм** (*Sam*), **Софи** (*Sophie*), **Джейк** (*Jake*) или **Сэйди** (*Sadie*), то вы либо в доме престарелых, либо в детском саду^[52].

Какое же отношение все это имеет к тому, принимаются или нет новые имена? Как я уже упоминал, имена некоторыми своими чертами отличаются от обычных слов. Если речь идет о детях, то всем им дается какое-то имя, а коль скоро банк существующих имен ограничен, то имя, как правило, сохраняется, тогда как в случае понятий многие так и остаются без названия, а те, которым дается имя, как правило, получают новую звуковую комбинацию, и большинство слов-новинок года популярны в течение очень короткого срока. Тем не менее внутренняя динамика, которая присуща цикличности моды на имена, отчасти применима и к созданию, и принятию других слов.

Г Мы уже рассмотрели модные тенденции в области названий компаний и товаров, от «Бьюик» и «Мустанг» до «Элантра». Сленг подростков, студентов и поклонников хип-хопа можно датировать с такой же точностью, с какой это удастся с именами (the cat's pajamas 'лучшее из лучших, квинтэссенция' (50-е гг.), her 'крутой, классный' (предшествовало слову hip в 60-е гг.), groovy 'прикольный, крутой' (60-е гг.), far out 'улетный' (70-е гг., из сленга хиппи), way cool 'очень крутой', phat 'классный' (из гетто-сленга), da bomb 'супер, лучшее' (из гетто-сленга)¹⁾. Другой цикл моды влияет на слова, выражающие высшую степень чего-либо, — суперлативы. Говорящие всегда стремятся поразить своих слушателей тем, насколько нечто, происходившее с ними, было замечательным, поэтому они описывают это с помощью суперлатива, что

¹⁾ Здесь в скобках — пояснения переводчика.

уменьшает его ценность, поэтому последующим говорящим приходится обращаться к новому суперлативу, для чего они «занимают» какое-то другое слово ради придания экстремальности своему описанию, и так далее по спирали семантической инфляции. Уже давно наши языковые предки разбавили исходное значение слова terrific ‘вызывающий ужас’, сейчас ‘потрясающий, замечательный’, fantastic ‘о котором можно мечтать’, сегодня ‘фантастический, потрясающий’, tremendous ‘вызывающий дрожь в ком-либо’, сегодня — ‘поразительный, огоромный, значительный’, wonderful ‘вызывающий удивление’, сегодня — ‘чудесный, замечательный’, fabulous ‘воспетый в легендах’, сегодня — ‘потрясающий, изумительный’. В последние несколько десятилетий лишились своей былой силы и слова awesome (ранее ‘вызывающий изумление’, сейчас — ‘отличный, классный, клевый’), excellent ‘отличный’, outstanding (ранее ‘из ряда вон выходящий’, сейчас — ‘исключительный, первоклассный’), и, в Великобритании, brilliant (ранее — ‘сверкающий’, сегодня — ‘классный, отличный, потрясающий’).

Вот еще один пример. Термины для понятий из таких эмоционально нагруженных сфер жизни, как секс, выделение, старение и болезни имеют тенденцию, как я это называю, бежать по бесконечной дорожке тренажера эвфемизмов. Они становятся непригодными из-за своей привязки к одному из этих «нагруженных» понятий, заставляя людей обратиться к еще не загубленному слову, которое, в свою очередь, тоже становится «грязным». Например, toilet, изначально — слово из сферы ухода за телом (как, например, в словосочетаниях toilet kit ‘туалетный набор’ и eau de toilette ‘туалетная вода’), стал применяться для устройства и комнаты, служащих для отправления наших нужд. Его заменили на слово bathroom, букв. ‘ванная’, что привело к таким абсурдным фразам как The dog went to the bathroom on the rug, букв. ‘Собака сходилa в ванную на подстилке’ и In Elbonia, people go to the bathroom on the street, букв. ‘В Элбонии люди ходят в ванную на улице’. По мере того как слово bathroom стало запятнанным (как в выражении bathroom humor ‘юмор ниже пояса’), его, волна за волной, заменяли на lavatory, букв. ‘умывальная’, WC (сокращение от watercloset, букв. ‘водный кабинет’), gents ‘мужской туалет’, букв. ‘для мужчин’, restroom, букв. ‘комната отдыха’, powder room, букв. ‘комната, где можно припудриться’ и comfort station, букв. ‘комната комфорта’. Похожая механическая беговая дорожка прокручивает циклы имен для инвалидов, ср. lame ‘хромой, убогий’, crippled ‘увечный’, handicapped ‘физически (умственно) неполноценный’, букв. ‘сталкивающийся с препятствиями’, disabled ‘калека, инвалид’, букв. ‘лишенный возможности’, challenged ‘имеющий какую-либо форму инвалидности’. То же происходит с названиями работников непопулярных профессий (garbage collection ‘сбор мусора’, sanitation ‘ассенизация’, environmental services ‘экологические услуги’), определенных академических предметов (gym ‘физкультура’, physical education

‘физическое воспитание’, human biodynamics ‘биодинамика человека’), а также названиями для угнетенных меньшинств (colored ‘цветные’, Negro ‘негры’, Afro-American ‘афро-американцы’, black ‘черные’, African American ‘американцы африканского происхождения’) [53].

Наука тоже не имеет стойкого иммунитета от подобных модных тенденций. Изначально ученые называли свои открытия терминами греческого и латинского арго, такими как ligand ‘лиганд’, apoptosis ‘апоптоз’, heteroskedasticity ‘гетероскедастичность’. Это уступило место толерантному отношению к парафразам на родном языке **частотно-зависимый отбор, вторичный носитель генетической информации**, затем — к причудливым аллюзиям (таким, как quark ‘кварк’, Big Bang ‘Большой взрыв’, Sonic Hedgehog ‘Звуковой ежик’ — ген, названный в честь персонажа компьютерной видеоигры), а теперь и к ныне модным усечениям типа brane theory, что является сокращением от слова membrane ‘мембрана’.

Рост влияния и цикличность моды — не единственная внутренняя сила, которая определяет дальнейшую судьбу слов. Даже если бы вкусы не изменялись, успех того или иного нового слова зависел бы от лексической эпидемиологии — способа распространения неологизма от того, кто его ввел, к новому говорящему, который затем может заразить им других и так далее. В итоге неологизм либо умирает, либо становится эндемичным (приживается), в зависимости от того, с каким количеством человек разговаривает за день носитель нового слова, и от того, насколько охотно и легко новые люди запоминают это слово. Как и в случае настоящих эпидемий, исход предсказать сложно. В зависимости от таких небольших различий, как легкость нового слова для запоминания, как количество связей, уровня доверия или харизмы, которыми могли бы похвастаться первые адепты, слово может достичь (или не достичь) того критического уровня, который позволил бы ему закрепиться в сообществе и передаваться из поколения в поколение [54]. Это один из способов осмысления компонентов **частотности и разнообразия** в системе факторов FUDGE, в которых, по мнению Меткалфа, заключена тайна успеха слова.

Итак, взгляд на распространение слов и имен кардинально меняет привычные представления о том, откуда происходит культура и как она изменяется. В двадцатом веке культуру стали считать сверхорганизмом, который преследует цели, находит значения, реагирует на стимулы, может стать жертвой манипуляций или бенефициарием интервенции. Но судьбы имен, культурной традиции par excellence¹⁾, не вписываются в эту модель. Имена меняются с течением времени, но не отражают других социальных тенденций, они не управляются никакими другими ролевыми моделями, и единственное влияние, которое Мэдисон-авеню оказало на имя Мэдисон — это

¹⁾ По преимуществу (фр.). — Прим. перев.

та безумная цепочка событий, что сделала это имя третьим в списке популярности имен для девочек. Чтобы понять данный феномен, нам необходимо рассмотреть те черты человеческой природы, которые вовлечены в процесс принятия решения при выборе имени, — психологию статуса, родителей и языка, а также взглянуть на результаты подобных решений у предыдущего поколения именователей и на эпидемиологию идей — область, которая едва ли существует^[55].

В своей книге 1978 г. *Micromotives and Macrobehavior* («Микромотивы и макроповедение») экономист Томас Шеллинг призвал нас обратить внимание на многие социальные феномены, которые никем не запланированы, а часто являются и вовсе нежелательными, но появляются благодаря людям, делающим некий индивидуальный выбор, влияющий на выбор других людей. В качестве одного из примеров приводится сегрегация в больших городах, происходящая не по причине политики апартеида и не потому, что кто-то желает жить исключительно по соседству с представителями своей собственной расы, но из-за того, что никто не желает быть в своем районе в абсолютном меньшинстве. По мере того как каждая семья въезжает или съезжает, дабы избежать подобной маргинальности, она становится частью окружения для других людей, влияя на решения, принимаемые последними, и так далее. В итоге могут появиться исключительно «черные» и исключительно «белые» районы, ни один из которых не был запланирован как таковой. Другим примером является случай, когда поток машин замедляется потому, что каждый из водителей на несколько секунд притормаживает, чтобы поглядеть на место аварии, — сделка, на которую никто бы не согласился, если бы все скоординировали свое поведение заранее. Шеллинг отмечает, что подобные модели могут возникать всякий раз, когда индивидуальные решения являются взаимозависимыми:

Если вашей проблемой являются пробки на дорогах, то вы часть этой проблемы. Если вы ходите на массовые мероприятия потому, что вам нравятся большие скопления людей, то вы увеличиваете эту толпу. Если вы забираете своего ребенка из какой-то школы из-за соучеников в его классе, вы устраняете ученика, с которым они ходят в школу. Если вы повышаете свой голос, чтобы вас услышали, вы добавляете шума к тому, который уже создан теми, кто тоже хочет быть услышанным. Когда вы коротко стрижетесь, вы меняете, пусть и совсем незначительно, представления других людей о том, какой длины волосы сейчас принято носить^[56].

В своем недавнем бестселлере *The Tipping Point* («Поворотный момент») журналист Малкольм Гледвелл применяет идею Шеллинга к таким социальным тенденциям недавнего времени, как изменение уровней грамотности, преступности, самоубийств и подросткового курения. В каждом случае принято было считать, что тенденция связана с внешними общественными силами, такими как реклама, правительственные программы или ролевые модели. А на самом деле в каждом

случае тенденция была вызвана внутренней динамикой персонального выбора и влияний, а также реакциями на них. Именование младенцев, да и вещей вообще, — еще один пример того, как большой социальный феномен — устройство определенного языка — появляется непредсказуемо, благодаря множеству индивидуальных решений, влияющих друг на друга.

Имя кажется такой простой материей — связующим звеном между звуком и значением, признаваемым тем или иным сообществом. И тем не менее чем больше мы концентрируемся на том, как имена устроены, тем все шире раскрывается перед нами сфера человеческого бытия. В своих предыдущих книгах я писал о том, как много имен представлено в голове одного-единственного человека. Я поражался тому, сколько слов знает человек, как быстро учат их дети, как слова элегантно сложены из частей и с какой легкостью наш мозг распознает их. В более ранних главах данной книги мы увидели точность и абстрактность концептуальной структуры, которая отражает значение того или иного слова. Теперь мы видим, как имена впутывают нас в мир **за пределами** нашего сознания. Имя получает свое значение от некоего именователя, который выбирает звучание, чтобы указывать на некоего индивидуума или на некий класс; он же передает это по цепочке другим говорящим, собирающимся использовать его так же. Каждый из этих моментов в какой-то степени ироничен. Акт указывания и желание воссоздавать его связывают нас с реальностью, а не только с нашими идеями о реальности, хотя кто-то мог бы подумать, что одно невозможно отличить от другого. А выбор звучания соединяет нас с обществом таким образом, что становится очевидно великое противоречие общественной жизни человека — его желание вписаться в свое окружение и его желание быть уникальным.

Семь слов, которые нельзя произносить на телевидении



Свобода слова — это одна из основ демократии, поскольку без нее граждане не могли бы делиться своими наблюдениями на тему неразумности и несправедливости действий властей или же коллективно оспаривать их. Не случайно свобода слова упоминается в первой из десяти поправок к конституции, которые перечислены в «Билле о правах», а также является важной частью других деклараций основных свобод, таких как «Всеобщая декларация прав человека» и «Европейская конвенция прав человека».

Также очевидно, что свобода слова не может быть гарантирована в каждом конкретном случае. Высший суд США признает пять типов незащищенной речи, и четыре из этих исключений вполне сочетаются с логикой, стоящей за решением сделать свободу слова одной из основных постулируемых свобод. Обман и диффамация не защищены, поскольку они низвергают те основы, которые и делают слово достойным защиты, а именно: поиск и распространение правды. Также не подлежит защите отстаивание незаконного поведения и «подстрекательские слова», поскольку они существуют, чтобы вызывать рефлекторное поведение (как в случае, когда кто-то закричит «Пожар!» в переполненном людьми кинотеатре), а не для обмена мыслями.

И тем не менее пятая категория незащищенной речи — бранная лексика, — как кажется, вызывает к защите. Хотя некоторые слова и изображения, связанные с половой жизнью, и защищены, другие переходят весьма размытую и оспариваемую границу, оказываясь в категории «непристойная брань», и правительство вправе сделать их незаконными. В средствах теле- и радиовещания государство обладает еще

более широкими правами и может запрещать сексуальную и копрологическую лексику, которую оно классифицирует как «непристойность». Но почему же в условиях демократии вводятся санкции, позволяющие правительству насильственно удерживать народ от произнесения слов, связанных с двумя видами действия — сексом и выделением, — которые никому не наносят вреда и являются естественной частью человеческого существования?

Как в теории, так и на практике судебное преследование бранной речи является загадкой. На протяжении истории людей убивали и мучили за критику своего правительства, и это до сих пор является судьбой многих свободомыслящих людей в разных уголках мира. Однако в либерально-демократических странах борьба за свободу слова в целом выиграна. Каждый вечер миллионы людей смотрят, как ведущие ток-шоу свободно высмеивают умственные способности и порядочность лидеров своей нации. Разумеется, платой за свободу является постоянное бдение, и поборники прав и свобод человека и гражданина справедливо беспокоятся о возможных сокращениях речи, встречающихся в Законе об авторском праве, университетских речевых кодах и в Патриотическом акте США. И тем не менее в течение прошлого столетия наиболее знаменитые судебные баталии за свободу слова происходили совсем не из-за того, что мы могли бы ожидать, наученные историей, то есть не из-за попыток говорить правду власть предержащим, а из-за использования определенных слов при разговоре о совокуплении, половых органах, отверстиях в теле и выделениях. Вот ряд наиболее известных случаев:

- В 1921 г. отрывок из романа Джеймса Джойса «Улисс», опубликованный в журнале, был объявлен американским судом непристойным, вследствие чего книга была запрещена в США вплоть до 1933 г.
- «Любовник леди Чаттерлей» Д. Х. Лоуренса, написанный в 1928 г., не публиковался в Великобритании вплоть до 1960 г., после чего издательство *Penguin Books* судили (безуспешно) согласно «Акту о непристойных публикациях» 1959 г.
- «Леди Чаттерлей» была также запрещена в Соединенных Штатах вместе с «Тропиком Рака» Генри Миллера и «Фэнни Хилл» Джона Клеланда. После ряда судебных решений, отражавших изменения взглядов на половую жизнь, произошедших в 1960-е гг., запреты были сняты, что привело к важному решению верховного суда 1973 г.
- В период с 1961 по 1964 г. комика Ленни Брюса регулярно арестовывали за непристойность, запрещая его выступления во многих городах. Брюс умер в 1966 г. в процессе подачи апелляции на приговор, которым он был осужден на тюремное заключение

сроком на четыре месяца, вынесенный ему судом города Нью-Йорк, и в итоге был прощен губернатором Джорджем Патаки через тридцать семь лет после своей смерти.

- На *Pacifica radio Network* («Радио-сеть Пасифика») в 1973 г. Федеральной комиссией по коммуникациям (далее ФКК, FCC, *Federal Communications Commission*) был наложен штраф за трансляцию в эфире монолога Джорджа Карлина «Семь слов, которые нельзя произнести по телевидению» (*Seven Words You Can't Say on Television*). Верховный суд поддержал санкцию, постановив, что ФКК может воспрещать «непристойную» лексику в те часы, когда дети могут случайно наткнуться на ту или иную передачу.
- ФКК неоднократно штрафовала популярную радиопередачу Говарда Стерна, что привело к тому, что в 2006 г. Стерн перешел с классического радиовещания на спутниковое. Многие медиа-эксперты предсказали, что это станет поворотным пунктом в развитии популярности последнего в качестве одного из СМИ.

Другими мишенями для санкций были Кеннет Тинан, Джон Леннон, Боно, Ту-Лайв Крю, Бернард Маламуд, Элдридж Кливер, Курт Воннегут, Эрик Айдл, а также продюсеры мюзикла «Волосы» (*Hair*) и сериала *M*A*S*H* [1].

Судебное преследование богохульников, сквернословов, ругателей уходит корнями в историю. Третья заповедь гласит «Не произноси имени Бога своего всуе», а Левит [24:16] четко оглашает последствия: «А оскорбляющий имя Господа смерти да будет предан». Безусловно, прошлое столетие расширило границы областей, по поводу которых человек может нецензурно выражаться. Уже в 1934 г. Коул Портер мог написать следующие слова к песне: *Good authors, too, who once knew better words / Now only use four-letter words / writing prose. Anything goes. 'Хорошие авторы, что когда-то знали слова получше, сегодня используют только слова из четырех букв, пишут прозой, где все сойдет'*. Большинство знаменитых ругателей двадцатого века (пусть и посмертно) одержали верх, а многие из более недавних артистов, такие как Ричард Прайор, Ив Энслер и весь актерский состав мультсериала «Южный парк» (*South Park*) ругались безнаказанно. И все же до сих пор не «все сойдет». В 2006 г. Джордж У. Буш-младший подписал «Закон о принуждении к благопристойности на радио и телевидении» (*Broadcast Decency Enforcement Act*), в котором увеличил штрафы за непристойную лексику в десять раз, а повторным нарушителям пригрозил потерей лицензии.

Табуированный язык, таким образом, входит в удивительную область человеческих проблем — от преступлений, наказуемых смертной казнью согласно Библии, до будущего электронных СМИ. Он проводит границу свободы слова в либерально-демократических государствах, что проявляется не только в государственном контроле над СМИ,



но и в дебатах о расистской лексике, о подстрекательстве и сексуальной агрессии. И, конечно же, она играет роль в наших ежедневных оценках характеров людей и их намерений.

Называют ли их ругательствами, матерщиной, бранью, нецензурщиной, похабщиной, богохульством, непристойностями, вульгарностью, эпитетами или же грязными, матерными, табуированными словами или же плохими, грубыми, базарными, неприличными, перченными, крепкими, приземленными, непристойными или нецензурными — все эти выражения весьма озадачивают любого из тех, кого интересует язык как окно в человеческую природу. Страх и ненависть вызывают не сами понятия как таковые, поскольку органы и действия, ими называемые, имеют сотни вполне уважаемых синонимов. Не вызваны они и звуками, из которых складываются данные слова, поскольку многие из них имеют вполне приличные омонимы в качестве имен животных, названий действий и даже людей. Непечатное может стать печатным с помощью дефиса или звездочек, а произносимое вполне произносимым благодаря перемещению гласной или согласной с одного места на другое. То, что обладает сильнодействующим эффектом на человеческие эмоции, касается именно сочетания определенных значений с определенными звуками.

Шекспир писал: «...И все ж слова — Не больше чем слова; еще нет слуха, Чтоб сердце исцелялось через ухо»¹⁾. Однако большинство людей так не считают. ФКК, а также цензоры радио и телевидения не являются закоренелыми ханжами; они реагируют на большой демографический срез слушателей, которые буквально обрывают телефоны радио или телестанции, если тот или иной актер или приглашенный гость программы употребит в своей речи бранное слово. Для этих блюстителей приличия бранная речь, очевидно, является разлагающей, в особенности для детей и молодежи. Этот аргумент приводится невзирая на то, что абсолютно все с этими словами знакомы, включая большинство детей, и никто ни разу четко не объяснил, как именно факт того, что человек услышал некое слово, может пагубно отразиться на его морали.

Для свободомыслящих очевидно то, что лингвистические табу абсурдны. Настоящий моралист, как утверждают они, должен считать непристойными насилие и неравенство, а не секс и выделение. А подавление обиденных обсуждений секса только приводит к подростковой беременности, заболеваниям, передаваемым половым путем, и замене здоровой сексуальной энергии на разрушительное поведение. Дух прогрессивности помог Брюсу стать почитаемым мучеником среди художников и интеллектуалов: «Непревзойденная духовность и совесть» — писал о нем Ральф Дж. Глисон. «Святой Ленни — вот как надо бы

¹⁾ Шекспир У. Отелло. Акт I, сцена 3. Перевод М. Лозинского. В оригинале: ...Heart was pierced through the ear. '...Сердце было пронзено сквозь ухо.' — Прим. перев.

его называть; он умер за грехи наши» — писал о нем художник Эрик Богосян [2].

И тем не менее начиная с 1970-х гг. некоторые из прогрессивных слоев населения, которые восхищались Брюсом, ввели свои собственные лингвистические табу. В течение судебного процесса над О. Дж. Симпсоном, прокурор Кристофер Дарден назвал слово на букву «н»¹⁾ «самым грязным, самым низким, самым ужасным словом английского языка, которому нет места в зале суда». И тем не менее оно многократно проникало в зал суда, наиболее заметно во время процесса над Симпсоном, чтобы доказать, что офицер полиции был расистом, а также в других процессах, чтобы определить. Можно ли уволить человека, употребившего это слово, или извинен за нападение на кого-либо, употребившего это слово [3]. А в «новом викторианстве» самые незначительные сексуальные аллюзии, даже не имеющие в своей основе никакого определенного сексизма, могут считаться формой сексуальной агрессии, как в случае высказываний Клэренса Томаса о порнозвездах и лобковых волосах [4]. Так что даже те люди, которые поносили типичных блюстителей морали, могут страшно оскорбиться, если услышат какие-то слова из своего собственного списка табу.

Другой загадкой из области бранной лексики является тот спектр тем, которые становятся мишенями для наложения табу [5]. Семь слов, которые нельзя произносить на телевидении, относятся к сексуальности и выделению: это названия для испражнений, мочи, полового акта, влагалища, женских грудей, человека, занимающегося оральным сексом, и кого-то, кто решил привести в исполнение то же желание, что было у Эдипа. Но смертный грех согласно десяти заповедям происходит из другой области — теологии, табуированная лексика во многих языках относится к аду, божествам, мессиям, их мощам и прочим частям тела. Еще одна семантическая область, которая порождает слова-табу в языках мира, — это смерть и болезни, а еще одна — это презируемые категории людей, такие как предатели, враги и второстепенные этнические группы. Но что же все эти понятия — от молочных желез и мессий до заболеваний и меньшинств — могут иметь между собой общего?

Последней загадкой, касающейся бранной лексики, является умопомрачительный спектр обстоятельств, при которых мы ее используем. Существует брань, облегчающая боль, как когда мы попадем молотком по пальцу или опрокинем на стол кружку пива. Существуют проклятия, подобные тем, что мы посылаем в виде имени или совета кому-то, кто «подрезал» нас на трассе. Существуют вульгарные термины для повседневных вещей и занятий, как в случае ответа Бесс Труман на вопрос, не может ли она заставить мужа говорить «удобрение» (fertilizer) вместо слова «навоз» (manure): «Вы не представляете себе, чего

¹⁾ Имеется в виду слово «негр». — Прим. перев.

мне стоило заставить его говорить „навоз“». Существуют фигуры речи, которые применяют непристойную лексику в другом ключе, как, например. «фермерский» эпитет, означающий «неискренность»¹⁾, или армейское сокращение snafu²⁾, а также гинекологически-уничажительный термин для обозначения господства жены над мужем. Затем еще существуют нецензурные выражения, похожие на прилагательные, которые не несут никакого смысла, а как бы добавляют перчику в нашу речь и, в основном, пестрят в речи солдат, подростков, австралийцев и других, предпочитающих свободный стиль речи.

Эта глава посвящена загадке сквернословия — тому шоку и той привлекательности, которой для нас обладают такие слова, как fuck, screw и come (обсценные глаголы, обозначающие половой акт или его фазу); piss и fart (обсценные глаголы выделения); cunt, pussy, tits, prick, cock, dick и asshole (обсценные обозначения половых органов и заднего прохода); bitch, slut и whore (обсценные обозначения женщины легкого поведения); bastard, wanker, cocksucker и motherfucker (ругательства, связанные с половой сферой); hell, damn и Jesus Christ (ругательства, связанные с религиозной сферой), faggot, queer и dyke (ругательства, адресуемые гомосексуалистам); spick, dago, kike, wog, mick, gook, kaffir и nigger (расистские ругательства)³⁾. Мы рассмотрим биологические корни сквернословия, области жизнедеятельности, которые порождают табуированные слова, и случаи, в которых люди их употребляют. А в заключение я попытаюсь ответить на вопрос, почему эти слова не просто неприятны, но являются табу, почему даже читать или слышать их нам кажется чем-то развращающим, — а затем я предложу ряд соображений о том, что же нам делать со сквернословием.

Сквернословы

Как и язык вообще, сквернословие можно назвать универсальным, хотя и с оговорками^[6]. Разумеется, сами точные слова и понятия, считающиеся табу, различаются и с точки зрения времени, и с точки зрения географии. В ходе истории того или иного языка мы нередко наблюдаем, как незапятнанные слова становятся «грязными», а «грязные» слова — приличными^[7]. Большинство говорящих по-английски сегодня с удивлением прочитали бы в медицинском учебнике, что «у женщин шейка мочевого пузыря короткая и крепится к пизде (cunt)», хотя Оксфордский словарь английского языка (*Oxford English Dictionary*) приводит эту цитату из источника пятнадцатого столетия.

1) Bullshit — букв. 'бычье дерьмо'. — Прим. перев.

2) Situation Normal All Fucked Up 'Ситуация нормальная, все через задницу'. Ср. ВНВП: Все нормально, всем п*****. — Прим. перев.

3) Здесь в скобках — пояснения переводчика.



Документируя подобные изменения, историк Джеффри Хьюз заметил: «Те дни, когда одуванчик (dandelion) можно было назвать pissabed *‘писающем в кровать’*, цаплю (heron) величать shitecrow *‘сраным вороном’*, а пустельгу (windhover) — windfucker *‘совокупляющей на ветру’*. миновали вместе с избытком фаллической рекламы того мешочка, что когда-то одевали для защиты гениталий»^[8]. Меняющаяся судьба табуированных слов может нанести удар по произведению литературы. «Гекльберри Финн» был мишенью для неоднократных запретов в американских школах, поскольку nigger *‘негр’*, никогда не являвшийся уважительным термином, сегодня гораздо более оскорбителен, чем он был в том месте и в те времена, когда писал Марк Твен.

Слова могут также со временем сбрасывать с себя клеймо табу. Когда Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» премило произнесла Not bloody likely *‘К чертям собачьим!’* во время чаепития с людьми из высшего сословия, она не только опозорила своих вымышленных спутников, но и шокировала публику, пришедшую посмотреть эту пьесу на сцене в 1914 г. Однако к тому моменту, когда в 1956 г. пьесу переделывали в мюзикл «Моя прекрасная леди» (*My Fair Lady*), слово bloody *‘чертовский’* стало настолько обыденным, что сценаристы, дабы публика оценила юмор ситуации, добавили сцену, в которой Элизу берут на скачки Эскота, и она там кричит лошади Move your bloomin arse! *‘Двигай свой ленивой задницей!’* Многие родители приходят в ужас, когда их дети приходят из школы и, желая сказать, что дела у них «не ладятся, идут плохо», с невинным видом произносят глаголы suck, букв. *‘сосать’*, bite, букв. *‘кусать’*, blow, букв. *‘дуть’*, ничего не подозревая об их происхождении из обозначений фелляции. Но те же самые родители, наверняка, не задумываясь, произносят такие безобидные сегодня слова, как sucker *‘кто-то, доставляющий какие-либо трудности или неприятности; негодяй’*, букв. *‘сосун’*, от cocksucker, jerk *‘дурак, козел, придурок’* (от jerk off, груб. *‘мастурбировать’*) или scumbag *‘подонок, негодяй’* (ранее слово означало *‘презерватив’*). Прогрессивные комики пытались ускорить этот процесс с помощью столь многократного повторения непристойностей, что к ним становились нечувствительны (процесс, который психолингвисты называют семантическим пресыщением), или на мгновение превращались в профессоров лингвистики и зывали к принципу случайности этих слов в качестве знаков. Вот отрывок из одного из наиболее известных номеров комика Ленни Брюса:

Toooooo is a preposition. To is a preposition. Commmmmme is a verb. To is a preposition. Come is a verb. To is a preposition. Come is a verb, the verb intransitive. To come. To come... It's been like a big drum solo. To come to come, come too come too, to come to come uh uh uh uh uh um um um um uh uh uh uh uh — TO COME! TO COME! TO COME! TO COME! Did you come? Did you come? Good. Did you come good? Did you come good? Did you come? Good. To. Come. To. Come—Didyoucomegood? Didyoucomegooddidyoucomegood?

Жееее — это частица. Же — это частица. Кончатъ — это глагол. Же — это частица. Кончатъ — это глагол. Же — это частица. Кончатъ — это глагол, непереходный глагол. Кончай же!. Кончай же!.. Это как соло на барабане. Кончай же. Кончай же, кончай же, кончай же. Кончай же. Кончай же, ах-ах-ах-ах-ах-ам-ам-ам-ам-ам-ах-ах-ах-ах-ах-ах — КОНЧАЙ ЖЕ! КОНЧАЙ ЖЕ! КОНЧАЙ ЖЕ! ты кончил? ты кончил? хорошо. ты хорошо кончил? Ты хорошо кончил? Ты кончил? Хорошо. Кончай же. Кончай. Же. Кончай. Же. Тыхорошокончил? Тыхорошокончилтыхорошокончил?^[9]

А вот отрывок из монолога Карлина «Семь слов...»:

Shit, Piss, Fuck, Cunt, Cocksucker, Motherfucker, and Tits, wow. Tits doesn't even belong on the list, you know. It's such a friendly sounding word. It sounds like a nickname. «Hey, Tits, come here. Tits, meet Toots, Toots, Tits, Tits, Toots.» It sounds like a snack doesn't it? Yes, I know, it is, right. But I don't mean the sexist snack, I mean, New Nabisco Tits. The new Cheese Tits, and Corn Tits and Pizza Tits, Sesame Tits Onion Tits, Tater Tits, Yeah.

Говно, ссаки, ебать, пизда, вафлер, мудака и сиськи — вау. Знаете, сиськи даже не должны входить в этот список. Это слово настолько дружелюбно звучит. Прямо как прозвище. «Эй, Сиська. Иди сюда, Сиська, познакомься, — это Титька. Титька, Сиська, Сиська, Титька». Звучит не хуже названия какого-нибудь закусона, не правда ли? Да, я знаю, это в самом деле так. Но я не имею в виду какой-нибудь сексистский закусон, я, скорее, про Новые Сиськи от «Набиско»¹⁾. Новые Сиськи с сыром, Кукурузные сиськи и Сиськи со вкусом пиццы, Сиськи с кунжутом и луком, Картофельные сиськи, да-да.

Сегодня tits 'сиськи' — вполне допустимое слово и больше не входит в «Закон о чистоте эфира» (*Clean Airwaves Act*) (его даже можно печатать в «Серой леди», то есть газете «Нью-Йорк Таймс»). Но некоторые слова остаются табуированными на века, а то, какие из них вдруг становятся чище или, наоборот, грязнее, столь же непредсказуемо, как взлет и падение имени **Стив**^[10].

Похожие кампании по десенсбилизации проводились и по отношению к эпитетам, касающимся женщин и меньшинств, которые часто стремятся «перевоспитывать» определенные слова, постоянно используя их между собой. Так, мы имеем *Niggaz With Attitude* («Воинствующие ниггеры», группа в стиле хип-хоп); *Queer Nation* («Нация гомиков»), научные исследования «голубых» и *Queer Eye for the Straight Guy*²⁾; *Dykes on Bikes* («Розовые девочки на великах», клуб лесбиянок-велосипедисток) и сайт www.classicydikes.com (груб. 'классические лесбиянки'); *The Phunky Bitches* («Сучки, предпочитающие фанк») — община (в реальном времени) для женщин и мужчин, которым нравится живая музыка,

¹⁾ Американская компания по производству крекеров, чипсов, печенья. — *Прим. перев.*

²⁾ «Голубой взгляд на нормального парня», популярная передача о моде и стиле на одном из кабельных каналов в США. — *Прим. перев.*

путешествия и куча других вещей. Я еще ни разу не слышал о собраниях прихожан какой-нибудь синагоги, в которых бы собравшиеся приветствовали друг друга словами «Как дела, жид?», но в 1970-е гг. писатель Кинки Фридман был вокалистом кантри-бенда под названием *The Texas Jewboys* («Жидоковбой из Техаса»), а еще существует популярный среди еврейской молодежи журнал *Heeb*¹⁾. В то же самое время данные термины не столько стали нейтральными, сколько ими «щеголяют» в качестве вызова и из солидарности именно потому, что они до сих пор **являются** оскорбительными в большой языковой общине. Горе тому чужаку, кто не понимает этого, подобно детективу из Гонконга, сыгранному Джеки Чаном в фильме «Час пик», который, подражая своему афро-американскому партнеру, с невинным видом приветствовал черных посетителей бара в Лос-Анджелесе словами «Как дела, мой негр?», из-за чего тут же началась небольшая потасовка.

Сила воздействия определенных слов может еще сильнее различаться от одного языка к другому^[11]. В квебекском варианте французского языка, слово *merde*, груб. *'дерьмо'* намного слабее, чем его английский эквивалент²⁾, являясь более близким к слову *crap*, разг. *'дерьмо'*; также большинство говорящих в лучшем случае слабо осведомлены о исконном значении слова *con* *'идиот'*, восходящим к слову *sunt* *'низда'*. При этом одни из наиболее ужасных слов, которые вы могли бы там произнести, — это *Tabernacl!*, церк. *'рака'*, *Calisse!*, церк. *'потир'* и *Sacrement!*, церк. *'таинство'*. В 2006 г. католическая церковь постаралась вернуть себе эти слова, разместив с ними биллборды, где снизу были подписаны их оригинальные (религиозные) определения. (Один колумнист посетовал: «Ну неужели уже нет ничего святого?») Ругательства с использованием религиозных терминов приняты в других католических странах: до Реформации в Англии была та же ситуация, и только после сексуальные и копрологические термины начали брать верх^[12].

Однако несмотря на вариации, связанные со временем и местом, можно смело заявить, что в большинстве языков или даже во всех имеются эмоционально окрашенные слова, которые нельзя использовать в приличной беседе. Пожалуй, наиболее экстремальным примером является **дирбал**, один из языков аборигенов Австралии, где **любое** слово является табуированным, если оно произносится в присутствии тещи и определенных кузин. Говорящим приходится использовать совершенно другой язык (правда, с той же самой грамматикой) в компании данных родственниц. В большинстве других языков табуированная лексика происходит из того же короткого списка тем, откуда черпают свои

¹⁾ От Hebrew *'еврей'* или *'иврит'*. — *Прим. перев.*

²⁾ *Shit*. — *Прим. перев.*

ругательства английский и французский языки: секс, выделение, религия, смерть и болезни, а также ряд непопулярных групп населения^[13].

К утверждениям, что сквернословие полностью отсутствует в том или ином языке, нужно относиться с долей иронии. Действительно, если попросить носителей языка перечислить их ругательства, то во многих местах вы столкнетесь с замешательством. Но ругательства существуют бок о бок с лицемерием до такой степени, что некоторые психологические тесты-проверки рассматривают ответы типа «Я иногда ругаюсь» как верный признак лжи. В своей книге *Expletive Deleted: A good look at Bad Language* («Ругательство опущено: Хороший взгляд на дурной язык») Руфь Вайнриб пишет:

Один из моих информантов, англичанин, женатый на японке, задал своей жене ряд вопросов, которые я подготовила, чтобы получить кое-какие данные о японском языке. Она сказала ему, что помочь не может, потому что не знает никаких японских ругательств. Заметьте, что она заявила это с наивно-невинным видом своему мужу, который из первых рук был прекрасно осведомлен (как и она сама знала о том, что он в курсе) о ее знаниях по данному вопросу^[14].

Обзор в журнале под названием *Maledicta: The international Journal of Verbal Aggression* («Maledicta: международный журнал о вербальной агрессии») дает обширный список японских сексуальных ругательств и вульгарных терминов, а другие межкультурные анкетирования, публикуемые в данном издании, также очень похожи на это^[15].

Табуированная лексика является частью большого феномена, известного как магия слов^[16]. Хотя одной из основ лингвистики является постулат, что соединение в пару ряда звуков и определенного значения является произвольным, большинство людей интуитивно убеждены в обратном. Они относятся к имени того или иного существа как части его сущности, так что даже просто акт произнесения имени считается актом, посягающим на его референта. Заклинания, колдовские заговоры, молитвы и проклятия — это пути, по которым люди пытаются повлиять на мир с помощью слов, а табу и эвфемизмы — это пути, по которым люди стараются не влиять на него. Даже самые закоренелые материалисты порой стучат по дереву после упоминания какого-то желанного события или вставляют фразу «Боже упаси» (God forbid) после упоминания о чем-то, чего опасаются, и, возможно, по этой же причине Нильс Бор повесил подкову на дверь своего офиса со словами: «Говорят, она работает, даже если ты в это не веришь».

Мозг-богохульник

Вездесущность и власть сквернословия говорит о том, что табуированные слова могут задевать глубокие и древние уголки нашего эмоционального сознания. В первой главе мы увидели, что у слов существует

как денотат, так и коннотат: некую эмоциональную окраску, отличную от буквального значения, как в словах «принципиальный» и «упрямый», в словах «стройный» и «костлявый». Разница напоминает то, как отличаются слова-табу и их синонимы, как, например, «говно» и «фекалии», «пизда» и «вагина», «ебаться» и «заниматься любовью». Психолингвисты определили три основных категории, по которым коннотации слов отличаются друг от друга, уже давно: положительный — отрицательный, сильный — слабый, активный — пассивный^[17]. «Герой», например, имеет положительную коннотацию, а также активную, тогда как «трус» — отрицательную, слабую и пассивную; «предатель» — это отрицательное, слабое и активное слово. Табуированные слова сконцентрированы на самых отрицательных и самых сильных краях пространства, хотя коннотации вне всякого сомнения имеют и другие измерения.

Хранятся ли коннотации и денотации в различных частях головного мозга? Это не кажется нам невероятным. В мозгу млекопитающих, помимо многих других вещей, имеется лимбическая система — древняя система, регулирующая мотивацию и эмоции, а также неокортекс (новая кора) — неровная поверхность мозга, которая резко выросла в ходе эволюции человека и в которой находятся восприятие, рассудок и способность планировать. Эти две системы взаимосвязаны и работают сообща, но весьма вероятной представляется идея, что денотации слов сконцентрированы в неокортексе, особенно в левом полушарии, тогда как коннотации тех же слов распределены по каналам, соединяющим новую кору с лимбической системой, особенно в правом полушарии^[18].

Весьма вероятным подозреваемым внутри лимбической системы является амигдала, орган миндалевидной формы, расположенный посередине височной доли головного мозга (по одному с каждой стороны), помогающий придавать чувства воспоминаниям^[19]. Обезьяна, у которой удалены обе амигдалы, может научиться распознавать новую геометрическую форму, как, например, полосатый треугольник, но ей будет тяжело запомнить, что данная форма предвещает какое-нибудь неприятное событие, скажем, электрический шок. У людей «загораются» амигдалы — видна более интенсивная метаболическая активность в снимках мозга, если человек видит рассерженное лицо или неприятное слово, в особенности табуированное^[20]. Еще задолго до того как психологи получили возможность делать снимки работы мозга, они могли измерить эмоциональный удар, полученный от окрашенного слова, с помощью прикрепления электрода к пальцу человека и измеряя таким образом изменения в проводимости кожи, вызванные внезапным приливом пота. Реакция кожи сопровождает деятельность внутри амигдалы, и, как и активность, зарегистрированная в самой амигдале, она может быть вызвана табуированной лексикой^[21]. Эмо-

циональный привкус слов как будто бы усваивается еще в детстве: люди-билингвы часто считают свой второй язык не таким «пикантным», как родной, а их кожа реагирует сильнее, если они слышат табуированные слова и замечания на своем родном языке, нежели на втором по важности [22].

Невольное вздрагивание, вызванное услышанным или прочитанным табуированным словом, происходит от одной из основных свойств языковой системы: понимание значения того или иного слова является автоматическим. Дело не в том, что у нас нет ушных век, чтобы отвлечь от нежелательных звуков, но в том, что, если то или иное слово уже увидено или услышано, мы просто не можем относиться к нему как к какой-то закорючке или шуму — мы рефлексивно залезаем в словарь нашей памяти и реагируем на его значение, включая коннотацию. Классической иллюстрацией является эффект Струпа (*the Stroop effect*), включенный в любой учебник по введению в психологию и послуживший темой более четырех тысяч научных статей. Группу людей просят посмотреть на цепочку слов и произнести вслух название цвета чернил, которым написано каждое из них. Прочтите следующий список, по очереди произнося «черный», «белый» или «серый» и двигаясь слева направо:

word word word word word word

Все должно получаться довольно легко. Теперь следующая строчка, еще проще:

gray white black white black gray

А вот эта строчка во много раз сложнее:

white black gray black gray white

Г
Л
А
В
А

Объяснение этому в том, что для большинства грамотных взрослых, чтение — это настолько хорошо заученный навык, что оно становится обязательным: вы не можете усилием воли «выключить» этот процесс, даже если вы стараетесь намеренно игнорировать слова и обращать внимание только на цвет чернил. Вот почему вам помогало то, когда экспериментаторы распределяют цвет чернил так, чтобы они также называли и сам цвет, и почему процесс замедлялся, если они устанавливали цвет чернил для другого слова. Нечто подобное происходит и с устной речью. Когда людей просят назвать кусочки, подобные вот этим:



задание значительно усложняется, если некий голос произносит в наушники ряд других названий цветов, например «черный, белый, серый, белый, серый, черный»^[23].

Теперь табуированные слова особенно эффективны в привлечении внимания читателя. Вы можете прочувствовать эффект с помощью теста Струпа. Попробуйте назвать цвет чернил в каждом из нижеприведенных слов:

cunt shit fuck tits piss asshole

Психолог Дон Маккей провел такой эксперимент и обнаружил, что люди и в самом деле замедляются в некотором невольном ступоре, как только их глаза встречаются с каждым из этих слов^[24]. Плюс в том, что говорящий или писатель может использовать табуированное слово, чтобы вызвать эмоциональную реакцию публики, вне зависимости от ее пожелания.

Некоторые компании эксплуатировали подобный эффект, давая своим продуктам названия, схожими с табуированным словом, дабы привлечь к себе внимание людей, как, например, сеть ресторанов под названием «Фаддракерс» (*Fuddruckers*), марка одежды *FCUK (French Connection UK)*, а также фильм «Знакомство с Факерами» (*Meet the Fockers*). Невольные реакции на табуированную лексику на самом деле могут изменять форму языка в ходе его истории, согласно лингвистической версии закона Грешама: плохие слова выводят хорошие слова из употребления. Люди часто стараются избегать совершенно невинных слов, опасаясь, что вместо них могут услышать ругательство. *Soney* — старинное слово, означавшее «кролик», которое рифмуется с *honey* «мед», вышло из употребления в конце девятнадцатого века, вероятно, оттого что звучало слишком схоже со словом *cunt* «низда»^[25]. То же самое происходит и с вежливыми значениями таких слов, как *sosk* «немух», *prick* «укол», *pussy* «кошка», *booty* «трофеи», *ass* «осел» (по крайней мере, в Америке; в Великобритании грубым словом по-прежнему является *arse*). Люди с фамилиями **Кок** (*Koch*), **Фукс** (*Fuchs*) и **Липшиц** (*Lipschitz*) часто меняют их, как сделала это семья писательницы Луизы Мей Элкотт, в прошлом *Элккс*. В 1999 г. помощнику мэра г. Вашингтона пришлось добровольно подать в отставку после того, как он назвал на собрании отдела свой бюджет «скудным» (*niggardly*). Одного из работников это оскорбило, хотя слово *niggard* произошло из среднеанглийского и означает «жалкий, скупой», не имея ничего общего с эпитетом, основанном на слове *negro* (испанском слове, означающим «черный», которое пришло в английский язык на несколько столетий позже)^[26]. Хотя это, возможно, и несправедливо, как по отношению к помощнику мэра, так и к по отношению к слову, *niggardly* обречено. Та же участь ждет и оригинальные значения слов *queer* «странный» и *gay* «веселый».

Когда мы сквернословим вслух, так же как и когда мы слышим, как ругаются другие, затрагиваются глубокие и наиболее древние участки головного мозга. Афазия — потеря речи, как правило, вызванная повреждением коры головного мозга и расположенного под ней по горизонтальной борозде (борозде Сильвия) белого вещества в левом полушарии головного мозга^[27]. Практически столь же долго, сколько неврологи изучают афазии, они замечают, что пациенты сохраняют способность сквернословить^[28]. В одном исследовании некоего британского афазика было записано, что он неоднократно произносил *bloody hell*, букв. ‘*чертов ад*’, перен. ‘*черт возьми*’, *fuck off*, перен. ‘*пошел на хуй!*’, *fucking fucking hell cor blimey*, перен. ‘*еб твою богу душу мать*’ и *oh you bugger*, перен. ‘*эх ты, пидор!*’ Невролог Норман Гершвинд изучал американского пациента, все левое полушарие которого было полностью удалено по причине рака мозга. Пациент не мог назвать, что изображено на картинке, не мог говорить и понимать предложения или произносить многосложные слова, и тем не менее в течение пятиминутного интервью он произнес *goddammit!* ‘*черт побери!*’ семь раз и по одному раз *god!* ‘*боже!*’ и *shit* ‘*говно!*’^[29].

Сохранение сквернословия при афазии предполагает то, что табуированные эпитеты хранятся в виде готовых формулировок в правом полушарии^[30]. Подобные формулы лежат на противоположном конце континуума по отношению к пропозициональной речи, в которой комбинации слов выражают комбинации идей согласно определенным грамматическим правилам. Нельзя сказать, что правое полушарие содержит некий отсек сквернословия; скорее, верно то, что его лингвистические способности ограничиваются выученными формулировками, а не комбинациями, построенными согласно определенным правилам. Слово — это квинтэссенция некоего заученного «кусочка», и у многих людей в правом полушарии расположен довольно приличный вокабуляр слов, во всяком случае в плане их восприятия (понимания). Правое полушарие также иногда может хранить идиосинкразические соответствия формам, управляемым определенными правилами, например, неправильные глаголы^[31]. Нередко оно также управляет и более длинными формулами, такими как длинные тексты песен, молитв, слова-паразиты типа *um* ‘*мм...*’, *boy* ‘*господи*’, *well yes* ‘*ну да*’, а также вводные выражения типа *I think* ‘*я думаю, что...*’, *You can't* ‘*нельзя*’.

Правое полушарие может быть затронуто при сквернословии по другой причине: оно более вовлечено в эмоции, в особенности, в эмоции негативные^[32]. И тем не менее возможно, что эпитеты вызываются не в правом полушарии, а в более старой с точки зрения эволюции структуре головного мозга — базальных ганглиях^[33]. Базальные ганглии — это ряд пучков нейронов, упрятанных глубоко в передней части мозга. Их диаграмма принимает информацию из многих других участ-

ков мозга, включая амигдалы и прочие участки лимбической системы, и заворачивает обратно в кору, главным образом в лобные доли. Одной из их функций является составление программ, состоящих из цепочек движений или определенной последовательности ступеней размышления, в виде порций информации, которую можно преобразовывать и далее, как когда мы осваиваем то или иное мастерство. Другая функция — предотвращать выполнение действий, содержащихся в этих порциях информации^[34]. Компоненты базальных ганглий подавляют друг друга, так что повреждения различных их участков могут иметь противоположный эффект. Дегенерация одного участка базальных ганглий может вызвать болезнь Хантингтона, в результате чего может начаться хорей и неконтролируемые движения.

Базальные ганглии, выполняющие роль составителя программы и сдерживающего элемента поведения, связаны со сквернословием по двум имеющимся свидетельствам. Одно — это исследование мужчины, перенесшего инсульт правой нижней базальной ганглии, из-за чего у него появился синдром, зеркально отражающий классическую афазию^[35]. Он мог свободно разговаривать, строя грамматически правильные предложения, но он не мог петь известные ему ранее песни, читать наизусть хорошо знакомые молитвы или благословения или сквернословить — даже если начальные буквы ругательств ему были даны и нужно было лишь завершить их.

Базальные ганглии сыграли более заметную роль в деле о сквернословии, благодаря синдрому, незнакомому большинству людей до 1980-х гг., когда внезапно о нем появились десятки репортажей: синдрому Жюль де ля Туретта (*Gilles de la Tourette*) — болезни Туретта, или, кратко, *Tourette's*^[36]. Синдром Туретта — это плохо изученное неврологическое заболевание, которое связано с аномалиями, частично наследственными, именно в базальных ганглиях. Как хорошо известно каждому любителю полежать на диване и посмотреть телевизор, самый яркий симптом данного заболевания — это голосовой тик, состоящий из выкрикивания непристойностей, табуированных этнических терминов и других форм вербальной агрессии^[37]. Этот симптом называется **копролалия** (навозная речь), от греческого корня, который мы также найдем в словах *sorrophilous* ‘копрофильный’, то есть ‘живущий в навозе’, *sorrophagy* ‘копрофагия’, питание экскрементами, или *soprolite* ‘копролит’, фоссилизованный экскремент динозавра. На самом деле копролалия проявляется только у небольшого числа страдающих синдромом Туретта, более распространенными тиками являются моргание, судороги, звуки, как бы прочищающие горло, а также повторение слов или слогов.

Копролалия демонстрирует полный спектр табуированной лексики и включает в себя слова с похожими значениями в различных языках, это наводит на мысль, что сквернословие — на самом деле



скоординированный неврологический феномен. Недавний обзор литературы дает следующий список слов, употребляемых американскими пациентами с болезнью Туретта, от наиболее частых до крайне редких:

fuck 'ебать', shit 'говно', cunt 'пизда', motherfucker 'еб твою мать', prick 'член', dick 'хуй', cocksucker 'вафлер', nigger 'негр', cockey 'член', bitch 'сука', pregnant-mother 'беременная мать', bastard 'ублюдок', tits 'сисьюки', whore 'блядь, шлюха', doody 'какашка', penis 'пенис', queer 'голубой', pussy 'письюка', coitus 'коитус', cock 'хуй', ass 'жопка', bowel movement 'испражнения', fangu (итал., то же, что и fuck), homosexual 'гомосексуалист', screw 'трахаться', fag 'нидор', faggot 'недераст', schmuck (из идиша schm + (f)uck = schmuck), blow me 'отсоси', wor (обидное прозвище, даваемое американцами итальянским иммигрантам)¹⁾ [38].

Пациенты могут также составлять более длинные выражения типа Goddamit 'Черт побери', You fucking idiot 'ты ебанный идиот', shit on you 'хрен с тобой', fuck your fucking fucking cunt 'пошел ты в ебаную пизду'. Список испано-говорящих пациентов включает в себя слова puta 'блядь', mierda 'говно', сопо 'пизда', joder 'ебаться', maricon 'педик', cojones 'яйца', hijo de puta 'сукин сын' и hostia 'облатка'. Список из Японии включает в себя слова sukebe 'распутный', chin chin 'хуй', bakatara 'глупый', dobusu 'некрасивый', kusobaba 'грязная старуха', chikusho 'сын шлюхи', а также пустое место в списке, неприметно обозначенное как «женские половые органы». Существует даже отчет о глухом пациенте с синдромом Туретта, который показывал слова fuck и shit с помощью американской кинетической речи.

Люди с синдромом Туретта считают свои выкрики не буквально невольными, но реакцией на непреодолимое желание это произнести, во многом сходное с непреодолимым желанием почесаться или нарастающим желанием моргнуть или зевнуть. Эта война между нежелательным импульсом и силами самоконтроля напоминает один из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), который называется «ужасные соблазны» — маниакальный страх, что кто-то может совершить нечто ужасное, как, например, закричать «Пожар!» в переполненном кинотеатре или столкнуть кого-то с платформы в метро. Как и синдром Туретта, которым оно часто сопровождается, ОКР по всей видимости связано с дисбалансом между педалью тормоза и акселератором, находящимися в базальных ганглиях. Это приводит к мысли, что одна из ролей базальных ганглиев состоит в определении некоторых мыслей и желаний как недопустимых — табу, — дабы мочь с ними справляться. С помощью маркирования, инкапсулирования и подавления данных мыслей базальные ганглии разрешают парадокс того, что

¹⁾ Сайт www.urbandictionary.com дает две этимологии: 1) wor — аббревиатура от Without Papers 'без документов', многие итальянские иммигранты не имели при себе документов, удостоверяющих личность; 2) от итал. гуарро 'хулиган, бандит'. — Прим. перев.

человеку нужно подумать о недопустимом, чтобы знать, о чем именно не следует думать, — причина, по которой у людей с трудом получается следовать инструкции «Не думайте о белом медведе»^[39]. Как правило, базальные ганглии могут скрывать наши дурные мысли и действия с помощью определителя «туда не ходить», но, когда они ослабевают, шкатулки и засовы могут сломаться и мысли, на которые мы ставим ярлык недопустимых или неприемлемых, начинают заявлять о себе.

У людей, не имеющих подобных нарушений, так называемые исполнительные системы головного мозга (состоящие из предлобной коры и еще одной части лимбической системы — передней *cingulate cortex*) могут контролировать поведение, исходящее из других участков мозга и по ходу дела аннулировать его. Возможно, отсюда и появились искаженные ругательства, которые мы используем в приличном обществе и которые служат в качестве наиболее сильных эпитетов, исходящих из уст викариев и незамужних тетюшек, когда они обо что-то спотыкаются. Любая из стандартных непристойностей предлагает нам целый ряд подчищенных альтернатив:

Вместо слова God ‘Бог’: egad, gad, gadzooks, golly, good grief, goodness gracious, gaosh, Great Caesar’s Ghost, Great Scott.

Вместо слова Jesus ‘Иисус’: gee, gee whiz, gee willikers, geez, jeepers creepers, Jiminy Cricket, Judas Priest, Jumpin’ Jehoshaphat.

Вместо слова Christ ‘Христос’: crikes, crikey, criminy, cripes, crumb.

Вместо слова damn ‘проклятье’: dang, darn, dash, dear, drat, tarnation (eternal damnation).

Вместо слова goddam ‘черт возьми’: consarnm dadburn dadgum, doggone, goldarn.

Вместо слова shit ‘говно’: shame, sheesh, shivers, shoot, shucks, squat, sugar.

Вместо слова fuck/fucking ‘ёб/ебать’: fiddlesticks, fiddledeedee, foo, fudge, fug, fuzz, effing, flaming, flipping, freaking, frigging.

Вместо слова bugger ‘гомосексуалист’: bother, boy, brother.

Вместо слова bloody ‘чертов’: blanking, blasted, blazing, bleeding, bleeping, blessed, blighter, blinding, blinking, blooming, blow^[40].

В «Пигмалионе» экономка призывает Генри Хигинса не сквернословить в присутствии Элизы:

Миссис Пирс (твердо): ... Но есть одно слово, которое я самым настоящим образом прошу не употреблять. Девушка только что сама произнесла это слово, стукнувшись о дверь. Кстати, оно начинается на ту же букву. Девушке простительно, сэр, она с детства ничего другого не слышала. Но она не должна слышать этого слова от вас.

Хигинс (надменно): Не припоминаю, чтобы я когда-нибудь произносил это слово, миссис Пирс. [Миссис Пирс пристально смотрит на него.

Он вынужден добавить с мнимым беспристрастием судьи] Разве в редкие минуты крайнего и справедливого возмущения.

Миссис Пирс: Еще сегодня утром, сэр, вы помянули этим словом свои ботинки, масло и хлеб.

Хиггинс: Вот как! Но это же просто метафора, вполне естественная в устах поэта.

Метафоры, вполне естественные в устах поэта, являются источником большинства эфемизмов табуированной лексики. Аллитерация и ассонанс используются в переделанных ругательствах из того списка, который мы с вами только что рассмотрели выше. Рифма дала нам слова ruddy, букв. *'ржавый'* вместо bloody, перен. *'проклятый'*, son of a gun, букв. *'воин, солдат'* вместо son of a bitch *'сукин сын'*, а также десятки замен табуированных слов, используемые в сленге кокни, такие как raspberry fart, букв. *'малиновый пердеж'* вместо raspberry tart *'малиновый пирог'* и Friar, букв. *'монах'* вместо fuck, здесь груб. *черт* (из-за выражения Friar Tuck *'брат Тук'*). Рифма также привела к появлению стереотипного французского ругательства sacre Bleu! *'черт возьми!'*, букв. *'святой голубой'*, образованного по аналогии с Sacre Dieu! *'Святой Боже!'*

Поэтические средства, как правило, повторяют одну из ментальных структур, которые организуют слова у нас в голове, такие как начало, рифма или кода^[41]. Фонологи также обнаружили структуры, которые являются более абстрактными, чем вышеперечисленные. Слоги, составляющие слово, прикрепляются к скелету, который задает ритмический размер, а также его разделение на морфемы^[42]. Когда части такого лингвистического скелета повторяются в поэзии или риторике, мы получаем средство, именуемое «структурный параллелизм» (как в двадцать третьем псалме: «Он укладывает меня на зеленых пастбищах / Он ведет меня вдоль тихих вод»). В сквернословии мы видим структурный параллелизм во множестве эфемизмов слова bullshit, букв. *'бычья дерьмо'*, груб. *'чушь, ложь, обман'*, которые имеют лишь общую ритмическую и морфологическую структуры. Многие термины для слова *'неискренность, ложь'* являются сложными словами, состоящими из двух слов с ударением на каждом из них, либо моносиллабическим, либо трохейным, с основным ударением на первом слоге:

applesauce, balderdash, blatherskite, claptrap, codswallop, flapdoodle, hogwash, horsefeathers, humbug, moonshine, poppycock, tommyrot.

Другой благодатной почвой для грубых слов является фонетический символизм. В проклятиях, как правило, используются звуки, которые воспринимаются как быстрые и резкие^[43]. Чаще всего они односложные или трохейные и содержат краткие гласные и взрывные согласные, в особенности k и g:

fi ck, cock, prick, dick, dyke, suck, schmuck, dork, punk, spick, mick, chink, kike, gook, wog, frog, fag, pecker, honky, cracker, nigger, bugger, faggot, ago, paki.

(В 1970-е один мой друг увидел наклейку на бампер автомобиля, которая гласила NO NUKES (разг. *'нет атомным бомбам'*), когда это слово¹⁾ было еще не в ходу, и подумал, что это расистский лозунг!) Хьюз заметил: «Хотя некоторые могут и возразить, имея на то немало оснований, что большинство ругательств не представляют собой попытку соригинальничать... некоторое сходство с поэзией все же наблюдается. В обеих этих сферах используемый язык несет с собой большую смысловую нагрузку, высокометафоричен; экстремальные, подчеркнутые эффекты создаются с помощью аллитерации или обыгрывания других стилей комбинирования слов друг с другом, а еще очень важен ритм» [44].

Семантика сквернословия: мысли о божествах, болезнях, грязи и сексе

Теперь, когда мы уже совершили экскурс в лингвистическую, психологическую и неврологическую подоплеки сквернословия, зададимся вопросом о том, можем ли мы найти общую нить в его смысле и использовании? Самая очевидная общая черта — это сильная негативная эмоция. Благодаря автоматической природе распознавания речи табуированные слова словно силком похищают наше внимание и заставляют нас задуматься об их негативных коннотациях. Это делает всех нас доступными для некоей ментальной атаки каждый раз, когда мы находимся на достаточно близком расстоянии от прочих говорящих, все равно как если бы нас привязали к стулу и могли ударить или дать по нам разрядом тока в любой момент. В таком случае, чтобы понять сквернословие, нам необходимо исследовать, какого рода мысли являются для людей неприятными и по какой причине один человек может испытывать желание навязать эти мысли другому.

Исторические корни сквернословия в английском языке, как и во многих других языках, восходят, как ни странно, к религии^[45]. Мы видим это в третьей заповеди, в популярности слов *hell* 'ад', *damn* 'проклятый', *God* 'Боже', *Jesus Christ* 'Иисус Христос (Господи Иисусе)', и во многих терминах, обозначающих табуированную лексику: *profanity* ('профанное' как противоположное 'священному') 'святотатство', *blasphemy* 'богохульство', букв. 'злая речь', но на практике — выражение неуважения к тому или иному божеству, а также *swearing* 'клятвоприношение', *cursing* 'проклятие' и *oaths* 'обеты', которые когда-то подкреплялись обращением к божеству или к одному из его символов, таких как *tabernacle* 'рака', *chalice* 'лотир' и *wafer* 'облатка', весьма неуместно оказавшимся среди католических ругательств.

¹⁾ Nuke произошло от nuclear 'атомный'. — Прим. перев.

Сегодня в англоговорящих странах ругательства на религиозную тематику практически никого не шокируют. Навсегда унесло ветром те времена, когда публика в кинотеатре могла поразиться, если персонаж фильма произносил фразу типа *Frankly, my dear, I don't give a damn* 'По правде говоря, моя дорогая, мне глубоко наплевать'¹⁾. Если сегодня и показывают героя, возмущенного подобными заявлениями, то только для того, чтобы выставить его старомодным ханжой. Потеря силы воздействия табуированных слов на религиозную тематику является явным следствием секуляризации западной культуры. Как заметил Г. К. Честертон, само по себе богохульство не пережило бы религию; если кто-то в этом сомневается, пусть попробует хулить Одина. В таком случае, чтобы понять вульгаризмы, основанные на религиозных табу, нам необходимо почувствовать себя на месте наших лингвистических предков, для которых «Бог» и «ад» были очень весомыми понятиями.

'Клятвоприношение' (swearing) и 'обеты' (oaths), в буквальном значении гарантий чьих-то обещаний, переносят нас в мир парадоксальных тактик а-ля *д-р Стрейнджлав*²⁾, где добровольное нанесение увечий самому себе может принести тебе пользу^[46]. Допустим, вам нужно дать какое-то обещание. Вы можете хотеть занять у кого-то сумму денег и поэтому должны пообещать, что вернете ее. Возможно, вы хотите, чтобы кто-то выносил или финансово поддерживал вашего ребенка, а не каких-то других, и потому вам тоже нужно в свою очередь дать клятву верности. Может быть, вы захотите делать бизнес с кем-то, поэтому должны пообещать предоставить товары или услуги в будущем в обмен на что-то, что вы получите сегодня. Почему же вторая сторона должна вам верить, зная, что, возможно, вам выгодно будет изменить своему слову? Ответ в том, что вы можете подчиниться некому условию, которое будет налагать на вас некий штраф, если вы на самом деле откажетесь, в идеале настолько гарантированный и серьезный, что вам всегда будет лучше выполнить свои обязательства, нежели пойти на пятую. Таким образом, вашему партнеру нет необходимости верить вам на слово, он может полагаться на то, что вы будете действовать в ваших собственных интересах.

Сегодня мы подкрепляем свои обещания с помощью юридически оформленных контрактов, согласно которым мы становимся обязанными в случае несоблюдения условий. Мы берем кредит на покупку дома, предоставляя банку возможность реоформировать его в их собственность в случае невыплаты кредита. Мы подчиняемся брачным законам, давая нашим супругам право на алименты и раздел имущества, если мы бросим их или будем плохо с ними обращаться. Мы платим

¹⁾ Слова Ретта Батлера, произнесенные в последнем диалоге со Скарлетт в конце фильма «Унесенные ветром» (1938). — *Прим. перев.*

²⁾ *Dr. Strangelove* — культовый фильм реж. Стенли Кубрика. — *Прим. перев.*

страховой взнос, которого лишаемся в случае невыполнения нами обязательств. Однако до того времени, когда стало возможным полагаться на коммерческую или юридическую систему, чтобы те следили за нашими контрактами, нам нужно было самим навлекать на себя различные формы урона. Дети до сих пор скрепляют свои клятвы словами *I hope to die if I tell a lie* 'Пусть я умру, если я вру'. Взрослые раньше делали то же самое, вызывая на себя Божий гнев, как в *May God strike me dead if I'm lying* 'Пусть Бог накарает меня, если я лгу', *As God is my witness* 'Бог мне свидетель', *Blow me down!* 'Разрази меня на месте!', *Shiver me timbers!*, букв. 'Поруби меня на много кусочков (дерева)', *God blind me!* 'Да чтоб я ослеп.' — источник британского ругательства *blimey*^[47].

Подобные клятвы, конечно же, были бы более правдоподобными в эпоху, когда люди считали, что Бог слышит их мольбы и может их исполнить. В то же самое время каждый раз, когда кто-то не исполняет своего обещания, но при этом «главный» оставляет его без наказания, это бросает тень на факт его существования, на его силу или, во всяком случае, на то, сколь внимательно он нас слушает. Представители Бога на Земле предпочли бы сохранить впечатление, что Он действительно слушает и в самом деле помогает во всех важных делах, и потому они недовольны тем, что люди обесценивают Господа, прибегая к Его помощи по разным незначительным вопросам. Отсюда и предписание не упоминать имени Господа всеу.

Не считая непосредственного обращения к Господу, дабы тот служил его посредником в его делах, человек может сделать свои обеты священными более тактичным способом — упоминая Бога в разговоре лишь с помощью намеков. (Как мы увидим с вами в следующей главе, наиболее эффективными угрозами являются угрозы завуалированные.) Человек может связывать чью-то правдивость по дополнительным знакам от Бога, интерес к которым, что подразумевается, он продолжает питать, как, например, к его имени, его символам, его писаниям, а также к частям его тела. Таким образом, возник феномен «клятвы чем-либо» (*swearing by*) и «клятвы на чем-то» (*swearing on*). Даже сегодня свидетели на заседаниях американского суда должны клясться на Библии, как будто бы факт лжесвидетельства, не замеченный правовой системой, будет наказан Богом, который подслушивает и которого очень легко оскорбить. Когда-то давно англичане клялись жуткими напоминаниями о распятии: кровью Бога (*sblood*), его ногтями, его ранами (отсюда — *zounds*, от *his wounds*), его руками (*gadzoos*, от *his hooks*), а также его телом (*odsbodikins*)^[48]. Они также клялись крестом, откуда и пошло детское выражение *Cross my heart*, букв. 'Осенья сердце крестным знаменем...', ср.: 'Вот те крест'. Пожалуй, наиболее изобретательным был Оливер Кромвель, который написал в своем обращении к Церкви Шотландии следующие слова: «Я заклиная вас,

внутренностями (кишками) Христа (the bowels of Christ), счесть возможным, что вы можете ошибаться».

Даже если эти клятвы и не рассматриваются как обладающие силой вызывать Божье наказание за неповиновение, они сигнализируют нам о различии между повседневными уверениями по случаю мелких одолжений и священными клятвами по важным вопросам. Святость религиозного реликта — это социальная конструкция, зависящая от уважения и почитания, которые она вызывает у каждого члена той или иной общины. Это требует коллективного контроля над разумом, при котором человек не считает, не думает и не говорит о священных предметах просто так. Упомянуть священное понятие в беседе в момент обещания чего-то — значит силой заставить слушателя подумать о чем-то, о чем не думают просто так, и таким образом сигнализировать, что вы говорите всерьез. Точно таким же образом, если люди клянутся некой священной субстанцией слишком свободно, святости последнего угрожает семантическая инфляция, по причине чего те авторитеты, чья власть зиждется на этой самой священности, будут принимать меры, чтобы этого не случилось. Законы против «богохульства» могут даже быть популярны и в народе, поскольку каждый человек хочет сохранить лингвистический порошок сухим для тех случаев, когда **он сам** пожелает скрепить какое-то обещание клятвой и не позволить другим испортить это с помощью чересчур частого употребления.

Хотя упоминания крови и внутренностей для скрепления клятвы могут казаться архаичными, стоящая за этим психология до сих пор жива. Даже человек, напроць лишенный суеверия, не станет запросто говорить «Клянусь жизнью своего ребенка»... Сама мысль об убийстве своего чада ради какой-то другой выгоды не просто неприятна — невозможна для настоящего родителя, и каждый нейрон его мозга будет запрограммирован против этого. Самая мысль о подобном — уже не шутка, а некая угроза самому себе, которая может усилить правдоподобность обещания. Буквальная немыслимость предательства по отношению к близкому или союзнику лежит в основе психологии табу в целом, и именно это отношение вызывают, когда клянутся чем-то священным, будь то нечто религиозное или жизнь ребенка^[49]. А благодаря автоматическому характеру обработки речи одни и те же священные слова, которыми скрепляются обещания — «клятвенные узы», присущие смыслу словосочетания «дача клятвы (обета)» (*swearing*), — могут использоваться и с тем чтобы привлечь внимание, шокировать или с целью вызвать психическую боль у слушателя, таков «ругательный» смысл **клятвопринижения** (*swearing*).

Религия также фигурирует в еще одном двусмысленном глаголе, используемом по отношению к табуированной лексике, *cursing*, букв. ‘проклинать’, перен. ‘поносить, бранить(ся), сквернословить’. Как мы увидим далее, практически любая неприятность (или несчастье) может

быть вызвана на кого-то в виде проклятия, но христианство обеспечило проклинаящих идеей, угрозу о которой получить особенно неприятно, а именно вероятностью провести вечность в аду. Сегодня Go to hell!, букв. 'Иди в ад!' и Damn you! 'Будь ты проклят!' являются для нас довольно слабыми эпитетами, но они казались бы значительно более угрожающими в эпоху, когда люди действительно боялись, что их могут приговорить к вечному раскаленному пламени, чудовищной жажде, ужасающим вурдалакам, а также стонам и воплям, от которых стынет кровь. Вероятно, наиболее близкое ощущение, сходное с воздействием тех проклятий, мы могли бы получить, представив, что кто-то говорит нам, глядя в глаза: «Надеюсь, что тебя осудят за укрывание от налогов и приговорят к двадцати годам тюрьмы. Я надеюсь, что в твоей камере будет влажно и жарко, что она будет кишеть тараканами и вонять мочой и экскрементами. Надеюсь, что у тебя будут три сокамерника, которые будут избивать и насиловать тебя каждую ночь». И так далее. Если задуматься о том, насколько жестоким в принципе может быть проклятие и как ужасны должны были быть ощущения от них в то время, когда большинство людей верили в существование ада, нам стоит быть благодарными, что несдержанные люди сегодня в основной своей массе ограничиваются небольшим лексиконом банальных копрологических и сексуальных проклятий, уже давно лишившихся своей образности.

Еще одна семантическая область, утратившая свою остроту, — это болезни и эпидемии, как в «Чума возьми семейства ваши оба!» (из «Ромео и Джульетты»), A rox on you! 'Покройся оспой!', а также идиш-польский вариант Cholerya! 'Холера!' В эпоху санитарных норм и антибиотиков сложно оценить по достоинству силу данных аллюзий. Будет несколько проще это сделать, если мысленно представить себе сцену «Да придут ваши мертвые!» из фильма «Монти Пайтон и священный Грааль» (*Monty Python and the Holy Grail*) или прочитать главы о гнойных прыщах, геморрое, глазных язвах, поносе и других ужасных симптомах этих болезней в медицинском учебнике. Эквивалентом этого сегодня могли бы стать следующие слова: «Надеюсь, что ты не сможешь выбраться с пожара и получишь ожоги третьей степени по всему телу. Надеюсь, что тебя хватит инсульта и ты проведешь остаток своей жизни, пуская слюни и с трудом сидя в инвалидном кресле. Надеюсь, что у тебя обнаружат костный рак и ты загнешься на глазах у своих родных». И снова культурологи, которые считают сквернословие признаком общего огрубления нашей культуры, должны понимать, насколько мягкими являются все наши проклятия по сравнению с историческими стандартами. Соответственно, существует некий намек на табу в названии болезни, которая вызывает у нас наибольший страх, — сансер 'рак'. Это слово породило такие эвфемизмы, как the big C 'большая буква С', malignancy 'злокачественность', neoplasm 'неоплазма, новообразование', mitotic figure 'митотическая фигура', а также

выражение, которое до сих пор можно увидеть во многих некрологах a long illness *‘продолжительная болезнь’*.

Хотя мы больше не сквернословим, используя тему болезни, мы все так же используем тематику телесных миазмов, отверстий на теле и выделения. Shit *‘говно’*, piss *‘ссаки’* и asshole, букв. *‘анус’* (перен. *‘дебил, идиот’*) по-прежнему нельзя произносить по телевидению или использовать в большинстве печатных изданий. Например, в газете «Нью-Йорк Таймс» бестселлер Гарри Фрэнкфурта обозначается словами On bull... *‘О г...’*. Fart, груб. *‘пердеть’* является чуть более приемлемым словом: «Таймс» может напечатать это слово в качестве части эпитета old fart *‘старый пердун’*, весьма некорректного по отношению к пожилым людям, но не как разговорный термин для метеоризма. Ass (или arse), букв. груб. *‘жопы’*, but, разг. *‘попа’* и *‘бомж’*, spot, груб. *‘сопли’* и turd, разг. *‘какашка’* также находятся на грани рамок приличия.

Bloody, разг. груб. *‘чертовский, проклятый’* — это еще одно слово, которое приходит на ум в связи с темой телесных жидкостей. Как и в случае многих табуированных слов, никто в точности не знает, откуда пришел этот эпитет, поскольку люди, как правило, стараются не фиксировать свои ругательства на бумаге. Однако это не мешает людям сочинять объяснения из разряда народной этимологии, как мы видели с вами в шестой главе с выражениями Fornication Under Consent of the King *‘совокупление с согласия короля’* и Ship High in Transit *‘при перевозке класть наверх’*. Хьюз отмечает: «Я уверен, что я не первый логофил, которому сообщили (неоднократно и с полной в том уверенностью), что bloody произошло из религиозного восклицания *By our lady! [‘Клянусь’] Божьей матерью!*»^[50]. Чертовски неправдоподобно — считают историки. Не является источником и словосочетание God’s blood *‘кровь Господня’*. Bloody — скорее всего, еще одно слово, ставшее табуированным потому, что оно относится к неприятной телесной субстанции, например к крови, сочащейся из раны, или, возможно, к менструальной крови. Менструация является мишенью одной из многих иудеохристианских табу. Ортодоксальный еврей, к примеру, не имеет права пожимать руку женщине, поскольку есть шанс, что она «нечиста».

Некоторые люди не понимали, почему слово cunt *‘пизда’* должно быть табуированным. Это не просто нецензурное слово, означающее «вагина», но и самое грубое ругательство по отношению к женщине в Америке, не слишком вежливый термин по отношению к мужчине в Великобритании и Австралии. Кто-то мог бы подумать, что в мире сквернословия, в котором господствуют мужчины, вагина будет почитается, а не поносима. Недаром же говорят, что, лишь только выбравшись из нее, любой мальчик проводит всю жизнь, пытаясь снова туда забраться. Загадка становится менее удивительной, если задуматься

о коннотациях, связанных с вагиной в эпоху до изобретения тампонов, туалетной бумаги, регулярного мытья и антигрибковых средств.

В целом приемлемость табуированной лексики не особенно прочно привязана к тому, принято ли в обществе то, что она описывает, но в случае табуированных терминов на тему миазмов корреляции являются достаточно четкими. *Shit 'говно'* менее употребимо, чем *piss 'ссаки'*, которое, в свою очередь, менее приемлемо, чем *fart 'пердеть'*, которое сильнее, чем *spot*, груб. *'сопли'*, что, в свою очередь, менее приемлемо, чем *spit 'слюна, мокрота'*, не являющееся табуированным словом вообще. Все в том же порядке, как и приемлемость выделения этих субстанций на публике^[51].

Лингвисты Кит Аллан и Кейт Берридж постарались расширить данные наблюдения, предложив заполнить «Вопросник степени отвращения» (*Revoltingness Questionnaire*) преподавателям и студентам австралийских университетов^[52]. Первое место разделили кал и рвотные массы. Менструальная кровь (среди мужчин) заняла второе место, после чего шли моча и сперма. Затем, в порядке уменьшения вызываемого ими отвращения, три понятия заняли одно и то же место — метеоризм, гной и назальная слизь, после чего шли менструальная кровь (среди женщин), отрыжка, отмершие кусочки кожи, пот, обрезки ногтей, дыхание, кровь из раны, отрезанные пряди волос, грудное молоко и слезы. Корреляция с вульгарностью в данном случае отнюдь не идеальна: хотя гной и рвотные массы, безусловно, вызывают отвращение, они не имеют табуированных эквивалентов в английском. Тем не менее вульгарные слова, обозначающие выделения, все же действительно занимают верхние строчки списка, включая табуированные эквиваленты слова *'семя'*, такие как *cum, spunk gizzum, jizz* и *cream*.

Слова, обозначающие выделения, являются табуированными во многих культурах, как и сами понятия по своей сути. Биологи Валери Кертис и Эдам Биран так суммируют результаты ряда опросов, проведенных в Европе, Индии и Африке: «телесные выделения являются наиболее часто встречающимися источниками, вызывающими чувство отвращения. Экскременты присутствуют во всех списках, и рвотные массы, пот, мокрота, кровь, гной и сексуальные выделения тоже весьма типичны»^[53]. Выделения несут в себе некий эмоциональный заряд, который и делает их столь важными в шаманстве, колдовстве и других типах симпатической магии^[54]. Люди из многих культур полагают, что человеку можно навредить с помощью различных операций или заговоров над его калом, слюной, кровью, ногтями и волосами, а также что человека можно защитить от бед, если эти субстанции прокляты, захоронены, утоплены или выброшены неким нарочитым способом. Сила этих субстанций в сознании людей также ведет к их использованию в лекарствах или оберегах, часто в гомеопатических или очищенных дозах. Чувство отвращения и психология симпатической магии вза-

имосвязаны. Психологи Пол Розин и Эйприл Феллон показали, что современные жители Запада соблюдают законы шаманства в своих собственных реакциях отвращения, например, испытывают гадливое чувство ко всему, что лишь напоминает отвратительный предмет или что могло находиться в контакте с таковым в прошлом^[55]. Магия слов просто удлиняет эту цепочку ассоциаций на одно звено, придавая и **словам**, означаящим выделения, некую отпугивающую силу.

Этот самый страх перед выделениями, разумеется, может корректироваться, как это необходимо в вопросах секса, медицины, кормления грудью, а также в заботе о животных и младенцах. Как мы с вами увидим далее, этой выработке десенсбилизации иногда помогает использование эвфемизмов, которые нивелируют отвращение, вызываемое выделениями.

То внимание, которое люди обычно уделяют выделениям — как словам, так и самим субстанциям, — озадачивало немало исследователей. Вот что говорит об этом религиовед А. К. Рейнхарт: «Гной, рвотные массы, мочеиспускание, менструация, сексуальные выделения и прочее — все они являются субстанциями и действиями, которые по какой-то причине многие культуры считают отталкивающими и, несмотря на их постоянное присутствие в жизни человека, ненормальными»^[56]. Кертис и Биран установили причину^[57]. Они отмечают, что не может быть случайностью тот факт, что наиболее отвратительные субстанции одновременно являются наиболее опасными переносчиками болезней. Кал является способом передачи вирусов, бактерий и простейших, которые являются причиной по меньшей мере двадцати кишечных заболеваний, а также аскаридоза, гепатитов А и Е, полиомиелита, амебиоза, глистов нематода, остриц и хлыстовика, холеры и столбняка. Кровь, рвотные массы, слизь, гной и сексуальные выделения также весьма привлекательны для патогенов, выполняя роль транспорта, перевозящего их из одного тела в другое. В современных странах смывные унитазы и сбор мусора быстро избавляют нас от продуктов собственного выделения, но в остальном мире последние являются переносчиками миллионов случаев заболеваний ежегодно. Даже жители индустриализованных стран могут легко попасть под угрозу холеры и тифа во времена войн или природных бедствий, как, например, при наводнении в Новом Орлеане, произошедшем в 2005 г. из-за урагана Катрина.

Наиболее сильным компонентом реакции отвращения является желание не есть и не трогать оскорбительную для нас субстанцию^[58]. Однако также вызывает отвращение сама **мысль** о выделениях, как и о частях тела и действиях, с помощью которых они возникают, а поскольку распознавание речи является произвольным — неприятно слышать и сами слова, их обозначающие. Выделения, которые вызывают наиболее сильную реакцию, являются клейкими по структуре,

но моча также достаточно неприятна, и поэтому слово piss, груб. 'сса-ки' является относительным табу. Моча, как правило, незаразна, но, разумеется, она тоже является видом отходов, поскольку выводит метаболиты и токсины, которые не нужны организму, и по этой причине не может быть привлекательной. Паразиты составляют большой класс переносчиков заболеваний и поэтому практически повсеместно считаются отвратительными^[59]. Неудивительно, что в английском языке их названия стали также источником словесных проклятий, таких как rat 'крыса', louse 'вошь', worm 'червяк, глист', cockroach 'таракан', insect 'насекомое' и slug 'слизняк', хотя эти слова и не поднимаются до уровня табуированных. Загадкой является то, почему некоторые слова, обозначающие неприятные вещи, являются табуированными в определенной культуре в ту или иную эпоху, тогда как другие — нет. Возможно, табуированные термины постигаются в детстве в эмоционально окрашенных ситуациях. Но также возможно, что они сохраняются и сами по себе, оставаясь табу до тех пор, пока люди воспринимают их как таковые.

Еще один важный источник табуированных слов — это сексуальность. С 1960-х годов многие прогрессивные мыслители считали данные табу совершенно смехотворными. Секс — источник взаимного удовольствия, рассуждают они, и должен быть очищен от ассоциирующихся с ним позора и стыда. Ханжество, вызванное сексуальной лексикой, может быть лишь суеверием, анахронизмом, возможно, результатом озлобленности, как в определении, данном Г. Л. Менкеном **пуританству** — «преследующий вас страх, что где-то кто-то может быть счастлив». Ленни Брюс закончил свой номер под названием «Вы кончили?» словами: «Если кто-то в этой комнате находит непреходный глагол **кончать** (*to come*) непристойным, низким и вульгарным, если вам действительно неприятно его слышать и вы полагаете, что я жутко циничен потому, что произношу его, — **вы сами**, наверное, не можете кончить».

Брюса также озадачивало наше самое распространенное ругательство на сексуальную тематику:

What's the worst thing you can say to anybody? «Fuck you, Mister.» It's really weird, because if I really wanted to hurt you I should say «Unfuck you, Mister.» Because «Fuck you» is really nice! «Hello, Ma, it's me. Yeah, I just got back. Aw, fuck you, Ma! Sure, I mean it. Is Pop there? Aw, fuck you, Pop!»

«Что самое худшее можно сказать человеку? „Пошел ты на хуй, мистер“. Это очень странно, поскольку, если бы я на самом деле хотел обидеть вас, мне следовало бы сказать: „Не иди ты на хуй, мистер“. Поскольку „Пошел ты на хуй“ — это очень здорово! „Привет, мам, это я. Да, только что вернулся. А, пошла ты на хуй, мам! Конечно, я действительно так считаю. А папа там? А, иди ты на хуй, пап!“»^[60].

Частично нас озадачивает странный синтаксис выражения fuck you 'иди на хуй', что, как мы увидим, на самом деле не означает «зай-

мись сексом». Однако это также происходит по причине современной близорукости (в особенности свойственной юношам) в вопросах того, насколько взрывоопасной может быть сексуальность в общей схеме человеческого существования.

Представим двух взрослых, только что добровольно занимавшихся сексом. Для всех ли это развлечение? Не факт, один партнер может рассматривать совершенный акт как начало пожизненной связи. Другой — как отношения на одну ночь. Один может заражать другого какой-то болезнью. Может быть, при этом был зачат ребенок, о благополучии которого не подумали в пылу страсти. Если пара связана кровными узами, младенец может унаследовать опасный рецессивный ген и потому может быть подвержен генетическому дефекту. За кулисами могут быть соперники, которые были бы вне себя от ревности, если бы они об этом узнали, или супруг-рогоносец, находящийся под угрозой перспективы воспитывать ребенка другого мужчины, или обманутая жена, которой угрожает потеря финансовой поддержки ее же собственных детей. У родителей могут быть матримониальные планы для одного из участников, связанные с большими суммами денег или важным альянсом с другим кланом. А в каких-то случаях не требуется, чтобы оба были взрослыми или чтобы все происходило по обоюдному согласию.

Секс — это рискованная игра, в которую входят эксплуатация, болезни, нелегитимность, инцест, ревность, супружеская агрессия, измены, уход из семьи, ссоры между супругами, агрессия по отношению к детям и сексуальное насилие. Эти факторы риска существовали на свете с давних времен и оставили свой след на наших обычаях и наших чувствах. Мысли о сексе часто бывают отнюдь не легковесными, о нем думают не так уж запросто. Слова, относящиеся к сексу, могут быть еще более щекотливой темой, поскольку они не только отображают наши сложные мысли по данному вопросу, но и подразумевают то, что два человека будут делиться таковыми друг с другом. Более того, мысли эти фиксируются «для печати», и каждая из сторон знает, что другая в курсе того, что он или она думает об обсуждаемом в данном случае сексуальном акте. Как мы увидим в следующей главе, это вступает в данный диалог некую дополнительную долю интриги.

Эволюционная психология описала конфликты интересов, которые ингерентно присущи человеческой сексуальности, и некоторые из этих конфликтов получают развитие на лингвистической арене^[61]. Обыденные разговоры о сексе говорят нам об отношении к сексу как чему-то обыденному, как, например, к большому теннису или филателии, и именно такое впечатление может быть в тот момент у партнеров. Но долгосрочный смысл может более остро ощущаться более широким кругом заинтересованных лиц. Родители и другие старшие родственники могут быть обеспокоены, что срываются их собственные планы по продолжению родословной семьи, но община может быть заинте-

ресована в появлении в ее среде незаконнорожденных детей, а также в противостоянии и порой насильственной конкуренции, которая может сопровождать сексуальную свободу. Идеал секса как священного союза между моногамной парой, возможно, является устарелым и даже вовсе нереалистичным, но он, безусловно, удобен как для старших в семье, так и для вышестоящих в обществе. Между отдельными индивидуумами и старшинами той или иной общины можно найти массу примеров конфликтов на тему обыденных разговоров о сексе (сопровождаемых неискренностью среди старшин, когда дело касается их собственного секса «просто так»).

Еще более острым, чем конфликты на тему секса между молодыми и пожилыми и между отдельной личностью и обществом, является конфликт между мужчиной и женщиной. Мы все млекопитающие и потому унаследовали определенную асимметрию, которая продолжает сохраняться, когда дело касается данного вопроса: после каждого акта продолжения рода женщины готовы к длительному периоду беременности и грудного вскармливания, тогда как мужчинам удастся ограничиться лишь несколькими минутами соития. У мужчины может быть больше потомков, если он вступает в половую связь с несколькими женщинами, тогда как женщина не может иметь больше потомства в результате своих половых связей со многими мужчинами — хотя ее потомкам будет лучше, если она выберет партнера, который готов о них позаботиться материально или способен наградить их хорошими генами. Неудивительно, что во всех культурах мужчины с большим интересом относятся к сексу, готовы иметь ни к чему не обязывающие половые сношения, чаще соблазняют кого-либо, обманывают или силой заставляют кого-то вступать с ними в сексуальный контакт^[62]. Если все остальные условия одинаковы, то секс «просто так», без возлагания на себя обязательств работает в пользу мужчин как генетически, так и эмоционально. Можно ожидать, что и «обыденные» разговоры о сексе будут отражать ту же асимметрию — так оно и есть. Мужчины, в среднем, ругаются чаще, а многие табуированные термины на сексуальную тематику являются особенно унижительными для женщин — отсюда и старинный запрет на сквернословие «при дамах»^[63].

Разница между мужской и женской толерантностью к сексуальной лексике может напомнить стереотипную ситуацию, когда женщины викторианской эпохи, услышав любую грубую ремарку, поднимали кисть руки ко лбу и падали в оборок прямо на диван. Однако непредвиденным последствием второй волны феминизма в 1970-е годы стало возобновление выражения своих оскорбленных чувств в связи со сквернословием — лингвистическое дополнение к кампании против порнографии. Граучо Маркс удивился бы сегодня, узнав, что университеты и коммерческие предприятия переняли его платформу управления Фридонией из «Утиноного супа» (*Duck Soup*): никому нельзя курить или

рассказывать неприличные анекдоты¹⁾. Многие опубликованные правила поведения из программы против сексуальной агрессии на рабочем месте включают в себя запрет на «шутки на сексуальную тематику», а в 1993 г. журналист-ветеран «Бостон Глоб» (*the Boston Globe*) Дэвид Найхан был вынужден извиниться и сделать пожертвование на сумму 1250 долларов в одну из организаций по защите прав женщин после того, как одна из его сослуживиц услышала, что он употребил слово *pussy-whipped* 'обработанный пиздой' в разговоре со своей коллегой-мужчиной, отказавшимся принять его приглашение пойти играть в баскетбол после работы^[64]. Писательница-феминистка Андреа Дворкин, известная своей борьбой против порнографии, а также своим заявлением, что любое половое сношение является изнасилованием, подчеркивала явную связь грубой сексуальной лексики с притеснением женщин:

Ебля требует действия мужчины по отношению к существу более слабому, и эта оценка столь глубока, настолько полностью подразумевается самим актом, что тот, кого ебут, становится заклеянным... В мужской системе секс — это и есть пенис, пенис — это сексуальная власть, а использование последнего при совокуплении — то, что и делает мужчину мужчиной^[65].

Хотя очень хотелось бы высмеять негативную реакцию на сексуальную тематику в сквернословии как возврат к викторианской утонченности, правда все же в том, что атмосфера блуда и распутства куда больше согласуется с мужскими интересами, чем с женскими. В десятилетие между сексуальной революцией ранних 1960-х и феминистской революцией ранних 1970-х многие творения поп-культуры отметили окончательное падение пуританства, благосклонно изображая сладострастных мужчин (в качестве примеров назовем работы Джо Ортона, Тома Лерера, Вуди Аллена, группу *The Rolling Stones*, фильмы о Джеймсе Бонде, а также комедийную телепередачу с ведущими Д. Роуэнном и Д. Мартином *Rowan and Martin's Laugh-In*). Вновь пересматривать эти произведения тяжело как для глаза, так и для уха. Бурные выражения вожделения, считавшиеся изысканными и рискованными в те годы, сегодня кажутся мизогинистскими, поскольку женщины в этих произведениях показаны как глупенькие блондинки, а насилие, сексуальная и супружеская агрессия показаны как нечто забавное и вполне терпимое. (Песня из мюзикла *Hair* («Волосы») начинается со строки «Содомия, фелляция, куннилингус, педерастия. Отец, почему эти слова кажутся такими плохими?» — что демонстрирует терпимое отношение к педофилии, совершенно недопустимое сегодня.) Недолгий период прославления разврата в культурной среде среднего класса, поддерживаемый, с одной стороны, вызовом молодежи по отношению к возрасту

¹⁾ «Утиный суп» — американский «фильм-буффонада» с участием братьев Маркс, в котором Граучо Маркс сыграл роль диктатора небольшого вымышленного государства Фридония. — *Прим. перев.*

и индивидуума по отношению к обществу и, с другой стороны, вызовом женщин по отношению к мужчинам, открывает нам некоторые конфликты интересов, которые и питают сексуальную лексику.

Хотя люди смотрят, как другие занимаются сексом, говорят о нем и занимаются им гораздо охотнее, нежели в прошлом, эта тема по-прежнему не свободна от ряда табу. Большинство людей по-прежнему не совокупаются на публике, не меняются партнерами по окончании обеда в гостях, не занимаются сексом с кровной родней и детьми и в открытую не предлагают секс взамен на некие блага. Даже после свершения сексуальной революции нам предстоит еще долгий путь, прежде чем мы «познаем нашу сексуальность» в полной мере, что означает, что люди по-прежнему ставят некие границы в своем сознании, блокирующие определенные цепочки мысли. Лексика на тему секса способна двигать эти границы.

Пять способов сквернословия

Теперь, когда мы рассмотрели содержание табуированной лексики (то есть ее семантику), мы можем перейти к способам ее использования (то есть к ее прагматике). Вспомним, что общим знаменателем содержания сквернословия как такового является некий эмоциональный заряд, который люди не хотели бы просто так пропускать через свое сознание, — чувство благоговения (перед Богом и его атрибутами), страха (перед адом и болезнями), отвращения (перед телесными выделениями), ненависти (перед предателями, еретиками, а также меньшинствами) или извращенности (сексуальной). Поскольку распознавание речи является автоматическим, произнесение вслух табуированного слова может заставить сознание слушателя пойти в том направлении, которое обычно сознательно не используется. Это помогает нам сфокусироваться на вопросе о том, каким образом используется бранная лексика. Почему говорящие пытаются подобным образом навязать свою волю сознаниям слушателей? Единого ответа на этот вопрос не существует, поскольку люди сквернословят по меньшей мере пятью способами: описательно (*Let's fuck! 'Давай ебаться!'*), идиоматически (*It's fucked up! 'Все через задницу!'*), с целью агрессии (*Fuck you, motherfucker! 'Пошел ты на хуй, мудака!'*), эмфатически (*This is fucking amazing! 'Охует как здорово!'*) и с целью облегчения боли (неприятности) (*Fuck! 'Бля!'*). Давайте рассмотрим каждый из них по очереди.

Многие из загадок, связанных со сквернословием, сводятся к единственному вопросу — что же именно присутствует в табуированном слове, что отличает его от его приличного синонима, относящегося к тому же понятию? На что люди так остро реагируют, когда они выбирают слово «фекалии» вместо «говно», «пенис» вместо «хуй», «вагина» вместо «пизда», «заниматься сексом» вместо «ебаться»?

Основное различие в том, что табуированное слово всегда дисфемистично — то есть вызывает в сознании самые худшие аспекты референта, а не просто указывает на него. Также людям нравится думать о фекалиях ничуть не больше, чем им нравится видеть, нюхать или трогать их. Тем не менее мы живые существа, для которых фекалии являются частью жизни, и бывают случаи, когда нам ничего не остается, кроме как обсудить, что с ними делать. Решением явилось разделение лингвистического труда между эвфемизмами, которые относятся к субстанции, не вызывая непрошенных эмоций, и дисфемизмами, включающими в себя табуированную лексику, — для тех риторических ситуаций, когда нам необходимо подчеркнуть, насколько данная субстанция ужасна.

Эвфемизмы и дисфемизмы для табуированных понятий появляются и меняются быстро. Эланн и Берридж подсчитали, что в английском языке скопилось более восьмисот выражений, обозначающих акт совокупления, тысяча, обозначающая пенис, тысяча двести — вагину, и две тысячи для обозначения женщины легкого поведения (что заставляет нас задуматься над тем, почему все так поражаются числу эскимосских слов, обозначающих снег)^[66]. В современном английском найдется несколько десятков специальных терминов для фекалий, вероятно, потому что они сколь отвратительны, столь и неизбежны:

табу: shit ‘говно’;

легкий дисфемизм: crap ‘дерьмо’, turd ‘какашки’;

легкие эвфемизмы: waste ‘отходы’, fecal matter ‘фекальные массы’, filth ‘нечистоты’, muck ‘навоз’;

формальные: feces ‘фекалии’, excrement ‘эскременты’, excreta ‘испражнения’, defecation ‘дефекация’, ordure ‘нечистоты’;

детские: poop ‘какашки’, poo ‘каки’, poo-poo ‘сраки’, doo-doo, doody, ka-ka ‘какашка’, job, business ‘по-большому’, Number 2 (то же), BM ‘а-а’;

относящиеся к подгузникам: soil, dirt, load ‘напачкать’, ‘наложить’, ‘обвалиться’;

медицинские: stool ‘стул’, ‘кал’, bowel movement ‘стул’;

о животных, крупное: pats, chips, pies ‘котяхи’;

о животных, мелкое: droppings ‘помет’;

о животных, научное: scat, coprolites, dung ‘помет’, ‘копролиты’, ‘навоз’;

о животных, сельскохозяйственное: manure ‘навоз’, guano ‘гуано’;

человеческое, сельскохозяйственное: night soil, humanure, biosolids, ‘нечистоты’, ‘биоотходы’.

Большинство вежливых терминов специфичны для определенного контекста, при котором могут обсуждаться фекалии, а также для действий, подходящих для данной ситуации (распределение в качестве удобрения,

смена подгузника, анализ в медицинских или научных целях и так далее). Таким образом, использование эвфемизма не оставляет сомнений по поводу того, почему говорящий завел речь о данном предмете.

Что касается референтов табуированных слов, то английский язык переборщил со специализацией, но при этом не дает нам нейтральных терминов для обычного разговора. Даже того, кто сквернословит только в моменты наивысшего и вполне объяснимого волнения, сочтут несколько консервативными, если в разговоре с другом он будет использовать такие термины, как «фекалии», «метеоризм» или «анус», а не их табуированные эквиваленты. Слова «пенис» и «вагина» заставляют нас говорить на латыни, тогда как другие части тела обладают краткими англосаксонскими корнями, как и остальной наш обычный лексикон. Как сказал об этом К. С. Льюис (*C. S. Lewis*): «Как только о сексе приходится разговаривать напрямую, вы вынуждены выбирать между языком детской, языком трущоб и языком класса по анатомии»^[67].

Разумеется, бывают случаи, когда мы хотим напомнить своим слушателям о неприятных аспектах чего-нибудь, и именно тогда мы обращаемся к «языку трущоб»^[68]. Иногда ради наглядности описываемого, иногда во гневе. Мы пользуемся табуированными словами, чтобы передать, насколько гадким является нечто:

Сантехник хотел поболтать со мной, пока чинил кое-что под раковиной. Поэтому мне пришлось смотреть на его полуголую задницу все это время.

Девиз его жизни был «Трахни все, что движется, а что не движется — то подпихни».

Подберите говно своей собаки, и пусть она прекратит ссать на мои розы!

Затем Джон показал мне альбом, а я должен был сказать: «О, как мило», как будто бы его член не был там виден во всей красе. [Ринго Старр, описывая свою реакцию на обложку альбома *Two Virgins* («Два девственника»), для которой Леннон и Йоко Оно позировали обнаженными.]

Попробуйте заменить табуированные термины в этих предложениях на их вежливые синонимы (ягодицы, заниматься сексом и так далее). Им чего-то не хватает, поскольку эмоциональная сила реакции говорящего больше не передается. Также, поскольку табуированные слова вызывают в сознании слушателя и читателя чувственные детали, их часто используют в порнографии и в рецепте сексуального возбуждения, запрашиваемом многими взрослыми по обоюдному согласию: «Говори со мной неприлично».

Не стоит и говорить, что не все придерживают табуированную лексику лишь для особого риторического эффекта. Выражения *to swear like a sailor* ‘ругаться как сапожник’, *to cuss like a stevedore*, букв. ‘ругаться как портовый грузчик’ и *locker-room language*, букв. ‘язык раздевалки’ указывают на тот факт, что сквернословие является излюбленным

языком во многих кругах, где господствуют рабочий класс и мужчины. Одной из причин является тот факт, что сквернословие, которое заставляет слушателя думать о неприятных вещах, является формой легкой агрессии, а потому подходит к другим элементам, сопутствующим мужчинам в тяжелых ситуациях, предполагающих драку и борьбу за выживание, поскольку они могут таким образом хвастать, что способны нанести или вытерпеть боль (тяжелые ботинки, металлические заклепки, выставленные напоказ мышцы и так далее). Другой причиной является явное желание сломать табу, придавая тем самым атмосферу неформальности, свободы от необходимости следить за тем, что ты говоришь. Разумеется, сквернословие распространилось в последние десятилетия на женщин и средний класс. (Когда я был подростком в годы самого расцвета «пропасти между поколениями», отец одной из моих подруг часто говорил ей: «Нэнси, у тебя не рот, а унитаз».) Тенденция эта была частью других больших перемен, происходящих в двадцатом веке и касающихся неформальности, равенства, а также распространения стилей мачо и «мне все по барабану».

Способность табуированной лексики вызывать эмоциональную реакцию полезна не только тогда, когда говорящий хочет передать слушателю, насколько он расстроен, но также и когда он с самого начала хочет вызвать подобные ощущения у слушателя.

В жизни бывают случаи, когда человек хочет напугать, наказать или понизить репутацию какого-то другого человека. Создание бранной лексики, вероятно, лучше натренировало языковой инстинкт человека, чем все остальные типы речи вместе взятые, а во многих культурах оно было возвышено до уровня искусства, которое иногда называют *flyting* 'поношение'. Вот, например, строчки с обзывательствами из Шекспира:

Принц Генрих: ...Это кровобильный трус, лежебока, крушитель лошадиных спин... Это громадная гора мяса...

Фальстаф: Отстань, ты, голодный пес, рыба шкура, сушеный коровий язык, бычачий хвост, соленая треска! О, зачем легкие у меня не настолько крепкие, чтобы одним духом перечислить все, на что ты похож! Ах ты, портняжное мерило, пустые ножны от шпаги, футляр от лука, самая последняя рапира на ножках! ¹⁾

А вот оскорбления из идиша:

Ей бы камни рожать, а не детей.

Пусть у тебя выпадут все зубы, кроме одного, чтобы ты мучился от зубной боли.

Ему бы следовало отдать свое тело на медицинские опыты.

¹⁾ «Генрих IV», перевод П. А. Каншина. — *Прим. перев.*



А вот как выглядит афро-американская традиция, известная как *sounding* 'озвучивание', *snapping* — от слова 'огрызаться', *signifying* 'обозначение', *ranking* 'расстановка' и т. п.:

Ты такой урод, что, когда ты родился, доктор взглянул на твою рожу и на твою задницу и сказал: «Близнецы!»

Твоя мамаша как шар для боулинга — ее подбирают, лапают, бросают, а она все равно снова возвращается.

Твоя мамаша такая тупая — она считает, что «Моби Дик»¹⁾ — это венерическое заболевание.

Создавая проклятье, доступность слов, которые пробуждают неприятные мысли у слушателя или наблюдателя, является оружием, которое слишком удобно, чтобы им не воспользоваться, поэтому табуированная лексика столь широко представлена в проклятиях. Люди или их части тела могут сравниваться с выделениями и ассоциирующимися с ними органами и сопутствующими понятиями: *piece of shit* 'кусок дерьма', *asshole*, груб. 'задний проход', *cunt* 'пизда', *twat*, груб. 'пизда', *prick* 'член', *schmuck* (идиш), груб. букв. 'крайняя плоть', перен. 'козел, идиот', *putz* (идиш), груб. 'член', *old fart* 'старпер', *shithead* 'придурок' *dickhead* 'болван', *asswipe*, букв. 'кусок туалетной бумаги', перен. 'козел', *scumbag*, букв. 'презерватив', перен. 'негодяй', *douchebag* (то же самое). Людей можно обвинить в непристойных сексуальных действиях, таких как инцест (*motherfucker*), содомия (*bugger*, *sod*), фелляции (*cocksucker* 'вафлер'; *You suck!*, прибл. 'Отстой!' *You bite!* *You blow!* (то же)) и мастурбации (*wanker*, *jerk*). Можно посоветовать заняться чем-то унижительным (*kiss my ass!* 'поцелуй меня в задницу', *eat shit* 'жри дерьмо', *fuck yourself* 'пошел ты на хуй', *shove it up your ass* 'засунь это себе в задницу' и — мое любимое — *kiss the cunt of a cow* 'поцелуй пизду коровы', датируемое 1585-м годом). В проклятиях могут звучать угрозы насилия с последующей деградацией, как «Я засуну тебе в пизду свиную ногу так глубоко, что твои задние зубы затрещат» (из Японии) или «Я оторву тебе голову и напру тебе прямо в (дыхательное) горло» (эту фразу я услышал на остановке автобуса в Бостоне). Опросы, касающиеся оскорблений в других языках, обнаруживают похожие темы^[69]. Затем существует наиболее распространенное непристойное проклятие в английском языке — *fuck you* — понять которое мы сможем, лишь рассмотрев подробнее табуированные термины на сексуальную тематику.

Глаголы, обозначающие сексуальные действия, обнаруживают любопытную тенденцию. Антрополог Эшли Монтэю назвала глагол *fuck* (груб. 'ебать(ся)') «переходным глаголом, обозначающим наиболее пере-

¹⁾ Игра слов. «Моби Дик» (*Moby Dick*) — знаменитый роман Германа Мелвилля и *dick* — груб. 'половой член'. — Прим. перев.



ходное из человеческих действий», и в этом заключена целая история^[70]. Подумаем о переходных глаголах, обозначающих сексуальный акт, — тех, которые можно подставить в предложение «Джон (глагол) Мери»:

fuck, screw 'завинчивать', hump 'энергично двигаться', ball 'попросить', dick, bonk 'трахать(ся)', bang 'бить, стучать, долбить', shag, pork, shtup, груб. 'совокупляться'.

Все они не очень-то приятные, не так ли? Эти глаголы в лучшем случае комичны и неуважительны, в худшем — оскорбительны. Каковы же глаголы, которые мы используем в приличной беседе, когда разговариваем о (физическом) акте любви?

have sex 'заниматься сексом', make love 'заниматься любовью', sleep together 'спать вместе', go to bed 'идти в постель', have relations 'иметь отношения/связь', have intercourse 'иметь половые отношения', be intimate 'вступать в интимную связь', mate 'спариваться', copulate 'совокупляться'.

Все вышеперечисленные глаголы (в английском языке) являются **непереходными**, все до единого. Слово, обозначающее сексуального партнера, всегда вводится с помощью предлога: have sex with 'заниматься сексом с', make love to 'заниматься любовью с'. На самом деле большинство из них даже не являются глаголами сами по себе, но идиоматическими выражениями, которые объединяют существительное или прилагательное с незначительным «легким глаголом» — таким, как have 'иметь', be 'быть' или make 'делать'. (В книге *Crazy English* («Безумный английский») Ричард Ледерер вопрошает: «Спать с кем-то. Так кто же спит? Стоянка на одну ночь¹⁾. Кто же стоит?») В последней части мы наблюдали множество случаев, когда чувство приличия диктует выбор слова. Но почему же оно должно требовать чего-то столь с трудом постижимого, как грамматическая конструкция?

Вот вам еще один дивиденд от анализа глагольных конструкций, приведенного во второй главе. Вспомним, что каждая конструкция выбирает глаголы из набора микроклассов, каждый из которых имеет значение, которое концептуально сочетается с конструкцией, пусть даже лишь метафорически. Пользуясь этим принципом, можем ли мы узнать что-то о человеческой сексуальности из синтаксиса глаголов, обозначающих половые отношения — «глаголов-связок» (*copulative verbs*), в смысле, отличном от традиционного грамматического значения данного термина?

Вежливые идиомы обладают рядом характерных грамматических признаков. В связи с отсутствием какого-либо отличного от всех корня они не в состоянии дать точное описание действию, характеризующему какой-либо особенной манерой движения или другим заметным

¹⁾ One night stand, перен. 'связь на одну ночь'. — Прим. перев.

эффектом. В связи с отсутствием прямого объекта они не уточняют субстанцию, на которую это действие приходится или которая изменяется после этого действия. Более того, они семантически симметричны: если Джон занимался сексом с Мэри, подразумевается, что Мэри занималась сексом с Джоном и наоборот. Оба они перемежаются с другой альтернативной конструкцией, в которой партнер не упоминается в дополнении с предлогом, а, скорее, является частью подлежащего во множественном числе: **Джон и Мэри занимались сексом, Джон и Мэри занимались любовью, Джон и Мэри были близки** и так далее. Семантика не связанных по смыслу с сексом глаголов, которые ведут себя подобным образом, подразумевает совместное добровольное действие, такое как **танец, разговор и работа: Джон танцевал с Мэри, Джон и Мэри танцевали** и так далее. Таким образом, согласно ментальной модели, предполагаемой вежливыми глаголами, обозначающими сексуальные действия, секс — это занятие, манера которого не указывается и в которое совместно вовлечены два человека.

Сравним это с более грубыми, переходными глаголами, используемыми для обозначения сексуальных действий. Вспомним из второй главы, что переходные глаголы описывают агента, который намеренно выполняет некое действие, направленное на некую субстанцию или оказывающее на нее некое воздействие. Или и то и другое. Хотя глагол *fuck* не подходит в точности ни к одному из пяти классов переходных глаголов, рассмотренных нами в третьей главе, у него есть сходство с микроклассом глаголов, соответствующих формуле «действие—контакт—эффект»^[71]. Его можно было бы включить в волевые, принадлежностные и средние конструкции, но не в контактно-локативные или антикаузативные конструкции. (Чувство приличия, или то, что от него осталось, заставляет меня поместить примеры в примечание^[72].) Это соответствует этимологии данного глагола, произошедшего от древнескандинавского слова со значением *'бить'*, *'ударять'* или *'пронзать'*, а также тому, что его переходные синонимы включают в себя слова *bang* *'ударять'* и *boink*, груб. *'трахать(ся)'* (слово *shtup*, пришедшее в английский язык из идиша, происходит от другой метафоры: в идише этот глагол имеет значение *'начинать'*).

В одной известной работе лингвист Кванг Фук Донг отмечает, что *fuck* чаще встречается, если субъект (подлежащее) мужского рода (а не женского), и что некоторые употребляют это слово исключительно с подлежащим мужского рода^[73]. Если быть более точным, его семантика требует того, чтобы активным участником был именно субъект (подлежащее). В случае сексуальных отношений между двумя мужчинами, отмечает он, предложение *Boris fucked Lionel* *'Борис трахнул Лайонела'* является грамматически правильным, если Борис находился «сверху», а в случае сношений между женщинами предложение *Synthia fucked Gwendolyn* *'Синтия трахнула Гвендолин'* будет грамматически

правильным, если Синтия использовала фаллоимитатор. Дополнение глагола (объект), с другой стороны, не обязан быть ни женского пола, ни человеком вообще, ни даже существом одушевленным. В памятном пассаже из книги Филипа Рота «Жалоба Портного» (*Portnoy's Complaint*) рассказчик признается в том, как он, когда был подростком, обнаружил в холодильнике сырую печень: «Теперь вы знаете о самой ужасном поступке, который я когда-либо совершал. Я трахнул ужин своей собственной семьей».

Если переходные глаголы предполагают, что на прямое дополнение оказывается воздействие, в чем именно заключается это воздействие? Ответ на этот вопрос можно найти в анализе, проведенном в духе Лакоффа, — в том, как глаголы, используемые для сексуальной активности, участвуют в концептуальных метафорах. Многие из переходных глаголов, используемых для обозначения секса, можно использовать метафорически, когда речь идет об эксплуатации, как в шутке, которую мы любили рассказывать о том, почему правительство Квебека хотело сменить символ провинции с геральдической лилии на презерватив: он предотвращает зачатие (*conception*), способен надуваться (*allows inflation*), защищает кучку идиотов (*pricks*) и дает вам ложное чувство защищенности, когда вас обманывают. Метафоры подобного рода включают в себя выражения *I was screwed* ‘меня поимели’, *they fucked me over*, груб. перен. ‘они поимели меня’, *we got shafted* (то же), *I was reamed* ‘меня подставили’, *stop fucking me around* ‘прекрати меня душить’. Другая метафорическая тема переходных глаголов с сексуальным значением — серьезный урон, как в выражениях *fucked up* ‘все испорчено’, ‘плохо дело’, *screwed up* (то же), *buggered up* (то же), а также британские *bollixed* и *sockup* ‘наебка’. Армейский жаргон времен Второй мировой волны включал в себя сокращения *snafu* (*Situation Normal, All Fucked Up* ‘ситуация нормальная, но все через задницу’), *tarfu* (*Things Are Really Fucked Up* ‘Положение совсем хреновое’) и *fubar* (*Fucked Up Beyond All Recognition* ‘Ситуация хреновая до неузнаваемости’). Эти термины были переняты и прижились в аргоне инженеров, и сегодня, когда программисты создают временный файл или обучают новичка тому, как создать таковой, они используют *foo.bar*¹⁾ в качестве названия файла — немножко «ботанического» юмора. В таком случае метафора, лежащая в основе переходных глаголов, обозначающих сексуальные действия: ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ — ЭТО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ КОГО-ТО И ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ С КЕМ-ТО — ЗНАЧИТ ПОРТИТЬ ЕГО (ЕЕ).

Эти концептуальные метафоры также можно найти и во многих других языках. В бразильском варианте португальского языка вульгарный эквивалент слова *fuck* — это глагол *comer* ‘есть, кушать’, при использовании которого мужчина или активный гомосексуальный

¹⁾ Фонетически, по звучанию *foo.bar* совпадает с *fubar* (см. выше). — Прим. перев.

партнер является субъектом (подлежащим). Это было бы странным и непонятным, если бы данный глагол был метафорой, основанной на механике соития, поскольку, по идее, женское тело метафорически поглощает мужское. Однако этот глагол подходит в том смысле, что женщина приносит удовольствие и эксплуатируется мужчиной

Таким образом, синтаксис глаголов на сексуальную тематику открывает нам две весьма различные ментальные модели сексуальности. Первая напоминает нам содержание курса по этике и психологии семейной жизни, а также справочники для новобрачных и прочие санкционированные взгляды на данный вопрос: секс — это совместная деятельность, которой занимаются два равных партнера по обоюдному согласию, детали при этом не уточняются. Вторая модель более мрачна, нечто среднее между социобиологией млекопитающих и феминизмом в духе Дворкин: секс — это насильственный акт, провоцируемый активным участником-мужчиной и направленный на пассивную участницу-женщину, эксплуатирующий и наносящий урон последней. Обе модели отражают человеческую сексуальность в полном спектре ее проявлений, и если язык является нашим гидом, то первая модель пригодна для разговоров на публике, тогда как вторая является табу, широко признаваемым в частной жизни.

Как я уже упоминал, разделение между терминами, которые являются просто дисфемистическими, и теми, что переходят в категорию табуированных, является загадкой. Для многих людей excrement ‘экскремент’ имеет гораздо более неприятную коннотацию, чем слово shit ‘говно’, поскольку ‘экскремент’ используется лишь для описания нечистот и грязи, тогда как shit имеет гораздо более широкий спектр идиоматических и обыденных контекстов. Тем не менее shit является менее приемлемым, чем excrement. Сходным образом поведение, на которое навешивается ярлык с глаголом fuck, огорчает нас намного меньше, чем поведение, описывая которое используют глагол rape ‘насилловать’, но тем не менее rape не является табуированным словом. Люди относятся к неприятному слову как к табу в той степени, в которой все остальные считают его табу, так что статус этих слов может полностью зависеть от эпидемиологии, протекающей как бум с последующей депрессией, которая решает судьбу всех слов и названий в целом.

Это означает, что табуированные слова, хотя и отражают более вульгарные аспекты своих референтов, получают свою силу не только от этих коннотаций. Статус табу как таковой дает слову его эмоциональную изюминку независимо от его настоящего референта. Это и приводит к появлению бесчисленного количества идиом, в которые входят табуированные слова. Некоторые из них, такие как bullshit, they fucked me over, he pissed on my proposal, she pissed away her inheritance

являются явно метафорическими, проецируя один из неприглядных аспектов своего носителя на какой-то аспект своей темы. Однако гораздо большее число не демонстрирует никакой вычленяемой аналогии со своим предметом и включает табуированное слово только лишь ради его способности возбудить интерес слушателя:

He went through a lot of shit '*Ему хреново пришлось*'. Tough shit! '*Хреново*'. We're up shit's creek '*Мы по уши в говне*'. We're shit out of luck '*Нам страшно не везет*'. A shitload of money '*Денег до хрена*'. Shit oh dear! '*Вот так дерьмо*'. [Новая Зеландия]. Shit, eh? '*Ну не дерьмо?*' [Новая Зеландия]. Let's shoot the shit '*Давай ширнемся*'. Let's smoke some shit '*Давай покурим дури*'. Put your shit over there '*Клади свое барахло сюда*'. A lot of fancy shit '*Много шикарных цацек*'. He doesn't know shit '*Он ни хрена не знает*'. He can't write for shit '*Хреновый из него писатель*'. Get your shit together '*Соберись, нюня*'. Are you shitting me? '*Это что, наебка?*'. He thinks he's hot shit '*Он весь из себя*'. No shit! '*Ни хрена себе*'. All that shit '*И прочая хрень*'. A shit-eating grin '*Улыбка до ушей*'. Shitfaced '*пьяный*'. Apeshit '*дерьмо собачье*', букв. '*дерьмо обезьяны*'. Diddly-shit '*дерьмо*'. Sure as shit '*Верняк, точняк, зуб даю*'.

It's piss poor '*Там жуткая беднота*'. Piss off! '*Заткнись*'. I'm pissed at him '*Я очень на него сержусь*'. He's pissed off '*Он в ярости*'. He's pissed '*Он пьян*'. Full of piss and vinegar '*Весь из себя*'. They took the piss out of him [British] '*Они поставили его на место*'.

My ass! '*Черт*'. Get your ass in gear '*Давай (побыстрее) собирайся (готовься)*'. Ass-backwards '*Жопа набекрень*'. Dumb-ass '*Придурок*'. Your ass is grass '*Ты пропал/влин*'. Kiss your ass goodbye '*то же*'. Get our ass over here '*Оторви свою задницу и двигай сюда*'. That's one big ass car! '*Ни хрена себе машина!*' Ass-out [broke] '*Без копейки денег*'. You bet your ass! '*Бля буду (спорим, и т. д.)*'. A pain in the ass, букв. '*Боль в заднице*' — о неприятном, не приносящем нужных результатов деле или человеке.

Don't get your tits in a tangle '*Не психуй*', букв. '*Не завязывай сиськи узлом*' [Новая Зеландия]. My supervisor has been getting on my tits '*Мой руководитель меня достал*' [Британ. англ.].

Fuckin'-A! '*Клево!*' Sweet fuck-all '*Ничтожно мало*'. He's a dumb fuck '*Он полный идиот*'. Stop fucking around '*Кончай дурью маяться*'. He's such a fuckwit '*Он такой болван*' [Новая Зеландия]. This place is a real clusterfuck [disorganized situation, army] '*Это полный бардак*' [о развале, беспорядке (армейское)]. Fuck a duck! '*Ой, ё-ёб*'. That's real mindfucker '*Это такой засир мозгов*'. Fuck this shit! '*Пошло оно все на хуй!*'

Более двухсот пятидесяти словарных статей подобного рода можно найти в специализированном словаре лексикографа Джесси Шейдлоуэра под названием *The F-Word* («Слово на букву F») [74]. Как мы видели в пятой главе, метафоры и идиомы могут становиться формулами, которые людьми уже не анализируются. Именно это, кажется, и произошло, во всяком случае отчасти, с вульгарными идиомами, так что вместе с восклицаниями вроде *fuckin' amazing* '*охуенно потрясаю-*

щий' они являются наименее оскорбительным способом употребления табуированных слов.

Аффективный удар табуированных слов может сделать их странными синонимами: они заменяют друг друга в идиоматических выражениях, при том что у них нет сходства ни в значении, ни в строении. Многие грамматически возмутительные ругательства, вероятнее всего, произошли от более понятных религиозных ругательств в период перехода от религиозного к сексуальному. А затем к копрологическому сквернословию в англоговорящих странах:

Who (in) the hell are you? груб. 'Кто ты (на хуй) такой?' → Who the fuck are you? 'Кто ты (на хуй) такой?' (также: Where the fuck are you going? 'Куда ты на хуй идешь?'; What the fuck are you doing? груб. 'Что ты делаешь (на хуй)?' Get the fuck of here, etc. 'Иди на хуй отсюда'.)

I don't give a damn 'Мне начхать на это' → I don't give a fuck 'Мне это по хуй'; I don't give a shit 'Мне насрать на это'; I don't give a sod (то же, что I don't give a fuck).

Holy Mary! ('Матерь Божья' 'Пресвятая дева Мария!') → Holy shit! 'Какого черта!' 'Черт поberi!'; Holy fuck! 'Ни хрена себе! Бля!'

For god's sake! 'Ради Бога.' → for fuck's sake, букв. 'ради совокупления'; for shit's sake, букв. 'ради говна'.

Когда речь идет о родственных узах среди табуированных слов, коннотация является более сильной связующей нитью, нежели значение или синтаксис. Это помогает объяснить две великие тайны синтаксиса английского сквернословия: почему слово fuck присутствует в словах Close the fucking door и зачем оно является частью фразы fuck you!

Впервые эти загадки были исследованы в наиболее поразительном юбилейном сборнике статей в истории современной науки: «Левые работы: клеветнические эссе, представленные на суд Джеймса Д. Маккоули по случаю его 33-го или 34-го Дня Рождения» (*Studies out in Left Field: Defamatory Essays Presented to James D. McCawley on the occasion of His 33rd or 34th Birthday*)^[75]. Покойный лингвист Джим Маккоули был одним из основателей (вместе в Джорджем Лакоффом и Хаджем Россом) направления лингвистики, называемого «генеративная семантика». Его вклад включает в себя справочник по этой капризной науке под названием «Тридцать миллионов теорий грамматики» (*Thirty Million Theories of Grammar*), книгу для начинающих под названием «Все, что лингвисты всегда хотели знать о логике, но боялись спросить» (*Everything that Linguists Have Always wanted to Know about Logic (but were Ashamed to Ask)*), а также «Справочник китайских символов для потребителей» (*The Eater's Guide to Chinese Characters*), пособие, которое вдохновляет читателей заказывать блюда из китайского столбца меню,

чтобы получить самые лучшие блюда, которые всегда достаются китайским посетителям ресторанов. Среди многих необычных аспектов этого сборника 1971 г. — то, что несколько из представленных в нем работ были написаны самим Маккоули под псевдонимами Кванг Фук Донг (*Quang Fuc Dong*) и Як Фу (*Yuck Foo*) — оба сотрудника «Технологического института Южного Ханоя» (ясен ли намек?). Несмотря на студенческий юмор и часто безвкусные примеры, все работы сборника являются образцами замысловатого анализа грамматики табуированных выражений в английском языке, до сих пор цитируемых в современных учебных трудах (иногда как *Quang* (1971) или же как *Dong Q. F.*).

Эксплетивы типа *bloody* и *fucking* являются, наверное, наиболее употребимыми табуированными словами в повседневной речи, несмотря на свою семантическую и синтаксическую бессмыслицу. Британский словарь сленга столетней давности включает в себя следующую статью в связи со словом *bloody*: «Наиболее часто... используется, с утомительными повторами через каждые два–три слога, грубыми типами самого низшего сословия; особенного значения, в особенности осмысленного, в данном случае не имеет»^[76]. Похожие наблюдения были сделаны по поводу диалекта под названием *Fuck Patois* (*‘говор в стиле fuck’*), как, например, история о солдате, который сказал «Я, на хуй, возвращаюсь в свой ебанный дом после трех ебанных лет ебаной войны, и что же я, на хуй, нахожу? Свою жену в постели, занимающуюся незаконными сексуальными сношениями с существом мужского пола!»

Грамматика *fucking* в эксплетивной роли стала темой новостей в 2003 г., когда телеканал NBC («Эн-Би-Си») показал живую трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», во время которой Боно в прямом эфире сказал *This is really, really fucking brilliant ‘Это действительно, по-настоящему, охуенно здорово’*. Федеральная комиссия связи США сначала решила не штрафовать телеканал, поскольку их определение «непристойности» — это «материал, который описывает или отражает сексуальные органы или органы выделения, а также связанные с ними действия», а Боно использовал это слово в качестве прилагательного или эксплетива, который используют для подчеркивания чего-либо или при восклицании. Консерваторы от культуры были крайне возмущены, поэтому представитель от шт. Калифорния Даг Оуз постарался закрыть собой амбразуру с помощью самого неприличного законопроекта, когда-либо рассматриваемого Конгрессе США — закона «О чистоте теле- и радиовещания» (*Clean Airwaves Act*):

A BILL

To amend section 1464 of title 18, United States Code, to provide for the punishment of certain profane broadcasts, and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That section 1464 of title 18, United States Code, is amended —

- (1) by inserting «(a)» before «Whoever»; and
- (2) by adding at the end the following: «(b)» As used in this section, the term «profane», used with respect to language, includes the words «shit», «piss», «fuck», «cunt», «asshole», and the phrases «cock sucker», «mother fucker», and «ass hole», compound use (including hyphenated compounds) of such words and phrases with each other or with other words or phrases, and other grammatical forms of such words and phrases (including verb, adjective, gerund, participle, and infinitive forms).

ЗАКОНОПРОЕКТ

Во изменение статьи 1464 раздела 18 Свода законов США, с целью обеспечения наказания за непристойности в теле- и радиопередачах и в прочих целях.

Сенат и палата представителей Конгресса США постановляют, что статья 1464 раздела 18 Свода законов США должна быть изменена за счет:

- (1) введения «(a)» перед «Всякий, кто»;
- (2) добавления в конце пункта «(a)» следующего: «(b)» В данном разделе термин «непристойный» (profane) применительно к языку включает слова «говно», «сосать», «ебать», «пизда, сука», «мудак», словосочетания «хуесос», «еб твою мать» и «задний проход», использование таких слов в составе сложных слов (включая слова с дефисным написанием) и в сочетаниях друг с другом и с другими словами или словосочетаниями, а также других грамматических форм таких слов и словосочетаний.

К сожалению представителя Оуза, билль все же не смог закрыть собой амбразуру, поскольку в нем нет правильного разбора синтаксиса эксплетива, употребленного Боно (уж не говоря об орфографически неправильном написании слов cocksucker, motherfucker и asshole, а также о неверном определении их в качестве «фраз»).

«Закон и чистоте теле- и радиовещания» предполагает, что fucking — это отглагольное прилагательное. Однако это неверно. Как отмечает Кванг, в случае истинных прилагательных, таких как lazy ‘ленивый’, вы можете использовать как фразу Drown the lazy cat ‘Утопи ленивую кошку’, так и Drown the cat which is lazy ‘Утопи кошку, которая ленилась’^[77]. Однако Drown the fucking cat ‘Утопи ебаную кошку’ безусловно никак не заменишь на Drown the cat which is fucking ‘Утопи кошку, которая ебется’ (по аналогии Drown the bloody cat означает далеко не одно и то же, что Drown the cat which is bloody). Не можете вы сказать и предложения The cat seemed fucking ‘Кошка казалась (***)’ или How fucking was the cat? ‘Насколько (***) кошка’ или the very fucking cat — еще три проверки на то, является ли слово прилагательным^[78].

Некоторые критики смеялись над «Законом о чистоте теле- и радиовещания» по причине еще одного проявления грамматической безграмотности. Если уж о чем-либо говорить, то слово *fucking* в *fucking brilliant* должно быть наречием, поскольку оно определяет прилагательное, что могут делать исключительно наречия, такие как *truly bad* ‘действительно плохой’, *very nice* ‘очень милый’ и *really big* ‘действительно большой’. И тем не менее **наречие** — это единственная грамматическая категория, которую Оуз забыл включить в свой список! Дело в том, что табуированные эксплетивы не являются даже и настоящими наречиями. Еще в одной «левой работе» (*study out in left field*) отмечается, что хотя мы и можем сказать *That’s too fucking bad* ‘Это совсем, блядь, плохо’ и *That’s no bloody good* ‘Это совсем, на хуй, нехорошо’, мы не можем сказать *That’s too very bad* ‘Это слишком очень плохо’ или *That’s no really good* ‘Это не в самом деле хорошо’^[79]. Также лингвист Джеффри Нанберг указал на тот факт, что, хотя мы и можем представить себе диалог, состоящий из фраз: *How brilliant was it? — Very! ‘Насколько здорово было? — Очень.’*, вы никогда не услышите *How brilliant was it? — Fucking! ‘Насколько здорово было? — Охуенно!’*^[80] 1)

Наиболее анархическим образом эксплетивы могут появляться в середине слова или компаунда, как в *in-fucking-credible* ‘не-х**вероятный’, *hot fucking dog* ‘хот-х**-дог’, *Rip van Fucking Winkel* ‘Рип Ван Х** Винкль’, *carpu-fucking-chino* ‘капу-х**-чино’, *Christ al-fucking-mighty* ‘Христос Все-х**-могущий’ — единственный известный в английском языке случай морфологического процесса под названием «инфиксация» *Bloody* также может стать инфиксом, как в *abso-bloody-lutely* и *fan-bloody-tastic*). В своих мемуарах «Портрет художника в щенячестве» (*Portrait of an Artist as a Young Dog*) Дилан Томас пишет:

Вы всегда узнаете кукушку из Бридж-Энда... она кукует: «Ку-х**-ку, ку-х**-ку, ку-х**-ку».

Семантика у эксплетивов не менее странная, чем синтаксис. *Bloody* и *fucking* обычно выражают неодобрение, но это неодобрение не всегда направлено на определяемое ими существительное:

Интервьюер: Почему английская еда такая невкусная?

Джон Клиз: Потому что нам нужно было гребаной империей управлять, понимаете? (Because we had a bloody empire to run, you see?)^[81]

Клиз не клеветал на империю, над которой никогда не заходит солнце; он выражал притворное недовольство вопросом интервьюера. Так же, если я скажу *They stole my fucking laptop* ‘Они украли мой гребаный ноутбук.’, это не означает, что этот компьютер плохого качества — он мог бы быть блестящей титановой моделью *PowerBook*²⁾

1) В русском языке такое возможно. — Прим. перев.

2) Линия ноутбуков марки *Macintosh*. — Прим. перев.

с семнадцатидюймовым экраном и процессором с объемом памяти 1,67 гигагерц^[82]. Эксплетивы указывают на то, что кто-то недоволен общим ходом дел, а не субстанцией, названной существительным, хотя свойства этого предмета могут иметь отношение к тому, почему ситуация человека не устраивает. Не менее важным является то, что ситуация должна вызывать недовольство у самого говорящего, а не у кого-либо из персонажей, упомянутых в предложении или дискурсе. Если кто-то сообщает вам, что John says that his landlord is a fucking scoutmaster *‘Джон говорит, что его домовладелец — гребанный предводитель скаутов’*, вы припишете неуважение к предводителям скаутов говорящему, а не Джону, несмотря на то что слово fucking находится внутри предложения, передающего то, что сказал Джон^[83].

Частью решения этой лингвистической загадки является тот факт, что такие эксплетивы, как bloody и fucking возникли в процессе того, как одно табуированное слово заменяло другое, несмотря на то что у них больше нет ничего общего (именно тот процесс, который позволил Where in hell, букв. *‘Где в аду...’* породить Where the fuck *‘Где на хуй’*, а Holy Mary *‘Пресвятая Мария’* вдохновить на Holy Shit, букв. *‘пресвятое говно’*). В случае таких эксплетивов, как fucking scoutmaster и bloody empire, историческими источниками являются слова damned и God-damned, которые до сих пор живы сегодня в таких выражениях, как damn yankees *‘проклятые янки’*, They stole my goddam laptop *‘Они украли мой чертов ноутбук’* и abso-goddam-lutely *‘абсо-***-лютно’*. (Damned превратился в damn, когда несущественное в данном случае окончание -ed проглатывалось при произношении и пропускалось при восприятии, как это случилось со словами ice cream, mincemeat, box set, когда-то бывшими iced cream *‘замороженные сливки (мороженое)’*, minced meat *‘измельченное мясо (фарш)’* и boxed set *‘подарочный набор в коробке’*.) Если что-то было проклято, то оно является бросовым, жалким и не подлежащим использованию. Можно себе представить эту коннотацию, вызывающую тот же эмоциональный подтекст, что и fucking *‘ебанный’*, bloody, букв. *‘кровавый’*, перен. *‘хреновый, проклятый’*, dirty *‘гадкий’*, lousy *‘шивший’* и stupid *‘тупой, дебилный’*. Каждый из них занял свое место наряду с damned *‘проклятый’* по мере того, как религиозные эксплетивы начали терять свою силу в ходе развития английского языка.

Другая часть решения состоит в том, что эмоционально окрашенные эксплетивы иногда могут избежать обычного механизма грамматики, который вычисляет, кто что кому сделал с помощью расстановки слов в ходе синтаксического разбора предложения. Такие лингвисты, как Кристофер Поттс, утверждают, что грамматика английского языка не только позволяет говорящим делать некое заявление в форме предложения — то есть показать «в чем суть», но также дает и возможности давать интерпретации и комментарии этому утверждению^[84], иногда называемые обычными имплицативами; эти свойства позволя-

ют говорящему передавать его отношение к тому, о чем идет речь, как, например, его мнение по поводу результата или степень его уважения к одному из участников происходящего. Одно из таких средств дает возможность слову, содержащему отношение говорящего, отрываться от прочих актеров описываемой слушателям драмы и относиться скорее к мировоззрению говорящего. Например, если я скажу, что Sue believes that jerk Dave got promoted ‘Сью считает, что козла Дейва повысили (в должности)’, вполне вероятно, что Сью весьма высокого мнения о Дейве, но я подразумеваю, что я нет. Такова схема интерпретации, управляющая табуированными эксплетивами, такими как *fuck* и *bloody*.

Взаимозаменяемость табуированных терминов также объясняет тайну происхождения ругательства *fuck you* ‘*пошел на хуй*’. Шутка Вуди Аллена о том, как он посоветовал водителю быть плодовитым и размножаться, иными словами подразумевает, что *fuck you* — императив во втором лице, такой же как *get fucked* ‘*пошел ты на хуй*’ или *fuck yourself* ‘*отъебись*’. Точно такой же вывод сделал Ленни Брюс, а также Билл Брайсон в своей замечательной книге *The mother tongue: English and How it Got That way* («Родной язык: английский и как он таким стал»):

Английский язык необычен тем, что включает в себя и невероятное, и приятное. Странной и малоизученной идиосинкразией нашего языка является тот факт, что, когда мы хотим выразить крайнее недовольство, мы просим объект нашего гнева предпринять анатомически невозможный акт или, что еще более странно, заставить его заняться именно тем видом активности, который непременно принес бы ему больше удовольствия, чем, фактически, что бы то ни было другое. Может ли быть, если всерьез об этом задуматься, более невероятное выражение чувств, нежели ‘*Иди на...*’ (*Get fucked*)? С тем же успехом мы могли бы огрызаться, говоря «Заработай кучу денег!» или «Удачного вам дня!»^[85].

Но Кванг быстро расправляется с данной теорией^[86]. Во-первых, в императиве второго лица местоимением должно быть *yourself* ‘*вас, вам, себя*’, а не *you* ‘*ты*’ — хит Мадонны назывался *Express yourself* («Вырази себя»), а не *Express You* («Вырази ты»). Во-вторых, настоящие императивы, такие как *close the door* ‘*закрой дверь*’, могут входить в состав целого ряда других конструкций.

I said to close the door.
Я сказал закрыть дверь.

Don't close the door.
Не закрывай дверь.

Go close the door.
Иди закрой дверь.

Close the door or I'll take away your cookies.
Закрой дверь, или я отберу у тебя печенье.



Close the door and turn off the light.

Закрой дверь и выключи свет.

Close the door when you leave tonight.

Закрой дверь, когда будешь уходить сегодня.

А выражение fuck you так использоваться не может:

*I said to fuck you.

*Я сказал ***.*

*Don't fuck you.

*Не ***.*

*Go fuck you.

*Иди ***.*

*Fuck you or I'll take away your cookies.

**** или я отберу у тебя печенье.*

*Fuck you and turn off the light.

**** и выключи свет.*

*Fuck you when you leave tonight.

****, когда будешь уходить сегодня вечером.*

Разница видна и при употреблении с дополнениями в третьем лице, как в Fuck communism! *'Да пошел этот коммунизм.'* Хотя два императива, к обоим из которых относится дополнение, можно соединить вместе, как в предложении Clean and press these pants *'Постирай и погладь эти брюки'*, вы можете присоединить данное проклятие к настоящему императиву, как в *Describe and fuck communism *'Опишите и *** коммунизм'*.

Кванг не рассматривает еще одну народную этимологию выражения fuck you, а именно утверждение, что это — сокращение от I fuck you (как в истории про нетерпеливого клиента и работника авиакомпании из первой главы). Эта версия, безусловно, совместима с концептуальной метафорой, согласно которой секс — это форма эксплуатации или нанесения ущерба, но она лишена смысла с лингвистической точки зрения. Время неверное, отсутствие подлежащего не объясняется, а также не существует никаких параллельных конструкций. Нет также никаких свидетельств о том, что I fuck you когда-либо являлось пространственным проклятием в английском языке.

Наиболее простым объяснением является то, что fuck в fuck you подобен употреблению fuck в where the fuck и a fucking scoutmaster: то есть является заменителем более старого религиозного эпитета со сходной эмоциональной силой. В данном случае наиболее очевидным источником является выражение damn you (вполне вероятно, сокращение от god damn you и may God damn you). Изначальная семантика была бы своего рода императивом в третьем лице со значением «пусть это будет так», распространенным в благословениях («Да будьте же вы

вечно молоды») и проклятиях (как «Да жить тебе как люстре: висеть днем и гореть ночью»). Однако проклятие превратилось в обобщающее выражение неодобрения. Как отмечает Кванг, fuck you напоминает не только damn you *‘да будь ты проклят!’*, но и другие конструкции, которые не означают ничего, кроме явно выраженного отношения говорящего к объекту: to hell with you, букв. *‘да иди ты в ад’*, shit on you *‘хрен с тобой’*, bless you *‘будь здоров’*, hooray for you *‘да здравствует (такой-то), рады за тебя’*, а также саркастичное bully for you *‘флаг тебе в руки’*.

Остается последний вид использования табуированной лексики — катартический, облегчающий боль, — то есть произнесение damn *‘черт (поberi)’*, hell *‘черт’*, shit *‘говно’*, fuck *‘бля’* или bugger, зд. *‘какого хрена’* в моменты внезапной боли, расстройства или сожаления. Если вы спросите людей, почему они это делают, они скажут, что таким образом они «избавляются от напряжения» и что это помогает им «выпустить пар». Это гидравлическая метафора для эмоций, которую можно встретить также в выражениях venting one’s feelings, букв. *‘изливать свои эмоции’*, finding an outlet *‘найти отдушину’*, bottling up rage *‘лезть в бутылку’*, букв. *‘бутилировать гнев’*, exploding with anger *‘разразиться гневом’*, букв. *‘взорваться от гнева’*. Хотя она, безусловно, и передает то, что мы чувствуем, когда выражаем недовольство, гидравлическая метафора не объясняет самого чувства. Нейробиологи не нашли сосудов или каналов мозга, по которым протекала бы подогретая жидкость, — лишь системы нейронов, которые загораются в самых сложных сочетаниях. Не существует также и некоего закона термодинамики, который был бы способен объяснить, почему произнесение вслух oh, fuck *‘ой, бля’* способствовало бы расточению энергии более эффективным образом, нежели oh, my *‘о боже’* или Fiddle-dee-dee *‘тра-ля-ля’*.

Однако у мозга имеются другие механизмы, которые могут играть роль при катартическом сквернословии. Одним из них является электрофизиологическая реакция, которая вызывается всякий раз, когда люди замечают, что они только что допустили ошибку^[87]. Она приходит из задней cingulate коры — части лимбической системы, связанной с мониторингом когнитивных конфликтных ситуаций. Публично когнитивные нейробиологи называют ее «негативностью, связанной с ошибкой» (*Error-Related Negativity*); по секрету они величают ее «Волной Ой, блин» (*Oh-Shit Wave*).

Также релевантными являются те лимбические области у млекопитающих, которые лежат в основе чувства недовольства. Одна из них, называемая «областью гнева», проходит из части амигдалы вниз по гипоталамусу (подбугорью) (маленькому отделу мозга, который регулирует мотивацию), а затем в серое вещество среднего мозга^[88]. Область гнева изначально содержала в себе рефлекс, по которому внезапно

раненное или пойманное животное вдруг начинало отчаянную борьбу с целью испугать, ранить и убежать от хищника, часто сопровождаемую леденящим кровью воем. Любой, кто случайно присаживался на кошку или наступал на хвост собаке, мог открыть для себя новый звук из репертуара своего питомца вкупе со свежими следами когтей или зубов на своих ногах. Эта реакция изучалась во множестве научных работ по экспериментальной психологии по теме под названием «гипотеза расстройств-агрессии» (*Frustration-Aggression hypothesis*)^[89].

К примеру, если двух крыс посадить вместе в клетку и дать им дозу элетрошока, они начнут драться. Крыса также начинает атаковать другую крысу, если у нее внезапно отбирают награду (еду, например), предполагается, что это своего рода адаптация к внезапной краже еды, пространства или других ресурсов, совершенная животным-сородичем. Лежащие в основе этой реакции участки мозга сохранились в ходе эволюции человека. Когда этот отрезок мозга электрически стимулируют неврологическим пациентам в ходе операции на мозг, те испытывают внезапное сильное чувство гнева^[90].

Итак, вот перед вами одна из возможных гипотез относительно катартического сквернословия. Внезапная боль или расстройство включают работу «области гнева», которая в свою очередь активирует те части лимбической системы мозга, которые связаны с негативными эмоциями. Среди них существуют представления понятий с сильным эмоциональным зарядом, а также связанные с этим слова, в особенности те версии, что находятся в правом полушарии, более связанном с неприятными эмоциями. Волна импульса защитной агрессии также может устранять защитные заслоны, предотвращающие акты агрессии, которые обычно находятся в базальных ганглиях, поскольку осмотительность не является достоинством, когда речь, возможно, идет о последних пяти секундах вашей жизни. У людей такие подавленные реакции могут включать в себя произнесение табуированной лексики. Вспомним, что реакция гнева у животных также включает в себя визг, вызванный страхом. Возможно, эта комбинация внезапного включения негативных понятий и слов, избавления от запрета на антисоциальные действия и неодолимого желания издать резкий звук выливается в произнесение непристойности, а не в традиционный визг млекопитающих. (Разумеется, когда люди испытывают сильную боль, они демонстрируют, что мы как отряд сохранили способность кричать и выть.) В таком случае катартическое сквернословие происходит от совмещения области гнева млекопитающих с человеческими понятиями и голосовыми шаблонами.

Возникающая в связи с этой теорией совмещения проблема в том, что эксплетивы гнева являются обыденными (повседневными). Как и другие наши слова или формулы, они зависят от зафиксированного в памяти сочетания между звуком и значением, которое разделяется

членами той или иной языковой общины. Когда мы стучаемся обо что-то головой, мы не вскрикиваем *Cunt!* '*Пизда!*' или *Whore!* '*Шлюха!*' или *Prick!* '*Член!*', хотя эти слова являются ничуть не меньшими табу, нежели *shit* '*говно!*', *fuck* '*еб (твою мать)*', *бля* и *damn* '*черт!*' (что является правдой и для переводов подобных криков, вызванных ушибами, и в других странах¹⁾). Также выбор эксплетива связан с причиной приключившегося несчастья. Люди вскрикивают *Asshole!* '*Козел!*' *Придурок!* *Мудак!*', если им наносится внезапная обида вредителем-человеком, но не тогда, когда они случайно взялись за раскаленную кастрюлю или когда на их ногу вдруг захлопывается мышеловка. Таким образом, катартические ругательства могут отличаться в зависимости от случая, а также от языка говорящего. Как сказала миссис Пирс по поводу использования Элайзой слова на букву *b*²⁾, мы учимся этим словам еще сидя на коленях у матери, хотя чаще, наверное, у отца. Когда мне было четыре года и я сидел с отцом на переднем сидении его машины, при повороте дверца с моей стороны внезапно открылась настежь и я произнес: *Oh, shit!* '*Ой, черт!*', гордый своим знанием того, что произнес бы в подобной ситуации взрослый. Меня тут же отчитали, демонстрируя лицемерие, совершенно обязательное для родителей.

Зачем же нам нужно изучать определенные слова для катартического сквернословия, когда мы могли бы давать волю гневу с помощью любого табуированного слова? Катартическое сквернословие является частью лингвистического феномена, который называется выкрики реакции или восклицания^[91]:

Aha, ah, aw, bah, bleh, boy, brrr, eek, eeuw, eh, goody, ha, hey, hmm, hmph, mmm, my, oh, ohgod, omigod, ooh, oops, ouch, ow, oy, phew, pooh, shh, shoo, ugh, uh, uh-oh, um, whee, whoa, whoops, wow, yay, yes!, yikes, yipe, yuck.

На первый взгляд, вышеперечисленные слова кажутся не столько реальными словами, сколько транслитерацией выкриков, которые вылетают у нас изо рта при той или иной сильной эмоции. Они не могут использоваться в повествовательном предложении (**I like goody* '*Мне нравится божье!*'; **I hate ouch* '*Я ненавижу ай!*'), а многие из них нарушают звуковые нормы английского языка (например, *eeuw*, *hmph* и *shh*). Не произносят их и по команде, когда очередь переходит к собеседнику в ходе обмена фраз при беседе.

Но это настоящие слова с обычными значениями и звучанием. Звуки стандартизируются, а не просто произносятся, когда возникает определенное чувство до такой степени, что многие люди произносят именно орфографию, которую воспроизводят художники комиксов для ономастической передачи человеческого восклицаний, таких

¹⁾ В русском языке такое возможно. — *Прим. перев.*

²⁾ *Bastard.* — *Прим. перев.*



как *Gulp!* (причмокивание губами + *m-a!*) (после того как быстро или жадно что-то выпито), *Tisk, tisk!* '*Ай-ай!*', *Phew!* '*Уф!*'. Одна из наиболее распространенных ошибок, совершая которую говорящий выдает другим, что он иностранец, — это использование неверного восклицания, как в случае если американец вдруг прерывает свой беглый французский безусловно английским по звучанию *um* '*мм*' или *ouch* '*ай!*'. Существует анекдот, в котором женщина-еврейка, пытаясь выдать себя за белую англосаксонскую протестантку в элитном загородном клубе, заходя в ледяной бассейн, вскрикивает «Ой вай!» (*ou veu* — междометие из идиша, выражающее недовольное удивление) — что бы это ни означало.

То, что означают «ой вэй» и прочие восклицания-реакции, является столь же обычным, сколь и значения всех остальных слов того или иного языка. Что мы произносим, когда видим очаровательного малыша? Когда нам холодно? Когда обнаруживаем, что в нашем яблоке червяк? Когда роняем салфетку? Когда обнаруживаем то открытое окно, из-за которого в помещении возник сквозняк? Когда согреваемся благодаря ложке горячего супа? Любой англоговорящий человек знает, какое именно слово выбрать из списка.

Социолог Ирвинг Гоффман был театральным критиком повседневности, анализируя постановку и диалоги, которые мы используем, чтобы руководить впечатлениями воображаемого или реального зрителя^[92]. Одной из целей этих спектаклей, по его словам, — убедить зрителя, что мы находимся в здравом уме, что мы компетентные, разумные существа с понятными другим целями и понятными реакциями на текущую ситуацию. Как правило, это означает, что мы не разговариваем сами с собой на людях, однако мы делаем исключение, если внезапный поворот событий подвергает проверке нашу рациональность или эффективность. Моим любимым примером является момент, когда, идя по коридору, мы внезапно разворачиваемся на сто восемьдесят градусов и начинаем бормотать под нос некий монолог, объясняющий кому-то совершенно неопределенному, что мы забыли что-то в своем кабинете, будто бы заверяя зрителей, что мы отнюдь не лунатики, слоняющиеся по зданию без определенного маршрута.

Гоффман утверждает, что для наших реакций-восклицаний есть немаловажные причины: сигнализация нашей компетентности, а также желание поделиться пониманием ситуации со сторонними наблюдателями^[93]. Человек, который опрокинул стакан, может быть недотепой, но, если он при этом произносит *whoops*, нам по крайней мере понятно, что он не хотел такого поворота событий и сожалеет о случившемся. Человек, который восклицает *yuck* '*фу!*', запачкав свою рубашку соусом от пищи или наступив на собачьи экскременты, это кто-то, кого мы понимаем лучше, чем тот, который сделает вид, что ничего не произошло. Такая же точно ситуация с катартическим скверносло-



вием. Столкнувшись с внезапным вызовом своим жизненным целям или общему благополучию, мы информируем окружающих, что данная неприятность небезразлична для нас и на самом деле затрагивает струны того эмоционального уровня, которые вызывают наши худшие мысли и находятся за пределами нашего самоконтроля. Как и другие восклицания-реакции, табуированные выкрики калибруются в зависимости от того, насколько велика случившаяся неприятность, где *shoot 'блин'* означает небольшую степень раздражения, а *fuck 'бля'* — гораздо более серьезную. В зависимости от выбора слова и того тона, каким оно было произнесено, то или иное восклицание может призвать на помощь, напугать противника или предупредить беззаботного человека о том уроне, который он наносит. Гоффман так суммирует свою теорию: «Таким образом, восклицания-реакции говорят не о выбросе эмоций наружу, а о принятии к сведению релевантной информации»^[94].

Теория области гнева, согласно которой катартическое сквернословие считается побочным продуктом, а также теория реакции-восклицания, которая считает таковые способом адаптации, не исключают друг друга. Многие обычные восклицания-реакции, должно быть, появились на свет как обычная попытка передачи вокальных звуков, таких как *brg 'брр'* вместо стучания зубами или *уиск '(ть)фу'* как попытка выплюнуть что-то изо рта. Такая ритуализация могла быть также и основой появления катартического сквернословия. Эпитеты могли появиться как выкрикивания табуированных слов, подобные тем, что возникают при синдроме де ля Туретта, которые производятся областью гнева, а затем стали общепринятыми в качестве стандартных восклицаний-реакций для подобного нарушения или неприятности. Некоторые когнитивные нейробиологи вновь стали приводить предположение Дарвина, что вскрики, облеченные в слова, и были отсутствующим эволюционным связующим звеном между криками приматов и человеческими языками^[95]. Если это так, то сквернословие сыграло в истории человека и его развития как личности намного более важную роль, чем считает большинство людей.

Сквернословие — за и против

7

Так что же нам делать с бранной лексикой? Проливает ли изучение сквернословия хоть какой-то свет на те жаркие споры, которые возникали в связи со сквернословьями в СМИ, на тему чистоты теле- и радиоволн и благопристойности вещания? Что касается политики, мои замечания будут краткими и банальными. На мой взгляд, свобода слова — это основа демократии, и наше правительство не должно законным образом устанавливать, кого наказывать за использование

определенных слов, как и не должно оно и разрешать их использование. С другой стороны, частные СМИ имеют возможность устанавливать собственный стиль, который диктуется стандартами вкуса и требованиями рынка и исключает слова, нежелательные для уха публики. Иными словами, если тот или иной артист произносит *fucking brilliant* 'охуенно здорово', это не должно никак касаться правительства. Но, если те или иные родители предпочли бы не объяснять своим детям, что такое минет, должны существовать телевизионные каналы, которые не заставляют их это делать. Не углубляясь более в политические дебри, мне бы хотелось сказать немного о том, как психолингвисты, занимающиеся проблемами табуированной речи, могут проинформировать нас на тему того, когда стоит сопротивляться, когда переносить, а когда и приветствовать сквернословие.

Язык часто называют оружием, и люди должны думать о том, куда целиться и когда стрелять. Общим знаменателем табуированных слов является акт навязывания кому-либо некой неприятной мысли, и стоит задуматься о том, насколько часто мы хотим напоминать нашим слушателям об экскрементах, моче или эксплуататорском сексе. Даже в самой мягкой форме, когда намерением говорящего является лишь желание привлечь внимание слушателя, ленивое использование сквернословия может показаться целым рядом ударов под ребро. Эти выражения раздражают слушателя, а также являются признанием со стороны говорящего, что он не в состоянии придумать никакого иного способа увлечь кого-то своей беседой. Это еще более убийственно для писателей, которые имеют шикарную возможность автономно выбирать свои слова из фантазмагорического лексикона английского языка длиной в полмиллиона единиц. Журналисту, который в своей статье о жестокости охранника из восточногерманской полиции штази (сокращение от *Ministerium für Staatssicherheit*, Министерство обороны государства) не может придумать ничего лучшего, чем назвать того fucker 'мудак', нужно купить хороший словарь [96].

Стоит задуматься и о том, всегда ли лингвистическое табу — вещь отрицательная. Почему нас оскорбляет — почему нам *следует* оскорбиться — когда какой-нибудь аутсайдер называет афро-американца — *nigger* 'негр', женщину — *cunt* 'низда', а еврея — *fucking Jew* '(гр)ебаный жид'? У этих терминов нет реального значения, поэтому оскорбление не может возникать из-за того, что они укрепляют стереотип или поддерживают угнетение. Не являются они и реакцией осознание нами того, что говорящий таит плохое отношение. Сегодня любой человек, который продемонстрировал бы то же самое отношение, просто заявив: «Я ненавижу афро-американцев, женщин и евреев», — заклеил бы себя намного сильнее, чем тех, о ком он это говорил, и был бы быстро списан со счетов в качестве отвратительного безумца. Я подозреваю, что природа наших оскорбленных чувств кроется в природе распозна-

вания речи и в смысле того, что значит понимать коннотацию слова. Если вы говорите на английском языке, вы не можете услышать слова *nigger* 'негр', *cunt* 'пизда', *fucking* 'ебанный', не вспомнив о том, что они означают внутри внутренней общины говорящих на этом языке, включая те эмоции, которые к ним привязаны. Услышать слово *nigger* 'негр' — это примерить, пусть и совсем ненадолго, мысль о том, что в афро-американцах есть что-то, достойное презрения и, соответственно, стать соучастником в той общине, которая принимала такое мнение как норму, придумав для него отдельный термин. То же самое происходит и с другими табуированными ругательствами: сам факт, что мы слушаем эти слова, уже является морально разлагающим, поэтому мы считаем их не просто неприятными в качестве предмета размышлений, но такими, о которых не следует думать вовсе, — то есть табу. Ничто из сказанного выше не означает, что подобные слова следует воспретить, а означает лишь то, что их воздействие на слушателя должно правильно пониматься и быть ожидаемым.

Также стоит подумать о том, почему предыдущие поколения говорящих завещали нам язык, который относится к определенным темам с настороженностью и сдержанностью. Вспомним, что лексические вольнодумцы 1960-х гг. считали, что табу, налагаемые на сексуальную лексику, были бессмысленными и даже вредными. Они утверждали, что упразднение клейма, поставленного на сексуальность, уничтожило бы стыд и невежество и тем самым уменьшило бы венерические заболевания, число незаконнорожденных младенцев и другие факторы риска, связанные с сексом. Но оказалось, что тут «святой Ленни» ошибся. Сексуальная лексика стала гораздо более распространенной с начала 1960-х гг., как и незаконные сексуальные связи, заболевания, передаваемые половым путем, насилие и последствия сексуального соревнования, такие как анорексия у девочек и хип-хоп-культура у мальчиков. Хотя никто не может точно указать причинно-следственные связи в данном случае, изменения одного порядка с ослаблением страха и трепета, которые когда-то окружали мысли о сексе и делали сексуальную лексику табуированной.

Вышеперечисленное является рядом причин, чтобы задуматься, прежде, чем давать сквернословие карт-бланш. Но есть и другая причина. Если злоупотребление табуированными словами, намеренно или от лени, притупит их эмоциональную окраску, то мы лишимся лингвистического инструмента, который иногда действительно нам необходим. А это приводит меня к аргументам в защиту сквернословия.

Прежде всего, то, что люди сквернословят — факт жизни. Обязанность писателей — давать нам «правдивые и живые образы человеческой природы», что включает в себя реалистичное отражение языка персонажа, когда искусство того требует. Когда Норман Мейлер написал свой правдивый роман о Второй мировой войне «Голые и мертвые»



(*The Naked and the Dead*) в 1948 г., он знал, что описание солдат без того, чтобы они сквернословили, было бы предательством по отношению к ним. Его компромиссом с моралью того времени стал псевдоэпитет *fig*, который он вложил в уста своих героев (когда Дороти Паркер встретила с ним, она сказала: «Так это вы не знаете, как грамотно написать слово *fuck* 'ебать(ся)'?»). К сожалению, подобная чопорность не ушла в прошлое. Даже сегодня некоторые каналы некоммерческого телевидения отказываются транслировать документальный сериал Мартина Скорсезе об истории блюза и документальную работу Кена Бернса о Второй мировой войне по причине местами непристойного языка интервьюируемых музыкантов и солдат. Запрет на сквернословие в теле- и радиовещании делает из художников и историков лжецов и разрушает обязанность взрослых знать, как протекает жизнь в мирах, удаленных от их собственного.

Даже тогда, когда персонажами не являются солдаты, писателям иногда нужно дать им возможность сквернословить, чтобы убедительно отражать страсти людей. В экранизации романа Исаака Башевиса «Враги. История любви» (*Enemies: A Love Story*), милая польская девушка-крестьянка спрятала у себя на сеновале юношу-еврея во время нацистской оккупации и стала его любящей женой по окончании войны. Когда она начинает выяснять с ним отношения из-за его измены, мужчина теряет контроль над собой и дает ей пощечину. Пытаясь сдержать слезы гнева, она смотрит ему в лицо и медленно произносит: «Я сохранила тебе жизнь. Я лишала себя последнего кусочка еды, чтобы отнести тебе на сеновал. Я выносила твоё говно!» Никакое другое слово не могло бы передать глубину ее гнева и его неблагодарности.

Для любителей языка радости сквернословия не ограничиваются работами знаменитых писателей. Каждое устойчивое выражение должно быть детищем какого-то изобретательного оратора, чей след теряется во тьме веков, и многие из богохульств заслуживают нашего восхищения. Мы должны молча поаплодировать поэтическому гению, который дал нам солдатский термин для тушенки на куске поджаренного хлеба — *shit on a shingle* 'говно на дощечке', а также братский совет одного мужчины другому по поводу осмотрительности в делах, касающихся секса, — *keep your pecker in your pocket* 'держи свой член в кармане'. Снимаю шляпу и перед словоплетами, которые придумали такие незаменимые выражения, как *pissing contest*, букв. 'конкурс писанья'¹⁾, *crock of shit*, букв. 'горшок дерьма'²⁾, *pussy-whipped* 'под каблуком у жены (женщины)', *horse's ass*, букв. 'задница лошади'³⁾, *He doesn't know shit from Shinola* 'Он не отличит говно от гуталина'. Среди тех,

¹⁾ Несерьезный спор-соревнование «кто кого круче». — Прим. перев.

²⁾ Русск. 'мешок дерьма'. — Прим. перев.

³⁾ Русск. 'козел, придурок'. — Прим. перев.



что были исторически зафиксированы, Линдон Джонсон знал, что сказать, когда ему было необходимо охарактеризовать тех людей, которым он не доверял, включая советника Кеннеди (He wouldn't know how to pour piss out of a boot if the instructions were printed on the heel 'Он не смог бы вылить мочу из ботинка даже если бы инструкция была напечатана прямо на каблуке'), Джеральда Форда (He can't fart and chew gum at the same time 'Он не может пердеть и жевать жвачку одновременно') и Дж. Эдгара Гувера (I'd rather have him inside the tent pissing out than outside pissing in' 'Пусть уж лучше ссыт наружу изнутри палатки, чем внутрь, находясь снаружи').

Сквернословие может эффективно использоваться в поэзии, как у Филипа Ларкина в его стихотворении 1974 г. о том, как «человек передает свои невзгоды другому»:

They fuck you up, your mum and dad
They may not mean to, but they do.
They fill you with the faults they had
And add some extra, just for you^[97].

*Задалбливают мать с отцом:
Тебе суют они, «любя»,
Свои огрехи, все, гуртом,
Плюс кучку сверх — лишь для тебя¹⁾.*

Может сквернословие использоваться и при научной аргументации, как в случае Джудит Рич Хэррис, которая выступала против идеи о том, что родители формируют характеры своих детей:

Бедные старики — Мама и Папа: публично обвиненные своим сыном-поэтом и никогда не имевшие шанса ответить на его обвинения. У них сейчас появится такой шанс, ибо я осмелюсь сказать за них:

How sharper than a serpent's tooth
To hear your child make such a fuss.
It isn't fair—it's not the truth—
He's fucked up, yes, but not by us^[98].

*Насколько же больнее, чем укус змеи,
Услышать от своего ребенка такие обвинения.
Это не честно, это не правда —
Он задолбан, да, но не нами.*

Оно может использоваться в протесте против государственных санкций, налагаемых на бранную лексику, как в *The FCC Song* («Песне ФКК»)²⁾, исполненной Эриком Айдлом из передачи *Monty Python* («Монти Пайтон»):

¹⁾ Перевод Г. Яропольского. — *Прим.перев.*

²⁾ FCC, Federal Communications Commission — Федеральный комитет по массовым коммуникациям. — *Прим.перев.*

Fuck you very much, the FCC.
 Fuck you very much for fining me.
 Five thousand bucks a fuck,
 So I'm really out of luck.
 That's more than Heidi Fleiss was charging me.

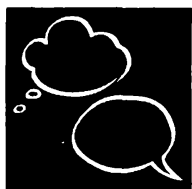
*Спасибо, ё, большое, ФКК.
 Спасибо, ё, большое за то, что штрафуеть меня.
 Пять тысяч баксов за каждый ёб,
 Так что мне действительно не повезло.
 Это больше, чем брала с меня Хайди Флейсс¹⁾.*

Это также является наиболее прозрачной из известных мне иллюстрацией разницы, между «упоминанием» и «употреблением», о чем говорят логики слов.

Когда сквернословие используют разумно, это может быть смешным, трогательным и чрезвычайно наглядным. Более, чем любая другая форма языка, оно использует наши выразительные возможности в полной мере: комбинаторную силу синтаксиса, изобразительность метафоры, приятные чувства, возникающие от аллитерации, размера и рифмы; эмоциональную окраску наших отношений, как сознательных, так и тех, о которых думать не принято. Оно заставляет мозг работать в полном объеме: левое и правое полушарие, верх и низ, древние и современные участки. Шекспир, сам не чуждый земным радостям бранной лексики, сказал устами Калибана за все человечество: «Меня вы научили говорить На вашем языке. Теперь я знаю — как проклинать, — спасибо и за это»²⁾.

¹⁾ Хайди Флейсс — известная в США владелица бордельного бизнеса. — *Прим. перев.*

²⁾ Шекспир У. Буря. Пер. М. Донского. — *Прим. перев.*

Игры, в которые
играют люди

Ошибка, которую мы совершаем, принимая одного человека за другого, является настолько показательной человеческой слабостью, что Шекспир использовал ее не менее чем в восьми из своих комедий^[1]. Обман и самообман, иллюзии и реальность, а также то, как мы представляем себя другим в повседневной жизни, являются лишь некоторыми из психологических тем, которые можно выделить по мере того, как мы наблюдаем за реакциями людей на тех, кто оказывается вовсе не таким, как им казалось.

Наши слова являются такой же важной частью нашего общественного Я, как внешность и поведение. Поэтому случаи ошибки, состоящей в незнании кого-то, могут обнажить некоторые намерения, которые мы скрываем с помощью языка.

В комедии 1982 г. «Тутси» Майкл Дорси (которого сыграл Дастин Хоффман) — безработный актер, который притворяется женщиной-актрисой средних лет по имени Дороти Майклз и выигрывает таким невероятным образом одну из главных ролей в мыльной опере, по сюжету, закрученному под стать «Двенадцатой ночи»; Дороти становится подругой привлекательной молодой актрисы, Джули Николс (которую сыграла Джессика Лэнг) — не узнанный никем Майкл влюбляется в нее. Как-то вечером, во время одного из их «девчачьих» разговоров Джули сочувствует Дороти по поводу того, насколько тяжело быть незамужней женщиной в эти времена:

Ты знаешь, чего бы мне хотелось? Чтобы нашелся парень, настолько честный, что он мог бы прямо подойти ко мне и сказать: «Послушай. Знаешь, я тоже не совсем понимаю, как это делается. Я мог бы сейчас произнести какую-то громкую фразу, начать играть какую-то роль. Но на самом деле правда вот в чем: ты мне кажешься очень интересной. И я бы очень хотел заняться с тобой любовью». Вот так, просто. Это было бы таким облегчением, правда?

Позднее в том же фильме поворот судьбы сталкивает Джули с Майклом, которого она не узнала, во время коктейльной вечеринки в Нью-Йорке. Майкл подходит к ней, когда та стоит на балконе:

Привет. Я Майк Дорси. Потрясный вид, да? Ты знаешь, я мог бы сейчас произнести какую-то громкую фразу. Мы могли бы начать играть какие-то роли. Но правда на самом деле в том, что я нахожу тебя чрезвычайно интересной. И я бы очень хотел заняться с тобой любовью. Вот так...

И прежде, чем он успеваешь сказать «вот так, просто», Джули всплескивает ему в лицо стакан воды и уходит прочь в возмущении.

При общении с другими люди часто используют громкие фразы, постоянно разыгрывают роли, уходят от прямого обсуждения некоторых тем, ведут себя нерешительно и используют другие формы неопределенности и косвенных намеков. Мы все это делаем. И мы ожидаем, что это будут делать другие, в то же самое время утверждая, что мы нуждаемся в простой речи, в том, чтобы люди говорили метко и имели в виду то, что они говорят, — вот так, просто. Подобное лицемерие — человеческая универсалия. Даже в самых прямолинейных обществах люди не говорят всего, что они думают, но облачают свои намерения в различные формы вежливости, уклонения и эвфемизмов [2].

В первой главе я представил несколько примеров косвенной речи — кусочки диалогов, в которых говорящий произносит что-то, что он не имеет в виду буквально, и знает, что слушающая поймет его именно так, как ему (говорящему) нужно. В то же самое время слушающая знает, что говорящий рассчитывал на такую интерпретацию, а говорящий знает, что слушающая в курсе намерений говорящего относительно нее, слушающей, и того, как он проинтерпретирует сказанное, и так далее.

Фразы, используемые при флирте, являются классическим примером. «Не хотели ли бы вы подняться и взглянуть на мои гравюры?» считается двусмысленной фразой с таких давних времен, что уже к 1939 г. Джеймс Тербер смог нарисовать комикс, в котором был изображен мужчина-неудачник в подъезде квартирного комплекса, говорящий даме, с которой только что был на свидании: «Подождите здесь — я снесу вниз свои гравюры» [3]. Понятие скрытой угрозы также является стереотипом: мафиозный авторитет, предлагающий «защиту» с помощью ненавязчивой саморекламы: «Милый магазинчик у вас. Было бы страшно жаль, если бы с ним что-то случилось». Завуалированная взятка — это еще один узнаваемый сюжет, как с похитителем в «Фарго», который показывает офицеру полиции свои водительские права, лежащие в кошельке, из которого высовывается пятидесятидолларовая банкнота, и предлагает: «Возможно, лучше всего было бы разобраться с этим прямо здесь, в Брейнарде». Любой, кто когда-либо присутствовал на благотворительном ужине, знаком с эвфемистичными способами кланчить деньги, такими как «Мы рассчитываем на то, что вы



покажете пример лидерства» или «Мы надеемся, что вы поможете формированию будущего в Хаксли Колледже». И с вежливыми просьбами, произносимыми в виде несчетного количества сладкоречивых форм: «Простите, не могли бы вы передать мне авокадо», «Не затруднит ли вас передать мне авокадо?», «Если бы вы могли передать мне авокадо, было бы просто здорово» и так далее, что угодно, лишь бы не произносить напрямую «Передайте авокадо».

Эта глава посвящена косвенной речи — тому, почему мы так часто не можем просто выйти и сказать именно то, что мы имеем в виду. Косвенная речь фигурирует во многих областях, где могут иметь значение те слова, которые мы выбираем, включая риторику и убеждение, переговоры и дипломатию, интимные отношения и соблазнение, а также судебное преследование вымогательства, взяточничества и сексуальной агрессии. Кроме того, она также является индикатором нашей природы как существ общественных. Как и во многих других аспектах человеческого разума, возникает опасность объяснить ту или иную загадку, прибегая к нашим интуитивным чувствам, которые кажутся такими естественными, однако сами нуждаются в объяснении. Теория о том, что мы сквернословим для того, чтобы спускать пары, — это пример такого заблуждения. Еще один пример — это теория о том, что мы пользуемся ласковыми словами, чтобы не попадать в неловкие ситуации, избегать конфузов, сохранять чувство собственного достоинства и уменьшать количество конфликтов при общении. Эти рассуждения вполне справедливы, но с научной точки зрения они являются неудовлетворительными. Нам нужно знать, что такое это «достоинство» и почему у нас возникают такие эмоции, как неловкость, напряженность и стыд, которые играют при этом определенные роли. В идеале эти загадки будут объяснены с точки зрения внутренних проблем, с которыми сталкиваются лица, задействованные в общении, обменивающиеся друг с другом информацией. Разумеется, мы не можем гарантировать, что косвенная речь имеет под собой некоторое разумное объяснение. Но, как мы увидим, подробности ее настолько точно связаны с особенностями говорящего, слушающей и той ситуации, в которой они находятся, что она практически наверняка не является каким-то случайным ритуалом, а имеет под собой некую скрытую логику.

Мы начнем со знаменитой теории из философии языка, которая пытается доказать, что косвенная речь происходит из чистейшего здравого смысла, а именно согласно требованиям эффективной коммуникации между двумя сотрудничающими участниками. К этой теории в духе доктора Спока затем будет добавлена некоторая доза социальной психологии, которая напомним нам, что люди не просто обмениваются информацией, подобно двум модемам, но пытаются одновременно сохранить чувство собственного достоинства как говорящего, так и слушающей. И даже эта теория окажется слишком элементарной,

поскольку в ней предполагается, что люди при беседе всегда сотрудничают друг с другом. Размышления на тему того, как пара собеседников может иметь цели, которые будут не только не совпадать, но и **конфликтовать** друг с другом, подведет нас к непростой логике правдоподобного отрицания, как в судебных контекстах, где слова людей могут использоваться для их обвинения, так и в повседневной жизни, где санкции скорее будут общественными, нежели юридическими. Это потребует как минимум некоторой теории различных видов взаимоотношений, из которых состоит социальная жизнь человека, — рассмотрения головокружительных махинаций, при которых А может знать, что В в курсе, что А знает, что В знает, что А в курсе того, что Х, а также парадокса рационального невежества, с помощью которого мы сознательно выбираем не знать о чем-то релевантном для наших же интересов.

Тет-а-тет

Допустим, что критик сказал о некотором музыкальном представлении следующее: «Мисс Уинтерботтом произвела серию звуков, которая во многом совпадала с клавиром *Candle with the Wind*». Вы наверняка проинтерпретируете это как ехидный комментарий на тему качества ее исполнения. Почему? Потому что критик выбрал многословное иносказание вместо краткого термина *sang 'пела'*, а мы подумаем, что он, должно быть, сделал это не случайно, а именно потому, что ее исполнение не удовлетворяло тем стандартам, к которым обычно применяют слово *singing 'пение'*.

Это пример того, как мы читаем между строк при понимании языка, — способности нашего разума, о которой впервые написал Пол Грайс в одной из наиболее важных работ во всей истории лингвистики, «Логика и разговор» (*Logic and Conversation*)^[4]. Грайс начал статью с констатирования общеизвестного факта о том, что слова типа *and 'и', not 'не', or 'или', all 'все', some 'некоторые'* обладают разными значениями в повседневной жизни и в формальной логике. В обычном разговоре фраза *He sat down AND told me he was a Republican 'Он сел И сказал мне, что республиканец'* подразумевает, что он выполнил эти действия именно в такой последовательности, а не просто что он сделал оба эти действия (логическое значение **и**). Фраза *Your money OR your life 'Кошелек ИЛИ жизнь'* подразумевает, что вы можете сохранить либо свои деньги (кошелек), либо свою жизнь, но не то и другое вместе, тогда как **или**, строго говоря, совместимо с истинностью обоих дизъюнктов. А предложение *A horse is a horse 'Лошадь она и есть лошадь'* является тавтологией и посему не должно иметь значения вовсе, однако люди используют подобные тавтологии с совершенно определенной

целью, а именно для того, чтобы указать, что у всех лошадей имеется набор неких стереотипных лошадиных качеств.

Грайс не имел намерения обвинить простых говорящих в неаккуратности или нелогичности. Напротив, он предположил, что использование языка в разговоре (беседе) имеет свои собственные разумные основания, основанные на необходимости партнеров по разговору сотрудничать друг с другом, чтобы быть понятыми. Со слов Грайса, говорящие по умолчанию придерживаются некоего «принципа сотрудничества»: они меняют свои высказывания согласно сиюминутной цели и направлению разговора. Это требует мониторинга знаний и ожиданий вашего собеседника, а также предвосхищения ее реакций на ваши слова. (Кстати, в этой главе я буду называть обобщенного говорящего «он», а обобщенного слушающего — «она», просто чтобы вам было легче следить за тем, кто есть кто — весьма распространенная практика в лингвистической литературе.) Грайс конкретизировал принцип сотрудничества в форме четырех разговорных «максим» — заповедей, которым люди молчаливо следуют (или должны были бы следовать), чтобы разговор продолжался эффективным образом.

Количество:

- Говорите не меньше, чем того требует разговор.
- Говорите не больше, чем того требует разговор.

Качество:

- Не говорите того, что считаете ложным.
- Не говорите того, чему у вас нет доказательств.

Манера:

- Не говорите неопределенно.
- Не говорите двусмысленно.
- Будьте кратки.
- Соблюдайте определенный порядок повествования.

Релевантность:

- Будьте релевантны.

На первый взгляд, эти максимы могут показаться вам абсурдными. Если бы люди должны были говорить только о том, свидетельства чему у них имеются, избегая многословия и непрозрачности, придерживаясь определенной темы и излагая свои мысли в четкой последовательности, жутковатое молчание стало бы уделом ученых, правительства, а также посетителей всех питейных заведений нашей страны. Но на самом деле эти максимы вовсе не так уж и нелепы, на что существует две причины:

Люди, несомненно, могут быть молчаливыми, многоречивыми, лживыми, учтивыми, уклончивыми, двусмысленными, многословными, сбивчивыми или говорящими не на заданную тему. Но при более близком рассмотрении они являются таковыми в гораздо меньшей

степени, чем **могли бы**, учитывая все возможности. Если я спрошу у друга, как купить билет в кино в Интернете, он не начнет свой ответ с уроков машинописи, но и не ограничится фразой типа «Иди на веб-сайт, который торгует билетами в кино». Он не направит меня на порнографический сайт, но и не придумает виртуального адреса типа www.buymovieicketsonline.com просто потому, что он правдоподобно звучит. Он не облечет свой ответ в получасовое исследование на тему, как Интернет меняет нашу жизнь и не начнет давать мне советов о том, как приготовить треску. Нельзя принимать ни одно из этих достижений как данность. Компьютерные системы и системы голосового меню могут быть возмутительно бестолковыми, а юридический язык, скорее направленный на читателя-противника, нежели на читателя, готового к сотрудничеству, — это дебри занудного многословия. Поскольку люди-слушающие могут рассчитывать хотя бы на некоторую степень приверженности вышеперечисленным максимам, они способны читать между строк, отбрасывать ненужные двусмысленности и соединять один факт с другим во время слушания и чтения. В анекдоте, который был признан лучшей шуткой 2002 г. согласно многонациональному Интернет-опросу, два охотника идут по лесу, и вдруг один из них падает и перестает дышать. Его спутник набирает номер скорой помощи по своему мобильному телефону и кричит в трубку: «Мой друг мертв! Что мне делать?» — оператор отвечает: «Успокойтесь, я помогу вам. Во-первых, давайте сначала убедимся, что он в самом деле мертв». Наступает тишина, затем слышен выстрел и охотник говорит: «О'кей, а теперь?»^[5]. Пять миллионов человек смеялись над этим, потому что охотник не смог применить максимы Грайса, когда интерпретировал двусмысленную фразу «убедимся» (*make sure*).

Но более интересным способом, в котором проявляется отношение данных максим к нашим разговорам, является тот, когда они соблюдаются при их нарушении. Говорящие часто игнорируют эти максимы, рассчитывая на то, что их слушающие проинтерпретируют их намерения таким образом, который в любом случае будет соответствовать принципу сотрудничества. Именно поэтому мы трактуем рецензию на артиста, который «произвел серию нот», как ехидную ремарку. Автор намеренно нарушил максиму Манеры (он не был краток); читатели сочли, что он предоставляет такую информацию, которую они и ищут, читая рецензии; читатели делают вывод: критик намекал на то, что исполнение оставляло желать лучшего. Грайс называл эту цепочку рассуждений имплицатурой дискурса (*conversational implicature*)¹⁾. С логической точки зрения она не является необходимой; критик мог бы отменить данное умозаключение, не противореча самому себе, с по-

¹⁾ Такой перевод данного термина утвердился в отечественной лингвистической литературе. — *Прим. перев.*



мощью следующей фразы: «...и это были самые потрясающие звуки, который ваш покорный слуга слышал за долгие годы». Однако, в отсутствие подобной оговорки, говорящий рассчитывает на то, что слушающая уловит его скрытое послание.

Имплицатуры дискурса являются двигателями понимания многих видов небуквальной речи. В фильме «Влюбленный Шекспир» Уилл оживленно пересказывает сюжет своей самой новой пьесы:

«За то, что он убил родственника Джульетты Тибальта — того, что убил друга Ромео Меркуцио, — Ромео отправляют в ссылку. Однако монах, который обвенчал их, дает Джульетте выпить зелье. Это секретное зелье. Благодаря ему она будет казаться мертвой. Ее кладут в гробницу Капулетти. Она проснется для жизни и любви, когда к ней снова придет Ромео. По несчастной случайности гонец не доставляет вести, которая сообщила бы Ромео о плане, задуманном монахом. Он лишь узнает, что Джульетта мертва. Поэтому он идет к лекарю и покупает смертельный яд. Он входит в усыпальницу для того, чтобы проститься с Джульеттой, которая возлежит там словно мертвая. Он выпивает яд. Он умирает рядом с ней. Потом она просыпается и видит его мертвым. Тогда Джульетта достает его клинок и накладывает на себя руки».

Один из продюсеров говорит: «Да, от этого они все просто со смеху помрут». Он презрел максиму Качества, говоря что-то, что является откровенной неправдой. Но благодаря имплицатуре слушающие интерпретируют эти слова в том смысле, что пьеса чересчур депрессивна. Это — логика, на которой держатся ирония и сарказм, она включает в себя гиперболы (преувеличения) и литоты (преуменьшения).

Нарушения оставшихся максим могут объяснять другие риторические средства (некоторые из них обсуждались в третьей главе). Когда профессор в своей рекомендации студенту пишет, что у того «прекрасные волосы», профессор намекает при помощи нарушения максимы Релевантности, что тот — студент заурядный, это логика сомнительного комплимента. А когда на майке студента мы читаем фразу «Я был студентом Гарварда четыре года. Там было неплохо», нарушение максимы Количества дает нам понять, что тот считает, что слава университета преувеличена, а также то, что он клевый, беспристрастный парень, или и то и другое.

Грайс пришел к теме разговора из безжизненного мира логики и мало сказал нам о том, **почему** люди дают себе труд прибегать к имплицатурам вместо того, чтобы просто сказать все, как есть. Мы находим ответ тогда, когда вспоминаем, что люди не просто занимаются скачиванием и загрузкой информации в головы друг друга, но являются животными социальными, которых беспокоит производимое ими впечатление. Имплицатура включает в себя два значения: буквальное содержание (иногда называемое смыслом предложения) и подразумеваемое послание (иногда называемое смыслом говорящего). Буквальный смысл предложения должен выполнять какую-то работу, а иначе

говорящий вообще бы его не использовал. В тех импликатурах, которые мы рассматривали, подразумеваемые послания были негативными, тогда как буквальным смыслом был либо позитивным, либо нейтральным. Возможно, говорящие пытаются сразу угнаться за двумя зайцами — они хотят подвергнуть сомнению что-то, что им не нравится, одновременно не производя впечатления, будто бы они ноют или вечно чем-то недовольны. Психолог Эллен Уиннер и ее коллеги показали, что люди лучше воспринимают тех, кто выражает критику с помощью сарказма («Как вы здорово сейчас сыграли!») вместо прямых высказываний («Как плохо вы сейчас сыграли!»). Саркастичные ораторы, по сравнению с теми, кто говорит прямо, воспринимаются как менее злые, менее критичные и лучше владеющие собой и ситуацией [6]. Разумеется, это может быть слабым утешением для мишени такого саркастичного подхода, поскольку критика считается более действенной, когда она исходит от рассудительного человека, нежели от человека унылого и подавленного.

Осторожно, чувства: логика вежливости

Двойное послание, передаваемое с помощью имплицатуры, нигде не используется столь же часто, как в наиболее распространенном виде косвенной речи — вежливости. Вежливость в лингвистике относится не к социальному этикету, то есть к тому, как есть горошек, не прибегая к помощи ножа, а к бесчисленным изменениям, к которым приходится прибегать говорящим, дабы избежать столь же бесчисленного количества моментов, которые могли бы обидеть их слушающих. Люди — существа очень, очень чувствительные, и говорящие изо всех сил стараются не задеть их за живое. В своей магистерской работе «Вежливость: некоторые языковые универсалии» (*Politeness: Some Universals in Language Use*) антропологи Пенелопа Браун и Стивен Левинсон (тот самый, с которым мы сталкивались в третьей и четвертой главах) расширили теорию Грайса, показав, как люди во всем мире используют вежливость для облегчения своих социальных отношений [7].

Теория вежливости начинается с замечания Ирвинга Гоффмана о том, что, когда люди общаются, они постоянно заботятся о поддержании незримого, но жизненно важного аспекта под названием «лицо» (*face*, от идиомы *to save face* «сохранить лицо») [8]. Гоффман определил «лицо» как позитивную социальную ценность, на наличие которой претендует каждый человек. Браун и Левинсон разделяют это на позитивное лицо — желание быть одобренным (в особенности, чтобы другие желали бы тебе того же, что ты желаешь себе сам), и негативное лицо — желание быть свободным и автономным. Эта терминология, хотя и неуклюжая, указывает на фундаментальную двойственность социальной жизни, которая была обнаружена во многих обличьях и у которой

существует масса имен: солидарность и статус, связь и автономность, единение и содействие, интимность и власть, общественное распределение и расстановка авторитетов [9]. Чуть позднее мы увидим, каким образом эти потребности происходят от двух или трех основных социальных взаимоотношений в жизни человека.

Браун и Левинсон утверждают, что принцип сотрудничества Грайса относится как к «сохранению лица», так и к передаче информации. Партнеры по разговору работают сообща, оба пытаются поддерживать как свое «лицо», так и «лицо» собеседника. Проблема в том, что большинство типов речи в некоторой степени угрожают «лицу» слушающей. Даже сам акт начала разговора с кем-то является посягательством на время и внимание слушающей. Образование императива (повелительного наклонения) ставит под угрозу ее статус и независимость, как если бы говорящий считал себя вправе отдавать ей указания. Просьба что-то сделать ставит слушающую в положение, когда ей, возможно, придется отказать, что приведет к репутации персоны жадной или эгоистичной. Сообщение кому-либо чего-либо подразумевает, что слушающая была доселе не знакома с данной информацией. А еще существуют критические замечания, хвастливые заявления, перебивание, словесные выпады, сообщение плохой новости, а также обсуждение спорных вопросов, каждый из которых способен непосредственно ранить чувство собственного достоинства той, кто вас слушает. Неудивительно, что первая фраза, когда мы обращаемся к незнакомцам, — это просьба о прощении: «Простите (извините), пожалуйста».

Однако, несмотря на многочисленные способы, с помощью которых говорящий может задеть собеседника за живое, он не может постоянно ходить по углям. Людям необходимо продолжать свою жизнь и благодаря этому им необходимо кого-то о чем-то просить, а также сообщать новости и жаловаться. Решение проблемы — возмещение ущерба с помощью вежливости: говорящий оборачивает свои высказывания в гляцевую обложку хороших манер, которые подкрепляют его беспокойство за слушающую и которые являются признанием ее независимости. Браун и Левинсон называют подобные ухищрения позитивной и негативной вежливостью, хотя более удачными терминами были бы «выражение симпатии» и «выражение почтения».

Суть вежливости-симпатии в том, чтобы симулировать некоторую степень близости, изображая, что вы желаете слушающей того же, что она желает себе сама. Два остроумных лексикографа прокомментировали эту уловку, когда давали определение слову **«вежливость»** в своих словарях. Сэмюэл Джонсон объяснил это понятие как «вымышленная благожелательность», а Эмброуз Бирс назвал ее «наиболее приемлемой формой лицемерия». Двумя хорошо известными примерами вежливости являются недейственные пожелания благополучия (Be well 'Будьте здоровы', Have a nice day 'Всего хорошего'), а также притворный инте-



рес к состоянию собеседника (How are you? 'Как поживаете?', How's it going? 'Как дела?'). Существуют также неискренние комплименты (you look marvelous 'замечательно выглядите'), предположения относительно потребностей слушающей (You must be hungry 'Вы, должно быть, проголодались'), ценные, но бесполезные советы (Take care 'Будь здоров'), а также переход к таким темам, где согласие между собеседниками неизбежно, что заставило Чарльза Дадли Уорнера посоветовать на то, что все говорят о погоде, но никто ничего не предпринимает^[10].

На один шаг от вымышленной благожелательности отстоит вымышленная солидарность^[11]. Говорящие могут обращаться к слушающим, используя фальшиво ласковые прозвища типа my friend 'друг мой', mate 'дружисце', buddy 'дружочек', pal 'приятель', honey, букв. 'мед'^[1], dear 'дорогой, -ая',luv 'дорогуша', brother 'брат', guys 'ребята' и fellas (то же). Они могут использовать жаргон, связанный с определенной группой, к которой, считается, оба они принадлежат: lend me two bucks, груб. 'дай взаймы два бакса' или <...> two quid, груб. <...> 'два фунта'. Они могут включать слушающих в их собственные планы, как в let's have another beer 'давай еще по пиву'. Может встречаться комбинация из нескольких средств, как просьба к слушающему согласиться you know? 'не так ли?', страховка своей точки зрения like 'muna', sort of 'наподобие', признание того, что слушающий знаком с данной ситуацией you know 'знаете ли', а также попытки убедиться в том, что слушающий внимает и одобряет с помощью оформления высказываний в виде вопросов. Последние, конечно же, являются наиболее характерными для диалекта, чаще всего приписываемого подросткам и жителям Калифорнии (в особенности Valley Girls 'Девушкам из Долины'^[2]), однако быстро распространяющегося на другие демографические слои. В 1993 г. журналист Джеймс Горман написал:

Когда-то я говорил обычно. Я мог делать утверждения, мог требовать, вопрошать. А потом я стал преподавателем. В университете? И у всех моих студентов была эта восходящая интонация? Особенно она была заметна при прослушивании телефонного автоответчика: «Здравствуйте? Профессор Горман? Это Альберт? Из редколлегии?»

Я понятия не имел, что изменение «интонационного контура» предположения, как это явление называют лингвисты, может быть таким же заразным, как ОРЗ. Но очень скоро я начал замечать превращение в духе Джекилла и Хайда в своей собственной речи. Впервые я услышал это, когда сам оставлял сообщение на автоответчике. «Это Джим Горман? Я пишу статью о клингоне? Языке сериала „Звездный путь“ (Star Trek)?».

¹⁾ Русск. 'солнышко'. — Прим. перев.

²⁾ Речь идет о жительницах долины Сан-Фернандо — района Лос-Анджелеса, эпицентра порноиндустрии США, с характерной манерой речи у местных жительниц, включающей в себя особый местный акцент и характерную интонацию. — Прим. перев.

Я понял, что, сам того не замечая, против своей воли говорил этой восходящей интонацией. Я был, типа того, возмущен?^[12].

Хотя восходящая интонация (в повествовательных предложениях) началась как вежливый рефлекс (как часть тенденции двадцатого века к равенству и социальной близости), она становится нейтральной характеристикой стандартного американского английского, что уже столетиями было так в некоторых диалектах Ирландии, Англии и Южной Америки. Распространение восходящей интонации (в повествовательных предложениях) — редкий случай, когда мы с вами можем почувствовать себя частью исторической перемены в языке, наблюдая за тем, как эта конструкция переходит из прозрачно мотивированной в чисто конвенциональную.

История вежливости становится еще интереснее и вновь возвращает нас к косвенной речи, когда мы обращаемся к жестам вербального уважения (то, что Браун и Левинсон называли негативной вежливостью). Приказы и просьбы являются речевыми актами, наиболее угрожающими «лицу» человека, поскольку, подразумевая готовность подчиниться, они ставят под сомнение независимость собеседника. Говорящий приказывает слушающей или как минимум причиняет ей неудобство — акт, недопустимый по отношению к незнакомым или вышестоящим лицам, но также рискованный по отношению к близкому человеку. По этой причине просьбы часто оформляются различными формами вежливых реверансов:

Скорее вопрос, нежели приказ:

Will you lend me your car?

Не одолжишь ли ты мне свою машину?

Выражение пессимизма:

I don't suppose you might close the window

Вас не затруднит прикрыть окно?

Страхование просьбы:

Close the door, if you can.

Закройте дверь, если вам не сложно.

Минимизация затруднения:

I just want to borrow a little bit of paper.

Мне просто нужно занять немного бумаги.

Нерешительность:

Can I, huh, borrow your bicycle?

Можу ли я, э, одолжить твой велосипед?

Признание неудобства:

I'm sure you're busy, but...

Уверен, что вы заняты, но...

Выражение нежелания:

I normally wouldn't ask, but...

Я бы не стал просить, но...

Приношение извинения:

I'm sorry to bother you, but...

Мне неудобно вас затруднять, но...

Обезличивание:

Smoking is not permitted.

Курить воспрещается.

Признание, что вы в долгу:

I'd be eternally grateful if you would...

Я был бы вам вечно благодарен, если бы вы...

Вежливость отмеряется согласно уровню угрозы «лицу» слушающей. В свою очередь, степень угрозы зависит от размера неудобства, социальной дистанции, которая отделяет вас от слушающей (отсутствие близости или солидарности), а также от разницы в уровне власти, которой каждый из вас обладает. Люди подслащивают свою речь более усердно, если им нужно просить о большем одолжении, если слушающая им не знакома или если у слушающей больше власти (более высокий статус). До отказа нагруженная такими оборотами просьба типа «Мне ужасно неудобно вас беспокоить, и я бы никогда не стал этого делать, не находясь я в отчаянном положении, но я был бы вам бесконечно признателен, если бы вы смогли...» звучала бы заискивающе, если бы ее использовали в качестве мелкой просьбы (например, вопрос о времени) по отношению к человеку незнакомому, или же если бы это была более существенная просьба (например, воспользоваться компьютером), но обращенная к супругу или к личному секретарю.

Два социальных измерения, которые играют роль в угрозах «лицу», — солидарность и власть, — нигде не фигурируют столь же явно, как в формах обращения, при которых говорящий обращает на себя внимание слушающей, а та далее должна внимательно следить за происходящим, подобно пойманному за хвост тигру. Во многих языках существует две формы местоимения второго лица, такие как *tu 'ты'* и *vous 'вы'* во французском, *tu 'ты'* и *usted 'вы'* в испанском, *du 'ты'* и *Sie 'вы'* в немецком. В английском раньше тоже было такое различие *thou 'ты'* и *ye 'вы'* (сегодня — *you 'ты'*), но сейчас использование *thou* ограничивается молитвами и другими архаичными речевыми стилями. Различие между Т- и В-местоимениями, как их называют лингвисты, зависит как от солидарности, так и от власти, где Т является фамильярной (при обращении к близким и подчиненным), а В — уважительной формой (при обращении к незнакомым и вышестоящим)^[13]. Близкие люди, как правило, обращаются друг к другу с помощью Т-, тогда как незнакомые люди прибегают к помощи В-местоимений. Подчиненные

обращаются к начальству, используя В; начальство обращается к подчиненным с помощью Т. Детали зависят от конкретного языка и диалекта (дети и родители, официанты и посетители, учителя и ученики), а также от исторического периода. В-местоимения, как правило, запрещены в контекстах, где наблюдается сознательное стремление к равноправию, как, например, в период после Французской революции, на собраниях социалистических партий, а также религиозных общин, таких как традиционные квакеры, которые сохранили архаичные *thou 'ты'* и *thee 'вам, вас'*. Психолингвист Роджер Браун, а также английский ученый Алберт Гилман показали, что большинство западных языков указывают нам на неоспоримую тенденцию. Власть уступает место солидарности, поэтому незнакомые люди любых должностей обращаются друг к другу с помощью В-местоимений (как, например, посетитель, обращающийся к продавцу), а к близким людям любого ранга обращаются, используя Т-местоимения (как, например, взрослый человек, обращающийся к своему родителю). Несмотря на фон, создаваемый данными обычаями, люди могут намеренно превращать местоимения в некое орудие против чужого «лица». Обращение «на ты» (ср. во французском языке — *tutoyer 'тыкать'*) к кому-то, кто ожидает в свой адрес «вы», может выражать неуважение; обращение «на вы» (*vouvoyer 'выкать'*) к тому, кто обычно ожидает от вас местоимения «ты», может символизировать холодность. В «Двенадцатой ночи» У. Шекспира сэр Тоби Белч пытается подговорить Эндрю Эгьючийка испытать переодетую Виолу следующим образом: «изглумись над ним, насколько позволят чернила; если ты его „тыкнешь“ раза три, это будет нелишним»¹⁾.

Уважительное В-местоимение часто происходит от обычного местоимения второго лица **множественного числа** и может продолжать выполнять эти две роли в языке. Это означает, что говорящие, обращаясь к более чем одному слушателю, используют В-форму невзирая на власть или солидарность. Историческим источником подобных слияний является то, что языки, в которых отсутствует отдельное уважительное местоимение, как правило, кооптируют местоимения во множественном числе для этой цели, поскольку говорящие имеют причины его использовать при обращении к незнакомым или к начальству^[14]. Одна из причин — реверанс по отношению к власти, которой облечена слушающая: вместо того, чтобы привлекать внимание к тому, что она — единственная, на кого нацелено данное сообщение, человек говорит так, как будто слушающая окружена целой свитой людей. Другой причиной является то, что использование местоимения множественного числа дает слушающей возможность проигнорировать вас, как будто вы обращались к разноликой группе людей, а не нацеливались лично на нее. Во многих обществах страх перед использованием

¹⁾ Цитируется по переводу М. Лозинского. — Прим. перев.

местоимения второго лица единственного числа настолько велик, что доходит до табу на обращение к людям по имени: к людям обращаются по званию или с помощью эвфемизмов^[15]. В нашем собственном обществе определенные полубоги не согласны смириться к тем, чьей толпа обращалась к ним так же, как к обычным индивидуумам, проситель обязан обращаться к одному из их возвышенных качеств, используя такие термины, как Your Highness *'Ваше Высочество'*, Your Worship *'Ваша честь'*, Your Eminence *'Ваше Преосвященство'*, Your Excellency *'Ваше превосходительство'*, Your Honor *'Ваша честь'* или Your Grace *'Ваша светлость'*. Даже в случае обычных людей указать на слушателя с помощью **ты** может быть откровенно неуважительным, как в случае, когда, отбросив условности вежливости, кричат своему ребенку You get that dog out of here right now *'(Ты) немедленно выведи эту собаку вон отсюда'*. А как можно наиболее грубым образом привлечь внимание какого-то человека? Hey, you! *'Эй, ты!'*

Хотя англоговорящие утратили различие между thou и you, деликатность обращения к людям в их присутствии обыгрывается в других формах обращения. До сих пор существует этикет, который указывает использовать «профессор Пинкер» или «Стив», где первое обычно используется студентами, посещающими лекции, и незнакомыми людьми, просящими о каком-то одолжении, а последнее — студентами, работающими в моей лаборатории, а также аспирантами и коллегами моего факультета. Что касается вежливого обращения к должностным лицам, имеются стандартные обращения Mr. *'мистер'*, Mrs. *'миссис'*, Miss *'мисс'*, Ms *'мисс'* — общее для всех женщин, не желающих указывать на свой **матримониальный статус**), хотя люди не используют их применительно к детям, подчиненным или близким — откуда и происходит выражение to be on a first-name basis *'мочь обращаться к кому-то по имени'*. В книге *The Complete Upmanship* («Полное руководство к умению добиться преимущества») Стивен Поттер описывает то, как два измерения вежливости могут определять дугу формальности по тому, как президент английской компании обращается к своим подчиненным:

Главный обращается:

- к содиректору Майклу Йейтсу — Майк;
- к заместителю директора Майклу Йейтсу — Майкл;
- к начальнику сектора Майклу Йейтсу — Мр. Йейтс;
- к заместителю начальника сектора Майклу Йейтсу — Йейтс;
- к незаменимому секретарю Майклу Йейтсу — М-р Йейтс;
- к новому сотруднику Майклу Йейтсу — Майкл;
- к ночному сторожу Майклу Йейтсу — Майк^[16].

Как и в случае с Т-и В-местоимениями, формы обращения могут меняться со временем. Аспиранты раньше обращались к своим профессорам «профессор», а мои бабушка с дедушкой даже к своим самым

близким друзьям обращались как к «мистеру и миссис Таким-то». Типичная жалоба пожилых пациентов руководству стационара — то, что они чувствуют неуважение по отношению к себе от молодых врачей, обращающихся к ним по имени. Как ни странно, несмотря на то что сегодня к людям все реже обращаются по должности или именитому титулу, им гораздо охотнее раздают их официально. Сегодня в университетах практически каждый административный работник — декан, а в корпорациях каждый начальник — вице-президент. Инфляция титулов особенно остро ощущается на самой верхушке, где сильные мира сего любят наделять себя все более и более роскошными титулами. Хайле Селассие — император Эфиопии с 1934 по 1974-й гг. — ограничился «Королем Королей, Избранным Богом, Львом-Покорителем Иуды». Король Хуан Карлос Испанский имеет тридцать восемь титулов, включая «Герцог Афинский» и «Суверенный Великий Магистр Ордена Золотого Руна». Ничуть не хуже этого Ким Чен Ир (Северная Корея), который обладает титулами «Хранитель Нашей Планеты», «Путеводная Звезда Двадцать Первого Века» и тысячами других его собственного сочинения^[17].

Вежливость, в лингвистическом смысле, является, по всей видимости, человеческой универсалией. Формы обращения, которые отличают власть и дистанцию, зарегистрированы более чем в двадцати пяти языках, в которых лингвисты пытались таковые обнаружить. Браун и Левинсон педантично задокументировали полный спектр вежливых обращений в двух языках, географически удаленных от Европы: языке цельталь (рассматриваемый нами в третьей главе язык майя, на котором говорят в Мексике) и тамильском (неиндоевропейский язык, на котором говорят на юге Индии и в Шри-Ланке). Они нашли соответствия к каждой из форм уважения и симпатии, которые они задокументировали в английском языке, различающиеся лишь деталями. Пессимистичные просьбы, например с отрицанием, сослагательным наклонением и вводным оборотом в конце, можно услышать в тамильском («Сюда вы не принесли бы денег, не так ли?») и в цельтальском («Вы бы, наверное, не продали бы свою курицу, как было сказано»). Вопрос о причине что-то не делать, как английский «Почему бы нам не поехать на морское побережье?», имеет соответствие в цельтальском — «Почему ты не одолжишь всем нам свой проигрыватель?» и в тамильском — «Почему не должны мы ехать в Кангаам?» Браун и Левинсон подкрепляют свое собрание стратегий вежливости с помощью примеров из многих других языков^[18].

Не стоит и говорить, что культуры также различаются по тому, в каких случаях они ожидают проявления вежливости. Именно поэтому лексическая ошибка, которая потенциально может перерасти в международный конфликт, — классический прием, используемый во многих юмористических произведениях о путешествиях. Различные культуры

отличаются не только конкретным словесным оформлением их стратегий вежливости, но и их воззрениями относительно того, когда каждую из них следует использовать. Они различаются и тем, насколько легко люди воспринимают повседневные события как угрожающие чувству собственного достоинства и посему нуждающиеся в прикрытии вежливости. Они отличаются тем, чем их жители озабочены больше — властью или дистанцией, и потому считают себя имеющими право на почтение или симпатию. Отличаются они также и тем, кто заслуживает какого рода вежливости от какого рода говорящих (женщины, дети, учителя, официанты, незнакомцы и т. д.). Из-за различий в расположении подобных «рычагов» какая-то культура может показаться представителям другой культуры держащей дистанцию и недоверчивой, или хвастливой и с большим самомнением, или теплой и радушной, или же чопорной и официальной. В «Дейв Барри в Японии» (*Dave Barry Does Japan*) юморист Дейв Барри пытается уловить различия между культурой, которая требует большой вежливости и почтительности, и культурой, которая требует минимума вежливости-симпатии:

Типичное японское деловое совещание:

Первый бизнесмен: Здравствуйте, сэр.

Второй бизнесмен: Здравствуйте, сэр.

Первый бизнесмен: Мне очень жаль.

Второй бизнесмен: Мне страшно жаль.

Первый бизнесмен: Я себя не выношу.

Второй бизнесмен: Я болотная грязь.

Первый бизнесмен: Я грязь под ногтями.

Второй бизнесмен: Меня следует умертвить.

Типичное американское деловое совещание:

Первый бизнесмен: Боб!

Второй бизнесмен: Эд!

Первый бизнесмен: Как делишки?

Второй бизнесмен: Да хуже некуда.

Первый бизнесмен: Ха!

Второй бизнесмен: Послушай, по поводу тех R-243-J. Лучшее, что мы можем вам предложить — это \$3,80 за штуку.

Первый бизнесмен: Хрена лысого, Боб.

Второй бизнесмен: Ха!

Некоторые культуры славятся тем, насколько мало они прибегают к вежливости для выражения почтения. Одной из них является Израиль, где граждане, являющиеся коренными жителями самой страны, называются сабрами, что на иврите означает съедобный кактус, ключий снаружи, но сладкий внутри. Другая указана в анекдоте, где четыре человека идут по улице: жители Саудовской Аравии, России, Северной Кореи и Нью-Йорка. К ним подбегает репортер и спрашивает: «Извините, не могу ли я узнать ваше мнение по поводу нехватки

мяса?» Житель Саудовской Аравии отвечает: «Нехватка — а что такое нехватка?» Русский говорит: «Мясо — а что такое мясо?» Северный кореец отвечает: «Мнение — а что такое мнение?», а житель Нью-Йорка говорит: «Извините — а что такое извините?»^[19].

Почему культуры отличаются степенью и типами вежливости? Иерархические общества более озабочены укреплением власти, чем общества, где наблюдается стремление к равноправию, а посему там рассчитывают на большую вежливость для выражения почтения. Элита, чей статус зиждется на общественном договоре и которая не признает принуждения, как правило, старается держаться на определенной дистанции от остальных, а потому использует и ожидает в ответ больше вежливости. Массы, не имеющие власти и более взаимозависимые, в целом меньше пользуются вежливостью, а та, которую они используют, скорее, является вежливостью для выражения симпатии, нежели почтения. Другие аспекты истории, класса, идеологии и экологии также могут играть роль в этом вопросе. Социальный психолог Ричард Нисбетт заметил, что общества, в которых существует «культура чести», где оскорбления требуют быстрой и порой насильственной сатисфакции, часто бывают невероятно вежливыми, поскольку ненамеренное оскорбление может обратиться в дуэль или распрю^[20]. Американский юг исторически был культурой чести, и потому Нисбетт, техасец по происхождению, вспоминает, что его первым впечатлением по прибытии на учебу в Йельский университет было то, что все показались ему чрезвычайно грубыми.

Теперь, когда мы изучили ментальность вежливости, давайте вернемся к нашей теме — к косвенной речи. Под всеми слоями выражений почтения и извинений и страховок, которые предполагает уважительная вежливость, где-то там должна находиться просьба, и она тоже должна быть обернута слоем деликатности. Часто просьба не выражается прямо, но передается косвенно с помощью имплицатуры. Результатом являются такие вопросы-императивы (*whimperatives*), как *‘Не могли бы вы передать мне соль?’* или *‘Если вы передадите соль, это будет замечательно’*. Если воспринимать их буквально, первый пример нарушает максимум Релевантности, поскольку ответ на вопрос заранее известен. Второй нарушает максимум Качества, поскольку консеквент условного предложения является явным преувеличением. Поэтому слушающая интерпретирует их как просьбы (резонное умозаключение, если она сидит в том конце стола, где находится солонка, а говорящий сидит в том конце, где ее нет), понимая из буквальной формулировки, что говорящий пытался избежать того, чтобы слушающая подумала, что тот относится к ней, как к прислуге.

Буквальная формулировка вежливой просьбы не может быть просто каким-то *non sequitur* (нелогичным заключением). Как правило,

возникает одна из обязательных предпосылок разумной просьбы, которые лингвисты называют условиями успешности. Не имеет смысла просить кого-то передать солонку, если она уже у вас в руках, если вы не любите соль, если вы не хотите, чтобы слушающая передавала вам солонку, если слушающая не может передать соль, если она не хочет передавать ее, или если вы уверены, что она не передаст вам солонку. Каждое из этих обязательных условий может быть выражено в виде утверждения, вопроса или поставлено под сомнение — и это околный способ попросить соли:

Здесь вообще нет соли.

Мне бы не помешала соль.

Я бы был признателен, если бы вы передали соль.

Можете ли вы передать мне соль?

Может быть, вы могли бы передать соль?

Не передадите ли соль?

Нет ли там соли?

Я вот думаю, не могли бы вы передать мне соль^[21].

Лежащая в основе этого логика в том, что слушающей не отдают приказания или не просят о чем-то, но спрашивают или советуются об одном из необходимых условий передачи ею солонки. Если она не будет склонна к согласию, слушающая может воспользоваться прерогативой не выполнять просьбу без того, чтобы напрямую выражать отказ, который бы угрожал чувству собственного достоинства говорящего. К примеру, если косвенная просьба была выражена посредством комментария к общему состоянию дел, требовалось бы просто проигнорировать ее, поскольку комментарий не требует ответа. Если она была оформлена как вопрос об одном из обязательных условий передачи солонки, слушающая теоретически могла бы отрицать, что таковые условия имеются. В любом случае слушающая не несет ответственности.

Далее, никто не считает, что тот, кому нужна солонка, и тот, кто будет ее передавать, буквально производят все эти дедуктивные выводы, когда договариваются насчет соли. На данной стадии истории языка имплицатуры переросли в устойчивые обороты^[22]. Такие формулы, как «Не передадите ли вы солонку?», по большому счету непрозрачны, как и большинство идиоматических выражений и мертвых метафор, и используются как непосредственные просьбы. Это заметно по тому, что в подобных вопросительных императивах используются зачины фиксированной формы типа Can you *‘Не можете ли вы’*, а не другие формулировки с тем же значением, как, например, Are you capable of passing the salt? *‘Способны ли вы передать солонку?’* Часто мы вообще игнорируем буквальное значение косвенной просьбы до тех пор, пока на него не обратят наше внимание, как, например, когда какой-нибудь ерник тринадцати лет от роду на просьбу передать солонку лукаво

кивнет, но не двинет и рукой. В шутке, рассказываемой одной этнической группой, пожилая пара лежит в кровати и жена говорит: «Ирвинг, на улице холодно». Ирвинг встает, закрывает окно и говорит ей: «А теперь на улице как, тепло?»

Тем не менее формулировка косвенных просьб закрепляет некую линию рассуждения, к которой мысленно должны были прибегать говорящие стародавних лет. Ведь мы все-таки не просим соли с помощью любого упоминания этого вещества, как, например, *Salt was first harvested from seawater by the Phoenicians* 'Первый урожай соли был собран финикийцами' или *Salt is an ionic compound of sodium and chlorine* 'Соль — это ионное соединение соды и хлора.' К тому же буквальное содержание косвенных просьб похоже во многих языках, слишком во многих, чтобы это было случайностью. Косвенные просьбы закрепили определенную линию размышления: логику возможности отрицания, предоставления слушающей «выхода», возможности ответить «нет». Действительно, некоторые аспекты буквального значения необходимо учитывать до сих пор. Психолог Герберт Кларк указывает на то, что, оформляя просьбы в виде вопроса, говорящий обязан найти некое препятствие ответу, которое было бы хотя бы в минимальной степени вероятным. Вы можете поинтересоваться у человека, который час, с помощью вопроса *Do you know the time?* 'Вы не знаете, который сейчас час?', но вы никогда не можете поинтересоваться чьим-либо отчеством с помощью вопроса *Do you know your middle name?* 'Вы не знаете свое отчество?'¹⁾ Мы все знаем свое отчество, поэтому даже в нереалистичном по сути мире вежливости, слушающая, которая не желает делиться подобной информацией, не может использовать это в качестве причины не давать ответа.

Поскольку косвенная просьба-клише распознается в качестве просьбы любым компетентным англоговорящим, она эффективна в качестве официальной. Тот, кто произносит *Can you pass the salt?* 'Не можете ли вы передать солонку?' в ситуации обычного ужина, не может отрицать, что обратился с просьбой. Однако, согласно Брауну и Левинсону, если косвенной речевой акт является совершенно новым, а не хорошо известным, его воздействие на слушающую будет иным. Такая просьба «не включается в протокол». Когда говорящий выдумывает новую косвенную просьбу, как, например, *The chowder is pretty bland* 'Суп довольно пресный' или *They never seem to have enough salt shakers at this restaurant* 'Такое впечатление, что в этом ресторане постоянно не хватает солонок', слушающая может проигнорировать комментарий без того, чтобы тем самым явно и публично отвергнуть просьбу. По этой причине Браун и Левинсон утверждают, что «неофициальные» косвенные речевые акты, специально придуманные по определенному

¹⁾ В ориг.: *middle name* — 'второе', букв. 'среднее имя'. Гражданам США часто при рождении дают два имени — личное и второе (среднее). — Прим. перев.

случаю, — намеки, умолчания, пустые обобщения и риторические вопросы — являются наиболее вежливыми формами из всех существующих. Говорящий может произнести *It's too dark to read* 'Слишком темно, чтобы читать' в качестве просьбы, чтобы слушающая включила свет, или *Lawn has got to be mowed* 'Газон необходимо покосить' вместо *Mow the lawn* 'Покоси газон' или *It looks like someone may have had too much to drink* 'Похоже, кое-кто перебрал' вместо *You're drunk* 'Ты пьяна'. Поскольку в вежливой косвенной речи может использоваться любой намек, который нельзя определить как просьбу по его буквальному содержанию, но который способен заставить разумного слушателя постичь его скрытый смысл, формам, которые эта просьба может принимать, нет числа.

Теперь мы можем снова вернуться к проблеме, которая открывала данную главу, а именно к косвенной речи. Теория вежливости дает нам хорошее представление об одной из разновидностей косвенной речи — неофициальной просьбе. Слушающей имплицитно дается возможность проигнорировать просьбу без публичного отказа, и это означает, что выполнение ею просьбы не является следствием выполнения чьих-то приказаний. И, согласно Брауну и Левинсону, это сохраняет «лицо» обоим, в особенности слушающей, которая стремится к независимости.

Объясняет ли это загадку? Пока не полностью. Сначала нам нужно увидеть, все ли в порядке с подтверждением. Теория вежливости была протестирована во многих экспериментах, в которых психологи спрашивали людей о том, что они могут произнести при определенных обстоятельствах, или в таких, где людей просили оценить высказывания других людей с точки зрения вежливости^[23]. Многие положения теории получили подтверждение. Неудивительно то, что использование упомянутых стратегий вежливости на самом деле делает высказывания более вежливыми на слух. Косвенные просьбы звучат более вежливо, нежели прямые. Также имеет значение степень затруднения, как, впрочем, и соотношение властных полномочий говорящего и слушающей.

Но одна из гипотез подтверждения не получила. Браун и Левинсон утверждали также, что угроза чувству собственного достоинства, «лицу» — это некая одномерная шкала, результат сложения разницы во власти, социальной дистанции, а также степени причиняемого слушающей неудобства. Они утверждали, что три типа вежливости также располагались на этой самой шкале. Симпатия выражает легкую степень вежливости и пригодна для небольших угроз чувству собственного достоинства. Почтение вызывает большую степень (вежливости), а потому пригодна для более масштабных угроз. Что же касается неофициальных косвенных речевых актов (тех, что изобретают на месте), они выражают наиболее высокую степень вежливости — они пригодны для самых значительных угроз.

Однако в обоих случаях Браун и Левинсон, возможно, столкнулись вместе качественно различные измерения на одной той же шкале. Вместо того чтобы иметь единый счетчик угроз чувству собственного достоинства в голове, а также один счетчик вежливости, который следит за первым, люди, как правило, борются с определенными **видами** угрозы достоинству с помощью определенных **видов** вежливости. Например, критикуя друга (что является угрозой солидарности), люди обычно напирают на вежливость-симпатию («Послушай, дружище, давай разберем эту статью вместе и поищем способы поднять ее до твоего обычно высокого уровня»). Однако для того чтобы попросить о большом одолжении (что является угрозой власти), люди, как правило, подчеркивают вежливость-почтение, как при нижней просьбе одолжить на время чей-то компьютер («Мне ужасно неудобно вас затруднять, но...»), что мы видели на с. 456^[24].

Также неофициальная косвенная речь — то, что нас больше всего и интересует в данной главе, — не подходит к этой шкале вовсе. В Теории вежливости этот вид речевого акта назван самым вежливым из всех возможных, но люди сочли, что такая речь намного **менее** вежливая, чем вежливость-почтение^[25]. На деле иногда она может быть и вовсе грубой, как, например, *Didn't I tell you yesterday to pick up your room?* *'Разве я тебе вчера не говорила прибраться в своей комнате?'* или *Shouldn't you tell me who's coming to the party?* *'Разве ты мне не должна сообщить о том, кто придет на эту вечеринку?'* Одной из причин этого является то, что, если компетентность и готовность слушающей ставятся под сомнение слишком откровенно, это предполагает ее неспособность совершить данное действие или нежелание способствовать его выполнению. Другая причина — то, что косвенная просьба может представить говорящего как злонамеренного манипулятора, заставив тем самым слушающую изрядно умственно поработать, прежде чем понять, что тот пытался сказать. В этом и была основная проблема Джули, на которую она жаловалась в сцене задушевного разговора в «Тутси».

Тот факт, что косвенные речевые акты все же не являются особенно тактичными по отношению к слушающей, поднимает еще один вопрос. Те примеры, с которых я начал главу, — скрытые угрозы, косвенный подкуп, сексуальные домогательства — вряд ли являются примерами **вежливости** говорящего! Уверен, что торговец, внимающий «советам» местного рэкетира на тему того, что может произойти с магазином, так не считает. То же самое касается копа с его штрафами, или женщины в лифте, чувствующей в невинном вопросе непристойное предложение, — можно понять, почему они считают, что люди, от которых исходило предложение, заботились о своих собственных интересах, а не о них (хотя, как мы еще увидим, тут тоже могут возникать сложности).

Последней проблемой Теории вежливости является присущая ей дилемма того, как в ней воспринимаются неофициальные просьбы. Если импликатура слишком непрозрачна, говорящий упустит свой шанс. Слушающая, может быть, была бы очень рада выполнить его просьбу, если бы только она знала, что говорящий о чем-то попросил! (Помните, как Джордж в «Сейнфелде» слишком поздно понял, что кофе вовсе не означало кофе.) С другой стороны, если импликатура настолько проста, что слушающая может распознать ее без всякого труда, то она должна быть также понятна и любому другому разумному слушателю, и тогда неясно, почему подобная просьба должна считаться «неофициальной». Можно ли кого-либо сегодня удивить фразами про гравюры или про то, что штраф можно оплатить «прямо здесь, в Брейнерде»?

Теория вежливости — это некое хорошее начало, но ее недостаточно. Как и во многих аналогичных теориях общественных наук, в ней предполагается, что говорящий и слушающая действуют в полной гармонии, каждый пытается спасти «лицо» другого^[26]. (Сам Грайс был повинен в той же ошибке, когда пытался вывести законы разговора из «Принципа сотрудничества»^[27].) Мы должны понять, что происходит, когда интересы говорящего и слушающей отчасти находятся в конфликте, что так характерно для реальной жизни. Нам также нужно уметь различать **типы** взаимоотношений, встречающиеся между людьми, то, как каждый из них работает и поддерживается, а не размещать все виды угрозы «лицу» на одной шкале и не поступать так же со всеми способами сохранения этого чувства. И напоследок нам необходим более глубокий анализ самого этого загадочного понятия — «лицо» — и того, насколько оно зависит от не менее иллюзорного понятия «официальности» и «неофициальности» в том, что касается речевых актов.

Как можно больше запутать: неопределенность, отрицание и другие стратегии конфликта

Чтобы хоть как-то разобраться в таких иллюзорных понятиях, как «возможность выхода», «возможность отрицания» и «официальность (высказывания)», давайте начнем со сценария, где все значения понятны. Представим идеализированного грайсовского говорящего, который если уж что-то произносит, то всегда имеет в виду именно то, что говорит. Этого человека-максиму останавливает полицейский за то, что он проехал на красный свет, и он размышляет, стоит ли давать взятку офицеру полиции. Поскольку он соблюдает разговорные максимы более щепетильно, нежели правила дорожного движения или порядок дачи взяток, единственный способ, с помощью которого он

может подкупить полицейского, — это слова «Если вы меня отпустите без штрафа, я заплачу вам пятьдесят долларов».

К сожалению, он не знает о том, является ли данный полицейский нечистым на руку — тем, кто примет взятку, или же честным — тем, кто арестует его за то, что он пытался подкупить офицера полиции. Любой подобный сценарий, в котором наилучший поступок зависит от того, каким будет выбор другого действующего лица, относится к разряду теории игр. В последней загадка, в которой один из игроков не знает моральных ценностей своего противника, была исследована Томасом Шеллингом, который назвал ее «проблемой идентификации»^[28]. Выигрыши можно просуммировать следующим образом: заголовки перед строчками представляют из себя выбор, который предоставляется водителю, заголовки колонок — различные типы офицеров полиции, с которыми он (водитель) может столкнуться, тогда как содержание ячеек дает нам информацию о том, что произойдет с водителем:

	Нечестный офицер	Честный офицер
Не давать взятку	Штраф	Штраф
Дать взятку	Уход от наказания	Арест за взяточничество

Привлекательность каждого из вариантов (см. строки) определяется суммой выигрыша двух клеток в этом ряду, помноженной на вероятность каждой из них. Давайте сравним их по очереди. Если водитель не попытается подкупить полицейского (первая строка), то не имеет значения, насколько нечист на руку сам полицейский; водитель заплатит штраф в любом случае. Нет риска, но нет и прибыли. Однако если он предложит полицейскому взятку (вторая строка), ставки намного выше в любом случае. Если человеку-максиме повезет и ему повстречался нечистый на руку полицейский, то последний примет взятку и отпустит его прочь без штрафа. Однако если ему не повезет и он столкнется с честным офицером полиции, ему наденут наручники, огласят его права и арестуют его за взяточничество. Рациональный выбор между дачей или не-дачей взятки будет зависеть от размера конкретного штрафа, соотношения хороших и плохих полицейских на автотрассах, а также от уголовной ответственности, которую можно понести за взяточничество, но ни один выбор из вышеперечисленных не является привлекательным. Человек-максима таким образом находится меж Сциллой и Харибдой.

Теперь давайте представим иного водителя, человека-импликатуру, который знает, как туманно намекнуть на взятку, например, с помощью слов «Наверное, лучше всего будет решить эту проблему прямо на месте». Предположим, он знает, что полицейский способен выявить

его импликатуру и распознать в ней намерение подкупа, также ему известно, что полицейский в курсе того, что он не сможет подать на водителя в суд за взяточничество, поскольку двусмысленная формулировка не даст прокурору возможности доказать его вину по причине наличия разумных оснований для сомнения. Человек-импликатура имеет еще одну, третью, возможность:

	Нечестный офицер	Честный офицер
Не давать взятку	Штраф	Штраф
Дать взятку	Уход от наказания	Арест за взяточничество
Намекнуть на взятку	Уход от наказания	Штраф

Выигрыши в этой новой, третьей, строке соединяют в себе очень значительные преимущества подкупа нечестного офицера полиции с относительно небольшим штрафом за неудачную попытку дать взятку честному полицейскому. Выбор оказывается простым делом. Таким образом, мы объяснили эволюцию человека-импликатуры.

Скажем так, почти объяснили. Нам также приходится учитывать точку зрения честного полицейского и той правовой системы, которой он служит. Почему же честный офицер не станет арестовывать кого-то, кто предложил завуалированную взятку? Если она очевидна ему, то она может быть понятна и присяжным, так что у него есть шанс посадить этого отрицательного персонажа за решетку. Чтобы объяснить, почему полицейский не будет арестовывать людей за намек на подкуп, что сделало бы данную импликатуру такой же опасной, как и неприкрытый подкуп, мы должны предполагать две вещи, обе вполне резонные. Одна состоит в том, что даже если все нечестные водители будут делать замечания, которые можно было бы проинтерпретировать (верно) как взяточничество, некоторые честные водители также делают такие замечания в качестве невинных наблюдений. Таким образом, любой арест мог бы стать ложным арестом. Второе предположение состоит в том, что неудачный арест стоит немалых денег, что подвергает полицейского угрозе обвинения в ложном аресте, а полицейский участок — выплатам за нанесенный моральный ущерб. Тогда, схема принятия решения полицейского выглядела бы следующим образом:

	Нечестный офицер	Честный офицер
Не арестовывать	Штраф	Штраф
Арестовать	Удачно проведенный арест	Ложный арест

(Разумеется, с его точки зрения, штраф за нарушения правил дорожного движения — это что-то хорошее, а не что-то плохое.) Привлекательность сценария с арестом водителя будет зависеть от сумм написанного в клеточках и их вероятностей. А эти вероятности будут зависеть от соотношения честных и нечестных водителей, которые произносят двусмысленные фразы на автотрассах, то есть от соотношения числа случаев в первой и второй колонках друг к другу. Если ремарка звучит достаточно близко к невинным замечаниям, которые могут делать честные водители (или, по крайней мере, к достаточно большому числу таких для того, чтобы присяжные не могли осудить говорящего, имея на то разумные основания для сомнения), шансы успешного ареста снижаются, тогда как вероятность произвести ложный арест возрастает, а привлекательность строчки «арест» в целом снизится. Именно таким образом человек-импликатура может надавить на полицейского. Он может построить свое замечание таким образом, что нечестный офицер полиции разглядит в нем намек на взятку, тогда как честный полицейский не будет уверен (или не решится пойти на такой риск), чтобы утверждать, что это — подкуп. (Заметьте, кстати, в противовес мнению большинства лингвистов этот анализ показывает, что косвенная речь не является примером чистого сотрудничества. Человек-импликатура манипулирует возможностями выбора, имеющимися у честного офицера полиции, с целью собственной выгоды и в ущерб полицейскому. Это вполне совпадает с теорией биологов Ричарда Докинза и Джона Кребза о том, что общение в животном мире часто бывает некой формой манипуляции, а не просто обменом информацией [29].)

В действительности, завуалированный подкуп — головоломка для правоохранительных органов и для всей правовой системы. В большинстве случаев американские суды основывают свои вердикты на здравом смысле, относясь к завуалированным попыткам подкупа так же, как и к неприкрытым. Если обвиняемый скажет: «Я не пытался его подкупить; я просто (из любопытства) спрашивал, есть ли возможность заплатить штраф прямо на месте», — его, как говорится, поднимут на смех. Таким образом, реальные попытки подкупа должны быть завуалированы более тщательным образом, с некоторым риском того, что они могут быть ненароком пропущены мимо ушей нечистым на руку офицером полиции. Однако существуют другие моменты действительности, когда может сработать и весьма прозрачная завуалированная попытка подкупа. Это те случаи, в которых замешана проблема свободы слова. К подкупу, по определению, следует относиться как к исключению из списка того, на что распространяется свобода слова, по причине чего суды весьма внимательно относятся к тому, чтобы ему было дано узкое определение в тех случаях, когда речь идет о политическом процессе, например о разговоре с политическим представителем. В таком случае разница между тем, является ли речь прямой или косвенной, может быть решающей [30].

Этот лингвистический урок был получен Уондой Брендсеттер — лоббисткой Национальной женской организации (*National Organization for Women, NOW*) — слишком поздно, в 1980 г. ее осудили за взяточничество, за ее попытку заставить представителя от штата Иллинойс проголосовать за ратификацию поправки к закону о равных правах. Брендсеттер дала ему свою визитную карточку, на которой написала: «М-р Суонстром, вот предложение помощи на ваших выборах плюс 1000 долларов за вашу кампанию в пользу поправки о равных правах». Прокурор назвал ее «контрактом на взятку», и суд присяжных с ним согласился. Решение суда может прозвучать неожиданно, с точки зрения большинства американцев, у которых нет ни малейших сомнений в том, какую роль играют деньги в политическом процессе. Чем же еще заняты все эти лоббисты в «Ущелье Гуччи» (*Gucci Gulch*)¹⁾, если не подкупом законодателей? Ответ в том, что они делают это с помощью имплицатур. Если бы Брендсеттер тогда сказала: «Знаете ли, м-р Суонсон, *NOW* уже давно помогает политическим кампаниям. И, как правило, вкладывает больше в тех кандидатов, которые голосуют в соответствии с целями нашей организации. На данный момент такой целью является ратификация поправки к закону о равных правах», ей не пришлось бы заплатить 500 долларов, отработать 150 часов на общественно-полезных работах, а также получить год испытательного срока^[31].

Стратегическое использование неопределенности давно и хорошо известно дипломатическому миру. Согласно старинной шутке, вот в чем заключается разница между леди и дипломатом:

Когда леди говорит «нет», она имеет в виду «может быть».

Когда она говорит «может быть», она имеет в виду «да».

Если она говорит «да», то она не леди.

Если дипломат говорит «да», он имеет в виду «может быть».

Если он говорит «может быть», он имеет в виду «нет».

Если он говорит «нет», то он не дипломат.

Эта шутка была переделана феминистками:

Если женщина говорит «да», она имеет в виду «да».

Если женщина говорит «может быть», она имеет в виду «может быть».

Если женщина говорит «нет», она имеет в виду «нет».

Если мужчина при этом настаивает, то он насильник.

Этот пересмотр может быть неплохим сводом правил для отношений между полами, но в том, что касается дипломатии, оригинал по-прежнему остается в силе. В заказной статье под названием «Язык дипломатии» Майкл Лэнген, бывший чиновник американского казначейства, рассказывает:

¹⁾ Так на американском сленге называют сообщество лоббистов в Вашингтоне, по-видимому, из-за их пристрастия к одежде от Гуччи. — *Прим. перев.*

В определенный момент моей карьеры государственного чиновника я написал разъяснение к одному сложному делу, используя, по моему тогдашнему мнению, предельно понятный, доступный язык. Старший по званию чиновник, под началом которого я работал, внимательно прочитал написанное, раздумывая и поправляя свои очки по ходу чтения. Затем он взглянул на меня и сказал: «Это никуда не годится. Я полностью понимаю написанное. Заберите это обратно и запутайте как можно больше. Я хочу, чтобы данное заявление можно было проинтерпретировать двумя-тремя способами». Двусмысленность, которая была достигнута в итоге, способствовала достижению компромисса между соревнующимися друг с другом государственными интересами^[32].

В свете Шестидневной войны 1967 г. Совет безопасности ООН провел свою знаменитую 242-ю резолюцию, которая среди прочего призывала к «выводу вооруженных сил Израиля с территорий, оккупированных в недавнем конфликте». Фраза «территории, оккупированные в недавнем конфликте» (*territories occupied in the recent conflict*) — дополнение, у которого отсутствует явный квантификатор, не указывает точно на то, идет ли речь о «некоторых из территорий» или же обо «всех территориях». Резолюция была приемлемой для Израиля и его союзников в первой интерпретации, а для задействованных в этом конфликте арабских стран и их союзников — в последней. Любая недвусмысленная версия была бы отвергнута одной из сторон.

Но, судя по феминистской переделке шутки про леди и дипломата, изобретательная неясность может также быть и опасной. В течение сорока лет заинтересованные лица продолжают спор о семантике 242-й резолюции подобно аспирантам на лингвистическом семинаре (еще один пример важнейшей роли, которую может играть «всего лишь семантика»)^[33]. И, разумеется, более крупный спор между Израилем и арабскими странами так и остается, мягко говоря, неразрешенным. Стратегическая туманность также может дать обратный эффект в деловых соглашениях. В одном знаменитом деле компания *Johnson & Johnson* вложила десять миллионов долларов США в *Amgen*¹⁾ на раннем этапе его истории, получив права на некий состав для «вторичных целей». Значение слова **вторичный** (*secondary*) так и было оставлено неразъясненным, и эта самая неясность, возможно, дала им «возможность прийти к положительному решению», как любят говорить деловые посредники. Однако с тех пор две эти компании потратили 350 млн долларов на услуги юристов с целью разрешить данную двусмысленность, и обе стороны являются теперь злейшими врагами^[34].

Так является ли изобретательная неопределенность мудрым тактическим ходом? Если все, что получается, — это отложить на время день расплаты, то почему бы сторонам не выработать некое четкое

¹⁾ *Amgen* — американская биотехнологическая компания. — Прим. перев.

соглашение или же не признать, что различия между ними являются непримиримыми, и не разойтись? В случае международной дипломатии одной из причин является то, что язык соглашения должен быть доступен не только политическим лидерам, но и их гражданам. Разумные лидеры могут прийти к обоюдному соглашению между собой, при этом параллельно каждый из них будет по-своему трактовать двусмысленность достигнутого соглашения для того, чтобы смочь «продать» ее своему более воинственно настроенному населению. Другая причина в том, что даже само наличие соглашения, даже того, которое сложно провести в жизнь, может объединить две враждующие стороны в стремлении к некой общей цели, возможно, уменьшая взаимную ненависть чисто символическим образом. И последнее: дипломаты могут делать ставку на то, что времена изменятся и обстоятельства соединят обе стороны вместе, во время чего им и удастся разрешить ту неясность полюбовно. Как гласит одна старая история, мужчина, которого приговорили к повешению за оскорбление султана, предложил суду сделку: если они дадут ему один год, он научит лошадь султана петь и этим заработает обратно свою свободу; если ему не удастся это сделать, он добровольно пойдет на виселицу. Когда осужденный вернулся на скамью подсудимых, еще один заключенный сказал: «Ты с ума сошел?» Тогда тот человек ответил «Я считаю, что за год многое может случиться. Может быть, султан умрет, а новый султан простит меня. Может быть, я умру, в этом случае я тоже ничего не теряю. Может быть, лошадь умрет, и тогда с меня взятки гладки. И кто его знает? Может, я смогу научить эту лошадь петь!»

Вышеприведенные примеры изобретательной неопределенности являются случаями того, когда слова человека являются «официальными», а ставки весьма ощутимыми: штрафы за нарушения правил дорожного движения, аресты за взяточничество, война и мир. А как насчет повседневной жизни, где предложения и просьбы могут быть сделаны без опасения понести юридическую ответственность? Ведь все-таки никто не ожидает Испанской инквизиции. В ходе обмена фразами при обычном разговоре мы должны были бы свободно излагать свои мысли, без риска оказаться в тюрьме из-за того, как слушающая воспримет наши слова. Однако это работает иначе. В том, что касается повседневных подкупов, угроз и предложений, наши эмоции заставляют нас следить за тем, какие слова мы выбираем, так же строго, как если бы нам грозили серьезные юридические проблемы, и все мы превращаемся в человека-импликатуру.

«Ежедневные подкупы?» Когда это законопослушному гражданину вдруг захочется предложить кому-то взятку? А как насчет вот такого примера: вы хотите попасть в самый модный ресторан в городе. У вас не заказан столик. Почему бы не предложить пятьдесят долларов метрдотелю, если он тут же посадит вас? Это задание было дано журналисту

Брюсу Файлеру их журнала «Гурман» (*Gourmet*) в 2000 г. [35] Результаты были ошеломляющими.

Первый результат предсказуем для большинства людей, которые попытаются представить себя на месте Файлера: это задание кажется поистине устрашающим. Хотя, насколько мне известно, еще никого не арестовывали за подкуп метрдотеля, Файлер чувствовал себя похитителем из «Фарго»:

Я нервничаю, очень нервничаю. По мере того как такси несется на юг мимо престижных районов Манхэттена — Флэтайрон, Вилледж, Сохо, — я продолжаю представлять себе возможные реакции какого-нибудь разгневанного метрдотеля.

«В какого рода заведение, на ваш взгляд, вы попали?»

«Как вы смеете оскорблять меня?»

«Вы думаете, что сможете попасть к нам с помощью **вот этого**?»

Второй результат — когда Файлер набрался-таки духа подкупить метрдотеля, придумав на ходу некий косвенный речевой акт. Он пришел в «Бальгазар» — популярный ресторан на Манхэттене — и, покрываясь потом и с учащенным пульсом, взглянул метрдотелю прямо в лицо, вручил ему сложенную пополам двадцатидолларовую банкноту и пробормотал: «Надеюсь, вы сможете разместить нас». Через две минуты их (Файлера и его спутницу) посадили за столик, что вызвало шок у его подруги. В последующие визиты он намекал на взятки с помощью следующих косвенных высказываний:

Интересно, не отменил ли кто-нибудь свою бронь?

Можете ли Вы как-нибудь сократить время ожидания в очереди?

Нет ли у вас столика на две персоны?

Сегодня необычайно важный вечер в моей жизни.

Схема выигрыша идентична по своей структуре той, что относилась к подкупу офицера полиции:

	Нечестный метрдотель	Честный метрдотель
Не давать взятку	Длительное ожидание	Длительное ожидание
Дать взятку	Мгновенно сажают за столик	Публичное унижение
Намекнуть на взятку	Мгновенно сажают за столик	Длительное ожидание

Третий урок — настолько же занимательный для любого любителя ресторанов, сколько и для психолингвиста, — то, что это **срабатывало каждый раз**. Файлеру всегда предоставляли столик в течение двух-четырех минут. Азартно поспорив со своим редактором, он затем попытался проникнуть в ресторан Алэна Дюкасса, новый французский ресторан,

где средняя цена обеда — 375 долларов, а столики заказывают за шесть месяцев, а «если вы заказываете чай с вербеной, официант в белых перчатках приносит само растение и срезает при вас листья с помощью серебряного секатора». Файлер пришел, спросил у официанта, не было ли отмены брони и протянул ему стодолларовую бумажку. Метрдотель посмотрел на него в полнейшем ужасе. Он сказал: «Нет, нет, месье. Вы не понимаете! У нас всего шестнадцать столиков. Нет ни малейшей возможности!» Файлер ушел, оставив визитную карточку и ловко скрыв ею банкноту. Через два дня ему позвонили и предложили столик на четырех человек. Благодаря ста долларам и грайсовой имплицатуре Файлеру удалось обогнать очередь в 2700 человек.

Когда метрдотель говорит «нет», он имеет в виду «может быть». Как Джули из «Тутси», как и все мы, — рестораны проявляли систематическое лицемерие. Когда Файлер позвонил им и спросил насчет правил принятия денег за предоставление столика, ответы были как «это отвратительно», так и «метрдотеля уволят, если он будет пойман за этим делом». И при этом каждый раз взятки принимались. Логика возможности отрицания является частичным ответом на вопрос, почему это происходит. Косвенный характер речевого акта решал проблему индентификации из теории игр, позволяя Файлеру предложить взятку, не рискуя понести за это общественное наказание. Но он должен был делать и нечто большее, поскольку все рестораны оказались подкупными. Каким-то образом имплицитная природа попытки подкупа позволяла обоим сторонам делать вид, что они вправе отрицать наличие какого-либо акта взяточничества, как будто бы каждый из них представлял, что где-то идет магнитофонная запись и их может осудить прокурор суда по этикету дорогих ресторанов.

Сюжет закручивается. Почему же перспектива быть отвергнутым при предложении взятки — или при любой другой попытке, как то предложение сексуального контакта или просьба о пожертвовании — вызывала такое чувство ужаса? И почему же, в случае если обмен все же происходит, он должен быть «неофициальным», «не для протокола» (кто ведет этот протокол?), для того чтобы обеим сторонам было легче? Чтобы ответить также и на эти вопросы, нам нужно оставить лингвистику и теорию игр и обратиться к эволюционной социальной психологии, где мы можем искать корни нашего стыда и следы табу.

Дележка, ранжирование, обмен: мысли о взаимоотношениях

Что же такого страшного в подкупе метрдотеля? Худшее, что он может сделать, — это сказать нет. Это почему-то кажется неэтичным, но почему? Мы же платим за ускоренный сервис при доставке посылок,

за места в первом классе и при других коммерческих транзакциях, а еще мы даем чаевые самому различному обслуживающему персоналу, как, например, таксистам, гидам-экскурсоводам, рассчитывая на лучший сервис в будущем. Но каким-то образом мы чувствуем, что метрлотель находится с нами в другого рода отношениях, исключающих обмена по типу «услуга за услугу», которые совсем ничем не примечательны в других случаях. Попытка перейти этот рубеж кажется нам постыдной, даже аморальной.

Антрополог Алан Фиске разработал обширную теорию общественного характера человека, которая описывает наиболее важные типы взаимоотношений между людьми, а также мысли, эмоции и социальные практики, которые их питают^[36]. Как и в Теории вежливости Браун и Левинсона, один из типов взаимоотношений основан на солидарности, а другой — на власти. Однако Фиске утверждает, что эти два типа имеют две очень разных логических основы, не являясь просто двумя сторонами монеты под названием «чувство собственного достоинства» («лицо»). Фиске также добавляет еще один тип взаимоотношений, который основан на социальном обмене. Эти три типа взаимоотношений уходят корнями вглубь нашей эволюции, и каждый из типов инстинктивно применяется к определенным типам человеческих диад. Однако, используя определенные каналы коммуникации, включая язык, мы можем силой применить установку, присущую определенному типу взаимоотношений в других диадах. Эти переговоры лежат в основе многих культурных устоев, зафиксированных антропологией, и, как мы с вами увидим, они, по всей видимости, являются мотивом для «приемлемого лицемерия» косвенной речи.

Первый тип взаимоотношений называется «общественное совладение», коротко — коммунальность. Логика, лежащая в основе этого типа: «что мое — то твое, что твое — то мое». Это тот тип взаимоотношений, который в Теории вежливости измерялся по шкале «социальной дистанции», его охраняет эмоция под названием «положительное лицо», то есть желание того, чтобы другие хотели для вас того же, что вы желаете себе сами. Коммунальность возникает естественным образом между кровными родственниками, по причинам, которые хорошо известны эволюционным биологам. В истории нашей эволюции любой ген, который располагал человека к тому, чтобы тот хорошо относился к своим кровным родственникам, имел шанс помочь копии **самого себя** в своих родственниках (поскольку гены у родственников одни и те же), так что он и его копии были предпочтительными при естественном отборе, а затем — укоренились в геноме^[37]. Общее генетическое наследство — это не единственная связующая нить. Генетические судьбы моногамной пары, прожившей всю жизнь вместе, сливаются воедино в одном сосуде — их детях, так что то, что хорошо для одного, становится хорошим и для другого (по крайней мере, если идет нивелировка

соревнования между узами их кровных родственников.) Также общие вкусы или общие враги могут объединять друзей в некий пакт общего интереса. Если двум соседям по общежитию нравится одна и та же музыка, один из них каждый раз будет оказывать услугу другому, принося в дом новый компакт-диск, поэтому каждый из них должен ценить благополучие другого, что является социальным аналогом отношений, которые экологи называют мутуализмом, а экономисты — позитивным внешним воздействием (*positive externalities*)^[38].

Многие читатели неправильно понимают утверждения об эволюции и полагают, что организм одного человека в самом деле высчитывает свое генетическое родство с другим и соответственно рассчитывает свое поведение — идея абсурдная. Даже большинство социобиологов мало задумываются о том, как общие интересы в генах или в ресурсах переводятся в альтруистическое поведение, относясь к организму человека, как к зомби, запрограммированному на выполнение того, что диктуется его генами. На самое деле коммуналность находится в голове человека в виде некой **эмоции** и в виде некоторого **ряда идей**. Эта эмоция — то чувство теплоты и уюта, которое мы ощущаем, когда мы делимся чем-то с друзьями и близкими. Эти идеи — ряд концептуальных метафор. Первая из них: солидарность — это физическая близость, — является источником многих идиоматических выражений на тему солидарности, включая сам технический термин **социальная дистанция**. Еще одна: солидарность — это привязанность к **чему-то** (кому-то), с которой мы встречались в «Декларации независимости» в начале пятой главы (**связь, узы** и т. п.). В особенности сильной является метафора солидарность — это когда ты одной плоти и крови с кем-то. Подобные интуитивные чувства закладываются в основные действия, которые привязывают нас к тем, кого мы любим: то, как мать баюкает малыша, объятия двух любящих, рукопожатие и объятие двух друзей, обмен телесными жидкостями при грудном вскармливании и сексе, то, как мы делимся едой внутри семьи и среди близких друзей.

Коммунальное владение никогда не бывает идеальным, даже среди близких родственников и друзей, — и еще сложнее поддерживать это с поверхностными знакомыми и слабо связанными с нами людьми. Причиной этого является то, что при существовании традиции «каждый берет, что захочет, никого не стесняясь и ни перед кем не отчитываясь» люди с менее прочной генетической или мутуалистической связью со своими знакомыми подвергаются соблазну взять себе больше, чем им следовало бы. Коммуналности угрожает жадность. Это трагично для группы, и в особенности для ее лидеров, поскольку ментальность «один за всех и все за одного» привела бы к более сильной и процветающей общине, если бы только была возможность вести себя так инстинктивно. В связи с этим люди разработали оригинальные

способы контроля над сознанием, которые прививают и поддерживают коммунальные мысли в умах людей.

Одним из таких способов является применение метафор родства, которые очень широко представлены у культов, религий, клубов, политических партий, а также общественных движений: *brethren* 'братья', *brotherhood* '(религиозное) братство', *fraternity* '(студенческий) братский клуб', *sisterhood* '(религиозная) сестринская община', *sorority* '(студенческий) сестринский клуб', *the fatherland* 'Отчизна', *the mother country* 'Родина-мать', *the family of man* 'род человеческий'^[39]. Вспомним, что одним из инструментов вежливости-симпатии является использование ласкательных терминов, как в *Brother, can you spare a dime?* 'Братишка, не найдется ли у тебя десяти центов?' Теперь нам ясно, что вежливость-симпатия — это не столько совместная попытка сохранить чувство собственного достоинства («лицо»), сколько способ вызвать коммунальные чувства в незнакомых людях или же попытка закрепить за ними статус друзей или союзников.

Другим способом является укрепление народно-биологического интуитивного ощущения, что люди сделаны из одной плоти и крови и посему являются частью некоего большого сверхорганизма. Совместный прием пищи — один из наиболее распространенный ритуалов построения и укрепления теплых взаимоотношений по всему миру, как если бы люди считали, что ты — это то, что ты ешь, и если вы едите одно и то же, то вы являетесь одинаковыми. Следствие этого — табу на определенные виды пищи, защищающее определенную группу с помощью того, что совместные приемы пищи с соседствующими группами становятся невозможными. Многие племена и объединения (например, мафия) делают себе порезы на пальце и соединяют их вместе с пальцем другого человека, чтобы их кровь слилась воедино, откуда и произошло выражение *blood brothers* 'кровные братья'. Люди также уродуют свои тела — нанесением шрамов, тату, с помощью пирсинга, растягивания кожи, подпиливания ногтей, укладывания волос, обрезания и других форм генитальных увечий, — как если бы они хотели сделать свою группу неким другим видом, биологически отличным от других человеческих группировок.

Люди в группах также синхронизируют свои движения, как, например, в танце, поклонах, при стоянии, сидении, маршировании, строевых учениях и занятиях спортом. Со стороны складывается впечатление, что это — единое коммунальное тело, а не несколько индивидуальных, что происходит благодаря закону восприятия под названием *common fate* 'общая судьба': вещи, которые движутся одновременно, воспринимаются как соединенные друг с другом. Внутреннее впечатление является еще более труднообъяснимым. Обычно люди замечают границы своего тела тогда, когда они заставляют некую часть своего

тела двигаться. Поэтому люди считают, что инструменты, велосипеды и автомобили являются продолжениями их собственных тел, и это та причина, по которой психологи, используя зеркала и демонстрацию видео, могут заставить человека почувствовать, будто тот добровольно руководит чьей-то рукой или даже призраком собственной руки, которая была ампутирована уже за много лет до этого^[40]. Если соединить эту часть нашей сенсорно-двигательной психологии с групповым ритмическим движением, то человек способен буквально почувствовать себя частью одного общего тела. Личные границы могут также стираться тогда, когда люди вместе переживают некое сильное эмоциональное потрясение, как, например, ужасы голода, террора или боли, или же вызванное наркотиками состояние измененного сознания. Такие несложные трюки широко распространены в качестве обрядов инициации по всему миру.

Чувство коммуальности в народной биологии может также усиливаться с помощью мифологии и различных идеологий. Людям говорят, что они — потомки старейшины рода или первозданной семьи, что они связаны с родной землей, или что они произошли в один и тот же момент появления на свет, или что они связаны с одним и тем же тотемным животным. Вот основное правило антропологии: каждый раз, когда у определенного общества (включая наше с вами) имеется некий культурный обычай, который кажется причудливым, это означает, что с его помощью члены данного общества могут манипулировать своей народной биологией с целью усилить чувство коммуальности.

Бросается в глаза отсутствие единственного механизма, который общественные и политические теоретики считают основой любого общества — общественного договора. Друзья, семьи, любящие пары и кланы не садятся за стол переговоров с целью хором зачитать права и обязанности, которые их связывают. Если они вообще используют язык, то для дачи клятвы в своей солидарности, будь то одновременно или друг за другом, как то *I love you* 'Я тебя люблю', *I pledge allegiance* 'Я клянусь в верности' и *I believe with a perfect faith* 'Я свято верю'. Им не нравится обсуждать условия своей коммуальности^[41]. Сам акт описания прерогатив и обязанностей с помощью слов подрывает саму природу их эмоционального (а в их сознании — и физического) слияния, которое позволяет им делиться друг с другом инстинктивно, не задумываясь о том, кто что возьмет и кто что получит. Разумеется, когда у людей начинаются конфликты, им часто приходится прибегать к вербальным переговорам, начиная с семейной терапии и заканчивая судом. Однако это не является центром коммуальных взаимоотношений и часто кажется неловким и неуместным. Правила, согласно которым некоторые действия на свидании могут считаться изнасилованием, выдвинутые в 1996 г. Антиохским колледжем, были публично

осмеяны, так как требовали от студентов *in flagrante delicto*¹⁾ просить явного словесного разрешения по поводу каждого следующего шага. Песня из мюзикла «Моя прекрасная леди» (*My Fair Lady*) (которую я использовал во второй главе в качестве иллюстрации используемой в ней конструкции с дательным падежом) может также использоваться для иллюстрации предпочитаемого нами способа закрепления наших интимных взаимоотношений: «Не пой мне песен, не читай мне стихов, не трать мое время — покажи мне!» (*Sing me no song, read me no rhyme, don't waste my time; show me!*).

Люди не просто не любят говорить о своих самых близких связях, они не любят о них даже думать. Человек, который размышляет об условиях своего брака, своего отцовства (материнства), своей дружбы или своей верности той или иной группе людей, считается невежей, плохим родителем, непостоянным другом, предателем, неверным, кем-то, кто «просто этого не понимает». И снова мы видим следы психологии табу^[42]. Типичным примером является парадокс брачного контракта. Исходя из рациональности, каждая помолвленная пара должна была бы подписывать брачный контракт, который описывает условия разделения имущества в случае развода, поскольку половина браков им и заканчивается. Тем не менее многие пары сопротивляются данной идее, не являясь при этом совершенно иррациональными людьми. Сам акт обсуждения брачного контракта повышает вероятность того, что он потребуется, поскольку пару заставляют задумываться о тех самых вещах, о которых им не следует думать в случае, если они хотят, чтобы их брак был основан на правильных коммунальных эмоциях.

Второй тип взаимоотношений называется «ранжирование авторитетов», он также известен как власть, статус, автономность и господство. Логика в основе этого типа — *Don't mess with me 'He пытайся мне мешать'*. Его биологические корни — это иерархии господства, которые так распространены в животном мире. Одно существо претендует на владение неким оспариваемым ресурсом, исходя из своего размера, силы, старшинства или наличия союзников, тогда как другое животное уступает ему в случае, если итог битвы можно предсказать заранее, и обе стороны стараются не подвергать себя смертельной опасности, если исход битвы заранее предсказуем^[43]. Таким образом они выстраиваются в линейную иерархию.

Ранжирование авторитетов, как и коммунальное совладение, анализируется у людей в основном не с помощью слов, а благодаря кооптированию способностей восприятия, предназначенных для другой жизненной сферы. В случае Коммунальности это — интуитивная биология, в случае Авторитета — интуитивная физика, а именно кантовские

¹⁾ Здесь — «в разгар преступления» (*лат.*). — *Прим. перев.*

категории пространства, времени, субстанции и силы, исследованные нами в четвертой главе. Ранжирование людей в иерархии господства, как правило, символизируется как распределение во времени, пространстве, размере и силе. Доминирующие индивидуумы (начальники, президенты, священники, шаманы, генералы) величаво идут впереди своих подчиненных, входят и выходят первыми, стоят выше (часто — на платформах или балконах), выглядят более крупными (с помощью шляп, шлемов и головных уборов), являются более крупными (лидеры, включая американских президентов, как правило, более высокого роста, чем те, кто пришел к финишу вторым), изображаются более крупными (с помощью больших изображений и статуй), у них более просторные кабинеты, дворцы, памятники. Сотни метафор говорят об этом приоритете, как, например, *first among equals* ‘*первый среди равных*’ (время), *strongman* ‘*сильная личность*’ (сила), *big shot* ‘*крупная шишка*’ (размер), *top dog* ‘*хозяин положения*’, букв. ‘*верхняя собака*’ (положение в пространстве).

Хотя видимые признаки возможности победы над кем-то в кулачном бою являются наиболее бросающимися в глаза признаками авторитета, далеко не всегда они являются истинной причиной появления данного авторитета. Господство у людей связано со статусом: обладанием такими ценными качествами, как талант, красота, ум, навыки и житейская мудрость. И в итоге господство и статус являются социальными конструкциями, которые всецело зависят от вашего восприятия и от восприятия других людей. То, насколько высок ваш авторитет, будет зависеть от того, на сколь высокий авторитет вы сами готовы претендовать, и от того, до какой степени другие готовы уступить вам свой авторитет. В этом, на мой взгляд, истинная природа понятия «чувства собственного достоинства» («лица»), о которой рассуждали Браун и Левинсон, так и не придя к удовлетворяющей нас теории (хотя к ней то и дело возвращался в своих работах Гоффман). Их «негативное лицо», а именно желание действовать беспрепятственно, является претензией на господство; «позитивное лицо» из их теории, которое они иногда определяли как стремление к одобрению или уважению, является требованием статуса. (В другие моменты они определяют его как стремление к симпатии со стороны других, но я подозреваю, что это некая другая эмоция, более тесно связанная с коммуальностью.)

Когда думаешь над этим вопросом в терминах Авторитета, чувство собственного достоинства («лицо») — это не просто теплое чувство, возникающее от самоуважения, но некая социальная валюта, обладающая реальной ценностью. Во многих сферах жизненной деятельности, то, что мы получаем, зависит от того, что мы считаем по праву достойным нас. Когда продавец и покупатель торгуются, всегда существует некий диапазон цен, в пределах которого каждый из них предпочел бы заключить сделку, нежели уйти ни с чем. Например,

машина, которая стоила дилеру 20 000 долларов США, может стоить покупателю 30 000, и любая цена в пределах этих двух сумм принесет им больше удовлетворения, нежели несостоявшаяся сделка. То, на какой цене они остановятся, зависит от решимости каждого из них. Дилер согласится на более низкую цену, если покупателю удастся убедить его в своей непреклонности в вопросе цены, покупатель же смирится с более высокой ценой, если будет уверен, что продавец от таковой не отступится^[44]. Таким же образом, если двое оспаривают свои права на такси или парковочное место, победителем окажется тот, кто более готов отстаивать свою позицию словесно или физически. В любом случае внешнее поведение играет свою роль. Каждый претендент пойдет на попятный в той степени, в какой он полагает, что другой будет отстаивать свои позиции, или же будет отстаивать свои позиции в той степени, в которой он уверен, что противник пойдет на попятный. Разумеется, каждый из них может проверять характер другого с помощью конфронтации, однако цена для обеих сторон — потеря сделки, вступление в драку — может быть высока. Хвастовство и самоуверенность, подкрепляемые уважением и почтением некоей третьей стороны, могут стать решающим оружием. Такое уважение можно выиграть, обладая теми качествами, которые ценят другие, или с помощью побед в предыдущих спорах или драках. Лишиться этих орудий, потерпев публичное поражение или получив подтверждение неуважения к вам в присутствии третьих лиц, — то есть «потерять лицо» — крайне неприятно.

Люди инстинктивно защищают чувство собственного достоинства («лицо»), и те, у кого нет желания бросать ему вызов, — как, например, соседи по столу, которые хотели бы, чтобы им передали соль, но не желали бы одновременно устраивать из этого сцену, — будут использовать приемы почтительной вежливости, включая косвенную речь. Импликатуры могут использоваться для защиты чувства собственного достоинства, а также для того, чтобы посчитаться с «лицом» другого, и иногда имплицитное сообщение может быть передано в виде тончайшего намека. В фильме «Алый прибой» (*Crimson Tide*) с авторитарным капитаном морского флота, командующим подводной лодкой (сыгранным Джином Хэкманом), начинает работать умный лейтенант (сыгранный Дензелом Уошингтоном); их отношения взаимоуважительные, но холодные. В ходе невероятного сюжета данного кинофильма они получают запутанное сообщение, в котором им приказывают запустить ядерные ракеты, что вне всякого сомнения послужило бы началом Третьей мировой войны. Лейтенант не слушается своего главнокомандующего и после множества криков, споров и порчи имущества ему удается предотвратить запуск, что очень хорошо, поскольку приказ был ошибочным. В концовке фильма, после того как с персонажа Уошингтона сняли обвинения в мятеже, персонаж Хэкмана подошел к нему

и сказал «Вы были правы, а я был не прав». Уошингтон вздергивает на это брови. «По поводу лошадей — липицанов. Они действительно из Испании, а не из Португалии». Лингвист Дебора Тэннен в своей статье о том, почему мужчины не просят прощения, пересказывает эту сцену и пишет в возмущении: «Почему он не мог просто сказать это? „Я совершил ошибку. Вы были правы. Я был не прав насчет начала той атомной войны“». Даже такой внимательный наблюдатель, как Тэннен, словно не заметила в тот момент, что тот на самом деле извинился, но с помощью сверхзвукового послания, которое, возможно, могут слышать только мужчины, — такого послания, чья буквальная оболочка позволяла ему не сдавать своей главенствующей позиции. Все это было бы поддержкой основной теории Тэннен (ставшей известной благодаря ее книге «Ты просто не понимаешь») (*You just don't understand*) о том, что мужчины и женщины часто общаются по-разному, и различие это не в словах или синтаксисе, но в импликатурах.

Импликатура может использоваться для оспаривания чьего-либо авторитета, а не только для его поддержания, и, когда это происходит, речь называется «юмором». В 2001 г. Дик Чейни¹⁾ был госпитализирован с диагнозом «сердечная аритмия», и один из комиков сказал, что ситуация складывается очень серьезная, поскольку Джордж Буш-младший²⁾ теперь «на один стук сердца» (= на волосок) от президентства. Это нарушает максимум качества, поскольку комик перевернул клише, касающееся вице-президентов и президентов, с ног на голову. Однако публика могла догадаться, что на самом деле он говорил о том, что Буш был непригодным президентом, и всеми делами заправлял Чейни. В шутке всегда есть некая мишень, кто-то, над кем вы смеетесь, а не кто-то, кто смеется вместе с вами. Тот, над кем смеются, изображается как бесталанный, глупый или недостойный, по причине чего он теряет авторитет в глазах наблюдателей. Как сказал Джордж Сантаяна: «Заставить нечто пасть, в особенности если оно где-то горделиво размещалось, является глубокой радостью на самом первичном уровне». Спрятав оскорбление за импликатуру, тот, кто бросает вызов, делает последний еще более неотразимым, поскольку любая слушающая, способная восстановить весь ход импликатуры, — та, кто «понимает» смысл шутки, — осознает, что знала о слабости того, кто является мишенью шутки, все это время, и что остальные, кто смеется вместе с ней, тоже знали об этом.

Однако юмор во многом состоит из дружеских подшучиваний и самокритики, в случае которой мишенью шутки становится сам говорящий или его приятель, а не некий авторитет, которого необходимо понизить на несколько уровней. Вот несколько тайно записанных пси-

¹⁾ В то время — вице-президент США. — *Прим. перев.*

²⁾ В то время — президент США. — *Прим. перев.*



хологом Робертом Провайном забавных шуток из реальных разговоров между университетскими студентами ^[45]:

Это что — одежда или убежище?

Я заплатил бы сто долларов только за то, чтоб порыться в ее барахле [выражение нежности].

Ты встречаешься с особями того же вида?

Я стараюсь вести нормальную жизнь!

Юмор в данном случае дружеский, не агрессивный, но в то же время по-прежнему важным компонентом является умаление достоинства. Я думаю, что он используется в качестве сигнала того, что основной отношений скорее является коммуальность, нежели авторитетность. Когда бы люди ни общались, присутствуют некие семена отношений, основанных на авторитете, поскольку, как заметил Сэмьюэл Джонсон: «ни одна пара мужчин не сможет провести вместе полчаса без того, чтобы один из них не приобрел явное превосходство над другим». Поначалу вы можете подумать, что тот, кто находится на более высокой позиции, всегда будет получать удовольствие от своего господства, но это не всегда так: трудно быть королем. Господство полезно, пока оно у вас есть, но оно может пропасть в связи с какими-нибудь обстоятельствами или возрастом. Друзья же всегда с нами, и они всем нам нужны. Одним из способов дать приятелю понять, что основой отношений является дружба, а не господство, — это привлечь внимание к некой неприглядной черте, собственной или его, что предотвратит вероятность того, что один из вас вознесется над другим ^[46].

Третий тип взаимоотношений называется «соблюдение равенства», хотя нам он более знаком под терминами «взаимность», «обмен» и «справедливость». Логика в основе этого типа — это «если ты почешешь спину мне, то я почешу спину тебе», а его эволюционной базой является взаимный альтруизм ^[47]. В отношениях, основанных на Обмене, люди равным образом распределяют ресурсы, или действуют по очереди, или происходит бартер товаров или услуг на эквивалентные товары или услуги, или же они обмениваются некими одолжениями ради равнозначных одолжений. Когда он используется для разделения ресурсов среди людей, не способных делиться ими на коммунальной основе, но имеющих на них равные права, соблюдение равенства может предупредить некое соревнование авторитетов, а также помочь избежать платы, которую пришлось бы отдать за жестокую драку. Также оно позволяет людям наслаждаться прибылью от Обмена, в случаях когда две стороны обладают большим количеством чего-то, чем им нужно, и они могут произвести бартер своих излишков друг с другом, к выгоде для них обоих.

Фиске предполагает, что психологическая реализация Обмена — это некая конкретная операция: поведенческий алгоритм, который

обеспечивает тот факт, что игроки прилагают одинаковые усилия и могут получить равную выгоду. Они бросают монетку, вытягивают соломинки, действуют с помощью считалок типа «аты-баты, шли солдаты», выкладывают предметы рядами или взвешивают их на весах. Однако Обмен — это область, где буквальный язык в большом почете. «Если ты сделаешь это, то я сделаю то» — это удобный способ Обмена неосязаемыми вещами или услугами, или же осязаемыми, но которые необходимо отдавать и получать в разное время. Язык также является каналом, с помощью которого мы распространяем информацию о благонадежности человека, это феномен называется слухами (сплетнями). Возможно, не случайно мы используем «лицо» как метафору своей репутации в делах, касающихся авторитета (возможно, уходящую корнями вглубь к прямому взгляду, выражающему господство у приматов), однако мы используем «доброе имя» в качестве метафоры репутации в вопросах справедливости и честности.

В таксономии Фиске также имеется место для четвертого типа взаимоотношений, который он называет Рыночной Расценкой. В нее входят все компоненты современных рыночных экономик: валюта, цены, зарплаты, социальные пакеты, ренты, процентные ставки, кредит, опции, производные и т. д. Средством общения являются символические цифры, математические операции, цифровая бухгалтерия и трансферы, а также язык официальных контрактов. В отличие от предыдущих трех типов, рыночная расценка отнюдь не является универсальным типом. Культура, у которой нет письменности и система исчисления которой заканчивается на цифре «3», не может справиться даже с самыми азамы рыночной расценки. А логика рынка по-прежнему остается неестественной с когнитивной точки зрения. Люди по всему миру считают, что у каждого предмета есть некая присущая ему внутренняя верная цена (в противоположность той, которую люди готовы заплатить за этот предмет в тот или иной момент), что посредники при этом — это некие паразиты (несмотря на ту услугу, которую они оказывают, привозят товары из отдаленных точек Земли и делая их удобными и доступными для покупателей), и что взимание процентов — это аморальный акт (несмотря на то, что деньги имеют различное достоинство для людей в зависимости от времени)^[48]. Эти заблуждения естественным образом возникают в том сознании Обмена, при котором распределение является справедливым только тогда, когда из рук в руки переходит эквивалентное количество вещей. Ментальная модель Обменов лицом к лицу, а также баш на баш не может справляться со сложной для понимания машиной рыночной экономики, которая делает возможной поставку различных товаров и услуг огромному количеству людей, находящихся друг от друга на больших временных и пространственных расстояниях.

На мой взгляд, это выносит Рыночную Расценку за пределы человеческой природы, и, кажется, не наблюдается некоего естественного развития мыслей и эмоций, направленных специально на это. В этом отношении Рыночная Расценка может быть присоединена к другим примерам формальной общественной организации, которые оттачивались столетиями в качестве хороших способов организации миллионов людей в технологически развитом обществе, но которые не возникают спонтанно в неподготовленном для этого специально сознании. Параллельный этому пример может быть найден в политических институтах, присущих демократии, где власть приписывается не какому-то одному «сильному мира сего» (Авторитету), но представителям, которых выбирают с помощью официального процесса голосования и прерогативы которых обозначаются с помощью сложной системы сдержек и противовесов. Еще один пример — это большая организация, например корпорация, университет или некоммерческая организация. Люди, которые работают в них, не могут свободно нанимать своих друзей или родственников (Коммунальность) или раздавать вакансии в качестве одолжения (Обмен), хотя это и является постоянным человеческим соблазном. Вместо этого их поведение сдерживается порученными им обязанностями, а также неким сводом правил.

Хотя Коммунальность, Авторитет и Обмен и являются универсальными моделями, согласно которым люди строят свои взаимоотношения, культуры различаются по тому, какие типы взаимоотношений могут применяться к каким ресурсам, в каком типе диады и в каком контексте. В западных культурах мы покупаем, продаем или обмениваем наши земли (Обмен), но мы не покупаем, не продаем и не меняемся женщинами-невестами, с которыми мы обручились; в других культурах все ровно наоборот. Начальник в той или иной корпорации может контролировать заработную плату и рабочее пространство, отведенные сотруднику (Авторитет), но не имеет права пользоваться его личным имуществом или его женой, хотя эти *droits de seigneur* 'права господина' были обязательными для многих королей и деспотов в другие времена и в других странах. Гость, приглашенный на обед в США (Коммунальность), не должен доставать свой кошелек по окончании приема пищи, чтобы заплатить тем, кто его пригласил, не обязан он также отвечать им незамедлительно приглашением на обед к себе на следующий же день. Однако во многих культурах на подобную обоюдность открыто рассчитывают примерно так же, как люди в нашей культуре частным образом рассчитывают на ежегодный взаимный обмен рождественскими открытками.

Когда человек определенной культуры неверно определяет тип отношений, применимый к той ли иной ситуации, это может вызвать бурю эмоций. Ведь, в конце концов, мы имеем дело с оправдываемым

культурой способом распределения ресурсов и власти. Воспользоваться тем или иным предметом может быть прерогативой в контексте одних взаимоотношений и одновременно быть кражей в особо крупных размерах в другом. Отдача приказов кому-то может быть вашей должностной обязанностью в одной ситуации, но вымогательством — в другой.

Иногда подобное несоответствие является единичным случаем, результатом неправильного понимания ситуации, проверкой новых взаимоотношений или исключительной необходимостью. Это вызывает чувство, которое мы называем «неловкостью», и события, которые мы называем «ляпами» или «ложными шагами». Такой сконфуженный (испытывающий неловкость) человек теперь будет застенчив, максимально внимателен к деталям ситуации (в особенности к реакции других людей на его поведение и действия), а также скован, словно параличом, относительно дальнейших слов и действий, пока он не выберет стратегию исправления сложившейся ситуации. Практически любое несоответствие во взаимоотношениях может вызвать чувство неловкости. Широко распространено мнение, что добрым друзьям (Коммунальность) не стоит вступать в крупные финансовые сделки друг с другом (Обмен), такие как продажа дома или автомобиля, — это может стать угрозой их дружбе. Трения могут возникать, когда старший по званию (Авторитет) вступает в дружеские отношения со своим подчиненным или студентом (Коммунальность), — переход, который может быть сигнализирован с помощью смены формы обращения или изменения местоимения с В- на Т-тип. Когда отношения, построенные на Авторитете, грозят перерасти в сексуальные, результатом может быть не просто неловкость, но и судебный иск, касающийся сексуальной агрессии на рабочем месте. Сексуальность как таковая является особой формой коммунальных взаимоотношений, которая может вступать в конфликт с другими формами коммунальности, такими как дружба, создавая дополнительный повод для общественных трений. Индустрия развлечений широко использует чувство неловкости, возникающее при такой смене взаимоотношений, в качестве сюжетного приема в комедиях сексуальных обычаев, таких как «Сейнфелд» и «Друзья».

Если несоответствие касается не некоего единственного случая, но является намеренным и продолжительным, эмоции могут перетекать из неловкости в область морального осуждения. Мать, которая продает своего младенца, преподаватель, который домогается секса со своей студенткой, друг, который использует своего друга с целью продвижения по службе или для материальной выгоды, — все эти случаи считаются примерами крайней низости. Как и в случае парадокса брачного контракта, вступает в силу психология табу: даже сама **мысль** о совмещении двух типов взаимоотношений может быть преступной. Психолог Филип Тетлок, когда-то сотрудничавший с Фиске, показал,

что людей возмущает даже вопрос о применении ментальности рынка или обмена в вопросах коммунальных отношений или отношений, основанных на авторитете. Например, их оскорбляет вопрос, нужен ли людям рынок прав на усыновление, нужно ли людям право на продажу своего избирательского голоса или своих органов и можно ли людям откупаться от повинности в суде присяжных или от военной службы [49].

На комфортном расстоянии от нас — в художественных произведениях — нас могут поражать те герои, которым приходится думать о невозможном в их близких взаимоотношениях, как в «Выборе Софи» (*Sophie's Choice*) или «Непристойном предложении» (*Indecent Proposal*). А на еще более комфортном расстоянии от нас — в царстве юмора — мы даже можем над этим посмеяться. В комиксе, напечатанном в журнале «Нью-Йоркер», некий джентльмен в кресле говорит молодому человеку: «Сынок, вот ты и вырос. Ты должен мне двести четырнадцать тысяч долларов». А еще в одном старом анекдоте о полах, который столь к месту, что его никак нельзя опустить, мужчина спрашивает у женщины: «Вы переспали бы за мной за миллион долларов?» Она отвечает: «Гм... Думаю, что да». Затем он спрашивает: «А переспали бы вы со мной за сто долларов?» Она отвечает: «За кого вы меня принимаете?» Он говорит: «С этим мы уже определились, сейчас просто договариваемся о расценках».

А теперь мы можем вернуться к неофициальным косвенным речевым актам в нашей повседневной жизни. Вспомним нашего кулинарного критика, как он покрывался испариной и тряся, предлагая метрдротелю взятку. Если бы он предлагал последнюю честному метрдротелю, он бы создал несоответствие между Авторитетом (типичные взаимоотношения с клиентами с позиции метрдротеля) и Обменом (условия, которые пытался предложить Файлер). Неудивительно, что Файлеру было неловко, если не сказать, что он чувствовал себя аморальным типом; его волнение четко соответствует теории Моделей взаимоотношений. Файлера спасла импликатура. Буквальное содержание («Вы не подскажите, не было ли отмены брони?») соответствовало отношениям, построенным на Авторитете, однако содержание, на которое он намекал с помощью импликатуры («Я дам вам сто долларов, если вы быстро предоставите нам столик»), заключало в себе тот обмен, который был целью высказывания. Честный метрдротель не обиделся бы, тогда как непорядочный принял бы взятку. (Также складывается впечатление, что метрдротель сохранил при этом свой авторитет, хотя причина, почему такого слабого прикрытия достаточно, — еще одна загадка, последняя, о которой мы поговорим в данной главе.)

Логика соблазнения в целом такая же, хотя и с некоторыми отличиями. Нам уже знакома матрица теории игр:

Согласный партнер Несогласный партнер

Не сказать ничего

«Я бы очень хотел заняться с тобой любовью»

«Ты не хотела бы подняться посмотреть на мои гравюры?»

Согласный партнер	Несогласный партнер
Рукопожатие	Рукопожатие
Секс	Выплескивание бокала вина в лицо
Секс	Рукопожатие

Дележка, ранжирование, обмен: мысли о взаимоотношениях

Однако графа про выплескивание бокала вина в лицо требует комментария. В сцене из «Тутси», почему проступок Майкла не просто вызывает чувство неловкости, — классический штраф при несоответствии взаимоотношений, — но воспринимается как оскорбление? В то время как взаимные романтические отношения относятся к коммунальному типу, зарождающиеся романтические отношения обладают элементом обмена по причине большей потребности мужчин, в отличие от женщин, в сексе ради самого секса^[50]. Привлекательная женщина может ожидать особого внимания и щедрости от будущего партнера, может иметь высокие стандарты относительно той минимальной привлекательности, которой тот должен обладать, и в особенности относительно его статуса. Джули была красавицей и начинающей звездой; Майкл был нулем, который едва ли сделал ей хоть что-то приятное. Его призыв был не просто примером несоответствия взаимоотношений, но таким, который угрожал чувству собственного достоинства Джули, — той позиции «женщины, достойной делать свой выбор на сексуальном рынке», которая принадлежала ей по праву, — и она была вынуждена защитить ее.

Процесс прошения о значительном пожертвовании у мецената во многом похож на сексуальное ухаживание. Обязателен шикарный обед, который создаст атмосферу теплого праздника. В течение сего действия поддерживается аура дружбы, которая необыкновенно приятна мишени данного соблазнения. Иногда предоставляются развлечения (например, в лице меня или других достойных профессоров). В течение вечера о текущем деле нет ни единого упоминания, хотя все о нем, безусловно, только и думают. Соблазнитель должен быть осторожным, чтобы случайно не упустить возможность сделать свой ход в течение этого вечера, но он не должен делать его слишком рано, когда настрой еще не соответствует желаемому. Разница в том, что в момент истины декан не может просто украдкой запустить руку в чековую книжку спонсора. Но «просьба» (the ask), как ее называют в индустрии, должна быть оформлена со всяческой деликатностью: донора следует называть «лидером» и «другом», а альтруистическая природа жертвования должна всячески подчеркиваться^[51]. Циничный анализ транзакции —

Г
Л
А
В
А

8

то, что университет продает меценату право на именование, престиж, а также видимость дружбы с интересными людьми, — является табу. На сам обмен лишь имплицитно намекается, с полным соблюдением ауры коммунальности, а реальные условия откладываются до стадии под названием «мои люди позвонят вашим людям». И, как и при уходе, иногда стороны становятся действительно хорошими друзьями.

Со своей стороны, угрозы, как правило, скрыты за импликациями по двум причинам. Одна нам знакома: откровенно говорящий вымогатель выдает себя и тем самым рискует понести правовое наказание точно так же, как и взяточник. Однако он также сталкивается с риском, что мишень ответит на его блеф, отразив угрозу. В целях поддержания репутации, от которой зависит его благополучие, вымогатель будет обязан выполнить угрозу, что может быть рискованным и дорогостоящим, но не имеет никакого смысла после того, как цель ее — заставить мишень сделать то-то и то-то, — не была достигнута. Имплицитная угроза решает сразу обе проблемы. Если угроза не озвучена, вымогателя сложнее призвать к ответу, а если ее (угрозу) проигнорировали, то он может сделать выбор в пользу непретворения ее в жизнь, не отступая от своих слов и не подрывая этим доверия к собственной персоне. Английский язык предоставляет особенно удобную возможность: ингерентную двусмысленность будущего времени между будущностью и волеизъявлением (мы рассматривали это явление в четвертой главе). Высказывание «Если вы не подпишете контракт с нашей компанией, занимающейся грузоперевозками, ваш профсоюз начнет забастовку» всегда может быть представлено как предсказание будущего, а не заявление о намерениях. Еще один пример изобретательности можно найти в «Крестном отце II». Фрэнк Пентангели вот-вот должен дать показания против Майкла Корлеоне на слушаниях в Конгрессе, и он находится в изоляции под присмотром ФБР, чтобы избежать угроз в свой адрес. Майкл появляется в зале в компании брата Пентангели, только что прилетевшего из Сицилии, прямо перед лицом Пентангели, который вот-вот приступит к даче показаний. (Том Хаген объясняет: «Он пришел, на свой страх и риск, помочь брату в беде».) Фрэнки быстро отказывается от своих слов.

То, каким образом Корлеоне замаскировал свою угрозу — лишь фактом присутствия брата на суде, — это один из множества способов, с помощью которых люди решали проблемы передачи послания тогда, когда слова прозвучали бы неловко или были бы небезопасны. В своей автобиографии Роджер Браун объясняет схему выигрыша, с которой приходилось сталкиваться мужчинам-гомосексуалистам в 1950-е гг., когда он сам был студентом университета; он также рассказывает о том, как решалась проблема идентификации в мужских туалетах, которые они посещали:

Нужно было принести книгу и, сидя на толчке, с закрытой дверью, читать настолько сосредоточенно, насколько это возможно, учитывая, что сидишь в засаде. Когда дичь появляется и расправляет перышки в соседней кабинке, вы бросаете читать и начинаете концентрироваться на ноге и голени, которые вам видны. Определенное количество движений или постукиваний ступней по полу может считаться бессмысленным неврологическим переизбытком. Вам же нужно следить за тем, как именно движется ступня. Существует несколько поддающихся интерпретации типов движений, но самый простой — если ступня упорно движется по направлению к вашей собственной; сначала большой палец, затем пятка, продвигаясь совсем по чуть-чуть, никогда не в той степени, что могла бы обернуться вызовом или быть заметной кому-то, кроме самых верных криптоаналитиков. Самый кошмар — это низкий голос, произносящий: «Эй, братан, в чем дело?..»

В вашей же собственной кабинке ваша ступня должна двигаться точно в той же манере, что и ступня приятеля из соседней кабинки, продвигаясь по чуть-чуть в его направлении. В конце вас ожидает неизбежный Рубикон. Либо один, либо второй должен рискнуть... пойти на контакт. На самом деле риск не так уж и велик; если столь же добровольного давления со стороны компаньона не наблюдается, практически за все остальное можно извиниться. Однако если давление проверено и взаимно, подобная сцена наполняется электричеством эротического потенциала^[52].

Изобретательность подобных ухищрений демонстрирует, что имплицитурны используют всю гамму социального интеллекта и не ограничиваются интерпретацией только лишь языка.

Пройти тест на смех: логика не слишком убедительного отрицания

Одна проблема так и остается не решенной: психологическая важность того, является ли предложение официальным или неофициальным в ходе повседневной беседы. Вопросы возникают в случаях, когда верны два обстоятельства. Во-первых, проблема идентификации решена, и каждая сторона знает о намерениях другой. Во-вторых, имплицатура бывает настолько очевидной, что не оставляет ни малейшего сомнения в сознании слушающей относительно своего значения. Гравюры, отмена брони, лидерство, возможность несчастных случаев — все они являются прозрачными уловками, поэтому никакая «возможность отрицания» на самом деле не возможна: она не пройдет «теста на смех». В зале суда стандарт доказательства вины, не оставляющего разумных оснований для сомнения, в особенности в тех случаях, когда свобода слова является предметом спора, может объяснить, почему иногда даже малейшая возможность отречься от чего-то может освободить человека от ответственности. Почему же нам нужно вести себя

как адвокатам ответчика в нашей повседневной жизни? Почему же для метрдотеля, который принял взятку, было бы хуже, если бы его клиент выразил свое предложение недвусмысленно? Почему спонсору не понравилось бы прямое прошение о пожертвовании, оформленное в качестве «баш на баш», если в глубине души он, наверное, знает, о чем идет речь? И почему отвергнутая сексуальная инициатива является более неприятной для нас, если она была высказана в виде смелого и конкретного предложения, нежели выражена при помощи прозрачного намека или языка телодвижений?

Как и во многих других случаях общения между людьми, динамика соблазнения является слишком тонкой и высокочувствительной материей, чтобы ее можно было воспроизвести искусственно в химической лаборатории. В таких случаях нашей лучшей методологией может быть своего рода мыслительный эксперимент под названием «комедия манер», где правдоподобные персонажи разыгрывают перед нами негласные правила социального общения. Гарри, встретив Салли всего лишь несколькими часами ранее, неверно рассчитал оптимальный уровень уклончивости, высказавшись о ее внешности, и Салли обвинила его в том, что он домогается ее:

Гарри: Что? Мужчина уже не может назвать женщину привлекательной без того, чтобы это считалось домогательством? Ладно, ладно. Предположим, спора ради, что это и было домогательство. Что же мне теперь с этим поделать? Я беру свои слова обратно.

Салли: Ты не можешь взять их обратно.

Гарри: Почему?

Салли: Потому, что они уже сказаны.

Гарри: О, боже. Ну, и что мы теперь должны делать? Вызывать копов? Слова уже сказаны!

В чем именно состоит концессия того, что предложение «уже сделано», настолько, что его «нельзя взять обратно»? Как подмечает Гарри, не вызывать же копов.

Хотя многие черты имплицатуры могут использовать общие процессы рациональной инференции, в конце концов мы сталкиваемся с чем-то в сознании людей, что относится к самому языку. Выражение чувства в виде высказывания — прямо, открыто, недвусмысленно — имеет значение. Некоторые вещи, будучи сказаны однажды, уже никогда не станут произнесенными.

В случаях, которые мы рассмотрели, одна или обе стороны желают сохранить взаимоотношения того типа, который соответствует буквальному смыслу того или иного предложения (мужчина и женщина являются друзьями и коллегами, метрдотель — авторитетным лицом, спонсор и декан — приятелями), и при этом будучи занятыми настоящим делом (сексуальное домогательство, взятка, пожертвование),

которое предполагает другой тип взаимоотношений, намек на которое читается между строк. Почему же люди считают, что косвенная речь дает им право на безнаказанное лицемерие, чего бы никак не вышло, используй они прямую речь? Ответ мне неизвестен, но вот несколько соображений по этому поводу.

Символический поклон ^[53]. Оформляя предложение как косвенный речевой акт, говорящий сигнализирует слушающей, что он старается щадить ее честь, достоинство. Само понимание того, что говорящий прилагает такие усилия, заставляет слушающую ценить подобную чуткость, облегчая тем самым атмосферу в целом. Смелое, прямое предложение самой своей эффективностью сигнализирует о том, что говорящий не считался с чувствами слушающей.

Не говори вовсе; покажи мне. Отношения, основанные на коммуналности, не оговариваются с помощью языка, а освящаются физическими признаками общности, такими как ритуалы, пиры и телесный контакт. Самый факт того, что отношения пытаются описать с помощью слов, говорит о том, что они принадлежат не к коммунальному типу, поскольку коммуналные взаимоотношения ощущаются на самом глубинном уровне, а не просчитываются рационально. То же самое можно сказать и об отношениях, основанных на авторитете, которые оформляются невербально, с помощью признаков размера, силы и приоритета.

Виртуальная публика. Говорящий и слушающая могут не иметь ни малейших сомнений относительно направленности косвенного речевого акта, поскольку им известна предыстория и они могут знать темперамент и манеру поведения друг друга. Однако кто-то, кто подслушивает, или некое третье лицо, узнающее о каком-то событии на расстоянии, такой информации не имеет и может полагаться только на конкретные слова. Разумеется, подслушивающие также способны понять смысл той или иной имплицатуры, однако их уровень уверенности намного ниже, чем у говорящего и слушающей, и возможность отрицания может быть правдоподобной для них, даже если это не так. Сравните, что получится в случае прямого предложения. Последнее не только более понятно случайному свидетелю, но может быть передано с большей точностью в виде сплетни. Это происходит потому, что язык — цифровое средство, а цифровые сообщения могут передаваться без потери точности. Разумеется, язык даже в своей самой точной форме полон неопределенностей, а человеческая память на формулировку предложения далеко не идеальна. И тем не менее содержание предложения легче воспроизвести, чем аналоговую информацию, выраженную тоном говорящего, или тем, насколько близко двое собеседников сидели друг к другу. Согласно этой идее, мы всегда играем перед воображаемой публикой (как когда-то настаивал Гоффман) только лишь

ради того, чтобы уметь управлять информацией, которая может стать достоянием подслушивающего или сплетника.

Оберегая очарование. Публичные взаимоотношения между говорящим и слушающей являются некой приятной иллюзией, подобно просмотру театральной пьесы, походу в планетарий или созерцанию вазы с цветами из шелка. Метрдотель может царить в своих владениях. Женщина может наслаждаться вниманием и добротой мужчины, которого интересуется ее интеллект. Спонсор может радоваться дружеской атмосфере теплого ужина с известными людьми. Эта иллюзия способна пережить импликацию, заложенную в косвенной речевой акт, но она была бы разрушена прямым предложением, точно так же как актер, который путает слова своей роли, портит очарование от пьесы, или ярлык «Сделано в Тайване», который портит иллюзию, создаваемую шелковой розой. Однажды нарушив тайну этого очарования, участники могут наслаждаться иллюзией, только лишь соглашаясь на роль лжецов и их жертв. В данной теории наше Я разделяется в целях самообмана на части, и отрицание возможно для одной части нашего Я даже тогда, когда вторая часть в него не верит.

Уверенность в фокусе. Правовая политика обвинять кого-то лишь в том случае, если существуют свидетельства его вины, не оставляющие возможности сомневаться в совершении человеком того или иного преступления, имеет отражение и в повседневной жизни. Типы взаимоотношений являются скрытыми от посторонних глаз и очень отличающимися друг от друга способами общения, и для определенной диады резкая перемена к новому типу — дело серьезное. Поскольку для этого необходимы два человека, оба они должны понимать некое правило того, когда переходить от одного типа к другому. Граница эта не может обсуждаться в открытую, как не могут обсуждаться и существующие отношения, а посему это действие должно происходить само по себе, как некий негласный договор. Насколько близко может мужчина подсаживаться к женщине, насколько обильными могут быть комплименты, насколько прозрачным должен быть предлог, который он назовет, чтобы позвать ее подняться к себе в дом, прежде чем она сделает вывод, что его намерения носят сексуальный характер? Ее собственный монитор может отслеживать все признаки этого в аналоговой форме, однако ее отношения с мужчиной должны относиться либо к одному, либо к другому типу. Возможно, женщине придется вынести достаточно большое количество намеков, прежде чем она положит такому поведению конец, поскольку смена отношений требует определенных усилий, и понять, где провести черту, может быть достаточно сложно. Прямое домогательство, безусловно, лежит по другую сторону черты, и разница между ним и продолжающимися намеками может быть единственным местом, где можно разграничить отношения



некой чертой. Возможность отрицания может быть ничтожно маленькой — один процент, или даже одна десятая процента, — но до тех пор пока она не равняется абсолютному нулю (как в случае, когда домогательство было выражено напрямую), женщине, возможно, не удастся мужчину ни в чем обвинить.

Это пример Координационной игры, еще один сценарий, исследованный Шеллингом^[54]. Пара случайно разминулась в универсаме, и каждый из них должен догадаться, где можно встретиться с другим. Или двух парашютистов сбрасывают на вражескую территорию, оснастив только картами, и им предстоит встретиться, не имея средств связи друг с другом. Каждый должен предугадать, где другой предположит, что первый предположит, что второй появится, и так до бесконечности. В Координационной игре любой предмет, на котором можно сфокусироваться и который выделяется на общем фоне, может внезапно стать решением проблемы, даже если внутренне ничто не делает его пригодным для этого, не считая того, что участники «игры» его заметили. Парашютисты могут встретиться под единственным в пустыне деревом, или под самым высоким холмом в этой местности, или на пересечении двух рек, даже если этот предмет фокуса находится на расстоянии долгого путешествия пешком от того места, куда был сброшен один из них, просто оттого, что это — единственное место, которое выделяется на в целом невыразительном ландшафте. Шеллинг отмечает, что именно поэтому две стороны во время переговоров останавливаются на некой середине между их изначальными позициями или удовлетворяются некой округленной суммой. «Продавца, который высчитал арифметику самой низкой цены, которую он может предложить за автомобиль, как 2507 долларов и 63 цента, можно справедливо попросить скинуть 7 долларов и 63 цента»^[55]. Сходным образом, «если кто-то требовал 60 процентов и уменьшает ставку до пятидесяти процентов, он может на это рассчитывать, но если он скинул до 49 процентов, то другой сочтет, что тот — в безвыходном положении и будет продолжать снижать цену»^[56].

Обоюдное знание. Предположим, что некая женщина отклонила предложение мужчины подняться к нему домой, чтобы посмотреть его коллекцию гравюр. Она знает — во всяком случае, она твердо уверена, — что она отклонила приглашение заняться сексом. И ему известно, что она отвергла это приглашение. Но знает ли он, что она знает, что он знает? И знает ли она, что он знает, что она знает? Некоторая неуверенность в собственном сознании может превратиться в гораздо большую неуверенность, когда это пытается понять кто-то другой. В конце концов женщина может основывать свою внутреннюю убежденность в том, что это было сексуальное домогательство, на своей социальной проницательности, на своих обширных познаниях



о противоположном поле или о своей осведомленности относительно слухов, которые циркулируют об этом мужчине, от женщин, которые с ним когда-то встречались. Но все знания, на которые может положиться он, — это то, какие выводы сделает среднестатистический человек в тех обстоятельствах, в которые он благодаря этому мужчине попал. Сходным образом, хотя он достаточно умен, чтобы понимать, что ее «нет» означает «нет», женщина не может быть до конца уверена, что перед ней не какой-то наивный человек, который надеется, что, возможно, она не поняла суть дела. Отрицание сексуальных намерений может быть и невозможным, но отрицание, что **вторая сторона** знала о сексуальности намерений первой, — возможно. Сравним это с тем, что происходит, если мужчина делает прямое предложение сексуального характера, а женщина отказывается его принять. Крышка с этой неопределенности более высокого ранга, безусловно, сорвана. Каждая из участвующих сторон не только в курсе отказа, но и знает, что другой стороне это известно.

Это то состояние дел, которое учеными называется обоюдным знанием, совместным знанием, общим знанием, а также общим основанием^[57]. Начиная с Грайса, многие теоретики считали, что обоюдное знание правил языка, а также основ культуры и человеческой рациональности являются необходимыми условиями для того, чтобы успешное общение между людьми было возможно, особенно если речь идет об импликатурах. Однако обоюдное знание может играть и другую роль в языке. Возможно, что обоюдное знание об определенной просьбе или предложении является пререквизитом для двоих людей, которые вынуждены изменить существующий между ними тип взаимоотношений, и просто индивидуальных знаний (два человека знают одно и то же, но не знают, в курсе ли вторая половина) недостаточно. Если вы знаете, что я предложил вам заняться сексом и был отвергнут, и я знаю, что я предложил вам заняться сексом и был отвергнут, то в таком случае мы оба можем притвориться, что этого никогда не происходило и можем продолжать быть (или, по крайней мере, притворяться) друзьями. Но если я знаю, что вы знаете, и вы знаете, что я знаю, что вы знаете и т. д., то такая шарада уже не может поддерживаться.

Способность языка превращать индивидуальное знание в общее знание является основой множества басен и головоломок. Самой знаменитой из них является сказка о новом платье короля. Каждый зевака знал, что король был голым, но никто из них не был уверен, что другие тоже об этом знают, и поэтому они все робко молчали. Одного возгласа мальчика «А король-то голый!» было достаточно, чтобы публика показала со смеху. Что важно, мальчик никому ничего лично не сообщал такого, чего бы они и без того уже не знали. Но тем не менее его слова все равно были передачей информации — информацией о том, что все

остальные люди теперь знают то же самое, что каждый из них знал в одиночку.

Более удивительный пример возникал в виде различных изоморфов, и его можно назвать Проблемой соуса барбекю^[58]. Двадцати логикам, пришедшим на барбекю, были поданы свиные ребрышки в соусе барбекю. Трое из логиков перемазали себе соусом лицо, но вокруг нет зеркал. Поэтому им данный факт не известен, не уверены в чистоте своего собственного лица и другие логики. Разумеется, каждый логик может видеть, что у некоторых из их коллег перепачканы лица, но никто не хочет смущать других, сообщая им эту информацию, и никто не желает выглядеть глупо, вытирая свое лицо, в случае если оно чистое. Входит повар с тарелкой, наполненной кусками арбуза, обозревает данную сцену и произносит: «Как минимум у одного из вас на лице следы соуса барбекю. Я зазвоню в обеденный колокольчик, чтобы дать вам шанс стереть их. Затем я снова позвоню в колокольчик, а потом снова, и так далее. Когда все вытрут свои лица, я подам вам арбуз». Он звонит в колокольчик, но никто не двигается с места. Он звонит снова, но никто по-прежнему не двигается с места. Он звонит в третий раз, и на этот раз три логика со следами соуса барбекю на лице вытирают лица салфеткой. Подается арбуз.

До заявления шеф-повара каждый знал, что как минимум у одного человека лицо испачкано соусом, поэтому шеф не сообщил им ничего нового. Но тот факт, что он высказался в присутствии прочих гостей пикника, изменило характер их знаний. Это было сообщением каждому из них, что все **остальные** знают то, что известно им. И уже эту информацию они смогли использовать. Вот как это делается.

Представьте себе более простой вариант вышеприведенной истории, где лишь у одного из логиков лицо запачкано соусом. Когда шеф-повар объявляет, что как минимум у одного гостя лицо запачкано, логик осматривается, видит, что у всех остальных лица чистые, и делает умозаключение, что именно на его лице грязь. Когда колокольчик звонит, логик вытирает свое лицо. Просто. Теперь предположим, что лицо себе испачкали соусом двое человек. Когда шеф-повар делает свое заявление, первый логик видит, что у второго логика запачканное лицо, но понятия не имеет о состоянии своего собственного лица и поэтому ничего не делает. Второй перепачканный логик поступает точно так же. Однако после того как колокольчик прозвонил и никто не сдвинулся с места, первый логик предполагает, что, вероятно, его лицо тоже перепачкано, поскольку если бы первый логик был единственным, он бы уже знал, что лицо нужно вытереть салфеткой, что мы и наблюдали в сценарии с одним запачканным лицом. Тот факт, что он не сделал этого, говорит о том, что он должен был увидеть еще одно грязное лицо, и, поскольку все остальные лица, которые видны второму логик, являются чистыми, он делает вывод, что этим вторым перепачканным

лицом является его собственное. Когда колокольчик звонит во второй раз, он вытирает свое лицо. Поступает так же и второй логик, поскольку он сделал идентичные дедуктивные выводы. Та же логика применима и по третьему кругу, когда у нас в наличии имеются три перепачканных соусом едока: каждый приходит к нужному умозаключению из-за отсутствия активности после двух звонков, вкуче с двумя загрязненными лицами, что, вероятно, они тоже запачкали себе лицо. Эта логика применима к любому числу перепачканных соусом едоков, которые одновременно вытрут лица салфеткой после соответствующего количества звонков (десять запачканных едоков вытрут лицо после десятого звонка, одиннадцать — после одиннадцати и т. д.).

Хотя проще всего объяснять обоюдное знание, сказав, что А знает x и Б знает x , А знает, что Б знает x , и Б знает, что А знает x , и так до бесконечности, хотя ни одна голова не может удержать в сознании бесконечного множества пропозиций. И, не считая проблемы с соусом барбекю, обычно людям **не нужно** ломать себе голову над различными напластованиями пропозиций типа «А-знает-Б-знает». Как и в других случаях в лингвистике, если о человеке говорится, что он «знает» бесконечное число выражений (слов, предложений, пропозиций), знание, относящееся к обоюдному знанию, является **имплицитным**. Все, что человеку необходимо держать в голове, — это некая рекурсивная формула, то есть формула, в которой содержится пример ее же самой. То, что люди имеют общего в своем сознании, — это вот такое утверждение, которое мы можем назвать y : «Все знают x и все знают y »^[59]. В случае необходимости люди могут развернуть такое количество слоев пропозиций, какое им нужно для решения определенной проблемы, до тех пор, пока они в состоянии удержать их в памяти. Однако они в состоянии понять, что они **обладают** общим знанием, просто подмечая рекурсивный характер определенного участка информации в своем сознании. Еще более простым способом является то, что они могут догадаться об общности своих знаний, подмечая публичные обстоятельства, при которых они и другие люди приобрели его, как, например, от звонка в слышный всем колокольчик или от вскрика мальчика, который все услышали.

Обоюдное знание может объяснить множество случаев сохранения или потери «лица» (чувства собственного достоинства), поскольку оно (это чувство, это «лицо») ингерентно является феноменом обоюдного знания. Вы чувствуете в себе силы «продавливать» выгодную для вас позицию, когда с кем-то торгуетесь, поскольку вы знаете, что другие знают, что вы знаете, что другие знают, что вы уважаемы и обладаете достаточным количеством власти для того, чтобы мочь отстаивать свою позицию. Выражения неуважения наносят урон, когда они делаются публично, поскольку они могут на корню зарубить подобный цикл. Каждый взрослый человек знает, что другие люди, даже близкие дру-

зья, могут сплетничать о нем за его спиной. Вы даже можете случайно услышать нелестное для вас замечание о вашей персоне, сделанное кем-то по телефону, или случайно увидеть неприятную строчку о себе из электронного сообщения. Но до тех пор, пока никто не знает, что вы знаете об этом, данная колкость может не иметь особых последствий. Если же, напротив, неприятное замечание доходит до вас через третье лицо, или если вы слышите что-то, присоединяясь к группе людей, которая вдруг понимает, что вы все это время находились на таком расстоянии, что могли все слышать, или если нечто было случайно распространено и дошло до вас в виде электронного сообщения от человека, который не знает разницы между кнопками «Ответить» и «Ответить всем», обида будет более глубокой, а желание открыто выяснить, в чем дело, будет сильнее. Разница в том, что теперь все знают, что вы знаете, что они знают и так далее, что угрожает вашему чувству собственного достоинства, если вы примете случившееся, не попытавшись получить никакой компенсации.

Навык под названием «такт» состоит из предотвращения того, чтобы индивидуальные знания повышенного уровня «взрывоопасности» становились всеобщим знанием. Во время званого ужина каждый может знать, что один из гостей обладает избыточной массой тела или что другой заикается. Однако упоминание этого вслух, делая это знание общим достоянием, крайне бы всех смутило. Или возьмем более тонкий пример, с которым я столкнулся в реальной жизни и исследовал в качестве эксперимента. Студент пожаловался мне на свою оценку, поставленную ему моим ассистентом. Я прочитал работу и согласился с тем, что оценка была слишком занижена. Я сказал студенту, что поговорю со своим ассистентом относительно изменения данной оценки, и сообщил ассистенту, что у меня состоялся со студентом разговор относительно изменения его оценки. Однако я действовал весьма осторожно, стараясь не говорить ни с одним из них в присутствии другого или даже не прикреплять копии электронных писем, адресованных одному из них, другому, поскольку я понимал, что, поступив таким образом, я подорвал бы авторитет своего ассистента. Индивидуальные сообщения не дают знанию стать всеобщим. Ассистент может быть в курсе, что его решение было пересмотрено, может об этом же знать и студент. Однако студент не знает, что ассистент знает, что он в курсе; что бы ни знал студент, ассистент может думать, что я просто устал сопротивляться уговорам студента. Ассистент также не знает, что студент знает, что он знает; что бы ни знал ассистент, студент может воображать, будто я попросил ассистента подыграть мне ради увеличения популярности моего курса лекций. Единое для обоих сообщение сделало бы информацию обоюдным знанием, а обоюдное знание закрывает двери перед возможностями сохранить чувство собственного достоинства.

Хотя я и считаю, что обоюдное знание — это наиболее глубокая причина, по которой люди используют косвенную речь даже тогда, когда им ясен ее истинный смысл, другие пять объяснений не противоречат этому. Возможно, существует целый заговор причин, по которым прямое предложение наносит намного больший урон отношениям, нежели завуалированное. Прямое предложение не только не может быть проигнорировано, если оно стало обоюдным знанием, но оно есть единственная четко прочерченная граница, которая была бы с легкостью замечена любой виртуальной публикой. Это разбивает иллюзию взаимоотношений, портя то удовольствие, которое мы от них получали. Это еще в большей степени относится к отношениям, построенным на коммуналности, которые можно испортить только лишь самим фактом открытого обсуждения их условий. И, вероятно, говорящий, который задумывается о чувствах других, предпринимает необходимые шаги, дабы избежать этой опасности, и вместо этого намекает на свои намерения с помощью косвенной речи, получая дополнительные очки за поклон в сторону чувства собственного достоинства слушающей. По всем вышеперечисленным причинам у нас возникает чувство, что конкретное, прямое предложение «уже сделано» и что говорящий не может «вернуть» его.

Выбирая незнание: парадокс рационального неведения

Те игры, в которые играют люди при использовании ими языка, отнюдь не являются легкомысленными. Они происходят из-за того, что разговор — это самое что ни на есть социальное занятие. Люди действуют с помощью слов — они предлагают, они отдают приказы, они угрожают, они домогаются кого-то, — и то, что они делают, обязательно накладывает отпечаток на те отношения, которые у них сложились. Мы выбираем свои слова осторожно, поскольку им нужно одновременно выполнить два задания: передать наши намерения и поддержать или пересмотреть те узы, которые связывают нас с нашими приятелями.

Является ли избежание простой, прямой речи некой ошибкой дизайна нашего сознания или под этим лежит некая более глубокая логика — логика, которая могла бы предсказать, что **любой человек**, занятый передачей информации другим, будет использовать именно косвенную речь? На первый взгляд, отдельная логическая основа этого явления кажется маловероятной. Основная причина, по которой язык вообще нужен, — это передача информации, а поскольку знание — это сила, остается сделать вывод, что чем больше информации язык передает, тем лучше. Кто-то может наивно полагать, что всегда лучше обладать каким-то знанием, чем не обладать им по той же самой

причине, что всегда лучше быть богатым, нежели быть бедным: если ты богат, то ты всегда сможешь отдать свои деньги бедным и стать бедным. А если ты что-то знаешь, то ты всегда можешь решить игнорировать данное знание.

Разумеется, клише нашего времени — мнение о том, что мы страдаем от перенасыщения информацией по причине вездесущности электронных средств массовой информации. И в течение пятидесяти лет ученые-когнитивисты твердят об ограниченных возможностях человеческого мозга обрабатывать всю эту информацию. Некоторые утверждали, что грайсовские максимы сотрудничества являются способом управления потоком информации в разговоре, максимизируя уровень передачи полезных знаний^[60].

Однако основная причина, по которой наша речь является настолько косвенной, может заключаться в другой опасности, скрывающейся за информацией, — не той, что информации для нас может быть слишком много, а той, что наша жизнь может быть отравлена тем, что в ней содержится. Парадокс рационального неведения заключается в том, что, даже если мы и были бы в состоянии разместить такое количество информации, которое нам хотелось бы, и если бы мы всегда могли отличать пшеницу от плевел, существуют определенные послания, которые ни один рациональный мозг не желает получать^[61].

Иногда мы предпочитаем не знать некоторых вещей, поскольку мы способны предвидеть, что это окажет неконтролируемое воздействие на наши эмоции. В поддержку этого «Закона об обязательном неведении» психолог Герд Гигеренцер приводит несколько примеров. Люди, которые не видели фильма или не читали книги, будут избегать рецензии, в которой выдается концовка. Фанат баскетбола, который записал игру на пленку, будет всячески отгораживаться от источников СМИ, чтобы не узнать о результатах до того, как он посмотрит. Многие родители в ожидании малыша предпочитают не узнавать пол будущего ребенка, а в странах, где свирепствуют селективные аборты, в случае если ожидается девочка, разглашение подобной информации может считаться преступлением. Довольно значительное число семей, где ребенок не является биологическим потомком своего отца, были бы, вероятно, более счастливы, если бы ни один из них не делал тест ДНК. Дети родителей, страдающих болезнью Хантингтона, как правило, отказываются делать тест, который установил бы, передан ли им по наследству данный ген. И большинство из нас предпочитает оставаться в неведении относительно даты нашей собственной смерти.

Еще одна причина, по которой рациональная система может сознательно желать находиться в неведении, связана с тем, что если она нацелена на принятие непредвзятого решения, тогда даже самое незначительное количество посторонней информации может отклонить его в ту или иную сторону. Поэтому суду присяжных не дают узнать

о криминальном прошлом обвиняемого или не делятся с ними той информацией, которую полиции удалось достать нелегальным способом. Ученые тестируют лекарства двойным слепым методом, где они не дают себе знать, у кого оказался препарат, а у кого — плацебо. Школьные сочинения проверяются анонимно, так что не известна ни личность автора, ни личность проверяющего. А государственные контракты раздаются по заявкам, подаваемым в заклеенных конвертах^[62].

Но тот тип рационального неведения, который лучше всего объясняет то, почему мы частично скрываем свои слова, происходит от дилемм а-ля д-р Стрейнджлав, в которых наша собственная рациональность может быть повернута против нас и одностороннее разоружение от знаний является единственным противодействием (еще один набор парадоксов, впервые исследованный Шеллингом)^[63]. Людям лучше, если они не могут получить угрозу. По этой причине провинившиеся дети избегают взглядов своих родителей, государственный свидетель может содержаться взаперти без права переписки, а еще я знаю одного коллегу, который не лишился хорошего пальто, а возможно, и жизни, потому что он не понимал разбойников-вымогателей, угрожавших ему с сильным акцентом. Знание некоего секрета подвергает человека опасности вымогательства со стороны тех, кто желает его узнать, и насильственного устранения ради сохранения молчания со стороны тех, кто не желает, чтобы о нем узнали. По этой причине жертвам похищения лучше не видеть лица похитившего их человека, посланникам не сообщается никакой секретной информации из соображений их же безопасности, и все мы знакомы с клише из шпионских фильмов «Я бы сказал тебе, но потом мне пришлось бы тебя убить». В координационной игре человек, обладающий наименьшим количеством информации, находится в выгодном положении: если двое друзей договариваются о том, куда пойти ужинать, и один из них предлагает ресторан неподалеку от своего дома непосредственно перед тем, как его телефон разряжается, то именно этому человеку будет идти ближе всего.

Даже некоторые вопросы, будучи заданы человеку, могут поставить его в неловкое положение, поскольку один ответ может нанести урон, другой — быть ложью, а отказ отвечать может быть де-факто признанием, что первые два — это единственные возможности, которые у него есть. Свидетели, которые прибегают к Пятой поправке, дающей право не отвечать на вопросы с целью не навлечь обвинения на самого себя, нередко навлекают на себя подозрения в суде общественного мнения. Когда открывается престижная вакансия и начинается подбор кандидатур, кандидаты не могут признаваться в том, что хотят ее, поскольку если она достанется кому-то другому, то это будет умалением их достоинства, но они не могут и говорить о том, что не хотят занимать ее, поскольку это может сбросить их со счетов. Они даже не могут ответить: «Без комментариев», — поскольку зачем бы

они это делали, если бы их не интересовала данная позиция? В течение недавнего поиска кандидата на пост одного из деканов в Гарвардском университете местные газеты обнаружили, что до всех вероятных кандидатов странным (и невероятным) образом не могли дозвониться их ассистенты. И, разумеется, мы уже сталкивались с массой примеров, когда обоюдное знание могло преобразовывать негативную информацию в наносящую вред потерю лица. Многие авторы отказываются читать негативные рецензии на свои произведения, дабы честно заявлять, что им нечего на это ответить. Некоторые авторы не читают вообще **никаких** рецензий о себе, чтобы знакомые не делали самых неутешительных выводов относительно тех, которые они пропустили.

Знание, кроме того, является опасным, поскольку разумное сознание может пожелать использовать его рациональными способами, что позволит злонамеренным или беспечным ораторам силой обращать наши же собственные способности против нас. Это делает экспрессивную силу языка сомнительным подарком: он дает нам постичь то, о чем мы хотим узнать, но он также дает нам знать о том, чего мы знать не желаем. Язык — это не просто окно в человеческую природу, но и своего рода свищ: некая открытая рана, через которую наши внутренности открыты заразному миру. Нет ничего удивительного в нашем желании того, чтобы люди облекали свои слова в чехол вежливости, намеков и прочих форм речи с двойным дном.



Подобно слону, ощупываемому слепыми, человеческую природу можно исследовать множеством способов. Антропология может каталогизировать, что у людей из различных культур есть общего и чем они отличаются друг от друга. Биология способна дать нам подробное описание систем головного мозга или программы развития, заложенной в генах, или проблем адаптации, которые должны решаться человеком. Психология в состоянии заставить людей рассказать об их слабостях в лаборатории, она также может документировать то, насколько люди различаются в рамках нормы и как они выходят за эти рамки в область патологии. Литература исследует те темы, которые исконно занимают сознание людей в мифах и легендах во всем мире или в произведениях одного лишь Шекспира.

В данной книге я представляю на ваш суд взгляд со стороны языка — то, что мы можем узнать о человеческой природе из значения слов и конструкций, а также из того, как они используются. Эта, как и любая иная, точка зрения позволяет увидеть одни вопросы и оставляет в тени ряд других. Язык — это общественное и цифровое средство передачи информации, и посему оно обязано скрывать те аспекты нашего жизненного опыта, которые являются личными и образуют гомогенизированную смесь: наши ощущения, наши эмоции, наши подозрения и интуитивные ощущения, а также хореографию наших тел. Тем не менее мы являемся стадными животными, которые любят учить, распространять слухи и командовать друг другом, и весьма немногие аспекты нашей жизни остаются свободными от нашего взаимодействия с другими людьми. В качестве канала, по которому передается большинство подобной информации, язык адаптирован к лю-

бой особенности нашего опыта, которой можно поделиться с другим человеком, и значительная часть человеческого бытия находится в его компетенции.

Так как же охарактеризовал бы наш биологический вид пресловутый ученый-марсианин — в данном случае, марсианин-лингвист, — если бы ему были известны лишь семантика и прагматика нашего языка? В этой главе я дам вам взгляд на человеческую природу с высоты словесного полета, ту природу, которая складывается из всех тех феноменов, которые мы рассматривали в предыдущих главах. Хотя большинство примеров в этой книге взяты из английского языка, я старался придерживаться явлений, которые наилучшим образом говорят что-то о людях в целом, поскольку их можно найти в исторически никак не связанных между собой языках по всему миру. Сами феномены могут не быть в буквальном смысле универсальными, поскольку слова и конструкции в том или ином языке зависят не только от психологии говорящих, но и от истории его увлечений, его завоеваний и даже от его соседей. Не являются эти феномены и необходимым непосредственным отражением генетического рисунка нашего мозга; некоторые могли возникнуть из взаимодействия между нашим сознанием и телом в человеческих экосистемах в ходе истории человечества. Но даже с этими оговорками взгляд со стороны языка открывает нам биологический вид с определенными способами мыслить, чувствовать и общаться.

Люди выстраивают некое понимание окружающего мира, которое очень отличается от модели потока ощущений, поставляемых им самим миром. Они упаковывают свой опыт в объекты и события. Они строят из этих объектов и событий суждения (пропозиции), которые, с их точки зрения, характеризуют реальный мир и возможные миры. Эти характеристики носят весьма схематичный характер: в них выбран некий аспект той или иной ситуации и проигнорированы другие, что позволяет рассматривать одну и ту же ситуацию многочисленными способами. Тем самым люди могут не соглашаться друг с другом относительно того, чем является данная ситуация на самом деле, даже тогда, когда они согласны относительно того, как материя двигалась в пространстве.

Человеческие характеристики реальности строятся из узнаваемого инвентаря мыслей. Этот инвентарь начинается с нескольких базовых единиц, таких как события, состояния, предметы, вещества, места и цели. Он уточняет основные способы, которыми данные единицы могут что-то делать: действовать, идти, меняться, быть, иметь. Одно событие может рассматриваться как влияющее на другое, вызывая, обеспечивая или предотвращая его. Некое действие может быть предпринято с определенной целью, каковой, в частности, может быть конечная точка того или иного движения (например, когда мы грузим сено) или то состояние, которое станет результатом того или иного изменения (например, когда мы загружаем фургон). Объекты различаются по тому, человек

это или не человек, одушевленный объект или нет, цельный или состоящий из нескольких частей, а также по тому, как они располагаются относительно имеющихся трех измерений пространства. События считаются интересными определенными отрезком времени и следующими в определенной последовательности относительно друг друга.

У каждой из этих идей свое отличное от других строение. Люди различают отдельных индивидов, но они также сортируют их по категориям. Они выделяют стабильные категории, которые отражают сущность индивида, а не преходящие и поверхностные свойства, которыми он также может обладать. В их сознании есть внутренняя увеличительная линза, которая способна настроиться на максимальное приближение для того, чтобы понять, из какого вещества сделан тот или иной предмет (пластмасса) или, наоборот, отдалиться от нее, чтобы увидеть его границы (чашка). Вещество может рассматриваться как сплошная среда (типа яблочного соуса) или как агрегат, состоящий из многих частей (типа гальки).

Человеческие существа имеют примитивное понятие числа, которое различает только один, два и много, хотя они также могут приблизительно оценить и большие количества. Они используют этот грубый способ оценки количества не только для подсчета предметов (как в случае единственного, двойственного и множественного числа), но также и для локализации предметов в пространстве (как в случае **у, близко и далеко**), и для локализации событий во времени (как в случае настоящего, недавнего прошедшего и давно прошедшего).

Когда люди думают о том, где что-то находится, или о том, чем что-то является, или как нечто меняется или движется, они обычно думают об этом как о чем-то целом, как о комочке или точке, не имеющей внутренних составляющих. Считается, что предмет находится в некоем месте целиком, или что он весь движется, или несет покрывающую его целиком черту, или что предмет полностью меняется, переходя в иное состояние (как, например, фургон, груженный сеном, или сад, кишасший пчелами). Однако люди также способны расчленить предмет на составляющие его части и понять, как они связаны между собой (как, например, **дно фургона** или **край сада**). Когда объектом является человеческое тело, в игру вступает еще одно существо — человек как личность, который, как считается, **является** частями собственного тела, но также и **обладает** ими. То, что принадлежит человеку, — это не только части его тела и его имущество, но также идеи человека (которые один человек может посылать другому), а также его счастливая судьба.

Когда люди видят мир или представляют его себе в виде картинки в сознании, они располагают объекты и события в континуальной среде пространства. Но это не единственный присущий им способ понимания физического мира. В другой ментальной системе люди не измеряют пространство в тех ровных координатах, которые мы получаем с по-

мощью линеек, транспортиров или маркшейдерских уровней; вместо этого они налагают сеть координат на объект референции, выбираемый в качестве точки отсчета, и локализуют фигуру относительно этой сети, используя для этого качественные пространственные отношения, такие как **в**, **на** или **над**. Люди могут выстраивать свою систему отсчета относительно земли, своих тел или какого-то выделяющегося на фоне остальных объекта и могут мысленно менять эти системы отсчета, что позволяет им думать о местонахождении того или иного объекта различными способами. Эти системы отсчета различают верх и низ, переднюю и заднюю стороны, но они ненадежны, когда речь идет об отличии правого от левого. Люди охотно замечают топологические связи между фигурой и объектом референции, как, например, касается ли она его, прикреплена ли к нему, находится ли она внутри него, находится на или над объектом референции, а также то, далеко она от него находится или близко. Мысленная увеличительная линза позволяет пространственным понятиям применяться в любом масштабе, от субатомного до межгалактического.

Мозг человека сливает объекты воедино в этикие схематичные модели, состоящие из некоей материи, которые простираются на определенное количество измерений (ноль, одно, два или три). Материя, выстроенная по одному или более из этих измерений, может быть отрезана с помощью границы, может простираться до бесконечности или быть покрытой частью смежной с ней материи, которая к ней прикрепилась (как ленточки, лучи или пластины). Эта геометрия может применяться и по отношению к границе, отделяющей основной кусок материи от пространства, которое ее окружает (как в случае концов, корок или краев), или к той пустоте, которая образуется, когда часть материи отделяют от основной массы. Контуры, углы и длины, образующие некую форму, уходят на задний план, когда человек думает пространственно (поэтому *across* (*через*) может применяться по отношению к ладони и по отношению к какой-либо стране), хотя они снова могут стать частью мыслительного процесса, в случае когда люди подбирают категорию для объекта, закрепляя за ним некое существительное. Пространственное мышление отвечает требованиям, возникающим при манипуляции предметами, поэтому оно определяется не только одной лишь геометрией, но также и интуитивной физикой примеривания, поддерживания, вместительности, накрывания и других путей обращения людей с предметами.

Хотя непрерывное течение времени — это та, среда, в которой существует наше сознание, в разделе мышления, относящегося к языку, время рассматривается иначе. В этом разделе ко времени относятся как к части пространства, и люди думают о событиях, как о материале, располагающемся по всей протяженности этого пространства. О времени думают как о дороге, по которой все мы идем, или как о параде,

который проходит мимо нас. Его измеряют не с помощью секундомера или календаря, но разделяют на отдельные части. У людей принято разделять время на три части — психологическое настоящее (момент сознания протяженностью приблизительно в три секунды), неопределенное прошлое (иногда разделяемое на недавнее и далекое) и неопределенное будущее (иногда разделяемое на ближайшее и отдаленное). Прошлое и будущее часто являются не чистыми временными понятиями, а понятиями, имеющими отношение к миру метафизического: прошедшее соединено с настоящим, непрошедшее, — с гипотетическим, а будущее — с желаемым. События, наполняющие умственный временной вектор, представляются некими выступлениями вещества времени: как и объекты, они могут быть точечными или протяженными, могут иметь четкие границы или размытые, могут состоять из одного случая или из целого ряда повторов. Умственная увеличительная линза может приближать событие, чтобы понять его характер словно под микроскопом (**переходит улицу**), или, наоборот, удаляться от события, чтобы оценить его в целом (**перешел улицу**). И, подобно умственному сантиметру, умственный секундомер настраивается согласно нуждам человека. Он работает по-разному, когда действие считается происходящим добровольно, и когда оно считается просто случайным, он начинает работу, когда деятели начинают прилагать усилия, и прекращает работу по достижении ими желаемых целей.

Люди считают одни события происходящими сами по себе, а другие — вызванными кем-то (чем-то). Каузальность определяется не просто с помощью соотнесения предметов во времени или размышления о том, что могло бы произойти, если бы все было по-другому, но из-за ощущения некой движущей силы, которая передается от какого-то облеченного силой деятеля с тенденцией к движению более слабому существу, которое само по себе своего положения не поменяло бы. Вариации на тему подобной мысленной картинки, изображающей толчок и сопротивление, дают начало интуитивным представлениям о том, что такое помочь, помешать, предотвратить или позволить.

Первое звено в цепочке причин обычно представляется как некое действие, произведенное тем или иным агентом, как правило, человеком. Люди разграничивают действия по тому, каким способом они были выполнены, какие изменения они приносят, или по тому и другому вместе. Людей очень волнует то, вызвана ли перемена намеренно или случайно, непосредственно или благодаря чьему-то вмешательству, и была она средством или целью. У них существуют определенные моральные оценки, связанные с этими различиями, люди считают агентов виноватыми в событиях, которые те вызвали добровольно, намеренно и непосредственно.

Человек — не остров. Люди наполняют свое сознание умственными артефактами, такими как имена и прочие слова, являющиеся

продуктом мозговой деятельности других людей. Некоторые из таких продуктов повсеместно встречаются в определенном обществе в определенное время и вместе создают то, что мы именуем культурой, частью которой является язык. Хотя артефакт мышления, такой как, например, слово, может быть вездесущим среди людей того или иного общества, сперва он должен был возникнуть в сознании некоего изобретателя, отпустившего хлеб свой по водам, и судьба придуманного им слова зависит как от привлекательности его новинки для других, так и от соединяющих этих людей сетей взаимовлияния. Каждый человек является как производителем, так и потребителем подобных артефактов, в особенности тогда, когда ему приходится выбирать имя своему ребенку, и люди имеют амбивалентное представление о своей роли в данной сети влияния, раздираемые желанием, с одной стороны, вписаться, но, с другой стороны, отличаться от всех остальных.

Люди не просто раздумывают о своих идеях, они наполняют их чувствами. Они испытывают благоговейный страх перед божествами, их частями и их имуществом, а также подконтрольными им сферами. Их ужасают болезни, смерть и слабость. Им внушают отвращение продукты выделения. Люди живо интересуются сексуальностью во всех ее проявлениях. Они ненавидят врагов, предателей, а также народы, находящиеся в зависимом положении. Какими бы ни были неприятными мысли о подобных вещах, люди с легкостью заставляют друга друга вспоминать о них, иногда для того, чтобы напугать или унижить кого-то, иногда для того, чтобы на них обратили внимание, а иногда просто для того, чтобы продемонстрировать, что сами добровольно могут выносить подобные мысли. По мере того как идет их повседневная жизнь, люди эмоционально реагируют на ее взлеты и падения, иногда вслух оповещая об этих реакциях других людей.

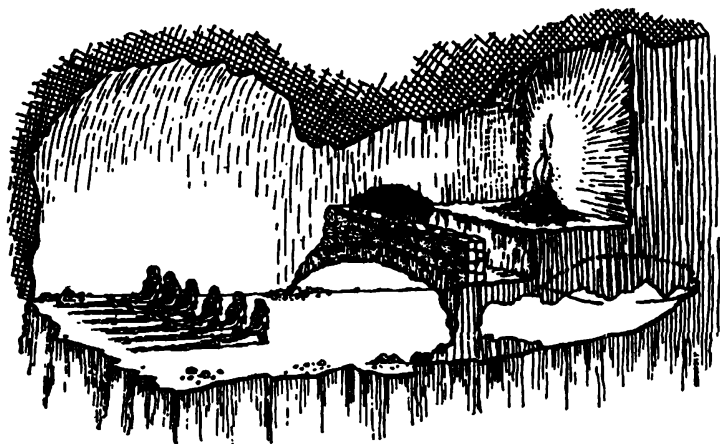
Люди трепетно относятся к своим взаимоотношениям. Они поддерживают определенное «лицо» (чувство собственного достоинства), которое дает им силы требовать определенных условий в договорах и в конфликтных ситуациях. Они переживают по поводу своего социального статуса, а также относительно своей солидарности и эмпатии по отношению к другим. С некоторыми из своих близких — как правило, с родственниками, любимыми и друзьями — люди делятся своими ресурсами, свободно делают различные одолжения и чувствуют узы эмпатии и близости, границы которых размыты по причине интуитивного ощущения того, что они с этими людьми «одной крови». С другими людьми они соревнуются за господство, хвастаются перед ними своим статусом, давая им право на демонстрацию собственной власти или влияния. С третьим типом людей они обмениваются товарами и услугами по принципу «баш на баш» или же разделяют вещи и обязанности на равные части.

Люди наполняют свои отношения определенной моральной окраской. Они чувствуют неловкость, если случайным действием нарушают логику определенного типа взаимоотношений, и испытывают презрение по отношению к тем, кто делает это намеренно. Человеческие отношения скрепляются обоюдным знанием, при котором люди знают то, что другие знают, что они в курсе того, что отношения между ними носят определенный характер. Это делает человеческий род особенно чувствительным к публичным признаниям действий, которые нарушают уже существующую основу тех или иных сложившихся ранее отношений, таким как, например, угроза, предложение, просьба или оскорбление. Тем не менее люди нередко совершают подобные нарушения — иногда для того, чтобы жизнь могла продолжаться дальше, а иногда для пересмотра определенных отношений. В результате им приходится прибегать к лицемерию и табу, существующим для сохранения обоюдного знания, которое поддерживает определенные отношения, даже когда между ними ведутся дела, несовместимые с этими отношениями.

Список черт, присущих человеческой природе, непременно вызовет несогласие у оптимистичных натур, поскольку он как бы накладывает определенные ограничения на то, как мы можем думать, чувствовать и общаться. «Неужели это все, что есть? — так и хочется спросить. — Неужели мы обречены на выбор мыслей, которые мы мыслим, тех чувств, которые мы чувствуем, а также возможных ходов в этой игре жизни, исходя из такого короткого списка предлагаемых вариантов?»

Этот страх восходит к знаменитой аллегории Платона об узниках, находящихся в пещере. Пленники ютятся в гроте, их головы и тела привязаны таким образом, что они могут видеть только заднюю стену пещеры. Она похожа на кинотеатр из мультсериала «Флинтстоуны»¹⁾ (*The Flintstones*) — с костром, разведенным позади балкона, где артисты передвигают кукол и вырезанные силуэты предметов, которые отбрасывают тени на стену. Этот «фильм» — все, что пленники знают о внешнем мире. То, что они считают объектами, является лишь чем-то на них похожим, а если им когда-нибудь удалось бы выбраться из пещеры, вид этих предметов при свете дня ослепил бы их привыкшие к темноте глаза. В одной из интерпретаций данной аллегории пещера является нашим мозгом, а наше знакомство с окружающим миром состоит лишь из похожих на тени представлений, которыми снабжает нас наше собственное сознание^[1].

¹⁾ «Флинтстоуны» — популярный американский комедийный мультсериал, в котором современные люди — Фред Флинтстоун со своей семьей и друзьями — показаны живущими в каменном веке. — *Прим. перев.*



В этой книге я попытался изложить основные типы мыслей, чувств и социальных отношений, из которых складывается смысл и практическое использование языка. Являются ли они теми тенями на стене пещеры, в которой постоянно заключены наши индивидуальные сознания? Многие вопросы, обсуждаемые в данной книге говорят об этой опасности, поскольку из них явствует, что устройство концептуальной семантики делает нас навеки уязвимыми для ложных аргументов и для коррупции в наших с вами учреждениях.

Одним явным ограничением нашего разума является то, что наша с вами способность рассматривать одно и то же событие по-разному делает нас склонными к изменению курса действия в зависимости от того, как это действие описывается (как, например, «обеспечение прибыли» по сравнению с «предотвращением потерь».) Другое состоит в том, что сами наши понятия, хотя они и полезны в качестве повседневного инструментария совместной деятельности, с трудом согласуются с новыми концептуальными мирами, созданными для нас наукой и обществом. Людям свойственно думать о чем-то в его целостности, от чего они путают статистические различия между группами с абсолютным превосходством одной из них над другой. Они считают свое имущество рядом неких физических удобств, которые могут находиться только в одном определенном месте в определенное время, отчего они не приспособлены к регулированию нового рынка цифровых СМИ. Люди считают, что движением управляет некая сила, которая передается от антагониста к агонисту, что приводит к неверному пониманию человеком элементарной физики (к мысли, например, что летящий шар движется благодаря некой силе, которая его толкает). Их понимание процесса эволюции является столь же обрывочным; даже те, кто утверждает, что согласен с теорией Дарвина, считают, что организмы изменяют свои внутренние свойства в соответствии с той или иной потребностью

(как если бы они действовали, преследуя некую цель), а также что все члены одной популяции развиваются, шагая нога в ногу (как если бы у вида была некая сущность, изменяющаяся полностью)^[2]. Они считают, что люди-деятели являются причинами, не имеющими причин, и вызывают следствия мгновенно, подобно шарам в бильярде, в результате, более правильное понимание причин внутри мозга и более подробный анализ круговой каузальной структуры нашего мира может сбить судей и присяжных с толку.

Как и естественные понятия мира физического, естественные понятия социального мира могут вводить в заблуждение те сознания, которые их содержат. Наши инстинктивные правила того, как нам вести себя с ближними (коммунальность, господство и взаимность), возможно, оказывали нам добрую службу в повседневном деревенском общении, но они могут подводить нас на официальных аренах современного мира. Непотизм и распределение должностей по знакомству являются извечной опасностью для организаций. Самонадеянные претензии на власть являются постоянной угрозой демократии. А ожидание взаимности по принципу «баш на баш» портит наше понимание роли посредника в сложных экономиках. Экономист Томас Соуэлл установил, что посредников — продавцов и ростовщиков — всегда презирали потому, что они не являлись причиной создания чего-либо и не вели к обмену равных величин, но получали выгоду просто от того, что через их руки проходили товары или деньги. Когда этнические меньшинства специализируются в сфере посредничества, их считают расой кровопийц и они становятся мишенью преследования и геноцида, несмотря на ту незаменимую роль, которую они играют в местной экономике^[3]. В своей работе «Весь мир в огне» (*World on Fire*) ученый-юрист Эми Чуа утверждает, что экспортирование демократии, основанной на свободном рынке, может способствовать ненависти и глобальной нестабильности, поскольку свободный рынок открывает ниши для посредничества, в каком-то преуспевают именно определенные меньшинства, что приводит к возмущению несведущего большинства^[4].

Нас также можно отвлечь от ярко освещенного мира реальности с помощью тех эмоций, которые наполняют наш язык. Автоматический удар эмоционально окрашенных слов может заставить нас подумать, что слова обладают магической силой, а не просто являются произвольными договоренностями. А те табу на мысли и разговоры, с помощью которых мы скрываем наши межличностные отношения, дабы, став всеобщим достоянием, они не утратили своего очарования, способны сделать нас беспомощными в случае, когда нам нужно решать проблемы современного общества, достигшие невиданных ранее масштабов. Научные изыскания, бросающие вызов авторитетам или угрожающие общественному согласию, от астрономии Коперника до эволюционной биологии, всегда замалчивались, как если бы они являлись ложными

общественными шагами, или же их порицали, словно они были личным предательством^[5]. Что же касается проблем, остро нуждающихся в технических исправлениях, таких как, например, система государственного социального страхования США, то они так и остаются неким третьим рельсом, способным своим током убить на месте любого политика, который бы решился за них взяться. Оппозиционеры могут трактовать любое решение как «денежную оценку благосостояния наших пожилых граждан» (или наших детей, или наших ветеранов), активируя тем самым те ментальные табу, которые уместны в нашем общении с семьей и друзьями, но не при проведении в жизнь закона, касающегося нации, состоящей из трехсот миллионов граждан^[6].

Хотя язык демонстрирует нам стены нашей пещеры, он также показывает нам и то, как из нее выбраться, хотя бы частично. Людям же все-таки удастся увидеть небольшие озаренные солнцем клочки реального мира. Даже при всех наших слабостях нам удалось достичь свободы, которую дает либеральная демократия, богатства, которое стало результатом экономики технологий, а также истин, которые были постигнуты с помощью современной науки. Хотя я сомневаюсь, что мы когда-либо достигнем когнитивной утопии, в которой любая проблема, придуманная нами, решалась бы, человеческий мозг на самом деле обладает возможностями выходить за рамки повторов одного и того же кинофильма, который крутят на стене нашей пещеры. Язык действительно предлагает нам окно, сквозь которое наилучшим способом освещается то, как мы можем преодолевать наши когнитивные и эмоциональные границы.

Первый способ выбраться — это концептуальная метафора. Люди берут свои понятия о пространстве, времени, каузальности и веществе и, отсекая тяжеловесный физический смысл, которым те наполнены, применяют оставшийся каркас к более эфемерным материям. Люди заимствуют имеющееся у них понятие объекта, находящегося в той или иной точке, и применяют его для обозначения сущности в определенных обстоятельствах (*going from Detroit to Chicago 'ехать из Детройта в Чикаго'* — *going from bad to worse 'становиться все хуже и хуже'*, букв. *'идти от плохого к худшему'*). Они привлекают понятие антагониста, применяющего силу, и используют это же понятие для других типов каузации, таких как, например, социальное давление или внутренний конфликт (*force the drawer to close 'с силой закрыть выдвижной ящик'*, букв. *'силой сделать так, чтобы выдвижной ящик закрылся'* и *force Anne to leave 'заставить Энн уйти'*, букв. *'силой сделать так, чтобы Энн ушла'*). Все вместе данные абстракции обеспечивают нас средствами, помогающими людям выразить некую переменную с определенным значением и определенную причину с ее следствием — что является

достаточным концептуальным оборудованием для оформления основных законов науки. В арсенале людей существуют также и более сложные по составу метафоры, которые они используют для более сложных наборов мыслей: путешествия — для любовных отношений, войны — для споров, узы — для политических объединений. Такие метафоры являются не просто художественными тропами, они способны отражать глубинные эквивалентности каузальных структур, и люди используют их не просто для разговора, а для логических суждений о чем-либо.

Второй способ выбраться из пещеры — это комбинаторная сила языка, «бесконечное использование конечных средств», благодаря которому из слов составляются фразы и предложения, чей смысл можно вычислить из значений слов и из того, каким образом они расставлены. Комбинаторный аппарат грамматики зеркально отражает комбинаторный аппарат мышления, где каждая фраза выражает определенную сложную идею. Поскольку в своих предыдущих работах я всячески восхищался бесконечной композиционностью языка, я не стал подробно останавливаться на этом в предыдущих главах данной книги. Но сейчас настало время вспомнить, что комбинаторная природа языка и мышления позволяет нам обдумывать мириады идей, несмотря на то что мы обеспечены лишь ограниченным набором понятий и отношений. Точно так же, как любой посетитель кофейни «Старбакс» может заказать свой кофе практически в сотне тысяч вариантов (если мы перемножим предлагаемые размеры чашек, типы обжарки зерен, степень кофеинированности напитка, добавку сиропов или их отсутствие, типы приготовления и разновидности используемого при приготовлении молока)¹⁾, обладатель человеческого мозга может «приготовить» поразительное разнообразие мыслей с помощью умножения друг на друга способов, какими можно комбинировать объекты, события, причины и цели.

Лингвисты придумали множество способов демонстрации этой самой плодovitости языка и тех мыслей, которые он выражает. Моим новым пристрастием является небольшое собрание веб-сайтов, на которых люди публикуют разные курьезные вещи, случайно услышанные ими в офисе, в метро или в других жизненных обстоятельствах. Эти отрывки настоящих разговоров между реальными людьми (никто не смог бы придумать такого нарочно!) являются лучшей рекламой комбинаторного изобилия человеческого мышления, с его вечной способностью поражать нас никогда доселе никем не «подуманными» мыслями^[7]:

Проводник (в поезде): Пассажиры, пожалуйста, не используйте свое ценное имущество или своих детей с целью предотвращения закрытия дверей.

¹⁾ *Starbucks* — самая популярная сеть кофеен в США, ставшая в свое время пионером рынка «кофе для гурманов», где для приготовления какао и кофейных напитков с использованием молока предлагается выбрать из четырех видов молока — коровьего (обезжиренного, двухпроцентной жирности, цельного) и соевого. — *Прим. перее.*

Девушка № 1: Как однажды сказал Шекспир, не убий.

Девушка № 2: Не, это (сказал) Бог.

Коллега в офисе: Я думаю, что отныне я буду говорить о себе в третьем лице и буду называть себя «Злой китайский моллюск». Злой китайский моллюск крайне недоволен вашими действиями.

Человек, разговаривающий по мобильному телефону: Я пытался дозвониться до тебя вчера, но тебя не было дома. Ты где был? Что? Колоноскопия? Он по крайней мере купил тебе цветы и шептал тебе на ухо всякие неприличности? Да, извини, это было нехорошо с моей стороны. Я прекращу этот словесный понос сейчас же. Ой, ха-ха, я только что случайно скаламбурил. Нет... Нет, прости. Алло? Алло?

Когда эти две способности — метафору и композиционность — объединяют, язык мысли можно использовать для производства и выражения неиссякаемого потока идей. Люди могут открывать для себя новые метафоры по ходу своих попыток что-то понять, а затем они могут комбинировать их, создавая еще более новые и более изысканные метафоры и аналогии.

Разумеется, эти способности также могут питать и неиссякаемый источник **плохих** идей. Однако другие умственные таланты позволяют нам отличать хорошее от дурного. Люди не прикованы к какой-то одной метафоре, когда размышляют о чем-то: они могут менять одну метафору на другую, просеивая их в поисках наилучшего соответствия отношений между понятиями внутри самой метафоры и отношениями, существующими между вещами, которые они пытаются постичь. Такой отсев может быть вызван глубоко интуитивным чувством. Люди ощущают, что их слова говорят **про** то, что есть в мире, и что они не являются просто определениями, заключенными в круг понятий, отсылающих к себе самим (как мы видим на примере интуитивных соображений на тему семантики имен). Сходным образом, люди могут думать о позициях как об **объективно** истинных или ложных, а не как просто о вещах, которые они **считают** истинными или ложными, что мы видим на примере наших интуитивных ощущений относительно семантики фактивных глаголов, таких как learn 'изучать' или know 'знать'. Наше внутреннее ощущение, что идеи могут указывать на реальные вещи нашего мира, но могут и бить мимо них, и что наши представления о мире могут быть как верными, так и просто принимаемыми на веру, может заставлять людей проверять верность своих аналогий каузальной структуре мира и после этого отбрасывать все нерелевантные свойства, сосредотачиваясь лишь на том, что разъясняет ситуацию.

Не стоит и говорить, что эта комбинация способностей не наделяет никого из нас аппаратом, выдающим исключительно истины. Не только отдельное сознание ограничено в своем жизненном опыте и в своей изобретательности, но даже целая община сознаний не будет объединять и просеивать свои изобретения, не считая тех случаев,

когда подобные общественные отношения оплачиваются обществом с указанной целью. Разногласия в повседневной жизни могут угрожать нашему «лицу» (чувству собственного достоинства), поэтому вежливое общение сконцентрировано на темах, по поводу которых большинство разумных людей будет друг с другом соглашаться, как, например, погода, бюрократическая глупость, а также плохое качество еды, предлагаемое в самолетах и университетских общежитиях. Общины, которые должны давать оценку знаниям, как то наука, бизнес, правительство и журналистика, должны находить окольные пути в обход этого удушающего стремления к вежливому консенсусу. Вам не удастся на научной конференции, когда студент отмечает ошибку в эксперименте докладчика, заткнуть ему рот, на том основании, что докладчик старше и заслуживает уважения, или потому, что он очень старался, работая над своим экспериментом, и критика обидит его в лучших чувствах. Однако подобные реакции были бы совершенно закономерными в повседневном общении, основанном на авторитете или коммуальности.

В сфере общественных взаимоотношений ничуть не менее, чем в области чистых идей, нам приходится высвобождать ментальные модели от областей, для которых они были предназначены, и применять их уже метафорически и в новых сочетаниях для решения того или иного настоящего вопроса. Мы знаем, что у нас есть для этого все необходимые инструменты, поскольку культуры различаются тем, какие типы отношений они приписывают товарам и общинам. В науке и других культурах, движимых знанием, сознание, основанное на чувстве коммуальности, должно применяться к товару под названием «хорошие идеи», к которым в нем относятся как к ресурсам, нуждающимся в равномерном распределении. Это отличается от более естественного подхода, при котором идеи считаются чертами, хорошо отражающимися в человеке, или внутренними желаниями, которые остальные товарищи должны уважать, если хотят сохранить с ним свои близкие отношения. Оценка идей также должна быть отделена от наших интуитивных чувств по поводу авторитета: декан факультета вправе требовать более просторного офиса или более высокой зарплаты, но он не может требовать того, чтобы его коллеги слепо следовали его теориям. Эти радикально новые правила взаимоотношений являются основой открытой полемики и экспертной оценки в науке, а также основой систем сдержек и противовесов, а также систем отчетности в других официальных учреждениях.

Когда все кусочки головоломки встают на свои места, люди могут на ощупь протискиваться к выходу из пещеры. В стадии начального образования детей можно научить, как расширить границы их понимания чисел от «один, два, много» с помощью нахождения аналогии между увеличением в размере и порядком слов, обозначающих числа, используемые при последовательном счете^[8]. Позже, в среднем и высшем образовании, людей можно разубедить в их ложных представле-

ниях о статистике или эволюции, призвав их мыслить о популяции как о собрании отдельных особей, а не как о едином целом^[9]. Или их можно отучить от неверной привычки рассматривать экономику с «народной» позиции, приведя их к мысли, что деньги — это что-то, ценность чего может меняться по мере того, как ими обмениваются на протяжении времени, а проценты — это плата за их скорейшее получение. В науке и технике люди могут придумывать различные аналогии для того, чтобы понять изучаемый предмет (кисть для рисования — это насос, тепло — это жидкость, наследственность — это код), а также для того, чтобы сообщать о нем остальным (половой отбор — это комната, оснащенная как обогревательной, так и охлаждающей системами). Будучи внимательно проинтерпретированными, эти аналогии становятся не просто привлекательными трактовками, но и настоящими теориями, которые выдают предсказания, проверяемые с помощью тестов, и которые также могут подталкивать к новым открытиям. В сфере управления различными общественными институтами открытость и ответственность могут быть усилены с помощью напоминания людям о том, что те их интуитивные ощущения истинности, на которые они полагаются в своей частной жизни, — их защита от обмана, дезинформации или заблуждений, — также могут применяться и на более широкой социальной арене. Подобные напоминания способны бороться с нашими природными склонностями к табу, вежливому консенсусу и подчинению авторитетам.

Разумеется, все это дается нам отнюдь не легко. Без посторонней помощи мы склонны скатываться к нашим привычным инстинктивным понятийным схемам. Это подчеркивает то место, которое занимает в жизни научно подкованного демократического общества образование, и даже подсказывает нам его основную цель (на удивление неуловимый принцип сегодняшнего высшего образования). Цель образования — компенсировать недостатки наших инстинктивных способов мыслить о физическом и социальном мире. Скорее всего, образованию это удастся не с помощью внедрения абстрактных утверждений в пустые головы, но с помощью использования уже знакомых нам ментальных моделей и применения их к новым предметам с помощью избранных аналогий, создавая из них новые, более сложные комбинации.

Взгляд со стороны языка показывает нам ту пещеру, в которой мы живем, но также и лучший способ из нее выбраться. Используя метафору и комбинаторику, мы можем выдвигать новые идеи и новые способы ведения наших дел. Мы можем это делать несмотря на то, что в нашем сознании постоянно мелькают агонисты и антагонисты, точки, линии и пластины, деятельности и свершения, боги, секс и выделения, а также симпатия, почтение и справедливость — все то, из чего и состоит субстанция мышления.

Примечания

Глава 1

- [1] Термин «концептуальная семантика» был создан лингвистом Рэем Джекендоффом, см Jackendoff, 1983, Jackendoff, 1990, Levin & Pinker, 1992, Pinker, 1989
- [2] Lakoff, 2004, Lakoff, 2006, Nunberg, 2006
См *Pinker S Block That Metaphor // New Republic* October 9, 2006
- [3] Jackendoff, 1990
- [4] Pullum, 2003b
- [5] Возможно, является апокрифом или парафразой высказывания, принадлежащего Джошу Биллингсу, см *McDonald Kim A Many of Mark Twain's Famed Humorous Sayings Are Found to Have Been Misattributed to Him // Chronicle of Higher Education* September 4, 1991 A8
- [6] Крпке, 1972/1980
- [7] Wierzbicka, 1987
- [8] *Dowd M Mel's Tequila Sunrise* // New York Times* August 2, 2006
- [9] Popular Baby Names // Social Security Administration Web site ssa.gov/cgi-bin/populnamnames.cgi
- [10] Личное сообщение Июль 26, 2005
- [11] Lieberson, 2000
- [12] www.templetons.com/brad/spamterm.html
- [13] Metcalf, 2002
- [14] Личное сообщение Харви Силверглейта Июнь 5, 2006
- [15] Kennedy, 2002
- [16] www.snopes.com/travel/airline/obnox.htm
- [17] Gnce, 1975

Глава 2

- [1] *Lewis C S The Chronicles of Narnia, L'Engle M A Wrinkle in Time, Pullman Ph The Subtle Knife, Dr Seuss Horton Hears a Who!*
- [2] Частично материал этой главы заимствован из Pinker, 1989
- [3] Pinker, 1997b (chap 1)
- [4] Pinker, 1994b
- [5] Pinker, 1984/1996, Pinker, 1994b (chap 9)
- [6] Из записей речи своей дочери писателя Ллойда Л Брауна
- [7] Pinker, 1979
- [8] Goodman, 1983, Quine, 1969
- [9] Chomsky, 1972a
- [10] Gold, 1967, Nowak & Komarova, 2001, Pinker, 1979
- [11] Примеры различных подходов см в кн Bertolo, 2001, Goldberg, 2005,
- Pinker, 1984/1996, Tomasello, 2003, Yang, 2003
- [12] Обзоры глагольных конструкций и лексической семантики см в кн Borer, 2005a, Borer, 2005b, Croft (in press), Goldberg, 1995, Jackendoff, 1990, Levin, 1993, Levin & Pinker, 1992, Levin & Rappaport Hovav, 2005, Miller, 1991, Pinker, 1989, Pustejovsky, 1995, Van Valin, 2005, Wierzbicka, 1988b
- [13] Шутку приписывают американскому послу Джозефу Ходжесу Чоату (1832–1917), который ответил так на приеме в посольстве гостю, принявшему его за швейцара, см www.bartroporik.com/article/570/call-me-a-taxi-youre-a-taxi
- [14] Продолжение истории было таким «Тогда ко мне подошли трое белых парней и сказали „Мы тебя честно предупреждаем все, что ты сделаешь с этим цыпленком, мы сделаем с тобой“ Поэтому я положил нож и вилку, взял цыпленка и поцеловал его»

* В названии статьи обыгрывается название коктейль на основе текилы (Tequila Sunrise — букв 'восход солнца с текилой') и одноименного фильма с участием Мела Гибсона — *Прим перев*

- [15] Chomsky, 1972, Fillmore, 1968
- [16] См Schutze, 1996
- [17] Berent, Pinker & Ghavamí (in press), Berent, Pinker & Shimron, 1999, Berent, Pinker & Shimron, 2002, Gropen et al., 1991b, Gropen et al., 1989, Kim et al., 1994, Kim et al., 1991, Marcus et al., 1995, Pinker & Birdsong, 1979, Prasada & Pinker, 1993, Senghas, Kim & Pinker, 2004, Ullman, 1999
См также о дативных конструкциях Bresnan, 2005, о каузативных конструкциях Wolff, 2003
- [18] Gropen et al., 1991b
- [19] Ibid
- [20] Напр Baker, 1979, Fodor & Crain, 1987
- [21] Эти конструкции представляют собой незначительно отличающиеся варианты контейнер-локативных конструкций См Pinker, 1989 (p 124–130)
- [22] Bowerman, 1982b
- [23] Gropen et al., 1991b, Pinker, 1989
- [24] Berco, 1958
- [25] Gropen et al., 1991a
- [26] Bowerman, 1988, Brown & Hanlon, 1970, Marcus, 1993, Morgan, Bonamo & Travis, 1995, Morgan & Travis, 1989
- [27] Francis & Kucera, 1982
- [28] Был назван «парадоксом Бэйкера» в книге Pinker, 1989, на основании статьи лингвиста Бэйкера (Baker, 1979) Сам Бэйкер ссылался на психолингвиста Мартина Брэйна (Braine, 1971)
- [29] Lederer, 1990
- [30] Pinker, 1999
- [31] Marcus et al., 1992, Ullman, 1999
- [32] Baker, 1979, Gold, 1967, Osherson, Stob & Weinstein, 1985, Pinker, 1979, Valiant, 1994
- [33] Whorf, 1956
- [34] Levin, 1985 См также Levin, 1993, Rappaport & Levin, 1985, Rappaport & Levin, 1988
- [35] Chomsky, 1965, Chomsky, 1981
- [36] Anderson, 1971
- [37] Jackendoff, 1978, Jackendoff, 1983, Jackendoff, 1987, Jackendoff, 1990 Впервые внимание на это обратил лингвист Джеффри Грубер (Gruber, 1965)
- [38] Lakoff & Johnson, 1980
- [39] Pinker, 1990
- [40] Talmy, 1983 См также Jackendoff, 1990, Jackendoff, 1991, Landau & Jackendoff, 1993
- [41] Gropen et al., 1991a
- [42] Levin, 1993, Pinker, 1989
- [43] Gropen et al., 1991b, Pinker, 1989
- [44] Bowerman, 1988, Gropen et al., 1989, Mazurkewich & White, 1984
- [45] Gropen et al., 1989
- [46] Green, 1974, Oehler, 1976
- [47] Предоставлено лингвистом Джоан Бреснан
- [48] Green, 1974, Oehler, 1976
- [49] Контрпримеры обсуждаются в работах Bresnan & Nikitina, 2003, Pinker, 1989 (p 82–84, 154–160)
- [50] Тонкости обсуждаются в работах Rappaport & Levin, 2007, Pinker, 1989 (p 82–84)
- [51] Из песни *Show me* (мюзикл «Моя прекрасная леди»)
- [52] Reddy, 1993
- [53] Bresnan, 2005, Gropen et al., 1989, Pinker, 1989
- [54] Compe, 1976, Dowty, 1979–1991, Sasse, 2002, Tenny, 1992, Vendler, 1957
- [55] Bresnan, 2005, Gropen et al., 1989, Pinker, 1989
- [56] Из песни Джони Митчелла *Big Yellow Taxi*
- [57] Название песни Артура Хамилтона, которую исполняли Элла Фицджеральд, Джо Кокер и другие
- [58] Из песни Боба Дилана *Highway 61 Revisited*
- [59] Название песни Ральфа Блэйна и Хью Мартина, которую пела Джуди Гарланд в музыкальном фильме *Meet Me in St Louis*
- [60] Из песни Пола Саймона *Late in the Evening*
- [61] Из песни Билла Фрайса и Чипа Дэвиса *Convoy*
- [62] Jespersen, 1938/1982, Randall, 1989
- [63] Green, 1974
- [64] Levin, 1993
- [65] Bowerman, 1982a, Pinker, 1989
- [66] Неопубликованные материалы проведенного совместно с Джесс Гроупен и Томасом Роупером эксперимента, описанные в кн Pinker, 1989 (p 27, 296, 318)
- [67] Fodor, 1970
- [68] Ibid
- [69] Wolff, 2003
- [70] *Brecht V Poems*, 1913–1956 Translated by M Hamburger New York Methuen, 1979
- [71] Levin, 1985
- [72] Haspelmath, 1993
- [73] Pullum, 2003a
- [74] Gropen et al., 1991a, Gropen et al., 1991b, Gropen et al., 1989, Wolff, 2003
- [75] Gladwell, 2000
- [76] Bresnan et al. (in press)
- [77] *Brooks D As Israel Goes for Withdrawal, Its Enemies Go Berserk // New York Times July 16, 2006*

- [78] Многие из этих примеров заметила и зафиксировала Илавенил Суббия
- [79] Из речи главы ЦРУ Джорджа Тенета 11 июля 2003 г., в которой он взял на себя вину за печально известные шестнадцать слов в послании Конгрессу США президента Джорджа У Буша
- [80] См Pinker, 1989 (chap 5, 6)
- [81] См Pinker, 1989 (p 94–97), Comrie, 1985a, Fahren & Hamdan, 2000, Foley & van Valin, 1985, Fukui, Miyagawa & Tenny, 1985, Guerssel, 1986, Hirschbuhler, 2003, Hirschbuhler & Mchombo, 2006, Kim, 1999, Kordoni, 2003, Mateu, 2001, Nwachukwu, 1987
- [82] В их числе языки оджибве и кри, не-персе, цоциль (семья майя), гуичоль и яки (юто-ацтекская семья), палау (микронезийская группа), чи-мвини (банту), хаши (австроазиатский язык, на котором говорят в Индии), лаху (лоло-бирманская группа), кокборок (язык китайско-тибетской семьи, на котором говорят в Ассаме), куам (западно-тибетский язык), ненгоне (австронезийский язык Новой Каледонии), бахаса (язык Индонезии), фонгбе, или фон (на котором говорят в Бенине) и ачоли и ланго (нилотские языки Уганды) См Chung & Gordon, 1998, Comrie, 1985a, Dowty, 1979, Dryer, 1986, Foley & Van Valin, 1985, Guerrero Valenzuela, 2002, Haspelmath, 2005, Lefebvre, 1994, Levin, 2004
- [83] Comrie, 1985a, Dixon, 2000, Haspelmath, 1993, Nedyalkov & Silnitsky, 1973, Shibatani, 1976, Wierzbicka, 1998
- [84] Comrie, 1985a, Foley & Van Valin, 1985, Nwachukwu, 1987
- [85] Dixon, 2000, Nedyalkov & Silnitsky, 1973
- [86] Croft & The Manchester Cognitive Collective, 2001, Levin, 2004
- [87] Haspelmath, 1993
- [88] Dixon, 2000, Haspelmath, 1993, Levin, 2004, Levin & Rappaport Hovav, 1995
- [89] Dixon, 2000, Gergely & Bever, 1986, McCawley, 1968, Nedyalkov & Silnitsky, 1973, Pinker, 1989, Shibatani, 1976
- [90] Allan, 1977, Bybee, 1985, Carter, 1988, Denny, 1976, Pinker, 1989 (chap 5), Talmy, 1985
- [91] Talmy, 1985
- [92] Kemmerer, 2000a
- [93] Breedin & Saffran, 1999, Druks & Masterton, 2003, Kemmerer, 2000b, Kemmerer, 2003, Kemmerer et al., 2007, Kemmerer & Wright, 2002, Marshall et al., 1996
- [94] Etkoff, 2008, Gilbert, 2006, Myers & Diener, 1995
- [95] Schacter, 2001
- [96] Blakemore & Frith, 2005, Bok, 2006
- [97] Lessig, 2001
- [98] Halpern, 2000
- [99] *Pinker S Gender Science Promises Honest Investigation // Nature 442 2006* См также *Pinker S Sex ed The Science of Difference // New Republic February 14, 2005*
- [100] *Schaffer A A President Felled by an Assassin and 1880's Medical Care // New York Times July 25, 2006*

Глава 3

- [1] Dennett, 1997
- [2] Simonson & Tversky, 1992
- [3] Pinker, 2002
- [4] Fodor, 1981a, Fodor, 1998
- [5] Fodor, 1968, Fodor, 1981b
- [6] Процитировано в предисловии редактора к кн Loewer & Rey, 1991 (p XI)
- [7] Bates, 1976, Cole, 1981, Nunberg, 1979, Sadock, 1984, Sperber & Wilton, 1986
- [8] McClelland & Kawamoto, 1986
- [9] Gentner & Goldin-Meadow, 2003, Jordon, 2004, Whorf, 1956
- [10] Fodor, 1975
- [11] Leibnitz, 1768/1949 (bk II, chap I, p 111)
- [12] Fodor, 1970
- [13] Fodor et al., 1980
- [14] Fodor, 1998
- [15] Fodor, 1975
- [16] Fodor, 1981a (p 111)
- [17] Fodor, 2000 Возражение см в ст Pinker, 2005
- [18] Fodor, 1998, Fodor, 2001
- [19] Williams, 1966
- [20] Piattelli-Palmarini, 1986, Piattelli-Palmarini, 1989
- [21] Chomsky, 2000 (p 65–66), см также Chomsky, 1988 (p 32)
- [22] Goodman, 1983, Quine, 1960
- [23] Markman, 1989
- [24] Первоначально Фодор предлагал перенести подобную информацию в «постулаты значения», но потом он, по-видимому, от этой мысли отказался, и ни в работах Fodor, 1981a, или Fodor, 1998, ни в более поздних работах Фодора она больше не упоминается

- [25] Fodor, 1998 (p 137)
- [26] Pinker, 1999
- [27] Fodor & Pylyshyn, 1988
- [28] См Pinker, 1989 (chap 7)
- [29] Ibid
- [30] Gentner, 1975
- [31] Благодарю за данный пример Катю Райс
Другие примеры см в кн Pinker, 1989
(chap 7)
- [32] Fodor, 1981a (p 286)
- [33] Ibid (p 287)
- [34] Ibid (p 288)
- [35] Ibid
- [36] Levin, 1985, Levin, 1993
См Pinker, 1989 (p 104–109)
- [37] Fillmore, 1967, Kemmerer, 2003
- [38] О том, что это различие пронизывает
рассуждения людей, см Bloom, 2003
- [39] Wierzbicka, 1988b
- [40] Keyser & Roeper, 1984
- [41] James, 1890/1950 (chap 9) В оригинале
использовалось немецкое слово *Vorstellung*
'представление', привычный термин
в психологии того времени, я заменил его
словом *representation* 'репрезентация'
- [42] Cole, 1981, Nunberg, 1979, Sadock, 1984,
Sperber & Wilson, 1986
- [43] Nunberg, 2006
- [44] Bates, 1976, Bates & MacWhinney, 1982,
McClelland & Kawamoto, 1986, Smith &
Thelen, 1993
- [45] Apresjan, 1973, Jackendoff, 1990,
Leher, 1990, Nunberg, 1979, Ostler &
Atkins, 1992, Pustejovsky, 1995,
Wierzbicka, 1988b
- [46] Из программы Berkeley Unix 4.2 *Fortunes*
- [47] Цитата из романа Эриха Марии Ремарка,
приведенная Найоллом Фергусоном
в книге «Мировая война» (*Ferguson N The
War of the World* New York Penguin, 2006)
- [48] Примеры заимствованы из Nunberg, 1979
- [49] Ibid
- [50] См Pinker, 1989 (p 107–109, 269–278,
372–373)
- [51] Ibid
- [52] Apresjan, 1973, Jackendoff, 1990, Klein &
Murphy, 2001, Lehrer, 1990, Ostler &
Atkins, 1992, Pustejovsky, 1995
- [53] Baayen & Moscoso del Prado Martin, 2005
- [54] Klein & Murphy, 2001
- [55] Pylikkanen, Llinas & Murphy, 2006
- [56] Pustejovsky, 1995
- [57] Apresjan, 1973, Jackendoff, 1990,
Lehrer, 1990, Ostler & Atkins, 1992,
Pustejovsky, 1995
- [58] Ostler & Atkins, 1992
- [59] Ibid Остлер и Аткинс предлагают
выделить еще более конкретный
микрочласс бобовые или зернышки
из стручков бобовых Я же думаю, что это
просто скопления, поскольку компот
из вишен называется '*cherries*',
а не '*cherry*'
- [60] Burchfield, 1995
- [61] Allan & Burridge, 1991
- [62] Из кинофильма *You Can't Cheat an Honest Man*
- [63] McClelland & Kawamoto, 1986
- [64] Singer, 1984
- [65] Gentner & Goldin-Meadow, 2003, Gumperz
& Levinson, 1996, *Fountain H Proof Positive
That People See Colors with the Tongue* //
New York Times March 30, 1999, *Cook G
Debate Opens Anew on Language and Its
Effect on Cognition* // Boston Globe
February 14, 2002, *Language Barrier Can
a Concept Exist Without Words to Describe
It?* // Economist August 19, 2004
- [66] Newsweek July 22, 1991
- [67] Pullum, 1991
- [68] Tversky & Kahneman, 1981
- [69] Bloom, 1999, Pinker, 1994a
- [70] В этом, как я полагаю, проблема для
авторов Bickerton, 1990, и Spelke, 2003
- [71] Brown, 1958, Kay & Kempton, 1984
- [72] Newell & Simon, 1972
- [73] Baddeley, 1986
- [74] Carey, 2008, Dahaene, 1997, Hauser,
MacNeilage & Ware, 1996, Wynn, 1992
- [75] Dahaene et al , 1999
- [76] Varley et al , 2005
- [77] Jackendoff, 1987
- [78] Jackendoff, 1997b
- [79] Slobin, 1996
- [80] Gentner & Goldin-Meadow, 2003 Анализ
см в Gleitman & Papafragou, 2005
- [81] Newman et al , 2003
- [82] *Curtis K Affair Cited as Husband's Motive in
Calif Murders* // Boston Globe February
25, 2004
- [83] Whorf, 1956
- [84] *Nietzsche F The Will to Power* 1901,
*Wittgenstein L Tractatus
Logico-Philosophicus* 1922, *Heidigger M
Building Dwelling Thinking* // Poetry,
Language, Thought 1971, *Barthes R To
Write An Intransitive Verb?* // *Macksey R &
Donato E* (Eds) *The Languages of Criticism
and the Science of Man The Structuralist
Controversy* 1972
- [85] *Hayes-Rivas J J One World Scientific
Language?* // Science 304 May 24, 2004
P 1243

- [86] Gordon, 2004 (p 496, 498)
- [87] Bowerman & Levinson, 2001 (p 13), Majd et al , 2004
- [88] Xu & Carey, 1996, Xu, Carey & Welch, 1999
- [89] Schaller, 1991
- [90] Hauser, 2000
- [91] Santos et al , 2002
- [92] Gordon, 2004
- [93] Butterworth, 1999, Dahaene, 1997, Devlin, 2000, Gelman & Gallistel, 1978, Wiese, 2003
- [94] Casasanto, 2005 См также Gelman & Gallistel, 2004
- [95] Everett, 2005
- [96] Butterworth, 1999, Dahaene, 1997, Devlin, 2000, Gelman & Gallistel, 1978, Wiese, 2003
- [97] Pica et al , 2004
- [98] Gelman & Galistel, 1978
- [99] Levinson, 2003, Levinson, Kita & Haun, 2002, Pederson et al , 1998
- [100] Хотя считается, что говорящие на языке цельталь никогда не переносят обозначения левой и правой стороны тела на другие объекты, Линда Абарбанелл, также изучавшая говорящих на языке цельталь, отмечает, что подобное явление наблюдается в некоторых диалектах и у некоторых говорящих (Личное сообщение Май 28, 2006)
- [101] Я такую возможность допускаю, но Линда Абарбанелл (см предыдущую сноску) настроена скептически «Исходя из того, что мне известно, они используют преимущественно систему, основанную на ориентирах на местности, причем эти ориентиры меняются в зависимости от контекста Индеец тенеджапан (*Тенежаран*) (если бы он использовал чайную чашку), вероятно, сказал бы так же, как и житель Бостона Pass me the spoon by the cup—the one over there *'Передайте мне ложку, которая рядом с чашкой, — ту, что вон там'*»
- [102] Gumpertz & Levinson, 1996 (p 27)
- [103] Pederson et al , 1998 (p 586)
- [104] Pinker, 1997b (chap 5), Corballis & Beale, 1976, Hinton & Parsons, 1981, Marr, 1982, Pinker, 1984, Pinker, 1988, Rock, 1983, Talmy, 1983
- [105] Wrong Again Postage Stamp of Canyon Flipped // Boston Globe February 3, 2000
- [106] Corballis & Beale, 1976
- [107] Rock, 1983
- [108] Attneave, 1968
- [109] Abarbanell, Li & Papafragou, 2005, Li, Abarbanell & Papafragou, 2005
- [110] Abarbanell, Li & Papafragou, 2005, Gleitman et al , 2005, Li & Gleitman, 2002 Первоначальные выводы защищают также авторы статьи Levinson, Kita & Haun, 2002
- [111] Личное сообщение Линды Абарбанелл Март 28, 2006
- [112] А Мэджид и его соавторы (Majd et al , 2004) действительно искали возможные влияния со стороны экологического окружения и культуры и получили неубедительные результаты, но они привлекали глобальные факторы, такие как экологическая зона или способ существования, а не факторы, непосредственно относящиеся к ориентирам, таким как топография местности, мобильность и грамотность
- [113] Gleitman et al , 2005
- [114] Pinker, 1984/1996, Pinker, 1989, Roy & Pentland, 2002, Siskind, 1995
- [115] Carey, 2008, Soja, Carey & Spelke, 1991, Spelke, 1995
- [116] Anderson, 1976, Anderson & Bower, 1973, Schacter, 1996
- [117] Bransford & Franks, 1971 См также Anderson, 1976
- [118] Занимствовано у Harlow, 1998 (p 13)
- [119] Pinker & Jackendoff, 2005
- [120] Klein & Murphy, 2002
- [121] Из стихотворения *Limitations* английского поэта Зигфрида Сэссуна (1886–1967)

Глава 4

- [1] Hume, 1748/1999
- [2] Первая часть высказывания приписывается физику Джону Арчибальду Уиллеру, но сам Уиллер утверждал, что увидел такую надпись на стене в мужском туалете Wheeler, 1994 (n 1)
- [3] Pinker, 1997b (chap 4)
- [4] Berkeley, 1713/1929
- [5] Cave et al , 1994
- [6] Tegmark, 2003
- [7] Kant, 1781/1998, Kant, 1783/1950, Korner, 1955, Walsh, 1967
- [8] James, 1907/2005 (p 76–77)
- [9] Из сочинения *Principia*, процитировано в кн Korner, 1955 (p 33)



- [10] Korer, 1955, McCormick, 2005, Walsh, 1967
- [11] Gardner, 1990, Randall, 2005
- [12] Barbour, 2000, Goldstein, 2005, Hawking & Mlodinow, 2005
- [13] *Rovelli C* Rovelli's Two Principles Space Does Not Exist, Time Does Not Exist // www.edge.org/q2004/page7.htm#rovelli
Сравнение с алфавитом заимствовано у Брайана Грина
- [14] Kitcher, 1990
- [15] Allison, 1993 (p 135–136), процитировано в кн Kitcher, 1990 (p 15–16)
- [16] Chomsky, 1972a, Hirschfeld & Gelman, 1994, Pinker, 1997b, Tooby & Cosmides, 1992
- [17] Pinker, 2002
- [18] Pinker, 1997b (chap 4) См также Kosslyn, 1980, Kubovy, 1981, Pinker, 1984, Pinker, 1988, Pinker, 1990, Robertson, 2003, Shepard, 1978
- [19] Экспериментальное подтверждение того, что мыслительные образы всегда локализованы в зрительном пространстве, см в ст Cave et al , 1994
- [20] Isenberg, Nissen & Marshak, 1990, Kubovy, 1981, Robertson, 2003, Treisman & Gelade, 1980
- [21] Tootell et al , 1982, Van Essen & Deyoe, 1995
- [22] Bregman, 1990, Kubovy, 1981
- [23] Gentner, 1981
- [24] Wierzbicka, 1991
- [25] Vise & Malseed, 2005
- [26] Широко циркулировало в Интернете
- [27] Wierzbicka, 1988c
- [28] Chierchia, 1998, Jackendoff, 1991, Rijkhoff, 2002, Semenza, 2005, Wierzbicka, 1988a, Winter, 2002
- [29] Jackendoff, 1991
- [30] Chierchia, 1990, Jackendoff, 1991, Rijkhoff, 2002, Winter, 2002
- [31] Chierchia, 1998, Jackendogg, 1991, Rijkhoff, 2002, Winter, 2002
- [32] Lederer, 1990
- [33] Из книги *Thoughts of a Biologist* 1939
- [34] Soja, Carey & Spelke, 1991
- [35] Bach, 1986, Jackendoff, 1991
- [36] Barner & Snedeker, 2005
- [37] Bloom, 1994, Bloom, 1996, Giralat & Bloom, 2000
- [38] Bloom, 1996
- [39] Элизабет Барретт Браунинг, старая еврейская поговорка, Пол Саймон, Боб Дилан, Дороти Паркер
- [40] Cushing, 1994
- [41] Goodale & Milner, 2004
- [42] Kemmerer (in press), Kosslyn, 1987, Kosslyn, 1994, Postma & Laeng, 2006
- [43] Kemmerer (in press), Landau & Jackendoff, 1993
- [44] Biederman, 1995
- [45] Sinha & Kuteva, 1995
- [46] Landau & Jackendoff, 1993, Talmy, 2000b, Tyler & Evans, 2003
- [47] Bowerman & Levinson, 2001, Levinson, Meira & The Language and Cognition Group, 2003, Levinson, 2003
- [48] Brugman, 1988
- [49] Levinson, Meira & The Language and Cognition Group, 2003
- [50] Ibid
- [51] Talmy, 2000b
- [52] Landau & Jackendoff, 1993, Talmy, 2000b
- [53] Ллойд Л Браун (личное сообщение)
- [54] Jackendoff, 1991, Talmy, 2000b
- [55] Landau & Jackendoff, 1993
- [56] Sommers, 1963
- [57] Casati, 2006, Pomerantz, 2003
- [58] Biederman, 1995, Marr, 1982, Pinker, 1997b (chap 4)
- [59] Tarr & Pinker, 1989
- [60] Landau & Jackendoff, 1993
- [61] Duncker, 1945, Glucksberg & Danks, 1968
- [62] Rozin & Fallon, 1987
- [63] Allan, 1977, Denny, 1976
- [64] Talmy, 200b
- [65] Landau & Jackendoff, 1993
- [66] Levinson, 2003
- [67] Talmy, 2000b
- [68] Francis & Kucera, 1982
- [69] Eco, 1995, Pinker, 1999
- [70] Pinker & Bloom, 1990
- [71] Boston Globe January 8, 1991
- [72] Levinson & Wilkins, 2006, Pederson et al , 1998, Talmy, 2000b
- [73] Pinker & Bloom, 1990
- [74] Carlson & van der Zee, 2005, Coventry & Garrod, 2004 См также Feist & Gentner, 1998, Tyler & Evans, 2003
- [75] Comrie, 1985b
- [76] Brown, 1991, Malotki, 1983
- [77] Bybee, Perkins & Pagliuca, 1994, Bybee, 1985, Comrie, 1985b
- [78] Comrie, 1985b
- [79] James, 1890/1950 (p 21)
- [80] Poppel, 2003
- [81] Comrie, 1985b
- [82] Ibid
- [83] Ornstein, 1975



- [84] Lakoff & Johnson, 1980, Lakoff & Johnson, 2000
- [85] Haspelmath, 1997
- [86] Boroditsky, 2001
- [87] Nunez & Sweetser, 2006
- [88] Sasse, 2002
- [89] Comrie, 1985b, Reichenbach, 1947
- [90] Comrie, 1885b, Jackendoff, 1997a
- [91] Comrie, 1985b
- [92] Bybee, Perkins & Pagliuca, 1994
- [93] Brown & Levinson, 1987b
- [94] Bach, 1986, Comrie, 1976, Dowty, 1970/1991, Dowty, 1982, Jackendoff, 1990, Jackendoff, 1991, Jackendoff, 1997a, Pustejovsky, 1995, Sasse, 2002, Van Valin, 2005, Vendler, 1957
- [95] Tenny, 1992
- [96] Pinker, 1989
- [97] Bach, 1986, Jackendoff, 1991
- [98] Dowty, 1979/1991, Dowty, 1982, Jackendoff, 1991, Pinker, 1989, Sasse, 2002, Vendler, 1957
- [99] Bach, 1986
- [100] Lederer, 1990
- [101] Sasse, 2002
- [102] Comrie, 1976, Comrie, 1985b, Sasse, 2002
- [103] Бармен спрашивает парня «Что, черт побери, с тобой случилось?» На что утка отвечает «Это началось как бородавка у меня на заднице»
- [104] *Smith R* CBC's Mixing of Verb Tenses Gives Me Unwanted Linguistic Tension // *Globe and Mail* February 16, 2006
- [105] Из расшифровки *Testimony of William Jefferson Clinton, President of the United States, Before the Grand Jury Empaneled for Independent Counsel Kenneth Starr, August 17, 1998* Office of the Independent Counsel, Washington D C Я подчистил лишь несколько незначительных неточностей в тексте показаний Клинтона
- [106] Dowty, 1979/1991
- [107] Katz, 1987
- [108] Hume, 1740/1955
- [109] Ibid
- [110] Katz, 1987, Lewis, 1973, Spellman & Mandel, 1999
- [111] Lewis, 1973
- [112] Katz, 1987
- [113] Lagnado & Sloman, 2004, Spellman, 1996, Spellman & Mandel, 1999,
- [114] Dowty, 1979/1991, Katz, 1987, Spellman, 1997, Spellman & Mandel, 1999, Walsh & Sloman, 2005, Wolff, 2002, Wolff & Song, 2003
- [115] Dowty, 1979/1991, Hilton, 1995
- [116] Dowty, 1979/1991
- [117] Katz, 1987 (p 234), Lewis, 1973
- [118] Spellman & Kincannon, 2001
- [119] Неопубликованные материалы эксперимента, проведенного Барбарой Спеллмен, см также Mandel, 2003
- [120] Gorlik et al , 2004, Pearl, 2000
- [121] Dowe, 2000, Shultz, 1982, Talmy, 1988, Talmy, 2000a, Walsh & Sloman, 2005, White, 1995, Wolff, 2002, Walf & Song, 2003
- [122] Chapman & Chapman, 1982, Redelmeier & Tversky, 1996
- [123] Goldvarg & Johnson-Laird, 2001, Wolff, 2002
- [124] Пример заимствован из статьи психолога Филлипа Уолфа (Wolff, 2007)
- [125] Michotte, 1963
- [126] Carrey, 2008, Cohen et al , 1998, Hauser, 2006, Leslie, 1995
- [127] Premack & Premack, 2003
- [128] Hauser & Spaulding, 2006
- [129] Talmy, 1988, Talmy, 2000a
- [130] Wolff, 2003
- [131] Ibid
- [132] Dixon, 2000, Gergely & Beaver, 1986, McCawley, 1968, Nedyalkov & Silnitsky, 1973, Pinker, 1989, Shibatani, 1976
- [133] Wolff, 2007
- [134] Walsh & Sloman, 2005, White, 1995, Wolff, 2003, Wjiff, 2007, Wolff & Song, 2003
- [135] McCloskey, 1983, McCloskey, Caramazza & Green, 1980
- [136] Прочитировано в статье *Kumar M* Quantum Reality // *Prometheus* 2 1999 P 20–21
- [137] Russell, 1913
- [138] Pinker, 1997b, To oby & DeVore, 1987 (chap 5)
- [139] [http //home howstuffworks com/toilet htm](http://home.howstuffworks.com/toilet.htm)
- [140] Dershowitz, 2005
- [141] Foot, 1978, Thomson, 1985
- [142] Hauser et al , 2007
- [143] Greene, 2002
- [144] Greene et al , 2001
- [145] *Harris A* Benihana Chef's Playful Food Toss Blamed for Diner's Death // *New York Law Journal* November 23, 2004 www.law.cjm/jsp/article.jsp?id=1101136512535, *Kilgannon C* Jury to Decide If Flying Sizzling Shrimp Led to Man's Death // *New York Times* February 9, 2006
- [146] Katz, 1987

- [1] Подмечено Илавенил Суббия
- [2] Радиоведущий Майк Макконел, www.calvin.edu/academic/engl/lang/mixmet.htm
- [3] *Horowitz D* The Loafing Class // Salon February 8, 1998
- [4] Трансляция матча национальной футбольной лиги (NFL)
- [5] Клуб AWFUL был создан Роджером Тобином, спасибо Дэвиду Бертсонгу за информацию
- [6] Lakoff & Johnson, 1980
- [7] «Генеративные метафоры» по Шону (Schon, 1993), «концептуальные метафоры» по Лакоффу и Джонсону (Lakoff & Johnson, 1980)
- [8] Термины 'локомотив' (vehicle) и 'направление' (тепор) были введены литературоведом И А Ричардсом (Richards, 1936/1965)
- [9] Lakoff, 1993 (p 206)
- [10] Lakoff, 1987, Lakoff, 1993, Lakoff, 1996, Lakoff & Johnson, 1980, Lakoff & Johnson, 2000, Lakoff & Núñez, 2000
- [11] Kolodner, 1997, Mayer, 1993
- [12] Gould, 1980
- [13] Pinker, 1997b (chap 5)
- [14] Hauser & Spaulding, 2006, Hauser, 1997, Hauser, Pearson & Seelig, 2002
- [15] Pinker, 1989 (chap 8) См также Jackendoff, 2002, Pinker, 1997b (chap 5)
- [16] Pinker, 1997b (chap 5)
- [17] Tversky & Kahneman, 1981
- [18] Kahneman & Tversky, 1979
- [19] Schon, 1993
- [20] Boudin, 1986, см также Winter, 2001
- [21] Lawley & Tompkins, 2000
- [22] Fairhurst & Sarr, 1996, см также Clancy, 1989
- [23] Harms, 1993
- [24] Lakoff & Johnson, 1980 (p 3)
- [25] Lakoff, 1987, Lakoff & Johnson, 2000
- [26] Lakoff & Johnson, 2000
- [27] Lakoff & Núñez, 2000
- [28] Lakoff, 1996 Альтернативную трактовку см Pinker, 2002 (chap 16), по Sowell, 1987
- [29] Lakoff, 2004
- [30] Lakoff, 2003
- [31] *Bai M* The Framing Wars // New York Times Magazine July 17, 2005
- [32] Nagel, 1997, Searle, 1993b
- [33] Dawkins, 1998
- [34] Nagel, 1997, Searle, 1993b
- [35] Keysar et al, 2000, см также Bowdle & Gentner, 2005
- [36] Jackendoff, 1983, Jackendoff, 1992 (chap 3), Jackendoff, 2002, Jackendoff & Aaron, 1991, Maratsos, 1988, Murphy, 1996
- [37] Kemmerer, 2005
- [38] Gruber, 1965, Jackendoff, 1978, Jackendoff, 1983, Jackendoff, 1989, Jackendoff, 2002
- [39] Jackendoff, 1992 (chap 3)
- [40] Gentner et al, 2001
- [41] Schon, 1993
- [42] Gentner, 1983, Gentner et al, 2001, Gentner & Jeziorski, 1989 См также Holyoak & Thagard, 1996
- [43] Gentner & Jeziorski, 1989
- [44] Ibid
- [45] Dawkins, 1986 (p 210–211)
- [46] Boyd, 1993
- [47] Putnam, 1975
- [48] Похожая идея была предложена Шеллингом (Schelling, 1978)
- [49] Pinker, 1997b (chap 2)
- [50] *Bai M* The Framing Wars // New York Times Magazine July 17, 2005, *Baer K S* Word Games // Washington Monthly January/February 2005, *Green J* It Isn't the Message, Stupid // Atlantic Monthly May 2005, *Cooper M* Thinking of Jackasses The Grand Delusions of the Democratic Party (Review of George Lakoff's «Don't Think of an Elephant») // Atlantic Monthly March 2005, *Galston W* Chico Marxism // Democracy A Journal of Ideas Fall 2006
- [51] Glucksberg & Keysar, 1993
- [52] Lakoff & Turner, 1989
- [53] Jackendoff & Aaron, 1991
- [54] Ibid, Searle, 1993a
- [55] Jackendoff & Aaron, 1991
- [56] Gentner & Jeziorski, 1989, Gentner et al, 2001
- [57] Meier & Robinson, 2004
- [58] Borregine & Kaschak (in press)
- [59] Boroditsky, 2000, Boroditsky & Ramscar, 2002
- [60] McGlone & Harding, 1998
- [61] Bowerman, 1983
- [62] Неопубликованный эксперимент, описанный Пинкнером Pinker, 1989 (p 333)
- [63] Schank, 1982
- [64] Proust, 1913/1982 (p 48)

- [65] В оригинале «кольцо», а не «ключи»
 [66] Catrambone & Holyoak, 1989, Gentner, Ratterman & Forbus, 1993, Gick & Holyoak, 1980, Keane, 1987, Ross, 1984, Ross, 1987
 [67] Newell & Simon, 1972
 [68] Kotovsky, Hayes & Simon, 1985 Я изменил этот пример, сделав его более понятным
 [69] Duncker, 1945
 [70] Gick & Holyoak, 1980
 [71] Keane, 1987 См также Catrambone & Holyoak, 1989, Gentner, Ratterman & Forbus, 1993, Ross, 1984, Ross, 1987
 [72] Chi, Feltovich & Glaser, 1981
 [73] Dunbar, 2001
 [74] Blanchette & Dunbar, 2000
 [75] Blanchette & Dunbar, 2001
 [76] Pinker, 1999
 [77] Goldstein, 1983 (p 103–104)
 [78] McEwan, 1998 (p 90–91)
 [79] Nabokov, 1955 (p 11)
 [80] Flaubert, 1857/1998 (p 173), составлено из нескольких переводов

Глава 6

- [1] Social Security Administration, 2006, Wattenberg, 2005
 [2] Pinker & Rose, 1998
 [3] www.ncseweb.org/resources/articles/3541_project_steve_2.16.2003.asp
 [4] Scott, Matzke, Branch & 284 scientists named «Steve», 2004
 [5] Social Security Administration, 2006, Wattenberg, 2005
 [6] Пример взят из Fodor, 1994 См также Pinker, 1995
 [7] Chierchia & McConnell-Ginet, 2000
 [8] Кипке, 1972/1980, Marcus, 1961, Putnam, 1975
 [9] Сам Путнам идентифицировал котов только как роботов, но не как далеков
 [10] Putnam, 1975 (p 161)
 [11] Block, 1986, Fodor, 1987, Fodor, 1994
 [12] Fodor, 1994, Pinker, 1995
 [13] Hull, 1989, Mayr, 1982
 [14] Katz, 1987
 [15] Ayer, 1936
 [16] Китчер определяет три значения априори в работах Канта, одним из которых является универсальность и необходимость Китчер, 1990 (p 15–16)
 [17] Kant, 1781/1998, Komer, 1955, Walsh, 1967
 [18] McGinn, 1993 (p 64)
 [19] McGinn, 1993 См также Pinker, 1997b (p 558–565)
 [20] Приписывается Майку Келлену программой *Fortunes* системы *Unix*
 [21] www.macmillandictionary.com/2005/index.htm
 [22] Pinker, 1999 (p 80–82), Pinker & Birdsong 1979, Pinker, 1994b (chap 6) См также www.tnsmegistos.com/IconicityInLanguage/
 [23] Brown, 1958
 [24] Впервые отмечено Эммоном Бахом См Веeman, 2001
 [25] Росс, дата неизвестна, процитированно Бимэном (Beeman, 2001)
 [26] Metcalf, 2002, Wallraff, 2006
 [27] Пример о бессоннице взят из работы Дональда Симонса (Symons, 1979) Некоторые другие примеры приведены Уолфрафом (Wallraff, 2006)
 [28] Hall & Friends, 1984
 [29] Adams & Lloyd, 1990
 [30] Wallraff, 2006
 [31] Metcalf, 2002
 [32] Wallraff, 2006
 [33] Pinker, 1989 (chap 5), Bloom, 1999, Carter, 1976, di Sciullo & Williams, 1987, Dowty, 1979/1991, Markman, 1989
 [34] Kaplan & Bernays, 1997
 [35] Lieberson, 2000, Ornstein, 2004, Social Security Administration, 2006, Wattenberg, 2005
 [36] Brown, 1985
 [37] Lieberson, 2000
 [38] Ibid (p XI)
 [39] Ornstein, 2004, Wattenberg, 2005
 [40] Wattenberg, 2005
 [41] Ibid
 [42] Lieberson, 2000
 [43] Tenner, 1989, описывается Либерсоном (Lieberson, 2000)
 [44] Lieberson, 2000
 [45] Bell, 1992, Lieberson, 2000
 [46] Bell, 1992, Veblen, 1899/1994
 [47] Kaplan & Bernays, 1997
 [48] Ornstein, 2004
 [49] Lieberson, 2000
 [50] Social Security Administration, 2006
 [51] Barry & Harper, 1993, Lieberson, Dumais & Baumann, 2000, Wattenberg, 2005
 [52] Lieberson, 2000, Ornstein, 2004, Wattenberg, 2005

- [53] *Pinker S* The Game of the Name // New York Times April 3, 1994
- [54] Gladwell, 2000
- [55] Augner, 2000, Blackmore, 1999, Dawkins, 1976/1989, Sperber, 1985
- [56] Schelling, 1978 (p 27–28)

Глава 7

- [1] Allan & Burridge, 1991, Dooling, 1996, Hughes, 1991/1998, Jay, 2000, Wajnryb, 2005
- [2] Bruce, 1965/1991
- [3] Kennedy, 2002
- [4] Denfeld, 1995, Dooling, 1996, Patai, 1998, Saporta, 1994
- [5] Allan & Burridge, 1991, Jay, 2000, Wajnryb, 2005
- [6] Ibid
- [7] Hughes, 1991/1998
- [8] Ibid (p 3)
- [9] Компакт-диск, прилагающийся к книге Collins & Skover, 2002
- [10] Hughes, 1991/1998
- [11] Allan & Burridge, 1991, Jay, 2000, Wajnryb, 2005
- [12] Hughes, 1991/1998
- [13] Allan & Burridge, 1991, Aman, 1987, Crystal, 1997, Jay, 2000, Wajnryb, 2005
- [14] Wajnryb, 2005 (p 223)
- [15] Aman, 1987, Solt, 1987
- [16] Allan & Burridge, 1991, Rosenblum & Pinker, 1983
- [17] Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957
- [18] Beeman, 2005
- [19] LeDoux, 1996, Panksepp, 1998
- [20] Isenberg et al., 1999, LaBar & Phelps, 1998, Lewis et al. (in press)
- [21] Harris, Gleason & Aycicegi, 2006, Jay, 2000, Matthew, Richards & Eysenck, 1989
- [22] Harris, Gleason & Aycicegi, 2006
- [23] Roelofs (in press)
- [24] MacKay et al., 2004
- [25] Allan & Burridge, 1991, Hughes, 1991/1998
- [26] *Pinker S* Racist Language, Real and Imagined // New York Times February 2, 1999
- [27] Dronkers, Pinker & Damasio, 1999
- [28] Jay, 2000, Van Lancker & Cummings, 1999
- [29] Van Lancker & Cummings, 1999
- [30] Jay, 2000, Van Lancker & Cummings, 1999, Van Lancker & Sadtis, 2006
- [31] Dronkers, Pinker & Damasio, 1999, Pinker, 1997a, Pinker, 1999
- [32] Etcoff, 1986
- [33] Wise, Murray & Gerfen, 1996
- [34] Ullman et al., 1997
- [35] Speedie, Wertman & Heilman, 1993
- [36] Singer, 2005
- [37] Jay, 2000, Van Lancker & Cummings, 1999
- [38] Van Lancker & Cummings, 1999
- [39] Wegner, 1989
- [40] Allan & Burridge, 1991, Hughes, 1991/1998
- [41] Kiparsky, 1973
- [42] Pinker, 1994b, Pinker, 1999
- [43] Allan & Burridge, 1991, Crystal, 2003
- [44] Hughes, 1991/1998 (p 22–23)
- [45] Allan & Burridge, 1991, Hughes, 1991/1998
- [46] Frank, 1988, Pinker, 1997b (chap 6), Schelling, 1960
- [47] Hughes, 1991/1998
- [48] Allan & Burridge, 1991, Hughes, 1991/1998
- [49] Pinker, 2002 (chap 15), Tetlock et al., 2000
- [50] Hughes, 1991/1998 (p 12)
- [51] Hughes, 1991/1998
- [52] Allan & Burridge, 1991
- [53] Curtis & Biran, 2001 (p 21)
- [54] Allan & Burridge, 1991, Harris, 1989, Rozin & Fallon, 1987
- [55] Rozin & Fallon, 1987
- [56] Процитированно Куртис и Бираном (Curtis & Biran, 2001)
- [57] Curtis & Biran, 2001 См также Rozin & Fallon, 1987, и Pinker, 1997b (chap 6)
- [58] Rozin & Fallon, 1987
- [59] Curtis & Biran, 2001, Rozin & Fallon, 1987
- [60] Биографический фильм *Lenny*
- [61] Buss, 1994, Symons, 1979
- [62] Ibid
- [63] Jay, 2000, Van Lancker & Cummings, 1999, Wajnryb, 2005
- [64] Denfeld, 1995, Dooling, 1996, Patai, 1998
- [65] Dworkin, 1979 (p 133), цитируется в Denfeld, 1995 (p 23)
- [66] Allan & Burridge, 1991
- [67] Процитированно Хьюзом (Hughes, 1991/1998)
- [68] Hughes, 1991/1998 (p 122)
- [69] Allan & Burridge, 1991, Aman, 1987
- [70] Процитировано в Wajnryb, 2005 (p 48)
- [71] Levin, 1985, Levin, 1993, Pinker, 1989
- [72] Нижеприведенные примеры с трудом допустимы для меня (хотя бы с точки зрения грамматики, если не практики) Clarence fucked at the goat for three minutes



- but was interrupted by Old MacDonald
'Клэрэнс ебал по козе в течение трех минут, но был прерван старшиной Макдоналдом' (волеизъявление), He fucked her in the armpit / He fucked her armpit possessorraising 'Он ебал ее в подмышку / Он ебал ее подмышку' (возникает вопрос об обладателе), Goats fuck easily 'Козы ебуются легко' (возвратный залог)
- Следующие примеры недопустимы John fucked a dildo into the goat 'Джон заебал фаллоимитатор в козу' (контактно-локативное, ср John fucked the goat with a dildo 'Джон отъебал козу фаллоимитатором', что является грамматически верным), At three o'clock, the goat fucked 'В три часа коза ебала' (антикаузативное)
- [73] Quang Fuc Dong, 1971/1992b
[74] Sheidlower, 1995
[75] Zwicky et al., 1971/1992
[76] *Farmer J S & Henley W E Slang and Its Analogues 1890–1904*, процитировано Hughes, 1991/1998 (p 271)
[77] Quang Fuc Dong, 1971/1992a
[78] Nunberg, 2004 Некоторые прилагательные, такие как former 'бывший' и alleged 'утверждаемый', также не проходят такие тесты, но эти слова отличаются от прилагательного fucking 'ебаний' другими характеристиками
- [79] Shad, 1971/1992
[80] Nunberg, 2004
[81] Продолжение интервью Интервьюер Кто Ваша любимая героиня из фильма «Ангелы Чарли»? К л и з Ноам Хомский
[82] Спасибо Джеффри Пуллуму за пример о ноутбукe
[83] Quang Fuc Dong, 1971/1992a, Potts, 2005
[84] Potts, 2005
[85] Bryson, 1990 (p 211)
[86] Quang Fuc Dong, 1971/1992a
[87] Yeung, Botvinick & Cohen, 2004
[88] Panksepp, 1998
[89] Dollard et al., 1939, Panksepp, 1998
[90] Panksepp, 1998
[91] Goffman, 1978
[92] Goffman, 1959
[93] Goffman, 1978
[94] Ibid (p 814)
[95] Code (in press), Darwin, 1874, Wray, 1998
[96] Из литературного обзора недавнего номера уважаемого аналитического журнала
[97] Larkin, 2003
[98] Harris, 1998 (p 350)
- [1] «Два веронца», «Укрощение строптивой», «Двенадцатая ночь», «Как вам это понравится», «Венецианский купец», «Цимбелин», «Зимняя сказка», «Мера за меру» *Two Gentlemen of Verona, The Taming of the Shrew, Twelfth Night, As You Like It, The Merchant of Venice, Cymbeline, The Winter's Tale, Measure for Measure* (Cohen, 2004)
[2] Allan & Burndge, 1991, Brown & Levinson, 1987b
[3] См www.phrases.org.uk/bulletin_board/12/messages/1223.html
[4] Grice, 1975 См также Brown & Levinson, 1987b, Green, 1996, Holtgraves, 2002, Potts, 2005, Smith, 1982, Sperber & Wilson, 1986
[5] www.laughlab.co.uk/
[6] Dews, Kaplan & Winner, 1995, Winner & Gardner, 1993
[7] Brown & Levinson, 1987b См также Brown, 1987, Brown & Gilman, 1972, Fraser, 1990, Green, 1996, Holtgraves, 2002
[8] Goffman, 1967
[9] Fiske, 1992, Fiske, 2004, Haslam, 2004, Holtgraves, 2002
[10] Часто ошибочно приписывается М Твену
- [11] См Isaacs & Clark, 1990
[12] *Gorman J Like, Uptalk?* // *New York Times Magazine* 1993, перепечатано в Hirschberg & Hirschberg, 1999
[13] Brown & Gilman, 1972
[14] Brown & Levinson, 1987b, Brown & Gilman, 1972
[15] Kaplan & Bernays, 1997
[16] Potter, 1950/1971 (p 190)
[17] *Murphy C Feeling Entitled?* // *Atlantic Monthly* March 2005
[18] См также более скептическую оценку у Фрэйзера (Fraser, 2005)
[19] *Tierney J The Big City You Could Look It Up* // *New York Times* September 24, 1995
[20] Nisbett & Cohen, 1996
[21] Clark, 1996, Clark & Schunk, 1980, Francik & Clark, 1985, Gibbs, 1986, Searle, 1975
[22] Brown & Levinson, 1987b, Grice, 1975, Potts, 2005
[23] Brown & Levinson, 1987a, Clark & Schunk, 1980, Fraser, 1990, Holtgraves, 2002
[24] Holtgraves, 2002

Глава 8

- [25] Holtgraves, 2002
- [26] Pinker, 2002
- [27] Kasher, 1977, Sampson, 1982
- [28] Schelling, 1960 (p 139–142)
- [29] Dawkins & Krebs, 1978
- [30] Доклад Алана Дершовица на семинаре по косвенной речи в рамках программы по эволюционной динамике в Гарвардском университете 16 мая 2006 г и комментарии Харви Силверглейта на том же семинаре
- [31] Woman Is Found Guilty of Bribery to Win a Vote for Rights Proposal // New York Times August 23, 1980, Woman Convicted of Vote Bribe Is Ordered to Do Public Service // New York Times November 8, 1980
- [32] Langan M The Language of Diplomacy // Boston Globe April 19, 2001
- [33] См http://en.wikipedia.org/wik/UN_Security_Council_Resolution_242#Semantic_dispute
- [34] Max Bazerman April 11, 2006 (личная переписка)
- [35] Feiler B Pocketful of Dough // Gourmet October 2000
- [36] Fiske, 1992, Fiske, 2004, Haslam, 2004 Аналогичная теория объяснения развития личности индивидуума приводится Джудит Хэррис (*Harris J No Two Alike Human Nature and Human Individuality 2006*)
- [37] Dawkins, 1976/1989
- [38] Tooby & Cosmides, 1996
- [39] Daly, Salmon & Wilson, 1997
- [40] Ramachandran & Blakeslee, 1998, Wegner, 2002
- [41] Fiske, 2004 (p 88)
- [42] Fiske & Tetlock, 1997, McGraw & Tetlock, 2005, Tetlock et al , 2000
- [43] Dawkins, 1976/1989, Maynard Smith, 1988
- [44] Schelling, 1960
- [45] Provine, 1996
- [46] Pinker, 1997b (chap 8)
- [47] Cosmides & Tooby, 1992
- [48] Sowell, 1980
- [49] Fiske & Tetlock, 1997, McGraw & Tetlock, 2005, Tetlock et al , 2000
- [50] Buss, 1994, Symons, 1979
- [51] Rosovsky, 1990
- [52] Brown, 1996 (p 8)
- [53] Brown & Levinson, 1987b См также Clark, 1996, Isaacs & Clark, 1990
- [54] Schelling, 1960
- [55] Ibid (p 67)
- [56] Ibid (p 71)
- [57] Clark & Brennan, 1991, Clark & Marshall, 1991, Lewis, 1969, Schelling, 1960, Schiffer, 1972, Smuth, 1982, Stalnaker, 1978, Vanderschraaf & Sillari, 2005 Терминология сбивает с толку некоторые писатели используют «обоюдное знание» (*mutual knowledge*) по отношению к идентичным индивидуальным знаниям (что, на мой взгляд, должно называться «общим знанием» (*shared knowledge*)) и оставляют «всеобщее знание» (*common knowledge*) для тех случаев, когда люди **звуют** о том, что их же знаниями обладает кто-то еще (то, что называю «обоюдным знанием» я) Другие используют эти термины как взаимозаменяемые Поскольку значение слова «взаимный» отражает основную концепцию лучше, чем значение слова «общий», и поскольку «общеизвестные вещи» (*common knowledge*) также (что сбивает с толку) является общепринятым термином, означающим разделяемое индивидуальное знание, то я буду придерживаться термина «обоюдное знание» (*mutual knowledge*)
- [58] Vanderschraaf & Sillari, 2005
- [59] Clark, 1996
- [60] Sperber & Wilson, 1986
- [61] Gigerenzer, 2004, Schelling. 1960 Термин «рациональное неведение» был введен философом Силвейном Бромбергером (Bromberger, 1992), правда, по отношению к другому понятию
- [62] Gigerenzer, 2004
- [63] Schelling, 1960

Глава 9

- [1] Из сборника «Великие диалоги Платона» «Республика», «Апология», «Критон», «Федон», «Ион» и «Менон» Т 1 / Под ред Уормингтона и Рауза Нью-Йорк, 1999 С 316
- [2] Shtulman, 2006
- [3] Sowell, 1980, Sowell, 1996
- [4] Chua, 2003
- [5] Pinker, 2007
- [6] Tetlock, 1999
- [7] www.overheardinnewyork.com, www.overheardintheoffice.com
- [8] Carey, 2008
- [9] Cosmides & Tooby, 1996, Gigerenzer, 1991, Shtulman, 2006

Библиография

- Abarbanell, L., Li, P., & Papafragou, A. 2005. Spatial language and reasoning in Tselal. Paper presented at the Annual Meeting of the Linguistics Society of America.
- Adams, D., & Lloyd, J. 1990. *The deeper meaning of Liff*. New York: Harmony Books.
- Allan, K. 1977. Classifiers. *Language*, 53, 285–311.
- Allan, K., & Burridge, K. 1991. *Euphemism and dysphemism: Language used as shield and weapon*. New York: Oxford University Press.
- Allison, H. E. 1973. *The Kant-Eberhard controversy: An English translation, together with supplementary materials*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Aman, R. 1987. *The best of Maledicta: The International Journal of Verbal Aggression*. Philadelphia: Running Press.
- Anderson, J. R. 1976. *Language, memory, and thought*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Anderson, J. R., & Bower, G. H. 1973. *Human associative memory*. New York: Wiley.
- Anderson, S. R. 1971. On the role of deep structure in semantic interpretation. *Foundations of Language*, 6, 197–219.
- Apresjan, J. D. 1973. Regular polysemy. *Linguistics*, 142, 5–32.
- Attneave, F. 1968. Triangles as ambiguous figures. *American Journal of Psychology*, 81, 447–453.
- Aunger, R. 2000. *Darwinizing culture: The status of memetics as a science*. New York: Oxford University Press.
- Ayer, A. J. 1936. *Language, truth, and logic*. New York: Oxford University Press.
- Baayen, R. H., & Moscoso del Prado Martin, F. 2005. Semantic density and past-tense formation in three Germanic languages. *Language*, 81, 666–698.
- Bach, E. 1986. The algebra of events. *Linguistics and Philosophy*, 9, 5–16.
- Baddeley, A. D. 1986. *Working memory*. New York: Oxford University Press.
- Baker, C. L. 1979. Syntactic theory and the projection problem. *Linguistic Inquiry*, 10, 533–581.
- Barbour, J. B. 2000. *The end of time: The next revolution in physics*. New York: Oxford University Press.
- Barner, D., & Snedeker, J. 2005. Quantity judgments and individuation: Evidence that mass nouns count. *Cognition*, 97, 41–66.
- Barry, H., & Harper, A. 1993. Feminization of unisex names from 1960 to 1990. *Names*, 41, 228–238.

- Barthes, R. 1972. To write: An intransitive verb? In R. Macksey & E. Donato (Eds.), *The languages of criticism and the science of man: The structuralist controversy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Bates, E. 1976. *Language and context: The acquisition of pragmatics*. New York: Academic Press.
- Bates, E., & MacWhinney, B. 1982. Functionalist approaches to grammar. In E. Wanner & L. R. Gleitman (Eds.), *Language acquisition: The state of the art*. New York: Cambridge University Press.
- Beeman, J.-J. 2005. Bilateral brain processes for comprehending natural language. *Trends in Cognitive Science*, 9, 512–518.
- Beeman, W. O. 2001. The elusive butterfly. *Iconicity in Language*. <http://www.trismegistos.com/IconicityInLanguage/>.
- Bell, Q. 1992. *On human finery*. London: Allison & Busby.
- Berent, I., Pinker, S., & Ghavami, G. In press. The dislike of regular plurals in compounds: Phonological familiarity or morphological constraint? *The Mental Lexicon*.
- Berent, I., Pinker, S., & Shimron, J. 1999. Default nominal inflection in Hebrew: Evidence for mental variables. *Cognition*, 72, 1–44.
- Berent, I., Pinker, S., & Shimron, J. 2002. The nature of regularity and irregularity: Evidence from Hebrew nominal inflection. *Journal of Psycholinguistic Research*, 31, 459–502.
- Berkeley, G. 1713/1929. Three dialogues between Hylas and Philonous. In M. W. Calkins (Ed.), *Berkeley selections*. New York: Scribners.
- Berko, J. 1958. The child's learning of English morphology. *Word*, 14, 150–177.
- Bertolo, S. (Ed.). 2001. *Language acquisition and learnability*. New York: Cambridge University Press.
- Bickerton, D. 1990. *Language and species*. Chicago: University of Chicago Press.
- Biederman, I. 1995. Visual object recognition. In S. M. Kosslyn & D. N. Osherson (Eds.), *An invitation to cognitive science, Vol. 2: Visual cognition and action*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Blackmore, S. J. 1999. *The meme machine*. New York: Oxford University Press.
- Blakemore, S.-J., & Frith, U. 2005. *The learning brain: Lessons for education*. Malden, Mass.: Blackwell.
- Blanchette, I., & Dunbar, K. 2000. How analogies are generated: The roles of structural and superficial similarity. *Memory & Cognition*, 28, 108–124.
- Blanchette, I., & Dunbar, K. 2001. Analogy use in naturalistic settings: The influence of audience, emotion, and goals. *Memory & Cognition*, 29, 730–735.
- Block, N. 1986. Advertisement for a semantics for psychology. In P. A. French, T. E. Uehling, & H. K. Wettstein (Eds.), *Midwest studies in philosophy: Studies in the philosophy of mind* (Vol. 10). Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Bloom, P. 1994. Syntax-semantics mappings as an explanation for some transitions in language development. In Y. Levy (Ed.), *Other children, other languages: Theoretical issues in language development*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Bloom, P. 1996. Possible individuals in language and cognition. *Current Directions in Psychological Science*, 5, 90–94.
- Bloom, P. 1999. *How children learn the meanings of words*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Bloom, P. 2003. *Descartes' baby: How the science of child development explains what makes us human*. New York: Basic Books.
- Bok, D. C. 2006. *Our underachieving colleges: A candid look at how much students learn and why they should be learning more*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Borer, H. 2005a. *Structuring sense, Vol. 1: In name only*. New York: Oxford University Press.
- Borer, H. 2005b. *Structuring sense, Vol. 2: The normal course of events*. New York: Oxford University Press.

- Boroditsky, L. 2000. Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors. *Cognition*, 75, 1–28.
- Boroditsky, L. 2001. Does language shape thought? Mandarin and English speakers' conceptions of time. *Cognitive Psychology*, 43, 1–22.
- Boroditsky, L., & Ramscar, M. 2002. The roles of body and mind in abstract thought. *Psychological Science*, 13, 185–188.
- Borregine, K. L., & Kaschak, M. P. In press. The action-sentence compatibility effect: It's all in the timing. *Cognitive Science*.
- Boudin, M. 1986. Antitrust doctrine and the sway of metaphor. *Georgetown Law Journal*, 75, 395–422.
- Bowdle, B., & Gentner, D. 2005. The career of metaphor. *Psychological Review*, 112, 193–216.
- Bowerman, M. 1982a. Evaluating competing linguistic models with language acquisition data: Implications of developmental errors with causative verbs. *Quaderni di Semantica*, 3, 5–66.
- Bowerman, M. 1982b. Reorganizational processes in lexical and syntactic development. In E. Wanner & L. R. Gleitman (Eds.), *Language acquisition: The state of the art*. New York: Cambridge University Press.
- Bowerman, M. 1983. Hidden meanings: The role of covert conceptual structures in children's development of language. In D. R. Rogers & J. A. Sloboda (Eds.), *The acquisition of symbolic skills*. New York: Plenum.
- Bowerman, M. 1988. The “no negative evidence” problem: How do children avoid constructing an overly general grammar? In J. A. Hawkins (Ed.), *Explaining language universals*. Malden, Mass.: Blackwell.
- Bowerman, M., & Levinson, S. C. 2001. Introduction. In M. Bowerman & S. Levinson (Eds.), *Language acquisition and conceptual development*. New York: Cambridge University Press.
- Boyd, R. 1993. Metaphor and theory change: What is “metaphor” a metaphor for? In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Braine, M. D. S. 1971. On two types of models of the internalization of grammars. In D. I. Slobin (Ed.), *The ontogenesis of grammar: A theoretical symposium*. New York: Academic Press.
- Bransford, J. D., & Franks, J. J. 1971. The abstraction of linguistic ideas. *Cognitive Psychology*, 2, 331–350.
- Breedin, S. D., & Saffran, E. M. 1999. Sentence processing in the face of semantic loss: A case study. *Journal of Experimental Psychology: General*, 128, 547–562.
- Bregman, A. S. 1990. *Auditory scene analysis: The perceptual organization of sound*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Bresnan, J. 2005. Is knowledge of syntax probabilistic? Experiments with the English dative alternation. In S. Kepser & M. Reis (Eds.), *Linguistic evidence: Empirical, theoretical, and computational perspectives*. New York: Mouton de Gruyter.
- Bresnan, J., Cueni, A., Nikitina, T., & Baayen, R. H. In press. Predicting the dative alternation. In G. Bourne, I. Kraemer, & J. Zwarts (Eds.), *Cognitive foundations of interpretation*. Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Science.
- Bresnan, J., & Nikitina, T. 2003. On the gradience of the dative alternation. Unpublished manuscript, Dept. of Linguistics, Stanford University.
- Bromberger, S. 1992. *On what we know we don't know: Explanation, theory, linguistics, and how questions shape them*. Chicago: University of Chicago Press.
- Brown, D. E. 1991. *Human universals*. New York: McGraw-Hill.
- Brown, P., & Levinson, S. C. 1987a. Introduction to the reissue: A review of recent work. In *Politeness: Some universals in language use*. New York: Cambridge University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. 1987b. *Politeness: Some universals in language usage*. New York: Cambridge University Press.

- Brown, R. 1958 *Words and things*. New York: Free Press.
- Brown, R. 1985 *Social psychology* (2nd ed). New York: Free Press.
- Brown, R. 1987. *Theory of politeness. An exemplary case*. Paper presented at the Society of Experimental Social Psychologists.
- Brown, R. 1996. *Against my better judgment: An intimate memoir of an eminent gay psychologist*. Binghamton, N.Y.: Haworth Press.
- Brown, R., & Gilman, A. 1972. The pronouns of power and solidarity. In *Psycholinguistics Selected papers by Roger Brown*. New York: Free Press
- Brown, R., & Hanlon, C. 1970. Derivational complexity and order of acquisition in child speech. In J. R. Hayes (Ed.), *Cognition and the development of language*. New York: Wiley.
- Bruce, L. 1965/1991. *How to talk dirty and influence people An autobiography*. New York: Simon & Schuster.
- Brugman, C. 1988. *The story of over: Polysemy, semantics, and the structure of the lexicon*. New York: Garland.
- Bryson, B. 1990. *The mother tongue. English and how it got that way*. New York: Morrow
- Burchfield, R. 1995. *The English language*. New York: Oxford University Press.
- Buss, D. M. 1994. *The evolution of desire*. New York: Basic Books
- Butterworth, B. 1999. *The mathematical brain*. London: Macmillan.
- Bybee, J. L. 1985. *Morphology. A study of the relation between meaning and form*. Philadelphia: Benjamins.
- Bybee, J. L., Perkins, R., & Pagliuca, W. 1994. *The evolution of grammar Tense, aspect, and modality in the languages of the world*. Chicago: University of Chicago Press.
- Carey, S. 2008. *Origins of concepts*. Cambridge, Mass.: MIT Press
- Carlson, L., & van der Zee, E. (Eds.). 2005. *Functional features in language and space*. New York: Oxford University Press.
- Carter, R. J. 1976. Some constraints on possible words. *Semantikos*, 1, 27–66.
- Carter, R. J. 1988. Some linking regularities. In B. Levin & C. Tenny (Eds.), *On linking Papers by Richard Carter* (Lexicon Project Working Paper #25). Cambridge, Mass.: MIT Center for Cognitive Science.
- Casasanto, D. 2005. Crying “Whorf” (letter). *Science*, 307, 1721–1722.
- Casati, R. 2006. The cognitive science of holes and cast shadows. *Trends in Cognitive Science*, 10, 54–55.
- Catrambone, R., & Holyoak, K. J. 1989. Overcoming contextual limitations on problem-solving transfer. *Journal of Experimental Psychology Learning, Memory, and Cognition*, 15, 1147–1156.
- Cave, K. R., Pinker, S., Giorgi, L., Thomas, C., Heller, L., Wolfe, J. M., & Lin, H. 1994. The representation of location in visual images. *Cognitive Psychology*, 26, 1–32.
- Chapman, L. J., & Chapman, J. 1982. Test results are what you think they are. In D. Kahneman, P. Slovic, & A. Tversky (Eds.), *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*. New York: Cambridge University Press.
- Chi, M. T. H., Feltovich, P., & Glaser, R. 1981. Categorization and representation of physics problems by experts and novices. *Cognitive Science*, 5, 121–152.
- Chierchia, G. 1998. *Plurality of mass nouns and the notion of “semantic parameter.”* Boston: Kluwer.
- Chierchia, G., & McConnell-Ginet, S. 2000. *Meaning and grammar An introduction to semantics* (2nd ed). Cambridge, Mass.: MIT Press
- Chomsky, N. 1965. *Aspects of the theory of syntax*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Chomsky, N. 1972a. *Language and mind* (extended edition). New York: Harcourt Brace.
- Chomsky, N. 1972b. *Studies on semantics in generative grammar*. The Hague: Mouton.
- Chomsky, N. 1981. *Lectures on government and binding*. Dordrecht, Netherlands: Foris
- Chomsky, N. 1988. *Language and problems of knowledge: The Managua lectures*. Cambridge, Mass.: MIT Press

- Chomsky, N. 2000. *New horizons in the study of language and mind*. New York: Cambridge University Press.
- Chua, A. 2003. *World on fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability*. New York: Doubleday.
- Chung, T. T. R., & Gordon, P. 1998. The acquisition of Chinese dative constructions. Paper presented at the Boston University Conference on Language Development, Boston.
- Clancy, J. J. 1989. *The invisible powers: The language of business*. Lexington, Mass.: Lexington Books.
- Clark, H. H. 1996. *Using language*. New York: Cambridge University Press.
- Clark, H. H., & Brennan, S. E. 1991. Grounding in communication. In L. B. Resnick, J. M. Levine, & S. D. Teasley (Eds.), *Perspectives on socially shared cognition*. Washington, D.C.: American Psychological Association.
- Clark, H. H., & Marshall, C. R. 1991. Definite reference and mutual knowledge. In A. K. Joshi, B. L. Webber, & I. A. Sag (Eds.), *Elements of discourse understanding*. New York: Cambridge University Press.
- Clark, H. H., & Schunk, D. 1980. Polite responses to polite requests. *Cognition*, 8, 111–143.
- Code, C. In press. First in, last out? The evolution of aphasic lexical speech automatisms to agrammatism and the evolution of human communication. *Interaction Studies*.
- Cohen, D. B. 2004. Plays of genius: A psychological exploration of Shakespeare's ten great themes. Unpublished manuscript, Department of Psychology, University of Texas.
- Cohen, L. B., Amsel, G., Redford, M. A., & Casasola, M. 1998. The development of infant causal perception. In A. Slater (Ed.), *Perceptual development: Visual, auditory, and speech perception in infancy*. East Sussex, UK: Psychology Press.
- Cole, P. (Ed.). 1981. *Radical pragmatics*. New York: Academic Press.
- Collins, R. K. L., & Skover, D. M. 2002. *The trials of Lenny Bruce: The fall and rise of an American icon*. Naperville, Ill.: Sourcebooks.
- Comrie, B. 1976. *Aspect*. New York: Cambridge University Press.
- Comrie, B. 1985a. Causative verb formation and other verb-deriving morphology. In T. Shopen (Ed.), *Language typology and syntactic description III: Grammatical categories and the lexicon*. New York: Cambridge University Press.
- Comrie, B. 1985b. *Tense*. New York: Cambridge University Press.
- Corballis, M. C., & Beale, I. L. 1976. *The psychology of left and right*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Cosmides, L., & Tooby, J. 1992. Cognitive adaptations for social exchange. In J. H. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture*. New York: Oxford University Press.
- Cosmides, L., & Tooby, J. 1996. Are humans good intuitive statisticians after all? Rethinking some conclusions from the literature on judgment under uncertainty. *Cognition*, 58, 1–73.
- Coventry, K. R., & Garrod, S. C. 2004. *Saying, seeing, and acting: The psychological semantics of spatial prepositions*. New York: Psychology Press.
- Croft, W. In press. *Verbs: Aspect and argument structure*. New York: Oxford University Press.
- Croft, W., & The Manchester Cognitive Collective. 2001. Discriminating verb meanings: The case of transfer verbs. Paper presented at the conference Language Acquisition in Great Britain.
- Crystal, D. 1997. *The Cambridge Encyclopedia of Language* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Crystal, D. 2003. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Curtis, V., & Biran, A. 2001. Dirt, disgust, and disease: Is hygiene in our genes? *Perspectives in Biology and Medicine*, 44, 17–31.

- Cushing, S. 1994. *Fatal words: Communication clashes and aircraft crashes*. Chicago: University of Chicago Press.
- Daly, M., Salmon, C., & Wilson, M. 1997. Kinship: The conceptual hole in psychological studies of social cognition and close relationships. In J. Simpson & D. Kenrick (Eds.), *Evolutionary social psychology*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Darwin, C. 1874. *The descent of man, and selection in relation to sex* (2nd ed.). New York: Hurst & Company.
- Dawkins, R. 1976/1989. *The selfish gene* (new ed.). New York: Oxford University Press.
- Dawkins, R. 1986. *The blind watchmaker: Why the evidence of evolution reveals a universe without design*. New York: Norton.
- Dawkins, R. 1998. *Unweaving the rainbow: Science, delusion, and the appetite for wonder*. Boston: Houghton Mifflin.
- Dawkins, R., & Krebs, J. R. 1978. Animal signals: Information or manipulation? In J. R. Krebs & N. B. Davies (Eds.), *Behavioral ecology*. Malden, Mass.: Blackwell.
- Dehaene, S. 1997. *The number sense: How the mind creates mathematics*. New York: Oxford University Press.
- Dehaene, S., Spelke, L., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. 1999. Sources of mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidence. *Science*, 284, 970–974.
- Denfeld, R. 1995. *The new Victorians: A young woman's challenge to the old feminist order*. New York: Warner Books.
- Dennett, D. C. 1997. Darwinian fundamentalism: An exchange. *New York Review of Books*, 44.
- Denny, J. P. 1976. What are noun classifiers good for? *Papers from the Twelfth Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society*.
- Dershowitz, A. 2005. The marketplace of ideas: Know who you are listening to or reading: The Norman Finkelstein Top Ten Lists. <http://www.law.harvard.edu/faculty/dershowitz/currentlist.html>.
- Devlin, K. 2000. *The Math Gene: How mathematical thinking evolved and why numbers are like gossip*. New York: Basic Books.
- Dews, S., Kaplan, J., & Winner, E. 1995. Why not say it directly? The social functions of irony. *Discourse Processes*, 19, 347–367.
- di Sciullo, A. M., & Williams, E. 1987. *On the definition of word*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Dixon, R. M. W. 2000. A typology of causatives: Form, syntax, and meaning. In R. M. W. Dixon & A. Y. Aihensvald (Eds.), *Changing valency*. New York: Cambridge University Press.
- Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. 1939. *Frustration and aggression*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Dooling, R. 1996. *Blue streak: Swearing, free speech, and sexual harassment*. New York: Random House.
- Dowe, P. 2000. *Physical causation*. New York: Cambridge University Press.
- Dowty, D. R. 1979. Dative “movement” and Thomason’s extensions of Montague Grammar. In S. Davis & M. Mithun (Eds.), *Linguistics, philosophy, and Montague Grammar*. Austin: University of Texas Press.
- Dowty, D. R. 1979/1991. *Word meaning and Montague Grammar: The semantics of verbs and times in generative semantics and in Montague's PTQ*. Boston: Kluwer.
- Dowty, D. R. 1982. Tenses, time adverbs, and compositional semantic theory. *Linguistics and Philosophy*, 5, 23–55.
- Dronkers, N., Pinker, S., & Damasio, A. R. 1999. Language and the aphasias. In E. R. Kandel, J. H. Schwartz, & T. M. Jessell (Eds.), *Principles of neural science* (4th ed.). Norwalk, Conn.: Appleton & Lange.

- Druks, J., & Masterson, J. 2003. The neural basis of verbs. *Journal of Neurolinguistics*, 16 (Special Issue).
- Dryer, M. S. 1986. Primary objects, secondary objects, and antititive. *Language*, 62, 808–845.
- Dunbar, K. 2001. The analogical paradox: Why analogy is so easy in naturalistic settings yet so difficult in the psychological laboratory. In D. Gentner, K. J. Holyoak, & B. N. Kokinov (Eds.), *The analogical mind: Perspectives from cognitive science*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Duncker, K. 1945. On problem solving. *Psychological Monographs*, 58.
- Dworkin, A. 1979. *Pornography: Men possessing women*. New York: Penguin.
- Eco, U. 1995. *The search for the perfect language*. Malden, Mass.: Blackwell.
- Etcoff, N. L. 1986. The neuropsychology of emotional expression. In G. Goldstein & R. E. Tarter (Eds.), *Advances in clinical neuropsychology* (Vol. 3). New York: Plenum.
- Etcoff, N. L. 2008. *Liking, wanting, having, being: The science of happiness*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Everett, D. 2005. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: Another look at the design features of human language. *Current Anthropology*, 46, 621–646.
- Fairhurst, G. T., & Sarr, R. A. 1996. *The art of framing: Managing the language of leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Fareh, S., & Hamdan, J. 2000. Locative alternation in English and Jordanian spoken Arabic. *Papers and Studies in Contrastive Linguistics*, 36, 71–93.
- Feist, M. I., & Gentner, D. 1998. On plates, bowls, and dishes: Factors in the use of English IN and ON. Paper presented at the Twentieth Annual Conference of the Cognitive Science Society.
- Fillmore, C. 1967. The grammar of hitting and breaking. In R. Jacobs & P. Rosenbaum (Eds.), *Readings in English transformational grammar*. Waltham, Mass.: Ginn.
- Fillmore, C. 1968. The case for case. In E. Bach & R. J. Harms (Eds.), *Universals in linguistic theory*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Fiske, A. P. 1992. The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations. *Psychological Review*, 99, 689–723.
- Fiske, A. P. 2004. Four modes of constituting relationships: Consubstantial assimilation; space, magnitude, time, and force; concrete procedures; abstract symbolism. In N. Haslam (Ed.), *Relational models theory: A contemporary overview*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Fiske, A. P., & Tetlock, P. E. 1997. Taboo trade-offs: Reactions to transactions that transgress the spheres of justice. *Political Psychology*, 18, 255–297.
- Flaubert, G. 1857/1998. *Madame Bovary: Life in a country town* (G. Hopkins, Trans.). New York: Oxford University Press.
- Fodor, J. A. 1968. *Psychological explanation: An introduction to the philosophy of psychology*. New York: Random House.
- Fodor, J. A. 1970. Three reasons for not deriving “kill” from “cause to die.” *Linguistic Inquiry*, 1, 429–438.
- Fodor, J. A. 1975. *The language of thought*. New York: Crowell.
- Fodor, J. A. 1981a. The present status of the innateness controversy. In J. A. Fodor (Ed.), *RePresentations*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Fodor, J. A. 1981b. *RePresentations: Philosophical essays on the foundations of cognitive science*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Fodor, J. A. 1987. *Psychosemantics: The problem of meaning in the philosophy of mind*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Fodor, J. A. 1994. *The elm and the expert: Mentalese and its semantics*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Fodor, J. A. 1998. *Concepts: Where cognitive science went wrong*. New York: Oxford University Press.

- Fodor, J. A. 2000. *The mind doesn't work that way: The scope and limits of computational psychology*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Fodor, J. A. 2001. Doing without what's within: Fiona Cowie's critique of nativism. *Mind*, 110, 99–148.
- Fodor, J. A., Garrett, M. F., Walker, E. C. T., & Parkes, S. 1980. Against definitions. *Cognition*, 8, 263–367.
- Fodor, J. A., & Pylyshyn, Z. 1988. Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis. *Cognition*, 28, 3–71.
- Fodor, J. D., & Crain, S. 1987. Simplicity and generality of rules in language acquisition. In B. MacWhinney (Ed.), *Mechanisms of language acquisition*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Foley, W. A., & Van Valin, R. D. 1985. Information packaging in the clause. In T. Shopen (Ed.), *Language typology and syntactic description I: Clause structure*. New York: Cambridge University Press.
- Foot, P. 1978. *Virtues and vices and other essays in moral philosophy*. Berkeley: University of California Press.
- Francik, E. P., & Clark, H. H. 1985. How to make requests that overcome obstacles to compliance. *Journal of Memory and Language*, 24, 560–568.
- Francis, N., & Kucera, H. 1982. *Frequency analysis of English usage: Lexicon and grammar*. Boston: Houghton Mifflin.
- Frank, R. H. 1988. *Passions within reason: The strategic role of the emotions*. New York: Norton.
- Fraser, B. 1990. Perspectives on politeness. *Journal of Pragmatics*, 14, 219–236.
- Fraser, B. 2005. Whither politeness. In R. T. Lakoff & S. Ide (Eds.), *Broadening the horizon of linguistic politeness*. Philadelphia: John Benjamins.
- Fukui, N., Miyagawa, S., & Tenny, C. 1985. *Verb classes in English and Japanese: A case study in the interaction of syntax, morphology, and semantics*. Lexicon Project Working Paper #3 Cambridge, Mass.: MIT Center for Cognitive Science.
- Gardner, M. 1990. *The new ambidextrous universe*. New York: W. H. Freeman.
- Gelman, R., & Gallistel, C. R. 1978. *The child's understanding of number*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Gelman, R., & Gallistel, C. R. 2004. Language and the origin of numerical concepts. *Science*, 306, 441–443.
- Gentner, D. 1975. Evidence for the psychological reality of semantic components: The verbs of possession. In D. A. Norman & D. E. Rumelhart (Eds.), *Explorations in cognition*. San Francisco: W. H. Freeman.
- Gentner, D. 1981. Some interesting differences between verbs and nouns. *Cognition and Brain Theory*, 4, 161–178.
- Gentner, D. 1983. Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. *Cognitive Science*, 7, 155–170.
- Gentner, D., Bowdle, B., Wolff, P., & Boronat, C. 2001. Metaphor is like analogy. In D. Gentner, K. J. Holyoak, & B. N. Kokinov (Eds.), *The analogical mind: Perspectives from cognitive science*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Gentner, D., & Goldin-Meadow, S. (Eds.). 2003. *Language in mind: Advances in the study of language and thought*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Gentner, D., & Jeziorski, M. 1989. Historical shifts in the use of analogy in science. In B. Gholson, W. R. Shadish, R. A. Beimeyer, & A. Houts (Eds.), *The psychology of science: Contributions to metascience*. New York: Cambridge University Press.
- Gentner, D., Ratterman, M. J., & Forbus, K. D. 1993. The roles of similarity in transfer: Separating retrievability from inferential soundness. *Cognitive Psychology*, 25, 524–575.
- Gergely, G., & Bever, T. G. 1986. Relatedness intuitions and mental representation of causative verbs. *Cognition*, 23, 211–277.
- Gibbs, R. 1986. What makes some speech acts conventional? *Journal of Memory and Language*, 25, 181–196.

- Gick, M., & Holyoak, K. J. 1980. Analogical problem solving. *Cognitive Psychology*, 12, 306–355.
- Gigerenzer, G. 1991. How to make cognitive illusions disappear: Beyond heuristics and biases. *European Review of Social Psychology*, 2, 83–115.
- Gigerenzer, G. 2004. Gigerenzer's law of indispensable ignorance. *Edge*. <http://www.edge.org/q2004/page2.html#gigerenzer>.
- Gilbert, D. 2006. *Stumbling on happiness*. New York: Knopf.
- Giralt, N., & Bloom, P. 2000. How special are objects? Children's reasoning about objects, parts, and wholes. *Psychological Science*, 11, 497–501.
- Gladwell, M. 2000. *The tipping point: How little things make big differences*. Boston: Little, Brown.
- Gleitman, L. R., Li, P., Papafragou, A., Gallistel, C. R., & Abarbanell, L. 2005. Spatial reasoning and cognition: Cross-linguistic studies. Unpublished presentation slides, Dept. of Psychology, University of Pennsylvania.
- Gleitman, L. R., & Papafragou, A. 2005. Language and thought. In K. Holyoak & B. Morrison (Eds.), *Cambridge handbook of thinking and reasoning*. New York: Cambridge University Press.
- Glucksberg, S., & Danks, J. 1968. Effects of discriminative labels and of nonsense labels upon availability of novel function. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 7, 72–76.
- Glucksberg, S., & Keysar, B. 1993. How metaphors work. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Goffman, E. 1959. *The presentation of self in everyday life*. New York: Doubleday.
- Goffman, E. 1967. On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction. In *Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior*. New York: Random House.
- Goffman, E. 1978. Response cries. *Language*, 54, 787–815.
- Gold, E. M. 1967. Language identification in the limit. *Information and Control*, 16, 447–474.
- Goldberg, A. 1995. *Constructions: A construction grammar approach to argument structure*. Chicago: University of Chicago Press.
- Goldberg, A. 2005. *Constructions at work: The nature of generalization in language*. New York: Oxford University Press.
- Goldstein, R. 1983. *The mind-body problem: A novel*. New York: Random House.
- Goldstein, R. 2005. *Incompleteness: The proof and paradox of Kurt Gödel*. New York: Norton.
- Goldvarg, E., & Johnson-Laird, P. N. 2001. Naive causality: A mental model theory of causal meaning and reasoning. *Cognitive Science*, 25, 565–610.
- Goodale, M. A., & Milner, A. D. 2004. *Sight unseen: An exploration of conscious and unconscious vision*. New York: Oxford University Press.
- Goodman, N. 1983. *Fact, fiction, and forecast*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Gopnik, A., Glymour, C., Sobel, D. M., Schulz, L. E., Kushnir, T., & Danks, D. 2004. A theory of causal learning in children: Causal maps and Bayes nets. *Psychological Review*, 11, 3–32.
- Gordon, P. 2004. Numerical cognition without words: Evidence from Amazonia. *Science*, 306, 496–499.
- Gould, S. J. 1980. Natural selection and the human brain: Darwin vs. Wallace. In *The panda's thumb*. New York: Norton.
- Green, G. M. 1974. *Semantics and syntactic regularity*. Bloomington: Indiana University Press.
- Green, G. M. 1996. *Pragmatics and natural language understanding* (2nd ed.). Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Greene, J. D. 2002. The terrible, horrible, no good, very bad truth about morality and what to do about it. Unpublished Ph.D. dissertation, Princeton University.

- Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. 2001. An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. *Science*, 293, 2105–2108.
- Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax & semantics 3: Speech acts*. New York: Academic Press.
- Gropen, J., Pinker, S., Hollander, M., & Goldberg, R. 1991a. Affectedness and direct objects: The role of lexical semantics in the acquisition of verb argument structure. *Cognition*, 41, 153–195.
- Gropen, J., Pinker, S., Hollander, M., & Goldberg, R. 1991b. Syntax and semantics in the acquisition of locative verbs. *Journal of Child Language*, 18, 115–151.
- Gropen, J., Pinker, S., Hollander, M., Goldberg, R., & Wilson, R. 1989. The learnability and acquisition of the dative alternation in English. *Language*, 65, 203–257.
- Gruber, J. 1965. Studies in lexical relations. Unpublished Ph.D. dissertation, MIT. Reprinted, 1976, as *Lexical structures in syntax and semantics*. Amsterdam: North Holland.
- Guerrero Valenzuela, L. 2002. Macroroles and double-object constructions in Yaqui. Unpublished manuscript, Dept. of Linguistics, State University of New York at Buffalo.
- Guerssel, M. 1986. *On Berber verbs of change: A study of transitivity alternations* (Lexicon Project Working Paper #9). Cambridge, Mass.: MIT Center for Cognitive Science.
- Gumperz, J. J., & Levinson, S. C. (Eds.). 1996. *Rethinking linguistic relativity*. New York: Cambridge University Press.
- Hall, R., & Friends. 1984. *Sniglets (Snig'lit: Any word that doesn't appear in the dictionary, but should)*. New York: Collier.
- Halpern, D. 2000. *Sex differences in cognitive abilities* (3rd ed.). Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Harlow, R. 1998. Some languages are just not good enough. In L. Bauer & P. Trudgill (Eds.), *Language myths*. New York: Penguin.
- Harris, C. L., Gleason, J. B., & Aycicegi, A. 2006. When is a first language more emotional? Psychophysiological evidence from bilingual speakers. In A. Pavlenko (Ed.), *Bilingual minds: Emotional experience, expression, and representation*. Clevedon, U.K.: Multilingual Matters.
- Harris, J. R. 1998. *The nurture assumption: Why children turn out the way they do*. New York: Free Press.
- Harris, J. R. 2006. *No two alike: Human nature and human individuality*. New York: Norton.
- Harris, M. 1989. *Our kind: The evolution of human life and culture*. New York: Harper-Collins.
- Harris, R. A. 1993. *The linguistics wars*. New York: Oxford University Press.
- Haslam, N. (Ed.). 2004. *Relational models theory: A contemporary overview*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Haspelmath, M. 1993. More on the typology of inchoative/causative verb alternations. In B. Comrie & M. Polinsky (Eds.), *Causatives and transitivity*. Philadelphia: John Benjamins.
- Haspelmath, M. 1997. *From space to time: Temporal adverbials in the world's languages*. Newcastle, U.K.: Lincom Europa.
- Haspelmath, M. 2005. Argument marking in ditransitive alignment types. *Linguistic Discovery*, 3, 1–21.
- Hauser, M. D. 1997. Artifactual kinds and functional design features: What a primate understands without language. *Cognition*, 64, 285–308.
- Hauser, M. D. 2000. *Wild minds: What animals really think*. New York: Henry Holt.
- Hauser, M. D. 2006. *Moral minds*. New York: Ecco.
- Hauser, M. D., Cushman, F., Young, L., Kang-Xing, J., & Mikhail, J. 2007. A dissociation between moral judgments and justifications. *Mind and Language*, 22, 1–21.

- Hauser, M. D., MacNeilage, P., & Ware, M. 1996. Numerical representations in primates: Perceptual or arithmetic? *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93, 1514–1517.
- Hauser, M. D., Pearson, H. E., & Seelig, D. 2002. Ontogeny of tool use in cotton-top tamarins (*Saguinus oedipus*): Recognition of functionally relevant features in the absence of experience. *Animal Behavior*, 64, 299–311.
- Hauser, M. D., & Spaulding, B. 2006. Monkeys generate causal inferences about possible and impossible physical transformations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103, 7181–7185.
- Hawking, S. W., & Mlodinow, L. 2005. *A briefer history of time*. London: Bantam.
- Hilton, D. J. 1995. Logic and language in causal explanation. In D. Sperber, D. Premack, & A. Premack (Eds.), *Causal cognition: A multidisciplinary debate*. New York: Oxford University Press.
- Hinton, G. E., & Parsons, L. M. 1981. Frames of reference and mental imagery. In J. Long & A. Baddeley (Eds.), *Attention and Performance IX*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Hirschberg, S., & Hirschberg, T. (Eds.). 1999. *Reflections on language*. New York: Oxford University Press.
- Hirschbühler, P. 2003. Cross-linguistic variation patterns in the locative alternation. Paper presented at the 13th Colloquium on Generative Grammar, Ciudad Real, Madrid.
- Hirschbühler, P., & Mchombo, S. 2006. The location object construction in Romance and Bantu: Applicatives or not? *The Bantu-Romance Connection*. http://www.modern.lang.leeds.ac.uk/BantuRom/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=40.
- Hirschfeld, L. A., & Gelman, S. A. 1994. Toward a topography of mind: An introduction to domain specificity. In L. A. Hirschfeld & S. A. Gelman (Eds.), *Mapping the mind: Domain-specificity in cognition and culture*. New York: Cambridge University Press.
- Holtgraves, T. M. 2002. *Language as social action*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Holyoak, K. J., & Thagard, P. 1996. *Mental leaps: Analogy in creative thought*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Hughes, G. 1991/1998. *Swearing: A social history of foul language, oaths, and profanity in English*. New York: Penguin.
- Hull, D. L. 1989. *The metaphysics of evolution*. Albany: State University of New York Press.
- Hume, D. 1740/1955. An Abstract of A Treatise of Human Nature. In *An inquiry concerning human understanding: With a supplement, An abstract of A Treatise of Human Nature*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Hume, D. 1748/1999. *An enquiry concerning human understanding*. New York: Oxford University Press.
- Isaacs, E. A., & Clark, H. H. 1990. Ostensible invitations. *Language in Society*, 19, 493–509.
- Isenberg, L., Nissen, M. J., & Marchak, L. C. 1990. Attentional processing and the independence of color and orientation. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 16, 869–878.
- Isenberg, N., Silbersweig, D., Engeliem, A., Emmerich, K., Malavade, K., Beati, B., et al. 1999. Linguistic threat activates the human amygdala. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96, 10456–10459.
- Jackendoff, R. 1978. Grammar as evidence for conceptual structure. In M. Halle, J. Bresnan, & G. A. Miller (Eds.), *Linguistic theory and psychological reality*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jackendoff, R. 1983. *Semantics and cognition*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jackendoff, R. 1987. *Consciousness and the computational mind*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

- Jackendoff, R. 1990. *Semantic structures*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jackendoff, R. 1991. Parts and boundaries. *Cognition*, 41, 9–45.
- Jackendoff, R. 1992. *Languages of the mind*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jackendoff, R. 1997a. *The architecture of the language faculty*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jackendoff, R. 1997b. How language helps us think. In *The architecture of the language faculty*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Jackendoff, R. 2002. *Foundations of language: Brain, meaning, grammar, evolution*. New York: Oxford University Press.
- Jackendoff, R., & Aaron, D. 1991. Review of Lakoff & Turner's "More than cool reason: A field guide to poetic metaphor." *Language*, 67, 320–339.
- James, W. 1890/1950. *The principles of psychology*. New York: Dover.
- James, W. 1907/2005. *Pragmatism and the meaning of truth*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Jay, T. 2000. *Why we curse: A neuro-psycho-social theory of speech*. Philadelphia: John Benjamins.
- Jespersen, O. 1938/1982. *Growth and structure of the English language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. 1979. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. *Econometrica*, 47, 313–327.
- Kant, I. 1781/1998. *The critique of pure reason* (P. Guyer & A. W. Wood, Trans.). New York: Cambridge University Press.
- Kant, I. 1783/1950. *Prolegomena to any future metaphysics*. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
- Kaplan, J., & Bernays, A. 1997. *The language of names*. New York: Simon & Schuster.
- Kasher, A. 1977. Foundations of philosophical pragmatics. In R. E. Butts & J. Hintikka (Eds.), *Basic problems in methodology and linguistics*. Dordrecht, Netherlands: Reidel.
- Katz, L. 1987. *Bad acts and guilty minds: Conundrums of criminal law*. Chicago: University of Chicago Press.
- Kay, P., & Kempton, W. 1984. What is the Sapir-Whorf hypothesis? *American Anthropologist*, 86, 65–79.
- Keane, M. 1987. On retrieving analogues when solving problems. *Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human Experimental Psychology*, 39, 29–41.
- Kemmerer, D. 2000a. Grammatical relevant and grammatical irrelevant features of word meaning can be independently impaired. *Aphasiology*, 14, 997–1020.
- Kemmerer, D. 2000b. Selective impairment of knowledge underlying prenominal adjective order: Evidence for the autonomy of grammatical semantics. *Journal of Neurolinguistics*, 13, 57–82.
- Kemmerer, D. 2003. Why can you hit someone on the arm but not break someone on the arm? A neuropsychological investigation of the English body-part possessor ascension construction. *Journal of Neurolinguistics*, 16, 13–36.
- Kemmerer, D. 2005. The spatial and temporal meanings of English prepositions can be independently impaired. *Neuropsychologia*, 43, 797–806.
- Kemmerer, D. In press. The semantics of space: Integrating linguistic typology and cognitive neuroscience. *Neuropsychologia*.
- Kemmerer, D., Weber-Fox, C., Price, K., Zdanczyk, C., & Way, H. 2007. "Big brown dog" or "brown big dog"? An electrophysiological study of semantic constraints on prenominal adjective order. *Brain and Language*, 100, 238–256.
- Kemmerer, D., & Wright, S. K. 2002. Selective impairment of knowledge underlying un-prefixation: Further evidence for the autonomy of grammatical semantics. *Journal of Neurolinguistics*, 15, 403–432.

- Kennedy, R. 2002. *Nigger: The strange career of a troublesome word*. New York: Pantheon.
- Keysar, B., Shen, Y., Glucksberg, S., & Horton, W. S. 2000. Conventional language: How metaphorical is it? *Journal of Memory and Language*, 43, 576–593.
- Keyser, S. J., & Roeper, T. 1984. On the middle and ergative constructions in English. *Linguistic Inquiry*, 15, 381–416.
- Kim, J. J., Marcus, G. F., Pinker, S., Hollander, M., & Coppola, M. 1994. Sensitivity of children's inflection to morphological structure. *Journal of Child Language*, 21, 173–209.
- Kim, J. J., Pinker, S., Prince, A., & Prasada, S. 1991. Why no mere mortal has ever flown out to center field. *Cognitive Science*, 15, 173–218.
- Kim, M. 1999. A cross-linguistic perspective on the acquisition of locative verbs. Unpublished Ph.D. dissertation, University of Delaware, Newark.
- Kiparsky, P. 1973. The role of linguistics in a theory of poetry. *Daedalus*, 102, 231–244.
- Kitcher, P. 1990. *Kant's transcendental psychology*. New York: Oxford University Press.
- Klein, D. E., & Murphy, G. 2002. Paper has been my ruin: Conceptual relations of polysemous senses. *Journal of Memory and Language*, 47, 548–570.
- Klein, D. E., & Murphy, G. L. 2001. The representation of polysemous words. *Journal of Memory and Language*, 45, 259–282.
- Kolodner, J. L. 1997. Educational implications of analogy. *American Psychologist*, 52, 57–66.
- Kordoni, V. 2003. Locative alternation in Modern Greek: At the syntax-semantics interface. Paper presented at the Sixth International Conference of Greek Linguistics, Rethymno, Greece.
- Körner, S. 1955. *Kant*. London: Penguin Books.
- Kosslyn, S. M. 1980. *Image and mind*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Kosslyn, S. M. 1987. Seeing and imagining in the cerebral hemispheres: A computational approach. *Psychological Review*, 94, 184–175.
- Kosslyn, S. M. 1994. *Image and brain: The resolution of the imagery debate*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Kotovsky, K., Hayes, J. R., & Simon, H. A. 1985. Why are some problems hard? Evidence from the Tower of Hanoi. *Cognitive Psychology*, 17, 248–294.
- Kripke, S. 1972/1980. *Naming and necessity*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Kubovy, M. 1981. Concurrent-pitch segregation and the theory of indispensable attributes. In M. Kubovy & J. R. Pomerantz (Eds.), *Perceptual organization*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- LaBar, K. S., & Phelps, E. A. 1998. Arousal-mediated memory consolidation: Role of the medial temporal lobe in humans. *Psychological Science*, 9, 490–493.
- Lagnado, D. A., & Sloman, S. 2004. The advantage of timely intervention. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 30, 856–876.
- Lakoff, G. 1987. *Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakoff, G. 1993. The contemporary theory of metaphor. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Lakoff, G. 1996. *Moral politics: What conservatives know that liberals don't*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakoff, G. 2003. Lakoff's First Law. *Edge*. <http://www.edge.org/q2004#shpage4.html#lakoff>.
- Lakoff, G. 2004. *Don't think of an elephant! Know your values and frame the debate: The essential guide for progressives*. White River Junction, Vt.: Chelsea Green.
- Lakoff, G. 2006. *Whose freedom? The battle over America's most important idea*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Lakoff, G., & Johnson, M. 1980. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.

- Lakoff, G., & Johnson, M. 2000. *Philosophy in the flesh*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Lakoff, G., & Núñez, R. E. 2000. *Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being*. New York: Basic Books.
- Lakoff, G., & Turner, M. 1989. *More than cool reason: A field guide to poetic metaphor*. Chicago: University of Chicago Press.
- Landau, B., & Jackendoff, R. 1993. "What" and "where" in spatial language and spatial cognition. *Behavioral and Brain Sciences*, 16, 217–238.
- Larkin, P. 2003. *Collected poems* (A. Thwaite, Ed.). London: Faber & Faber.
- Lawley, J., & Tompkins, P. 2000. *Metaphors in mind: Transformation through symbolic modeling*. London: The Developing Company Press.
- Lederer, R. 1990. *Crazy English*. New York: Pocket Books.
- LeDoux, J. E. 1996. *The emotional brain: The mysterious underpinnings of emotional life*. New York: Simon & Schuster.
- Lefebvre, C. 1994. New facts from Fongbe on the double object construction. *Lingua*, 94, 69–123.
- Lehrer, A. 1990. Polysemy, conventionality, and the structure of the lexicon. *Cognitive Linguistics*, 1–2, 207–246.
- Leibniz, G. W. 1768/1949. *New essays concerning human understanding* (C. I. Gerhardt, Trans. 3rd ed.). LaSalle, Ill.: Open Court.
- Leslie, A. M. 1995. A theory of agency. In D. Sperber, D. Premack, & A. Premack (Eds.), *Causal cognition: A multidisciplinary debate*. New York: Oxford University Press.
- Lessig, L. 2001. *The future of ideas: The fate of the commons in a connected world*. New York: Random House.
- Levin, B. 1985. *Lexical semantics in review: An introduction* (Lexicon Project Working Paper #1). Cambridge, Mass.: MIT Center for Cognitive Science.
- Levin, B. 1993. *English verb classes and alternations: A preliminary investigation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Levin, B. 2004. Verbs and constructions: Where next? Paper presented at the Western Conference on Linguistics, University of Southern California.
- Levin, B., & Pinker, S. (Eds.). 1992. *Lexical and conceptual semantics*. Malden, Mass.: Blackwell.
- Levin, B., & Rappaport Hovav, M. 1995. *Unaccusativity: At the syntax-lexical semantics interface*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Levin, B., & Rappaport Hovav, M. 2005. *Argument realization*. New York: Cambridge University Press.
- Levinson, S. C. 2003. *Space in language and cognition*. New York: Cambridge University Press.
- Levinson, S. C., Kita, S., & Haun, D. 2002. Returning the tables: Language affects spatial reasoning. *Cognition*, 84, 155–188.
- Levinson, S. C., Meira, S., & The Language and Cognition Group. 2003. "Natural concepts" in the spatial topological domain—adpositional meanings in crosslinguistic perspective: An exercise in semantic typology. *Language*, 79, 485–514.
- Levinson, S. C., & Wilkins, D. (Eds.). 2006. *Grammars of space*. New York: Cambridge University Press.
- Lewis, D. K. 1969. *Convention: A philosophical study*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Lewis, D. K. 1973. *Counterfactuals*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Lewis, P. A., Critchley, H. D., Rothstein, P., & Dolan, R. J. In press. Neural correlates of processing valence and arousal in affective words. *Cerebral Cortex*.
- Li, P., Abarbanell, L., & Papafragou, A. 2005. Spatial reasoning skills in Tenejapan Mayans. Paper presented at the Twenty-sixth Annual Conference of the Cognitive Science Society.
- Li, P., & Gleitman, L. R. 2002. Turning the tables: Spatial language and spatial cognition. *Cognition*, 83, 265–294.

- Lieberson, S. 2000. *A matter of taste: How names, fashions, and culture change*. New Haven: Yale University Press.
- Lieberson, S., Dumais, S., & Baumann, S. 2000. The instability of androgynous names: The symbolic maintenance of gender boundaries. *American Journal of Sociology*, 105, 1249–1287.
- Loewer, B., & Rey, B. 1991. *Meaning in mind: Fodor and his critics*. Malden, Mass.: Blackwell.
- MacKay, D. G., Shafto, M., Taylor, J. K., Marian, D. E., Abrams, L., & Dyer, J. R. 2004. Relations between emotion, memory, and attention: Evidence from taboo Stroop, lexical decision, and immediate memory tasks. *Memory & Cognition*, 32, 474–488.
- Majid, A., Bowerman, M., Kita, S., Haun, D., & Levinson, S. C. 2004. Can language restructure cognition? The case for space. *Trends in Cognitive Science*, 8, 108–114.
- Malotki, E. 1983. *Hopi time: A linguistic analysis of temporal concepts in the Hopi language*. Berlin: Mouton.
- Mandel, D. R. 2003. Judgment dissociation theory: An analysis of differences in causal, counterfactual, and covariational reasoning. *Journal of Experimental Psychology: General*, 132, 419–434.
- Maratsos, M. P. 1988. Metaphors of language: Metaphors of the mind? *Contemporary Psychology*, 34, 5–7.
- Marcus, G. F. 1993. Negative evidence in language acquisition. *Cognition*, 46, 53–85.
- Marcus, G. F., Brinkmann, U., Clahsen, H., Wiese, R., & Pinker, S. 1995. German inflection: The exception that proves the rule. *Cognitive Psychology*, 29, 189–256.
- Marcus, G. F., Pinker, S., Ullman, M., Hollander, M., Rosen, T. J., & Xu, F. 1992. Overregularization in language acquisition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 57.
- Marcus, R. B. 1961. Modalities and intensional languages. *Synthese*, 13, 303–322.
- Markman, E. 1989. *Categorization and naming in children: Problems of induction*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Marr, D. 1982. *Vision*. San Francisco: W. H. Freeman.
- Marshall, J., Chiat, S., Robson, J., & Print, T. 1996. Calling a salad a federation: An investigation of semantic jargon, Part 2: Verbs. *Journal of Neurolinguistics*, 9, 251–260.
- Mateu, J. 2001. Locative and locatum verbs revisited: Evidence from Romance. In Y. D'Hulst, J. Rooryck, & J. Schrotten (Eds.), *Romance languages and linguistic theory 1999*. Philadelphia: John Benjamins.
- Matthew, A., Richards, A., & Eysenck, M. 1989. Interpretation of homophones related to threat in anxiety states. *Journal of Abnormal Psychology*, 98, 31–34.
- Mayer, R. E. 1993. The instructive metaphor: Metaphoric aids to students' understanding of science. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Maynard Smith, J. 1988. *Games, sex, and evolution*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Mayr, E. 1982. *The growth of biological thought*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Mazurkewich, I., & White, L. 1984. The acquisition of the dative alternation: Unlearning overgeneralizations. *Cognition*, 16, 261–283.
- McCawley, J. D. 1968. The role of semantics in grammar. In E. Bach & R. T. Harris (Eds.), *Universals in linguistic theory*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- McClelland, J. L., & Kawamoto, A. H. 1986. Mechanisms of sentence processing: Assigning roles to constituents of sentences. In J. L. McClelland & D. E. Rumelhart (Eds.), *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition*, Vol. 2: *Psychological and biological models*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- McCloskey, M. 1983. Intuitive physics. *Scientific American*, 248, 122–130.
- McCloskey, M., Caramazza, A., & Green, B. 1980. Curvilinear motion in the absence of external forces: Naive beliefs about the motion of objects. *Science*, 210, 1139–1141.

- McCormick, M. 2005. Immanuel Kant: Metaphysics. *The Internet Encyclopedia of Philosophy*. <http://www.iep.utm.edu/k/kantmeta.htm>.
- McEwan, I. 1998. *Amsterdam*. London: Jonathan Cape.
- McGinn, C. 1993. *Problems in philosophy: The limits of inquiry*. Malden, Mass.: Blackwell.
- McGlone, M. S., & Harding, J. L. 1998. Back (or forward?) to the future: The role of perspective in temporal language comprehension. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 24, 1211–1223.
- McGraw, A. P., & Tetlock, P. E. 2005. Taboo trade-offs, relational framing, and the acceptability of exchanges. *Journal of Consumer Psychology*, 15, 2–15.
- Meier, B. P., & Robinson, M. D. 2004. Why the sunny side is up: Associations between affect and vertical position. *Psychological Science*, 15, 243–247.
- Metcalfe, A. 2002. *Predicting new words: The secret of their success*. Boston: Houghton Mifflin.
- Michotte, A. 1963. *The perception of causality*. London: Methuen.
- Miller, G. A. 1991. *The science of words*. New York: W. H. Freeman.
- Morgan, J. L., Bonamo, K., & Travis, L. L. 1995. Negative evidence on negative evidence. *Developmental Psychology*, 31, 180–197.
- Morgan, J. L., & Travis, L. L. 1989. Limits on negative information on language learning. *Journal of Child Language*, 16, 531–552.
- Murphy, G. 1996. On metaphoric representation. *Cognition*, 60, 173–204.
- Myers, D. G., & Diener, E. 1995. Who is happy? *Psychological Science*, 6, 10–19.
- Nabokov, V. V. 1955. *Lolita*. New York: Vintage.
- Nagel, T. 1997. *The last word*. New York: Oxford University Press.
- Nedjalkov, V. P., & Silnitsky, G. G. 1973. The typology of morphological and lexical causatives. In F. Kiefer (Ed.), *Trends in Soviet theoretical linguistics*. Dordrecht, Netherlands: Reidel.
- Newell, A., & Simon, H. A. 1972. *Human problem solving*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Newman, M. L., Pennebaker, J. W., Berry, D. S., & Richards, J. M. 2003. Lying words: Predicting deception from linguistic styles. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 29, 665–675.
- Nisbett, R. E., & Cohen, D. 1996. *Culture of honor: The psychology of violence in the South*. New York: HarperCollins.
- Nowak, M. A., & Komarova, N. L. 2001. Towards an evolutionary theory of language. *Trends in Cognitive Sciences*, 5, 288–295.
- Nunberg, G. 1979. The non-uniqueness of semantic solutions: Polysemy. *Linguistics and Philosophy*, 3, 143–184.
- Nunberg, G. 2004. Imprecational categories. *The Language Log*. <http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/000614.html>.
- Nunberg, G. 2006. *Talking Right: How conservatives turned liberalism into a tax-raising, latte-drinking, sushi-eating, Volvo-driving, New York Times-reading, body-piercing, Hollywood-loving, left-wing freak show*. New York: PublicAffairs.
- Núñez, R. E., & Sweetser, E. 2006. With the future behind them: Convergent evidence from Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time. *Cognitive Science*, 30, 401–450.
- Nwachukwu, P. A. 1987. *The argument structure of Igbo verbs* (Lexicon Project Working Paper #18). Cambridge, Mass.: MIT Center for Cognitive Science.
- Oehrle, R. T. 1976. The grammatical status of the English dative alternation. Unpublished Ph.D. dissertation, MIT.
- Ornstein, P. 2004. Where have all the Lisas gone? In S. Pinker (Ed.), *The best American science and nature writing 2004*. Boston: Houghton Mifflin.
- Ornstein, R. 1975. *On the experience of time*. New York: Penguin.

- Osgood, C. E., Suci, G., & Tannenbaum, P. 1957. *The measurement of meaning*. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
- Osherson, D. N., Stob, M., & Weinstein, S. 1985. *Systems that learn*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Ostler, N., & Atkins, B. T. S. 1992. Predictable meaning shift: Some linguistic properties of lexical implication rules. In J. Pustejovsky & S. Bergler (Eds.), *Lexical semantics and knowledge representation*. Berlin: Springer-Verlag.
- Panksepp, J. 1998. *Affective neuroscience: The foundations of human and animal emotions*. New York: Oxford University Press.
- Patai, D. 1998. *Heterophobia: Sexual harassment and the future of feminism*. New York: Rowman & Littlefield.
- Pearl, J. 2000. *Causality*. New York: Oxford University Press.
- Pederson, E., Danziger, E., Wilkins, D., Levinson, S. C., Kita, S., & Senft, G. 1998. Semantic typology and spatial conceptualization. *Language*, 74, 557–589.
- Piatelli-Palmarini, M. 1986. The rise of selective theories: A case study and some lessons from immunology. In W. Demopoulos & A. Marras (Eds.), *Language learning and concept acquisition*. Norwood, N.J.: Ablex.
- Piatelli-Palmarini, M. 1989. Evolution, selection, and cognition: From “learning” to parameter setting in biology and the study of language. *Cognition*, 31, 1–44.
- Pica, P., Lemer, C., Izard, V., & Dehaene, S. 2004. Exact and approximate arithmetic in an Amazonian indigene group. *Science*, 306, 499–503.
- Pinker, S. 1979. Formal models of language learning. *Cognition*, 7, 217–283.
- Pinker, S. 1984. Visual cognition: An introduction. *Cognition*, 18, 1–63.
- Pinker, S. 1984/1996. *Language learnability and language development*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Pinker, S. 1988. A computational theory of the mental imagery medium. In M. Denis, J. Engelkamp, & J. T. E. Richardson (Eds.), *Cognitive and neuropsychological approaches to mental imagery*. Amsterdam: Martinus Nijhoff.
- Pinker, S. 1989. *Learnability and cognition: The acquisition of argument structure*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Pinker, S. 1990. A theory of graph comprehension. In R. Friedle (Ed.), *Artificial intelligence and the future of testing*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Pinker, S. 1994a. How could a child use verb syntax to learn verb semantics? *Lingua*, 92, 377–410.
- Pinker, S. 1994b. *The language instinct*. New York: HarperCollins.
- Pinker, S. 1995. Beyond folk psychology (Review of J. A. Fodor's *The elm and the expert*). *Nature*, 373, 205.
- Pinker, S. 1997a. Words and rules in the human brain. *Nature*, 387, 547–548.
- Pinker, S. 1997b. *How the mind works*. New York: Norton.
- Pinker, S. 1999. *Words and rules: The ingredients of language*. New York: HarperCollins.
- Pinker, S. 2002. *The blank slate: The modern denial of human nature*. New York: Viking.
- Pinker, S. 2005. So how does the mind work? *Mind & Language*, 20, 1–24.
- Pinker, S. 2007. Introduction. In J. Brockman (Ed.), *What is your dangerous idea?* New York: HarperCollins.
- Pinker, S., & Birdsong, D. 1979. Speakers' sensitivity to rules of frozen word order. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 18, 497–508.
- Pinker, S., & Bloom, P. 1990. Natural language and natural selection. *Behavioral and Brain Sciences*, 13, 707–784.
- Pinker, S., & Jackendoff, R. 2005. The faculty of language: What's special about it? *Cognition*, 95, 201–236.
- Pinker, S., & Rose, S. 1998. The two Steves: A debate. *Edge*. http://www.edge.org/3rd_culture/pinker_rose/pinker_rose_p1.html.



- Pomerantz, J. R. 2003. Wholes, holes, and basic features in vision. *Trends in Cognitive Science*, 7, 471–473.
- Pöppel, E. 2003. Pöppel's universal. *Edge*. <http://www.edge.org/q2004/page5.html#poppe>.
- Postma, A., & Laeng, B. 2006. New insights in categorical and coordinate processing of spatial relations. *Neuropsychologia*, 44 (Special Issue).
- Potter, S. 1950/1971. *The complete upmanship*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Potts, C. 2005. *The logic of conventional implicatures*. New York: Oxford University Press.
- Prasada, S., & Pinker, S. 1993. Generalizations of regular and irregular morphological patterns. *Language and Cognitive Processes*, 8, 1–56.
- Premack, D., & Premack, A. 2003. *Original intelligence*. New York: McGraw-Hill.
- Proust, M. 1913/1982. *Remembrance of things past*. New York: Vintage Books.
- Provine, R. R. 1996. Laughter. *American Scientist*, 84, 38–45.
- Pullum, G. K. 1991. *The great Eskimo vocabulary hoax and other irreverent essays on the study of language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Pullum, G. K. 2003a. Passive voice and bias in Reuter headlines about Israelis and Palestinians. *Language Log*. <http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/000236.html>.
- Pullum, G. K. 2003b. Verb semantics and justifying war. *Language Log*. <http://itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/000015.html>.
- Pustejovsky, J. 1995. *The generative lexicon*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Putnam, H. 1975. The meaning of “meaning.” In K. Gunderson (Ed.), *Language, mind, and knowledge*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Pykkänen, L., Llinás, R., & Murphy, G. 2006. The representation of polysemy: MEG evidence. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 18, 97–109.
- Quang Fuc Dong. 1971/1992a. English sentences without overt grammatical subject. In A. M. Zwicky, P. H. Salus, R. I. Binnick, & A. L. Vanek (Eds.), *Studies out in left field: Defamatory essays presented to James D. McCawley on the occasion of his 33rd or 34th birthday*. Philadelphia: John Benjamins.
- Quang Fuc Dong. 1971/1992b. A note on conjoined noun phrases. In A. M. Zwicky, P. H. Salus, R. I. Binnick, & A. L. Vanek (Eds.), *Studies out in left field: Defamatory essays presented to James D. McCawley on the occasion of his 33rd or 34th birthday*. Philadelphia: John Benjamins.
- Quine, W. V. O. 1960. *Word and object*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Quine, W. V. O. 1969. Natural kinds. In W. V. O. Quine (Ed.), *Ontological relativity and other essays*. New York: Columbia University Press.
- Ramachandran, V. S., & Blakeslee, S. 1998. *Phantoms in the brain: Probing the mysteries of the human mind*. New York: Morrow.
- Randall, D. B. J. 1989. X me no X's: Some examples (mainly from the Renaissance) of the Neologizing imperative retort. *American Speech*, 64, 223–243.
- Randall, L. 2005. *Warped passages: Unraveling the mysteries of the universe's hidden dimensions*. New York: HarperCollins.
- Rappaport Hovav, M., & Levin, B. 2007. All dative verbs are not created equal. Unpublished manuscript, Hebrew University of Jerusalem and Stanford University.
- Rappaport, M., & Levin, B. 1985. A case study in lexical analysis: The locative alternation. Unpublished manuscript, Hebrew University of Jerusalem.
- Rappaport, M., & Levin, B. 1988. What to do with theta-roles. In W. Wilkins (Ed.), *Syntax and semantics 21: Thematic relations*. New York: Academic Press.
- Reddy, M. 1993. The conduit metaphor: A case of frame conflict in our language about language. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Redelmeier, D. A., & Tversky, A. 1996. On the belief that arthritis pain is related to the weather. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 93, 2895–2896.

- Reichenbach, H. 1947. *Elements of symbolic logic*. New York: Macmillan.
- Richards, I. A. 1936/1965. *The philosophy of rhetoric*. New York: Oxford University Press
- Rijkhoff, J. 2002. *The noun phrase*. New York: Oxford University Press.
- Robertson, L. C. 2003. *Space, objects, brains, and minds*. New York: Psychology Press
- Rock, I. 1983. *The logic of perception*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Roelofs, A. In press. The visual-auditory color-word Stroop asymmetry and its time course. *Memory & Cognition*.
- Rosenblum, T., & Pinker, S. 1983. Word magic revisited: Monolingual and bilingual preschoolers' understanding of the word-object relationship. *Child Development*, 54, 773-780.
- Rosovsky, H. 1990. *The university: An owner's manual*. New York: Norton
- Ross, B. H. 1984. Reminders and their effects on learning a cognitive skill. *Cognitive Psychology*, 16, 371-416.
- Ross, B. H. 1987. This is like that: The use of earlier problems and the separation of similarity effects. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 13, 629-639.
- Ross, J. R. Undated. Butterfly gazette. Unpublished manuscript, University of North Texas.
- Roy, D., & Pentland, A. 2002. Learning words from sights and sounds: A computational model. *Cognitive Science*, 26, 113-146.
- Rozin, P., & Fallon, A. 1987. A perspective on disgust. *Psychological Review*, 94, 23-41.
- Russell, B. 1913. On the notion of cause. *Proceedings of the Aristotelian Society*, 13, 1-26.
- Sadock, J. 1984. Whither radical pragmatics? In D. Schiffrin (Ed.), *Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics*. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Salkoff, M. 1983. Bees are swarming in the garden. *Language*, 59, 288-346.
- Samson, G. 1982. The economics of conversation. In N. V. Smith (Ed.), *Mutual knowledge*. New York: Academic Press.
- Santos, L. R., Sulkowski, G. M., Spaepen, G. M., & Hauser, M. D. 2002. Object individuation using property/kind information in rhesus macaques (*Macaca mulatta*). *Cognition*, 83, 241-264.
- Saporta, S. 1994. *Society, language, and the university*. New York: Vantage.
- Sasse, H.-J. 2002. Recent activity in the theory of aspect: Accomplishments, achievements, or just non-progressive state? *Linguistic Typology*, 6, 199-271.
- Schacter, D. L. 1996. *Searching for memory: The brain, the mind, and the past*. New York: Basic Books
- Schacter, D. L. 2001. *The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers*. Boston: Houghton Mifflin
- Schaller, S. 1991. *A man without words*. New York: Summit Books.
- Schank, R. C. 1982. *Dynamic memory: A theory of reminding and learning in computers and people*. New York: Cambridge University Press.
- Schelling, T. C. 1960. *The strategy of conflict*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Schelling, T. C. 1978. *Micromotives and macrobehavior*. New York: Norton.
- Schiffer, S. R. 1972. *Meaning*. New York: Oxford University Press.
- Schon, D. A. 1993. Generative metaphor: A perspective on problem-setting in social policy. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Schutze, C. 1996. *The empirical basis of linguistics: Grammaticality judgments and linguistic methodology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Scott, E. C., Matzke, N. J., Branch, G., & 284 scientists named "Steve." 2004. The morphology of Steve. *Annals of Improbable Research*, 24-29.
- Searle, J. R. 1975. Indirect speech acts. In P. Cole & J. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics 3 Speech acts*. New York. Academic Press.

- Searle, J. R. 1993a. Metaphor. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Searle, J. R. 1993b. Rationality and realism: What is at stake? *Daedalus*, 122, 55–83.
- Semenza, C. 2005. The (neuro)-psychology of mass and count nouns. *Brain and Language*, 95, 88–89.
- Senghas, A., Kim, J. J., & Pinker, S. 2004. The plurals-in-compounds effect. Unpublished manuscript, Barnard College.
- Shad, U. P., 1971/1992. Some unnatural habits. In A. M. Zwicky, P. H. Salus, R. I. Binnick, & A. L. Vanek (Eds.), *Studies out in left field: Defamatory essays presented to James D. McCawley on the occasion of his 33rd or 34th birthday*. Philadelphia: John Benjamins.
- Sheidlower, J. 1995. *The F-word*. New York: Random House.
- Shepard, R. N. 1978. The mental image. *American Psychologist*, 33, 125–137.
- Shibatani, M. 1976. The grammar of causative constructions: A conspectus. In M. Shibatani (Ed.), *Syntax and semantics 6: The grammar of causative constructions*. New York: Academic Press.
- Shtulman, A. 2006. Qualitative differences between naive and scientific theories of evolution. *Cognitive Psychology*, 52, 170–194.
- Shultz, T. R. 1982. Rules of causal attribution. *Monographs of the Society for Research in Child Developments*, 47.
- Simonson, I., & Tversky, A. 1992. Choice in context: Tradeoff contrast and extremeness aversion. *Journal of Marketing Research*, 29, 281–295.
- Singer, H. S. 2005. Tourette syndrome: From behavior to biology. *Lancet Neurology*, 4, 149–159.
- Singer, I. B. 1984. *Stories for children*. New York: Farrar, Straus & Giroux.
- Sinha, C., & Kuteva, T. 1995. Distributed spatial semantics. *Nordic Journal of Linguistics*, 18, 167–199.
- Siskind, J. 1995. A computational study of lexical acquisition. *Cognition*, 50, 1–25.
- Slobin, D. I. 1996. From “thought and language” to “thinking for speaking.” In J. J. Gumperz & S. C. Levinson (Eds.), *Rethinking linguistic relativity*. New York: Cambridge University Press.
- Smith, L., & Thelen, E. (Eds.). 1993. *A dynamic systems approach to development: Applications*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Smith, N. V. (Ed.). 1982. *Mutual knowledge*. New York: Academic Press.
- Social Security Administration. 2006. Popular baby names. <http://www.ssa.gov/OACT/babynames/>.
- Soja, N. N., Carey, S., & Spelke, E. S. 1991. Ontological categories guide young children's inductions of word meaning: Object terms and substance terms. *Cognition*, 38, 179–211.
- Solt, J. 1987. Japanese sexual maledicta. In R. Aman (Ed.), *The best of Maledicta: The International Journal of Verbal Aggression*. Philadelphia: Running Press.
- Sommers, F. 1963. Types and ontology. *Philosophical Review*, 72, 327–363.
- Sowell, T. 1980. *Knowledge and decisions*. New York: Basic Books.
- Sowell, T. 1987. *A conflict of visions: Ideological origins of political struggles*. New York: Quill.
- Sowell, T. 1996. *Migrations and cultures: A world view*. New York: Basic Books.
- Speedie, L. J., Wertman, J. T., & Heilman, K. M. 1993. Disruption of automatic speech following a right basal ganglia lesion. *Neurology*, 43, 1768–1774.
- Spelke, E. 1995. Initial knowledge: Six suggestions. *Cognition*, 50, 433–447.
- Spelke, E. 2003. What makes us smart? Core knowledge and natural language. In D. Gentner & S. Goldin-Meadow (Eds.), *Language in mind: Advances in the study of language and thought*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Spellman, B. A. 1996. Acting as intuitive scientists: Contingency judgments are made while controlling for alternative potential causes. *Psychological Science*, 7, 337–343.

- Spellman, B. A. 1997. Crediting causality. *Journal of Experimental Psychology: General*, 126, 323–349.
- Spellman, B. A., & Kincannon, A. 2001. The relation between counterfactual (“but for”) and causal reasoning and implications for jurors’ decisions. *Law and Contemporary Problems* (special issue on Causation in Law and Science), 64, 241–264.
- Spellman, B. A., & Mandel, D. R. 1999. When possibility informs reality: Counterfactual thinking as a cue to causality. *Trends in Cognitive Science*, 8, 120–123.
- Sperber, D. 1985. Anthropology and psychology: Towards an epidemiology of representations. *Man*, 20, 73–89.
- Sperber, D., & Wilson, D. 1986. *Relevance: Communication and cognition*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Stalnaker, R. C. 1978. Assertion. In P. Cole (Ed.), *Syntax and semantics 9: Pragmatics*. New York: Academic Press.
- Symons, D. 1979. *The evolution of human sexuality*. New York: Oxford University Press.
- Talmy, L. 1983. How language structures space. In H. Pick & L. Acredolo (Eds.), *Spatial orientation: Theory, research, and application*. New York: Plenum.
- Talmy, L. 1985. Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In T. Shopen (Ed.), *Language typology and syntactic description III: Grammatical categories and the lexicon*. New York: Cambridge University Press.
- Talmy, L. 1988. Force dynamics in language and cognition. *Cognitive Science*, 12, 49–100.
- Talmy, L. 2000a. Force dynamics in language and cognition. In *Toward a cognitive semantics 1: Concept structuring systems*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Talmy, L. 2000b. How language structures space. In L. Talmy (Ed.), *Toward a cognitive semantics*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Tarr, M. J., & Pinker, S. 1989. Mental rotation and orientation-dependence in shape recognition. *Cognitive Psychology*, 21, 233–282.
- Tegmark, M. 2003. Parallel universes. *Scientific American*, 288, 41–51.
- Tenner, E. 1989. Talking through our hats. *Harvard Magazine*, 91, 21–36.
- Tenny, C. 1992. The aspectual interface hypothesis. In I. A. Sag & A. Szabolcsi (Eds.), *Lexical matters*. Stanford: Center for the Study of Language and Information.
- Tetlock, P. E. 1999. Coping with tradeoffs: Psychological constraints and political implications. In A. Lupia, M. McCubbins, & S. Popkin (Eds.), *Political reasoning and choice*. Berkeley: University of California Press.
- Tetlock, P. E., Kristel, O. V., Elson, B., Green, M. C., & Lerner, J. 2000. The psychology of the unthinkable: Taboo tradeoffs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 853–870.
- Thomson, J. J. 1985. The trolley problem. *Yale Law Journal*, 94, 1395–1415.
- Tomasello, M. 2003. *Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Tooby, J., & Cosmides, L. 1992. Psychological foundations of culture. In J. Barkow, L. Cosmides, & J. Tooby (Eds.), *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture*. New York: Oxford University Press.
- Tooby, J., & Cosmides, L. 1996. Friendship and the banker’s paradox: Other pathways to the evolution of adaptations for altruism. *Proceedings of the British Academy*, 88, 119–143.
- Tooby, J., & DeVore, I. 1987. The reconstruction of hominid evolution through strategic modeling. In W. G. Kinzey (Ed.), *The evolution of human behavior: Primate models*. Albany: State University of New York Press.
- Tootell, R. B., Silverman, M. S., Switkes, E., & De Valois, R. L. 1982. Deoxyglucose analysis of retinotopic organization in primate striate cortex. *Science*, 218, 902–904.
- Treisman, A., & Gelade, G. 1980. A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, 12, 97–136.

- Tversky, A., & Kahneman, D. 1981. The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211, 453–458.
- Tyler, A., & Evans, V. 2003. *The semantics of English prepositions: Spatial scenes, embodied meaning, and cognition*. New York: Cambridge University Press.
- Ullman, M. T. 1999. Acceptability ratings of regular and irregular past-tense forms: Evidence for a dual-system model of language from word frequency and phonological neighborhood effects. *Language and Cognitive Processes*, 14, 47–67.
- Ullman, M. T., Corkin, S., Coppola, M., Hickok, G., Growdon, J. H., Koroshetz, W. J., & Pinker, S. 1997. A neural dissociation within language: Evidence that the mental dictionary is part of declarative memory, and that grammatical rules are processed by the procedural system. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 9, 289–299.
- Valiant, L. 1994. *Circuits of the mind*. New York: Oxford University Press.
- Van Essen, D. C., & Deyoe, E. A. 1995. Concurrent processing in the primate visual cortex. In M. S. Gazzaniga (Ed.), *The cognitive neurosciences*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Van Lancker, D., & Cummings, J. L. 1999. Expletives: Neurolinguistic and neurobehavioral perspectives on swearing. *Brain Research Reviews*, 31, 83–104.
- Van Lancker, D., & Sittis, B. 2006. Formulaic expressions in spontaneous speech of left- and right-hemisphere-damaged subjects. *Aphasiology*, 20, 411–426.
- Van Valin, R. D. 2005. *Exploring the syntax-semantics interface*. New York: Cambridge University Press.
- Vanderschraaf, P., & Sillari, G. 2005. Common knowledge. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Winter 2005. <http://plato.stanford.edu/archives/win2005/entries/common-knowledge/>.
- Varley, R. A., Klessinger, N. J. C., Romanowski, C. A. J., & Siegal, M. 2005. Agrammatic but numerate. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102, 3519–3524.
- Veblen, T. 1899/1994. *The theory of the leisure class*. New York: Penguin.
- Vendler, Z. 1957. Verbs and times. *Philosophical Review*, 66, 143–160.
- Vise, D., & Malseed, M. 2005. *The Google story*. New York: Delacorte Press.
- Wajnryb, R. 2005. *Expletive deleted: A good look at bad language*. New York: Random House.
- Wallraff, B. 2006. *Word fugitives*. New York: HarperCollins.
- Walsh, C. R., & Sloman, S. A. 2005. The meaning of cause and prevent: The role of causal mechanism. Paper presented at the Proceedings of the Conference of the Cognitive Science Society, Stresa, Italy.
- Walsh, W. H. 1967. Immanuel Kant. In P. Edwards (Ed.), *The encyclopedia of philosophy*. New York: Macmillan.
- Wattenberg, L. 2005. The Baby Name Wizard's NameVoyager. www.babynamewizard.com/namevoyager/lnv0105.html.
- Wegner, D. 1989. *White bears and other unwanted thoughts: Suppression, obsession, and the psychology of mental control*. New York: Guilford.
- Wegner, D. 2002. *The illusion of conscious will*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Wheeler, J. A. 1994. Time today. In J. J. Halliwell, J. Pérez-Mercader, & W. H. Zurek (Eds.), *Physical origins of time asymmetry*. New York: Cambridge University Press.
- White, P. A. 1995. Use of prior beliefs in the assignment of causal roles: Causal powers versus regularity-based accounts. *Memory & Cognition*, 23, 243–254.
- Whorf, B. L. 1956. *Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Wierzbicka, A. 1987. *English speech act verbs: A semantic dictionary*. New York: Academic Press.
- Wierzbicka, A. 1988a. Oats and wheat: Mass nouns, iconicity, and human categorization. In *The semantics of grammar*. Philadelphia: John Benjamins.
- Wierzbicka, A. 1988b. *The semantics of grammar*. Philadelphia: John Benjamins.

- Wierzbicka, A. 1988c. What's in a noun? (or: How do nouns differ in meaning from adjectives?). In *The semantics of grammar*. Philadelphia: John Benjamins.
- Wierzbicka, A. 1991. *Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction*. New York: Mouton de Gruyter.
- Wierzbicka, A. 1998. The semantics of English causative constructions in a universal-typological perspective. In M. Tomasello (Ed.), *The new psychology of language*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Wiese, H. 2003. *Numbers, language, and the human mind*. New York: Cambridge University Press.
- Williams, G. C. 1966. *Adaptation and natural selection: A critique of some current evolutionary thought*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Winner, E., & Gardner, H. 1993. Metaphor and irony: Two levels of understanding. In A. Ortony (Ed.), *Metaphor and thought* (2nd ed.). New York: Cambridge University Press.
- Winter, S. L. 2001. *A clearing in the forest: Law, life, and mind*. Chicago: University of Chicago Press.
- Winter, Y. 2002. Atoms and sets: A characterization of semantic number. *Linguistics Inquiry*, 33, 493–505.
- Wise, S., Murray, E., & Gerfen, C. 1996. The frontal cortex-basal ganglia system in primates. *Critical Reviews in Neurobiology* 10, 317–356.
- Wolff, P. 2002. A vector model of causal meaning. In W. D. Gray & C. D. Schunn (Eds.), *Proceedings of the 24th Annual Conference of the Cognitive Science Society*. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
- Wolff, P. 2003. Direct causation in the linguistic coding and individuation of causal events. *Cognition*, 88, 1–48.
- Wolff, P. 2007. Representing causation. *Journal of Experimental Psychology: General*.
- Wolff, P., & Song, G. 2003. Models of causation and the semantics of causal verbs. *Cognitive Psychology*, 47, 276–332.
- Wray, A. 1998. Protolanguage as a holistic system for social interaction. *Language and Communication*, 18, 47–67.
- Wynn, K. 1992. Addition and subtraction in human infants. *Nature*, 358, 749–750.
- Xu, F., & Carey, S. 1996. Infants' metaphysics: The case of numerical identity. *Cognitive Psychology*, 30, 111–153.
- Xu, F., Carey, S., & Welch, J. 1999. Infants' ability to use object kind information for object individuation. *Cognition*, 70, 137–166.
- Yang, C. 2003. *Knowledge and learning in natural language*. New York: Oxford University Press.
- Yeung, N., Botvinick, M. M., & Cohen, J. D. 2004. The neural basis of error detection: Conflict monitoring and the Error-Related Negativity. *Psychological Review*, 11, 931–959.
- Zwicky, A. M., Salus, P. H., Binnick, R. I., & Vanek, A. L. (Eds.). 1971/1992. *Studies out in left field: Defamatory essays presented to James D. McCawley on the occasion of his 33rd or 34th birthday*. Philadelphia: John Benjamins.

Лакофф Дж., Джонсон М. *Метафоры, которыми мы живем*. Пер. с англ. Изд. 2. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2008.

Пинкер С. *Язык как инстинкт*. Пер. с англ. М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2015.

Именной указатель

Аарон Дэвид (Aaron David) 321

Абарбанелл Линда (Abarbanell Linda) 8,
184–186, 522

Адамс Дуглас (Adams Douglas) 367

Адлер Джерри (Adler Jerry) 160

Азимов Айзек (Asimov Isaac) 39

Айidl Эрик (Idle Eric) 391, 444

Аллан Кит (Allan Keith) 413

Аллен Вуди (Allen Woody) 29, 70, 162, 263, 318,
418, 434

Аристотель (Aristotle) 149, 258, 264, 265, 342,
345, 346, 350, 355

Барнер Дэвид (Barner David) 215

Барри Дэйв (Barry Dave) 206, 240, 461

Барт Ролан (Barthes Roland) 171

Бауэрман Мелисса (Bowerman Melissa) 53, 326

Бах Эммон (Bach Emmon) 526

Башевис Исаак (Bashevis Isaac) 159, 443

Белл Квентин (Bell Quentin) 381

бен Ладен Усама (bin Laden Osama) 92

Берджесс Гелетт (Burgess Gelett) 372

Бернс Кен (Burns Ken) 443

Берра Йоги (Bertra Yogi) 382, 420

Берридж Кейт (Burridge Kate) 8, 413

Бертсонг Дэвид (Birdsong David) 525

Биран Эдам (Biran Adam) 413, 414, 527

Бирс Эмброуз (Bierce Ambrose) 454

Блум Пол (Bloom Paul) 8, 216, 234

Богарт Хамфри (Bogart Humphrey) 339

Богосян Эрик (Bogosian Eric) 393

Бойд Ричард (Boyd Richard) 315, 316

Болл Люсиль (Ball Lucille) 146

Бон Джови Джон (John Bon Jovi) 220

Боно (Bono) 391, 430

Бор Нильс (Bohr Niehls) 398

Борден Лиззи (Borden Lizzie) 246

Бородицки Лера (Boroditsky Lera) 325, 326

Брайсон Билл (Bryson Bill) 434

Браун Блэр (Brown Blair) 383

Браун Ллойд (Brown Lloyd) 224, 363, 518, 523

Браун Пенелопа (Brown Penelope) 453, 454,
456, 460, 465, 466, 476, 481

Браун Роджер (Brown Roger) 458, 490

Брендсеттер Уонда (Brandsetter Wanda) 471

Бреснан Джоан (Bresnan Joan) 8, 100, 519

Брехт Бертольд (Brecht Bertolt) 91

Брин Сергей (Brin Sergey) 205

Бромбергер Силвейн (Bromberger Sylvain) 529

Брукс Дэвид (Brooks David) 101

Брюс Ленни (Bruce Lenney) 390, 392, 395, 415, 434

Буден Майкл (Boudin Michael) 302

Бэйтс Элизабет (Bates Elizabeth) 139

Бэколл Лорен (Bacall Lauren) 339

Бэкон Френсис (Bacon Francis) 20

Бэрримор Дрю (Barrymore Drew) 383

Вайнриб Руфь (Wajnryb Ruth) 398

Варли Розмари (Varley Rosemary) 167

Веблен Торстейн (Veblen Thorstein) 381

Вержбицкая Анна (Wierzbicka Anna) 203

Визельтер Леон (Wieseltier Leon) 23

Витгенштейн Людвиг (Wittgenstein Ludwig) 171

Воннегут Курт (Vonnegut Kurt) 391

Галлистель Рэнди (Gallistel Randy) 185

Гамов Джордж (Gamow George) 175

Гарфилд Джеймс (Garfield James) 114, 115, 287

Гейнор Дженет (Gaynor Janet) 383

Гелдоф Боб (Geldof Bob) 382

Гентнер Дидре (Gentner Dedre) 129, 312, 313

Гершвинд Норман (Geschwind Norman) 402

Гибсон Мел (Gibson Mel) 23, 518

Гигеренцер Герд (Gigerenzer Gerd) 501

Гик Мэри (Gick Mary) 332

Гилман Алберт (Gilman Albert) 458

Глайтман Лайла (Gleitman Lila) 9, 183, 185, 186

Гледвелл Малкольм (Gladwell Malcolm) 387

Глисон Джин Берко (Gleason Jean Berko) 54

Глисон Ральф Дж (Gleason Ralph J) 392

Глюксберг Самюэл (Glucksberg Samuel) 306

Гоббс Томас (Hobbes Thomas) 190

Голдстейн Ребекка Ньюбергер (Goldstein
Rebecca Newberger) 8, 9

Голдуин Сэм (Goldwyn Samuel) 382

Гор Альберт (Gore Albert) 370

Гордон Питер (Gordon Peter) 171, 174–177

Горман Джеймс (Gorman James) 455

- Гоффман Ирвинг (Goffman Erving) 439, 440, 453, 481, 493
 Грайс Пол (Grice Paul) 449–454, 467, 496
 Грегори Дик (Gregory Dick) 45
 Грин Брайан (Greene Brian) 523
 Грин Джошуа (Greene Joshua) 285, 286
 Гриффитс Рейчел (Griffiths Rachel) 382
 Гроупен Джесс (Gropen Jess) 54, 69, 77, 88, 519
 Грубер Джеффри (Gruber Jeffrey) 309, 519
 Гувер Джон Эдгар (Hoover John Edgar) 444
 Гuito Чарлз (Guiteau Charles J.) 114, 115, 287
 Гулд Стивен Джей (Gould Stephen Jay) 338
 Гэррод Саймон (Garrod Simon) 234
- Д**
 Данбар Кевин (Dunbar Kevin) 333, 334
 Данкер Карл (Duncker Karl) 332, 333
 Дарвин Чарльз (Darwin Charles) 298, 304, 338, 351, 440, 511
 Дарден Кристофер (Darden Christopher) 393
 Дворкин Андреа (Dworkin Andrea) 418, 427
 де Вер Эдвард (de Vere Edward) 20
 Декарт Рене (Descartes René) 160, 235, 303
 Деннет Дэниел (Dennett Daniel) 118
 Дершовиц Алан (Dershovitz Alan) 8, 284, 529
 Дехэне Станислас (Dehaene Stanislas) 166, 175, 178
 Джей Гулд Стивен (Jay Gould Stephen) 339
 Джеймс Генри (James Henry) 19
 Джеймс Уильям (James William) 138, 196, 236
 Джекендофф Рэй (Jackendoff Ray) 8, 167, 309, 321
 Джерри Элбридж (Gerry Elbridge) 27
 Джойс Джеймс (Joyce James) 390
 Джонсон Линдон (Johnson Lyndon) 443
 Джонсон Марк (Johnson Mark) 238, 296, 302
 Джонсон Сэмюэл (Johnson Samuel) 454, 484
 Джордж Буш (Bush George W.) 16, 28, 257, 520
 Джордж Буш-младший (Bush George H. W.) 92, 303, 391, 483
 Диас Кэмерон (Diaz Cameron) 383
 Дизраэли Бенджамин (Disraeli Benjamin) 323
 Диккенс Чарлз (Dickens Charles) 141
 Докинз Ричард (Dawkins Richard) 304, 314–316, 381, 470
 Дьюи Томас (Dewey Thomas) 17
- Ж**
 Жилетт Пенн (Jilette Penn) 382
- З**
 Заппа Фрэнк (Zappa Frank) 23
- И**
 Имз Рэй и Чарльз (Eames Ray and Charles) 37
- К**
 Кавамото Ален (Kawamoto Alan) 156
 Кавентри Кенни (Coventry Kenny) 234
 Канеман Дэниел (Kahneman Daniel) 162, 300, 301, 319
 Кант Иммануил (Kant Immanuel) 196–200, 202, 234, 236, 258, 260, 280, 282, 289, 303, 353, 354, 526
 Карлин Джордж (Carlin George) 30, 391, 396
 Карлос Хуан Король (Juan Carlos King) 460
 Карно Сади (Carnot Sadi) 312, 313, 315
 Касасанто Дэниел (Casasanto Daniel) 8, 176
 Катц Лео (Katz Leo) 114, 267, 352
 Кахан Марси (Kahan Marcy) 9, 25
 Кванг Фук Донг (Quang Fuc Dong) 425, 430, 431, 434–436
 Кейзар Боаз (Keysar Boaz) 306
 Келлен Майк (Kellen Mike) 526
 Кеммерер Дэвид (Kemmerer David) 8, 109, 308
 Кеннеди Джон Ф. (Kennedy John F.) 17, 264, 267, 279, 379, 444
 Кертис Валери (Curtis Valerie) 413, 414
 Ким Чен Ир (Kim Jong-il) 460
 Кинг Джеймс (King James) 383
 Киплинг Редьярд (Kipling Rudyard) 154, 203
 Китчер Патриция (Kitcher Patricia) 199
 Кларк Герберт (Clark Herbert) 8, 464
 Клейн Девра (Klein Devrah) 147, 148
 Клеланд Джон (Cleland John) 390
 Кливер Элдридж (Cleaver Eldridge) 391
 Клиз Джон (Cleese John) 432
 Клинтон Билл (Clinton Bill) 255–257, 369, 370, 524
 Клинтон Хиллари (Clinton Hillary) 265, 377, 378
 Клоуз Гленн (Close Glenn) 383
 Комри Бернард (Comrie Bernard) 235, 242
 Корф Барух (Korff Baruch) 295
 Коуфакс Сэнфорд (Koufax Sanford) 382
 Козн Джонатан (Cohen Jonathan) 33, 286
 Крипке Солу (Kripke Saul) 343, 345, 352–355
 Кромвель Оливер (Cromwell Oliver) 409
 Куайн У В О (Quine Willard Van Orman) 212
 Кубрик Стенли (Kubrick Stanley) 502
 Кун Томас (Kuhn Thomas) 171
 Кэри Сьюзен (Carey Susan) 8, 173, 212
 Кэрролл Льюис (Carroll Lewis) 111, 152
 Кэш Джонни (Cash Johnny) 384
- Л**
 Лакофф Джордж (Lakoff George) 238, 239, 296–299, 302–305, 307–309, 311, 315, 317, 318, 321, 323, 426, 429, 525
 Ларкин Филип (Larkin Philip) 444
 Левин Бет (Levin Beth) 8, 44, 59, 132
 Левинсон Стивен (Levinson Stephen) 179–181, 185, 223, 453, 454, 456, 460, 464–466, 476, 481
 Ледерер Ричард (Lederer Richard) 36, 55, 210, 222, 229, 249, 250, 357, 424
 Лейбниц Готфрид Вильгельм (Leibniz Gottfried Wilhelm) 121, 377
 Лен Тэлли (Len Talmy) 224

Леннон Джон (Lennon John) 343, 345, 391, 421
 Лерер Том (Lehrer Tom) 156, 418
 Ли Пегги (Lee Peggy) 8, 154, 184
 Либерсон Стенли (Lieberson Stanley) 377–381, 383, 526
 Лилли Беатрис (Lillie Beatrice) 65
 Ллойд Джон (Lloyd John) 367
 Лоуренс Дэвид Герберт (Lawrence David Herbert) 390
 Льюис Дэвид (Lewis David) 265
 Льюис К С (Lewis C S) 421
 Лэмбек Джим (Lambek Jim) 210
 Лэнг Джессика (Lange Jessica) 383, 446
 Лэнген Майкл (Langen Michael) 471

Мадонна (Madonna) 434

Макгинн Колин (McGinn Colin) 355
 Маккартни Пол (McCartney Paul) 342–346
 Маккей Дон (MacKay Don) 401
 Макклеллэнд Джеймс (McClelland James) 156
 Маккордак Памела (McCorduck Pamela) 155
 Маккоули Джеймс Д (McCawley James D) 429
 Маламуд Бернард (Malamud Bernard) 391
 Манетос Милтос (Manetos Miltos) 372
 Маркс Граучо (Marx Groucho) 141, 224, 237, 417, 418
 Маркс Чико (Marx Chico) 162
 Маркус Рут Баркан (Marcus Ruth Barcan) 343
 Марло Кристофер (Marlowe Christopher) 20
 Марр Дэвид (Marr David) 227
 Марсо Марсель (Marceau Marcel) 194
 Мейлер Норман (Mailer Norman) 442
 Менкен Г Л (Mencken H L) 415
 Мерфи Грегори (Murphy Gregory) 147, 148
 Меткалф Алан (Metcalf Alan) 371, 374, 386
 Микеланджело (Michelangelo) 130, 131
 Миллер Генри (Miller Henry) 390
 Миллер Джонатан (Miller Jonathan) 208, 320
 Мишотт Альберт (Michotte Albert) 271
 Монро Мэрилин (Montroe Marilyn) 146, 378
 Монтэгю Эшли (Montagu Ashley) 423
 Моррисон Филип и Филлис (Morrison Philip and Phyllis) 37

Набоков Владимир (Nabokov Vladimir) 156, 336, 526

Найхан Дэвид (Nyhan David) 418
 Нанберг Джеффри (Nunberg Geoffrey) 139, 432
 Никсон Ричард (Nixon Richard) 295
 Нисбетт Ричард (Nisbett Richard) 462
 Ницше Фридрих (Nietzsche Friedrich) 171
 Ньювелл Аллен (Newell Allen) 331

Оно Йоко (Ono Yoko) 421
 Ортон Джо (Orton Joe) 418
 Оруэлл Джордж (Orwell George) 318
 Оуз Даг (Ose Doug) 430–432

Паваротти Лучано (Pavarotti Luciano) 204
 Папафрагоу Анна (Papafragou Anna) 9, 184, 185
 Паркер Дороти (Parker Dorothy) 443, 523
 Патаки Джордж (Pataki George) 391
 Патнэм Хилари (Putnam Hilary) 343, 347–349, 352
 Пейдж Лэрри (Page Larry) 205
 Петерсон Скотт (Peterson Scott) 169
 Пёппель Эрнст (Pöppel Ernst) 236
 Пиателли-Пальмарини Массимо (Piatelli-Palmarini Massimo) 123, 124
 Пика Пьер (Pica Pierre) 178
 Портер Коул (Porter Cole) 391
 Поттер Стивен (Potter Stephen) 459
 Поттс Кристофер (Potts Christopher) 433
 Прайор Ричард (Pryor Richard) 391
 Пресли Элвис (Presley Elvis) 250
 Провайн Роберт (Provine Robert) 484
 Пруст Марсель (Proust Marcel) 328
 Пуллум Джеффри (Pullum Geoffrey) 96, 528
 Пустейовски Джеймс (Pustejovsky James) 8, 149

Райс Кондолиза (Rice Condoleezza) 18
 Райт Стивен (Wright Steven) 307
 Рамсфелд Дональд (Ramsfeld Donald) 18
 Рассел Бертран (Russell Bertrand) 28, 279
 Редди Хелен (Reddy Helen) 154
 Рейган Рональд (Reagan Ronald) 96
 Рейнхарт А К (Reinhart A K) 414
 Розен Лэрри (Rosen Larry) 327
 Розин Пол (Rozin Paul) 413
 Росс Хадж (Ross Haj) 364, 429
 Ростан Жан (Rostand Jean) 211
 Рот Филип (Roth Philip) 426

Саймон Герберт (Simon Herbert) 331
 Сантаяна Джордж (Santayana George) 483
 Сантос Лори (Santos Laurie) 9, 174
 Сатклифф Стюарт (Sutcliffe Stuart) 344, 345
 Сатран Памела (Satran Pamela) 382
 Селассие Хайле (Selassie Haile) 460
 Сепир Эдвард (Sapir Edward) 159
 Силверглейт Харви (Silverglate Harvey) 8, 518, 529
 Сильверстайн Лэрри (Silverstein Larry) 11
 Симонс Дональд (Symons Donald) 526
 Симпсон Орентал Джеймс «О Джей» (Simpson Orenthal James «O J») 393
 Скорсезе Мартин (Scorsese Martin) 443



Скотт Сэр Вальтер (Scott Sir Walter) 86, 151, 169
 Слоумен Стивен (Sloman Steven) 277
 Смит Анне Николь (Smith Anna Nicole) 266
 Смит Сьюзен (Smith Susan) 169
 Снедекер Джесс (Snedeker Jesse) 215
 Соья Нэнси (Soja Nancy) 212
 Соссюр Фердинанд де (Sausurre Ferdinand de) 361
 Соуэлл Томас (Sowell Thomas) 512
 Спелке Элизабет (Spelke Elizabeth) 166, 175, 212
 Спеллмен Барбара (Spellman Barbara) 8, 267, 524
 Спербер Дэн (Sperber Dan) 139
 Сполдинг Бэйли (Spaulding Bailey) 271
 Старр Кеннет (Starr Kenneth) 256, 257
 Старр Ринго (Starr Ringo) 421
 Стерн Говард (Stern Howard) 391
 Стюарт Поттер (Stuart Potter) 353
 Суббия Илавенил (Subbiah Iavencil) 9, 520, 525
 Суббия Сароия (Subbiah Saroja) 143
 Сэкс Оливер (Sacks Oliver) 219
 Сэссун Зигфрид (Siegfried Sassoon) 190, 522

Такер Софи (Tucker Sophie) 111
 Твен Марк (Twain Mark) 18, 19, 42, 112, 395, 518, 528
 Тверски Амос (Tversky Amos) 162, 300, 301, 319
 Теннер Эдвард (Tenner Edward) 379
 Тербер Джеймс (Thurber James) 447
 Тернер Марк (Turner Mark) 321
 Тетлок Филип (Tetlock Philip) 487
 Тинан Кеннет (Tynan Kenneth) 391
 Тобин Роджер (Tobin Roger) 525
 Томас Дилан (Thomas Dylan) 432
 Томас Клэрэнс (Thomas Clarence) 35, 393
 Труман Бесс (Truman Bess) 393
 Трумен Гарри (Truman Harry) 17
 Трут Соджорнер (Truth Sojourner) 154
 Тэлми Лен (Talmu Len) 65
 Тэннен Дебора (Tannen Deborah) 483

Уайльд Оскар (Wilde Oscar) 155
 Уилбенкс Дженифер (Wilbanks Jennifer) 372
 Уилсон Дейдра (Wilson Deirdre) 139
 Уинвуд Стив (Winwood Steve) 154
 Уиннер Эллен (Winner Ellen) 453
 Уистлер Джеймс (Whistler James) 182
 Уитмен Уолт (Whitman Walt) 19
 Уоллес Альфред (Wallace Alfred) 298
 Уолдрафф Барбара (Wallraff Barbara) 368
 Уолш Клэр (Walsh Clare) 277
 Уорнер Чарльз Дадли (Warner Charles Dudley) 455

Уорф Бенджамин Ли (Whorf Benjamin Lee) 159, 165, 169, 170, 174, 177, 184, 186, 187
 Уотерс Мадди (Waters Muddy) 154
 Уошингтон Дензел (Washington Denzel) 482
 Уэст Мэй (West Mae) 155

Файлер Брюс (Feiler Bruce) 474
 Фейнман Ричард (Feynman Richard) 278
 Феллон Эйприл (Fallon April) 413
 Филдс У К (Fields W C) 155
 Филлип Уолф (Philipp Wolff) 91
 Филлмор Чарлз (Fillmore Charles) 46
 Финкельштейн Норман (Finkelstein Norman) 284
 Фиске Алан (Fiske Alan) 9, 476, 484, 485, 487
 Фодор Джерри (Fodor Jerry) 117–123, 125–131, 520
 Форд Джеральд (Ford Gerald) 444
 Форман Джордж (Foreman George) 382
 Франклин Бенджамин (Franklin Benjamin) 141, 235
 Фрейд Зигмунд (Freud Sigmund) 34
 Фридман Кинки (Friedman Kinky) 397
 Фрост Роберт (Frost Robert) 321
 Фрэнкфурт Гарри (Frankfurt Harry) 412
 Фут Филипп (Foot Philippa) 285

Хайдеггер Мартин (Heidegger Martin) 171
 Ханна Дэрил (Hannah Daryl) 378, 383
 Харлоу Рэй (Harlow Ray) 188
 Хаузер Марк (Hauser Marc) 8, 174, 271, 285, 299
 Херст Пэтти (Hearst Patty) 288
 Хилл Анита (Hill Anita) 35
 Хиллари Эдмунд (Hillary Edmund) 377
 Ховав Малка Раппапорт (Hovav Malka Rappaport) 59
 Холл Джерри (Hall Jerry) 383
 Холл Рич (Hall Rich) 367
 Холояк Кейт (Holoak Keith) 332
 Хомский Ноам (Chomsky Noam) 42, 46, 59, 124, 528
 Хоффман Дастин (Hoffman Dustin) 446
 Хрушев Никита Сергеевич (Khrushchev Nikita Sergeevich) 264
 Ху Фей (Xu Fei) 173
 Хьюз Джеффри (Hughes Geoffrey) 395, 407, 412
 Хэкман Джин (Hackman Gene) 482
 Хэррис Джудит Рич (Harris Judith Rich) 444, 529
 Хэррис Мел (Harris Mel) 383

Чан Джеки (Chan Jackie) 397
 Чанг Конни (Chang Connie) 220
 Чейни Дик (Cheney Dick) 31, 483
 Черчилль Уинстон (Churchill Winston) 245

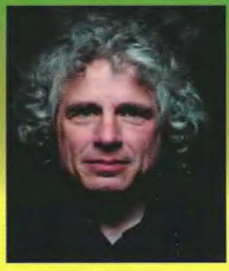
Честертон Г. К. (Chesterton G. K.) 408
Чуа Эми (Chua Amy) 512
Чэгнон Наполеон (Chagnon Napoleon) 175

Шейдлоуэр Джесси (Scheidlower Jesse) 428
Шекспир Уильям (Shakespeare William) 19–22, 85,
205, 345, 346, 356, 382, 392, 422, 445,
446, 452, 458, 504, 515
Шеллинг Томас (Schelling Thomas) 387, 468,
495, 502, 525
Шен Дональд (Schön Donald) 301, 311, 315
Шенк Роджер (Schank Roger) 328–330
Шепард Роджер (Shepard Roger) 193

Эверетт Дэниел (Everett Daniel) 176
Эйнштейн Альберт (Einstein Albert) 13, 14,
238, 345
Элкотт Луиза Мей (Alcott Louisa May) 401
Энслер Ив (Ensler Eve) 391
Эттив Фред (Attneave Fred) 183
Эфрон Нора (Ephron Nora) 25
Эшер М. К. (Escher M. C.) 226

Юм Дэвид (Hume David) 191, 196, 260–262,
268, 269, 284

Янг Шон (Young Sean) 383

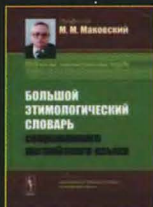
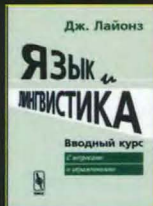


Крупнейший психолингвист, профессор факультета психологии Гарвардского университета.

Преподавал на кафедре мозга и когнитивных наук в Массачусетском технологическом институте. Его научные исследования посвящены проблемам языка и познания, он много занимался вопросами усвоения языка детьми. За исследования в области психологии языка С. Пинкер удостоен премии Троланда Национальной академии наук, а также двух премий Американской ассоциации психологов. Является членом престижных научных обществ, включая Американскую академию гуманитарных и точных наук и Американскую ассоциацию содействия развитию науки.

Стивен ПИНКЕР

Наше издательство предлагает следующие книги:



19438 ID 210835



9 785397 052610

Издательская группа

URSS

Каталог изданий в Интернете:
<http://URSS.ru>

E-mail: URSS@URSS.ru

117335, Москва, Телефон / факс
Нахимовский (многоканальный)
проспект, 56 +7 (499) 724 25 45

Отзывы о настоящем издании, а также обнаруженные опечатки присылайте по адресу URSS@URSS.ru. Ваши замечания и предложения будут учтены и отражены на web-странице этой книги на сайте <http://URSS.ru>